АРКАДИЙ СТРУГАЦКИЙ

БОРИС СТРУГАЦКИЙ

СТАЖЕРЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
И НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ

МОСКВА ~ 1991

АРКАДИЙ СТРУГАЦКИЙ
БОРИС СТРУГАЦКИЙ

СТАЖЕРЫ

Фантастические повести

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

P2
C87

Рисунки
М. Лисогорского

С $\frac{4803000000-326}{М101(03)-91}$ 296-91

ISBN 5-08-002232-9

Состав. Предисловие. Иллюстрации.
© ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1985

РАДУГА ВРЕМЕНИ

Нет двух одинаковых книг, даже если речь идет об одной и той же книге. Тираж гарантирует тождество текста, но не восприятия, поэтому не существует экземпляра, который был бы равен самому себе, как не существует двух одинаковых читателей: в душе каждого содержание книги преломляется своей радугой, иногда тут же гаснущей, а бывает, немеркнущей. В этом смысле всякий читатель соавтор писателя.

Его виза, несомненно, стоит под этим изданием повестей Стругацких, поскольку все они успешно прошли горнило такого сотворчества — одни в шестидесятых годах, когда впервые увидели свет, другие позже, в семидесятых. Однако в таком подборе эти произведения не выходили, а закон равенства всех слагаемых целому к литературе неприложим, не говоря уже о том, что всякое новое издание влечет за собой новое прочтение. Вот об этом стóит сказать несколько слов.

Военное детство людей моего поколения внушило нам суровую формулу мысленной проверки достоинств того или иного человека: а можно ли с ним пойти в разведку? Этот бескомпромиссный вопрос мы невольно для себя порой обращали и на литературных героев, ответ на него подчас предрешал наше к ним отношение. Позже многие из нас поняли, что он далеко не всегда правомочен, что жизнь сложнее любой формулы. Тем не менее, при всей своей прямолинейности, он неплохо просвечивает и человека, и героя литературного произведения, ибо предполагает наличие не только мужества, честности, высшей надежности, но и силы ума, благородства, умения наилучшим образом действовать в любой самой трудной обстановке. Надо ли доказывать, что именно таковы герои Стругацких? Они доподлинны в своих поступках, чувствах и мыслях, их условное существование благодаря таланту писателей обрело ту же несомненность, как и существование тех, с кем мы сталкиваемся в повседневности. Так их воспринял молодой, да и немолодой, читатель минувших лет; думаю, что и читатель восьмидесятых годов с той или иной поправкой, которую неизбежно привносит время, разделит эту оценку.

Но уже отмечалось, что сумма слагаемых в литературе не равна целому. Данный подбор повестей укрупнил героя, которого бессмысленно искать в числе персонажей, поскольку имени он не имеет и лич-

ностью не является. Это Будущее. Или, если хотите (вероятно, так будет точнее), это человек будущего, это человечество грядущих времен. Цикл повестей, объединенных в этом издании, представляет собой постепенную развертку того возможного Будущего, достичь которого мы стремимся. Прежде всего бросаются в глаза внешние приметы возвышения человечества в предстоящих веках: если в повести «Путь на Амальтею» и в «Стажерах» люди, скажем, только еще осваивают Солнечную систему, то в «Малыше» им уже доступны звезды, а в «Парне из преисподней» речь, пожалуй, идет уже о галактическом могуществе. Однако дело тут как раз не во внешних приметах возмужания человечества (подобную схему без труда начертит любой литремесленник, мало ли в фантастике таких примеров!). В повестях Стругацких все куда интересней, значительней; в них пунктиром прослеживается неуклонное преобразование самого человека, духовное возвышение всего нашего рода.

Проследим эту линию. Герои повести «Путь на Амальтею» легко узнаваемы. Это наши современники, отважные, замечательные люди, исследователи, первопроходцы, только действуют они не в сегодняшней, а в завтрашней реальности. Правомочен ли такой перенос, может ли наш современник быть еще и человеком будущего? Безусловно! Мы прекрасно знаем, но порой забываем ту простую истину, что такие люди живут среди нас. Потенциально они составляют большинство, ибо сегодняшние юноши и девушки, тем более подростки и дети,— это и есть граждане двадцать первого века. Другой вопрос — кто каким станет, кто по праву займет место в звездолете, а от кого с презрением отвернется даже питекантроп. Тут заранее ничего не предрешено. Но есть и такие люди, о которых (и возраст тут ни при чем) гадать не приходится: в их поступках, делах, намерениях ярок свет желанного завтра, он с ними и в них, они-то уже состоялись как люди будущего. В «Стажерах» действуют в основном те же герои, что и в первой повести. Прошло время, они постарели, им на смену идет новое поколение. Но суть не в этом. Расширился круг их мыслей, забот и борений, что тесно связано с новым этапом развития человечества. Устранена военная опасность, мир твердо стал на путь социального прогресса, успешно осваивается Солнечная система, главные трудности, казалось бы, позади. Но героям Стругацких чужда самоуспокоенность. В восхождении человечества обозначился очередной перевал. Легче достичь звезд, проще разгадать иные тайны материи, чем одолеть прошлое, подняться на новые социальные и нравственные вершины. Да, условия изменились к лучшему, да, повсеместно рождается новый человек, не знающий угнетения, страха, злобы, чуждый алчности, подлости, низости. Но тут же, рядом, из затхлых щелей упорно лезет прежний бурьян, тем более ненавистный, что — до каких же пор?! Надо всюду подрезать корни, иначе эта поросль незаметно и цепко оплетет каждый шаг, а корни ветвисты и глубоко сидят в психологических наслоениях многих веков. И тут не бесчувственная природа - душа человеческая... Таблица умножения давно уже несокрушима в сознании каждого, а как обстоит дело с моральными прописями?

Вдобавок все осложняет диалектика самой жизни. Насколько — за примером недалеко ходить, он в тех же «Стажерах». Я уже говорил, что новое издание еще и новое прочтение. В повести есть место, которое воспринимается сейчас совершенно иначе, чем в шестидесятых годах, когда она была написана. Тогда экологическая тревога еще не грянула, и лихое уничтожение зловредных «марсианских пиявок» виделось едва ли не подвигом. Сейчас можно только развести руками... Умные люди, пре-

красные люди — и, надо же, как они ошибаются, как, в общем, бездумно истребляют жизнь, не ведают, что творят! Конечно, авторы могли бы переписать это место. Но тогда исчезла бы поучительная ошибка, снялся бы наглядный урок жизненной сложности, крайней трудности работы ума на переднем крае познания и предвидения. Так что авторы, возможно, правы в своем решении сохранить все как было. На ошибках надо учиться, иной дороги к мудрости нет.

Действие «Малыша» развертывается уже в другой эпохе. Перед героями этой повести стоят иные задачи, но оттого им не легче: чем выше могущество, тем больше ответственность, цена ошибки не уменьшилась, а возросла, на незримых весах нравственности и ума взвешивается и судьба отдельного человека, который, быть может, и не человек вовсе, и судьба неведомой цивилизации, с которой столкнул случай, и перспектива развития своей собственной. Тут уже не арифметика — высшая духовная математика. И, оставаясь похожими, как все-таки далеко ушли герои «Малыша» от героев «Стажеров», которые и умны, и благородны, но порой излишне арифметичны, что ли, в своих суждениях и поступках! Человечество возмужало не только технически, не только социально, но и духовно. Впрочем, эту связь и нельзя разорвать, слабина в одном звене аварийна для жизни в целом.

Свершился очередной шаг истории, повесть «Парень из преисподней» переносит нас в еще более отдаленное будущее. О человеке того времени уже нельзя сказать, что он «почти такой же, как мы». Не такой. Хотя и не чужак, а явный преемник лучшего в нас. Здесь две точки отсчета. На одном полюсе — «парень из преисподней», несчастный фанатик, запрограммированный на войну человекоробот; на другом — личность, какой она может стать в условиях совершенного общества. Жизнь и смерть, полночь и полдень прогресса, наихуднее, что было и поныне есть в людях, рядом с возможным и идеальным. Дистанция историческая. И легок ли путь от кровавой жути к духовным и социальным вершинам? Безмерно труден — это мы знаем по опыту, это мы видим в повести, где нет упрощения: мол, стоит человекороботу попасть в совершенный мир, оказаться под благотворным воздействием, как он тут же преобразится. Нет, все далеко не так однозначно, путь нравственного возвышения (кто о нем не мечтал?) крут и тернист, благим упованиям здесь не место, ими дорога в ад вымощена. Но и безнадежности нет никакой. Дело не только в том, что выжженная душа «парня из преисподней» все таки начинает оживать. Обратим внимание, что меж ним и человеком далекого будущего при всей колоссальной разнице все же нет пропасти, через которую нельзя перекинуть даже шаткий мостик. Их духовные состояния — это крайности единого всечеловеческого спектра, с высочайшей площадки которого будущее подает руку прошлому. И эта рука ухватывает не пустоту, она, пересиливая сопротивление, миллиметр за миллиметром подтягивает, вытаскивает из губительной трясины...

Не так ли, кстати, в самой жизни? Она движется усилием лучшего в *нас самих, во всем окружающем.* Что из того, что герой повести, человек далекого будущего, в силу своей идеальности менее отчетлив для нас, чем герои хотя бы «Стажеров», иногда даже не совсем понятен? Идеал освещает путь, придает устремлениям отчетливость, он так же нужен для жизни, как далекое солнце в небе.

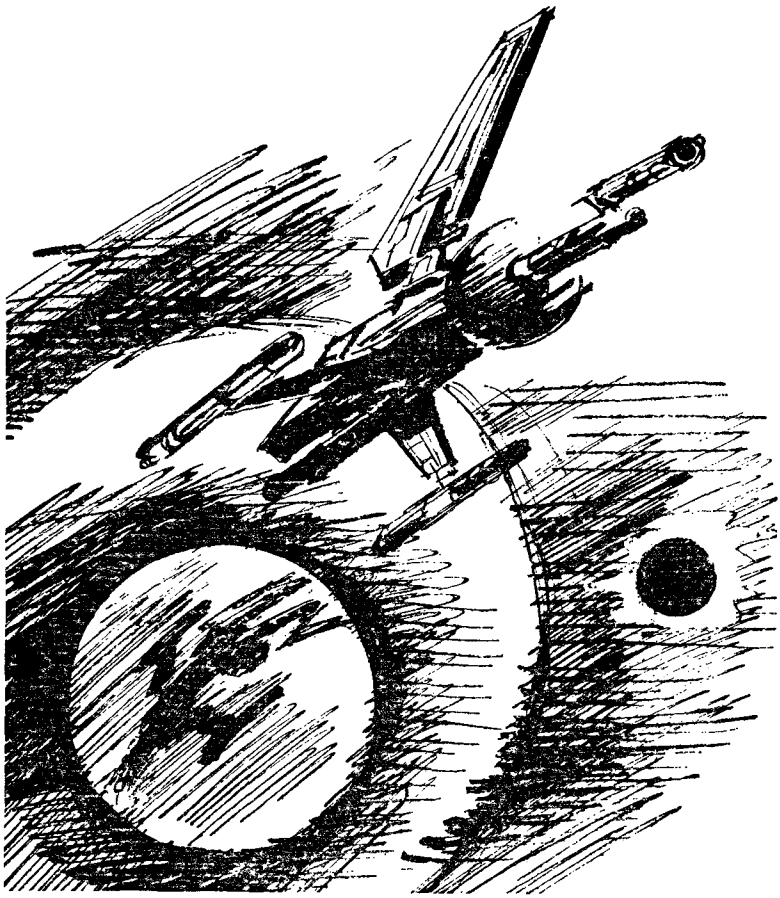
Правда, это еще вопрос, так ли уж далек упомянутый герой повести от нас самих. Выдам один секрет литературной работы. Чего писатель отчетливо не видит, не чувствует сам, того заведомо не увидит и не

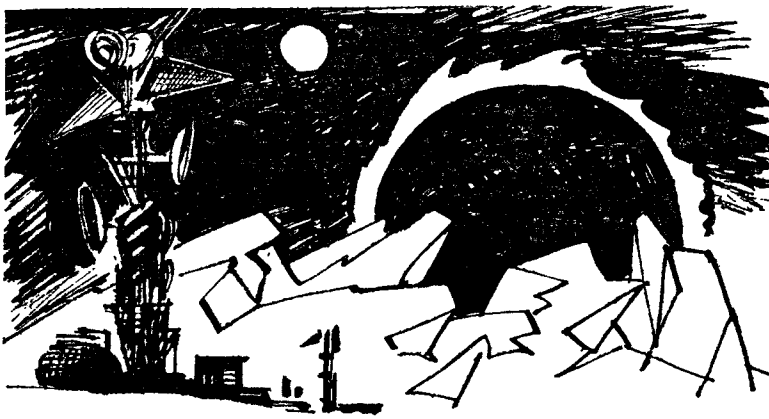
почувствует читатель. А герой повести, человек далекого будущего, все-таки, согласитесь, зрим, в его образ можно вжиться. Меж тем все краски для образа любой писатель берет из действительности, другого источника нет и у гения. Это, между прочим, означает, что обрисованное в повести будущее отчасти присутствует в настоящем, скрыто в нем, как завязь грядущего урожая, который зреет и будет, если мы сейчас убережем его от всех бедствий и взрастим.

Все мы стажеры на службе у Будущего, о том и речь в этой книге.

Дм. Биленкин

ПУТЬ НА АМАЛЬТЕЮ





ПРОЛОГ. АМАЛЬТЕЯ, «ДЖЕЙ-СТАНЦИЯ»

Амальтея, пятый и ближайший спутник Юпитера, делает полный оборот вокруг своей оси примерно за тридцать пять часов. Кроме того, за двенадцать часов она делает полный оборот вокруг Юпитера. Поэтому Юпитер выползает из-за близкого горизонта через каждые тринадцать с половиной часов.

Восход Юпитера — это очень красиво. Только нужно заранее подняться в лифте до самого верхнего этажа под прозрачный спектролитовый колпак.

Когда глаза привыкнут к темноте, видна обледенелая равнина, уходящая горбом к скалистому хребту на горизонте. Небо черное, и на нем множество ярких немигающих звезд. От звездного блеска на равнине лежат неясные отсветы, а скалистый хребет кажется глубокой черной тенью на звездном небе. Если присмотреться, можно различить даже очертания отдельных зазубренных пиков.

Бывает, что низко над хребтом висит пятнистый серп Ганимеда, или серебряный диск Каллисто, или они оба хотя это бывает довольно редко. Тогда от пиков по мерцающему льду через всю равнину тянутся ровные серые тени. А когда над горизонтом Солнце — круглое пятнышко слепящего пламени, равнина голубеет, тени становятся черными и на льду видна каждая трещина. Угольные кляксы на поле ракетодрома похожи на огромные, затянутые льдом лужи. Это вызывает теплые полузабытые ассо-

ционации, и хочется сбегать на поле и пройтись по тонкой ледяной корочке, чтобы посмотреть, как она хрустнет под магнитным башмаком и по ней побегут морщинки, похожие на пенки в горячем молоке, только темные.

Но все это можно увидеть не только на Амальтее.

По-настоящему красиво становится тогда, когда восходит Юпитер. И восход Юпитера по-настоящему красив только на Амальтее. И он особенно красив, когда Юпитер встает, догоняя Солнце. Сначала за пиками хребта разгорается зеленое зарево — экзосфера гигантской планеты. Оно разгорается все ярче, медленно подбираясь к Солнцу, и одну за другой гасит звезды на черном небе. И вдруг оно наползает на Солнце. Очень важно не пропустить этот момент. Зеленое зарево экзосферы мгновенно, словно по волшебству, становится кроваво-красным. Всегда ждешь этого момента, и всегда он наступает внезапно. Солнце становится красным, и ледяная равнина становится красной, и на круглой башенке пеленгатора на краю равнины вспыхивают кровавые блики. Даже тени пиков становятся розовыми. Затем красное постепенно темнеет, становится бурым, и наконец из-за скалистого хребта на близком горизонте вылезает огромный коричневый горб Юпитера. Солнце все еще видно, и оно все еще красное, как раскаленное железо,— ровный вишневый диск на буром фоне.

Почему-то считается, что бурый цвет — это некрасиво. Так считает тот, кто никогда не видел бурого зарева на полнеба и четкого красного диска на нем. Потом диск исчезает. Остается только Юпитер, огромный, бурый, косматый, он долго выбирается из-за горизонта, словно распухая, и занимает четверть неба. Его пересекают наискось черные и зеленые полосы аммиачных облаков, и иногда на нем появляются и сейчас же исчезают крошечные белые точки — так выглядят с Амальтеи экзосферные протуберанцы.

К сожалению, досмотреть восход до конца удается редко. Слишком долго выползает Юпитер, и надо идти работать. Во время наблюдений, конечно, можно проследить полный восход, но во время наблюдений думаешь не о красоте...

Директор «Джей-станции» поглядел на часы. Сегодня красивый восход, и скоро он будет еще красивее, но пора спускаться вниз и думать, что делать дальше.

В тени скал шевельнулся и начал медленно разворачи-

ваться решетчатый скелет Большой Антенны. Радиооптики приступили к наблюдениям. Голодные радиооптики...

Директор в последний раз взглянул на бурый размытый купол Юпитера и подумал, что хорошо бы поймать момент, когда над горизонтом висят все четыре больших спутника — красноватая Ио, Европа, Ганимед и Каллисто, а сам Юпитер в первой четверти наполовину оранжевый, наполовину бурый. Потом он подумал, что никогда не видел захода. Это тоже должно быть красиво: медленно гаснет зарево экзосферы, и одна за другой вспыхивают звезды в чернеющем небе, как алмазные иглы на бархате. Но обычно время захода — это разгар рабочего дня.

Директор вошел в лифт и спустился в самый нижний этаж. Планетологическая станция на Амальтее представляла собой научный городок в несколько горизонтов, вырубленный в толще льда и залитый металлопластом. Здесь жили, и работали, и учились, и строили около шестидесяти человек. Пятьдесят шесть молодых мужчин и женщин, отличных ребят и девушек с отличным аппетитом.

Директор заглянул в спортивные залы, но там уже никого не было, только кто-то плескался в шаровом бассейне и звенело эхо под потолком. Директор пошел дальше, неторопливо переставляя ноги в тяжелых магнитных башмаках. На Амальтее почти не было тяжести, и это было крайне неудобно. В конце концов, конечно, привыкаешь, но первое время кажется, будто тело надуто водородом и так и норовит выскочить из магнитных башмаков. И особенно трудно привыкнуть спать.

Прошли двое астрофизиков с мокрыми после душа волосами, поздоровались и торопливо прошли дальше, к лифтам. У одного астрофизика было, по-видимому, что-то не в порядке с магнитными подковами — он неловко подпрыгивал и раскачивался на ходу. Директор свернул в столовую. Человек пятнадцать завтракали.

Повар дядя Валнога, он же инженер-гастроном станции, развозил на тележке завтраки. Он был мрачен. Он вообще человек довольно сумрачный, но в последние дни он был мрачен. Он мрачен с того самого неприятного дня, когда с Каллисто, четвертого спутника, радировали о катастрофе с продовольствием. Продовольственный склад на Каллисто погиб от грибка. Это случалось и раньше, но теперь продовольствие погибло целиком, до последней галеты, и хлорелловые плантации погибли тоже.

На Каллисто очень трудно работать. В отличие от Амальтеи, на Каллисто существует биосфера, и там до сих пор не найдены средства предотвратить проникновение грибка в жилые отсеки. Это очень интересный грибок. Он проникает через любые стены и пожирает все съедобное — хлеб, консервы, сахар. Хлореллу он пожирает с особой жадностью. Иногда он поражает человека, но это совсем не опасно. Сначала этого очень боялись, и самые смелые менялись в лице, обнаружив на коже характерный немного скользкий налет. Но грибки не причиняли живому организму ни боли, ни вреда. Говорили даже, что они действуют как тонизирующее. Зато продовольствие они уничтожают в два счета.

— Дядя Валнога! — окликнул кто-то.— На обед тоже будут галеты?

Директор не успел заметить, кто окликнул, потому что все завтракавшие повернули лица к дяде Валноге и перестали жевать. Славные молодые лица, почти все загорелые до черноты. И уже немного осунувшиеся. Или это так кажется?

— В обед вы получите суп,— сказал дядя Валнога.

— Здорово! — сказал кто-то, и опять директор не заметил кто.

Он подошел к ближайшему столику и сел. Валнога подкатил к нему тележку, и директор взял свой завтрак — тарелку с двумя галетами, полплитки шоколада и стеклянную грушу с чаем. Он сделал это очень ловко, но все-таки толстые белые галеты подпрыгнули и повисли в воздухе. Груша с чаем осталась стоять — она имела магнитный ободок вокруг донышка. Директор поймал одну из галет, откусил и взялся за грушу. Чай остыл.

— Суп,— сказал Валнога. Он говорил негромко, обращаясь только к директору.— Вы можете себе представить, что это за суп. А они небось думают, что я им подам куриный бульон.— Он оттолкнул тележку и сел за столик. Он смотрел, как тележка катится в проходе все медленнее и медленнее.— А куриный суп, между прочим, кушают на Каллисто.

— Вряд ли,— сказал директор рассеянно.

— Ну как же вряд ли! — сказал Валнога.— Я им отдал сто семьдесят банок. Больше половины нашего резерва.

— Остаток резерва мы уже съели?

— Конечно, съели,— сказал Валнога.

— Значит, и они уже съели,— сказал директор, раз-

грызая галету.— У них народу вдвое больше, чем у нас.

«Врешь ты, дядя Валнога,— подумал он.— Я тебя хорошо знаю, инженер-гастроном. Банок двадцать ты еще припрятал для больных и прочего».

Валнога вздохнул и спросил:

— Чай у вас не остыл?

— Нет, спасибо.

— А хлорелла на Каллисто не прививается,— сказал Валнога и опять вздохнул.— Опять они радировали, просили еще килограммов десять закваски. Сообщили, что выслали планетолет.

— Что ж, надо дать.

— Дать! — сказал дядя Валнога.— Конечно, надо дать. Только хлореллы у меня не сто тонн, и ей тоже надо дать подрасти... Я вам, наверное, аппетит порчу, а?

— Ничего,— сказал директор. У него вообще не было аппетита.

— Довольно! — сказал кто-то.

Директор поднял голову и сразу увидел растерянное лицо Зойки Ивановой. Рядом с ней сидел ядерник Козлов. Они всегда сидели рядом.

— Довольно, слышишь? — сказал Козлов со злостью.

Зойка покраснела и наклонила голову. Ей было очень неловко, потому что все смотрели на них.

— Ты мне подсунула свою галету вчера,— сказал Козлов.— Сегодня ты опять подсовываешь мне свою несчастную галету.

Зойка молчала. Она чуть не плакала от смущения.

— Не ори на нее, Козел! — гаркнул с другого конца столовой атмосферный физик Потапов.— Зоенька, ну что ты его подкармливаешь, этого зверя! Дай лучше галету мне, я съем. Я даже не буду на тебя орать.

— Нет, правда,— сказал Козлов уже спокойнее.— Я и так здоровый, а ей надо есть больше моего.

— Неправда, Валя,— сказала Зойка, не поднимая головы.

Кто-то сказал:

— Чайку еще можно, дядя Валнога?

Валнога поднялся. Потапов позвал через всю столовую:

— Эй, Грегор, после работы сыграем?

— Сыграем,— сказал Грегор.

— Снова будешь бит, Вадимчик,— сказал кто-то.

— На моей стороне закон вероятностей! — заявил Потапов.

Все засмеялись.

В столовую просунулась сердитая физиономия.

— Потапов здесь? Васька, буря на Дикуне!

— Ну! — сказал Потапов и вскочил. И другие атмосферники поспешно поднялись из-за стола.

Физиономия исчезла и вдруг появилась снова:

— Галеты мне захвати, слышишь?

— Если Валнога даст,— сказал Потапов вдогонку. Он поглядел на Валногу.

— Почему не дать? — сказал дядя Валнога.— Стеценко Константин, двести граммов галет и пятьдесят граммов шоколада...

Директор встал, вытирая рот бумажной салфеткой. Козлов сказал:

— Товарищ директор, как там с «Тахмасибом»?

Все замолчали и повернули лица к директору. Молодые загорелые лица, уже немного осунувшиеся. Директор ответил:

— Пока никак.

Он медленно прошел по проходу между столиками и направился к себе в кабинет. Вся беда в том, что на Каллисто не вовремя началась «консервная эпидемия». Пока это еще не настоящий голод. Амальтея еще может делиться с Каллисто хлореллой и галетами. Но если Быков не придет с продовольствием... Быков уже где-то близко. Его уже запеленговали, но затем он замолчал и молчит вот уже шестьдесят часов. Нужно будет снова сократить рационы, подумал директор. Здесь всякое может случиться, а до базы на Марсе не близко. Здесь всякое бывает. Бывает, что планетолеты с Земли и с Марса пропадают. Это случается редко, не чаще грибковых эпидемий. Но очень плохо, что это все-таки случается. За миллиард километров от Земли это хуже десяти эпидемий. Это голод. Может быть, это гибель.

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ФОТОННЫЙ ГРУЗОВИК «ТАХМАСИБ»

1. Планетолет подходит к Юпитеру, а капитан ссорится со штурманом и принимает спорамин

Алексей Петрович Быков, капитан фотонного грузовика «Тахмасиб», вышел из каюты и аккуратно притворил за собой дверь. Волосы у него были мокрые. Капитан толь-

ко что принял душ. Он принял даже два душа — водяной и ионный, но его еще покачивало после короткого сна. Спать все-таки хотелось так, что глаза никак не открывались. За последние трое суток он проспал в общей сложности не более пяти часов. Перелет выдался нелегкий.

В коридоре было пусто и светло. Быков направился в рубку, стараясь не шаркать ногами. В рубку нужно было идти через кают-компанию. Дверь в кают-компанию оказалась открытой, оттуда доносились голоса. Голоса принадлежали планетологам Дауге и Юрковскому и звучали, как показалось Быкову, необыкновенно раздраженно и как-то странно глухо.

«Опять они что-то затеяли,— подумал Быков.— И нет от них никакого спасения. И выругать их как следует невозможно, потому что они все-таки мои друзья и страшно рады, что в этом рейсе мы вместе. Не так часто бывает, чтобы мы собирались вместе».

Быков шагнул в кают-компанию и остановился, поставив ногу на комингс. Книжный шкаф был раскрыт, книги были вывалены на пол и лежали неаккуратной кучей. Скатерть со стола сползла. Из-под дивана торчали длинные, обтянутые узкими серыми брюками ноги Юрковского. Ноги азартно шевелились.

— Я тебе говорю, ее здесь нет,— сказал Дауге.

Самого Дауге видно не было.

— Ты ищи,— *сказал задушенный голос* Юрковского.— Взялся, так ищи.

— Что здесь происходит? — сердито осведомился Быков.

— Ага, вот он! — сказал Дауге и вылез из-под стола.

Лицо у него было веселое, куртка и воротник сорочки расстегнуты. Юрковский, пятясь, выбрался из-под дивана.

— В чем дело? — сказал Быков.

— Где моя Варечка? — *спросил* Юрковский, *поднимаясь* на ноги. Он был очень сердит.

— Изверг! — воскликнул Дауге.

— Без-здельники,— сказал Быков.

— Это он,— сказал Дауге трагическим голосом.— Посмотри на его лицо, Владимир! Палач!

— Я говорю совершенно серьезно, Алексей,— сказал Юрковский.— Где моя Варечка?

— Знаете что, планетологи,— сказал Быков.— Подите вы к черту!

Он выпятил челюсть и прошел в рубку. Дауге сказал вслед:

— Он спалил Варечку в реакторе.

Быков с гулом захлопнул за собой люк.

В рубке было тихо. На обычном месте за столом у вычислителя сидел штурман Михаил Антонович Крутиков, подперев пухлым кулачком двойной подбородок. Вычислитель *негромко шелестел, моргая неоновыми огоньками* контрольных ламп. Михаил Антонович посмотрел на капитана добрыми глазками и сказал:

— Хорошо поспал, Лешенька?

— Хорошо,— сказал Быков.

— Я принял пеленги с Амальтеи,— сказал Михаил Антонович.— Они там уж так ждут, так ждут...— Он покачал головой.— Представляешь, Лешенька, у них норма: двести граммов галет и пятьдесят граммов шоколада. И хлорелловая похлебка. Триста граммов хлорелловой похлебки. Это же так невкусно!

«Тебя бы туда,— подумал Быков.— То-то похудел бы, толстяк». Он сердито посмотрел на штурмана и не удержался — улыбнулся. Михаил Антонович, озабоченно выпятив толстые губы, рассматривал разграфленный лист голубой бумаги.

— Вот, Лешенька,— сказал он.— Я составил финиш-программу. Проверь, пожалуйста.

Обычно проверять курсовые программы, составленные Михаилом Антоновичем, не стоило. Михаил Антонович попрежнему оставался самым толстым и самым опытным штурманом межпланетного флота.

— Потом проверю,— сказал Быков. Он сладко зевнул, прикрывая рот ладонью.— Вводи программу в киберштурман.

— Я, Лешенька, уже ввел,— виновато сказал Михаил Антонович.

— Ага,— сказал Быков.— Ну что ж, хорошо. Где мы сейчас?

— Через час выходим на финиш,— ответил Михаил Антонович.— Пройдем над северным полюсом Юпитера...— слово «Юпитер» он произнес с видимым удовольствием,— на расстоянии двух диаметров, двести девяносто мегаметров. А потом — последний виток. Можно считать, мы уже прибыли, Алешенька...

— Расстояние считаешь от центра Юпитера?

— Да, от центра.

— Когда выйдем на финиш, будешь каждые четверть часа давать расстояние от экзосферы.

— Слушаюсь, Лешенька,— сказал Михаил Антонович.

Быков еще раз зевнул, с досадой протер кулаками слипающиеся глаза и пошел вдоль пульта аварийной сигнализации. Здесь все было в порядке. Двигатель работал без перебоев, плазма поступала в рабочем ритме, настройка магнитных ловушек держалась безукоризненно. За магнитные ловушки отвечал бортинженер Жилин. «Молодчина, Жилин,— подумал Быков.— Отлично отрегулировал, малек».

Быков остановился и попробовал, чуть меняя курс, сбить настройку ловушек. Настройка не сбивалась. Белый зайчик за прозрачной пластмассовой пластинкой даже не шевельнулся. «Молодчина малек»,— снова подумал Быков. Он обогнул выпуклую стену — кожух фотореактора. У комбайна контроля отражателя стоял Жилин с карандашом в зубах. Он упирался обеими руками в края пульта и едва заметно отплясывал чечетку, шевеля могучими лопатками на согнутой спине.

— Здравствуй, Ваня,— сказал Быков.

— Здравствуйте, Алексей Петрович,— сказал Жилин, быстро обернувшись. Карандаш выпал у него из зубов, и он ловко поймал его на лету.

— Как отражатель? — спросил Быков.

— Отражатель в порядке,— сказал Жилин, но Быков все-таки нагнулся над пультом и потянул плотную синюю ленту записи контрольной системы.

Отражатель — самый главный и самый хрупкий элемент фотонного привода, гигантское параболическое зеркало, покрытое пятью слоями сверхстойкого мезовещества. В зарубежной литературе отражатель часто называют «сэйл» — парус. В фокусе параболоида ежесекундно взрываются, превращаясь в излучение, миллионы порций дейтериево-тритиевой плазмы. Поток бледного лиловатого пламени бьет в поверхность отражателя и создает силу тяги. При этом в слое мезовещества возникают исполинские перепады температур, и мезовещество постепенно — слой за слоем — выгорает. Кроме того, отражатель непрерывно разъедается метеоритной коррозией. И если при включенном двигателе отражатель разрушится у основания, там, где к нему примыкает толстая труба фотореактора, корабль превратится в мгновенную бешеную вспышку. Поэтому отражатели фотонных кораблей ме-

няют через каждые сто астрономических единиц полета. Поэтому контролирующая система непрерывно замеряет состояние рабочего слоя по всей поверхности отражателя.

— Так,— сказал Быков, вертя в пальцах ленту.— Первый слой выгорел.

Жилин промолчал.

— Михаил! — окликнул Быков.— Ты знаешь, что первый слой выгорел?

— Знаю, Лешенька,— отозвался штурман.— А что ты хочешь? Оверсан, Лешенька...

«Оверсан», или «прыжок через Солнце», производится редко и только в исключительных случаях — как сейчас, когда на «Джей-станциях» голод. При оверсане между старт-планетой и финиш-планетой находится Солнце — расположение очень невыгодное с точки зрения прямой космогации. При оверсане фотонный двигатель работает на предельных режимах, скорость корабля доходит до шести-семи тысяч километров в секунду и на приборах начинают сказываться эффекты неклассической механики, изученные пока еще очень мало. Экипаж почти не спит, расход горючего и отражателя громаден, и в довершение всего корабль, как правило, подходит к финиш-планете с полюса, что неудобно и осложняет посадку.

— Да,— сказал Быков.— Оверсан. Вот тебе и оверсан.

Он вернулся к штурману и поглядел на расходомер горючего.

— Дай-ка мне копию финиш-программы, Миша,— сказал он.

— Одну минутку, Лешенька,— сказал штурман.

Он был очень занят. По столу были разбросаны голубые листки бумаги, негромко гудела полуавтоматическая приставка к электронному вычислителю. Быков опустился в кресло и прикрыл веки. Он смутно видел, как Михаил Антонович, не отрывая глаз от записей, протянул руку к пульту и, быстро переставляя пальцы, пробежал по клавишам. Рука его стала похожа на больного белого паука. Вычислитель загудел громче и остановился, сверкнув стоп-лампочкой.

— Что тебе, Лешенька? — спросил штурман, глядя в свои записи.

— Финиш-программу,— сказал Алексей Петрович, еле разлепляя веки.

Из выводного устройства выползла табулограмма,

и Михаил Антонович вцепился в нее обеими руками.

— Сейчас,— сказал он торопливо.— Сейчас.

У Быкова сладко зашумело в ушах, под веками поплыли желтые огоньки. Он уронил голову на грудь.

— Лешенька,— сказал штурман. Он потянулся через стол и похлопал Быкова по плечу.— Лешенька, вот программа...

Быков вздрогнул, дернул головой и посмотрел по сторонам. Он взял исписанные листки.

— Кхе-кхм...— откашлялся он и пошевелил кожей на лбу.— Так. *Онять тэта-алгоритм...— Он сонно уставился в* записи.

— Принял бы ты, Лешенька, спорамин,— посоветовал штурман.

— Подожди,— сказал Быков.— Подожди. Это что еще такое? Ты что, с ума сошел, штурман?

Михаил Антонович вскочил, обежал вокруг стола и нагнулся над плечом Быкова.

— Где, где? — *спросил он.*

— Ты куда летишь? — ядовито спросил Быков.— Может быть, ты думаешь, что летишь на Седьмой полигон?

— Да в чем дело, Леша?

— Или, может быть, ты воображаешь, что на Амальтее построили для тебя тритиевый генератор?

— Если ты про горючее,— сказал Михаил Антонович,— то горючего хватит на три таких программы...

Быков проснулся окончательно.

— Мне нужно сесть на Амальтею,— сказал он.— Потом я должен сходить с планетологами в экзосферу и снова сесть на Амальтею. И потом я должен буду вернуться на Землю. И это снова будет оверсан!

— Подожди,— сказал Михаил Антонович.— Минуточку...

— Ты мне рассчитываешь сумасшедшую программу, как будто нас ждут склады горючего!

Люк в рубку приоткрылся. Быков обернулся. В образовавшуюся щель втиснулась голова Дауге. Голова повела по рубке глазами, сказала просительно:

— Послушайте, ребята, здесь нет Варечки?

— Вон! — рявкнул Быков.

Голова мгновенно скрылась. Люк тихо закрылся.

— Л-лоботрясы,— сказал Быков.— И вот что, штурман! Если у меня не хватит горючего для обратного оверсана, плохо тебе будет.

— Не ори, пожалуйста,— возмущенно ответил Михаил Антонович. Он подумал и добавил, заливаясь краской: — Черт возьми...

Наступило молчание. Михаил Антонович вернулся на свое место, и они смотрели друг на друга надувшись. Михаил Антонович сказал:

— Бросок в экзосферу я рассчитал. Обратный оверсан я тоже почти рассчитал.— Он положил ладошку на кучу листков на столе.— А если ты трусишь, мы прекрасно можем дозаправиться на Антимарсе...

Антимарсом космогаторы называли искусственную планету, движущуюся почти по орбите Марса по другую сторону от Солнца. По сути дела, это был громадный склад горючего, полностью автоматизированная заправочная станция.

— И вовсе незачем так на меня... орать,— сказал Михаил Антонович. Слово «орать» он произнес шепотом. Михаил Антонович остывал.

Быков тоже остывал.

— Ну хорошо,— сказал он.— Извини, Миша.

Михаил Антонович сразу заулыбался.

— Я был не прав,— добавил Быков.

— Ах, Лешенька,— сказал Михаил Антонович торопливо.— Пустяки. Совершенные пустяки... А вот ты посмотри, какой получается удивительный виток. Из вертикали,— он стал показывать руками,— в плоскость Амальтеи и над самой экзосферой по инерционному эллипсу в точку встречи. И в точке встречи относительная скорость всего четыре метра в секунду. Максимальная перегрузка всего двадцать два процента, а время невесомости всего минут тридцать — сорок. И очень малы расчетные ошибки.

— Ошибки малы, потому что тэта-алгоритм,— сказал Быков. Он хотел сказать штурману приятное: тэта-алгоритм был разработан и впервые применен Михаилом Антоновичем.

Михаил Антонович издал неопределенный звук. Он был приятно смущен. Быков просмотрел программу до конца, несколько раз подряд кивнул и, положив листки, принялся тереть глаза огромными веснушчатыми кулаками.

— Откровенно говоря,— сказал он,— ни черта я не выспался.

— Прими спорамин, Леша,— убеждающе повторил Михаил Антонович.— Вот я принимаю по таблетке через

каждые два часа и совсем не хочу спать. И Ваня тоже. Ну зачем так мучиться?

— Не люблю я этой химии,— сказал Быков. Он вскочил и прошелся по рубке.— Слушай, Миша, а что это происходит у меня на корабле?

— А в чем дело, Лешенька? — спросил штурман.

— Опять планетологи,— сказал Быков.

Жилин из-за кожуха фотореактора объяснил:

— Куда-то пропала Варечка.

— Ну? — сказал Быков.— Наконец-то.— Он опять прошелся по рубке.— Дети, престарелые дети.

— Ты уж на них не сердись, Лешенька,— сказал штурман.

— Знаете, товарищи,— Быков опустился в кресло.— Самое скверное в рейсе — это пассажиры. А самые скверные пассажиры — это старые друзья. Дай-ка мне, пожалуй, спорамину, Миша.

Михаил Антонович торопливо вытащил из кармана коробочку. Быков следил за ним сонными глазами.

— Дай сразу две таблетки,— попросил он.

2. Планетологи ищут Варечку, а радиооптик узнает, что такое бегемот

— Он меня выгнал вон,— сказал Дауге, вернувшись в каюту Юрковского.

Юрковский стоял на стуле посередине каюты и ощупывал ладонями мягкий матовый потолок. По полу было рассыпано раздавленное сахарное печенье.

— Значит, она там,— сказал Юрковский.

Он спрыгнул со стула, отряхнул с колен белые крошки и позвал жалобно:

— Варечка, жизнь моя, где ты?

— А ты пробовал неожиданно садиться в кресла? — спросил Дауге.

Он подошел к дивану и столбом повалился на него, вытянув руки по швам.

— Ты убьешь ее! — закричал Юрковский.

— Ее здесь нет,— сообщил Дауге и устроился поудобнее, задрав ноги на спинку дивана.— Такую вот операцию следует произвести над всеми диванами и креслами. Варечка любит устраиваться на мягком.

Юрковский перетащил стул ближе к стене.

— Нет,— сказал он.— В рейсах она любит забираться

на стены и потолки. Надо пройти по кораблю и прощупать потолки.

— Господи! — Дауге вздохнул.— И что только не приходит в голову планетологу, одуревшему от безделья! — Он сел, покосился на Юрковского и прошептал зловеще: — Я уверен, это Алексей. Он всегда ненавидел ее.

Юрковский пристально поглядел на Дауге.

— Да,— продолжал Дауге.— Всегда. Ты это знаешь. А за что? Она была такая тихая... такая милая...

— Дурак ты, Григорий,— сказал Юрковский.— Ты паясничаешь, а мне действительно будет очень жалко, если она пропадет.

Он уселся на стул, уперся локтями в колени и положил подбородок на сжатые кулаки. Высокий залысый лоб его собрался в морщины, черные брови трагически надломились.

— Ну-ну,— сказал Дауге.— Куда она пропадет с корабля? Она еще найдется.

— Найдется,— сказал Юрковский.— Ей сейчас есть пора. А сама она никогда не попросит, так и умрет с голоду.

— Так уж и умрет! — усомнился Дауге.

— Она уже двенадцать дней ничего не ела. С самого старта. А ей это страшно вредно.

— Лопать захочет — придет,— уверенно сказал Дауге.— Это свойственно всем формам жизни.

Юрковский покачал головой:

— Нет. Не придет она, Гриша.

Он залез на стул и снова стал сантиметр за сантиметром ощупывать потолок. В дверь постучали. Затем дверь мягко отъехала в сторону, и на пороге остановился маленький черноволосый Шарль Моллар, радиооптик.

— Войдите? — спросил Моллар.

— Вот именно,— сказал Дауге.

Моллар всплеснул руками.

— Mais non! — воскликнул он, радостно улыбаясь. Он всегда радостно улыбался.— Non «войдите». Я хотел познать: войтить?

— Конечно,— сказал Юрковский со стула.— Конечно, войтить, Шарль. Чего уж тут.

Моллар вошел, задвинул дверь и с любопытством задрал голову.

— Вольдемар,— сказал он, великолепно картавя.— Ви учится ходить по потолку?

— Уи, мадам,— сказал Дауге с ужасным акцентом.— В смысле месье, конечно. Собственно, иль шерш ля Варечка.

— Нет-нет! — вскричал Моллар. Он даже замахал руками.— Только не так. Только по-русску. Я же говорю только по-русску!

Юрковский слез со стула и спросил:

— Шарль, вы не видели мою Варечку?

Моллар погрозил ему пальцем.

— Ви мне все шутите,— сказал он, делая произвольные ударения.— Ви мне двенадцать дней шутите.— Он сел на диван рядом с Дауге.— Что есть Варечка? Я много раз слышáлль «Варечка», сегодня ви ее ищете, но я ее не видéлль ни один раз. А? — Он поглядел на Дауге.— Это птичька? Или это кошька? Или... э...

— Бегемот? — сказал Дауге.

— Что есть бегемот? — осведомился Моллар.

— Сэ такая лирондэй,— ответил Дауге.— Ласточка.

— О, L'hirondelle! — воскликнул Моллар.— Бегемот?

— Йес,— сказал Дауге.— Натюрлихь.

— Non, non! Только по-русску! — Он повернулся к Юрковскому.— Грегуар говорит верно?

— Ерунду порет Грегуар,— сердито проговорил Юрковский.— Чепуху.

Моллар внимательно посмотрел на него.

— Ви расстроены, Володья,— сказал он.— Я могу помочь?

— Да нет, наверное, Шарль. Надо просто искать. Ощупывать все руками, как я...

— Зачем щупать? - удивился Моллар.— Ви скажите, вид у нее какой есть. Я стану искать.

— Ха,— сказал Юрковский,— хотел бы я знать, какой у нее сейчас вид.

Моллар откинулся на спинку дивана и прикрыл глаза ладонью.

— Je ne comprand pas,— жалобно сказал он.— Я не понимаю. У нее нет вид? Или я не понимаю по-русску?

— Нет, все правильно, Шарль,— сказал Юрковский.— Вид у нее, конечно, есть. Только разный, понимаете? Когда она на потолке, она как потолок. Когда на диване — как диван...

— А когда на Грегуар, она как Грегуар,— сказал Моллар.— Ви все шутите.

— Он говорит правду,— вступился Дауге.— Варечка все время меняет окраску. Мимикрия. Она замечательно маскируется, понимаете? Мимикрия.

— Мимикрия у ласточка? — горько спросил Моллар.

В дверь опять постучали.

— Войтить! — радостно закричал Моллар.

— Войдите,— перевел Юрковский.

Вошел Жилин, громадный, румяный и немного застенчивый.

— Извините, Владимир Сергеевич,— сказал он, несколько наклоняясь вперед.— Меня...

— О! — вскричал Моллар, сверкая улыбкой. Он очень благоволил к бортинженеру.— Le petit ingénieur![1] Как жизнь, хорошё-о?

— Хорошо,— сказал Жилин.

— Как девýшки, хорошё-о?

— Хорошо,— сказал Жилин. Он уже привык.— Бон.

— Прекрасный прононс,— сказал Дауге с завистью.— Кстати, Шарль, почему вы всегда спрашиваете Ваню, как девýшки?

— Я очень люблю девýшки,— серьезно сказал Моллар.— И всегда интересуюсь как.

— Бон,— сказал Дауге.— Же ву компран.

Жилин повернулся к Юрковскому:

— Владимир Сергеевич, меня послал капитан. Через сорок минут мы пройдем через перигелий, почти в экзосфере.

Юрковский вскочил.

— Наконец-то!

— Если вы будете наблюдать, я в вашем распоряжении.

— Спасибо, Ваня,— сказал Юрковский. Он повернулся к Дауге: — Ну, Иоганыч, вперед!

— Держись, бурый Джуп,— сказал Дауге.

— Les hirondelles, les hirondelles,— запел Моллар.— А я пойду готовить обед. Сегодня я дежурный, и на обед будет суп. Ви любите суп, Ванья?

Жилин не успел ответить, потому что планетолет сильно качнуло и он вывалился в дверь, едва успев ухватиться за косяк. Юрковский споткнулся о вытянутые ноги Моллара, развалившегося на диване, и упал на Дауге. Дауге охнул.

— Ого,— сказал Юрковский.— Это метеорит.

— Встань с меня,— сказал Дауге.

---

[1] Маленький инженер *(франц.)*.

3. Бортинженер восхищается героями, а штурман обнаруживает Варечку

Тесный обсерваторный отсек был до отказа забит аппаратурой планетологов. Дауге сидел на корточках перед большим блестящим аппаратом, похожим на телевизионную камеру. Аппарат назывался экзосферным спектрографом. Планетологи возлагали на него большие надежды. Он был совсем новый — прямо с завода — и работал синхронно с бомбосбрасывателем. Матово-черный казенник бомбосбрасывателя занимал половину отсека. Возле него, в легких металлических стеллажах, тускло светились воронеными боками плоские обоймы бомбозондов. Каждая обойма содержала двадцать бомбозондов и весила сорок килограммов. По идее обоймы должны были подаваться в бомбосбрасыватель автоматически. Но фотонный грузовик «Тахмасиб» был неважно приспособлен для развернутых научных исследований, и для автоподатчика не хватило места. Бомбосбрасыватель обслуживал Жилин.

Юрковский скомандовал:

— Заряжай.

Жилин откатил крышку казенника, взялся за края первой обоймы, с натугой поднял ее и вставил в прямоугольную щель зарядной камеры. Обойма бесшумно скользнула на место. Жилин накатил крышку, щелкнул замком и сказал:

— Готов.

— Я тоже готов,— сказал Дауге.

— Михаил,— сказал Юрковский в микрофон.— Скоро?

— Еще полчасика,— послышался сиплый голосок штурмана.

Планетолет снова качнуло. Пол ушел из-под ног.

— Опять метеорит,— сказал Юрковский.— Это уже третий.

— Густо что-то,— сказал Дауге.

Юрковский спросил в микрофон:

— Михаил, микрометеоритов много?

— Много, Володенька,— ответил Михаил Антонович. Голос у него был озабоченный.— Уже на тридцать процентов выше средней плотности, и все растет и растет...

— Миша, голубчик,— попросил Юрковский.— Замеряй почаще, а?

— Замеры идут три раза в минуту,— отозвался штур-

ман. Он сказал что-то в сторону от микрофона. В ответ послышался бас Быкова: «Можно».— Володенька,— позвал штурман.— Я переключаю на десять раз в минуту.

— Спасибо, Миша,— сказал Юрковский.

Корабль опять качнуло.

– Слушай, Володя,— позвал негромко Дауге.— А ведь это нетривиально.

Жилин тоже подумал, что это нетривиально. Нигде, ни в каких учебниках и лоциях, не говорилось о повышении метеоритной плотности в непосредственной близости к Юпитеру. Впрочем, мало кто бывал в непосредственной близости к Юпитеру.

Жилин присел на станину казенника и поглядел на часы. До перииовия оставалось минут двадцать, не больше. Через двадцать минут Дауге даст первую очередь. Он говорит, что это необычайное зрелище, когда взрывается очередь бомбозондов. В позапрошлом году он исследовал такими бомбозондами атмосферу Урана. Жилин оглянулся на Дауге. Дауге сидел на корточках перед спектрографом, держась за ручки поворота,— сухой, черный, остроносый, со шрамом на левой щеке. Он то и дело вытягивал длинную шею и заглядывал то левым, то правым глазом в окуляр видоискателя, и каждый раз по его лицу пробегал оранжевый зайчик. Жилин посмотрел на Юрковского. Юрковский стоял, прижавшись лицом к нарамнику перископа, и нетерпеливо переступал с ноги на ногу. На шее у него болталось на темной ленте рубчатое яйцо микрофона. Известные планетологи Дауге и Юрковский...

Месяц назад заместитель начальника Высшей Школы Космогации Сантор Ян вызвал к себе выпускника Школы Ивана Жилина. Межпланетники звали Сантора Яна «Железный Ян». Ему было за пятьдесят, но он казался совсем молодым в синей куртке с отложным воротником. Он был бы очень красив, если бы не мертвые серо-розовые пятна на лбу и на подбородке — следы давнего лучевого удара. Сантор Ян сказал, что Третий отдел ГКМПС срочно затребовал в свое распоряжение хорошего сменного бортинженера и что Совет Школы остановил свой выбор на выпускнике Жилине (выпускник Жилин похолодел от волнения: все пять лет он боялся, что его пошлют стажером на лунные трассы). Сантор Ян сказал, что это большая честь для выпускника Жилина, потому что первое свое назначение он получает на корабль, который идет оверсаном к Юпитеру (выпускник Жилин чуть не подпрыгнул от

радости) с продовольствием для «Джей-станции» на Пятом спутнике Юпитера — Амальтее.

— Амальтее грозит голод,— сказал Сантор Ян. Вашим командиром будет прославленный межпланетник, тоже выпускник нашей Школы, Алексей Петрович Быков. Вашим старшим штурманом будет весьма опытный космогатор Михаил Антонович Крутиков. В их руках вы пройдете первоклассную практическую школу, и я чрезвычайно рад за вас.

О том, что в рейсе принимают участие Григорий Иоганнович Дауге и Владимир Сергеевич Юрковский, Жилин узнал позже, уже на ракетодроме Мирза-Чарле. Какие имена! Юрковский и Дауге, Быков и Крутиков. Богдан Спицын и Анатолий Ермаков. Страшная и прекрасная, с детства знакомая полулегенда о людях, которые бросили к ногам человечества грозную планету. О людях, которые на допотопном «Хиусе» — фотонной черепахе с одним-единственным слоем мезовещества на отражателе — прорвались сквозь бешеную атмосферу Венеры. О людях, которые нашли в черных первобытных песках Урановую Голконду — след удара чудовищного метеорита из антивещества.

Конечно, Жилин знал и других замечательных людей. Например, межпланетника-испытателя Василия Ляхова. На третьем и четвертом курсах Ляхов читал в Школе теорию фотонного привода. Он организовал для выпускников трехмесячную практику на Спу-20. Межпланетники называли Спу-20 «Звездочкой». Там было очень интересно. Там испытывались первые прямоточные фотонные двигатели. Оттуда в зону абсолютно свободного полета запускали автоматические лоты-разведчики. Там строился первый межзвездный корабль «Хиус-Молния». Однажды Ляхов привел курсантов в ангар. В ангаре висел только что прибывший фотонный танкер-автомат, который полгода назад забросили в зону абсолютно свободного полета. Танкер, огромное неуклюжее сооружение, удалялся от Солнца на расстоянии светового месяца. Всех поразил его цвет. Обшивка сделалась бирюзово-зеленой и отваливалась кусками, стоило прикоснуться к ней ладонью. Она просто крошилась, как хлеб. Но устройства управления оказались в порядке, иначе разведчик, конечно, не вернулся бы, как не вернулись три разведчика из девятнадцати запущенных в зону АСН. Курсанты спросили Ляхова, что произошло, и Ляхов ответил, что не знает. «На больших расстояниях от

Солнца есть что-то, чего мы пока не знаем»,— сказал Ляхов. И Жилин подумал тогда о пилотах, которые через несколько лет поведут «Хиус-Молнию» туда, где есть что-то, чего мы пока не знаем.

«Забавно,— подумал Жилин,— мне уже есть о чем вспоминать. Как на четвертом курсе во время зачетного подъема на геодезической ракете отказал двигатель и я вместе с ракетой свалился на совхозное поле под Новосибирском. Я несколько часов бродил среди автоматических высокочастотных плугов, пока к вечеру не наткнулся на человека. Это был оператор-телемеханик. Мы всю ночь пролежали в палатке, следя за огоньками плугов, двигающимися в темном поле, и один плуг прошел совсем близко, гудя и оставляя за собой запах озона. Оператор угощал меня местным вином, и мне, кажется, так и не удалось убедить этого веселого дядьку, что межпланетники не пьют ни капли. Утром за ракетой пришел транспортер. Железный Ян устроил мне страшный разнос за то, что я не катапультировался...

Или дипломный перелет Спу-16 Земля — Цифэй Луна, когда член экзаменационной комиссии старался сбить нас с толку и, давая вводные, кричал ужасным голосом: «Астероид третьей величины справа по курсу! Скорость сближения двадцать два!» Нас было шестеро дипломантов, и он надоел нам невыносимо — только Ив, староста, все старался нас убедить, что людям следует прощать их маленькие слабости. Мы в принципе не возражали, но слабости прощать не хотелось. Мы все считали, что перелет ерундовый, и никто не испугался, когда корабль вдруг лег в страшный вираж на четырехкратной перегрузке. Мы вскарабкались в рубку, где член комиссии делал вид, что убит перегрузкой, и вывели корабль из виража. Тогда член комиссии открыл один глаз и сказал: «Молодцы, межпланетники», и мы сразу простили ему его слабости, потому что до тех пор никто еще не называл нас серьезно межпланетниками, кроме мам и знакомых девушек. Но мамы и девушки всегда говорили: «Мой милый межпланетник», и вид у них был при этом такой, словно у них холодеет внутри...»

«Тахмасиб» вдруг тряхнуло так сильно, что Жилин опрокинулся на спину и стукнулся затылком о стеллаж.

— Черт! — сказал Юрковский.— Все это, конечно, нетривиально, но, если корабль будет так рыскать, мы не сможем работать.

— Да уж,— сказал Дауге. Он прижимал ладонь к правому глазу.— Какая уж тут работа...

По-видимому, по курсу корабля появлялось все больше крупных метеоритов, и суматошные команды противометеоритных локаторов на киберштурман все чаще бросали корабль из стороны в сторону.

— Неужели рой? — сказал Юрковский, цепляясь за нарамник перископа.— Бедная Варечка, она плохо переносит тряску.

— Ну и сидела бы дома,— злобно сказал Дауге. Правый глаз у него быстро заплывал, он ощупывал его пальцами и издавал невнятные восклицания по-латышски. Он уже не сидел на корточках, он полулежал на полу, раздвинув для устойчивости ноги.

Жилин держался, упираясь руками в казенник и стеллаж. Пол вдруг провалился под ногами, затем подпрыгнул и больно ударил по пяткам. Дауге охнул, у Жилина подломились ноги. Хриплый бас Быкова проревел в микрофон:

— Бортинженер Жилин, в рубку! Пассажирам укрыться в амортизаторах!

Жилин шатающейся рысцой побежал к двери. За его спиной Дауге сказал:

— Как так в амортизаторы?

— Черта с два! — отозвался Юрковский.

Что-то покатилось по полу с металлическим дребезгом. Жилин выскочил в коридор. Начиналось приключение.

Корабль непрерывно мотало, словно щепку на волнах. Жилин бежал по коридору и думал: этот мимо. И этот мимо. И вот этот тоже мимо, и все они мимо... За спиной вдруг раздалось пронзительное «поук-ш-ш-ш-ш...». Он бросился спиной к стене и обернулся. В пустом коридоре, шагах в десяти от него, стояло плотное облако белого пара, совершенно такое, как бывает, когда лопается баллон с жидким гелием. Шипение быстро смолкло. По коридору потянуло ледяным холодом.

— Попал, гад,— сказал Жилин и оторвался от стены. Белое облако ползло за ним, медленно оседая.

В рубке было очень холодно. Жилин увидел блестящую радугой изморозь на стенах и на полу. Михаил Антонович с багровым затылком сидел за вычислителем и тянул на себя ленту записи. Быкова видно не было. Он был за кожухом реактора.

— Опять попало? — тоненьким голосом крикнул штурман.

— Где, наконец, бортинженер? — прогудел Быков из-за кожуха.

— Я,— отозвался Жилин.

Он побежал через рубку, скользя по инею. Быков выскочил ему навстречу, рыжие волосы его стояли дыбом.

— На контроль отражателя,— сказал он.

— Есть,— сказал Жилин.

— Штурман, есть просвет?

— Нет, Леночка. Кругом одинаковая плотность. Вот ведь угораздило нас...

— Отключай отражатель. Буду выбираться на аварийных.

Михаил Антонович на вращающемся кресле торопливо повернулся к пульту управления позади себя. Он положил руку на клавиши и сказал:

— Можно было бы...

Он остановился. Лицо его перекосилось ужасом. Панель с клавишами управления изогнулась, снова выпрямилась и беспумно соскользнула на пол. Жилин услышал вопль Михаила Антоновича и в смятении выскочил из-за кожуха. На стене рубки, вцепившись в мягкую обивку, сидела полутораметровая марсианская ящерица Варечка, любимица Юрковского. Точный рисунок клавиш управления на ее боках уже начал бледнеть, но на страшной треугольной морде все еще медленно мигало красное изображение стоп-лампочки. Михаил Антонович глядел на разлинованную Варечку, всхлипывал и держался за сердце.

— Пила! — заорал Жилин.

Варечка метнулась куда-то и пропала.

— Убью! — прорычал Быков.— Жилин, на место, черт!

Жилин повернулся, и в этот момент в «Тахмасиб» попало по-настоящему.

АМАЛЬТЕЯ, «ДЖЕЙ-СТАНЦИЯ»

Водовозы беседуют о голоде, а инженер-гастроном стыдится своей кухни

После ужина дядя Валнога пришел в зал отдыха и сказал, ни на кого не глядя:

— Мне нужна вода. Добровольцы есть?

— Есть,— сказал Козлов.

Потапов поднял голову от шахматной доски и тоже сказал:

— Есть.

— Конечно, есть,— сказал Костя Стеценко.

— А мне можно? — спросила Зойка Иванова тонким голосом.

— Можно,— сказал Валнога, уставясь в потолок.— Так вы приходите.

— Сколько нужно воды? — спросил Козлов.

— Немного,— ответил дядя Валнога.— Тонн десять.

— Ладно,— сказал Козлов.— Мы сейчас.

Дядя Валнога вышел.

— Я тоже с вами,— сказал Грегор.

— Ты лучше сиди и думай над своим ходом,— посоветовал Потапов.— Ход твой. Ты всегда думаешь по полчаса над каждым ходом.

— Ничего,— сказал Грегор.— Я еще успею подумать.

— Галя, пойдем с нами,— позвал Стеценко.

Галя лежала в кресле перед магнитовидеофоном. Она лениво отозвалась:

— Пожалуй.

Она встала и сладко потянулась. Ей было двадцать восемь лет, она была высокая, смуглая и очень красивая. Самая красивая женщина на станции. Половина ребят на станции были влюблены в нее. Она заведовала астрометрической обсерваторией.

— Пошли,— сказал Козлов. Он застегнул пряжки на магнитных башмаках и пошел к двери.

Они отправились на склад и взяли там меховые куртки, электропилы и самоходную платформу.

Айсгротте — так называлось место, где станция брала воду для технических, гигиенических и продовольственных нужд. Амальтея, сплюснутый шар диаметром в сто тридцать километров, состоит из сплошного льда. Это обыкновенный водяной лед, совершенно такой же, как на Земле. И только на поверхности лед немного присыпан метеоритной пылью и каменными и железными обломками. О происхождении ледяной планетки никто не мог сказать ничего определенного. Одни — мало осведомленные в космогонии — считали, что Юпитер в оные времена содрал водяную оболочку с какой-нибудь неосторожно приблизившейся планеты. Другие были склонны относить образование Пятого спутника за счет конденсации водя-

ных кристаллов. Третьи уверяли, что Амальтея вообще не принадлежала к Солнечной системе, что она вышла из межзвездного пространства и была захвачена Юпитером. Но как бы то ни было, неограниченные запасы водяного льда под ногами — это большое удобство для «Джей-станции» на Амальтее.

Платформа проехала по коридору нижнего горизонта и остановилась перед широкими воротами айсгротте. Грегор соскочил с платформы, подошел к воротам и, близоруко вглядываясь, стал искать кнопку замка.

— Ниже, ниже,— сказал Потапов.— Филин слепой.

Грегор нашел кнопку, и ворота раздвинулись. Платформа въехала в айсгротте. Айсгротте был именно айсгротте — ледяной пещерой, тоннелем, вырубленным в сплошном льду. Три газосветные трубки освещали тоннель, но свет отражался от ледяных стен и потолка, дробился и искрился на неровностях, поэтому казалось, что айсгротте освещен многими люстрами...

Здесь не было магнитного пола, и ходить надо было осторожно. И здесь было необычайно холодно.

— Лед,— сказала Галя, оглядываясь.— Совсем как на Земле.

Зойка зябко поежилась, кутаясь в меховую куртку.

— Как в Антарктике,— пробормотала она.

— Я был в Антарктике,— объявил Грегор.

— И где только ты не был! — сказал Потапов.— Везде ты был!

— Взяли, ребята,— скомандовал Козлов.

Ребята взяли электропилы, подошли к дальней стене и стали выпиливать брусья льда. Пилы шли в лед, как горячие ножи в масло. В воздухе засверкали ледяные опилки. Зойка и Галя подошли ближе.

— Дай мне,— попросила Зойка, глядя в согнутую спину Козлова.

— Не дам,— сказал Козлов, не оборачиваясь.— Глаза повредишь.

— Совсем как снег на Земле,— заметила Галя, подставляя ладонь под струю льдинок.

— Ну, этого добра везде много,— сказал Потапов.— Например, на Ганимеде сколько хочешь снегу.

— Я был на Ганимеде,— объявил Грегор.

— С ума сойти можно,— сказал Потапов. Он выключил свою пилу и отвалил от стены огромный ледяной куб.— Вот так.

— Разрежь на части,— посоветовал Стеценко.

— Не режь,— сказал Козлов. Он тоже выключил пилу и отвалил от стены глыбу льда.— Наоборот...— Он с усилием пихнул глыбу, и она медленно поплыла к выходу из тоннеля.— Наоборот, Валюге удобнее, когда брусья крупные.

— Лед,— сказала Галя.— Совсем как на Земле. Я теперь буду всегда ходить сюда после работы.

— Вы очень скучаете по Земле? — робко спросила Зойка. Зойка была на десять лет моложе Гали, работала лаборанткой на астрометрической обсерватории и робела перед своей заведующей.

— Очень,— ответила Галя.— И вообще по Земле, Зоенька, и так хочется посидеть на траве, походить вечером по парку, потанцевать... Не наши воздушные танцы, а обыкновенный вальс. И пить из нормальных бокалов, а не из дурацких груш. И носить платье, а не брюки. Я ужасно соскучилась по обыкновенной юбке.

— Я тоже,— сказал Потапов.

— Юбка — это да,— сказал Козлов.

— Трепачи,— возразила Галя.— Мальчишки.

Она подобрала осколок льда и кинула в Потапова. Потапов подпрыгнул, ударился спиной в потолок и отлетел на Стеценко.

— Тише ты,— сердито сказал Стеценко.— Под пилу угодишь.

— Ну, довольно, наверное,— сказал Козлов. Он отвалил от стены третий брус.— Грузи, ребята.

Они погрузили лед на платформу, затем Потапов неожиданно схватил одной рукой Галю, другой рукой Зойку и забросил обеих на штабель ледяных брусьев. Зойка испуганно взвизгнула и ухватилась за Галю. Галя засмеялась.

— Поехали! — заорал Потапов.— Сейчас Валюга даст вам премию — по миске хлорелловой похлебки на нос.

— Я бы не отказался,— проворчал Козлов.

— Ты и раньше не отказывался,— заметил Стеценко.— А уж теперь, когда у нас голод...

Платформа выехала из айсгротте, и Грегор задвинул ворота.

— Разве это голод? — сказала Зойка с вершины ледяной кучи.— Вот я недавно читала книгу о войне с фашистами — вот там был действительно голод. В Ленинграде, во время блокады.

— Я был в Ленинграде,— объявил Грегор.

— Мы едим шоколад,— продолжала Зойка,— а там выдавали по полтораста граммов хлеба на день. И какого хлеба! Наполовину из опилок.

— Так уж и из опилок,— усомнился Стеценко.

— Представь себе, именно из опилок.

— Шоколад шоколадом,— сказал Козлов,— а нам туго будет, если не прибудет «Тахмасиб».

Он нес электронилу на плече, как ружье.

— Прибудет,— уверенно сказала Галя. Она спрыгнула с платформы, и Стеценко торопливо подхватил ее.— Спасибо, Костя. Обязательно прибудет, мальчики.

— Все-таки я думаю, надо предложить начальнику уменьшить суточные порции,— сказал Козлов.— Хотя бы только для мужчин.

— Чепуха какая,— сказала Зойка.— Я читала, что женщины гораздо лучше переносят голод, чем мужчины.

Они шли по коридору вслед за медленно движущейся платформой.

— Так то женщины,— сказал Потапов.— А то дети.

— Железное остроумие,— сказала Зойка.— Прямо чугунное.

— Нет, правда, ребята,— сказал Козлов.— Если Быков не прибудет завтра, надо собрать всех и спросить согласия на сокращение порций.

— Что ж,— согласился Стеценко.— Я полагаю, никто не будет возражать.

— Я не буду возражать,— объявил Грегор.

— Вот и хорошо,— сказал Потапов.— А я уж думал, как быть, если ты вдруг будешь возражать.

— Привет водовозам! — крикнул астрофизик Никольский, проходя мимо.

Галя сердито заметила:

— Не понимаю, как можно так откровенно заботиться только о своем брюхе, словно «Тахмасиб» — автомат и на нем нет ни одного живого человека.

Даже Потапов покраснел и не нашелся что сказать. Остаток пути до камбуза прошли молча. В камбузе дядя Валнога сидел понурившись возле огромной ионообменной установки для очистки воды. Платформа остановилась у входа в камбуз.

— Сгружайте,— сказал дядя Валнога, глядя в пол. В камбузе было непривычно тихо, прохладно и ничем не

пахло. Дядя Валнога мучительно переживал это запустение.

В молчании ледяные брусья были отгружены с платформы и заложены в отверстую пасть водоочистителя.

— Спасибо,— сказал дядя Валнога, не поднимая головы.

— Пожалуйста, дядя Валнога,— сказал Козлов.— Пошли, ребята.

Они молча отправились на склад, затем молча вернулись в зал отдыха. Галя взяла книжку и улеглась в кресло перед магнитовидеофоном. Стеценко нерешительно потоптался возле нее, поглядел на Козлова и Зойку, которые снова уселись за стол для занятий (Зойка училась заочно в энергетическом институте, и Козлов помогал ей), вздохнул и побрел в свою комнату. Потапов сказал Грегору:

— Ходи. Твой ход.

ГЛАВА ВТОРАЯ. ЛЮДИ НАД БЕЗДНОЙ

1. Капитан сообщает неприятную новость, а бортинженер не боится

Видимо, крупный метеорит угодил в отражатель, симметрия распределения силы тяги по поверхности параболоида мгновенно нарушилась, и «Тахмасиб» закрутило колесом. В рубке один только капитан Быков не потерял сознания. Правда, он больно ударился обо что-то головой, потом боком и некоторое время совсем не мог дышать, но ему удалось вцепиться руками и ногами в кресло, на которое его бросил первый толчок, и он цеплялся, тянулся, карабкался до тех пор, пока в конце концов не дотянулся до панели управления. Все крутилось вокруг него с необыкновенной быстротой. Откуда-то сверху вывалился Жилин и пролетел мимо, растопырив руки и ноги. Быкову показалось, что в Жилине не осталось ничего живого. Он пригнул голову к панели управления и, старательно прицелившись, ткнул пальцем в нужную клавишу.

Киберштурман включил аварийные водородные двигатели, и Быков ощутил толчок, словно поезд остановился на полном ходу, только гораздо сильнее. Быков ожидал этого и изо всех сил упирался ногами в стойку пульта, поэтому из кресла не вылетел. У него только потемнело в

глазах, и рот наполнился крошкой отбитой с зубов эмали. «Тахмасиб» выровнялся. Тогда Быков повел корабль напролом сквозь облако каменного и железного щебня. На экране следящей системы бились голубые всплески. Их было много, очень много, но корабль больше не рыскал — противометеоритное устройство было отключено и не влияло на кибершурман. Сквозь шум в ушах Быков несколько раз услышал пронзительное «поук-пш-ш-ш», и каждый раз его обдавало ледяным паром, и он втягивал голову в плечи и пригибался к самому пульту. Один раз что-то лопнуло, разлетаясь, за его спиной. Потом сигналов на экране стало меньше, потом еще меньше и, наконец, не стало совсем. Метеоритная атака окончилась.

Тогда Быков поглядел на курсограф. «Тахмасиб» падал. «Тахмасиб» шел через экзосферу Юпитера, и скорость его была намного меньше круговой, и он падал по суживающейся спирали. Он потерял скорость во время метеоритной атаки. При метеоритной атаке корабль, уклоняясь от курса, всегда теряет скорость. Так бывает в поясе астероидов во время обыденных рейсов Юпитер — Марс или Юпитер — Земля. Но там это не опасно. Здесь, над Джуном, потеря скорости означала верную смерть. Корабль сгорит, врезавшись в плотные слои атмосферы чудовищной планеты,— так было десять лет назад с Полем Данже. А если не сгорит, то провалится в водородную бездну, откуда нет возврата,— так случилось, вероятно, с Сергеем Петрушевским в начале этого года.

Вырваться можно было бы только на фотонном двигателе. Совершенно машинально Быков нажал рифленую клавишу стартера. Но ни одна лампочка не зажглась на панели управления. Отражатель был поврежден, и аварийный автомат блокировал неразумный приказ. «Это конец»,— подумал Быков. Он аккуратно развернул корабль и включил на полную мощность аварийные двигатели. Пятикратная перегрузка вдавила его в кресло. Это было единственное, что он мог сейчас сделать,— сократить скорость падения корабля до минимума, чтобы не дать ему сгореть в атмосфере. Тридцать секунд он сидел неподвижно, уставясь на свои руки, быстро отекавшие от перегрузки. Потом он уменьшил подачу горючего, и перегрузка пропала. Аварийные двигатели будут понемногу тормозить падение — пока хватит горючего. А горючего немного. Еще никого и никогда аварийные ракеты не спасали над Юпи-

тером. Над Марсом, над Меркурием, над Землей — может быть, но не над планетой-гигантом.

Быков тяжело поднялся и заглянул через пульт. На полу, среди пластмассовых осколков, лежал животом вверх штурман Михаил Антонович Крутиков.

— Миша,— позвал Быков почему-то шепотом.— Ты жив, Миша?

Послышался скребущий звук, и из-за кожуха реактора выполз на четвереньках Жилин. Жилин тоже плохо выглядел. Он задумчиво поглядел на капитана, на штурмана, на потолок и сел, поджав ноги.

Быков выбрался из-за пульта и опустился рядом со штурманом на корточки, с трудом согнув ноги в коленях.

Он потрогал штурмана за плечо и снова позвал:

— Ты жив, Миша?

Лицо Михаила Антоновича сморщилось, и он, не открывая глаз, облизнул губы.

— Лешенька,— сказал он слабым голосом.

— У тебя болит что-нибудь? — спросил Быков и принялся ощупывать штурмана.

— О! — сказал штурман и широко раскрыл глаза.

— А здесь?

— У! — сказал штурман болезненным голосом.

— А здесь?

— Ой, не надо! — сказал штурман и сел, упираясь руками в пол. Голова его склонилась к плечу.— А где Ванюша? — спросил он.

Быков оглянулся. Жилина не было.

— Ваня! — негромко окликнул Быков.

— Здесь,— отозвался Жилин из-за кожуха. Было слышно, как он уронил что-то и шепотом чертыхается.

— Иван жив,— сообщил Быков штурману.

— Ну и славу богу,— сказал Михаил Антонович и, ухватившись за плечо капитана, поднялся на ноги.

— Ты как, Миша? — спросил Быков.— В состоянии?

— В состоянии,— неуверенно сказал штурман, держась за него.— Кажется, в состоянии.— Он посмотрел на Быкова удивленными глазами и сказал: — До чего же живуч человек, Лешенька... Ох, до чего живуч!

— Н-да,— сказал Быков неопределенно.— Живуч. Слушай, Михаил...— Он помолчал.— Дела наши нехороши. Мы, брат, падаем. Если ты в состоянии, садись и посчитай, как и что. Вычислитель, по-моему, уцелел.— Он посмотрел на вычислитель.— Впрочем, посмотри сам.

Глаза Михаила Антоновича стали совсем круглыми.

— Падаем? — сказал он.— Ах, вот как! Падаем. На Юпитер падаем?

Быков молча кивнул.

— Ай-яй-яй! — сказал Михаил Антонович.— Надо же! Хорошо. Сейчас. Я сейчас.

Он постоял немного, морщась и ворочая шеей, потом отпустил капитана и, ухватившись за край пульта, заковылял к своему месту.

— Сейчас посчитаю,— бормотал он.— Сейчас.

Быков смотрел, как он, держась за бок, усаживается в кресло и устраивается поудобнее. Кресло было заметно перекошено. Устроившись, Михаил Антонович вдруг испуганно посмотрел на Быкова и спросил:

— Но ведь ты притормозил, Алеша? Ты затормозил?

Быков кивнул и пошел к Жилину, хрустя осколками на полу. На потолке он увидел небольшое черное пятно и еще одно у самой стены. Это были метеоритные пробоины, затянутые смолопластом. Вокруг пятен дрожали крупные капли осевшей влаги.

Жилин сидел по-турецки перед комбайном контроля отражателя. Кожух комбайна был расколот пополам. Внутренности комбайна выглядели неутешительно.

— Что у тебя? — спросил Быков. Он видел что.

Жилин поднял опухшее лицо.

— Подробностей я еще не знаю,— ответил он.— Но ясно, что вдребезги.

Быков присел рядом.

— Одно метеоритное попадание,— сказал Жилин.— И два раза я въехал сюда сам.— Он показал пальцем, куда он въехал, но это было и так видно.— Один раз в самом начале ногами и потом в самом конце головой.

— Да,— сказал Быков.— Этого никакой механизм не выдержит. Ставь запасной комплект. И вот что. Мы падаем.

— Я слышал, Алексей Петрович,— сказал Жилин.

— Собственно,— произнес Быков задумчиво,— что толку в контрольном комбайне, если разбит отражатель?

— А может быть, не разбит? — сказал Жилин.

Быков поглядел на него, усмехаясь.

— Такая карусель,— сказал он,— может объясняться только двумя причинами. Или — или. Или почему-то выскочила из фокуса точка сгорания плазмы, или откололся большой кусок отражателя. Я думаю, что разбит отражатель, потому что Бога нет и точку сгорания перемещать

некому. Но ты все-таки валяй. Ставь запасной комплект.— Он поднялся и, задрав голову, осмотрел потолок.— Надо еще хорошенько закрепить пробоины. Там внизу большое давление. Смолопласт выдавит. Ну, это я сам.— Он повернулся, чтобы идти, но остановился и спросил негромко: — Не боишься, малек?

В Школе мальками называли первокурсников и вообще младших.

— Нет,— сказал Жилин.

— Хорошо. Работай,— сказал Быков.— Пойду осмотрю корабль. Надо еще пассажиров из амортизаторов вынуть.

Жилин промолчал. Он проводил взглядом широкую сутулую спину капитана и вдруг совсем рядом увидел Варечку. Варечка стояла столбиком и медленно мигала выпуклыми глазами. Она была вся синяя в белую крапинку, и шипы у нее на морде страшно щетинились. Это означало, что Варечка очень раздражена и чувствует себя *нехорошо. Жилин уже видел ее однажды в таком состоянии.* Это было на ракетодроме Мирза-Чарле месяц назад, когда Юрковский много говорил об удивительной приспособляемости марсианских ящериц и в доказательство окунал Варечку в ванну с кипятком.

Варечка судорожно разинула и снова закрыла огромную серую пасть.

— Ну что? — негромко спросил Жилин.

С потолка сорвалась крупная капля и — тик! — упала на расколотый кожух комбайна. Жилин посмотрел на потолок. Там, внизу, большое давление. «Да,— подумал он,— там давление в десятки и сотни тысяч атмосфер. Смолопластовые пробки, конечно, выдавит».

Варечка шевельнулась и снова разинула пасть. Жилин пошарил в кармане, нашел галету и бросил ее в разинутую пасть. Варечка медленно глотнула и уставилась на него стеклянными глазами. Жилин вздохнул.

— Эх ты, бедолага,— сказал он тихо.

2. Планетологи виновато молчат, а радиооптик поет песенку про ласточек

Когда «Тахмасиб» перестал кувыркаться, Дауге отцепился от казенника и выволок бесчувственное тело Юрковского из-под обломков аппаратуры. Он не успел заметить, что разбито и что уцелело, заметил только, что разбито

многое. Стеллаж с обоймами перекосило, и обоймы вывалились на приборную панель радиотелескопа. В обсерваторном отсеке было жарко и сильно пахло горелым.

Дауге отделался сравнительно легко. Он сразу же мертвой хваткой ухватился за казенник, и у него только кровь выступила под ногтями и сильно болела голова. Юрковский был бледен, и веки у него были сиреневые. Дауге подул ему в лицо, потряс за плечи, похлопал по щекам. Голова Юрковского бессильно болталась, и в себя он не приходил. Тогда Дауге поволок его в медицинский отсек. В коридоре оказалось страшно холодно, на стенах искрился иней. Дауге положил голову Юрковского к себе на колени, наскреб со стены немного инея и приложил холодные мокрые пальцы к его вискам. В этот момент его застала перегрузка — когда Быков начал тормозить «Тахмасиб». Тогда Дауге лег на спину, но ему стало так плохо, что он перевернулся на живот и стал водить лицом по заиндевевшему полу. Когда перегрузка кончилась, Дауге полежал еще немного, затем поднялся и, взяв Юрковского под мышки, пятясь, поволок дальше. Но он сразу понял, что до медотсека ему не добраться, поэтому затащил Юрковского в кают-компанию, взвалил его на диван и сел рядом, соня и отдуваясь. Юрковский страшно хрипел.

Отдохнув, Дауге поднялся и подошел к буфету. Он взял графин с водой и стал пить прямо из горлышка. Вода побежала по подбородку, по шее, потекла за воротник, и это было очень приятно. Он вернулся к Юрковскому и побрызгал из графина ему на лицо. Потом он поставил графин на пол и расстегнул на Юрковском куртку. Он увидел странный ветвистый рисунок на коже, бегущий через грудь от плеча до плеча. Рисунок был похож на силуэт каких-то диковинных водорослей — темно-багровый на смуглой коже. Некоторое время Дауге тупо разглядывал странный рисунок, а затем вдруг сообразил, что это след сильного электрического удара. Видимо, Юрковский упал на обнаженные контакты под высоким напряжением. Вся измерительная аппаратура планетологов работала под высоким напряжением. Дауге побежал в медицинский отсек.

Он сделал четыре инъекции, и только тогда Юрковский открыл наконец глаза. Глаза были тусклые и смотрели довольно бессмысленно, но Дауге очень обрадовался.

— Фу ты, черт, Владимир,— сказал он с облегчением,— я уж думал, что дело совсем плохо. Ну как ты, встать можешь?

Юрковский пошевелил губами, открыл рот и захрипел. Глаза его приобрели осмысленное выражение, брови сдвинулись.

— Ладно, ладно, лежи,— сказал Дауге.— Тебе надо немного полежать.

Он оглянулся и увидел в дверях Шарля Моллара. Моллар стоял, держась за косяк, и слегка покачивался. Лицо у него было красное, распухшее, и он был весь мокрый и обвешан какими-то белыми сосульками. Дауге даже показалось, что от него идет пар. Несколько минут Моллар молчал, переводя печальный взгляд с Дауге на Юрковского, а планетологи озадаченно глядели на него. Юрковский перестал хрипеть. Потом Моллар сильно качнулся вперед, перешагнул через комингс и, быстро семеня ногами, подобрался к ближайшему креслу. У него был мокрый и несчастный вид, и, когда он сел, по каюте прошла волна вкусного запаха вареного мяса. Дауге пошевелил носом.

— Это суп? — осведомился он.

— Oui, monsieur,— печально сказал Моллар.— Вермишель.

— И как суп? — спросил Дауге.— Хорошё-о?

— Хорошё-о,— сказал Моллар и стал собирать с себя вермишель.

— Я очень люблю суп,— пояснил Дауге.— И всегда интересуюсь как.

Моллар вздохнул и улыбнулся.

— Больше нет суп,— сказал он.— Это биль очень горячий суп. Но это биль уже не кипьяток.

— Боже мой! — сказал Дауге и все-таки захохотал.

Моллар тоже засмеялся.

— Да! — закричал он.— Это биль очень забавно, но очень неудобно, и суп пропал весь.

Юрковский захрипел. Лицо его перекосилось и налилось кровью. Дауге встревоженно повернулся к нему.

— Вольдемар сильно ушибся? — спросил Моллар. Вытянув шею, он с опасливым любопытством глядел на Юрковского.

— Вольдемара ударило током,— сказал Дауге. Он больше не улыбался.

— Но что произошло? — сказал Моллар.— Било так неудобно...

Юрковский перестал хрипеть, сел и, страшно оскалясь, стал копаться в нагрудном кармане куртки.

— Что с тобой, Володька? — растерянно спросил Дауге.

— Вольдемар не может говорить,— тихо сказал Моллар.

Юрковский торопливо закивал, вытащил авторучку и блокнот и стал писать, дергая головой.

— Ты успокойся, Володя,— пробормотал Дауге.— Это немедленно пройдет.

— Это пройдет,— подтвердил Моллар.— Со мною тоже было так. Биль очень большой ток, и потом все прошло.

Юрковский отдал блокнот Дауге, снова лег и прикрыл глаза.

— «Говорить не могу»,— с трудом разобрал Дауге.— Ты не волнуйся, Володя, это пройдет.

Юрковский нетерпеливо дернулся.

— Так. Сейчас. «Как Алексей и пилоты? Как корабль?» Не знаю,— растерянно сказал Дауге и поглядел на люк в рубку.— Фу, черт, я обо всем забыл.

Юрковский мотнул головой и тоже посмотрел на люк в рубку.

— Я узнаю,— сказал Моллар.— Я все сейчас буду познать.

Он встал с кресла, но люк распахнулся, и в кают-компанию шагнул капитан Быков, огромный, взъерошенный, с ненормально лиловым носом и иссиня-черным синяком над правой бровью. Он оглядел всех свирепыми маленькими глазками, подошел к столу, уперся в стол кулаками и сказал:

— Почему пассажиры не в амортизаторах?

Это было сказано негромко, но так, что Шарль Моллар сразу перестал радостно улыбаться. Наступила короткая тяжелая тишина, и Дауге неловко, кривовато усмехнулся и стал глядеть в сторону, а Юрковский снова прикрыл глаза. «А дела-то неважные»,— подумал Юрковский. Он хорошо знал Быкова.

— Когда на этом корабле будет дисциплина? — сказал Быков.

Пассажиры молчали.

— Мальчишки,— сказал Быков с отвращением и сел.— Бедлам. Что с вами, мсье Моллар? — спросил он устало.

— Это суп,— с готовностью сказал Моллар.— Я немедленно пойду почиститься.

— Подождите, мсье Моллар,— сказал Быков.

— Кх... де мы? — прохрипел Юрковский.

— Падаем,— коротко сказал Быков.

Юрковский вздрогнул и поднялся.

— Кх... уда? — спросил он. Он ждал этого, но все-таки вздрогнул.

— В Юпитер,— сказал Быков. Он не смотрел на планетологов. Он смотрел на Моллара. Ему было очень жалко Моллара. Моллар был в первом своем настоящем космическом рейсе, и его очень ждали на Амальтее. Моллар был замечательным радиооптиком.

— О,— сказал Моллар,— в Юпитер?

— Да.— Быков помолчал, ощупывая синяк на лбу.— Отражатель разбит. Контроль отражателя разбит. В корабле восемнадцать пробоин.

— Гореть будем? — быстро спросил Дауге.

— Пока не знаю. Михаил считает. Может быть, не сгорим.

Он замолчал. Моллар сказал:

— Пойду почиститься.

— *Погодите, Шарль,— сказал Быков.*— Товарищи, вы хорошо поняли, что я сказал? Мы падаем в Юпитер.

— Поняли,— сказал Дауге.

— Теперь мы будем падать в Юпитер всю нашу жизнь,— сказал Моллар.

Быков искоса глядел на него, не отрываясь.

— Х-хорошо ска-азано,— сказал Юрковский.

— C'est le mot[1],— сказал Моллар. Он улыбался.— Можно... Можно я все-таки пойду чистить себя?

— Да, идите,— *медленно сказал Быков.*

Моллар повернулся и пошел из кают-компании. Все глядели ему вслед. Они услышали, как в коридоре он запел слабым, но приятным голосом.

— Что он поет? — спросил Быков. Моллар никогда не пел раньше.

Дауге прислушался и стал переводить:

— «Две ласточки целуются за окном моего звездолета. В пустоте-те-те-те. И как их туда занесло. Они очень *любили* друг друга и *сиганули* туда *полюбоваться* на звезды. Тра-ля-ля. И какое вам дело до них». Что-то в этом роде.

— Тра-ля-ля,— задумчиво сказал Быков.— Здорово.

— Т-ты п-пе-ереводишь, к-как ЛИАНТО,— сказал Юрковский.— «С-сиганули» — ш-шедевр.

---

[1] Хорошо сказано *(франц.)*.

Быков поглядел на него с изумлением.

— Ты что это, Владимир? — спросил он.— Что с тобой?

— З-заика и-на-а всю жизнь,— ответил Юрковский, усмехаясь.

— Его ударило током,— сказал тихо Дауге.

Быков пожевал губами.

— Ничего,— сказал он.— Не мы первые. Бывало и похуже.

Он знал, что хуже еще никогда не бывало. Ни с ним, ни с планетологами.

Из полуоткрытого люка раздался голос Михаила Антоновича:

— *Алешенька, готово!*

— Поди сюда,— сказал Быков.

Михаил Антонович, толстый и исцарапанный, ввалился в кают-компанию. Он был без рубашки и лоснился от пота.

— *Ух, как тут у вас холодно! — сказал он, обхватывая* толстую грудь короткими пухлыми ручками.— А в рубке ужасно жарко.

— Давай, Михаил,— нетерпеливо сказал Быков.

— А что с Володенькой? — испуганно спросил штурман.

— Давай, давай,— повторил Быков.— Током его ударило.

— А где Шарль? — спросил штурман, усаживаясь.

— Шарль жив и здоров,— ответил Быков, сдерживаясь.— *Все живы и здоровы. Начинай.*

— Ну и слава богу,— сказал штурман.— Так вот, мальчики. Я здесь немножко посчитал, и получается вот какая картина. «Тахмасиб» падает, и горючего, чтобы вырваться, нам не хватит.

— *Ясно даже и ежу,— сказал Юрковский.*

— Не хватит. Вырваться можно только на фотореакторе, но у нас, кажется, разбит отражатель. А вот на торможение горючего хватит. Вот я рассчитал программу. Если общепринятая теория строения Юпитера верна, мы не сгорим.

Дауге хотел сказать, что общепринятой теории строения Юпитера не существует и никогда не существовало, но промолчал.

— Мы уже сейчас хорошо тормозимся,— продолжал Михаил Антонович.— Так что, по-моему, провалимся мы

благополучно. А больше сделать ничего нельзя, мальчики.— Михаил Антонович виновато улыбнулся.— Если, конечно, мы не исправим отражатель.

— На Юпитере нет ремонтных станций. Это следует из всех теорий Юпитера.— Быкову хотелось, чтобы они все-таки поняли. До конца поняли. Ему все еще казалось, что они не понимают.

— Какую теорию строения ты считаешь общепринятой? — спросил Дауге.

Михаил Антонович пожал плечиком.

— Теорию Кангрена,— сказал он.

Быков выжидающе уставился на планетологов.

— Ну что ж,— сказал Дауге.— Можно и Кангрена.

Юрковский молчал, глядя в потолок.

— Слушайте, планетологи,— не выдержал Быков,— специалисты. Что будет там, внизу? Вы можете нам это сказать?

— Да, конечно,— сказал Дауге.— Это мы тебе скоро скажем.

— Когда? — Быков оживился.

— Когда будем там, внизу,— сказал Дауге. Он засмеялся.

— Планетологи,— сказал Быков.— Спе-ци-а-лис-ты.

— Н-надо рассчитать,— сказал Юрковский, глядя в потолок. Он говорил медленно и почти не заикался.— Пусть М-михаил рассчитает, на какой глубине к-корабль перестанет проваливаться и п-повиснет.

— Интересно,— сказал Михаил Антонович.

— П-по Кангрену, давление в Юпитере р-растет быстро. П-подсчитай, Михаил, и выясни г-глубину погружения, д-давление на этой глубине и силу т-тяжести.

— Да,— сказал Дауге.— Какое будет давление? Может быть, нас просто раздавит.

— Ну, не так это просто,— проворчал Быков.— Двести тысяч атмосфер мы выдержим. А фотонный реактор и корпуса ракет и того больше.

Юрковский сел, согнув ноги.

— Т-теория Кангрена не хуже других,— сказал он.— Она даст порядок величин.— Он посмотрел на штурмана.— М-мы могли бы п-подсчитать сами, но у тебя в-вычислитель.

— Ну, конечно,— сказал Михаил Антонович.— Ну о чем говорить? Конечно, мальчики.

Быков попросил:

— Михаил, давай сюда программу, я погляжу, и вводи ее в киберштурман.

— Я уже ввел, Лешенька,— виновато ответил штурман.

— Ага,— сказал Быков.— Ну что ж, хорошо.— Он поднялся.— Так, теперь все ясно. Нас, конечно, не раздавит, но назад мы уже не вернемся — давайте говорить прямо. Ну, не мы первые. Честно жили, честно и умрем. Я с Жилиным попробую что-нибудь сделать с отражателем, но это... так...— Он сморщился и покрутил распухшим носом.— Что намерены делать вы?

— Н-наблюдать,— жестко сказал Юрковский.

Дауге кивнул.

— Очень хорошо.— Быков поглядел на них исподлобья.— У меня к вам просьба. Присмотрите за Молларом.

— Да-да,— подтвердил Михаил Антонович.

— Он человек новый, и... бывают нехорошие вещи... вы знаете.

— *Ладно, Лева,— сказал Дауге, бодро улыбаясь.*— Будь спокоен.

— Вот так,— сказал Быков.— Ты, Миша, поди в рубку и сделай все расчеты, а я схожу в медчасть, помассирую бок. Что-то я здорово расшибся.

Выходя, он услышал, как Дауге говорил Юрковскому:

— В известном смысле нам повезло, Володька. Мы кое-что увидим, чего никто не видел. Пойдем чипиться.

— П-пойдем,— сказал Юрковский.

«Ну, меня вы не обманете,— подумал Быков.— Вы все-таки еще не поняли. Вы все-таки еще верите. Вы думаете: Алексей вытащил нас из Черных Песков Голконды, Алексей вытащил нас из гнилых болот, он вытащит нас из водородной могилы. Дауге — тот наверняка так думает. А Алексей вытащит? А может быть, Алексей все-таки *вытащит?*»

В медицинском отсеке Моллар, дыша носом от боли, мазался жирной таниновой мазью. У него было красное лоснящееся лицо и красные лоснящиеся руки. Увидев Быкова, он приветливо улыбнулся и громко запел про ласточек: он почти успокоился. Если бы он не запел про ласточек, Быков мог бы считать, что он успокоился по-настоящему. Но Моллар пел громко и старательно, время от времени шипя от боли.

3. Бортинженер предается воспоминаниям, а штурман советует не вспоминать

Жилин ремонтировал комбайн контроля отражателя. В рубке было очень жарко и душно, по-видимому, система кондиционирования по кораблю была совершенно расстроена, но заниматься ею не было ни времени, ни, главное, желания. Сначала Жилин сбросил куртку, затем комбинезон и остался в трусах и сорочке. Варечка тут же устроилась в складках сброшенного комбинезона и вскоре исчезла — осталась только ее тень да иногда появлялись и сразу же исчезали большие выпуклые глаза.

Жилин одну за другой вытаскивал из исковерканного корпуса комбайна пластметалловые пластины печатных схем, прозванивал уцелевшие, откладывал в сторону расколотые и заменял их запасными. Работал он методически, неторопливо, как на зачетной сборке, потому что спешить было некуда и потому что все это было, по-видимому, ни к чему. Он старался ни о чем не думать и только радовался, что очень хорошо помнит общую схему, что ему почти не приходится заглядывать в руководство, что расшибся он не так уж сильно и ссадины на голове подсохли и совсем не болят. За кожухом фотореактора жужжал вычислитель. Михаил Антонович шуршал бумагой и мурлыкал себе под нос что-то немузыкальное. Михаил Антонович всегда мурлыкал себе под нос, когда работал.

«Интересно, над чем он работает сейчас? — подумал Жилин.— Может быть, просто старается отвлечься. Это очень хорошо — уметь отвлечься в такие минуты. Планетологи, наверное, тоже работают, сбрасывают бомбозонды. Так мне и не удалось увидеть, как взрывается очередь бомбозондов. И еще многого мне не удалось увидеть. Например, говорят, что очень хорош Юпитер с Амальтеи. И мне очень хотелось участвовать в межзвездной экспедиции или в какой-нибудь экспедиции Следопытов — ученых, которые ищут на других планетах следы пришельцев из других миров... Потом говорят, что на «Джей-станциях» есть славные девушки, и хорошо было бы с ними познакомиться, а потом рассказать об этом Пере Хунту, который получил распределение на лунные трассы и был этому рад, чудак. Забавно, Михаил Антонович фальшивит, словно нарочно. У него жена и двое детей... Нет, трое, и старшей дочке уже шестнадцать лет,— он все обещал нас познакомить и каждый раз этак залихватски подмигивал, но по-

знакомиться теперь уже не придется. Многое теперь уже не придется. Отец будет очень расстроен — ах, как нехорошо! Как это все нескладно получилось — в первом же самостоятельном рейсе! Хорошо, что я тогда поссорился с ней,— подумал вдруг Жилин.— Теперь все проще, а могло бы быть очень сложно. Вот Михаилу Антоновичу гораздо хуже, чем мне. И капитану хуже, чем мне. У капитана жена — очень красивая женщина, веселая и, кажется, умница. Она провожала его и ни о чем таком не думала, а может быть, и думала, но это было незаметно, но, скорее всего, не думала, потому что уже привыкла. Человек ко всему может привыкнуть. Я, например, привык к перегрузкам, хотя сначала было очень плохо, и я думал даже, что меня переведут на факультет дистанционного управления. В Школе это называлось «отправиться к девочкам»: на факультете было много девушек, обыкновенных хороших девушек, с ними всегда было весело и интересно, но все-таки «отправиться к девочкам» считалось зазорным. Совершенно непонятно почему. Девушки шли работать на разные Спу и на станции и базы на других планетах и работали не хуже ребят. Иногда даже лучше. Все равно,— подумал Жилин,— очень хорошо, что мы тогда поссорились. Каково бы ей сейчас было!» Он вдруг бессмысленно уставился на треснувшую пластину печатной схемы, которую держал в руках.

«...Мы целовались в Большом Парке и потом на набережной под белыми статуями, и я провожал ее домой, и мы долго еще целовались в парадном, и по лестнице все время почему-то ходили люди, хотя было уже поздно. И она очень боялась, что вдруг пройдет мимо ее мама и спросит: «А что ты здесь делаешь, Валя, и кто этот молодой человек?» Это было летом, в белые ночи. И потом я приехал на зимние каникулы, и мы снова встретились, и все было, как раньше, только в парке лежал снег и голые сучья шевелились на низком сером небе. Поднимался ветер, нас заносило порошей, мы совершенно закоченели и побежали греться в кафе на улице Межпланетников. Мы очень обрадовались, что там совсем нет народу, сели у окна и смотрели, как по улице проносятся автомобили. Я поспорил, что знаю все марки автомобилей, и проспорил: подошла великолепная приземистая машина, и я не знал, что это такое. Я вышел узнать, и мне сказали, что это «Золотой Дракон», новый японский атомокар. Мы спорили на три желания. Тогда казалось, что это самое главное, что это

будет всегда — и зимой, и летом, и на набережной под белыми статуями, и в Большом Парке, и в театре, где она была очень красивая в черном платье с белым воротником и все время толкала меня в бок, чтобы я не хохотал слишком громко. Но однажды она не пришла, как мы договорились, и я по видеофону условился снова, и она опять не пришла и перестала писать мне письма, когда я вернулся в Школу. Я все не верил и писал длинные письма, очень глупые, но тогда я еще не знал, что они глупые. А через год я увидел ее в нашем клубе. Она была с какой-то девчонкой и не узнала меня. Мне показалось тогда, что все пропало, но это прошло к концу пятого курса, и непонятно даже, почему это мне сейчас все вспомнилось. Наверное, потому, что теперь все равно. Я мог бы и не думать об этом, но раз уж все равно...»

Гулко хлопнул люк. Голос Быкова сказал:

— Ну что, Михаил?

— Заканчиваем первый виток, Алешенька. Упали на пятьсот километров.

— Так...— Было слышно, как по полу пнули пластмассовыми осколками.— Так, значит. Связи с Амальтеей, конечно, нет.

— Приемник молчит,— вздохнув, сказал Михаил Антонович.— Передатчик работает, но ведь здесь такие радиобури...

— Что твои расчеты?

— Я уже почти кончил, Алешенька. Получается так, что мы провалимся на шесть-семь мегаметров и там повиснем. Будем плавать, как говорит Володя. Давление огромное, но нас не раздавит, это ясно. Только будет очень тяжело — там сила тяжести два — два с половиной «же».

— Угу,— сказал Быков. Он некоторое время молчал, затем сказал: — У тебя какая-нибудь идея есть?

— Что?

— Я говорю, у тебя какая-нибудь идея есть? Как отсюда выбраться?

— Что ты, Алешенька! — Штурман говорил ласково, почти заискивающе.— Какие уж тут идеи! Это же Юпитер. Я как-то даже и не слыхал, чтобы отсюда... выбирались.

Наступило долгое молчание. Жилин снова принялся работать, быстро и бесшумно. Потом Михаил Антонович вдруг сказал:

— Ты не вспоминай о ней, Алешенька. Тут уж лучше не вспоминать, а то так гадко становится, право...

— А я и не вспоминаю,— сказал Быков неприятным голосом.— И тебе, штурман, не советую. Иван! — заорал он.

— Да? — откликнулся Жилин, заторопившись.

— Ты все возишься?

— Сейчас кончаю.

Было слышно, как капитан идет к нему, пиная пластмассовые осколки.

— Мусор,— бормотал он.— Кабак. Бедлам.

Он вышел из-за кожуха и опустился рядом с Жилиным на корточки.

— Сейчас кончаю,— повторил Жилин.

— А ты не торопишься, бортинженер,— сказал Быков сердито.

Он засопел и принялся вытаскивать из футляра запасные блоки. Жилин подвинулся немного, чтобы освободить ему место. Они оба были широкие и громадные, и им было немного тесно перед комбайном. Работали молча и быстро, и было слышно, как Михаил Антонович снова запустил вычислитель и замурлыкал.

Когда сборка окончилась, Быков позвал:

— Михаил, иди сюда.

Он выпрямился и вытер пот со лба. Потом отодвинул ногой груду битых пластин и включил общий контроль. На экране комбайна вспыхнула трехмерная схема отражателя. Изображение медленно поворачивалось.

— Ой-ёй-ёй,— сказал Михаил Антонович.

Тик-тик-тик — поползла из вывода голубая лента записи.

— А микропробоин мало,— негромко сказал Жилин.

— Что микропробоины,— сказал Быков и нагнулся к самому экрану.— Вот где главная-то сволочь.

Схема отражателя была окрашена в синий цвет. На синем белели рваные пятна. Это были места, где либо пробило слои мезовещества, либо разрушило систему контрольных ячеек. Белых пятен было много, а на краю отражателя они сливались в неровную белую кляксу, занимавшую не менее восьмой части поверхности параболоида.

Михаил Антонович махнул рукой и вернулся к вычислителю.

— Петарды пускать таким отражателем,— пробормотал Жилин.

Он потянулся за комбинезоном, вытряхнул из него Варечку и принялся одеваться: в рубке снова стало холодно. Быков все еще стоял, глядел на экран и грыз ноготь. Потом он подобрал ленту записи и бегло просмотрел ее.

— Жилин,— сказал вдруг он.— Бери два сигма-тестера, проверь питание и ступай в кессон. Я буду тебя там ждать. Михаил, бросай все и займись креплением пробоин. Все бросай, я сказал.

— Куда ты собрался, Лешенька? — спросил Михаил Антонович с удивлением.

— Наружу,— коротко ответил Быков и вышел.

— Зачем? — спросил Михаил Антонович, повернувшись к Жилину.

Жилин пожал плечами. Он не знал зачем. Починить зеркало в Пространстве, в рейсе, без специалистов-мезохимиков, без огромных кристаллизаторов, без реакторных печей просто немыслимо. Так же немыслимо, как, например, притянуть Луну к Земле голыми руками. А в таком виде, в таком состоянии, как сейчас, с отбитым краем, отражатель мог придать «Тахмасибу» только вращательное движение. Такое же, как в момент катастрофы.

— Чепуха какая-то,— сказал Жилин нерешительно.

Он посмотрел на Михаила Антоновича, а Михаил Антонович посмотрел на него. Они молчали, и вдруг оба страшно заторопились. Михаил Антонович суетливо собрал свои листки и поспешно сказал:

— Ну, иди. Иди, Ванюша, ступай скорее.

В кессоне Быков и Жилин влезли в пустолазные скафандры и с некоторым трудом втиснулись в лифт. Коробка лифта стремительно понеслась вниз вдоль гигантской трубы фотореактора, на которую нанизывались все узлы корабля — от жилой гондолы до параболического отражателя.

— Хорошо,— сказал Быков.

— Что хорошо? — спросил Жилин.

Лифт остановился.

— Хорошо, что лифт работает,— ответил Быков.

— А...— разочарованно вздохнул Жилин.

— Мог бы и не работать,— строго сказал Быков.— Лез бы ты тогда двести метров туда и обратно.

Они вышли из шахты лифта и остановились на верхней площадке параболоида. Вниз покато уходил черный рубча-

тый купол отражателя. Отражатель был огромен — семьсот пятьдесят метров в длину и полкилометра в растворе. Края его не было видно отсюда. Над головой нависал громадный серебристый диск грузового отсека. По сторонам его, далеко выпесенные на кронштейнах, полыхали беспумным голубым пламенем жерла водородных ракет. А вокруг страшно мерцал необычайный и грозный мир.

Слева тянулась стена рыжего тумана. Далеко внизу, невообразимо глубоко под ногами, туман расслаивался на жирные тугие ряды облаков с темными прогалинами между ними. Еще дальше и еще глубже эти облака сливались в плотную коричневатую гладь. Справа стояло сплошное розовое марево, и Жилин вдруг увидел Солнце — ослепительный ярко-розовый маленький диск.

— Начали,— сказал Быков. Он сунул Жилину моток тонкого троса.— Закрепи в шахте,— сказал он.

На другом конце троса он сделал петлю и затянул ее вокруг пояса. Затем он повесил себе на шею оба тестера и перекинул ногу через перила.

— Вытравливай понемногу,— сказал он.— Я пошел.

Жилин стоял возле самых перил, вцепившись в трос обеими руками, и смотрел, как толстая неуклюжая фигура в блестящем панцире медленно сползает за выпуклость купола. Панцирь отсвечивал розовым, и на черном рубчатом куполе тоже лежали неподвижные розовые блики.

— Живее вытравливай,— сказал в шлемофоне сердитый голос Быкова.

Фигура в панцире скрылась, и на рубчатой поверхности осталась только блестящая тугая нитка троса. Жилин стал смотреть на Солнце. Иногда розовый диск затягивала мгла, тогда он становился еще более резким и совсем красным. Жилин поглядел под ноги и увидел на площадке свою смутную розоватую тень.

— Гляди, Иван,— сказал голос Быкова.— Вниз гляди, вниз!

Жилин поглядел. Глубоко внизу из коричневой глади страшным призраком выплыл исполинский белесый бугор, похожий на чудовищную поганку. Он медленно раздавался вширь, и можно было различить на его поверхности шевелящийся, словно клубок змей, струйчатый узор.

— Экзосферный протуберанец,— сказал Быков.—

Большая редкость, кажется. Вот черт, надо бы ребятам показать.

Он имел в виду планетологов. Бугор вдруг засветился изнутри дрожащим сиреневым светом.

— Ух ты!..— невольно сказал Жилин.

— Вытравливай,— сказал Быков.

Жилин вытравил еще немного троса, не спуская глаз с протуберанца. Сначала ему показалось, что «Тахмасиб» летит прямо на протуберанец, но через минуту он понял, что корабль пройдет гораздо левее. Протуберанец оторвался от коричневой глади и поплыл в розовое марево, волоча за собой клейкий хвост желтых прозрачных нитей. В нитях опять вспыхнуло сиреневое зарево и быстро погасло. Протуберанец растаял в розовом свете.

Быков работал долго. Несколько раз он поднимался на площадку, немного отдыхал и снова спускался, каждый раз выбирая новое направление. Когда он поднялся в третий раз, у него был только один тестер.

— Уронил,— коротко сказал он.

Жилин терпеливо вытравливал трос, упираясь ногой в перила. В таком положении он чувствовал себя очень устойчиво и мог озираться по сторонам. Но по сторонам ничего не менялось. Только когда капитан поднялся в шестой раз и буркнул: «Довольно. Пошли», Жилин вдруг подумал, что рыжая туманная стена слева — облачная поверхность Юпитера — стала заметно ближе.

В рубке было чисто. Михаил Антонович вымел осколки и теперь сидел на своем обычном месте, нахохлившись, в меховой куртке поверх комбинезона. Изо рта у него шел пар — в рубке было холодно. Быков сел в кресло, упер руки в колени и пристально поглядел сначала на штурмана, потом на Жилина. Штурман и Жилин ждали.

— Ты закрепил пробоины? — спросил Быков штурмана.

Михаил Антонович несколько раз кивнул.

— Есть шанс,— сказал Быков.

Михаил Антонович выпрямился и шумно перевел дух. Жилин глотнул от волнения.

— Есть *шанс,— повторил Быков.— Но он очень маленький. И совершенно фантастический.*

— Говори, Алешенька,— тихо попросил штурман.

— Сейчас скажу,— сказал Быков и прокашлялся.— Шестнадцать процентов отражателя вышли из строя. Вопрос такой: можем ли мы заставить работать остальные

восемьдесят четыре? Даже меньше, чем восемьдесят четыре, потому что процентов десять еще не контролируется — разрушена система контрольных ячеек.

Штурман и Жилин молчали, вытянув шеи.

— Можем,— сказал Быков.— Во всяком случае, можем попробовать. Надо сместить точку сгорания плазмы так, чтобы скомпенсировать асимметрию поврежденного отражателя.

— Ясно,— сказал Жилин дрожащим голосом.

Быков поглядел на него.

— Это наш единственный шанс. Мы с Иваном займемся переориентацией магнитных ловушек. Иван вполне может работать. Ты, Миша, рассчитаешь нам новое положение точки сгорания в соответствии со схемой повреждения. Схему ты сейчас получишь. Это сумасшедшая работа, но это наш единственный шанс.

Он смотрел на штурмана, и Михаил Антонович поднял голову и встретился с ним глазами. Они отлично и сразу поняли друг друга. Что можно не успеть. Что там внизу, в условиях чудовищного давления, коррозия начнет разъедать корпус корабля — и корабль может растаять, как рафинад в кипятке, раньше, чем они закончат работу. Что нечего и думать скомпенсировать асимметрию полностью. Что никто и никогда не пытался водить корабли с такой компенсацией, на двигателе, ослабленном по меньшей мере в полтора раза...

— Это наш единственный шанс,— громко сказал Быков.

— Я сделаю, Лешенька,— сказал Михаил Антонович.— Это нетрудно — рассчитать новую точку. Я сделаю.

— Схему мертвых участков я тебе сейчас дам,— повторил Быков.— И нам надо страшно спешить. Скоро начнется перегрузка, и будет очень трудно работать. А если мы провалимся очень глубоко, станет опасно включать двигатель, потому что возможна цепная реакция в сжатом водороде.— Он подумал и добавил: — И мы превратимся в газ.

— Ясно,— сказал Жилин. Ему хотелось начать сию же минуту, немедленно.

Михаил Антонович протянул руку с коротенькими пальцами и сказал тонким голосом:

— Схему, Лешенька, схему.

На панели аварийного пульта замигали три красных огонька.

— Ну вот,— сказал Михаил Антонович.— В аварийных ракетах кончается горючее.

— Наплевать,— сказал Быков и встал.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ЛЮДИ В БЕЗДНЕ

1. Планетологи забавляются, а штурман уличен в контрабанде

— З-заряжай,— сказал Юрковский.

Он висел у перископа, втиснув лицо в замшевый нарамник. Он висел горизонтально, животом вниз, растопырив ноги и локти, и рядом плавали в воздухе толстый дневник наблюдений и авторучка. Моллар лихо откатил крышку казенника, вытянул из стеллажа обойму бомбозондов и, подталкивая ее сверху и снизу, с трудом загнал в прямоугольную щель зарядной камеры. Обойма медленно и бесшумно скользнула на место. Моллар накатил крышку, щелкнул замком и сказал:

— Готов, Вольдемар.

Моллар прекрасно держался в условиях невесомости. Правда, иногда он делал резкие неосторожные движения и повисал под потолком, и тогда приходилось стаскивать его обратно, и его иногда подташнивало, но для новичка, впервые попавшего в невесомость, он держался очень хорошо.

— Готов,— сказал Дауге от экзосферного спектрографа.

— З-залп! — скомандовал Юрковский.

Дауге нажал на спуск. Ду-ду-ду-ду — глухо заурчало в казеннике. И сейчас же — тик-тик-тик — затрещал затвор спектрографа. Юрковский увидел в перископ, как в оранжевом тумане, сквозь который теперь проваливался «Тахмасиб», один за другим вспыхивали и стремительно уносились вверх белые клубки пламени. Двадцать вспышек, двадцать лопнувших бомбозондов, несущих мезонные излучатели.

— С-славно,— сказал Юрковский негромко.

За бортом росло давление. Бомбозонды рвались все ближе. Они слишком быстро тормозились.

Дауге громко говорил в диктофон, заглядывая в отсчетное устройство спектроанализатора:

— Молекулярный водород — восемьдесят один и три-

дцать пять, гелий — семь и одиннадцать, метан — четыре и шестнадцать, аммиак — один ноль один... Усиливается неотождествленная линия... Говорил я им: поставьте считывающий автомат, неудобно же так...

— П-падаем,— сказал Юрковский.— Как мы п-падаем... М-метана уже только ч-четыре...

Дауге, ловко поворачиваясь, снимал отсчеты с приборов.

— Пока Кангрен прав,— сказал он.— Ну вот, батиметр уже отказал. Давление триста атмосфер. Больше нам давление не мерять.

— Ладно,— сказал Юрковский.— З-заряжай.

— Стоит ли? — сказал Дауге.— Батиметр отказал. Синхронизация будет нарушена.

— Д-давай попробуем,— сказал Юрковский.— З-заряжай.

Он оглянулся на Моллара. Моллар тихонько раскачивался под потолком, грустно улыбаясь.

— Стащи его, Григорий,— сказал Юрковский.

Дауге привстал, схватил Моллара за ногу и стащил вниз.

— Шарль,— сказал он терпеливо.— Не делайте порывистых движений. Зацепитесь носками вот здесь и держитесь.

Моллар тяжко вздохнул и откатил крышку казенника. Пустая обойма выплыла из зарядной камеры, стукнула его в грудь и медленно полетела к Юрковскому. Юрковский увернулся.

— О, опьять! — сказал Моллар виновато.— Простите, Володья. О, этот невесомость!

— З-заряжай, заряжай,— сказал Юрковский.

— Солнце,— сказал вдруг Дауге.

Юрковский припал к перископу. В оранжевом тумане на несколько секунд появился смутный красноватый диск.

— Это последний раз,— сказал Дауге, каплянув.

— Ви уже три раза говорили «последний раз»,— сказал Моллар, накатывая крышку. Он нагнулся, проверяя замок.— Прощай, Солнце, как говорилль капитан Немо. Но получилось, что не последний раз. Я готов, Вольдемар.

— И я готов,— сказал Дауге.— Может быть, все-таки кончим?

В обсерваторный отсек, лязгая по полу магнитными подковами, вошел Быков.

— Кончайте работу,— сказал он угрюмо.

— П-поч-чему? — спросил Юрковский, обернувшись.

— Большое давление за бортом. Еще полчаса, и ваши бомбы будут рваться в этом отсеке.

— З-залп! — торопливо сказал Юрковский.

Дауге поколебался немного, но все-таки нажал на спуск. Быков дослушал «ду-ду-ду» в казеннике и сказал:

— И хватит. Задраить все тестерные пазы. Эту штуку,— он показал на казенник,— заклинить. И как следует.

— А п-перископ-ические н-наблюдения в-вести нам еще разрешается? — спросил Юрковский.

— Перископические разрешается,— сказал Быков.— Забавляйтесь.

Он повернулся и вышел. Дауге сказал:

— Ну вот, так и знал. Ни черта не получилось. Синхронизации нет.

Он выключил приборы и стал вытаскивать катушку из диктофона.

— Иог-ганыч, — сказал Юрковский. — П-по-моему, Алексей что-то з-задумал, к-как ты думаешь?

— Не знаю,— сказал Дауге и посмотрел на него.— С чего ты взял?

— У н-него т-такая особенная морда,— сказал Юрковский.— Я его з-знаю.

Некоторое время все молчали, только глубоко вздыхал Моллар, которого подташнивало. Потом Дауге сказал:

— Я хочу есть. Где суп, Шарль? Вы разлили суп, мы голодны. А кто сегодня дежурный, Шарль?

— Я,— сказал Шарль. При мысли о еде его затошнило сильнее. Но он сказал: — Я пойду и приготовлю новый суп.

— Солнце! — сказал Юрковский.

Дауге прижался подбитым глазом к окуляру видоискателя.

— Вот видите,— сказал Моллар.— Опять Солнце.

— Это не Солнце,— сказал Дауге.

— Д-да,— сказал Юрковский.— Это, п-пожалуй, н-не Солнце.

Далекий клубок света в светло-коричневой мгле бледнел, разбухая, расплылся серыми пятнами и исчез. Юрковский смотрел, стиснув зубы так, что трещало в висках. «Прощай, Солнце,— подумал он.— Прощай, Солнце».

— Я есть хочу,— сердито сказал Дауге.— Пойдемте на камбуз, Шарль.

Он ловко оттолкнулся от стены, подплыл к двери и раскрыл ее. Моллар тоже оттолкнулся и ударился головой о карниз. Дауге поймал его за руку с растопыренными пальцами и вытащил в коридор. Юрковский слышал, как Иоганыч спросил: «Ну, как жизнь, хорошё-о?» Моллар ответил: «Хорошё-о, но очень неудобно».— «Ничего,— сказал Дауге бодрым голосом.— Скоро привыкнете».

«Ничего,— подумал Юрковский,— скоро все кончится». Он заглянул в перископ. Было видно, как вверху, откуда падал планетолет, сгущается коричневый туман, но снизу, из непостижимых глубин, из бездонных глубин водородной пропасти, брезжил странный розовый свет. Тогда Юрковский закрыл глаза. «Жить,— подумал он.— Жить долго. Жить вечно». Он вцепился обеими руками в волосы. Оглохнуть, ослепнуть, онеметь, только жить. Только чувствовать на коже солнце и ветер, а рядом — друга. Боль, бессилие, жалость. Как сейчас. Он с силой рванул себя за волосы. Пусть как сейчас, но всегда. Вдруг он услышал, что громко сопит, и очнулся. Ощущение непереносимого, сумасшедшего ужаса и отчаяния исчезло. Так уже бывало с ним — двенадцать лет назад на Марсе, и десять лет назад на Голконде, и в позапрошлом году тоже на Марсе. Приступ сумасшедшего желания просто жить, желания темного и древнего, как сама протоплазма. Словно короткий обморок. Но это проходит. Это надо перетерпеть, как боль. И сразу о чем-нибудь позаботиться. Лешка приказал задраить тестерные пазы. Он отнял руки от лица, раскрыл глаза и увидел, что сидит на полу. Падение «Тахмасиба» тормозилось, вещи обретали вес.

Юрковский потянулся к маленькому пульту и задраил тестерные пазы — амбразуры в прочной оболочке жилой гондолы, в которые вставляются рецепторы приборов. Затем он тщательно заклинил казенник бомбосбрасывателя, собрал разбросанные обоймы от бомбозондов и аккуратно сложил их в стеллаж. Он заглянул в перископ, и ему показалось — да так оно, наверное, и было на самом деле,— что тьма вверху стала гуще, а розовое сияние внизу сильнее. Он подумал, что на такую глубину в Юпитер не проникал еще ни один человек, разве что Сережа Петрушевский, светлая ему память, но и он, скорее всего, взорвался раньше. У него тоже был расколот отражатель.

Он вышел в коридор и направился в кают-компанию, заглядывая по пути во все каюты. «Тахмасиб» еще падал, хотя с каждой минутой все медленнее, и Юрковский шел

на цыпочках, словно под водой, балансируя руками и время от времени делая непроизвольные прыжки.

В пустынном коридоре вдруг разнесся приглушенный вопль Моллара, похожий на воинственный клич: «Как жизнь, Грегуар, хорошё-о?» Видимо, Дауге удалось привести радиооптика в обычное настроение. Ответа Грегуара Юрковский не расслышал. «Хорошё-о»,— пробормотал он и не заметил, что не заикается. Все-таки хорошо.

Он заглянул в каюту Михаила Антоновича. В каюте было темно и стоял странный пряный запах. Юрковский вошел и включил свет. Посреди каюты валялся развороченный чемодан. Никогда еще Юрковский не видел чемодана в таком состоянии. Так чемодан мог бы выглядеть, если бы в нем лопнул бомбозонд. Матовый потолок и стены каюты были залянаны коричневыми, скользкими на вид кляксами. От клякс исходил вкусный пряный аромат. «Мидии со специями»,— сразу определил Юрковский. Он очень любил мидии со специями, но они, к сожалению, были напрочь исключены из рациона межпланетников. Он оглянулся и увидел над самой дверью блестящее черное пятно — метеоритная пробоина. Все отсеки жилой гондолы были герметическими. При попадании метеорита подача воздуха в них автоматически перекрывалась до тех пор, пока смолопласт — вязкая и прочная прокладка корпуса — не затягивал пробоину. На это требуется всего одна, максимум две секунды, но за это время давление в отсеке может сильно упасть. Это не очень опасно для человека, но смертельно для контрабандных консервов. Консервы просто взрываются. Особенно пряные консервы. «Контрабанда,— подумал Юрковский.— Старый чревоугодник. Ну, будет тебе от капитана. Быков не выносит *контрабанды*».

Юрковский осмотрел каюту еще раз и заметил, что черное пятно пробоины слабо серебрится. «Ага,— подумал он.— Кто-то уже прометаллизировал пробоины. Правильно, иначе под таким давлением смолопластовые пробки просто вдавило бы внутрь». Он выключил свет и вернулся в коридор. И тогда он ощутил усталость и свинцовую тяжесть во всем теле. «О черт, как я раскис»,— подумал он и вдруг почувствовал, что лента, на которой висел микрофон, режет шею. Он понял, в чем дело. Перелет заканчивается. Через несколько минут тяжесть станет двойной и над головой будет десять тысяч километров

сжатого водорода, а под ногами шестьдесят тысяч километров очень сжатого, жидкого, твердого водорода. Каждый килограмм тела будет весить два килограмма, а то и больше. «Бедный Шарль,— подумал Юрковский.— Бедный Миша».

— Вольдемар,— позвал сзади Моллар.— Вольдемар, помогите нам везти суп. Очень тяжелый суп.

Юрковский огляпулся. Дауге и Моллар, красные и потные, тащили из дверей камбуза грузно вихляющийся столик на колесах. На столике слабо дымились три кастрюльки. Юрковский пошел навстречу и вдруг почувствовал, как стало тяжело. Моллар слабо ахнул и сел на пол. «Тахмасиб» остановился. «Тахмасиб» с экипажем, с пассажирами и с грузом прибыл на последнюю станцию.

2. Планетологи пытают штурмана, а радиооптик пытает планетологов

— Кто готовил этот обед? — спросил Быков.

Он оглядел всех и снова уставился на кастрюльки. Михаил Антонович тяжело, со свистом дышал, навалившись грудью на стол. Лицо у него было багровое, отекшее.

— Я,— несмело сказал Моллар.

— А в чем дело? — спросил Дауге.

Голоса у всех были синлые. Все говорили с трудом, едва выталкивая из себя слова. Моллар криво улыбнулся и лег на диван лицом вверх. Ему было плохо. «Тахмасиб» больше не падал, и тяжесть становилась непереносимой. Быков посмотрел на Моллара.

— Этот обед вас убьет,— сказал он.— Съедите этот обед и больше не встанете. Он вас раздавит, вы понимаете?

— О черт,— сказал Дауге с досадой.— Я забыл о тяжести.

Моллар лежал с закрытыми глазами и тяжело дышал. Челюсть у него отвисла.

— Съедим бульону,— сказал Быков.— И все. Больше ни кусочка.— Он поглядел на Михаила Антоновича и оскалил зубы в нерадостной усмешке.— Ни кусочка,— повторил он.

Юрковский взял половник и стал разливать бульон по тарелкам.

— Тяжелый обед,— сказал он.

— Вкусно пахнет,— сказал Михаил Антонович.—

Может быть, дольешь мне еще чуть-чуть, Володенька?

— Хватит,— жестко сказал Быков. Он медленно хлебал бульон, по-детски зажав ложку в кулаке, измазанном графитовой смазкой.

Все молча стали есть. Моллар с трудом приподнялся и снова лег.

— Не могу,— сказал он.— Простите меня, не могу.

Быков положил ложку и встал.

— Рекомендую всем пассажирам лечь в амортизаторы,— сказал он.

Дауге отрицательно покачал головой.

— Как угодно. Но Моллара уложите в амортизатор непременно.

— Хорошо,— сказал Юрковский.

Дауге взял тарелку, сел на диван рядом с Молларом и принялся кормить его с ложки, как больного. Моллар громко глотал, не открывая глаз.

— А где Иван? — спросил Юрковский.

— На вахте,— ответил Быков. Он взял кастрюлю с остатками супа и пошел к люку, тяжело ступая на прямых ногах. Юрковский, поджав губы, глядел в его согнутую спину.

— Все, мальчики,— сказал Михаил Антонович жалким голосом.— Начинаю худеть. Так все-таки нельзя. Я сейчас вешу двести с лишним кило — подумать страшно! И будет еще хуже. Мы все еще падаем немножко.

Он откинулся на спинку кресла и сложил на животе отекающие руки. Затем поворочался немного, положил руки на подлокотники и почти мгновенно заснул.

— Спит толстяк,— сказал Дауге, оглянувшись на него.— Корабль затонул, а штурман заснул. Ну, еще ложечку, Шарль. За папу. Вот так. А теперь за маму.

— Нье могу, простите,— пролепетал Моллар.— Нье могу. Я льягу.— Он лег и начал неразборчиво бормотать по-французски.

Дауге поставил тарелку на стол.

— Михаил,— позвал он негромко.— Миша!..

Михаил Антонович раскатисто храпел.

— С-сейчас я его ра-азбужу,— сказал Юрковский.— Михаил,— сказал он вкрадчивым голосом.— М-мидии. М-мидии со с-специями.

Михаил Антонович вздрогнул и проснулся.

— Что? — пробормотал он.— Что?

— Нечистая с-совесть,— сказал Юрковский.

Дауге поглядел на штурмана в упор.

— Что вы там делаете в рубке? — сказал он.

Михаил Антонович поморгал красными веками, потом заерзал на кресле, едва слышно сказал: «Ах, я совсем забыл...» — и попытался подняться.

— Сиди, — сказал Дауге.

— Т-так что вы там д-делаете?

— И на кой бес?

— Ничего особенного,— сказал Михаил Антонович и оглянулся на люк в рубку.— Право, ничего, мальчики. Так только...

— М-минга,— сказал Юрковский.— М-мы же видим, что он что-то з-задумал.

— Говори, толстяк,— сказал Дауге свирепо.

Штурман снова попытался подняться.

— С-сиди,— сказал Юрковский безжалостно.— Мидии. Со специями. Говори.

Михаил Антонович стал красен как мак.

— Мы не дети,— сказал Дауге.— Нам уже приходилось умирать. Какого беса вы там секретничаете?

— Есть шанс,— едва слышно пробормотал штурман.

— Шанс всегда есть,— возразил Дауге.— Конкретнее.

— Ничтожный шанс,— сказал Михаил Антонович.— Право, мне пора, мальчики.

— Что они делают? — спросил Дауге.— Чем они заняты, Лешка и Иван?

Михаил Антонович с тоской поглядел на люк в рубку.

— Он не хочет вам говорить,— прошептал он.— Он не хочет вас зря обнадеживать. Алексей надеется выбраться. *Они там перестраивают систему магнитных ловушек...* И отстаньте от меня, пожалуйста! — закричал он тонким пронзительным голосом, кое-как встал и заковылял в рубку.

— Mon dieu,— тихо сказал Моллар и снова лег навзничь.

— А, все это ерунда, барахтанье,— сказал Дауге.— Конечно, Быков не способен сидеть спокойно, когда костлявая берет нас за горло. Пошли. Пойдемте, Шарль, мы уложим вас в амортизатор. Приказ капитана.

Они взяли Моллара под руки с двух сторон, подняли и повели в коридор. Голова Моллара болталась.

— Mon dieu,— бормотал он.— Простите. Я есть весьма плёхой межпланетник. Я есть только всего радиооптик.

Это было очень трудно — идти самим и тащить Мол-

лара, но они все-таки добрались до его каюты и уложили радиооптика в амортизатор. Он лежал в длинном, не по росту, ящике, маленький, жалкий, задыхающийся, с посиневшим лицом.

— Сейчас вам станет хорошо, Шарль,— сказал Дауге.

Юрковский молча кивнул и сейчас же сморщился от боли в позвоночнике.

— П-полежите, отдо-охните,— сказал он.

— Хорошё-о,— сказал Моллар.— Спасибо, товарищи.

Дауге задвинул крышку и постучал. Моллар постучал в ответ.

— Ну, хорошо,— сказал Дауге.— Теперь бы нам костюмы для перегрузок...

Юрковский пошел к выходу. На корабле было только три костюма для перегрузок — костюмы экипажа. Пассажирам полагалось лежать в амортизаторах.

Они обошли все каюты и собрали все одеяла и подушки. В обсерваторном отсеке они долго устраивались у перископов, обкладывали себя мягким со всех сторон, а потом легли и некоторое время молчали, отдыхая. Дышать было трудно. Казалось, на грудь давит многопудовая гиря.

— П-помню, на курсах нам давали с-сильные перегрузки,— сказал Юрковский.— П-пришлось сбрасывать в-вес.

— Да,— сказал Дауге.— Я совсем забыл. Что это за чепуха про мидии со специями?

— В-вкусная вещь, правда? — сказал Юрковский.— Наш штурман в-вез тайком от к-капитана н-несколько банок, и они взорвались у него в ч-чемодане.

— Ну? — сказал Дауге.— Опять? Ну и лакомка! Ну и контрабандист! Его счастье, что Быкову сейчас не до этого.

— Б-быков, наверное, еще н-не знает,— сказал Юрковский.

«И никогда не узнает»,— подумал он. Они помолчали, потом Дауге взял дневники наблюдений и стал их просматривать. Они немного посчитали, потом поспорили относительно метеоритной атаки. Дауге сказал, что это был случайный рой. Юрковский объявил, что это кольцо.

— Кольцо у Юпитера? — презрительно сказал Дауге.

— Да,— сказал Юрковский.— Я давно это подозревал. И теперь вот убедился.

— Нет,— сказал Дауге.— Все-таки это не кольцо. Это полукольцо.

— Ну, пусть полукольцо,— согласился Юрковский.

— Кангрен большой молодец,— сказал Дауге.— Его расчеты просто замечательно точны.

— Не совсем,— сказал Юрковский.

— Это почему же? — осведомился Дауге.

— Потому что температура растет заметно медленнее,— объяснил Юрковский.

— Это внутреннее свечение неклассического тела,— возразил Дауге.

— Да, неклассического, - сказал Юрковский.

— Кангрен не мог этого учесть,— сказал Дауге.

— Надо было учесть,— сказал Юрковский.— Об этом уже сто лет спорят, надо было учесть.

— Просто тебе стыдно,— сказал Дауге.— Ты так бранился с Кангреном в Дублине, и теперь тебе стыдно.

— Балда ты,— сказал Юрковский.— Я учитывал неклассические эффекты.

— Знаю,— сказал Дауге.

— А если знаешь,— сказал Юрковский,— то не болтай глупостей.

— Не ори на меня,— сказал Дауге.— Это не глупости. Неклассические эффекты ты учел, а цена этому сам видишь какая.

— Это тебе такая цена! — рассердился Юрковский.— До сих пор не читал моей последней статьи.

— Ладно,— сказал Дауге,— не сердись. У меня спина затекла.

— У меня тоже,— сказал Юрковский. Он перевернулся на живот и встал на четвереньки. Это было нелегко. Он дотянулся до перископа и заглянул.— П-посмотрика,— сказал он.

Они стали смотреть в перископы. «Тахмасиб» плавал в пустоте, заполненной розовым светом. Не видно было ни одного предмета, никакого движения, на котором мог бы задержаться взгляд. Только ровный розовый свет. Казалось, что смотришь в упор на фосфоресцирующий экран. После долгого молчания Юрковский сказал:

— Скучно.

Он поправил подушки и снова лег на спину.

— Этого еще никто не видел,— сказал Дауге.— Это свечение металлического водорода.

— Т-таким н-наблюдениям,— сказал Юрковский,— грош цена. Может, пристроим к п-перископу с-спектрограф?

— Глупости,— сказал Дауге, еле шевеля губами. Он сполз на подушки и тоже лег на спину.— Жалко,— сказал он.— Ведь этого еще никто никогда не видел.

— Д-до чего м-мерзко ничего не делать,— сказал Юрковский с тоской.

Дауге вдруг приподнялся на локте и пагнул голову, прислушиваясь.

— Что ты? — спросил Юрковский.

— Тише,— сказал Дауге.— Послушай.

Юрковский прислушался. Низкий, едва слышный гул доносился откуда-то, волнообразно нарастая и снова затихая, словно гудение гигантского шмеля. Гул перешел в жужжание, стал выше и смолк.

— Что это? — спросил Дауге.

— Не знаю,— отозвался Юрковский вполголоса. Он сел.— Может быть, это двигатель?

— Нет, это оттуда.— Дауге махнул рукой в сторону перископов.— Ну-ка...— Он опять прислушался, и снова послышалось нарастающее гудение.

— Надо поглядеть,— сказал Дауге.

Гигантский шмель смолк, но через секунду загудел снова. Дауге поднялся на колени и уткнулся лицом в нарамник перископа.

— Смотри! — закричал он.

Юрковский тоже подполз к перископу.

— Смотри, как здорово! — крикнул Дауге.

Из желто-розовой бездны поднимались огромные радужные шары. Они были похожи на мыльные пузыри и переливались зеленым, синим, красным. Это было очень красиво и совершенно непонятно. Шары поднимались из пропасти с низким нарастающим гулом, быстро проносились и исчезали из поля зрения. Они все были разных размеров, и Дауге судорожно вцепился в рубчатый барабан дальномера. Один шар, особенно громадный и колыхающийся, прошел совсем близко. На несколько мгновений обсерваторный отсек заполнился нестерпимо низким, зудящим гулом, и планетолет слегка качнуло.

— Эй, в обсерватории! — раздался в репродукторе голос Быкова.— Что это за бортом?

— Ф-феномены,— сказал Юрковский, пригнув голову к микрофону.

— Что? — спросил Быков.

— П-пузыри какие-то,— пояснил Юрковский.

— Это я и сам вижу,— проворчал Быков и замолчал.

— Это уже не металлический водород,— сказал Юрковский.

Пузыри исчезли.

— Вот,— сказал Дауге.— Диаметры: пятьсот, девятьсот и три тысячи триста метров. Если, конечно, здесь не искажается перспектива. Больше я не успел. Что это может быть?

В розовой пустоте пронеслись еще два пузыря. Вырос и сейчас же смолк густой басовый звук.

— М-машина п-планеты р-работает,— сказал Юрковский.— И мы никогда не узнаем, что там происходит...

— Пузыри в газе,— сказал Дауге.— А впрочем, какой это газ — плотность как у бензина...

Он обернулся. На пороге открытой двери сидел Моллар, прислонившись виском к косяку. Кожа на его лице вся сползла к подбородку от тяжести. У него был белый лоб и темно-вишневая шея.

— Это есть я,— сказал Моллар.

Он перевалился на живот и пополз к своему месту у казенника. Планетологи молча смотрели на него, затем Дауге встал, взял две подушки — у себя и у Юрковского — и помог Моллару устроиться поудобнее. Все молчали.

— Очень тоскливо́,— сказал наконец Моллар.— Не могу один. Хочется гово́рить.— Он делал самые невообразимые ударения.

— Мы очень рады вам, Шарль,— сказал Дауге совершенно искренне.— Нам тоже тоскливо, и мы все время говорим.

Моллар попытался сесть, но раздумал и остался лежать, тяжело дыша и глядя в потолок.

— А к-как жизнь, Шарль? — спросил Юрковский с интересом.

— Жизнь хорошё-о,— сказал Моллар, бледно улыбаясь.— Только мало.

Дауге лег и тоже уставился в потолок. «Мало,— подумал он,— гораздо меньше, чем хочется». Он выругался вполголоса по-латышски.

— Что? — спросил Моллар.

— Он ругается,— объяснил Юрковский.

Моллар вдруг сказал высоким голосом: «Друзья мои!» — и планетологи разом повернулись к нему.

— Друзья мои! — сказал Моллар.— Что мне дьелатть? Ви есть опытные межпланьетники́! Ви есть большие льюди и геройй. Да, геройй! Mon dieu! Ви смотрели в глаза

смерти больше, чем я смотрелль в глаза девýшки.— Он горестно помотал головой.— И я совсем не есть опытний. Мне страшно, и я хочу много говорить сейчас, но сейчас уже близок конец, и я не знаю как. Да, да, как надо сейчас говорить?

Он смотрел на Дауге и Юрковского блестящими глазами. Дауге неловко пробормотал: «О черт!» — и оглянулся на Юрковского. Юрковский лежал, заложив руки за голову, и искоса глядел на Моллара.

— О черт,— сказал Дауге.— Я уже и забыл.

— М-могу рассказать, к-как мне однажды х-хотели ампутировать н-ногу,— предложил Юрковский.

— Верно! — радостно сказал Дауге.— А потом вы, Шарль, тоже расскажете что-нибудь веселенькое...

— Ах, вы все шутúте,— сказал Моллар.

— А еще можно спеть,— сказал Дауге.— Я про это читал. Вы нам споете, Шарль?

— Ах,— сказал Моллар.— Я совсем прокис.

— Отнюдь,— сказал Дауге.— Вы замечательно держитесь, Шарль. А это же самое главное. Правда, Шарль замечательно держится, а, Володя?

— К-конечно,— сказал Юрковский.— З-замечательно.

— А капитан не спит,— бодро продолжал Дауге.— Вы заметили, Шарль? Он что-то задумал, наш капитан.

— Да,— сказал Моллар.— Да! Наш капитан — это есть большая надежда.

— Еще бы,— сказал Дауге.— Вы даже не знаете, какая это большая надежда.

— М-метр девяносто пять,— сказал Юрковский.

Моллар засмеялся.

— Вы все шутúте,— сказал он.

— А мы пока будем болтать и наблюдать,— сказал Дауге.— Хотите посмотреть в перископ, Шарль? Это красиво. Этого никто никогда не видел.— Он поднялся и приник к перископу.

Юрковский увидел, как у него вдруг выгнулась спина. Дауге обеими руками взялся за нарамник.

— Бог мой! — сказал он.— Планетолет!

В розовой пустоте висел планетолет. Он был виден совершенно отчетливо и во всех подробностях и находился, по-видимому, километрах в трех от «Тахмасиба». Это был фотонный грузовик первого класса с параболическим отражателем, похожим на растопыренную юбку, с круглой жилой гондолой и дисковидным грузовым отсеком, с тремя

сигарами аварийных ракет на далеко вынесенных кронштейнах. Он висел вертикально и совершенно неподвижно. И он был серый, как на экране черно-белого кино.

— Кто же это? — пробормотал Дауге.— Неужели Петрушевский?

— П-погляди на отражатель,— сказал Юрковский.

Отражатель серого планетолета был обломан с края.

— Тоже не повезло ребятам,— сказал Дауге.

— О! — сказал Моллар.— А вон еще один.

Второй планетолет — точно такой же — висел дальше и глубже первого.

— И у этого обломан отражатель,— сказал Дауге.

— Я з-знаю,— сказал неожиданно Юрковский.— Это наш «Тахмасиб». М-мираж.

Это был двойной мираж. Несколько радужных пузырей стремительно поднялись из глубины, и призраки «Тахмасиба» исказились, задрожали и растаяли. А правее и выше появились еще три призрака.

— Какие красивые пузыри! — сказал Моллар.— Они поют.

Он снова лег на спину. У него пошла носом кровь, и он сморкался и морщился и все поглядывал на планетологов, не видят ли они. Они, конечно, не видели.

— Вот,— сказал Дауге.— Ты говоришь, что здесь скучно.

— Я н-не говорю,— сказал Юрковский.

— Нет, говоришь,— сказал Дауге.— Ты брюзжишь, что скучно.

Оба старались не глядеть на Моллара. Кровь остановить было нельзя. Она свернется сама. Радиооптика нужно было бы отнести в амортизатор, но... Ничего, она свернется. Моллар тихо сморкался.

— А вон еще мираж,— сказал Дауге.— Но это не корабль.

Юрковский заглянул в перископ. «Не может быть,— подумал он.— Этого не может быть. Не тут, не в Юпитере». Под «Тахмасибом» медленно проплывала вершина громадной серой скалы. Основание ее тонуло в розовой дымке. Рядом поднималась другая скала — голая, отвесная, изрезанная глубокими прямыми трещинами. А еще дальше вырастала целая вереница таких же острых крутых вершин. И тишина в обсерваторном отсеке сменилась скрипами, шорохами, едва слышным гулом, похожим на эхо далеких-далеких горных обвалов.

— Эт-то н-не мираж,— проговорил Юрковский.— Это н-похоже на ядро.

— Вздор,— сказал Дауге.

— В-возможно, все-таки у Юпитера есть я-ядро.

— Вздор, вздор,— нетерпеливо сказал Дауге.

Горная цепь тянулась под «Тахмасибом», и не было ей конца.

— Вон еще,— сказал Дауге.

Выше скалистых зубьев выступил темный бесформенный силуэт, вырос, превратился в изъеденный обломок черного камня и снова скрылся. Сейчас же за ним вслед появился другой, третий, а вдали, едва различимая, бледным пятном светилась округлая серая масса. Горный хребет внизу постепенно опускался и исчез из виду. Юрковский, не отрываясь от перископа, поднес к губам микрофон. Было слышно, как у него хрустнули суставы.

— Быков,— позвал он.— Алексей.

— Алеши нет, Володенька,— отозвался голос штурмана. Голос был сиплый и задыхающийся.— Он в машине.

— М-михаил, мы идем н-над с-скалами,— сказал Юрковский.

— Над какими скалами? — испуганно спросил Михаил Антонович.

Вдали прошла поразительно ровная, словно отполированная поверхность — огромная равнина, окаймленная невысокой грядой круглых холмов. Прошла и утонула в розовом.

— М-мы еще не все н-понимаем,— сказал Юрковский.

— Я сейчас посмотрю, Володенька,— сказал Михаил Антонович.

За перископом проплывала еще одна горная страна. Она плыла высоко вверху, и вершины гор были обращены вниз. Это было дикое, фантастическое зрелище, и Юрковский подумал сначала, что это опять мираж, но это был не мираж. Тогда он понял и сказал:

— Это не ядро, Иоганыч. Это кладбище.

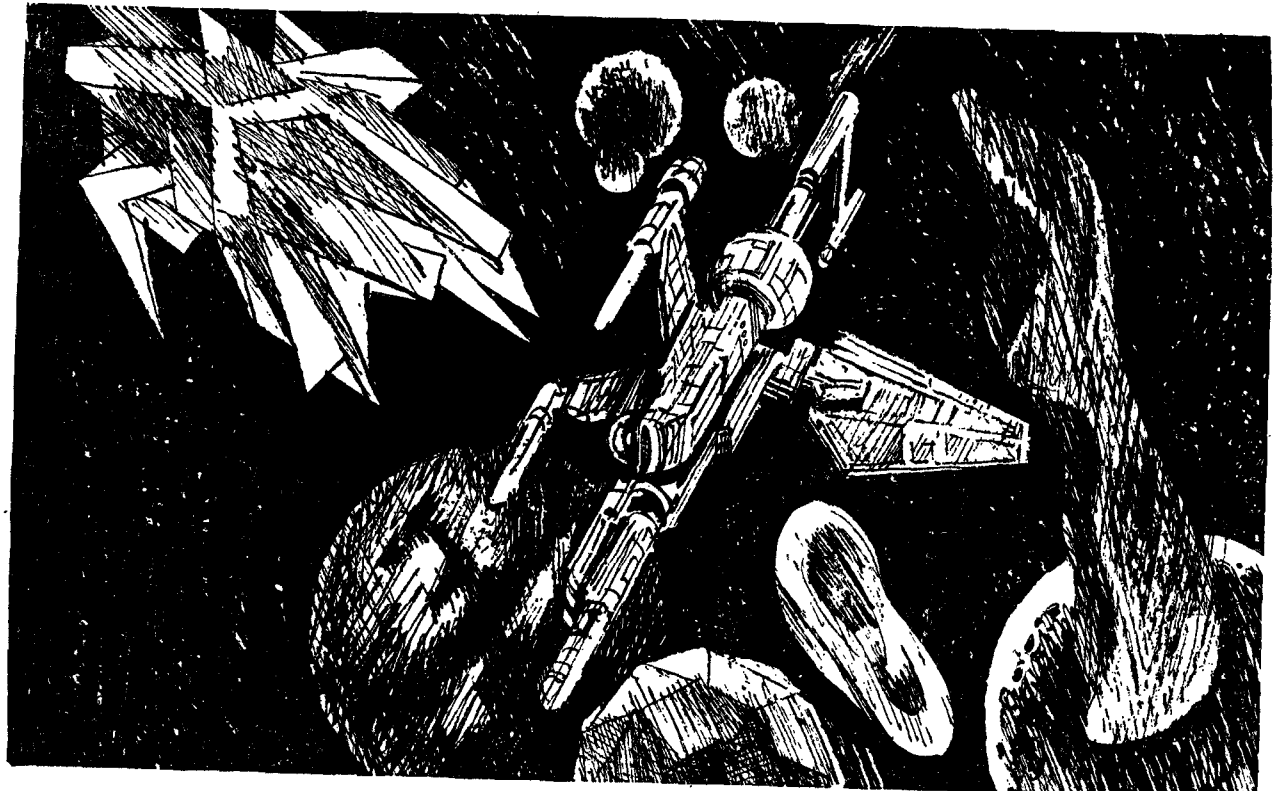
Дауге не понял.

— Это кладбище миров,— сказал Юрковский.— Джуп проглотил их.

Дауге долго молчал, а затем пробормотал:

— Какие открытия... Кольцо, розовое излучение, кладбище миров... Жаль. Очень жаль.

Он оглянулся и окликнул Моллара. Моллар не ответил. Он лежал ничком.



Они стащили Моллара в амортизатор, привели его в чувство, а он, измотанный, отекший, сразу заснул, словно упал в обморок. Потом они вернулись в обсерваторный отсек и снова повисли на перископах. Под «Тахмасибом», и рядом с «Тахмасибом», и временами над «Тахмасибом» медленно проплывали в потоках сжатого водорода несостоявшиеся миры — горы, скалы, чудовищные потрескавшиеся глыбы, прозрачные серые облака пыли. Потом «Тахмасиб» отнесло в сторону, а в перископах остался только пустой, ровный розовый свет.

— Устал как собака,— сказал Дауге. Он перевернулся на бок, и у него затрещали кости.— Слышишь?

— Слышу,— сказал Юрковский.— Давай смотреть.

— Давай,— сказал Дауге.

— Я думал, это ядро,— сказал Юрковский.

— Этого не мо́гло быть,— сказал Дауге.

Юрковский стал тереть лицо ладонями.

— Это ты так говоришь,— сказал он.— Давай смотреть.

Они еще многое увидели и услышали, или им казалось, что они увидели и услышали, потому что оба они страшно устали, и в глазах иногда темнело, и тогда исчезали стены обсерваторного отсека — оставался только ровный розовый свет. Они видели широкие неподвижные зигзаги молний, упиравшиеся в тьму наверху и в розовую бездну внизу, и слышали, как с железным громом пульсируют в них лиловые разряды. Они видели какие-то колышущиеся пленки, проплывавшие с тонким свистом совсем рядом. Они разглядывали причудливые тени во мгле, которые двигались и шевелились, и Дауге спорил, что это объемные тени, а Юрковский доказывал, что Дауге бредит. И они слышали вой, и писк, и грохот, и странные звуки, похожие на голоса, и Дауге предложил зафиксировать эти звуки на диктофоне, но тут заметил, что Юрковский спит лежа на животе. Тогда он повернул Юрковского на спину и снова вернулся к перископу.

В открытую дверь отсека вползла, волоча брюхо по полу, Варечка, синяя в крапинку, подобралась к Юрковскому и взгромоздилась к нему на колени. Дауге хотел прогнать ее, но у него уже совсем не было сил. Он даже не мог поднять голову. А Варечка тяжело вздымала бока и медленно мигала. Шипы на ее морде стояли ежом, и полумертвый хвост судорожно подергивался в такт дыханию.

3. Надо прощаться, а радиооптик не знает как

Это было трудно, невообразимо трудно работать в таких условиях. Жилин несколько раз терял сознание. Останавливалось сердце, и все заволакивалось красной мутью. И во рту все время чувствовался привкус крови. Жилину было очень стыдно, потому что Быков продолжал работать неутомимо, размеренно и точно, как машина. Быков был весь мокрый от пота, ему тоже было невообразимо трудно, но он, по-видимому, умел заставить себя не терять сознание. Уже через два часа у Жилина пропало всякое представление о цели работы, у него больше не осталось ни надежды, ни любви к жизни, но каждый раз, очнувшись, он продолжал прерванную работу, потому что рядом был Быков. Однажды он очнулся и не нашел Быкова. Тогда он заплакал. Но Быков скоро вернулся, поставил рядом с ним кастрюльку с супом и сказал: «Ешь». Он поел и снова взялся за работу. У Быкова было белое лицо и багровая отвисшая шея. Он тяжело и часто дышал. И он молчал. Жилин думал: «Если мы выберемся, я не пойду в межзвездную экспедицию, я не пойду в экспедицию на Плутон, я никуда не пойду, пока не стану таким, как Быков. Таким обыкновенным и даже скучным в обычное время. Таким хмурым и немножко даже смешным. Таким, что трудно было поверить, глядя на него, в легенду о Голконде, в легенду о Каллисто и в другие легенды». Жилин помнил, как молодые межпланетники потихоньку посмеивались над Рыжим Пустынником — кстати, откуда взялось такое странное прозвище? — но он никогда не видел, чтобы о Быкове отозвался пренебрежительно хоть один пилот или ученый старшего поколения. «Если я выберусь, я должен стать таким, как Быков. Если я не выберусь, я должен умереть, как Быков». Когда Жилин терял сознание, Быков молча заканчивал его работу. Когда Жилин приходил в себя, Быков так же молча возвращался на свое место.

Потом Быков сказал: «Пошли» — и они выбрались из камеры магнитной системы. У Жилина все плыло перед глазами, хотелось лечь, уткнуться носом во что-нибудь помягче и так лежать, пока не поднимут. Он выбирался вторым и застрял и все-таки лег носом в холодный пол, но быстро пришел в себя и тогда увидел у самого лица ботинок Быкова. Ботинок нетерпеливо притопывал. Жилин напрягся и вылез из люка. Он сел на корточки, чтобы как

следует задраить крышку. Замок не слушался, и Жилин стал рвать его исцарапанными пальцами. Быков возвышался рядом, как радиомачта, и смотрел не мигая сверху вниз.

— Сейчас,— торопливо сказал Жилин.— Сейчас...

Замок наконец встал на место.

— Готово,— сказал Жилин и выпрямился. Ноги тряслись в коленях.

— Пошли,— сказал Быков.

Они вернулись в рубку. Михаил Антонович спал в своем кресле у вычислителя. Он громко всхрапывал. Вычислитель был включен. Быков перегнулся через штурмана, взял микрофон селектора и сказал:

— Пассажирам собраться в кают-компании.

— Что? — спросил Михаил Антонович, встрепенувшись.— Что, уже?

— Уже,— сказал Быков.— Пойдем в кают-компанию.

Но он пошел не сразу — стоял и задумчиво наблюдал, как Михаил Антонович, болезненно морщась и постанывая, выбирается из кресла. Затем он словно очнулся и сказал:

— Пойдем.

Они пошли в кают-компанию. Михаил Антонович сразу пробрался к дивану и сел, сложив руки на животе. Жилин тоже сел, чтобы не тряслись ноги, и стал смотреть в стол. На столе еще стояли стопкой грязные тарелки. Потом дверь в коридор открылась, и ввалились пассажиры. Планетологи тащили на себе Моллара. Моллар висел, волоча ноги и обхватив планетологов за плечи. В руке у него был зажат носовой платок, весь в темных пятнах.

Дауге и Юрковский молча усадили Моллара на диван и сели по обе стороны от него. Жилин оглядел их. «Вот это да! — подумал он.— Неужели и у меня такая морда?» Он украдкой ощупал лицо. Ему показалось, что щеки у него очень тощие, а подбородок очень толстый, как у Михаила Антоновича. Под кожей бегали мурашки, как в отсиженной ноге. «Отсидел физиономию»,— подумал Жилин.

— Так,— сказал Быков. Он сидел на стуле в углу и теперь встал, подошел к столу и тяжело оперся о него.

Моллар неожиданно подмигнул Жилину и закрыл лицо пятнистым платком. Быков холодно посмотрел на него. Затем он стал смотреть в стену.

— Так,— повторил он.— Мы были заняты пере-о-бо-ру-до-ва-нием «Тахмасиба». Мы закончили пере-о-бо-ру-до-ва-ние.— Это слово никак не давалось ему, но он

упрямо дважды повторил его, выговаривая по слогам.— Мы теперь можем использовать фотонный двигатель, и я решил его использовать. Но сначала я хочу поставить вас в известность о возможных последствиях. Предупреждаю: решение принято, и я не собираюсь с вами советоваться и спрашивать вашего мнения...

— Короче, Алексей,— сказал Дауге.

— Решение принято,— сказал Быков.— Но я считаю, что вы вправе знать, чем это все может кончиться. Во-первых, включение фотореактора может вызвать взрыв в сжатом водороде вокруг нас. Тогда «Тахмасиб» будет разрушен полностью. Во-вторых, первая вспышка плазмы может уничтожить отражатель — возможно, внешняя поверхность зеркала уже истончена коррозией. Тогда мы останемся здесь и... В общем, понятно. В-третьих, наконец, «Тахмасиб» может благополучно выбраться из Юпитера и...

— Понятно,— сказал Дауге.

— И продовольствие будет доставлено на Амальтею,— сказал Быков.

— П-продовольствие б-будет век б-благодарить Б-быкова,— сказал Юрковский.

Михаил Антонович робко улыбнулся. Ему было не смешно.

Быков смотрел в стену.

— Я намерен стартовать сейчас же,— сказал он.— Предлагаю пассажирам занять места в амортизаторах. Всем занять места в амортизаторах. И давайте без этих ваших штучек.— Он посмотрел на планетологов.— Перегрузка будет восьмикратная, как минимум. Прошу выполнять. Бортинженер Жилин, проследите за выполнением и доложите.

Он оглядел всех исподлобья, повернулся и ушел в рубку на прямых ногах.

— Mon dieu,— сказал Моллар.— Ну и жизнь.

У него опять пошла кровь из носа, и он принялся слабо сморкаться. Дауге повертел головой и сказал:

— Нам нужен счастливчик. Кто-нибудь здесь есть везучий? Нам совершенно необходим счастливчик.

Жилин встал.

— Пора, товарищи,— сказал он. Ему хотелось, чтобы все скорее кончилось. Ему очень хотелось, чтобы все уже было позади. Все остались сидеть.— Пора, товарищи,— растерянно повторил он.

— В-вероятность б-благоп-приятного и-исхода — п-процентов д-десять,— задумчиво сказал Юрковский и принялся растирать щеки.

Михаил Антонович, кряхтя, выбрался из дивана.

— Мальчики,— сказал он.— Надо, кажется, прощаться. На всякий случай, знаете... Всякое может быть.— Он жалостно улыбнулся.

— Прощаться так прощаться,— сказал Дауге.— Давайте прощаться.

— И я опьять не знайю как,— сказал Моллар.

Юрковский поднялся.

— В-вот что,— сказал он.— П-пошли по ам-мортизаторам. С-сейчас выйдет Б-быков, и т-тогда... Лучше мне сгореть. Р-рука у него тяжелая, д-до сих п-пор помню. Д-десять лет.

— Да-да,— заторопился Михаил Антонович.— Пошли, мальчики, пошли... Дайте я вас поцелую.

Он поцеловал Дауге, потом Юрковского, потом повернулся к Моллару. Моллара он поцеловал в лоб.

— А ты где будешь, Миша? — спросил Дауге.

Михаил Антонович поцеловал Жилина, всхлипнул и сказал:

— В амортизаторе, как все.

— А ты, Ваня?

— Тоже,— сказал Жилин. Он придерживал Моллара за плечи.

— А капитан?

Они вышли в коридор, и снова все остановились. Оставалось несколько шагов.

— Алексей Петрович говорит, что не верит автоматике в Джупе,— сказал Жилин.— Он сам поведет корабль.

— Б-быков есть Быков,— сказал Юрковский, криво усмехаясь.— В-всех н-немощных на своих п-плечах.

Михаил Антонович, всхлипывая, пошел в свою каюту.

— Я вам помогу, мсье Моллар,— сказал Жилин.

— Да,— согласился Моллар и послушно обхватил Жилина за плечи.

— Удачи и спокойной плазмы,— сказал Юрковский.

Дауге кивнул, и они разошлись по своим каютам. Жилин ввел Моллара в его каюту и уложил в амортизатор.

— Как жизнь, Ваньюша-а? — сказал печально Моллар.— Хорошё-о?

— Хорошо, мсье Моллар,— сказал Жилин.

— А как девýшки?

— Очень хорошо,— сказал Жилин.— На Амальтее чудесные девушки.

Он вежливо улыбнулся, задвинул крышку и сразу перестал улыбаться. «Хоть бы скорее все это кончилось!» — подумал он.

Он пошел по коридору, и коридор показался ему очень пустым. Он постучал по крышке каждого амортизатора и прослушал ответный стук. Потом он вернулся в рубку. Быков сидел на месте старшего пилота. Он был в костюме для перегрузок. Костюм был похож на кокон шелкопряда, из него торчала рыжая растрепанная голова. Быков был совершенно обыкновенный, только очень сердитый и усталый.

— Все готово, Алексей Петрович,— сказал Жилин.

— Хорошо,— сказал Быков. Он косо поглядел на Жилина.— Не боишься, малек?

— Нет,— сказал Жилин.

Он не боялся. Он только хотел, чтобы все скорее кончилось. И еще ему вдруг очень захотелось увидеть отца, как он вылезает из стратоплана, грузный, усатый, со шляпой в руке. И познакомить отца с Быковым.

— Ступай, Иван,— сказал Быков.— Десять минут в твоем распоряжении.

— Спокойной плазмы, Алексей Петрович,— сказал Жилин.

— Спасибо,— сказал Быков.— Ступай.

«Это надо выдержать,— подумал Жилин.— Черт, неужели я не выдержу?» Он подошел к двери своей каюты и вдруг увидел Варечку. Варечка тяжело ползла, прижимаясь к стене, волоча за собой сплющенный с боков хвост. Увидев Жилина, она подняла треугольную морду и медленно мигнула.

— Эх ты, бедолага! — сказал Жилин.

Он взял Варечку за отставшую на шее кожу, приволок ее в каюту, сдвинул крышку с амортизатора и поглядел на часы. Потом он бросил Варечку в амортизатор — она была очень тяжелая и грузно трепыхалась в руках — и залез сам. Он лежал в полной темноте, слушал, как шумит амортизирующая смесь, а тело становилось легче и легче. Это было очень приятно, только Варечка все время дергалась под боком и колола руку шипами. «Надо выдержать,— подумал Жилин.— Как он выдерживает».

В рубке Алексей Петрович Быков нажал большим пальцем рифленую клавишу стартера.

Директор «Джей-станции» не глядит на заход Юпитера, а Варечку дергают за хвост

Заход Юпитера — это тоже очень красиво. Медленно гаснет желто-зеленое зарево экзосферы, и одна за другой загораются звезды, как алмазные иглы на черном бархате.

Но директор «Джей-станции» не видел ни звезд, ни желто-зеленого сияния над близкими скалами. Он смотрел на ледяное поле ракетодрома. На поле медленно, едва заметно для глаза, падала исполинская башня «Тахмасиба». «Тахмасиб» был громаден — фотонный грузовик первого класса. Он был так громаден, что его не с чем было сравнить здесь, на голубовато-зеленой равнине, покрытой круглыми черными пятнами. Из спектролитового колпака казалось, что «Тахмасиб» падает сам собой. На самом деле его укладывали. В тени скал и по другую сторону равнины мощные лебедки тянули тросы, и блестящие нити иногда ярко вспыхивали в лучах солнца. Солнце ярко озаряло корабль, и он был виден весь, от огромной чаши отражателя до шаровидной жилой гондолы.

Никогда еще на Амальтею не опускался такой изуродованный планетолет. Край отражателя был расколот, и в огромной чаше лежала густая изломанная тень. Двухсотметровая труба фотореактора казалась пятнистой и была словно изъедена коростой. Аварийные ракеты на скрученных кронштейнах нелепо торчали во все стороны, грузовой отсек перекосило, и один сектор его был раздавлен. Диск грузового отсека напоминал плоскую круглую консервную банку, на которую наступили свинцовым башмаком. «Часть продовольствия, конечно, погибла,— подумал начальник.— Какая чушь лезет в голову! Не все ли равно. Да, «Тахмасибу» теперь не скоро уйти отсюда».

— Дорого нам обошелся куриный суп,— сказал дядя Валнога.

— Да,— пробормотал директор.— Куриный суп. Бросьте, Валнога. Вы же этого не думаете. При чем здесь куриный суп?

— Отчего же,— сказал Валнога.— Ребятам нужна настоящая еда.

Планетолет опустился на равнину и погрузился в тень. Теперь было видно только слабое зеленоватое мерцание на

титановых боках, потом там сверкнули огни и мелькнули маленькие черные фигурки. Косматый горб Юпитера ушел за скалы, и скалы почернели и стали выше, и на мгновение ярко загорелась какая-то расщелина, и стали видны решетчатые конструкции антенн.

В кармане директора тоненько запел радиофон. Директор вытащил гладкую коробку и нажал кнопку приема.

— Слушаю,— сказал он.

Тенорок дежурного диспетчера, очень веселый и без всякой почтительности, сказал скороговоркой:

— Товарищ директор, капитан Быков с экипажем и пассажирами прибыл на станцию и ждет вас в вашем кабинете.

— Иду,— сказал начальник.

Вместе с дядей Валногой он спустился в лифте и направился в свой кабинет. Дверь была раскрыта настежь. В кабинете было полно народу, и все громко говорили и смеялись. Еще в коридоре директор услыхал радостный вопль:

— Как жизнь — хорошё-о? Как мальчу́шки — хорошё-о?

Директор не сразу вошел, а некоторое время стоял на пороге, разыскивая глазами прибывших. Валнога громко дышал у него над ухом, и чувствовалось, что он улыбается до ушей. Они увидели Моллара с мокрыми после купания волосами. Моллар отчаянно жестикулировал и хохотал. Вокруг него стояли девушки — Зойка, Галина, Наденька, Джейн, Юрико, все девушки Амальтеи,— и тоже хохотали. Моллар всегда ухитрялся собрать вокруг себя всех девушек. Потом директор увидел Юрковского, вернее, его затылок, торчащий над головами, и кошмарное чудище у него на плече. Чудище вертело мордой и время от времени страшно зевало. Варечку дергали за хвост. Дауге видно не было, но зато было слышно не хуже, чем Моллара. Дауге вопил:

— Не наваливайтесь! Пустите, ребятушки! Ой-ой!

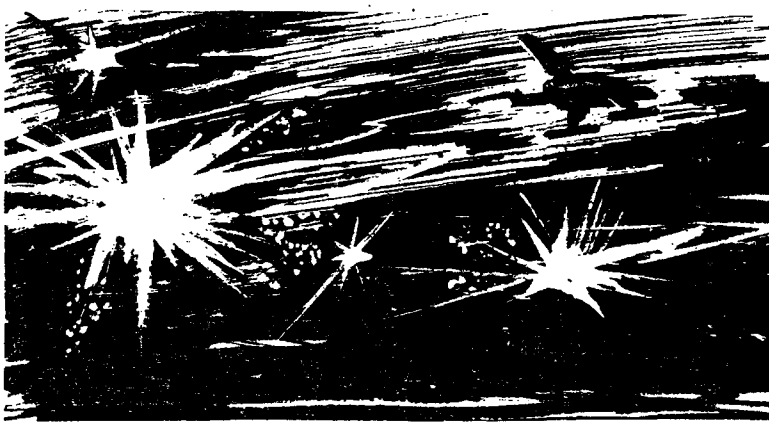
В сторонке стоял огромный незнакомый парень, очень красивый, но слишком бледный среди загорелых. С парнем оживленно разговаривали несколько местных планетолетчиков. Михаил Антонович Крутиков сидел в кресле у стола директора. Он рассказывал, всплескивая короткими ручками, и временами подносил к глазам смятый платочек.

Быкова директор узнал последним. Быков был бледен

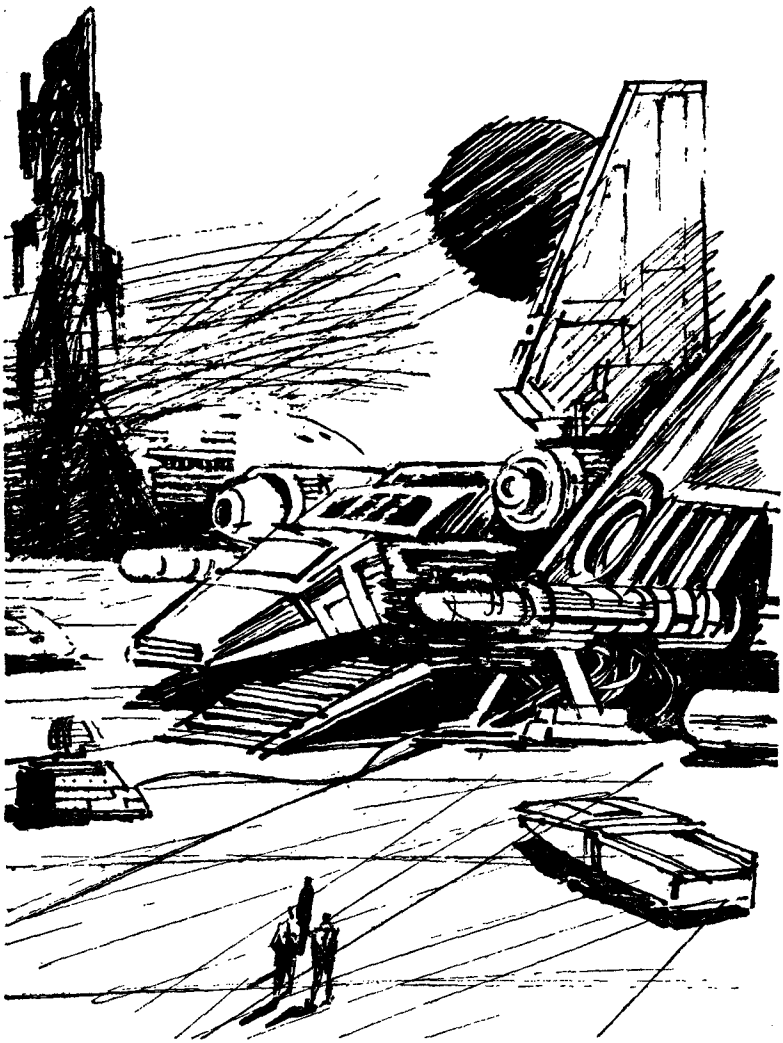
до синевы, и волосы его казались совсем медными, под глазами висели синие мешки, какие бывают от сильных и длительных перегрузок. Глаза его были красными. Он говорил так тихо, что директор ничего не мог разобрать и видел только, что говорит он медленно, с трудом шевеля губами. Возле Быкова стояли руководители отделов и начальник ракетодрома. Это была самая тихая группа в кабинете. Потом Быков поднял глаза и увидел директора. Он встал, и по кабинету прошел шепоток, и все сразу замолчали.

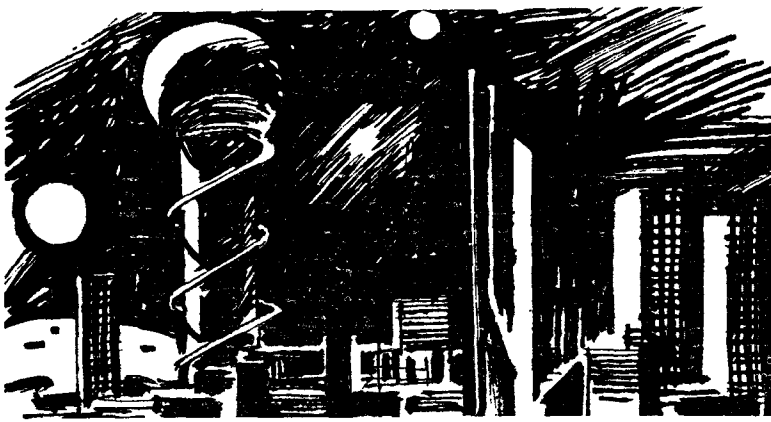
Они пошли навстречу друг другу, гремя магнитными подковами по металлическому полу, и сошлись на середине комнаты. Они пожали друг другу руки и некоторое время стояли молча и неподвижно. Потом Быков отнял руку и сказал:

— Товарищ Кангрен, планетолет «Тахмасиб» с грузом прибыл.



СТАЖЕРЫ





ПРОЛОГ

Подкатил громадный красно-белый автобус. Отлетающих пригласили садиться.

— Что ж, ступайте,— сказал Дауге.

Быков проворчал:

— Успеем. Пока они все усядутся...

Он исподлобья смотрел, как пассажиры один за другим неторопливо поднимаются в автобус. Пассажиров было человек сто.

— Это минут на пятнадцать, не меньше,— солидно заметил Гриша.

Быков строго посмотрел на него.

— Застегни рубашку,— сказал он.

— Пап, жарко,— сказал Гриша.

— Застегни рубашку,— повторил Быков.— Не ходи расхлюстанный.

— Не бери пример с меня,— сказал Юрковский.— Мне можно, а тебе еще нельзя.

Дауге взглянул на него и отвел глаза. Не хотелось смотреть на Юрковского — на его уверенное рыхловатое лицо с брюзгливо отвисшей нижней губой, на тяжелый портфель с монограммой, на роскошный костюм из редкостного стереосинтетика. Лучше уж было глядеть в высокое прозрачное небо, чистое, синее, без единого облачка, даже без птиц — над аэродромом их разгоняли ультразвуковыми сиренами.

Быков-младший под внимательным взглядом Быкова-старшего застегивал воротник. Юрковский томно сказал:

— В стратоплане спрошу бутылочку ессентуков и выкушаю...

Быков-старший с подозрением спросил:

— Печенка?

— Почему обязательно печенка? — сказал Юрковский.— Мне просто жарко. И пора бы тебе знать, что ессентуки от приступов не помогают.

— Ты, по крайней мере, взял свои пилюли? — спросил Быков.

— Что ты к нему пристал? — сказал Дауге.

Все посмотрели на него. Дауге опустил глаза и сказал сквозь зубы:

— Так ты не забудь, Владимир. Пакет Арнаутову нужно передать сразу же, как только вы прибудете на Сырт.

— Если Арнаутов на Марсе,— сказал Юрковский.

— Да, конечно. Я только прошу тебя не забыть.

— Я ему напомню,— пообещал Быков.

Они замолчали. Очередь у автобуса уменьшалась.

— Знаете что, идите вы, пожалуйста,— сказал Дауге.

— Да, пора идти,— вздохнул Быков. Он подошел к Дауге и обнял его.— Не печалься, Иоганыч,— сказал он тихо.— До свидания. Не печалься.

Он крепко сжал Дауге длинными костистыми руками. Дауге слабо оттолкнул его.

— Спокойной плазмы,— проговорил он.

Он пожал руку Юрковскому. Юрковский часто заморгал, он хотел что-то сказать, но только облизнул губы. Он нагнулся, поднял с травы свой великолепный портфель, повертел его в руках и снова положил на траву. Дауге не глядел на него. Юрковский снова поднял портфель.

— Ах, да не кисни ты, Григорий,— страдающим голосом сказал он.

— Постараюсь,— сухо ответил Дауге.

В стороне Быков негромко наставлял сына:

— Пока я в рейсе, будь поближе к маме. Никаких там подводных забав.

— Ладно, пап.

— Никаких рекордов.

— Хорошо, пан. Ты не беспокойся.

— Меньше думай о девицах, больше думай о маме.

— Да ладно, пан.

Дауге сказал тихо:

— Я пойду.

Он повернулся и побрел к зданию аэровокзала. Юрковский смотрел ему вслед. Дауге был маленький, сгорбленный, очень старый.

— До свидания, дядя Володя,— сказал Гриша.

— До свидания, малыш,— сказал Юрковский. Он все смотрел вслед Дауге.— Ты его навещай, что ли... Просто так, зайди, выпей чайку — и все. Он ведь тебя любит, я знаю...

Гриша кивнул. Юрковский подставил ему щеку, похлопал по плечу и вслед за Быковым пошел к автобусу. Он тяжело поднялся по ступенькам, сел в кресло рядом с Быковым и сказал:

— Хорошо было бы, если бы рейс отменили.

Быков с изумлением воззрился на него.

— Какой рейс? Наш?

— Да, наш. Дауге было бы легче. Или чтобы нас всех забраковали медики.

Быков засопел, но промолчал. Когда автобус тронулся, Юрковский сказал:

— Он даже не захотел меня обнять. И правильно сделал. Незачем нам летать без него. Нехорошо. Нечестно.

— Перестань,— сказал Быков.

Дауге поднялся по гранитным ступеням аэровокзала и оглянулся. Красное пятнышко автобуса ползло уже где-то возле самого горизонта. Там в розоватом мареве виднелись конические силуэты лайнеров вертикального взлета. Гриша спросил:

— Куда вас отвезти, дядя Гриша? В институт?

— Можно и в институт,— ответил Дауге.

«Никуда мне не хочется,— подумал он.— Совсем никуда мне не хочется. Тяжело как... Вот не думал, что будет так тяжело. Ведь не случилось ничего нового или неожиданного. Все давно известно и продумано. И заблаговременно пережито потихоньку, потому что кому хочется выглядеть слабым? И вообще все очень справедливо и честно. Пятьдесят два года от роду. Четыре луче-

вых удара. Поношенное сердце. Никуда не годные нервы. Кровь и та не своя. Поэтому бракуют, никуда не берут. А Володьку Юрковского вот берут. А тебе говорят: «Григорий Иоаннович, довольно есть, что дают, и спать, где положат. Пора тебе,— говорят,— Григорий Иоаннович, молодых поучить». А чему их учить?» Дауге покосился на Гришу. Вон он какой здоровенный и зубастый. Смелости его учить? Или здоровью? А больше ведь, по сути дела, ничего и не нужно. Вот и остаешься один. Да сотня статей, которые устарели. Да несколько книг, которые быстро стареют. Да слава, которая стареет еще быстрее.

Он повернулся и вошел в гулкий прохладный вестибюль. Гриша Быков шагал рядом. Рубаха у него была расстегнута. Вестибюль был полон негромких разговоров и шуршания газет. На большом, в полстены, вогнутом экране демонстрировался какой-то фильм; несколько человек, утонув в креслах, смотрели на экран, придерживая возле уха блестящие коробочки фонодемонстраторов. Толстый иностранец восточного типа топтался возле буфета-автомата.

У входа в бар Дауге вдруг остановился.

— Зайдем выпьем, тезка,— сказал он.

Гриша посмотрел на него с удивлением и жалостью.

— Зачем, дядя Гриша? — просительно сказал он.— Зачем? Не надо.

— Ты полагаешь, не надо? — задумчиво спросил Дауге.

— Конечно, не надо. Ни к чему это, честное слово.

Дауге, склонив голову набок, прищурившись, взглянул на него.

— Уж не воображаешь ли ты,— ядовито произнес он,— что я раскис оттого, что меня вывели в тираж? Что я жить не могу без этих самых таинственных бездн и пространств? Извини, голубчик! Плевать я хотел на эти бездны! А вот что я один остался... Понимаешь? Один! В первый раз в жизни один!

Гриша неловко оглянулся. Толстый иностранец смотрел на них. Дауге говорил тихо, но Грише казалось, что его слышит весь зал.

— Почему я остался один? За что? Почему именно меня... именно я должен быть один? Ведь я не самый старый, тезка. Михаил старше, и твой отец тоже...

— Дядя Миша тоже идет в последний рейс,— робко напомнил Гриша.

— Да,— согласился Дауге.— Миша наш состарился... Ну, пойдем выпьем.

Они вошли в бар. В баре было пусто, только за столиком у окна сидела какая-то красивая женщина. Она сидела, положив подбородок на сплетенные пальцы, и смотрела в окно на бетонное поле аэродрома.

Дауге остановился и тяжело оперся на ближайший столик. Он не видел ее лет двадцать, но сразу узнал. В горле у него стало сухо и горько.

— Что с вами, дядя Гриша? — встревоженно спросил Быков-младший.

Дауге выпрямился.

— Это моя жена,— сказал он спокойно.— Пойдем.

«Какая еще жена?» — подумал Гриша с испугом.

— Может быть, мне пойти подождать в машине? — спросил он.

— Чепуха, чепуха,— сказал Дауге.— Пойдем.

Они подошли к столику.

— Здравствуй, Маша,— произнес Дауге.

Женщина подняла голову. Глаза ее расширились.

Она медленно откинулась на спинку стула.

— Ты... не улетел? — сказала она.

— Нет.

— Ты летишь позже?

— Нет. Я остаюсь.

Она продолжала глядеть на него широко раскрытыми глазами. Ресницы у нее были сильно накрашены. Под глазами сеть морщинок. И много морщинок на шее.

— Что значит остаешься? — недоверчиво спросила она.

Он взялся за спинку стула.

— Можно нам посидеть с тобой? — спросил он.— Это Гриша Быков. Сын Быкова.

Тогда она улыбнулась Грише той самой привычно-обещающей *ослепительной улыбкой, которую так ненавидел* Дауге.

— Очень рада,— сказала она.— Садитесь, мальчики.

Гриша и Дауге сели.

— Меня зовут Мария Сергеевна,— сказала она, разглядывая Гришу.— Я сестра Владимира Сергеевича Юрковского.

Гриша опустил глаза и слегка поклонился.

— Я знаю вашего отца,— продолжала она. Она пере-

стала улыбаться.— Я многим ему обязана, Григорий... Алексеевич.

Гриша молчал. Ему было неловко. Он ничего не понимал. Дауге сказал напряженным голосом:

— Что ты будешь пить, Маша?

— Джеймо,— ответила она, ослепительно улыбаясь.

— Это очень крепко? — спросил Дауге.— Впрочем, все равно. Гриша, принеси, пожалуйста, два джеймо.

Он смотрел на нее, на гладкие загорелые руки, на открытые гладкие загорелые плечи, на легкое светлое платье с чуть-чуть слишком глубоким вырезом. Она изумительно сохранилась для своих лет, и даже косы остались совершенно те же, тяжелые, толстые косы, каких давно уже никто не носит, бронзовые, без единого седого волоса, уложенные вокруг головы. Он усмехнулся, медленно расстегнул плотный теплый плащ и стащил плотный теплый шлем с наушниками. У нее дрогнуло лицо, когда она увидела его голый череп с редкой серебристой щетиной возле ушей. Он снова усмехнулся.

— Вот мы и встретились,— сказал он.— А ты почему здесь? Ты ждешь кого-нибудь?

— Нет,— проговорила она.— Я никого не жду.

Она посмотрела в окно, и он вдруг понял.

— Ты провожала,— тихо сказал он.

Она кивнула.

— Кого? Неужели нас?

— Да.

У него остановилось сердце.

— Меня? — спросил он.

Подошел Гриша и поставил на столик два потных ледяных бокала.

— Нет,— ответила она.

— Володьку? — сказал он с горечью.

— Да.

Гриша тихонько ушел.

— Какой милый мальчик,— сказала она.— Сколько ему лет?

— Восемнадцать.

— Неужели восемнадцать? Вот забавно! Ты знаешь, он совсем не похож на Быкова. Даже не рыжий.

— Да, время идет,— сказал Дауге.— Вот я уже и не летаю.

— Почему? — равнодушно спросила она.

— Здоровье.

Она быстро взглянула на него.

— Да, ты неважно выглядишь. Скажи...— Она помолчала.— А Быков тоже скоро перестанет летать?

— Что? — спросил он с удивлением.

— Я не люблю, когда Володя уходит в рейс без Быкова,— сказала она, глядя в окно. Она опять помолчала.— Я очень боюсь за него. Ты ведь знаешь его.

— А при чем здесь Быков? — спросил Дауге неприязненно.

— С Быковым безопасно,— сказала она просто.— Ну а как твои дела, Григорий? Как-то странно, ты — и вдруг не летаешь.

— Буду работать в институте,— сказал Дауге.

— Работать...— Она покачала головой.— Работать... Посмотри, на что ты похож.

Дауге криво усмехнулся.

— Зато ты совсем не изменилась. Замужем?

— С какой стати? — возразила она.

— Я вот тоже так холостяком и остался.

— Неудивительно.

— Почему?

— Ты не годишься в мужья.

Дауге неловко засмеялся.

— Не нужно нападать на меня,— сказал он.— Я просто хотел поговорить.

— Раньше ты умел говорить интересно.

— А что, тебе уже скучно? Мы говорим всего пять минут.

— Нет, почему же? — вежливо сказала она.— Я с удовольствием слушаю тебя.

Они замолчали. Дауге мешал соломинкой в бокале.

— А Володю я провожаю всегда,— сказала она.— У меня есть друзья в управлении, и я всегда знаю, когда вы улетаете. И откуда. И я всегда его провожаю.— Она вынула соломинку из своего бокала, смяла ее и бросила в пепельницу.— Он единственный близкий мне человек в вашем сумасшедшем мире. Он меня терпеть не может, но все равно он единственный близкий мне человек.— Она подняла бокал и отпила несколько глотков.— Сумасшедший мир. Дурацкое время,— сказала она устало.— Люди совершенно разучились жить. Работа, работа, работа... Весь смысл жизни в работе. Все время чего-то ищут. Все время что-то строят. Зачем? Я понимаю, это нужно было раньше, когда всего не хватало. Когда была эта экономи-

ческая борьба. Когда еще нужно было доказывать, что мы можем не хуже, а лучше, чем они. Доказали. А борьба осталась. Какая-то глухая, неявная. Я не понимаю ее. Может быть, ты понимаешь, Григорий?

— Понимаю,— сказал Дауге.

— Ты всегда понимал. Ты всегда понимал мир, в котором ты живешь. И ты, и Володька, и этот скучный Быков. Иногда я думаю, что вы все просто очень ограниченные люди. Вы просто не способны задать вопрос: зачем? — Она снова отпила из бокала.— Ты знаешь, недавно я познакомилась с одним школьным учителем. Он учит детей страшным вещам. Он учит их, что работать гораздо интереснее, чем развлекаться. И они верят ему. Ты понимаешь? Ведь это же страшно! Я говорила с его учениками. Мне показалось, что они презирают меня. За что? За то, что я хочу прожить свою единственную жизнь так, как мне хочется?

Дауге очень хорошо представил себе этот разговор Марии Юрковской с пятнадцатилетними пареньками и девчонками из районной школы. «Где уж тебе понять! — подумал он.— Где тебе понять, как неделями, месяцами с отчаянием бьешься в глухую стену, исписываешь горы бумаги, исхаживаешь десятки километров по кабинету или по пустыне, и кажется, что решения нет и что ты безмозглый слепой червяк, и ты уже не веришь, что так было неоднократно, а потом наступает этот чудесный миг, когда открываешь наконец калитку в стене, и еще одна глухая стена позади, и ты снова бог, и Вселенная снова у тебя на ладони. Впрочем, это даже не нужно понимать. Это нужно чувствовать». Он сказал:

— Они тоже хотят прожить жизнь так, как им хочется. Но вам хочется разного.

Она резко возразила:

— А что, если права я?

— Нет,— сказал Дауге.— Правы они. Они не задают вопроса: зачем?

— А может быть, они просто не могут широко мыслить?

Дауге усмехнулся. «Что ты знаешь о широте мысли?» — подумал он.

— Ты пьешь холодную воду в жаркий день,— сказал он терпеливо.— И ты не спрашиваешь — зачем? Ты просто пьешь, и тебе хорошо...

Она прервала его:

— Да, мне хорошо. Вот и дайте мне пить мою холодную воду, а они пусть пьют свою!

— Пусть,— спокойно согласился Дауге. Он с удивлением и радостью чувствовал, как уходит куда-то противная гнетущая тоска.— Мы ведь не об этом говорили. Тебя интересует, кто прав. Так вот. Человек — это уже не животное. Природа дала ему разум. Разум этот неизбежно должен развиваться. А ты гасишь в себе разум. Искусственно гасишь. Ты всю жизнь посвятила этому. И есть еще очень много людей на Планете, которые гасят свой разум. Они называются мещанами.

— Спасибо.

— Я не хотел тебя обидеть,— сказал Дауге.— Но мне показалось, что ты хочешь обидеть нас. Широта взглядов... Какая у вас может быть широта взглядов?

— Ты очень красиво говоришь сегодня,— заметила она, недобро усмехаясь,— все так мило объясняешь. Тогда будь добр, объясни мне, пожалуйста, еще одну вещь. Всю жизнь ты работал. Всю жизнь ты развивал свой разум, перешагивал через простые мирские удовольствия.

— Я никогда не перешагивал через мирские удовольствия,— сказал Дауге.— Я даже был изрядным шалопаем.

— Не будем спорить,— сказала она.— С моей точки зрения, ты перешагивал. А я всю жизнь гасила разум. Я всю жизнь занималась тем, что лелеяла свои низменные инстинкты. И кто же из нас счастливее т е п е р ь?

— Конечно, я,— сказал Дауге.

Она откровенно оглядела его и засмеялась.

— Нет,— сказала она.— Я! В худшем случае мы оба одинаково несчастны. Бездарная кукушка — так меня, кажется, называет Володя? — или трудолюбивый муравей — конец один: старость, одиночество, пустота. Я ничего не приобрела, а ты все потерял. В чем же разница?

— Спроси у Гриши Быкова,— спокойно сказал Дауге.

— О, э т и! — она пренебрежительно махнула рукой.— Я знаю, что скажут они. Нет, меня интересует, что скажешь ты! И не сейчас, когда солнце и люди вокруг, а ночью, когда бессонница, и твои осточертевшие талмуды, и ненужные камни с ненужных планет, и молчащий телефон, и ничего, ничего впереди.

— Да, это бывает,— сказал Дауге.— Это бывает со всеми.

Он вдруг представил себе все это: и молчащий телефон, и ничего впереди, но только не талмуды и камни, а флаконы с косметикой, мертвый блеск золотых украшений и беспощадное зеркало. «Я свинья — с раскаянием подумал он.— Самоуверенная и равнодушная свинья. Ведь она просит о помощи!»

— Ты разрешишь мне прийти к тебе сегодня? — сказал он.

— Нет.— Она поднялась.— У меня сегодня гости.

Дауге отодвинул нетронутый бокал и тоже поднялся. Она взяла его под руку, и они вышли в вестибюль. Дауге изо всех сил старался не хромать.

— Куда ты сейчас? — спросил он.

Она остановилась перед зеркалом и поправила волосы, которые совершенно не нужно было поправлять.

— Куда? — переспросила она.— Куда-нибудь. Ведь мне еще не пятьдесят, и мой мир принадлежит пока мне.

Они спустились по белой лестнице на залитую солнцем площадь.

— Я мог бы тебя подвезти,— сказал Дауге.

— Спасибо, у меня своя машина.

Он неторопливо натянул шлем, проверил, не дует ли в уши, и застегнул плащ.

— Прощай, старичок,— сказала она.

— Прощай,— сказал он, ласково улыбаясь.— Извини, если я говорил жестоко... Ты мне очень помогла сегодня.

Она непонимающе взглянула на него, пожала плечами, улыбнулась и пошла к своей машине. Дауге смотрел, как она идет, покачивая бедрами, удивительно стройная, гордая и жалкая. У нее была великолепная походка, и она была все-таки еще хороша, изумительно хороша. Ее провожали глазами. Дауге подумал с тоскливой злобой: «Вот. Вот и вся ее жизнь. Затянуть телеса в дорогое и красивое и привлекать взоры. И много их, и живучи же они».

Когда он подошел к машине, Гриша Быков сидел, упершись коленями в рулевую дугу, и читал толстую книгу. Приемник в машине был включен на полную мощность: Гриша очень любил сильный звук.

Дауге залез в машину, выключил приемник и некоторое

время сидел молча. Гриша отложил книгу и завел мотор. Дауге сказал, глядя перед собой:

— Жизнь дает человеку три радости, тезка. Друга, любовь и работу. Каждая из этих радостей отдельно уже стоит многого. Но как редко они собираются вместе!

— Без любви, конечно, обойтись можно,— вдумчиво сказал Гриша.

Дауге мельком взглянул на него.

— Да, можно,— согласился он.— Но это значит, что одной радостью будет меньше, а их всего три.

Гриша промолчал. Ему казалось нечестным ввязываться в спор, безнадежный для противника.

— В институт,— сказал Дауге,— и постарайся успеть к часу. Не опоздаем?

— Нет, я быстро.

Машина выехала на шоссе.

— Дядя Гриша, вам не дует? — спросил Гриша Быков.

Дауге повел носом и сказал:

— Да, брат. Давай-ка поднимем стекла.

1. МИРЗА-ЧАРЛЕ. РУССКИЙ МАЛЬЧИК

Дежурная по пассажирским перевозкам очень сочувствовала Юре Бородину. Она ничем не могла помочь. Регулярного пассажирского сообщения с системой Сатурна не существовало. Не существовало еще даже регулярного грузового сообщения. Грузовики-автоматы отправлялись туда два-три раза в год, а пилотируемые корабли — и того реже. Дежурная дважды посылала запрос электронному диспетчеру, перелистала какой-то толстый справочник, несколько раз звонила кому-то, но все было напрасно. Наверное, у Юры был очень несчастный вид, потому что напоследок она сказала с жалостью:

— Не надо так огорчаться, голубчик. Очень уж далекая планета. И зачем вам надо так далеко?

— Я от ребят отстал,— расстроенно сказал Юра.— Спасибо вам большое. Я пойду. Может быть, еще где-нибудь...

Он повернулся и пошел к выходу, опустив голову, глядя на стертый пластмассовый пол под ногами.

— Постойте, голубчик! — окликнула его дежурная.

Юра сейчас же повернулся и пошел обратно.— Понимаете, голубчик,— сказала дежурная нерешительно,— случаются еще иногда специальные рейсы.

— Правда? — с надеждой сказал Юра.

— Да. Но сведения о них в наше управление не поступают.

— А меня могут взять в специальный рейс? — спросил Юра.

— Не знаю, голубчик. Я даже не знаю, где об этом можно узнать. Возможно, у начальника ракетодрома? — Она вопросительно посмотрела на Юру.

— К начальнику, наверное, не пробиться,— уныло сказал Юра.

— А вы попробуйте.

— Спасибо,— сказал Юра.— До свидания. Я попробую.

Он вышел из управления перевозок и огляделся. Справа над зелеными купами деревьев поднималось в жаркое *белесое небо здание гостиницы. Слева нестерпимо* блестел на солнце исполинский стеклянный купол. Этот купол Юра увидел еще с аэродрома. С аэродрома только и видно было, что этот купол и золотой шпиль гостиницы. Юра, конечно, спросил, что это такое, и ему коротко ответили: «СЭУК». Что такое СЭУК, Юра не знал.

Прямо перед зданием управления проходила широкая дорога, посыпанная крупным красным песком. На песке виднелись следы множества ног и рубчатые отпечатки протекторов. По обеим сторонам дороги тянулись бетонированные арыки, вдоль арыков густо росли акации. Шагах в двадцати от входа в управление в тени акаций стоял маленький квадратный белый атомокар. Над блестящим ветровым стеклом неподвижно торчали большие голубые каски с белыми буквами: «International Police. Mirza-Charlie»[1].

Минуты две Юра стоял в полной нерешительности. Сначала на дороге никого не было. Потом откуда-то справа появился, широко шагая, рослый, докрасна загорелый человек в белом костюме. Поравнявшись с Юрой, он остановился, стащил с головы огромный берет и обмахнул лицо. Юра с любопытством посмотрел на него.

— Ш-жарко! — сказал человек в белом костюме.— А как ты? — Он говорил с сильным акцентом.

---

[1] «Международная полиция. Мирза-Чарле» *(англ.)*.

— Очень жарко,— согласился Юра.

Человек в белом костюме нахлобучил берет на выгоревшую шевелюру и извлек из кармана плоскую стеклянную флягу.

— Ви-пьем? — сказал он, раздвигая рот до ушей.

Юра помотал головой.

— Не пью,— сказал он.

— Я тош-же не пью,— объявил человек в белом костюме и сунул флягу обратно в карман.— Но я всегда имею виски на случай, если кто пьет.

Юра засмеялся. Человек ему нравился.

— Ш-жарко,— еще раз сказал человек в белом костюме.— Это наша беда.— Меш-ждународни ракетодром в Гренландии — и я там мерзну. Меш-ждународни ракетодром в Мирза-Чарле — я мокрый, потный. А?

— Ужасно жарко,— сказал Юра.

— А куда летим? — осведомился человек в белом костюме.

— Мне нужно на Сатурн.

— О-о! — сказал человек в белом костюме.— Оч-шень молодой — и уже на Сатурн! Знач-шит, нам встреч-шаться и встреч-шаться! — Он похлопал Юру по плечу и вдруг заметил полицейскую машину.— Меш-ждународни полиция,— сказал он торжественно.— Они долш-жны иметь все поч-шести.

Он важно кивнул Юре и пошел дальше. Поравнявшись с полицейским атомокаром, он подтянулся и приложил указательный палец к виску. Голубые каски над ветровым стеклом одновременно и медленно качнулись и снова застыли неподвижно.

Юра вздохнул и неторопливо пошел к гостинице. Нужно было искать где-то начальника ракетодрома. На дороге было пусто, и спросить было не у кого. Можно было, конечно, спросить у полицейских, но Юре не хотелось обращаться к ним. Ему не нравилось, что они сидят так неподвижно. Юра мимолетно пожалел, что не спросил о начальнике у человека в белом костюме, а потом вдруг подумал, что ласковая дежурная наверняка должна знать все о Мирза-Чарле.

Он даже остановился на секунду, но потом пошел дальше. В конце концов, неудобно отнимать у людей так много времени. «Ничего, узнаю где-нибудь»,— подумал он и пошел быстрее.

Он шел по самому краю арыка, стараясь не выходить на

солнце, мимо ярко раскрашенных автоматов с газированной водой и соками, мимо пустых скамеек и шезлонгов, мимо маленьких белых домиков, спрятанных в тени акаций, мимо обширных бетонированных площадок, уставленных пустыми атомокарами. Над одной из этих площадок почему-то не было тента, и от блестящих отполированных крыш машин поднимался дрожащий горячий воздух. Было очень жалко смотреть на эти машины, может быть уже не первый час стоявшие под беспощадным солнцем. Мимо гигантских рекламных щитов, на трех языках обещающих геркулесовское здоровье всем, кто пьет витаминизированное козье молоко «Годен Хориз», мимо каких-то очень странных потрепанных людей, спавших прямо в траве, подложив под головы узелки, рюкзаки и чемоданчики, мимо застывших у обочины машин-дворников, мимо загорелых ребятишек, плескавшихся в арыке. Несколько раз его обгоняли пустые автобусы. Он прошел под плакатом, протянутым над дорогой: «Мирза-Чарле приветствует дисциплинированного водителя». Надпись была сделана по-английски. Он миновал голубую будку регулировщика, свернул направо и вышел на проспект Дружбы — главную улицу Мирза-Чарле.

Проспект был тоже пуст. Магазины, кинотеатры, бары, кафе были закрыты. «Сиеста»,— подумал Юра. На проспекте было невыносимо жарко. Юра остановился у автомата и выпил стакан горячего апельсинового сока. Подняв брови, он подошел к следующему автомату и выпил стакан горячей газированной воды. «Да,— подумал он.— Сиеста. Хорошо бы забраться в холодильник».

Солнце жгло проспект — белое, словно затянутое туманом. Теней не было. В конце проспекта в горячей дымке розовела и синела громада гостиницы. Юра двинулся в путь, ощущая сквозь туфли раскаленный тротуар. Сначала он шел быстро, но быстро идти было нельзя — перехватывало дыхание, и пот катился по лицу, оставляя щекотные дорожки.

Длинная узкая машина с растопыренными надкрыльями подкатила к тротуару. Водитель в огромных черных очках открыл дверцу.

— Слушай, друг, где здесь гостиница?

— А вон прямо, в конце проспекта,— сказал Юра.

Водитель посмотрел, кивнул и спросил:

— А ты не туда?

— Туда,— со вздохом ответил Юра.

— Садись,— сказал водитель.

Юра с радостью полез в машину.

— Сразу видно, что ты приезжий вроде меня,— сказал водитель. Он вел машину очень медленно.— Все местные сидят в тени. Меня предупреждали, что надо приезжать к вечеру, но такой уж я человек — неохота было ждать. И зря, видно, торопился. Сонное царство.

В машине было много прохладного чистого воздуха.

— А по-моему,— сказал Юра,— очень любопытный городок. Я никогда раньше не был в международных городах. Здесь все так забавно перепуталось. Каракумы и международная полиция. Видели — такие, в голубых касках?

— Видел,— хмуро сказал водитель.— Там их сейчас на шоссе...— он мотнул головой,— человек тридцать. Грузовики столкнулись.

— Как так столкнулись? — сказал Юра.— Какие грузовики? Автоматы?

— Да нет, зачем автоматы? — проворчал водитель.— Эти... Варяжские гости. Дорвались... Мерзавцы пьяные.

Он остановил машину перед гостиницей и сказал:

— Приехали. Мне в первый переулок направо.

Юра вылез.

— Большое спасибо,— сказал он.

— Не за что,— сказал водитель.— До свидания.

Юра поднялся в холл и подошел к администратору. Администратор говорила по телефону, и Юра, присев в кресло, стал рассматривать картины на стенах. Здесь тоже все очень забавно перемешалось. Рядом с традиционными шишкинскими медведями красовалось большое полотно, покрытое флюоресцирующими красками и ничего особенного не изображавшее. Некоторое время Юра с тихой радостью сравнивал эти картины. Это было очень забавно.

— Слушаю вас, мсье,— сказала администратор, складывая руки на столе.

Юра засмеялся.

— Я, видите ли, не мсье,— сказал он.— Я простой советский товарищ.

Администратор тоже засмеялась:

— Откровенно говоря, я так и думала. Но я не хотела рисковать. У нас тут попадаются иностранцы, которые обижаются, когда их называешь товарищами.

— Вот чудаки,— сказал Юра.

— Да уж,— сказала администратор.— Так чем я могу быть вам полезна, товарищ?

— Понимаете,— сказал Юра,— мне страшно нужно попасть к начальнику ракетодрома. Не можете ли вы посоветовать мне что-нибудь?

— А что тут советовать? — удивилась администратор. Она сняла трубку и набрала номер.— Валя? — спросила она.— Ах, Зоя? Слушай, Зоечка, это Круглова говорит. Когда твой сегодня принимает? Ага... Понимаю... Нет, просто один молодой человек... Да... Ну хорошо, спасибо, извини, пожалуйста.

Экран видеофона во время разговора оставался слепым, и Юра счел это за плохое предзнаменование. «Плохо дело»,— подумал он.

— Так вот, дело обстоит следующим образом,— сказала администратор.— Начальник сильно занят, и попасть к нему можно будет только после шести. Я напишу вам адрес и телефон...— Она торопливо писала на гостиничном бланке.— Вот. Часов в шесть позвоните туда или прямо зайдите. Это здесь рядом.

Юра встал, взял листок и поблагодарил.

— А где вы остановились? — спросила администратор.

— Понимаете,— сказал Юра,— я еще пока нигде не остановился. Я и не хочу останавливаться. Мне нужно улететь сегодня.

— А,— сказала администратор.— Ну, счастливого пути. Спокойной плазмы, как говорят наши межпланетники.

Юра еще раз поблагодарил и пошел на улицу.

В тенистом переулке неподалеку от гостиницы он нашел кафе, в котором сиеста уже кончилась или еще не начиналась. Под широким цветастым тентом прямо на траве были расставлены столики, пахло жареной свининой. Над тентом висела вывеска: «Your old Micky Mouse»[1] с изображением знаменитого диснеевского мышонка. Юра несмело прошел под тент.

Конечно, такие кафе бывают только в международном городе. За длинной металлической стойкой на фоне буты-

[1] «Ваш старый Микки Маус» *(англ.)*.

лок с пестрыми этикетками восседал лысый румяный бармен в белой куртке с засученными рукавами. Его большие волосатые кулаки лениво лежали среди серебряных колпаков, покрывавших блюда с бесплатными закусками. Слева от бармена возвышалась непонятная серебряная машина, от которой поднимались струйки пахучего пара. Справа под стеклянной крышкой красовались всевозможные сэндвичи на картонных тарелочках. Над головой бармена были прибиты два плаката. Один, на английском языке, извещал, что «первая выпивка даром, вторая — двадцать четыре цента, остальные — по восемнадцать центов каждая». Другой плакат, на русском языке, гласил: «Ваш старый Микки Маус борется за звание кафе отличного обслуживания».

В кафе было всего двое посетителей. Один из них спал за столиком в углу, уронив на руки нечесаную голову. Рядом с ним на траве валялся сморщенный, засаленный рюкзак.

Второй посетитель, здоровенный мужчина в клетчатой рубахе, неторопливо и со вкусом ел рагу и через два ряда столиков беседовал с барменом. Беседа велась по-русски. Когда Юра вошел, бармен говорил:

— Я не касаюсь фотонных ракет и атомных реакторов. Я хочу говорить о кафе и барах. В этом-то я кое-что понимаю. Возьмите здесь, в Мирза-Чарле, ваши советские кафе и наши западные кафе. Я знаю оборот каждого заведения в этом городе. Кто ходит в ваши советские кафе? И главное, зачем? В ваши советские кафе ходят женщины кушать мороженое и танцевать по вечерам с непьющими пилотами...

Тут бармен увидел Юру и остановился.

— Вот мальчик,— сказал он.— Это русский мальчик. Он пришел в «Микки Маус» днем. Значит, он приезжий. Он хочет кушать.

Мужчина в клетчатой рубашке с любопытством поглядел на Юру.

— Здравствуйте,— сказал Юра бармену.— Я действительно хочу есть. Как это у вас делается?

Бармен гулко захохотал.

— У нас это делается точно так же, как у вас,— сказал он.— Быстро, вкусно и вежливо. Что бы вы хотели скушать, мальчик?

Человек в клетчатой рубахе сказал:

— Сделайте ему окрошку со льдом и свиную отбивную,

Джойс. А вы, товарищ, подсаживайтесь ко мне. Во-первых, здесь почему-то сквозячок, а во-вторых, так нам будет удобнее вести идеологическую борьбу со старым Джойсом.

Бармен опять захохотал и скрылся под стойкой. Юра, смущенно улыбаясь, сел рядом с клетчатой рубашкой.

— Я веду с «Микки Маусом» идеологическую борьбу,— объяснил человек в клетчатой рубашке.— Вот уже пять лет я пытаюсь доказать ему, что в Солнечной системе есть еще кое-что, кроме питейных заведений.

Бармен появился из-за стойки, неся на подносе глубокую картонную тарелку с окрошкой и хлеб.

— Пить я вам даже не предлагаю,— сказал он и ловко поставил поднос на стол.— Я сразу понял, что вы русский мальчик. У вас у всех какое-то особенное выражение лица. Не могу сказать, Иван, чтобы оно мне не нравилось, но при виде вас почему-то пропадает жажда. И хочется соревноваться за какое-нибудь звание даже в ущерб заведению.

— В свободном предпринимателе заговорила совесть,— сказал Иван.— Еще год назад мне удалось убедить его в том, что сбывать спиртное ни в чем не повинным людям безнравственно.

— Особенно если это делается бесплатно,— сказал бармен и захохотал. Очевидно, он намекал на первую даровую выпивку.

Юра слушал, с удовольствием поедая ледяную, необыкновенно вкусную окрошку. По краю тарелки шла английская надпись, которую Юра перевел так: «Съешь до дна, на дне сюрприз».

— Дело даже не в том, Джойс, что из-за вашей клиентуры приходится содержать в Мирза-Чарле международную полицию,— сказал лениво Иван.— И я оставляю пока в стороне вопрос о том, что именно благодаря преимуществам западных кафе перед советскими человек имеет изумительную легкую возможность потерять свой натуральный человеческий облик. Очень печально глядеть на вас как такового, Джойс. Не на бармена, а на человека. Энергичный мужчина, золотые волосатые руки, далеко не дурак. И чем он занимается? Он торчит за стойкой, как старый торговый автомат, и каждый вечер, слюнявя пальцы, считает грязные бумажки.

— Вы этого не поймете, Иван,— величественно сказал бармен.— Такое понятие, как честь и оборот заведения,

для вас чуждо. Кто не знает «Микки Мауса» и Джойса? Во всех углах Вселенной знают мой бар! Куда идут наши пилоты, вернувшиеся с какого-нибудь Юпитера? К «Микки Маусу»! Где наши вербованные бродяги проводят свой последний день на Земле? У «Микки Мауса»! Здесь! У этой вот стойки! Куда идут залить горе или спрыснуть радость? Ко мне! А куда ходите обедать вы, Иван? — Он захохотал.— Вы идете к старому Джойсу! Конечно, вы никогда не заглянете ко мне вечером. Разве что в составе патруля порядка. И я знаю, что в глубине души вы предпочитаете ваши советские кафе. Но почему-то вы все-таки ходите сюда! К «Микки Маусу» или к старому Джойсу — что-то вам нравится, верно? Вот поэтому я и горжусь своим заведением.— Бармен перевел дух и выставил перед собой толстый указательный палец.— И еще одно,— сказал он.— Эти самые грязные бумажки, о которых вы говорите. В вашей сумасшедшей стране все знают, что деньги — это грязь. Но у меня в стране всякий знает, что грязь — это, к сожалению, не деньги. Деньги надо добывать! Для этого летают наши пилоты, для этого вербуются наши рабочие. Я старый человек и, наверно, поэтому никак не могу понять, чем измеряется успех и благополучие у вас. Ведь у вас все вверх ногами. А вот у нас все ясно и понятно. Где сейчас покоритель Ганимеда капитан Энтон? Директор компании «Минералз Лимитэд». Кто сейчас знаменитый штурман Сайрус Кэмпбэлл? Владелец двух крупнейших ресторанов в Нью-Йорке. Конечно, когда-то их знал весь мир, а теперь они в тени, но зато раньше они были слугами и шли туда, куда их пошлют, а сейчас они сами имеют слуг и посылают их, куда захотят. Я тоже не хочу быть слугой. Я тоже хочу быть хозяином.

Иван сказал задумчиво:

— Кое-чего вы уже достигли, Джойс. Вы не хотите быть слугой. Теперь вам осталась самая малость: перестать хотеть быть господином.

Юра доел окрошку и увидел сюрприз. На дне тарелки была надпись: «Это блюдо приготовлено электронной кухонной машиной «Орфей» фирмы «Кибернетикс Лимитэд». Юра отодвинул тарелку и заявил:

— А по-моему, ужасно скучно всю жизнь простоять за стойкой.

Бармен поправил на стене табличку с английской надписью: «Ношение огнестрельного оружия в Мирза-Чарле карается смертью» — и сказал:

— Что значит скучно? Что такое скучная работа и что такое веселая работа? Работа есть работа.

— Работа должна быть интересной,— сказал Юра.

Бармен пожал плечами:

— Зачем?

— Ну как же так зачем? — сказал Юра удивленно.— Если работа неинтересная, надо... надо... Да кому это надо, чтобы работа была неинтересная? Какой от тебя прок, если ты работаешь без интереса?

— Так его, старого,— сказал Иван.

Бармен тяжело поднялся и заявил:

— Это нечестно. Ты вербуешь себе союзников, Иван. А я один.

— Вас тоже двое,— сказал Иван. Он ткнул пальцем в сторону спящего.

Бармен посмотрел, покачал головой и, собрав грязные тарелки, ушел за стойку.

— Каков орешек! — сказал Иван вполголоса.— Как он про честь заведения, а? Вот тебе бы с ним поспорить. Нипочем бы вы друг друга не поняли. Я вот все пытаюсь нащупать с ним общий язык. В общем-то, ведь славный дядька!

Юра упрямо затряс головой.

— Нет,— сказал он.— Никакой он не славный. Самодовольный он и тупой. И жалко его. Ну зачем живет человек? Вот накопит денег, вернется к себе домой. Ну и что дальше?

— Джойс! — рявкнул Иван.— Тут к вам есть один вопрос!

— Иду! — откликнулся бармен.

Он появился из-за стойки и поставил перед Юрой тарелку с отбивной и запотевшую бутылочку виноградного сока.

— За счет заведения,— сказал он, указывая на бутылочку, и сел.

Юра сказал:

— Спасибо, зачем же?

— Слушайте, Джойс,— сказал Иван.— Вот русский мальчик спрашивает, что вы будете делать, когда разбогатеете?

Некоторое время Джойс внимательно глядел на Юру.

— Ладно,— сказал он.— Я знаю, какого ответа ждет мальчик. Поэтому спрошу я. Мальчик вырастет и станет

взрослым мужчиной. Всю жизнь он будет заниматься своей... как это вы говорите... интересной работой. Но вот он состарится и не сможет больше работать. Чем тогда он будет заниматься, этот мальчик?

Иван откинулся на спинку стула и с удовольствием посмотрел на бармена. На лице его было прямо-таки написано: «Каков орешек, а?» Юра почувствовал, что у него запылали уши. Он опустил вилку и растерянно сказал:

— Я... не знаю, я как-то не думал...— Он замолчал.

Бармен серьезно и печально смотрел на него. Медленно ползли ужасные мгновения. Юра сказал с отчаянием:

— Я постараюсь умереть раньше, чем не смогу работать...

Брови бармена полезли на лоб, он испуганно оглянулся на Ивана. В полнейшем смятении Юра заявил:

— И вообще я считаю, что самое важное в жизни для человека — это красиво умереть!

Бармен молча поднялся, потрепал Юру по спине широкой ладонью и удалился за стойку. Иван сказал:

— Ну, брат, спасибо. Удружил. Этак ты мне всю идеологическую работу развалишь.

— Ну почему же? — пробормотал Юра.— Старость... Не работать... Человек должен всю жизнь бороться! Разве не так?

— Все так,— сказал бармен.— Вот я, например, всю жизнь борюсь с налогами.

— Ах, да ведь я не об этом,— сказал Юра, махнул рукой и уткнулся в тарелку.

Иван отпил виноградного сока за счет заведения и неторопливо сказал:

— Между прочим, Джойс, очень интересная деталь. Хотя мой союзник по молодости лет не сказал ничего умного, но заметьте, он предпочитает лучше умереть, чем жить вашей старостью. Ему просто никогда в голову не приходило, что он будет делать, когда состарится. А вы, Джойс, об этом думаете всю жизнь. И всю жизнь готовитесь к старости. Так-то, старина Джойс.

Бармен задумчиво поскреб мизинцем лысину.

— Пожалуй,— сказал он.

— Вот в этом и разница,— сказал Иван.— И разница, по-моему, не в вашу пользу.

Бармен подумал, снова поскреб лысину и, не сказав ни слова, скрылся за дверью позади стойки.

— Ну вот,— сказал Иван с удовлетворением.— Сегодня я его уел. Между прочим, откуда ты, прелестное дитя?

— Из Вязьмы,— грустно сказал Юра. Он остро переживал свою житейскую несостоятельность.

— И зачем?

— Мне нужно на Рею.— Он взглянул на Ивана и пояснил: — Рея — это один из спутников Сатурна.

— Ах, вот как! — сказал Иван.— Интересно. И что тебе надо на Рее?

— Там новое строительство. А я вакуум-сварщик. Нас было одиннадцать человек, и я отстал от группы, потому что... Ну, в общем, по семейным обстоятельствам. Теперь не знаю, как туда добраться. Вот в шесть часов пойду к начальнику ракетодрома.

— К Майкову?

— Н-нет,— сказал Юра.— То есть я не знаю, как его зовут. В общем, к начальнику ракетодрома.

Иван с интересом его рассматривал.

— Как тебя зовут?

— Юра... Юрий Бородин.

— Так вот что, Юрий Бородин,— сказал Иван и сокрушенно покачал головой.— Боюсь, что тебе придется красиво умереть. Дело в том, что начальник ракетодрома товарищ Майков, как мне это доподлинно известно, вылетел в Москву...— он посмотрел на часы,— двенадцать минут назад.

Это был страшный удар. Юра сразу спик.

— Как так?..— пробормотал он.— Мне же сказали...

— Ну-ну,— сказал Иван.— Не нужно огорчаться. Старость еще не наступила. Всякий начальник, улетая в Москву, оставляет заместителя.

— Правда! — сказал Юра и воспрянул.— Вы меня извините: я должен немедленно пойти и позвонить.

— Иди позвони,— сказал Иван.— Телефон сразу за углом.

Юра вскочил и побежал к телефону.

Когда Юра вернулся, Иван стоял на тропинке перед входом в кафе.

— Ну что? — спросил он.

— Не везет,— с огорчением сказал Юра.— Начальник

действительно улетел, а его заместитель сможет принять меня только завтра вечером.

— Вечером? — переспросил Иван.

— Да, после семи вечера.

Иван задумчиво уставился куда-то на кроны акаций.

— Вечером,— повторил он.— Да, это слишком поздно.

— Придется все-таки ночевать в гостинице,— сказал Юра со вздохом.— Пойду возьму номер.

По тропинке приближался, суетливо перебирая коротенькими ножками, толстенький, шикарно одетый человек в пробковом шлеме. Лицо у него было припухшее, с припухшими глазками. Под левым глазом темнела круто запудренная ссадина. Не доходя десяти шагов до Ивана, человек сорвал с головы шлем и, согнув туловище почти пополам, торопливо проскочил в кафе. Иван вежливо ему поклонился.

— Что это он так? — с изумлением спросил Юра.

— Пойдем, пойдем,— сказал Иван.— Нам по дороге.

— Минуточку,— сказал Юра.— Я только расплачусь.

— Я уже расплатился,— сказал Иван.— Пошли.

— Нет, зачем же,— сказал Юра с достоинством.— Деньги у меня есть... Нам всем выдали...

Иван оглянулся на кафе.

— А этот подхалимчик,— сказал он,— это мой добрый знакомый. Краса и гордость международного порта Мирза-Чарле.

Юра тоже оглянулся. «Краса и гордость Мирза-Чарле» уже взгромоздился на высокий табурет перед стойкой.

— Король стинкеров[1]. Подпольный вербовщик. Самый процветающий мерзавец в городе. Два дня назад напился как свинья и приставал к девушке на улице. Тут я его побил немножко. Теперь он со мной очень любезен.

Они не спеша шли по тенистому зеленому переулку. Стало прохладно. С проспекта Дружбы доносился слитный гул моторов.

— А кого он вербует? — спросил Юра.

— Рабочих,— ответил Иван.— Между прочим, кто тебя рекомендовал на Рею?

— Нас рекомендовал наш завод,— сказал Юра.— А что это за рабочие? Неужели наши вербуются?

---

[1] Стинкер — вонючка *(англ.)*.

Иван удивился.

— Ну зачем же наши? Ребята с Запада. Всякие бедняги, которые с детства думают о старости и мечтают быть какими-нибудь хозяевами. Таких там еще много. Слушайка, Юра,— сказал он,— а если ты не доберешься до Реи? Что тогда?

— Ну что вы,— сказал Юра.— Я обязательно доберусь до Реи. Это ж будет очень нехорошо перед ребятами, если я не доберусь. Нас было сто пятьдесят добровольцев, а выбрали только одиннадцать. Как же я могу не добраться? Надо добраться.

Некоторое время они шли молча.

— Ну, вот они вербуются,— сказал Юра.— А потом куда?

— Потом их сажают на корабли и отправляют на астероиды. Вербовщики получают с каждой головы, посаженной в трюм. Поэтому они под видом всяких торговых агентов околачиваются в Мирза-Чарле. И на других международных ракетодромах.

Они вышли на проспект Дружбы и повернули к гостинице. У большого белого дома Иван остановился.

— Мне сюда,— сказал он.— До свидания, Юра Бородин.

— До свидания,— сказал Юра.— Большое спасибо. И простите, что я наговорил ерунды там, в кафе.

— Ничего,— сказал Иван.— Главное, искренне было сказано.

Они пожали друг другу руки.

— Послушай, Юра,— сказал Иван и замолчал.

— Да? — сказал Юра.

— Насчет Реи,— сказал Иван. Он снова помолчал, глядя в сторону. Юра ждал.— Так вот, насчет Реи. Зайдика ты, брат, сегодня часов этак в девять вечера в триста шестой номер гостиницы.

— И что? — спросил Юра.

— Что из этого получится, я не знаю,— сказал Иван.— В этом номере ты увидишь человека, очень свирепого на вид. Попробуй убедить его, что тебе очень нужно на Рею.

— А кто он такой? — спросил Юра.

— До свидания,— сказал Иван.— Не забудь: номер триста шесть, после девяти.

Он повернулся и скрылся в белом здании. У входа в

здание висела черная пластмассовая доска с белой надписью: «Штаб патрулей порядка. Мирза-Чарле».

— Номер триста шесть,— повторил Юра.— После девяти.

2. МИРЗА-ЧАРЛЕ. ГОСТИНИЦА, ТРИСТА ШЕСТОЙ НОМЕР

Юра убивал время. За несколько часов он обошел почти весь город. Он очень любил ходить по незнакомым городам и узнавать, что в них есть. В Мирза-Чарле был СЭУК. Под гигантский прозрачный купол не пускали, но теперь Юра знал, что СЭУК — это Система электронного управления и контроля, электронный мозг ракетодрома. Если пойти на север от СЭУК, то попадешь в обширный парк с кинотеатром под открытым небом, с двумя тирами, с большим стадионом, с аттракционом «Человек в ракете», с музыкальными кабинами, с качелями и танцплощадками и с большим прозрачным озером, вокруг которого растут араукарии и пирамидальные тополя и в котором Юра с наслаждением искупался. На южной окраине города Юра обнаружил низкое красное здание, сразу за которым начиналась пустыня. Возле здания стояло несколько квадратных атомокаров и расхаживал голубой полицейский с пистолетом. Полицейский объявил Юре, что красное здание — это тюрьма и что русскому юноше ходить здесь не нужно. К западу от СЭУК располагались жилые кварталы. Там было много больших и маленьких, красивых и не очень красивых домов. Улицы были узкие, без покрытия. Жить там было, по-видимому, очень неплохо — прохладно, тенисто и недалеко от центра. Юре очень понравилось здание городской библиотеки, но заходить туда он не стал. На западной окраине города располагались административные здания, а за ними начинался огромный район, занятый складами.

Склады были бесконечно длинные, серые, из гофрированной пластмассы, с гигантскими белыми цифрами, намалеванными на стенах. Здесь Юра обнаружил такое количество грузовиков и грузовых вертолетов, какого не видел никогда в жизни. От непрерывного плотного рева моторов закладывало уши. Юра не успел сделать и десяти шагов, как позади него отвратительно взвыла сирена, и он отскочил в сторону, к какой-то стене, но стена вдруг раздвину-

лась, и через широкие, как триумфальная арка, ворота прямо на Юру выползло громадное красно-белое чудище на колесах в два человеческих роста, и с высоты второго этажа на Юру неслышно заорал водитель в тюбетейке. Чудовищный грузовик медленно развернулся в узком проезде между складами, а за ним из черных недр уже выползал второй, а за вторым — третий. Юра осторожно пробирался вдоль стен, пышущих жаром, оглушенный ревом, урчаньем и тяжелым лязгом невиданных механизмов.

Потом Юра увидел низкую платформу, на которую грузили знакомые цилиндрические баллоны со смесью для вакуумной сварки. Он подошел поближе и, радостно улыбаясь, встал рядом с человеком, управлявшим погрузкой с помощью переносного пульта на шее. Некоторое время он стоял и смотрел, как стрелы лебедок аккуратно укладывают друг на друга упакованные штабеля баллонов. Потом деловито сказал:

— Нет, это не пойдет.

— Что не пойдет? — с интересом спросил человек и поглядел на Юру.

— Вот этот баллон не пойдет.

— Почему?

— Вы же видите. У него сбит кран.

Несколько секунд человек колебался.

— Ничего,— сказал он.— Там разберутся.

— Нет уж,— возразил Юра.— Не будем мы там разбираться. Уберите этот штабель.

Человек снял руки с пульта и уставился на Юру. Стрела лебедки замерла, очередной штабель, тихонько покачиваясь, повис в воздухе.

— Это же пустяк,— сказал человек.

— Это здесь пустяк,— снова возразил Юра.

Человек пожал плечами и снова положил руки на пульт. Юра придирчиво проследил за разгрузкой бракованного баллона, вежливо поблагодарил и пошел дальше. Очень скоро он обнаружил, что заблудился. Территория складов представляла собой целый город, улицы и переулки которого были удивительно похожи один на другой. Несколько раз он попадал в переулки, выходившие прямо в пустыню. В конце таких переулков стояли огромные щиты с надписями: «Назад! Зона опасного излучения!» Быстро темнело, над складами вспыхнули прожектора. Юра пошел вслед за колонной каких-то машин на

широких эластичных гусеницах и неожиданно для себя оказался на шоссе.

Юра знал, что город должен находиться справа, но налево, куда ушла колонна, совсем недалеко мигали разноцветные огоньки, и Юра повернул налево. По обе стороны от шоссе расстилалась пустыня. Здесь не было ни деревьев, ни арыков, только ровный черный горизонт. Солнце давно зашло, но воздух был еще горячий и сухой.

Разноцветные огоньки мигали над шлагбаумом. Сбоку шлагбаума стоял небольшой грибообразный домик. Возле домика на скамеечке под фонарем сидел полицейский, держа на коленях голубую каску.

Другой полицейский расхаживал перед шлагбаумом. Увидев Юру, он остановился и пошел навстречу. У Юры екнуло сердце. Полицейский подошел вплотную и протянул руку.

— Пейпарс! — лающим голосом сказал он.

«Кажется, влип,— подумал Юра.— Если меня здесь задержат... Да пока будут выяснять... И зачем меня сюда понесло!..» Он торопливо полез в карман. Полицейский ждал с протянутой рукой. Второй полицейский надел каску и поднялся.

— Вейт э минут,— пробормотал Юра.— Сейчас... Сию минуту... Фу-ты, елки-палки, куда она запропастилась?..

Полицейский опустил руку.

— Русский? — спросил он.

— Да,— сказал Юра.— Сейчас... Видите ли, у меня только рекомендация от предприятия... Вязьминский завод металлоконструкций...— Он наконец извлек рекомендацию.

— Не надо,— сказал полицейский неожиданно добродушно.

Подошел второй полицейский и спросил:

— What's the matter? The chap hasn't got his papers?[1]

— Нет,— сказал первый полицейский.— Это русский.

— А,— равнодушно сказал второй. Он повернулся и пошел обратно к своей скамейке.

— Я просто хотел посмотреть, что здесь,— сказал Юра.

---

[1] Что случилось? У парня нет документов? *(англ.)*

— Здесь ракетодром,— сказал полицейский охотно.— Вон там,— он показал рукой за шлагбаум.— Но туда нельзя.

— Нет-нет,— торопливо сказал Юра.— Я только посмотреть.

— Посмотреть можно,— сказал полицейский. Он пошел к шлагбауму. Юра двинулся за ним.— Это ракетодром,— повторил полицейский.

Под яркими среднеазиатскими звездами слабо мерцала плоская, словно остекленевшая равнина. Далеко впереди, там, куда уходило шоссе, вспыхивали неяркие зарницы и перебегали лучи прожекторов, выхватывая из темноты гигантские туманные силуэты. Время от времени над равниной прокатывался слабый рокочущий грохот.

«Космические корабли»,— с удовольствием подумал Юра. Он, конечно, знал, что Мирза-Чарле, как и все другие ракетодромы на Земле, служит только для возлеземных сообщений, что настоящие планетолеты, фотонные ракеты типа «Хиус», «Джон Браун», «Эдокко», слишком громадны и могучи, чтобы стартовать прямо с Земли, но и эти темные силуэты за горизонтом тоже выглядели достаточно внушительно.

— Ракеты, ракеты,— неторопливо проговорил полицейский.— Сколько людей улетает туда! — Он поднял к черному небу голубую светящуюся дубинку.— Каждый со своими надеждами. И сколько их возвращается в свинцовых запаянных гробах! Вот здесь, у этого шлагбаума, мы выстраиваем траурный караул. Дух захватывает от их настойчивости! И все-таки, наверное, есть там,— он снова поднял дубинку,— есть там кто-то, кому очень не нравится эта настойчивость...

Горизонт вдруг озарился ослепительной вспышкой, огненная длинная струя ударила в небо и рассыпалась каскадом искр. Бетон под ногами задрожал. Полицейский поднял к глазам часы.

— Двадцать двенадцать,— сказал он.— Вечерний лунник.

В небе загрохотало. Громовые раскаты слабели, удаляясь, и наконец затихли совсем.

— Мне пора,— сказал Юра.— Как тут побыстрее добраться до города?

— Идите пешком,— ответил полицейский.— У поворота на склад поймаете попутную машину.

Когда в половине десятого Юра добрался до гостиницы, вид у него был несколько взъерошенный и ошеломленный. Вечерний Мирза-Чарле был совершенно не похож на Мирза-Чарле днем. По улицам, пересеченным резкими черными тенями, сплошным потоком двигались автомобили. Огни рекламы озаряли толпы на тротуарах. Двери всех баров и кафе были распахнуты настежь. Там ревела музыка и было сизо от табачного дыма. Пьяные иностранцы брели по тротуарам, обнявшись по трое, по четверо, горланя незнакомые песни. Через каждые двадцать — тридцать шагов стояли полицейские с каменными лицами под низко опущенными касками. Сквозь шевелящуюся толпу спокойно и неторопливо проходили тройки крепких молодых ребят с красными повязками на рукавах. Это были патрули порядка. Юра видел, как один такой патруль зашел в бар, и там мгновенно воцарилась тишина, и даже музыка перестала играть. У патрулей были скучающие, брезгливые лица. Из другого бара, уже недалеко от гостиницы, двое с маленькими усиками вышвырнули на тротуар какого-то несчастного и принялись топтать его ногами. Несчастный громко кричал по-французски: «Патруль! На помощь! Убивают!» Юра, стиснув от омерзения зубы, прицелился уже дать в ухо одному из этих усатеньких, но тут его очень бесцеремонно отстранили, и длинная жилистая рука с красной повязкой ухватила одного из усатеньких за ворот. Другой усатенький пригнулся и нырнул в бар. Патруль небрежно стряхнул добычу в объятия подоспевших полицейских, и те, завернув усатенькому руки за спину, почти бегом поволокли его в ближайший переулок. Юра успел заметить, как один из полицейских, воровато оглянувшись на патрулей, изо всех сил стукнул усатенького по макушке светящейся дубинкой. «Жаль, не успел я его»,— подумал Юра. На минуту ему даже расхотелось лететь на Рею. Захотелось надеть красную повязку и присоединиться к этим крепким, уверенным молодым ребятам.

— Ну и порядочки тут у вас! — вернувшись в гостиницу, возбужденно сказал Юра администратору.— Какое-то клопиное гнездо!..

— Вы о чем? — испуганно спросила администратор.

Юра пришел в себя.

— Да на улицах, понимаете,— сказал он,— такое болото!..

— Международный порт, пока приходится терпеть,—

сказала администратор с улыбкой.— Ну, как ваши дела?

— Еще не знаю,— сказал Юра.— Скажите, пожалуйста, как пройти в триста шестой номер?

— Поднимитесь в лифте, третий этаж, направо.

— Спасибо,— сказал Юра и направился к лифту.

Он поднялся на третий этаж и сразу нашел дверь номера триста шесть. Перед дверью он остановился и в первый раз подумал, как, что и, главное, кому он скажет. Ему вспомнились слова Ивана о свирепом на вид человеке. Он старательно пригладил волосы и осмотрел себя. Потом он постучал.

— Войдите,— произнес за дверью низкий хрипловатый голос.

Юра вошел.

В комнате за круглым столом, накрытым белой скатертью, сидели два пожилых человека. Юра остолбенел: он узнал их обоих, и это было настолько неожиданно, что на мгновение ему показалось, что он ошибся дверью. Лицом к нему, уперев в него маленькие недобрые глаза, сидел известный Быков, капитан прославленного «Тахмасиба», угрюмый и рыжий — такой, как на стереофото над столом Юриного старшего брата. Лицо другого человека, небрежно развалившегося в легком плетеном кресле, породистое, длинное, с брезгливой складкой около полных губ, было тоже удивительно знакомо. Юра никак не мог вспомнить имени этого человека, но был совершенно уверен, что видел его когда-то, и, может быть, даже несколько раз. На столе стояла длинная темная бутылка и один бокал.

— Что вам? — глуховато спросил Быков.

— Это триста шестой номер? — неуверенно спросил Юра.

— Да-а,— бархатно и раскатисто ответил человек с породистым лицом.— Вам кого, юноша?

«Да ведь это Юрковский! — вспомнил Юра.— Планетолог с Венеры. Про них есть кино...»

— Я... я не знаю...— проговорил он.— Понимаете, мне нужно на Рею... Сегодня один товарищ...

— Фамилия? — сказал Быков.

— Чья? — не понял Юра.

— Ваша фамилия!

— Бородин... Юрий Михайлович Бородин.

— Специальность?

— Вакуум-сварщик.

— Документы.

Второй раз за последние два часа (и вообще в жизни) Юра полез за документами. Быков выжидательно глядел на него. Юрковский лениво потянулся к бутылке и налил себе вина.

— Вот, пожалуйста,— сказал Юра. Он положил рекомендацию на стол и снова отступил на несколько шагов.

Быков достал из нагрудного кармана огромные старомодные очки и, приставив их к глазам, очень внимательно и, как показалось Юре, дважды прочитал документ, после чего передал его Юрковскому.

— Как случилось, что вы отстали от своей группы? — резко спросил он.

— Я... Понимаете, по семейным обстоятельствам...

— Подробнее, юноша,— пророкотал Юрковский. Он читал рекомендацию, держа ее в вытянутой руке и отхлебывая из бокала.

— Понимаете, у меня внезапно заболела мама,— сказал Юра.— Приступ аппендицита. Понимаете, я никак не мог уехать. Брат в экспедиции... Отец на полюсе сейчас... Я не мог...

— Ваша мама знает, что вы вызвались добровольцем в космос? — спросил Быков.

— Да, конечно.

— Она согласилась?

— Д-да...

— Невеста есть?

Юра помотал головой. Юрковский аккуратно сложил рекомендацию и положил ее на край стола.

— Скажите, юноша,— спросил он,— а почему вас... э-э... не заменили?

Юра покраснел.

— Я очень просил,— ответил он тихо.— И все думали, что я догоню. Я опоздал всего на сутки...

Воцарилось молчание, и было слышно, как на проспекте Дружбы вразноголосицу орут «варяжские гости». Не то залившие горе, не то спрыснувшие радость. Возможно, у старого Джойса.

— У вас есть... э-э... знакомые в Мирза-Чарле? — осторожно спросил Юрковский.

— Нет,— сказал Юра.— Я только сегодня приехал. Я только познакомился в кафе с одним товарищем. Иваном его зовут, и он...

— А куда вы обращались?

— К дежурному по пассажирским перевозкам и к администратору гостиницы.

Быков и Юрковский переглянулись. Юре показалось, что Юрковский чуть-чуть отрицательно покачал головой.

— Ну, это еще не страшно,— проворчал Быков.

Юрковский сказал неожиданно резко:

— Совершенно не понимаю, зачем нам пассажир.

Быков думал.

— Честное слово, я никому не буду мешать,— убедительно сказал Юра.— И я готов на все.

— Готов даже красиво умереть,— проворчал Быков.

Юра прикусил губу. «Дрянь дело,— думал он.— Ох, и плохо же мне! Ох, плохо...»

— Мне очень надо на Рею,— сказал он. Он вдруг с полной отчетливостью осознал, что это его последний шанс и что на завтрашний разговор с заместителем начальника *рассчитывать не стоит.*

— Мм? — сказал Быков и посмотрел на Юрковского.

Юрковский пожал плечами и, подняв бокал, стал смотреть сквозь него на лампу. Тогда Быков поднялся из-за стола — Юра даже попятился: такой он оказался громадный и грузный,— и, шаркая домашними туфлями, направился в угол, где на спинке стула висела потертая кожаная куртка. Из кармана куртки он извлек плоский блестящий футляр радиофона. Юра, затаив дыхание, смотрел ему в спину.

— Шарль? — глухо осведомился Быков. Он прижимал к уху гибкий шнур с металлическим шариком на конце.— Это Быков. Регистр «Тахмасиба» еще у тебя? Впиши в состав экипажа для спецрейса 17... Да, я беру стажера... Да, начальник экспедиции не возражает. (Юрковский сильно поморщился, но промолчал.) Что? Сейчас.— Быков повернулся к Юре, протянул руку и нетерпеливо пощелкал пальцами. Юра бросился к столу, схватил рекомендацию и вложил в пальцы.— Сейчас... Так... От коллектива Вязьминского завода металлоконструкций. Боже мой, Шарль, это совершенно не твое дело! В конце концов, это спецрейс!.. Да. Даю: Бородин Юрий Михайлович... Восемнадцать лет. Да, именно восемнадцать. Вакуум-сварщик... Стажер... Зачислен моим приказом от вчерашнего числа. Прошу тебя, Шарль, немедленно

подготовь для него документы. Нет, не он, я сам заеду... Завтра утром. До свиданья, Шарль, спасибо.

Быков медленно свернул шнур и сунул радиофон обратно в карман куртки.

— Это незаконно, Алексей,— негромко сказал Юрковский.

Быков вернулся к столу и сел.

— Если бы ты знал, Владимир,— сказал он,— без скольких законов я могу обойтись в пространстве. И без скольких законов нам придется обойтись в этом рейсе. Стажер, можете сесть,— сказал он Юре.

Юра торопливо и очень неудобно сел. Быков взял телефонную трубку.

— Жилин, зайди ко мне.— Он повесил трубку.— Возьмите ваши документы, стажер. Подчиняться будете непосредственно мне. Ваши обязанности вам разъяснит бортинженер Жилин, который сейчас придет.

— Алексей,— величественно сказал Юрковский.— Наш... э-э... кадет еще не знает, с кем имеет дело.

— Нет, я знаю,— сказал Юра.— Я вас сразу узнал.

— О! — удивился Юрковский.— Нас еще можно узнать?

Юра не успел ответить. Дверь распахнулась, и на пороге появился Иван в той же самой клетчатой рубахе.

— Прибыл, Алексей Петрович,— весело сообщил он.

— Принимай своего крестника,— буркнул Быков.— Это наш стажер. Закрепляю его за тобой. Сделай отметку в журнале. А теперь забирай его к себе и до самого старта не спускай с него глаз.

— Слушаюсь,— сказал Жилин, снял Юру со стула и вывел в коридор.

Юра медленно осознавал происходящее.

— Это вы — Жилин? — спросил он.— Бортинженер?

Жилин не ответил. Он поставил Юру перед собой, отступил на шаг и спросил страшным голосом:

— Водку пьешь?

— Нет,— испуганно ответил Юра.

— В бога веруешь?

— Нет.

— Истинно межпланетная душа! — удовлетворенно сказал Жилин.— Когда прибудем на «Тахмасиб», дам тебе поцеловать ключ от стартера.

3. МАРС. АСТРОНОМЫ

Матти, прикрыв глаза от слепящего солнца, смотрел на дюны. Краулера видно не было. Над дюнами стояло большое облако красноватой пыли, слабый ветер медленно относил его в сторону. Было тихо, только на пятиметровой высоте шелестела вертушка анемометра. Затем Матти услыхал выстрелы: пок, пок, пок, пок — четыре выстрела подряд.

— Мимо, конечно,— сказал он.

Обсерватория стояла на высоком плоском холме. Летом воздух всегда был очень прозрачен, и с вершины холма хорошо просматривались белые купола и параллелепипеды Теплого Сырта в пяти километрах к югу и серые развалины Старой Базы на таком же плоском высоком холме в трех километрах к западу. Но сейчас Старую Базу закрывало облако пыли. Пок, пок, пок — снова донеслось оттуда.

— Стрелки! — горестно сказал Матти. Он осмотрел наблюдательную площадку.— Вот подлюга,— сказал он.

Широкоугольная камера была повалена. Метеобудка покосилась. Стена павильона телескопа была забрызгана какой-то желтой гадостью. Над дверью павильона зияла свежая дыра от разрывной пули. Лампочка над входом была разбита.

— Стрелки,— повторил Матти.

Он подошел к павильону и ощупал пальцами в меховой перчатке края пробоины. Он подумал о том, что может натворить разрывная пуля в павильоне, и ему стало нехорошо. В павильоне стоял очень хороший телескоп с прекрасно исправленным объективом, регистратор мерцаний, блинк-автоматы — аппаратура редкая, капризная и сложная. Блинк-автоматы боятся даже пыли, их приходится закрывать герметическим чехлом. А что может сделать чехол против разрывной пули?

Матти не пошел в павильон. «Пусть они сами посмотрят,— подумал он.— Сами стреляли, пусть сами и смотрят». Честно говоря, ему было просто страшно заходить туда. Он положил карабин на песок и, поднатужась, поднял камеру. Одна нога треножника была погнута, и камера встала криво.

— Подлюга! — сказал Матти с ненавистью.

Он занимался метеоритными съемками, и камера была его единственным инструментом. Он пошел через всю пло-

щадку к метеобудке. Пыль на площадке была изрыта, Матти со злостью топтал характерные округлые ямы — следы «летучей пиявки». «Почему она все время лезет на площадку? — думал он.— Ну, ползала бы вокруг дома. Ну, вломилась бы в гараж. Нет, она лезет на площадку. Человечиной здесь пахнет, что ли?»

Дверца метеобудки была погнута и не открывалась. Матти безнадежно махнул рукой и вернулся к камере. Он свинтил камеру, с трудом снял ее и кряхтя положил на разостланный брезент. Потом он взял треногу и понес в дом. Он оставил треногу в мастерской и заглянул в столовую. Наташа сидела у рации.

— Сообщила? — спросил Матти.

— Ты знаешь, у меня просто руки опускаются,— сердито сказала она.— Честное слово, проще сбегать туда.

— А что? — спросил Матти.

Наташа резко повернула регулятор громкости. Низкий усталый голос загудел в комнате:

— Седьмая, седьмая, говорит Сырт. Почему нет сводки? Слышите, седьмая? Давайте сводку!

Седьмая забубнила цифрами.

— Сырт! — сказала Наташа.— Сырт! Говорит первая!

— Первая, не мешайте,— сказал усталый голос.— Имейте терпение.

— Ну вот, пожалуйста,— сказала Наташа и повернула регулятор громкости в обратную сторону.

— А что ты, собственно, хочешь им сообщить? — спросил Матти.

— Про то, что случилось,— ответила Наташа.— Ведь это чепе.

— Ну уж и чепе! — возразил Матти.— Каждую ночь у нас такое чепе.

Наташа задумчиво подперла кулачком щеку.

— А знаешь, Матти,— сказала она,— ведь сегодня первый раз пиявка пришла днем.

Матти всей горстью взялся за физиономию. Это была правда. Прежде пиявки приходили либо поздно ночью, либо перед самым восходом солнца.

— Да,— сказал он.— Да-а-а. Я это понимаю так: обнаглели.

— Я это тоже так понимаю,— заметила Наташа.— Что там, на площадке?

— Ты лучше сама сходи посмотри,— сказал Матти.— Камеру мою изуродовало. Мне сегодня не наблюдать.

— Ребята там? — спросила Наташа.

Матти замялся.

— Да, в общем, там,— сказал Матти и неопределенно махнул рукой.

Он вдруг представил себе, что скажет Наташа, когда увидит пулевую пробоину над дверью павильона.

Наташа снова повернулась к рации, и Матти тихонько прикрыл за собой дверь. Он вышел из дома и увидел краулер. Краулер летел на предельной скорости, лихо прыгая с бархана на бархан. За ним до самых звезд вставала плотная стена пыли, и на этом красно-желтом фоне очень эффектно выделялась могучая фигура Пенькова, стоявшего во весь рост с упертым в бок карабином. Вел краулер, конечно, Сергей. Он направил машину прямо на Матти и намертво затормозил в пяти шагах. Густое облако пыли заволокло наблюдательную площадку.

— Кентавры,— сказал Матти, протирая очки.— Лошадиная голова на человеческом туловище.

— А что? — сказал Сергей, соскакивая.

За ним неторопливо спустился Пеньков.

— Ушла,— сказал он.

— По-моему, ты в нее попал,— сказал Сергей.

Пеньков важно кивнул.

— По-моему, тоже,— сказал он.

Матти подошел к нему и крепко взял за рукав меховой куртки.

— А ну-ка пойдем,— сказал он.

— Куда? — осведомился Пеньков, сопротивляясь.

— Пойдем, пойдем, стрелок,— сказал Матти.— Я тебе покажу, куда ты попал наверняка.

Они подошли к павильону и остановились перед дверью.

— Ух ты! — сказал Пеньков.

Сергей, не говоря ни слова, кинулся внутрь.

— Наташка видела? — быстро спросил Пеньков.

— Нет еще,— сказал Матти.

Пеньков с задумчивым видом ощупывал края дыры.

— Это так сразу не заделаешь,— сказал он.

— Да, запасного павильона на Сырте нет,— ядовито сказал Матти.

Месяц назад Пеньков, стреляя ночью в пиявок, пробил метеобудку. Тогда он отправился на Сырт и где-то достал там запасную. Пробитую будку он спрятал в гараже.

Сергей крикнул из павильона:

— Кажется, все в порядке!

— А есть там выходное отверстие? — спросил Пеньков.

— Есть...

Раздалось мягкое жужжание, крыша павильона раздвинулась и сдвинулась снова.

— Кажется, обошлось,— объявил Сергей и вылез из павильона.

— А у меня треногу помяло,— сказал Матти.— А метеобудку так покалечило, что придется опять новую доставать.

Пеньков мельком взглянул на будку и снова уставился на зияющую дыру. Сергей стоял рядом с ним и тоже смотрел на дыру.

— Будку я выправлю,— уныло сказал Пеньков.— А вот что с этим делать...

— Наташа идет,— негромко предупредил Матти.

Пеньков сделал движение, как будто собирался куда-то скрыться, но только втянул голову в плечи. Сергей быстро заговорил:

— Здесь пробоина небольшая, Наташенька, но это ерунда, мы ее сегодня же быстро заделаем, а внутри все цело...

Наташа подошла к ним, взглянула на пробоину.

— Свиньи вы, ребята,— тихо сказала она.

Теперь скрыться куда-нибудь захотелось всем, даже Матти, который был совсем ни в чем не виноват и выбежал на площадку последним, когда уже все кончилось. Наташа вошла в павильон и зажгла свет. В раскрытую дверь было видно, как она снимает футляры с блинк-автоматов. Пеньков длинно и тоскливо вздохнул. Сергей тихонько сказал:

— Пойду загоню машину.

Ему никто не ответил, он полез в краулер и завел мотор. Матти молча вернулся к своей камере и, согнувшись пополам, поволок ее в дом. Перед павильоном осталась только унылая, нелепо громоздкая фигура Пенькова.

Матти втащил камеру в мастерскую, снял кислородную маску, капюшон и долго возился, расстегивая просторную доху. Затем, не снимая унтов, он сел на стол возле камеры. В окно ему было видно, как необыкновенно медленно, словно на цыпочках, проехал в гараж краулер.

Наташа вышла из павильона и плотно закрыла за собой дверь. Потом она пошла через площадку, останавливаясь перед приборами. Пеньков плелся следом и, судя по всему,

длинно и тоскливо вздыхал. Тучи пыли уже осели, маленькое красноватое солнце висело над черными, словно обглоданными руинами Старой Базы, поросшими колючим марсианским саксаулом. Матти посмотрел на низкое солнце, на быстро темнеющее небо, вспомнил, что он сегодня дежурный, и отправился на кухню.

За ужином Сергей сказал:

— Наташенька наша сегодня серьезная,— и испытующе посмотрел на Наташу.

— Да ну вас, в самом деле,— сказала Наташа. Она ела, ни на кого не глядя, очень сердитая и нахмуренная.

— Сердитая Наташенька наша,— сказал Сергей.

Пеньков длинно и тоскливо вздохнул. Матти скорбно покачал головой.

— Не любит нас сегодня Наташенька,— добавил Сергей нежно.

— Ну правда, ну что это такое! — заговорила Наташа.— Ведь договорились же не стрелять на площадке. Ведь это же не тир все-таки! Там приборы... Вот разбили бы сегодня блинки, куда бы пошли? Где их взять?

Пеньков преданными глазами смотрел на нее.

— Ну что ты, Наташенька! — сказал Сергей.— Как можно попасть в блинк?

— Мы стреляем только по лампочкам,— проворчал Матти.

— Вот продырявили павильон,— сказала Наташа.

— Наташенька! — закричал Сережа.— Мы принесем другой павильон! Пеньков сбегает на Сырт и принесет. Он ведь у нас здоровенный!

— Да ну вас,— сказала Наташа. Она уже больше не сердилась.

Пеньков оживился.

— Когда же в нее стрелять, как не на площадке?..— начал он, но Матти наступил ему под столом на ногу, и он замолчал.

— Ты, Володя, действительно просто ужас какой неуклюжий,— сказала Наташа.— Огромное чудовище ростом со шкаф, и ты целый месяц не можешь в него попасть.

— Я сам удивляюсь,— честно сказал Пеньков и сильно почесал затылок.— Может, прицел сбит?

— Гнутие ствола,— сказал ядовито Матти.

— Все равно, ребята, теперь этим забавам конец,— сказала Наташа. Все посмотрели на нее.— Я говорила с Сыртом. Сегодня пиявки напали на группу Азизбекова, на геологов, на нас и на участок нового строительства. И все среди бела дня.

— И все к западу и к северу от Сырта,— сказал Сергей.

— Да, в самом деле,— сказала Наташа.— А я не сообразила. Ну, как бы то ни было, решено провести облаву.

— Это здорово,— сказал Пеньков.— Наконец-то.

— Завтра утром будет совещание, вызывают всех начальников групп. Я поеду, а ты останешься за старшего, Сережа. Да, и еще. Наблюдать сегодня не будем, ребята. Начальство распорядилось отменить все ночные работы.

Пеньков перестал есть и грустно посмотрел на Наташу. Матти сказал:

— Мне-то все равно, у меня камера полетела. А вот у Пенькова полетит программа, если он пропустит пару ночей.

— Я знаю,— сказала Наташа.— У всех летит программа.

— А может быть, я как-нибудь потихонечку,— сказал Пеньков,— незаметно?

Наташа замотала головой.

— И слышать не хочу,— сказала она.

— А может...— начал Пеньков, и Матти снова наступил ему на ногу.

Пеньков подумал: «И правда, чего слова тратить! Все равно все будут наблюдать».

— Какой сегодня день? — спросил Сергей. Он имел в виду день декады.

— Восьмой,— сказал Матти.

Наташа покраснела и стала глядеть всем в глаза по очереди.

— Что-то Рыбкина давно нет,— сказал Сергей, наливая себе кофе.

— Да, действительно,— глубокомысленно сказал Пеньков.

— И время уже позднее,— добавил Матти.— Уж полночь близится, а Рыбкина все нет...

— О! — сказал Сергей и поднял палец. В тамбуре звякнула дверь шлюза.— Это он! — торжественным шепотом провозгласил Сергей.

— Вот чудаки, вот чудаки,— сказала Наташа и смущенно засмеялась.

— Не трогайте Наташеньку,— потребовал Сережа.— Не смейте над нею смеяться.

— Вот он сейчас придет, он нам посмеется,— сказал Пеньков.

В дверь столовой постучали. Сергей, Матти и Пеньков одновременно приложили пальцы к губам и значительно посмотрели на Наташу.

— Ну что же вы? — шепотом сказала Наташа.— Отзовитесь же кто-нибудь...

Матти, Сергей и Пеньков одновременно замотали головами.

— Войдите! — с отчаянием сказала Наташа.

Вошел Рыбкин, как всегда аккуратный и подтянутый, в чистом комбинезоне, в белоснежной сорочке с отложным воротником, безукоризненно выбритый. Лицо его, как и у всех следопытов, производило странное впечатление: дочерна загорелые скулы и лоб, белые пятна вокруг глаз и белая нижняя часть лица — там, где кожу прикрывают очки и кислородная маска.

— Можно? — сказал он тихо. Он всегда говорил очень тихо.

— Садитесь, Феликс,— пригласила Наташа.

— Ужинать будешь? — спросил Матти.

— Спасибо,— сказал Рыбкин.— Лучше чашечку кофе.

— Что-то ты сегодня запоздал,— сказал прямодушный Пеньков, наливая ему кофе.

Сергей скорчил ужасную мину, а Матти пнул Пенькова под столом ногой.

Рыбкин спокойно принял кофе.

— Я пришел полчаса назад,— сказал он,— и прошелся вокруг дома. Я вижу, сегодня у вас тоже побывала пиявка.

— Сегодня у нас тут была баталия,— сказала Наташа.

— Да,— сказал Рыбкин.— Я видел пробоину в павильоне.

— Наши карабины страдают гнутием ствола,— объяснил Матти.

Рыбкин засмеялся. У него были маленькие ровные белые зубы.

— А тебе приходилось попадать хоть в одну пиявку? — спросил Сергей.

— Вероятно, нет,— сказал Феликс.— В них очень трудно попасть.

— Это я и сам знаю,— проворчал Пеньков.

Наташа, опустив глаза, крошила хлеб.

— Сегодня у Азизбекова одну убили,— сказал Рыбкин.

— Да ну? — изумился Пеньков.— Кто?

Рыбкин опять засмеялся.

— Да никто,— сказал он. Он мельком поглядел на Наташу.— Забавная штука — сорвалась стрела экскаватора и раздавила ее. Наверное, кто-нибудь попал в трос.

— Вот это выстрел! — сказал Сергей.

— Это мы тоже умеем,— сказал Матти.— На бегу с тридцати шагов прямо в лампочку над дверью.

— Вы знаете, ребята,— сказал Сергей,— у меня такое впечатление, что все карабины на Марсе страдают гнутием ствола.

— Нет,— сказал Феликс.— Потом обнаружили, что в пиявку у Азизбекова попало шесть пуль.

— Вот скоро будет облава,— сказал Пеньков,— мы им тогда покажем, где раки зимуют.

— А я этой облаве вот ни столечко не радуюсь,— сказал Матти.— Спокон веков у нас так: бах-трах-тарарах, перебьют всю живность, а потом начинают устраивать заповедники.

— Что это ты? — сказал Сергей.— Ведь они же мешают.

— Вот нам все мешает,— сказал Матти.— Кислорода мало — мешает, кислорода много — мешает, лесу много — мешает, руби лес... Кто мы такие, в конце концов, что нам все мешает?

— Салат был, что ли, плохой? — задумчиво сказал Пеньков.— Так ты его сам готовил...

— Не попадайся, не попадайся, Пеньков,— сказал Сергей.— Он просто хочет затеять общий разговор. Чтобы Наташенька высказалась.

Феликс внимательно посмотрел на Сергея. У него были большие светлые глаза, и он очень редко мигал. Матти усмехнулся.

— А может быть, вовсе не они нам мешают,— сказал он,— а мы им?

— Ну? — буркнул Пеньков.

— Я предлагаю рабочую гипотезу,— сказал Матти.— Летучие пиявки есть коренные разумные обитатели Марса, хотя они находятся пока на низкой ступени развития. Мы захватили районы, где есть вода, и они намерены нас выжить.

Пеньков ошарашенно смотрел на него.

— Что ж,— сказал он.— Возможно.

— Да ты спорь с ним, спорь,— сказал Сергей.— А то так ему никакого удовольствия.

— Все говорит за мою гипотезу,— продолжал Матти.— Живут они в подземных городах. Нападают всегда справа — потому что у них такое табу. И... э-э... они всегда уносят своих раненых...

— Ну, братец...— разочарованно сказал Пеньков.

— Феликс,— сказал Сергей,— уничтожь это изящное рассуждение.

Феликс сказал:

— Такая гипотеза уже выдвигалась. (Матти изумленно поднял брови.) Давно. До того, как была убита первая пиявка. Сейчас выдвигаются гипотезы поинтереснее.

— Ну? — спросил Пеньков.

— До сих пор никто не объяснил, почему пиявки нападают на людей. Не исключена возможность, что это у них очень древняя привычка. Напрашивается мысль, не обитает ли на Марсе все-таки раса двуногих прямостоящих.

— Обитает,— сказал Сергей.— Тридцать лет уже обитает.

Феликс вежливо улыбнулся.

— Можно надеяться, что пиявки наведут нас на эту расу.

Некоторое время все молчали. Матти с завистью смотрел на Феликса. Он всегда завидовал людям, перед которыми стоят такие задачи. Выслеживать летучих пиявок — занятие само по себе увлекательное, а если при этом еще ставится такая задача...

...Матти мысленно перебрал все интересные задачи, которые пришлось решать ему самому за последние пять лет. Интереснее всего было конструирование дискретного искателя-охотника на хемостазерах. Патрульная камера превращалась в огромный любопытный глаз, следящий за появлением и движением «посторонних» световых точек на ночном небе. Сережка бегал по ночным дюнам, время от времени мигая фонариком, а камера бесшумно и жутко разворачивалась вслед за ним, следя за каждым его движением... «Что ж,— подумал Матти,— это тоже было интересно».

Сергей вдруг сказал с досадой:

— До чего же мы ничего не знаем! (Пеньков перестал тянуть с шумом кофе из чашки и поглядел на него.) И до чего не стремимся узнать! День за днем, декада за декадой бродим по шею в тоскливых мелочах... Копаемся в электронике, ломаем сумматоры, чиним сумматоры, чертим графики, пишем статеечки, отчетики... Противно! — Он взялся за щеки и с силой потер лицо.— Прямо за оградой на тысячи километров протянулся совершенно незнакомый, чужой мир. И так хочется плюнуть на все и пойти куда глаза глядят через пустыню искать настоящего дела... Стыдно, ребята. Это же смешно и стыдно сидеть на Марсе и двадцать четыре часа в сутки ничего не видеть, кроме блинк-регистрограмм и пеньковской унылой физиономии...

Пеньков сказал мягко:

— А ты плюнь, Серега. И иди себе. Попросись к строителям. Или вот к Феликсу.— Он повернулся к Феликсу.— Возьмете его, а?

Феликс пожал плечами.

— Да нет, Пеньков, дружище, не поможет это.— Сергей, поджав губы, помотал светлым чубом.— Надо что-то уметь. А что я умею? Чинить блинки... Считать до двух и интегрировать на малой машине. Краулер умею водить, да и то не профессионально... Что я еще умею?

— Ныть ты умеешь профессионально,— сказал Матти. Ему было неловко за Сережку перед Феликсом.

— Я не ною. Я злюсь. До чего мы самодовольны и самоограниченны! И откуда это берется? Почему считается, что найти место для обсерватории важнее, чем пройти планету по меридиану, от полюса до полюса? Почему важнее искать нефть, чем тайны? Что нам — нефти не хватает?

— Что тебе — тайн не хватает? — сказал Матти.— Сел бы и решил ограниченную Т-задачу...

— Да не хочу я ее решать! Скучно ее решать, бедный ты мой Матти! Скучно! Я же здоровый, сильный парень, я гвозди гну пальцами... Почему я должен сидеть над бумажками?

Он замолчал. Молчание было тяжелым, и Матти подумал, что неплохо было бы переменить тему, но не знал, как это сделать.

Наташа сказала:

— Я с Сережкой вообще-то не согласна, но это верно: мы немножко слишком погрязли в обычных делах. И та-

кая иногда берет досада... Ну, пусть не мы, пусть кто-нибудь все-таки занялся бы Марсом, как новой землей. Все-таки ведь это не остров, даже не континент — терра инкогнита,— это же планета! А мы тридцать лет сидим тут тихонько и трусливо, жмемся к воде и ракетодромам. И мало нас до смешного. Это, правда, досадно. Сидит там кто-нибудь в управлении, какой-нибудь убеленный старец, и брюзжит: «Рано, рано».

Услыхав слово «рано», Пеньков вздрогнул и посмотрел на часы.

— Ох, мать честная! — пробормотал он, вылезая из-за стола.— Я уже две звезды здесь с вами просидел.— Тут он посмотрел на Наташу, открыл рот и торопливо сел. У него было такое забавное лицо, что все, даже Сергей, засмеялись.

Матти вскочил и подошел к окну.

— А ночь-то какая! — сказал он.— Качество изображения сегодня, наверное, наводит изумление.— Он оглянулся через плечо на Наташу.

Феликс оживился.

— Наташа,— сказал он,— если нужно, я могу посторожить, пока вы будете работать.

— А как же вы... Ведь вам пора идти...— Наташа покраснела.— Я хочу сказать, что обычно вы в это время уходите...

— Чего нас сторожить? — сказал Матти.— Я и сам могу посторожить. У меня все равно камера полетела.

— Так я пойду одеваться,— сказал Пеньков.

— Ну ладно,— уступила Наташа.— Во изменение моего приказа от семи часов вечера...

Пенькова уже не было. Сергей тоже поднялся и, ни на кого не глядя, вышел. Матти стал собирать со стола.

— Давайте я помогу,— предложил Феликс и аккуратно засучил рукава.

— А что тут помогать,— возразил Матти.— Пять чашек, пять тарелок...

Он взглянул на руки Феликса и осекся.

— А это зачем? — спросил он с удивлением. На правом и на левом запястье у Феликса было по две пары часов.

Феликс серьезно сказал:

— Это тоже одна гипотеза. Так вы сами помоете?

— Сам,— сказал Матти. «Странный все-таки парень этот Феликс»,— подумал он.

— Тогда я пойду,— сказал Феликс и вышел.

Рация в углу комнаты вдруг зашипела, щелкнула, и густой усталый голос сказал:

— Первая, говорит Сырт. Сырт вызывает первую.

Матти крикнул:

— Наташа, Сырт вызывает!..— Он подошел к микрофону и сказал: — Первая слушает!

— Позовите начальника,— сказал голос из репродуктора.

— Одну минуту.

Вбежала Наташа в расстегнутой дохе и с кислородной маской на груди.

— Начальник слушает,— сказала она.

— Еще раз подтверждаю распоряжение,— сказал голос.— Ночные работы запрещаются. Теплый Сырт окружен пиявками. Повторяю...

Матти слушал и вытирал тарелки. Вошли Пеньков и Сергей. Матти с интересом следил, как у них вытягиваются лица.

— ...Теплый Сырт окружен пиявками. Как поняли меня?

— Поняла вас хорошо,— расстроенно сказала Наташа.— Сырт окружен пиявками, ночные работы запрещаются.

— Спокойной ночи,— сказал голос, и репродуктор перестал шипеть.

— Спокойной ночи, Пеньков,— сказал Сергей и стал расстегивать доху.

Пеньков ничего не ответил. Он сердито засопел и ушел в свою комнату.

— Так я пойду,— сказал Феликс.

Все обернулись. Он стоял в дверях, маленький, крепкий, с непропорционально большим карабином у ноги.

— Как пойдешь? — сказал Матти.

Феликс показал пальцами, как он пойдет.

— Ты с ума сошел! — сказал Матти.

Феликс удивленно улыбнулся.

— Да что это с тобой?

— Вы слыхали радио? — быстро спросила Наташа.

— Да, слыхал,— сказал Феликс.— Но коменданту Сырта я не подчинен. Я же следопыт.

Он натянул на лицо маску, опустил очки, махнул рукой в перчатке и вышел. Все остолбенело глядели на дверь.

— Как же это? — растерянно сказала Наташа.— Ведь его съедят...

Сергей вдруг сорвался с места и, застегивая на ходу доху, кинулся вслед.

— Куда?! — крикнула Наташа.

— Я подвезу его! — на ходу откликнулся Сергей и захлопнул дверь.

Наташа побежала за ним. Матти схватил ее за руку.

— Куда ты, зачем? — спокойно сказал он.— Сережа правильно решил.

— А кто ему позволил? — запальчиво спросила Наташа.— Почему он не слушается?

— Надо же человеку помочь,— рассудительно сказал Матти.

Они почувствовали, как мелко задрожал пол. Сергей вывел краулер. Наташа опустилась на стул, сжала руки.

— Ничего,— сказал Матти.— Через десять — пятнадцать минут он вернется.

— А если они бросятся на Сережу, когда он будет возвращаться?

— Не было еще такого, чтобы пиявка бросилась на машину,— сказал Матти.— И вообще Сережка был бы только рад...

Они сидели и ждали. Матти вдруг подумал, что Феликс Рыбкин уже раз десять приходил к ним на обсерваторию по вечерам и уходил вот так же поздно. А ведь пиявки каждую ночь возятся вокруг Сырта. Смелый парень этот Феликс, подумал Матти. Странный парень. Впрочем, не такой уж и странный. Матти посмотрел на Наташу. Способ ухаживания, может быть, действительно немножко странный: робкая осада...

Матти поглядел в окно. В черной пустоте видны были только острые немигающие звезды. Вошел Пеньков, неся в руках кипу бумаг, сказал, ни на кого не глядя:

— Ну, кто мне поможет графики вычертить?

— Я могу,— сказал Матти.

Пеньков стал с шумом устраиваться за столом. Наташа сидела выпрямившись, настороженно прислушиваясь. Пеньков, разложив бумаги, оживленно заговорил:

— Получается удивительно интересная вещь, ребята! Помните закон Дега?

— Помним,— сказал Матти.— Секанс в степени две трети.

— Нет тебе на Марсе секанса две трети! — ликующе сказал Пеньков.— Наташ, посмотри-ка... Наташа!

— Отстань ты от нее,— сказал Матти.

— А что? — шепотом спросил Пеньков.

Наташа вскочила.

— Едет! — сказала она.

— Кто? — спросил Пеньков.

Пол под ногами снова задрожал, потом стало тихо, звякнула шлюзовая дверь. Вошел Сергей, сдирая с лица заиндевевшую маску.

— Ух и мороз — ужас! — сказал он весело.

— Ты где был? — изумленно спросил Пеньков.

— Рыбкина на Сырт отвозил,— сказал Сергей.

— Ну и молодец,— сказала Наташа.— Какой ты молодец, Сережка! Теперь я могу спокойно спать.

— Спокойной ночи, Наташенька,— вразноголосицу сказали ребята.

Наташа ушла.

— Что ж ты меня не взял? — с обидой сказал Пеньков.

На лице Сергея пропала улыбка. Он подошел к столу, сел и отодвинул бумаги.

— Слушайте, ребята,— сказал он вполголоса.— А ведь я Рыбкина не нашел. До самого Сырта доехал, сигналил, прожекторами светил — нигде нет. Как сквозь землю провалился.

Все молчали. Матти опять подошел к окну. Ему показалось, что где-то в районе Старой Базы медленно движется слабый огонек, словно кто-то идет с фонариком.

4. МАРС. СТАРАЯ БАЗА

В семь часов утра начальники групп и участков системы Теплый Сырт собрались в кабинете директора системы Александра Филипповича Лямина. Всего собралось человек двадцать пять, и все расселись вокруг длинного низкого стола для совещаний. Вентиляторы и озонаторы были пущены на полную мощность. Наташа была единственной женщиной в кабинете. Ее редко приглашали на общие совещания, и многие из собравшихся ее не знали. На нее поглядывали с благожелательным любопытством. Наташа услыхала, как кто-то сказал кому-то сипловатым шепотом: «Знал бы — побрился».

Лямин, не вставая, сказал:

— Первый вопрос, товарищи, вне повестки дня. Все ли позавтракали? А то я могу попросить принести консервы и какао.

— А вкусненького ничего нет, Александр Филиппович? — осведомился полный розовощекий мужчина с забинтованными руками.

В кабинете зашумели.

— Вкусненького ничего нет,— ответил Лямин и сокрушенно покачал головой.— Вот консервированную курицу разве...

Раздались голоса:

— Правильно, Александр Филиппович! Пусть принесут! Не успели поесть!

Лямин кому-то махнул рукой.

— Сейчас принесут,— сказал он и встал.— Все собрались? — Он оглядел собравшихся.— Азизбеков... Горин... Барабанов... Накамура... Малумян... Наташа... Ван... Джефферсона не вижу... Ах, да, прости... А где Опанасенко?.. От следопытов есть кто-нибудь?

— Опанасенко в рейде,— сказал тихий голос, и Наташа увидела Рыбкина. Впервые она увидела его небритым.

— В рейде? — сказал Лямин.— Ну ладно, начнем без Опанасенко. Товарищи, как вам известно, за последние недели летающие пиявки активизировались. С позавчерашнего дня началось уже совершенное безобразие. Пиявки стали нападать днем. К счастью, обошлось без жертв, но ряд начальников групп и участков потребовали решительных мер. Я хочу подчеркнуть, товарищи, что проблема пиявок — старая проблема. Всем нам они надоели. Спорим мы о них непормально много, иногда даже ссоримся, полевым группам эти твари, видимо, очень мешают, и вообще пора наконец принять о них, о пиявках то есть, какое-то окончательное решение. Коротко говоря, у нас определились два мнения по этому вопросу. Первое — немедленная облава и посильное уничтожение пиявок. Второе — продолжение политики пассивной обороны, как паллиатив, вплоть до того времени, когда колония достаточно окрепнет. Товарищи,— он прижал руки к груди,— я вас прошу сейчас высказываться в произвольном порядке. Но только, пожалуйста, постарайтесь обойтись без личных выпадов. Это нам совершенно ни к чему. Я знаю, все мы устали, раздражены и каждый чем-нибудь недоволен. Но убедительно

прошу забыть сейчас все, кроме интересов дела.— Глаза его сузились.— Особенно горячих я буду удалять с совещания независимо от рангов.

Он сел. Сейчас же поднялся высокий, очень худой человек, с пятнистым от загара лицом, небритый, с воспаленными глазами. Это был заместитель директора по строительству Виктор Кириллович Гайдадымов.

— Я не знаю,— начал он,— сколько времени продлится ваша облава — декаду, месяц, может быть, полгода. Я не знаю, сколько людей вы заберете на облаву — людей, по-видимому, самых лучших, может быть, даже всех. Я не знаю, наконец, выйдет ли что-нибудь из вашей облавы. Но вот что я твердо знаю и считаю своим долгом довести до сведения. Во-первых, из-за облавы придется прервать строительство жилых корпусов. А между прочим, через два месяца к нам прибудет пополнение, а жилищный кризис дает себя знать уже сейчас. На Теплом Сырте я не имею возможности выделить комнаты даже женатым. Кстати, не к чести наших иностранных друзей будь сказано, они слишком много волнуются по этому поводу. Но это между прочим. Во-вторых, из-за облавы задержится строительство завода стройматериалов. Что такое завод стройматериалов в наших условиях, вы должны понимать сами. Об оранжереях и теплицах, которые мы из-за облавы не получим и этим летом, я даже говорить не буду. В-третьих, самое главное. Облава сорвет строительство регенерационного завода. Через месяц начнутся осенние бури, и на этом строительстве придется поставить крест.— Он стиснул зубы, закрыл и снова открыл глаза.— Вы знаете, товарищи, что мы все здесь висим на волоске. Может быть, я раскрываю какие-то секреты администрации, но черт с ними, в конце концов: мы все здесь взрослые и опытные люди! Запасы воды под Теплым Сыртом иссякают. Они уже фактически иссякли. Уже сейчас мы возим воду на песчаных танках за двадцать шесть километров. (За столом зашумели и задвигались, кто-то крикнул: «А куда раньше смотрели?!») Если мы не закончим к концу месяца регенерационный завод, то осенью мы сядем на голодный паек, а зимой нам придется перетаскивать Теплый Сырт на двести километров отсюда. Я кончил.

Он сел и залпом выпил стакан остывшего какао. После минутной паузы Лямин сказал:

— Кто следующий?

— Я,— сказал кто-то. Встал маленький бородатый

человек в темных очках — начальник ремонтных мастерских Захар Иосифович Пучко.— Я полностью присоединяюсь к Виктору Кирилловичу.— Он снял очки и подслеповато оглядел стол.— Как-то все у нас по-детски получается: облава, пиф-паф, ой-ёй-ёй... А я спрошу вас: а на чем это вы собираетесь гоняться за пиявками? Может быть, на палочке верхом, а? Вам сейчас Виктор Кириллович очень хорошо объяснил: у нас песчаные танки возят воду. А какие это танки? Это же горе, а не танки. Четверть нашего транспортного парка стоит у меня в мастерских, а ремонтировать их некому. Тот, кто умеет ремонтировать, тот не ломает, а кто умеет ломать, тот не умеет ремонтировать. Обращаются с танками так, будто это авторучка — выбросил и купил новую. Я, Наташа, посмотрел на ваш краулер. Это ж довести машину до такого состояния! Можно подумать, вы на нем ходите сквозь стены...

— Захар, Захар, ближе к делу,— сказал Лямин.

— Я хочу только сказать вот что. Знаю я эти облавы, знаю. Половина машин останется в пустыне, другая половина, может быть, доползет до меня, и мне скажут: чини. А чем я буду чинить — ногами? Рук у меня не хватает. И тогда начнется: «Пучко такой, Пучко сякой. Пучко думает, что не мастерские для Теплого Сырта, а Теплый Сырт для мастерских». Я начну просить людей у товарища Азизбекова, и он мне их не даст. Я начну просить людей у товарища Накамуры — простите, у господина Накамуры,— и он скажет, что у него и так летит программа...

— Ближе к делу, Захар,— нетерпеливо сказал Лямин.

— Ближе к делу начнется, когда у нас не останется ни одной машины. Тогда мы начнем носить продукты и воду на своем горбу за сто километров, и тогда меня спросят: «Пучко, где ты был, когда делали облаву?»

Пучко надел очки и сел.

— Дрянь дела,— пробормотал кто-то.

Наташа сидела как пришибленная. «Ну какой я начальник! — думала она.— Ведь я же ничего этого не знала, и даже не могла предположить, и еще ругала, свинья такая, этих стариков за бюрократизм...»

— Разрешите мне,— послышался мягкий голос.

— Старший ареолог[1] системы Ливанов,— сказал Лямин.

---

[1] Ареолог — специалист по геологии Марса.

Лицо Ливанова тоже было покрыто пятнистым загаром, широкое квадратное лицо с черными, близко посаженными глазами.

— Возражения против облавы, высказанные здесь,— проговорил он,— представляются мне чрезвычайно важными и значительными. (Наташа посмотрела на Гайдадымова. Гайдадымов спал, бессильно уронив голову.) И тем не менее облаву провести необходимо. Вот некоторые статистические данные. За тридцать лет пребывания человека на Марсе летающие пиявки совершили более полутора тысяч зарегистрированных нападений на людей. Три человека было убито, двенадцать искалечено. Население системы Теплый Сырт составляет тысячу двести человек, из них восемьсот человек постоянно работают в поле и, следовательно, перманентно находятся под угрозой нападения. До четверти ученых вынуждены нести сторожевую службу в ущерб государственным и личным научным планам. Мало того. Помимо морального ущерба, пиявки наносят весьма значительный материальный ущерб. Только за последние несколько недель и только у ареологов они непоправимо разрушили пять уникальных установок и вывели из строя двадцать восемь ценных приборов. Представляется очевидным, что дальше так продолжаться не может. Пиявки ставят под угрозу всю научную работу системы Теплый Сырт. В мои намерения никоим образом не входит сколько-нибудь умалить значение соображений, высказанных здесь товарищами Гайдадымовым и Пучко. Эти соображения были учтены при составлении плана облавы, который я имею предложить совещанию от имени ареологов и следопытов.

Все зашевелились и снова замерли. Гайдадымов вздрогнул и открыл глаза. Ливанов продолжал размеренным голосом:

— Наблюдения показали, что апексом[1] распространения пиявок в районе Теплого Сырта является участок так называемой Старой Базы — на карте отметка 211. Операция начинается за час до восхода солнца. Группа из сорока хорошо подготовленных стрелков на четырех песчаных танках с запасом продовольствия на три дня занимает Старую Базу. Две группы загонщиков — ориентировочно по двести человек в каждой — на танках и краулерах развертываются в цепи из районов: первая группа — в ста кило-

[1] Апекс — центр.

метрах к западу от Сырта, вторая группа — в ста километрах к северу от Сырта. В час ноль-ноль обе группы начинают медленное движение соответственно к северо-востоку и к югу, производя на ходу как можно больше шума и отгоняя пиявок, пытающихся прорваться через цепь. Двигаясь медленно и методически, обе группы смыкаются флангами, оттесняя пиявок в район Старой Базы. Таким образом, вся масса пиявок, оказавшихся в зоне охвата, будет сосредоточена в районе Старой Базы и уничтожена. Такова первая часть плана. Я хотел бы выслушать возможные вопросы и возражения.

— Медленно и методически — это хорошо,— сказал Пучко.— Но меня все-таки интересует, сколько потребуется машин?

— И людей,— сказал Гайдадымов.— И дней.

— Пятьдесят машин, четыреста пятьдесят человек и максимум трое суток.

— Как вы думаете уничтожать пиявок? — спросил Джефферсон.

— Мы очень мало знаем о пиявках,— сказал Ливанов.— Пока мы можем полагаться только на два средства: пули и огнеметы.

— Хороший план,— сказал Лямин.— Как вы думаете, товарищи?

Гайдадымов поднялся.

— Против такого плана я не возражаю,— сказал он.— Только постарайтесь не брать у меня строителей. И разрешите мне сейчас удалиться.

За столом зашумели:

— Отличный план, что и говорить!

— А где вы возьмете стрелков?

— Наберутся! Это строителей не хватает, а стрелков хватит!..

— Я еще не кончил, товарищи,— сказал Ливанов.— Есть вторая часть плана. Видимо, территория Старой Базы изрыта трещинами и кавернами, через которые пиявки выходят на поверхность. И там, конечно, полно подземных помещений. Когда кольцо замкнется и мы перебьем пиявок, мы можем либо зацементировать эти каверны, трещины и тоннели, либо продолжать преследование под землей. В обоих случаях нам совершенно необходим план Старой Базы.

— Нет, о преследовании под землей не может быть и речи, — сказал кто-то.— Это слишком опасно.

— А интересно было бы,— пробормотал розовый толстяк с перевязанными руками.

— Товарищи, этот вопрос мы решим после окончания облавы,— сказал Ливанов.— Сейчас нам нужен план Старой Базы. Мы обращались в архив, но там плана почему-то не оказалось. Может быть, кто-нибудь из старожилов имеет план?

За столом многие недоуменно переглядывались.

— Я не понимаю,— сказал сердито костлявый пожилой ареодезист.— О каком плане идет речь?

— О плане Старой Базы.

— Старая База была построена пятнадцать лет назад, на моих глазах. Это был бетонированный купол, и не было там никаких каверн и тоннелей. Правда, я улетал на Землю, может быть, без меня построили?

Другой ареодезист сказал:

— Кстати, Старая База находится не на отметке 211, а на отметке 205.

— Почему 205? — сказала Наташа. На отметке 211! Это к западу от обсерватории.

— При чем здесь обсерватория? — Костлявый ареодезист совсем рассердился.— Старая База находится в одиннадцати километрах к югу от Теплого Сырта...

— Подождите, подождите! — закричал Ливанов.— Имеется в виду Старая База, расположенная на отметке 211, в трех километрах к западу от обсерватории.

— А! — сказал костлявый ареодезист.— Так вы имеете в виду Серые Развалины, остатки первопоселения. Кажется, там пытался обосноваться Нортон.

— Нортон высадился в трехстах километрах к югу отсюда! — закричал кто-то.

Поднялся шум.

— Тише, тише! — сказал Лямин и похлопал ладонью по столу.— Прекратите споры. Нам надо выяснить, кто знает что-нибудь о Старой Базе, или о Серых Развалинах, как угодно, одним словом, о высоте с отметкой 211?

Все молчали. Ходить на развалины старых поселений никто не любил, да и некогда было.

— Одним словом, никто не знает,— сказал Лямин.— И плана нет.

— Могу дать справку,— сказал секретарь директора, он же зам по научной части, он же архивариус.— С этой Старой Базой вообще какая-то чепуха получается. На

отчетных кроках Нортона эта база не отмечена, потом она появляется на отметке 211, а два года спустя на докладной записке Вельяминова, просившего разрешения исследовать развалины Старой Базы, тогдашний начальник экспедиции Юрковский собственноручно начертать соизволил...— Секретарь поднял над головой пожелтевший листок бумаги: — «Ничего не понял. Учитесь правильно читать карту. Отметка не 211, а 205. Разрешаю. Юрковский».

Все удивленно засмеялись.

— Разрешите предложение,— тихо сказал Рыбкин. Все посмотрели на него.— Можно сейчас же отправиться на отметку 211 и снять кроки Старой Базы.

— И то правильно,— сказал Лямин.— У кого есть время — поезжайте. Старшим назначается товарищ Ливанов. Совещание возобновим в одиннадцать часов.

От Теплого Сырта до Старой Базы по прямой было около шести километров. Отправились туда на двух песчаных танках. Желающих оказалось много — больше, чем участников совещания,— и Наташа решила ехать на своем краулере. Танки с ревом и скрежетом покатились к окраине Сырта. Чтобы не попасть в пыль, Наташа пустила краулер в обход. Поравнявшись с Центральной метеобашней, она вдруг увидела Рыбкина. Маленький следопыт шел привычным быстрым шагом, положив руки на свой длинный карабин, висевший на шее. Наташа затормозила.

— Феликс! — крикнула она.— Куда вы?

Он остановился и подошел к краулеру.

— Я решил идти пешком,— сказал он, спокойно глядя на нее снизу вверх.— Мне не хватило места.

— Садитесь,— сказала Наташа. Она неожиданно почувствовала себя с Феликсом свободно, совсем не так, как по вечерам в обсерватории.

Феликс легко поднялся на сиденье рядом с нею, снял с шеи карабин и поставил между колен. Краулер тронулся.

— Я очень испугалась вчера вечером, когда вы ушли одни,— призналась Наташа.— Сергей вас быстро догнал?

— Сергей? — Он посмотрел на нее.— Да... довольно быстро. Это была удачная мысль.

Они помолчали. В полукилометре слева шли танки, оставляя за собой над пустыней плотную неподвижную стену пыли.

— Интересное было совещание, правда? — сказала Наташа.

— Очень интересное,— сказал Рыбкин.— И что-то странное получается со Старой Базой.

— Я там бывала с ребятами,— сказала Наташа.— Еще когда строили нашу обсерваторию. Ничего особенного. Цементные плиты, все растрескалось, проросло саксаулом. Вы тоже думаете, что пиявки вылезают оттуда?

— Уверен,— сказал Рыбкин.— Там огромное гнездо пиявок, Наташа. Там под холмом огромная каверна. И она, наверное, имеет сообщение с другими пустотами под почвой. Хотя я этих ходов не нашел.

Наташа с ужасом на него посмотрела. Краулер вильнул. Справа из-за барханов открылась обсерватория. На наблюдательной площадке стоял длинный, как жердь, Матти и махал рукой. Феликс вежливо помахал в ответ. Купола и здания теплого Сырта скрылись за близким горизонтом.

— Неужели вы их не боитесь? — спросила Наташа.

— Боюсь,— сказал Феликс.— Иногда, Наташа, просто до тошноты страшно бывает. Вы бы посмотрели, какие у них пасти. Только они еще более трусливы.

— Знаете что, Феликс,— сказала Наташа, глядя прямо перед собой,— Матти говорит, что вы странный человек. Я тоже думаю, что вы очень странный человек.

Феликс засмеялся.

— Вы мне льстите,— сказал он.— Вам, конечно, кажется странным, что я всегда прихожу к вам на обсерваторию поздним вечером только для того, чтобы выпить кофе. Но я не могу приходить днем. Днем я занят. Да и вечером я почти всегда занят. А когда у меня бывает свободное время, я прихожу к вам.

Наташа почувствовала, что начинает краснеть. Но краулер был уже у подножия плоского холма, того самого, который изображался на ареографических картах искривленным овалом с отметкой 211. На вершине холма среди неровных серых глыб уже копошились люди.

Наташа поставила краулер подальше от песчаных танков и выключила двигатель. Феликс стоял внизу, серьезно глядя на нее и протянув руку.

— Не надо, спасибо,— пробормотала Наташа, но на руку все-таки оперлась.

Они пошли среди развалин Старой Базы. Странные это были развалины: по ним никак нельзя было понять, каков

первоначальный вид или хотя бы план сооружения. Проломленные купола на шестигранных основаниях, обвалившиеся галереи, штабеля растрескавшихся цементных блоков. Все это густо поросло марсианской колючкой и потонуло в пыли и песке. Кое-где под серыми сводами зияли темные провалы. Некоторые из них вели куда-то в глубокий, непроглядный мрак.

Над развалинами стоял гомон голосов.

— Еще одна каверна! Тут никакого цемента не хватит!

— Что за идиотская планировка!

— А что вы хотите от Старой Базы?

— Колючек-то, колючек! Как на солончаке...

— Вилли, не лезьте туда!

— Там пусто, никого нет...

— Товарищи, начинайте же съемку, в конце концов.

— Доброе утро, Володя! Давно уже начали...

— Смотрите, а здесь следы ботинок!

— Да, кто-то здесь бывает... Вон еще...

— Следопыт, наверное...

Наташа посмотрела на Феликса. Феликс кивнул.

— Это я,— сказал он.

Он вдруг остановился, присел на корточки и стал что-то разглядывать.

— Вот,— сказал он.— Посмотрите, Наташа.

Наташа наклонилась. Из трещины в цементе свисал толстый стебель колючки с крошечным цветком на конце.

— Какая прелесть! — сказала она.— А я и не знала, что колючка цветет. Красиво как — красное с синим...

— Колючка дает цветок очень редко,— медленно сказал Феликс.— Известно, что она цветет раз в пять марсианских лет.

— Нам повезло,— сказала Наташа.

— Каждый раз, когда цветок осыпается, на его месте выступает новый побег, а там, где был цветок, остается блестящее колечко. Такое вот, видите?

— Интересно,— сказала Наташа.— Значит, можно подсчитать, сколько колючке лет... Раз... Два... Три... Четыре...

Она остановилась и посмотрела на Феликса.

— Тут восемь ободков,— сказала она неуверенно.

— Да,— сказал Феликс.— Восемь. Цветок — девятый. Этой трещине в цементе восемьдесят земных лет.

— Не понимаю,— сказала Наташа и вдруг поняла.— Значит, это не наша база? — сказала она шепотом.

— Не наша,— сказал Феликс и выпрямился.

— Вы об этом знали! — сказала Наташа.

— Да, мы об этом знаем,— сказал Феликс.— Это здание строили не люди. Это не цемент. Это не просто холм. И пиявки не зря нападают на двуногих прямостоящих.

Наташа несколько секунд глядела на него, а затем повернулась и закричала во весь голос:

— Товарищи! Сюда! Скорее! Все сюда! Смотрите! Смотрите, что здесь есть! Сюда!

Кабинет директора системы Теплый Сырт был набит до отказа. Директор вытирал лысину платком и опять мотал головой. Ареолог Ливанов, утратив сдержанность и корректность орал, надсаживаясь, стараясь перекрыть шум:

— Это просто уму непостижимо! Теплый Сырт существует шесть лет. За шесть лет не разобрались, что здесь наше и что не наше. Никому и в голову не пришло поинтересоваться Старой Базой!..

— А что там интересоваться! — кричал Азизбеков.— Я двадцать раз проезжал мимо. Развалины как развалины. Разве мало развалин оставили после себя первопоселенцы?

— А я там был года два назад! Смотрю, валяется ржавая гусеница от краулера. Посмотрел и поехал дальше.

— А сейчас она там валяется?

— Да что там говорить? Посередине Базы стоит с незапамятных времен тригонометрический знак. Тоже, может быть, марсиане ставили?

Следопыты просто опозорились, срам на них смотреть!

— Ну почему? Это же они и открыли!

Начальник группы следопытов Опанасенко, прибывший всего несколько минут назад, огромный, широкий, ухмыляющийся, обмахивался сложенной картой и что-то говорил директору. Директор мотал головой.

К столу пробирался, наступая всем на ноги, Пучко. Борода у него была взъерошенная, очки он держал высоко над головой.

— Потому что в системе творится тихий бедлам! —

фальцетом закричал он.— Скоро ко мне будут приходить марсиане и просить, чтобы я им починил танк или там краулер, и я им буду чинить! У меня уже были случаи, когда приходят незнакомые люди и просят починить! Потому что я вижу: по городу ходят какие-то неизвестные люди! Я не знаю, откуда они приходят, и я не знаю, куда они уходят! А может быть, они приходят со Старой Базы и уходят на Старую Базу!

Шум в кабинете внезапно затих.

— Может быть, вы хотите пример? Пожалуйста! Один такой гражданин сидит здесь с нами с утра! Я о вас говорю, товарищ!

Пучко ткнул очками в сторону Феликса Рыбкина. Кабинет взорвался хохотом. Опанасенко сказал гулким басом:

— Ну-ну, Захар, это же мой Рыбкин.

Феликс покачал головой, почесал в затылке и искоса поглядел на Наташу.

— Ну и что же, что Рыбкин? — закричал Пучко.— А я откуда знаю, что он Рыбкин? Вот и я говорю: нужно, чтобы всех знали...— Он махнул рукой и полез на свое место.

Директор встал и громко постучал карандашом по столу.

— Хватит, хватит, товарищи,— строго сказал он.— Повеселились, и хватит. Открытие, которое сделали следопыты, представляет огромный интерес, но мы собрались не для того. Схема Старой Базы у нас теперь есть. Облаву начнем через три дня. Приказ на облаву будет отдан сегодня вечером. Предварительно сообщаю, что начальником группы облавы назначается Опанасенко, его заместителем — Ливанов. А теперь прошу всех, кроме моих заместителей, покинуть кабинет и разойтись по рабочим местам.

В кабинете была только одна дверь в коридор, и кабинет пустел медленно. В дверях вдруг образовалась пробка.

— Радиограмма директору! — закричал кто-то.

— Передайте по рукам!

Сложенный листок бумаги поплыл над головами. Директор, споривший о чем-то с Опанасенко, взял и развернул его, Наташа увидела, как он побледнел, а потом покраснел.

Что случилось? — пробасил Опанасенко.

— С ума можно сойти,— сказал директор с отчаянием.— Завтра сюда прибывает Юрковский.

— Володя? — сказал Онанасенко.— Это хорошо!

— Кому Володя,— с тихим отчаянием сказал директор,— а кому генеральный инспектор Международного управления космических сообщений.

Директор еще раз перечитал радиограмму и тяжело вздохнул.

5. «ТАХМАСИБ». ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР И ДРУГИЕ

Мягкий свисток будильника разбудил Юру ровно в восемь утра по бортовому времени. Юра приподнялся на локте и сердито посмотрел на будильник. Будильник подождал немного и засвистел снова. Юра застонал и сел на койке. «Нет, больше я по вечерам читать не буду,— подумал он.— Почему это вечером никогда не хочется спать, а утром испытываешь такие мучения?»

В каюте было прохладно, даже холодно. Юра обхватил руками голые плечи и постучал зубами. Затем он спустил ноги на пол, протиснулся между койкой и стеной и вышел в коридор. В коридоре было еще холоднее, но зато там стоял Жилин, могучий, мускулистый, в одних трусах. Жилин делал зарядку. Некоторое время Юра, обхватив руками плечи, стоял и смотрел, как Жилин делает зарядку. В каждой руке у Жилина было зажато по десятикилограммовой гантели. Жилин вел бой с тенью. Тени приходилось плохо. От страшных ударов по коридору носился ветерок.

— Доброе утро, Ваня,— сказал Юра.

Жилин мгновенно и бесшумно повернулся и скользящими шагами двинулся на Юру, ритмично раскачиваясь всем телом. Лицо у него было серьезное и сосредоточенное. Юра принял боевую стойку. Тогда Жилин положил гантели на пол и кинулся в бой. Юра кинулся ему навстречу, и через несколько минут ему стало жарко. Жилин хлестко и больно избивал его полураскрытой ладонью. Юра три раза попал ему в лоб, и каждый раз на лице Жилина появлялась улыбка удовольствия. Когда Юра взмок, Жилин сказал: «Брэк!» — и они остановились.

— Доброе утро, стажер,— сказал Жилин.— Как спалось?

— Спа...си...бо,— сказал Юра.— Ни...чего.

— В душ! — скомандовал Жилин.

Душевая была маленькая, на одного человека, и возле нее уже стоял с брезгливой усмешкой Юрковский в роскошном, красном с золотом халате, с колоссальным мохнатым полотенцем через плечо. Он говорил сквозь дверь:

— Во всяком случае... э-э... я отлично помню, что Краюхин тогда отказался утвердить этот проект... Что?

Из-за двери слабо слышался шум струй, плеск и неразборчивый тонкий тенорок.

— Ничего не слышу,— негодующе сказал Юрковский. Он повысил голос: — Я говорю, что Краюхин отклонил этот проект, и если ты напишешь, что это была историческая ошибка, то ты будешь прав... Что?

Дверь душевой отворилась, и оттуда, еще продолжая вытираться, вышел розовый. бодрый Михаил Антонович Крутиков, штурман «Тахмасиба».

— Ты тут что-то говорил, Володенька,— благодушно сказал он.— Только я ничего не слышал. Вода очень шумит.

Юрковский с сожалением на него посмотрел, вошел в душевую и закрыл за собой дверь.

— Мальчики, он не рассердился? — спросил встревоженный Михаил Антонович.— Мне почему-то показалось, что он рассердился.

Жилин пожал плечами, а Юра сказал неуверенно:

— По-моему, ничего.

Михаил Антонович вдруг закричал:

— Ах, ах! Каша разварится! — и быстро побежал по коридору на камбуз.

— Говорят, сегодня прибываем на Марс? — деловито сказал Юра.

— Был такой слух,— сказал Жилин.— Правда, тридцать-тридцать по курсу обнаружен корабль под развевающимся пиратским флагом, но я полагаю, что мы проскочим.

Он вдруг остановился и прислушался. Юра тоже прислушался. В душевой обильно лилась вода. Жилин пошевелил коротким носом.

— Чую,— сказал он.

Юра тоже принюхался.

— Каша, что ли? — спросил он неуверенно.

— Нет,— сказал Жилин.— Зашалил недублированный фазоциклёр. Ужасный шалун этот недублированный фазоциклёр. Чую, что сегодня его придется регулировать.

Юра с сомнением посмотрел на него. Это могло быть шуткой, а могло быть и правдой. Жилин обладал изумительным чутьем на неисправности.

Из душевой вышел Юрковский. Он величественно посмотрел на Жилина и еще более величественно на Юру.

— Э-э...— сказал он,— кадет и поручик. А кто сегодня дежурный на камбузе?

— Михаил Антонович,— сказал Юра застенчиво.

— Значит, опять овсяная каша,— величественно сказал Юрковский и прошел к себе в каюту.

Юра проводил его восхищенным взглядом. Юрковский поражал его воображение.

— А? — сказал Жилин.— Громовержец! Зевес! А? Ступай мыться.

— Нет,— сказал Юра.— Сначала вы, Ваня.

— Тогда пойдем вместе. Что ты здесь будешь один торчать? Как-нибудь втиснемся.

После душа они оделись и явились в кают-компанию. Все уже сидели за столом, и Михаил Антонович раскладывал по тарелкам овсяную кашу. Увидев Юру, Быков посмотрел на часы и потом снова на Юру. Он делал так каждое утро. Сегодня замечания не последовало.

— Садитесь,— сказал Быков.

Юра сел на свое место — рядом с Жилиным и напротив капитана,— и Михаил Антонович, ласково на него поглядывая, положил ему каши. Юрковский ел кашу с видимым отвращением и читал какой-то толстый переплетенный машинописный отчет, положив его перед собой на корзинку с хлебом.

— Иван,— сказал Быков,— недублированный фазоциклёр теряет настройку. Займись.

— Я, Алексей Петрович, займусь им,— сказал Иван.— Последние рейсы я только им и занимаюсь. Надо либо менять схему, либо ставить дублер.

— Схему менять надо, Алешенька,— сказал Михаил Антонович.— Устарело это все — и фазоциклёры, и вертитальная развертка, и телетакторы... Вот, я помню, мы ходили к Урану на «Хиусе-8»... в две тысячи первом...

— Не в две тысячи первом, а в девяносто девятом,— сказал Юрковский, не отрываясь от отчета.— Мемуарщик...

— А по-моему...— сказал Михаил Антонович и задумался.

— Не слушай ты его, Михаил,— сказал Быков.— Какое кому дело, когда это было? Главное — кто ходил. На чем ходил. Как ходил.

Юра тихонько поерзал на стуле. Начинался традиционный утренний разговор. Бойцы вспоминали минувшие дни. Михаил Антонович, собираясь в отставку, писал мемуары.

— То есть как это? — сказал Юрковский, поднимая глаза от бумаг.— А приоритет?

— Какой еще приоритет? — сказал Быков.

— Мой приоритет.

— Зачем это тебе понадобился приоритет?

— По-моему, очень приятно быть... э-э... первым.

— Да на что тебе быть первым? — удивился Быков.

Юрковский подумал.

— Честно говоря, не знаю,— сказал он.— Мне просто приятно.

— Лично мне это совершенно безразлично,— сказал Быков.

Юрковский, снисходительно улыбаясь, помотал в воздухе указательным пальцем.

— Так ли, Алексей?

— Может быть, и неплохо оказаться первым,— сказал Быков,— но лезть из кожи вон, чтобы быть первым, занятие нескромное. По крайней мере, для ученого.

Жилин подмигнул Юре. Юра понял это так: «Мотай на ус».

— Не знаю, не знаю,— сказал Юрковский, демонстративно возвращаясь к отчету.— Во всяком случае, Михаил обязан придерживаться исторической правды. В девяносто девятом году экспедиционная группа Дауге и Юрковского впервые в истории науки открыла и исследовала бомбозондами так называемое аморфное поле на северном полюсе Урана. Следующее исследование пятна было произведено годом позже.

— Кем? — с очень большим интересом спросил Жилин.

— Не помню,— сказал рассеянно Юрковский.— Кажется, Лекруа. Михаил, нельзя ли... э-э... освободить стол? Мне надо работать.

Наступали священные часы работы Юрковского. Юрковский всегда работал в кают-компании. Он так привык. Михаил Антонович и Жилин ушли в рубку. Юра хотел последовать за ними — было очень интересно посмотреть, как настраивают недублированный фазоциклёр,— но Юрковский остановил его.

— Э-э... кадет,— сказал он,— не сочтите за труд, принесите мне, пожалуйста, бювар из моей каюты. Он лежит на койке.

Юра сходил за бюваром. Когда он вернулся, Юрковский что-то печатал на портативной электромашинке, небрежно порхая по контактам пальцами левой руки. Быков уже сидел на обычном месте, в большом персональном кресле; рядом с ним на столике возвышалась огромная пачка газет и журналов. На носу Быкова были большие старомодные очки.

Первое время Юра поражался, глядя на Быкова. На корабле работали все. Жилин ежедневно вылизывал ходовую и контрольную системы, Михаил Антонович считал и пересчитывал курс, вводил дополнительные команды на киберуправление, заканчивал большой учебник и еще ухитрялся как-то находить время для мемуаров. Юрковский до глубокой ночи читал какие-то пухлые отчеты, получал и отправлял бесчисленные радиограммы, что-то расшифровывал и зашифровывал на электромашинке. А капитан корабля Алексей Петрович Быков читал газеты и журналы. Раз в сутки он, правда, выстаивал очередную вахту. Но все остальное время он проводил в своей каюте либо в кают-компании. Юру это шокировало. На третьи сутки он не выдержал и спросил у Жилина, зачем на корабле капитан. «Для ответственности,— сказал Жилин.— Если, скажем, кто-нибудь потеряется». У Юры вытянулось лицо. Жилин засмеялся и сказал: «Капитан отвечает за всю организацию рейса. Перед рейсом у него нет ни одной свободной минуты. Ты заметил, что он читает? Это газеты и журналы за последние два месяца».— «А во время рейса?» — спросил Юра. Они стояли в коридоре и не заметили, как подошел Юрковский. «Во время рейса капитан нужен только тогда, когда случается катастрофа,— сказал он со странной усмешкой.— И тогда он нужен больше, чем кто-нибудь другой».

Юра, ступая на цыпочках, положил рядом с Юрковским бювар. Бювар был роскошный, как и все у Юрковского. В углу бювара была врезана золотая пластина с

надписью: «IV Всемирный конгресс планетологов. 20.XII.02. Конакри».

— Спасибо, кадет,— сказал Юрковский, откинулся на стуле и задумчиво посмотрел на Юру.— Вы бы сели да побеседовали со мной, стариком,— сказал он негромко.— А то через десять минут принесут радиограммы, и опять начнется кавардак на целый день.

Юра сел. Он был безмерно счастлив.

— Вот давеча я говорил о приоритете и, кажется, немного погорячился. Действительно, что значит одно имя в океане человеческих усилий, в бурях человеческой мысли, в грандиозных приливах и отливах человеческого разума? Вот подумайте, Юра, сотни людей в разных концах Вселенной собрали для нас необходимую информацию, дежурный на Спу-5, усталый, с красными от бессонницы глазами, принимал и кодировал ее, другие дежурные программировали трансляционные установки, а затем еще кто-то нажмет на пусковую клавишу, гигантские отражатели заворочаются, разыскивая в пространстве наш корабль, и мощный квант, насыщенный информацией, сорвется с острия антенны и устремится в пустоту вслед за нами...

Юра слушал, глядя ему в рот. Юрковский продолжал:

— Капитан Быков, несомненно, прав. Собственное имя на карте не должно означать слишком много для настоящего человека. Радоваться своим успехам надо скромно, один на один с собой. А с друзьями надо делиться только радостью поиска, радостью погони и смертельной борьбы. Вы знаете, Юра, сколько людей на Земле? Четыре миллиарда! И каждый из них работает. Или гонится. Или ищет. Или дерется насмерть. Иногда я пробую представить себе все эти четыре миллиарда одновременно. Капитан Фрэд Дулитл ведет пассажирский лайнер, и за сто мегаметров до финиша выходит из строя питающий реактор, и у Фрэда Дулитла за пять минут седеет голова, но он надевает большой черный берет, идет в кают-компанию и хохочет там с пассажирами, с теми самыми пассажирами, которые так ничего и не узнают и через сутки разъедутся с ракетодрома и навсегда забудут даже имя Фрэда Дулитла. Профессор Канаяма отдает всю свою жизнь созданию стереосинтетиков, и в одно жаркое утро его находят мертвым в кресле возле лабораторного стола, и кто из сотен миллионов, которые будут носить изумительно красивые и прочные одежды из стереосинтетиков профессора Канаямы,

вспомнит его имя? А Юрий Бородин будет в необычайно трудных условиях возводить жилые купола на маленькой каменистой Рее, и можно поручиться, что ни один из будущих обитателей этих жилых куполов никогда не услышит имени Юрия Бородина. И вы знаете, Юра, это очень справедливо. Ибо и Фрэд Дулитл тоже уже забыл имена своих пассажиров, а ведь они идут на смертельно опасный штурм чужой планеты. И профессор Канаяма никогда в глаза не видел тех, кто носит одежду из его тканей, а ведь эти люди кормили и одевали его, пока он работал. И ты, Юра, никогда, наверное, не узнаешь о героизме ученых, что поселятся в домах, которые ты выстроишь. Таков мир, в котором мы живем. Очень хороший мир.

Юрковский кончил говорить и посмотрел на Юру с таким выражением, словно ожидал, что Юра тут же переменится к лучшему. Юра молчал. Это называлось «беседовать со стариком». Оба очень любили такие беседы. Ничего особенно нового для Юры в этих беседах, конечно, не было, но у него всегда оставалось впечатление чего-то огромного и сверкающего. Вероятно, дело было в самом обличии великого планетолога — весь он был какой-то красный с золотом.

В кают-компанию вошел Жилин, положил перед Юрковским катушки радиограмм.

— Утренняя почта,— сказал он.

— Спасибо, Ваня,— расслабленным голосом сказал Юрковский. Он взял наугад катушку, вставил ее в машинку и включил дешифратор. Машинка бешено застучала.— Ну вот,— тем же расслабленным голосом сказал Юрковский, вытягивая из машинки лист бумаги.— Опять на Церере программу не выполнили.

Жилин крепко взял Юру за рукав и повлек в рубку. Позади раздавался крепнущий голос Юрковского:

— Снять его надо к чертовой бабушке и перевести на Землю, пусть сидит смотрителем музея...

Юра стоял за спиной Жилина и глядел, как настраивают фазоциклёр. «Ничего не понимаю,— думал он с унынием.— И никогда не пойму». Фазоциклёр был деталью комбайна контроля отражателя и служил для измерения плотности потока радиации в рабочем объеме отражателя. Слодить за настройкой фазоциклёра нужно было по двум

экранам. На экранах вспыхивали и медленно гасли голубоватые искры и извилистые линии. Иногда они смешивались в одно сплошное светящееся облако, и тогда Юра думал, что все пропало и настройку нужно начинать сначала, а Жилин со вкусом приговаривал: «Превосходно. А теперь еще на полградуса». Все действительно начиналось сначала.

На возвышении в двух шагах позади Юры сидел за пультом счетной машины Михаил Антонович и писал мемуары. Пот градом катился по его лицу. Юра уже знал, что писать мемуары Михаила Антоновича заставил архивный отдел Международного управления космических сообщений. Михаил Антонович трудолюбиво царапал пером, возводил очи горé, что-то считал на пальцах и время от времени грустным голосом принимался петь веселые песни. Михаил Антонович был добряк, каких мало. В первый же день он подарил Юре плитку шоколада и попросил прочитать написанную часть мемуаров. Критику прямодушной молодости он воспринял крайне болезненно, но с тех пор стал считать Юру непререкаемым авторитетом в области мемуарной литературы.

— Вот послушай, Юрик! — вскричал он.— И ты, Ванюша, послушай.

— Слушаем, Михаил Антонович,— с готовностью сказал Юра.

Михаил Антонович откашлялся и стал читать:

— «С капитаном Степаном Афанасьевичем Варшавским я встретился впервые на солнечных и лазурных берегах Таити. Яркие звезды мерцали над бескрайним Великим, или Тихим, океаном. Он подошел ко мне и попросил закурить, сославшись на то, что забыл свою трубку в отеле. К сожалению, я не курил, но это не помешало нам разговориться и узнать друг о друге. Степан Афанасьевич произвел на меня самое благоприятное впечатление. Это оказался милейший, превосходнейший человек. Он был очень добр, умен, с широчайшим кругозором. Я поражался обширностью его познаний. Ласковость, с которой он относился к людям, казалась мне иногда необыкновенной...»

— Ничего,— сказал Жилин, когда Михаил Антонович замолк и застенчиво на них посмотрел.

— Я здесь только попытался дать портрет этого превосходного человека,— сказал Михаил Антонович.

— Да, ничего,— повторил Жилин, внимательно наблю-

дая за экранами.— Как это у вас сказано: «Над солнечными и лазурными берегами мерцали яркие звезды». Очень свежо.

— Где? Где? — засуетился Михаил Антонович.— Ну, это просто описка, Ваня. Ну, не нужно так шутить.

Юра напряженно думал, к чему бы прицепиться. Ему очень хотелось поддержать свое реноме.

— Вот я и раньше читал вашу рукопись, Михаил Антонович,— сказал он наконец.— Сейчас я не буду касаться литературной стороны дела. Но почему они у вас все такие милейшие и превосходнейшие? Нет, они действительно, наверное, хорошие люди, но у вас их совершенно нельзя отличить друг от друга.

— Что верно, то верно,— сказал Жилин.— Уж кого-кого, а капитана Варшавского я отличу от кого угодно. Как это он выражается? «Динозавры, прохвосты, тунеядцы несчастные».

— Нет, извини, Ванюша,— с достоинством сказал Михаил Антонович,— мне он ничего подобного не говорил. Вежливейший и культурнейший человек.

— Скажите, Михаил Антонович,— сказал Жилин,— а что будет написано про меня?

Михаил Антонович растерялся. Жилин отвернулся от приборов и с интересом на него смотрел.

— Я, Ванюша, не собирался...— Михаил Антонович вдруг оживился.— А ведь это мысль, мальчики! Правда, я напишу главу. Это будет заключительная глава. Я ее так и назову: «Мой последний рейс». Нет, «мой» — это как-то нескромно. Просто: «Последний рейс». И там я напишу, как мы сейчас все летим вместе: и Алеша, и Володя, и вы, мальчики. Да, это хорошая идея — «Последний рейс».

И Михаил Антонович снова обратился к мемуарам.

Успешно завершив очередную настройку недублированного фазоциклёра, Жилин пригласил Юру спуститься в машинные недра корабля — к основанию фотореактора. У основания фотореактора оказалось холодно и неуютно. Жилин неторопливо принялся за свой каждодневный чекап[1]. Юра медленно шел за ним, засунув руки глубоко в карманы, стараясь не касаться покрытых инеем поверхностей.

---

[1] Чекап — проверка, контроль.

— Здорово это все-таки! — сказал он с завистью.

— Что именно? — спросил Жилин.

Он со звоном откидывал и снова захлопывал какие-то крышки, отодвигал полупрозрачные заслонки, за которыми кабалистически мерцала путаница печатных схем, включал маленькие экраны, на которых тотчас возникали яркие точки импульсов, прыгающие по координатной сетке, запускал крепкие ловкие пальцы во что-то невообразимо сложное, многоцветное, вспыхивающее, и делал он все это небрежно, легко, не задумываясь и до того ладно и вкусно, что Юре захотелось сейчас же сменить специальность и вот так же непринужденно повелевать поражающим воображение гигантским организмом фотонного чуда.

— У меня слюнки текут,— сказал Юра.

Жилин засмеялся.

— Правда,— сказал Юра.— Не знаю, для вас это все, конечно, привычно и буднично, может быть, даже надоело, но это все равно здорово. Я люблю, когда большой и сложный механизм — и рядом один человек... повелитель. Это здорово, когда человек — повелитель.

Жилин чем-то щелкнул, и на шершавой серой стене радугой загорелись сразу шесть экранов.

— Человек уже давно такой повелитель,— сказал он, внимательно разглядывая экраны.

— Вы, наверное, гордитесь, что вы такой...

Жилин выключил экраны.

— Пожалуй,— сказал он.— Радуюсь, горжусь и прочее.— Он двинулся дальше вдоль заиндевевших пультов.— Я, Юрочка, уже десять лет хожу в повелителях,— сказал он с какой-то странной интонацией.

— И вам...— Юра хотел сказать «надоело», но промолчал.

Жилин задумчиво отвинчивал тяжелую крышку.

— Главное! — сказал он вдруг.— Во всякой жизни, как и во всяком деле, главное — это определить главное.— Он посмотрел на Юру.— Не будем сегодня говорить об этом, а?

Юра молча кивнул. «Ой-ёй-ёй,— подумал он.— Неужели Ивану надоело? Это, наверное, ужасно плохо, когда десять лет занимаешься любимым делом и вдруг оказывается, что ты это дело разлюбил. Вот тошно, наверное? Но что-то не похоже, чтобы Ивану было тошно...»

Он огляделся и сказал, чтобы переменить тему:

— Здесь должны водиться привидения...

— Чш-ш-ш! — сказал Жилин с испугом и тоже огляделся по сторонам.— Их здесь полным-полно. Вот тут,— он указал в темный проход между двумя панелями,— я нашел... только не говори никому... детский чепчик!

Юра засмеялся.

— Тебе следует знать,— продолжал Жилин,— что наш «Тахмасиб» — весьма старый корабль. Он побывал на многих планетах, и на каждой планете на него грузились местные привидения. Целыми дивизиями. Они таскаются по кораблю, стонут, ноют, набиваются в приборы, нарушают работу фазоциклёра... Им, видишь ли, очень досаждают призраки бактерий, убитых во время дезинфекций... И никак от них не избавиться.

— Их надо святой водой.

— Пробовал.— Жилин махнул рукой, открыл большой люк и погрузился в него верхней частью туловища.— Все пробовал,— гулко сказал он из люка.— И простой святой водой, и дейтериевой, и тритиевой. Никакого впечатления. Но я придумал, как избавиться.— Он вылез из люка, захлопнул крышку и посмотрел на Юру серьезными глазами.— Надо проскочить на «Тахмасибе» сквозь Солнце. Ты понимаешь? Не было еще случая, чтобы привидение выдержало температуру термоядерной реакции. Кроме шуток, ты серьезно не слыхал о моем проекте сквозьсолнечного корабля?

Юра помотал головой. Ему никогда не удавалось определить тот момент, когда Жилин переставал шутить и начинал говорить серьезно.

— Пойдем,— сказал Жилин, взяв его под руку.— Пойдем наверх, я расскажу тебе подробно.

Наверху, однако, Юру поймал Быков.

— Стажер Бородин,— сказал он,— ступайте за мной.

Юра горестно вздохнул и поглядел на Жилина. Жилин едва заметно развел руками. Быков привел Юру в каюткомпанию и усадил за стол напротив Юрковского. Предстояло самое неприятное: два часа принудительных занятий физикой металлов. Быков рассудил, что время перелета стажер должен использовать рационально, и с первого же дня усадил Юру за теоретические вопросы сварочного дела. Честно говоря, это было не так уж неинтересно, но Юру угнетала мысль, что его, опытного рабочего, заставляют заниматься, как школяра. Сопротивляться он не смел, но занимался с большой прохладцей.

Гораздо интереснее было смотреть и слушать, как работает Юрковский.

Быков вернулся в свое кресло, несколько минут смотрел, как Юра нехотя листает страницы книги, а затем развернул очередную газету. Юрковский вдруг перестал шуметь электромашинкой и повернулся к Быкову.

— Ты слыхал что-нибудь о статистике безобразий?

— Каких безобразий? — спросил Быков из-за газеты.

— Я имею в виду безобразия... э-э... в космосе. Число неблаговидных поступков и противозаконных действий быстро растет с удалением от Земли, достигает максимума в поясе астероидов и снова спадает к границам... э-э... Солнечной системы.

— Нет ничего удивительного,— проворчал Быков, не опуская газеты.— Вы же сами разрешили всяким лишенцам вроде «Снэйс Пёрл» копаться в астероидах, так чего ж вы теперь хотите?

— Мы разрешили! — Юрковский рассердился.— Не мы, а эти лондонские дурачки. И теперь сами не знают, что делать...

— Ты генеральный инспектор, тебе и карты в руки,— сказал Быков.

Юрковский некоторое время молча смотрел в бумаги.

— Душу выну из мер-рзавцев! — сказал вдруг он и снова зашумел машинкой.

Юра уже знал, что такое спецрейс 17. Кое-где в огромной сети космических поселений, охватившей всю Солнечную систему, происходило неладное, и Международное управление космических сообщений решило покончить с этим раз и, по возможности, навсегда. Юрковский был генеральным инспектором МУКСа и имел, по-видимому, неограниченные полномочия. Он обладал правом понижать в должности, давать выговора, разносить, снимать, смещать, назначать, даже, кажется, применять силу и, судя по всему, был намерен делать все это. Более того, Юрковский намеревался падать на виновных как снег на голову, и поэтому спецрейс 17 был совершенно секретным. Из обрывков разговоров и из того, что Юрковский зачитывал вслух, следовало, что фотонный планетолет «Тахмасиб» после кратковременной остановки у Марса пройдет через пояс астероидов, задержится в системе Сатурна, затем оверсаном выйдет к Юпитеру и опять-таки через пояс астероидов

вернется на Землю. Над какими именно небесными телами нависла грозная тень генерального инспектора, Юра так и не понял. Жилин только сказал Юре, что «Тахмасиб» высадит Юру на Япете, а оттуда планетолеты местного сообщения перебросят его, Юру, на Рею.

Юрковский опять перестал шуметь машинкой.

— Меня очень беспокоят научники у Сатурна,— озабоченно сказал он.

— Умгу,— донеслось из-за газеты.

— Представь себе, они до сих пор не могут раскачаться... э-э... и взяться наконец за программу.

— Умгу.

Юрковский сказал сердито:

— Не воображай, пожалуйста, что я беспокоюсь за эту программу оттого, что она моя...

— А я и не воображаю.

— Я думаю, мне придется их подтолкнуть,— заявил Юрковский.

— Ну что ж, в час добрый,— сказал Быков и перевернул газетную страницу.

Юра почувствовал, что весь разговор этот — и странная нервозность Юрковского, и нарочитое равнодушие Быкова — имеет какой-то второй смысл. Похоже было, что необозримые полномочия генерального инспектора имели все-таки где-то границы. И что Быков и Юрковский об этих границах великолепно знали.

Юрковский сказал:

— Однако не пора ли пообедать? Кадет, не могли бы вы вакуумно сварить обед?

Быков сказал из-за газеты:

— Не мешай работать.

— Но я хочу есть! — сказал Юрковский.

— Потерпишь,— сказал Быков.

6. МАРС. ОБЛАВА

В четыре часа утра Феликс Рыбкин сказал: «Пора» — и все стали собираться. На дворе было минус восемьдесят три градуса. Юра натянул на ноги две пары пуховых носков, одолженных ему Наташей, тяжелые меховые штаны, которые ему дал Матти, нацепил поверх штанов аккумуляторный пояс и влез в унты. Следопыты Феликса, невыспавшиеся и мрачноватые, торопливо пили горячий кофе.

Наташа бегала на кухню и обратно, носила бутерброды, горячий кофе и термосы. Кто-то попросил бульону — Наташа побежала на кухню и принесла бульон. Рыбкин и Жилин сидели на корточках в углу комнаты над раскрытым плоским ящиком, из которого торчали блестящие хвосты ракетных гранат. Ракетные ружья привез на Теплый Сырт Юрковский. Матти в последний раз проверял электрообогреватель куртки, предназначенной для Юры.

Следопыты напились кофе и молча потянулись к выходу, привычным движением натягивая на лицо кислородные маски. Феликс с Жилиным взяли ящик с гранатами и тоже пошли к выходу.

— Юра, ты готов? — спросил Жилин.

— Сейчас, сейчас,— ответил Юра.

Матти помог ему облачиться в куртку и сам подключил электрообогреватели к аккумуляторам.

— А теперь беги на улицу,— сказал он.— А то вспотеешь.

Юра сунул руки в рукавицы и побежал за Жилиным.

На дворе было совсем темно. Юра пересек наблюдательную площадку и спустился к танку. Здесь в темноте негромко переговаривались, слышалось позвякивание металла о металл. Юра налетел на кого-то. Из темноты посоветовали надеть очки. Юра посоветовал не торчать на дороге.

— Вот чудак,— сказали из темноты.— Надень тепловые очки.

Юра вспомнил про инфракрасные очки и надвинул их на глаза. Намного лучше от этого не стало, но теперь Юра смутно различал силуэты людей и широкую корму танка, нагретую атомным реактором. На танк грузили ящики с боеприпасами. Сначала Юра встал на подачу, но потом рассудил, что места в танке может не хватить и тогда его наверняка оставят в обсерватории. Он тихонько отошел к танку и вскарабкался на корму. Там двое в надвинутых на самый нос капюшонах принимали ящики.

Кого это несет? — добродушно спросил один.

Это я,— отозвался Юра.

А, столичная штучка? — сказал другой.— Ступай в кузов, задвигай ящики под сиденья.

«Столичной штучкой» Юру назвали местные сварщики, которым он накануне помогал оборудовать танки

турелями для ракетных ружей и демонстрировал новейшие методы сварки в разреженных атмосферах.

В кузове были все те же восемьдесят три градуса ниже нуля, поэтому тепловые очки не помогали. Юра с энтузиазмом таскал ящики по гремящему дну кузова и на ощупь запихивал их под сиденья, натыкаясь на какие-то острые твердые углы, торчащие отовсюду. Потом таскать стало нечего. Через высокие борта полезли молчаливые следопыты и стали рассаживаться, гремя карабинами. Юре несколько раз чувствительно наступали на ноги, и кто-то надвинул ему капюшон на глаза. В передней части кузова послышался отвратительный скрип — по-видимому, Феликс пробовал турель. Потом кто-то сказал:

— Едут.

Юра осторожно высунул из-за борта голову. Он увидел серую стену обсерватории и блики прожекторов, скользящие по наблюдательной площадке. Это подходили остальные три танка центральной группы. Голос Феликса негромко сказал:

— Малинин!

— Я, — откликнулся следопыт, сидевший рядом с Юрой.

— Петровский!

— Здесь.

— Хомерики!

Закончив перекличку (фамилии Юры и Жилина названы почему-то не были), Феликс сказал:

— Поехали.

Песчаный танк «Мимикродон» заворчал двигателем, лязгнул и, грузно кренясь, с ходу полез куда-то в гору. Юра посмотрел вверх. Звезд видно не было — их заволокло пылью. Смотреть стало абсолютно не на что. Танк немилосердно трясло. Юра поминутно слетал с жесткого сиденья, натыкаясь все на те же острые твердые углы. В конце концов следопыт, сидевший рядом, спросил:

— Ну что ты все время прыгаешь?

— Откуда я знаю? — сердито сказал Юра.

Он ухватился за какой-то стержень, торчавший из борта, и ему стало легче. Время от времени в клубах пыли, нависших над танком, вспыхивал свет прожекторов, и тогда на светлом фоне Юра видел черное кольцо турели и длинный ствол ракетного ружья, задранный к небу. Следопыты переговаривались.

— Я вчера ходил на эти развалины.

— Ну и как?

— Разочаровался, честно говоря.

— Да, архитектура только на первый взгляд кажется странной, а потом начинаешь чувствовать, что ты это где-то уже видел.

— Купола, параллелепипеды...

— Вот именно. Совершенно как Теплый Сырт.

— Потому никому и в голову не приходило, что это не наше.

— Еще бы... После чудес Фобоса и Деймоса...

— А мне вот как раз это сходство и странно.

— Материал анализировали?

Юре было неудобно, жестко и как-то одиноко. Никто не обращал на него внимания. Люди казались чужими, равнодушными. Лицо обжигал свирепый холод. В днище под ногами со страшной силой били фонтаны песка из-под гусениц. Где-то рядом находился Жилин, но его не было ни слышно, ни видно. Юра даже почувствовал какую-то обиду на него. Хотелось, чтобы скорее взошло солнце, чтобы стало тепло и светло. И чтобы перестало так трясти.

Быков отпустил Юру на Марс с большой неохотой и под личную ответственность Жилина. Сам он с Михаилом Антоновичем остался на корабле и крутился сейчас вместе с Фобосом на расстоянии девяти тысяч километров от Марса. Где был сейчас Юрковский, Юра не знал. Наверное, он тоже участвовал в облаве.

«Хоть бы карабин дали,— уныло думал Юра.— Я же им все-таки турели варил».

Все вокруг были с карабинами и, наверное, поэтому чувствовали себя так свободно и спокойно.

«Все-таки человек по своей природе неблагодарен и равнодушен,— с горечью подумал Юра.— И чем старше, тем больше. Вот если бы здесь были наши ребята, все было бы наоборот. У меня был бы карабин, я знал бы, куда мы едем и зачем. И я знал бы, что делать».

Танк вдруг остановился. От света прожекторов, метавшегося по тучам пыли, стало совсем светло. В кузове все замолчали, и Юра услышал незнакомый голос:

— Рыбкин, выходите на западный склон. Кузьмин — на восточный. Джефферсон, останьтесь на южном.

Танк снова двинулся. Свет прожектора упал в кузов, и Юра увидел Феликса, стоявшего у турели с радиофоном в руке.

— Становись своим бортом к западу,— сказал Рыбкин водителю.

Танк сильно накренился, и Юра расставил локти, чтобы не сползти на дно.

— Так хорошо,— сказал Феликс.— Подай еще немного вперед. Там ровнее.

Танк снова остановился. Рыбкин сказал в радиофон:

— Рыбкин на месте, товарищ Ливанов.

— Хорошо,— сказал Ливанов.

Все следопыты стояли, заглядывая через борта. Юра тоже посмотрел. Ничего не было видно, кроме плотных туч пыли, медленно оседающей в лучах прожекторов.

— Кузьмин на месте. Только тут рядом какая-то башня.

— Спуститесь ниже.

— Слушаюсь.

— Внимание! — сказал Ливанов. На этот раз он говорил в мегафон, и его голос громом покатился над пустыней.— Облава начнется через несколько минут. До восхода солнца остался час. Загонщики будут здесь через полчаса. Через полчаса включить ревуны. Можно стрелять. Всё.

Следопыты зашевелились. Снова послышался отвратительный скрежет турели. Борта танка ощетинились карабинами. Пыль оседала, и силуэты людей постепенно таяли, сливаясь с ночной темнотой. Снова стали видны звезды.

— Юра! — негромко позвал Жилин.

— Что? — сердито сказал Юра.

— Ты где?

— Здесь.

— Иди-ка сюда,— строго сказал Жилин.

— Куда? — спросил Юра и полез на голос.

— Сюда, к турели.

В кузове оказалось огромное количество ящиков. «И откуда они здесь взялись?» — подумал Юра. Мощная рука Жилина ухватила его за плечо и подтащила под турель.

— Сиди здесь,— строго сказал Жилин.— Будешь помогать Феликсу.

— А как? — спросил Юра. Он был еще обижен, но уже отходил.

Феликс Рыбкин тихо сказал:

— Вот здесь ящики с гранатами.— Он посветил фонариком.— Вынимайте гранаты по одной, снимайте колпачок с хвостовой части и подавайте мне.

Следопыты переговаривались:

— Ничего не вижу.

— Очень холодно сегодня, все остыло.

— Да, осень скоро. Погоды стоят холодные...

— Вот я, например, вижу на фоне звезд какой-то купол наверху и целюсь в него.

— Зачем?

— Это единственное, что я вижу.

— А спать можно?

Феликс над головой Юры тихо сказал:

— Ребята, за восточной стороной слежу я. Не стреляйте пока, я хочу опробовать ружье.

Юра сейчас же взял гранату и снял колпачок. На несколько минут наступила мертвая тишина.

— А славная девушка Наташа, правда? — сказал кто-то шепотом.

Феликс сделал движение. Турель скрипнула.

— Зря она так коротко стрижется,— отозвались с западного борта.

— Много ты понимаешь...

— Она на мою жену похожа. Только волосы короче и светлее.

— И чего это Сережка зевает! Такой лихой парень, не похоже на него.

— Какой Сережка?

— Сережка Белый, астроном.

— Женат, наверное.

— Нет.

— Они ее все очень любят. Просто по-товарищески. Она ведь на редкость славный человек. И умница. Я ее еще по Земле немножко знаю.

— То-то ты ее за бульоном гонял.

— А что такого?

— Да нехорошо просто. Она всю ночь работала, потом завтрак нам готовила. А тебе вдруг приспичило бульона...

— Тс-с-с!

В мгновенно наступившей тишине Феликс тихо сказал:

— Юра, хотите посмотреть на пиявку? Смотрите!

Юра немедленно высунулся. Сначала он увидел только черные изломанные силуэты развалин. Потом что-то бес-

шумно задвигалось там. Длинная гибкая тень поднялась над башнями и медленно закачалась, закрывая и открывая яркие звезды. Снова скрипнула турель, и тень застыла. Юра затаил дыхание. «Сейчас,— подумал он.— Сейчас». Тень изогнулась, словно складываясь, и в ту же секунду ракетное ружье выпалило.

Раздался длинный шипящий звук, брызнули искры, огненная дорожка протянулась к вершине холма, что-то гулко лопнуло, ослепительно вспыхнуло, и снова наступила тишина. С вершины холма посыпались камешки.

— Кто стрелял? — проревел мегафон.

— Рыбкин,— сказал Феликс.

— Попал?

— Да.

— Ну, в добрый час,— проревел мегафон.

— Гранату,— тихо сказал Феликс.

Юра поспешно сунул ему в руку гранату.

— Это здорово,— с завистью сказал кто-то из следопытов.— Прямо напополам.

— Да, это не карабин.

— Феликс, а почему нам всем таких не дали?

Феликс ответил:

— Юрковский привез всего двадцать пять штук.

— Жаль. Доброе оружие.

С восточного борта вдруг начали палить. Юра азартно вертел головой, но ничего не видел. Зашипела и лопнула над развалинами ракета, пущенная с какого-то другого танка. Феликс выстрелил еще раз.

— Гранату,— сказал он громко.

Пальба с небольшими перерывами продолжалась минут двадцать. Юра ничего не видел. Он подавал гранату за гранатой и вспотел. Стреляли с обоих бортов. Феликс со страшным скрежетом поворачивал ружье на турели. Затем включили ревуны. Тоскливый грубый вой понесся над пустыней. У Юры заныли зубы и зачесались пятки. Стрелять перестали, но разговаривать было совершенно невозможно.

Быстро светало. Юра теперь видел следопытов. Почти все они сидели, прижавшись спиной к бортам, нахохлившись, плотно надвинув капюшоны. На дне стояли раскрытые пластмассовые ящики с торчащими из них клочьями цветного целлофана, в изобилии валялись расстрелянные

гильзы, пустые обоймы. Перед Юрой на ящике сидел Жилин, держа карабин между колен. На открытых щеках его слабо серебрилась изморозь. Юра встал и посмотрел на Старую Базу. Серые изъеденные стены, колючий кустарник, камни. Юра был разочарован. Он ожидал увидеть дымящиеся груды трупов. Только присмотревшись, он заметил желтоватое щетинистое тело, застрявшее в расщелине среди колючек, да на одном из куполов что-то мокро и противно блестело.

Юра повернулся и посмотрел в пустыню. Пустыня была серая под темно-фиолетовым небом, покрытая серой рябью барханов, мертвая и скучная. Но высоко над ровным горизонтом Юра увидел яркую желтую полосу, клочковатую, рваную, протянувшуюся через всю западную часть неба. Полоса быстро ширилась, росла, наливалась светом.

— Загонщики идут! — заорал кто-то еле слышно в реве сирен.

Юра догадался, что желтая яркая полоса над горизонтом — это туча пыли, поднятая облавой. Солнце поднималось навстречу загонщикам, на пустыню легли красные пятна света, и вдруг осветилось огромное желтое облако, заволакивающее горизонт.

— Загонщики, загонщики! — завопил Юра.

Весь горизонт — прямо, справа, слева — покрылся черными точками. Точки появлялись, и исчезали, и снова появлялись на гребнях далеких барханов. Уже сейчас было видно, что танки и краулеры идут на максимальной скорости и каждый волочит за собой длинный клубящийся шлейф. Вдоль всего горизонта сверкали яркие быстрые вспышки, и непонятно было — то ли это вспышки выстрелов, то ли разрывы гранат, а может быть, просто сверкание солнца на ветровых стеклах.

Юру пнули в бок, и он сел, споткнувшись, на ящики. Феликс Рыбкин лихо разворачивал на турели свой длинный гранатомет. Несколько следопытов кинулись к левому борту. Загонщики стремительно приближались. Теперь до них было километров пять — семь, не больше. Горизонт заволокло совершенно, и было видно, что перед загонщиками катится по пустыне дымная полоса вспышек. Мегафон проревел, перекрывая вой сирен:

— Весь огонь на пустыню! Весь огонь на пустыню!

С танка начали стрелять. Юра видел, как широченные плечи Жилина вздрагивают от выстрелов, и видел белые

вспышки над бортом, и никак не мог понять, куда стреляют и по ком стреляют. Феликс хлопнул его по капюшону, Юра быстро подал гранату и сорвал колпачок со следующей. Тупо и упрямо выли сирены, грохотали выстрелы, и все были очень заняты, и не у кого было спросить, что происходит. Потом Юра увидел, как с одного из приближающихся танков сорвалась длинная красная струя огня, похожая на плевок, и утонула в дымной полосе перед цепью загонщиков. Тогда он понял. Все стреляли по этой дымной полосе: там были пиявки. И полоса приближалась.

Из-за холма, кормой вперед, медленно выкатился танк Кузьмина. Танк еще не остановился, когда кузов его распахнулся и оттуда выдвинулась огромная черная труба. Труба стала задираться к небу, и, когда она застыла под углом сорок пять градусов, следопыты Кузьмина горохом посыпались через борта и полезли под гусеницы. Из кузова повалил густой черный дым, труба с протяжным хрипом выбросила огромный язык пламени, после чего танк заволокло тучами пыли. На минуту стрельба прекратилась. На гребне бархана, метрах в трехстах, ни к селу ни к городу вспучился лохматый гриб дыма и пыли.

Феликс опять плеснул Юру по капюшону. Юра подал ему сразу одну за другой две гранаты и оглянулся на танк Кузьмина. В пыли было видно, как следопыты с натугой выволакивают трубу из кузова. Юре даже показалось, что сквозь рев и треск выстрелов он слышит невнятные проклятья.

Дымная полоса, в которой вспыхивали огоньки разрывов, надвигалась все ближе. И наконец Юра увидел. Пиявки были похожи на исполинских серо-желтых головастиков. Гибкие, необычайно подвижные, несмотря на свои размеры и, вероятно, немалый вес, они стремительно выскакивали из тучи пыли, проносились в воздухе несколько десятков метров и снова исчезали в пыли. А за ними почти по пятам неслись, подскакивая на барханах, широкие квадратные танки и маленькие краулеры, сверкающие огоньками выстрелов. Юра нагнулся за гранатами, а когда он выпрямился, пиявки были уже совсем близко, огоньки выстрелов исчезли, танки замедлили ход, на крыши кабин выскакивали люди и размахивали руками, и вдруг откуда-то слева, огибая машину Кузьмина, на сумасшедшей скорости вылетел песчаный танк и пошел, пошел, пошел вдоль пыльной стены, через самую гущу пиявок.

Кузов его был пуст. Вслед за ним из пыли выскочил второй такой же пустой танк, за ним третий, и больше уже ничего нельзя было разобрать в желтой, непроглядно густой пыли.

— Прекратить огонь! — заревел мегафон.

— Гони! Гони! — отозвался мегафон у загонщиков.

Пыль закрыла все, наступили сумерки.

— Берегись! — крикнул Феликс и пригнулся.

Длинное темное тело пронеслось над танком. Феликс выпрямился и круто развернул ракетное ружье в сторону Старой Базы. Внезапно сирены замолкли, и сразу стал слышен грохот десятков двигателей, лязг гусениц и крики. Феликс больше не стрелял. Он потихоньку передвигал ружье то вправо, то влево, и пронзительный скрип казался Юре райской музыкой после сирен. Из пыли появились несколько человек с карабинами. Они подбежали к танку и поспешно вскарабкались через борта.

— Что случилось? — спросил Жилин.

— Краулер *перевернулся,— быстро ответил кто-то.*

Другой, нервно рассмеявшись, сказал:

— Медленное и методическое движение.

— Каша,— сказал третий.— Не умеем мы воевать.

Грохот моторов надвинулся, мимо медленно и неуверенно проползли два танка. У последнего за гусеницей тащилось что-то бесформенное, облепленное пылью.

Удивленный голос вдруг сказал:

— Ребята, а сирены-то не воют!

Все засмеялись и заговорили.

— Ну и пылища!

— Словно осенняя буря началась.

— Что теперь делать, Феликс? Эй, командир!

— Будем ждать,— негромко сказал Феликс.— Пыль скоро осядет.

— Неужели мы от них избавились?

— Эй, загонщики, много вы там настреляли?

— На ужин хватит,— сказал кто-то из загонщиков.

— Они, подлые, все ушли в каверны.

— Здесь только одна прошла. Они сирен боятся.

Пыль медленно оседала. Стал виден неяркий кружок солнца, проглянуло фиолетовое небо. Затем Юра увидел мертвую пиявку — вероятно, ту самую, которая перепрыгнула через кузов. Она валялась на склоне холма, прямая, как палка, длинная, покрытая рыжей жесткой щетиной. От

хвоста к голове она расширялась, словно воронка, и Юра разглядывал ее пасть, чувствуя, как по спине ползет холодок. Пасть была совершенно круглая, в полметра диаметром, усаженная большими плоскими треугольными зубами. Смотреть на нее было тошно. Юра огляделся и увидел, что пыль почти осела и вокруг полным-полно танков и краулеров. Люди прыгали через борта и медленно брели вверх по склону к развалинам Старой Базы. Моторы затихли. Над холмом стоял шум голосов, да слабо потрескивал неизвестно как подожженный кустарник.

— Пошли,— сказал Феликс.

Он снял с турели ружье и полез через борт. Юра двинулся было за ним, но Жилин поймал его за рукав.

— Тихо, тихо,— сказал он.— Ты пойдешь со мной, голубчик.

Они вылезли из танка и стали подниматься вслед за Феликсом. Феликс направлялся к большой группе людей, толпившихся метрах в пяти ниже развалин. Люди обступили каверну — глубокую черную пещеру, круто уходившую под развалины. Перед входом, уперев руки в бока, стоял человек с карабином на шее.

— И много туда... э-э... проникло? — спрашивал он.

— Две пиявки наверняка,— отвечали из толпы.— А может быть, и больше.

— Юрковский! — сказал Жилин.

— Как же вы их... э-э... не задержали? — спросил Юрковский укоризненно.

— А они... э-э-э... не захотели задержаться,— объяснили в толпе.

Юрковский сказал пренебрежительно:

— Надо было... э-э... задержать! — Он снял карабин.— Пойду посмотрю,— сказал он.

Никто не успел и слова сказать, как он пригнулся и с неожиданной ловкостью нырнул в темноту. Вслед за ним тенью скользнул Феликс. Юра больше не раздумывал. Он сказал: «Позвольте-ка, товарищ» — и отобрал карабин у соседа. Опешенный сосед не сопротивлялся.

— Ты куда? — удивился Жилин, оглядываясь с порога пещеры.

Юра решительно шагнул к каверне.

— Нет-нет,— скороговоркой сказал Жилин,— тебе туда нельзя.

Юра, нагнув голову, пошел на него.

— Нельзя, я сказал! — рявкнул Жилин и толкнул его в грудь.

Юра с размаху сел, подняв много пыли. В толпе захохотали. Мимо бежали следопыты, один за другим скрывались в пещере.

Юра вскочил, он был в ярости.

— Пустите! — крикнул он. Он кинулся вперед и налетел на Жилина, как на стену.

Жилин сказал просительно:

— Юрик, прости, но тебе туда и правда не надо.

Юра молча рвался.

— Ну что ты ломишься? Ты же видишь, я тоже остался.

В пещере глухо забухали выстрелы.

— Вот видишь, прекрасно обошлись без нас с тобой.

Юра стиснул зубы и отошел. Он молча сунул карабин опомнившемуся загонщику и понуро остановился в толпе. Ему казалось, что все на него смотрят. «Срам-то, срам какой! — думал он.— Только что уши не надрали. Ну пусть бы один на один — в конце концов, Жилин это Жилин. Но не при всех же...» Он вспомнил, как десять лет назад забрался в комнату к старшему брату и раскрасил цветными карандашами чертежи... Он хотел как лучше. И как старший брат вывел его за ухо на улицу, и какой это был срам!

— Не обижайся, Юрка,— сказал Жилин.— Я нечаянно. Совершенно забыл, что здесь тяжесть меньше.

Юра упрямо молчал.

— Да ты не беспокойся,— ласково сказал Жилин, поправляя его капюшон.— Ничего с ним не случится. Там ведь Феликс возле него, следопыты... А я тоже сгоряча решил, что пропадет старик, и кинулся, но потом, спасибо тебе, опомнился...

Жилин говорил еще что-то, но Юра больше не слышал ни слова. «Уж лучше бы мне надрали уши,— в отчаянии думал он.— Лучше бы публично побили по лицу. Мальчишка, сопляк, эгоист неприличный! Правильно Иван сделал, что треснул меня. Не так еще меня надо было треснуть.— Юра даже зашипел сквозь зубы — так ему стало стыдно.— Иван вот заботился и обо мне, и о Юрковском, и он нисколько не сомневается, что и я тоже заботился о Юрковском и о нем... А я?.. То, что Юрковский прыгнул в пещеру, я воспринял только как разрешение на геройские подвиги. Ни на секунду не подумал о том, что Юрковскому

угрожает опасность. Жаждал, дурак, сразиться с пиявками и стяжать славу... Хорошо еще, что Иван не знает».

— Па-аберегись! — завопили сзади.

Юра машинально отошел в сторону. Сквозь толпу к пещере вскарабкался краулер, тащивший за собой прицеп с огромным серебристым баком. От бака тянулся металлический шланг со странным длинным наконечником. Наконечник держал под мышкой человек на переднем сиденье.

— Здесь? — деловито осведомился человек и, не дожидаясь ответа, направил наконечник в сторону пещеры.— Подведи еще поближе,— сказал он водителю.— А ну, ребята, посторонитесь,— сказал он в толпу.— Дальше, дальше, еще дальше. Да отойдите же, вам говорят! — крикнул он Юре.

Он прицелился наконечником шланга в черный провал пещеры, но на пороге пещеры появился один из следопытов.

— Это еще что? — спросил он.

Человек со шлангом сел.

— Елки-палки,— сказал он.— Что вы там делаете?

— Да это же огнемет, ребята! — догадался кто-то в толпе.

Огнеметчик озадаченно почесал где-то под капюшоном.

— Нельзя же так,— сказал он.— Надо же предупреждать.

Под землей вдруг стали стрелять так ожесточенно, что Юре показалось, будто из пещеры полетели клочья.

— Зачем вы это затеяли? — спросил огнеметчик.

— Это Юрковский,— ответили из толпы.

— Какой Юрковский? — спросил огнеметчик.— Сын, что ли?

— Нет, пэр.

Из пещеры один за другим вышли еще трое следопытов. Один из них, увидев огнемет, сказал:

— Вот хорошо. Сейчас все выйдут, и дадим.

Из пещеры выходили люди. Последними выбрались Феликс и Юрковский. Юрковский говорил запыхавшимся голосом:

— Значит, вот эта вот башня над нами должна быть чем-то вроде... э-э... водокачки. Очень... э-э... возможно! Вы молодец, Феликс.— Он увидел огнемет и остановился.— А-а, огнемет! Ну что ж... э-э... можно. Можете работать.— Он благосклонно покивал огнеметчику.

Огнеметчик оживился, соскочил с сиденья и подошел к порогу пещеры, волоча за собой шланг. Толпа подалась назад. Один Юрковский остался возле огнеметчика, уперев руки в бока.

— Громовержец, а? — сказал Жилин над ухом Юры.

Огнеметчик прицелился. Юрковский вдруг взял его за руку.

— Постойте. А собственно... э-э... зачем это нужно? Живые пиявки давно... э-э... мертвы, а мертвые... э-э... понадобятся биологам. Не так ли?

— Зевес,— сказал Жилин.

Юра только повел плечом. Ему было стыдно.

Пеньков залпом допил чашку, отдулся и задумчиво сказал:

— Выпить, что ли, еще чашку кофе?

— Давай я налью,— сказал Матти.

— А я хочу, чтобы Наташа,— сказал Пеньков.

Наташа налила ему кофе. За окном была черная, кристально ясная ночь, какие часто бывают в конце лета, накануне осенних бурь. В углу столовой беспорядочной кучей громоздились меховые куртки, аккумуляторные пояса, унты, карабины. Уютно пощелкивали электрические часы над дверью в мастерскую. Матти сказал:

— Все-таки я не понимаю, уничтожили мы пиявок или нет?

Сережа оторвался от книжки.

— Коммюнике главного штаба,— сказал он.— На поле боя осталось шестнадцать пиявок, один танк и три краулера. По непроверенным данным, еще один танк застрял на солончаках в самом начале облавы и извлечь его оттуда пока не удалось.

— Это я знаю,— объявил Матти.— Меня интересует, могу я теперь ночью сходить в Теплый Сырт?

— Можешь,— сказал Пеньков, отдуваясь.— Но нужно взять карабин,— добавил он, подумав.

— Понятно,— сказал Матти необычайно язвительно.

— А зачем тебе, собственно, ночью на Теплый Сырт? — спросил Сергей.

Матти посмотрел на него.

— А вот зачем,— сказал он вкрадчиво.— Например, приходит время товарищу Белому Сергею Александровичу выходить на наблюдения. Три часа ночи, а товарища

Белого, вы сами понимаете, в обсерватории нет. Тогда я иду в Теплый Сырт на Центральную метеостанцию, поднимаюсь на второй этаж...

— Лаборатория восемь,— вставил Пеньков.

— Я все понял,— сказал Сергей.

— А *почему я ничего не знаю?* — *спросила* Наташа обиженно.— Почему мне никогда ничего не говорят?

— Что-то Рыбкина давно нет,— задумчиво сказал Сергей.

— Да, действительно,— сказал Пеньков глубокомысленно.

— Уж полночь близится,— заявил Матти,— а Рыбкина все нет.

Наташа вздохнула.

— До чего вы мне все надоели,— сказала она.

В тамбуре звякнула дверь шлюза.

— Вот он сейчас придет, он нам посмеется,— сказал Пеньков.

В дверь столовой постучали.

— Войдите,— сказала Наташа и сердито посмотрела на ребят.

Вошел Рыбкин, аккуратный и подтянутый, в чистом комбинезоне, в белоснежной сорочке, безукоризненно выбритый.

— Можно? — спросил он тихо.

— Заходи, Феликс,— сказал Матти и налил кофе в заранее приготовленную чашку.

— Я немного запоздал сегодня,— сказал Феликс.— Было совещание у директора.

Все выжидательно посмотрели на него.

— Больше всего говорили о регенерационном заводе. Юрковский приказал на два месяца прекратить все научные работы. Все научники мобилизуются в мастерские и на строительство.

— Все? — спросил Сергей.

— Все. Даже следопыты. Завтра будет приказ.

— Полетела моя программа,— уныло сказал Пеньков.— *И почему это наша администрация никак не может* наладить работу?

Наташа сказала с сердцем:

— Молчи, Володя! Ведь ты же ничего не знаешь!..

— Да,— сказал Сергей задумчиво.— Я слыхал, что с водой у нас неважно. А что еще было на совещании?

— Юрковский произнес большую речь. Он сказал, что мы захлебнулись в повседневщине. Что мы слишком любим жить по расписанию, обожаем насиженные места и за тридцать лет успели создать... как это он сказал... «скучные и сложные традиции». Что у нас сгладились *извилины, ведающие любознательностью, чем только* и можно объяснить анекдот со Старой Базой. В общем, говорил примерно то же, что и ты, Сергей, помнишь, на прошлой декаде? О том, что кругом тайны, а мы копаемся... Очень была горячая речь — по-моему, экспромтом. Потом он похвалил нас за облаву, сказал, что приехал нас подталкивать, и очень рад, что мы сами на эту облаву решились... А потом выступил Пучко и потребовал голову Ливанова. Кричал, что покажет ему «медленно и методично»...

— А что такое? — спросил Пеньков.

— Очень сильно покалечили танки. А через два месяца нашу группу переводят на Старую Базу, так что будем соседями...

— А Юрковский уезжает? — спросил Матти.

— Да, сегодня ночью.

— Интересно,— задумчиво сказал Пеньков,— зачем он возит с собой этого сварщика?

— Турели варить,— сказал Матти.— Говорят, он собирается провести еще несколько облав — на астероидах.

— С Юрковским у меня был инцидент,— сказал Сергей.— Еще в институте. Сдавал я ему как-то курс теоретической планетологии, и он меня выгнал очень оригинальным способом. «Дайте,— говорит,— товарищ Белый, вашу зачетку и откройте, пожалуйста, дверь». Я с большим удивлением иду и открываю дверь. Тут он кидает мою зачетку в коридор и говорит: «Идите и возвращайтесь через месяц».

— Ну? — сказал Пеньков.

— Ну, я и пошел.

— А что это он так грубо? — спросил Пеньков с неудовольствием.

— А *я молодой был тогда*,— *сказал* Сергей.— Наглый...

— Ты и сейчас хорош,— заметила Наташа.

— Так перебили мы все-таки пиявок или нет? — спросил Матти.

Все посмотрели на Феликса.

— Трудно сказать,— сказал Феликс.— Убито шестна-

дцать штук, а мы никак не ожидали, что их будет больше десяти. Практически, наверное, перебили.

— А ты пришел с карабином? — спросил Матти.

Феликс кивнул.

— Понятно,— сказал Матти.

— А правда, что Юрковского чуть из огнемета не сожгли? — спросила Наташа.

— И меня вместе с ним,— сказал Феликс.— Мы спустились в каверну, а огнеметчики не знали, что мы там. С этой каверны мы начнем работу через два месяца. Там, по-моему, сохранились остатки водопровода. Водопровод очень странный — не круглые трубы, а овальные.

— Ты еще надеешься найти двуногих прямостоящих? — спросил Сергей.

Феликс помотал головой.

— Нет, здесь мы их не найдем, конечно.

— Где здесь?

— Возле воды.

— Не понимаю,— сказал Пеньков.— Наоборот! Если их нет здесь, у воды, значит, их и вообще нет.

— Нет-нет-нет,— сказала Наташа.— Я, кажется, понимаю. У нас на Земле марсиане стали бы искать людей в пустыне. Это же естественно. Подальше от ядовитой зелени, подальше от областей, закрытых тучами. Искали бы где-нибудь в Гоби. Так, Феликс? Я хочу сказать, что я тоже так думаю.

— Значит, мы должны искать марсиан в пустынях? — сказал Пеньков.— Хорошенькое дело! А зачем же им тогда водопроводы?

— Может быть, это не водопроводы,— сказал Феликс,— а водоотводы. Вроде наших дренажных канав.

— Ну, это ты, по-моему, слишком,— сказал Сергей.— Скорее уж, они живут в подземных пустотах. Впрочем, я сам не знаю, почему это, собственно, скорее, но все равно то, что ты говоришь,— это слишком уж смело... Ненормально смело.

— А иначе нельзя,— сказал Феликс тихо.

— Мать честная! — сказал Пеньков и вылез из-за стола.— Мне ведь пора!

Он пошел через комнату к груде меховой одежды.

— И мне пора,— сказала Наташа.

— И мне,— сказал Сергей.

Матти принялся убирать со стола. Феликс аккуратно подвернул рукава и стал ему помогать.

— Так зачем у тебя так много часов? — спросил Матти, косясь на Феликсовы запястья.

— Забыл снять,— пробормотал Феликс.— Теперь это, наверное, ни к чему.

Он ловко мыл тарелки.

— А когда они были к чему?

— Я проверял одну гипотезу,— тихо сказал Феликс.— Почему пиявки нападают всегда справа. Был только один случай, когда пиявка напала слева — на Крейцера, который был левша и носил часы на правой руке.

Матти с изумлением воззрился на Феликса.

— Ты думаешь, пиявки боялись тиканья?

— Вот это я и хотел выяснить. На меня лично пиявки не нападали ни разу, а ведь я ходил по очень опасным местам.

— Странный ты человек, Феликс,— сказал Матти и снова принялся за тарелки.

В столовую вошла Наташа и весело спросила:

— *Феликс, вы идете? Пошли вместе.*

— Иду,— сказал Феликс и направился в переднюю, на ходу опуская засученные рукава.

7. «ТАХМАСИБ». ПОЛЬЗА ИНСТРУКЦИЙ

Жилин читал, сидя за столом. Глаза его быстро скользили по страницам, время от времени влажно поблескивая в голубоватом свете настольной лампы. Некоторое время Юра следил за Жилиным и вдруг поймал себя на том, что любуется им. У Ивана было тяжеловатое коричневое лицо, четкое, как гравюра. Такое по-настоящему мужественное лицо настоящего человека.

Хороший человек Ваня Жилин. Можно прийти к нему в любое время и сидеть и болтать, что в голову взбредет, и никогда ты ему не мешаешь. И он всегда тебе рад. Есть такие люди на свете, и это здорово. Женька Сегал, например. С ним можно идти на любое дело, на любой риск, и точно известно, что не придется его подгонять, он сам кого хочешь подгонит. Юра представил себе Женьку на Рее, как он вместе с ребятами варит щелевые конструкции в черной пустоте. Белый огонь окситана пляшет на силикетовом забрале, и он орет песни на весь эфир, придерживая локтями цилиндр смесителя, который у него всегда висит на груди, а не на спине, как требует инструкция. Так ему

удобно, и ни за что его не переубедить, пока кто-нибудь с цилиндром на спине не обгонит его на инерционном шве, на продольном стыке или хотя бы на простой косоугольной распорке без троса. Вот тогда он посмотрит и, возможно, перебросит цилиндр за спину, да и то не обязательно. А на инструкцию он плевал. «Инструкция — это для тех, кто еще не умеет». Но вот слуха у него нет. Поет он просто безобразно. И это даже хорошо, потому что куда годится человек, к которому и придраться нельзя? У порядочного человека всегда должна быть этакая дырка в способностях лучше даже несколько, и тогда он будет по-настоящему приятен. Тогда ты точно знаешь, что он не перл какой-нибудь. Вот Женька — стоит ему запеть, и сразу видно что он не перл, а славный парень...

— Ваня,— сказал Юра,— у вас есть слух?

— Что ты, братец! — сказал Жилин, не отрываясь от книжки.— За кого ты меня принимаешь?

— Я так и думал,— сказал Юра с удовлетворением.— А что это у вас за книжка?

Жилин поднял голову, некоторое время смотрел на Юру, затем медленно произнес:

— «Правила санитарной дисциплины для лейб-гусар Ея Императорского Величества».

Юра фыркнул. Было, однако, ясно, что Иван не хочет говорить, что это за книга. Что ж, в этом нет ничего такого...

— Я сегодня одолел наконец «Физику металлов»,— сказал Юра.— Ну и скучища! Разве можно так писать книги? Алексей Петрович меня слегка проэкзаменовал,— последнее слово Юра выговорил с особым отвращением,— и все время придирался. Почему он ко мне все время придирается, вы не знаете, Ваня?

Жилин закрыл книжку и спрятал в стол.

— Это тебе кажется,— сказал он.— Капитан Быков никогда не придирается. Он только требует то, что следует требовать. Он очень справедливый человек, наш капитан.

Несколько минут Юра размышлял, удобно ли и честно будет сказать то, что ему хочется сказать. В глаза Быкову сказать такое, пожалуй, не рискнешь. За глаза говорить нехорошо. А сказать очень хочется...

— Ваня, а каких людей вы больше всего не любите?

Жилин немедленно ответил:

— Людей, которые не задают вопросов. Есть такие — уверенные...

Он прищурил глаз, посмотрел на Юру, схватил карандаш и быстро нарисовал его портрет. Стажер Бородин, очень похожий, вот с этаким носом, сидел, перекосив физиономию, за чтением толстенной книги «Физика металлов».

— А я так не люблю скучных,— заявил Юра, разглядывая рисунок.— Можно я его возьму? Спасибо... Я вот, Ваня, очень не люблю скучных. У них такая скучная, тошная жизнь. На работе пишут бумажки или считают на машинах, которые не они придумали, а сами придумать что-нибудь даже не пытаются. Им и в голову не приходит что-нибудь придумать. Они все делают «как люди». Вот примутся рассуждать: эти ботинки красивые и прочные, а эти нет; и не умеют у нас в Вязьме красивую мебель делать, придется из Москвы выписать; а вот об этой книге говорят, что ее надо прочесть; и пойдемте завтра по грибы — по слухам, хорошие в этом году грибы... Елки-палки, меня по эти грибы ничем на свете не загонишь!

Жилин задумчиво слушал, тщательно разрисовывая на бумаге огромный интеграл от нуля до бесконечности.

— Всегда у них уйма свободного времени,— продолжал Юра,— и никогда они не знают, куда это время девать. Катаются на машинах большой глупой компанией, и тошно смотреть, как они это по-идиотски делают. Сначала по грибы, потом идут в кафе и едят так — просто от безделья,— потом начинают гонять по шоссе, только по самым лучшим и благоустроенным, где, значит, безопасно, и ремонтные автоматы под рукой, и мотели, и все что хочешь. Потом собираются на какой-нибудь даче и там опять ничего не делают, даже не беседуют. Скажем, перебирают эти свои паршивые грибы и спорят, где подберезовик, а где подосиновик. А уж начнут спорить о чем-нибудь дельном, тут уж беги — спасайся. Почему, видите ли, их до сих пор не пускают в космос? А спроси, зачем им это,— ничего толком ответить не могут, бормочут что-то про свои права. Ужасно они любят говорить про свои права. Но самое противное у них — это то, что у них всегда масса времени, и они это время убивают. Я тут на «Тахмасибе» не знаю, куда деваться от безделья, мне работать не терпится, а они были бы здесь как рыба в воде...

Юра потерял нить и замолчал. Жилин все разрисовы-

вал свой интеграл, лицо у него стало почему-то печальное. Потом он сказал:

— А при чем здесь капитан Быков?

Юра вспомнил, с чего он начал.

— Алексей Петрович,— перешительно пробормотал он,— он... какой-то скучноватый...

Жилин кивнул.

— Я так и думал,— сказал он.— Но ты ошибаешься, дружище, если мешаешь все в одну кучу — и Быкова, и любителей безопасных шоссе...

— Я совсем не это имел в виду...

— Я понимаю тебя. Так вот. Быков любит свое дело — раз. Не мыслит себя в каком-либо другом качестве — два. И потом, ведь Алексей Петрович работает даже тогда, когда читает журналы или дремлет в своем кресле. Ты никогда не задумывался над этим?

— Н-нет...

— Зря. Знаешь, в чем работа Быкова? Быть всегда готовым. Это очень сложная работа. Тяжелая, изматывающая. Нужно быть Быковым, чтобы выдерживать все это. Чтобы привыкнуть к постоянному напряжению, к состоянию непрерывной готовности. Не понимаешь?

— Не знаю... Если это действительно так...

— Но это д е й с т в и т е л ь н о т а к! Он солдат космоса. Ему можно только позавидовать, Юрочка, потому что он нашел главное в себе и в мире. Он нужен, необходим и труднозаменим. Понимаешь?

Юра молча перешительно кивнул. Перед ним встала отточертевшая картина: прославленный капитан в шлепанцах и полосатых носках в позе бюргера в своем любимом кресле.

— Я знаю, тебя покорил Владимир Сергеевич. Что ж, это понятно. С одной стороны, Юрковский, который считает, что жизнь — это довольно скучная возня с довольно скучными делами и нужно пользоваться всяким случаем, чтобы разрядиться в великолепной вспышке. С другой стороны, Быков, который полагает истинную жизнь в непрерывном напряжении, не признает никаких случаев, потому что он готов к любому случаю, и никакой случай не будет для него неожиданностью... Но есть еще и третья сторона. Представь себе, Юра,— Жилин положил ладони на стол и откинулся в кресле,— огромное здание человеческой культуры: все, что человек создал сам, вырвал у природы, переосмыслил и сделал заново так, как природе было бы не

под силу. Величественное такое здание! Строят его люди, которые отлично знают свое дело и очень любят свое дело. Например, Юрковский, Быков... Таких людей меньше *пока, чем других. А другие — это те, на ком* стоит это здание. Так называемые маленькие люди. Просто честные люди, которые, может быть, и не знают, что они любят, а что нет. Не знают, не имели случая узнать, что они могут, а что нет. Просто честно работают там, где поставила их жизнь. И вот они-то в основном и держат на своих плечах дворец Мысли и Духа. С девяти до пятнадцати держат, а потом едут по грибы...— Жилин помолчал.— Конечно, хочется, чтобы каждый и держал и строил. Очень, брат, хочется. И так обязательно будет когда-нибудь. Но на это нужно время. И силы. Такое положение вещей тоже ведь надо создать.

Юра сосредоточенно думал. Что-то было в словах Ивана. Что-то непривычное.

Это надо было еще осмыслить.

Жилин заложил руки за голову.

— Я вспоминаю одну историю,— проговорил он. Он глядел прямо на лампу, зрачки у него стали как точки.— У меня был товарищ, звали его Толя. Мы вместе в школе учились. Он был всегда такой незаметный, все, бывало, копался в мелочах. Мастерил какие-то тетрадочки, клеил коробочки. Очень любил переплетать старые зачитанные книжки. Добряк был большой, до того добряк, что обидных шуток не понимал. Воспринимал их как-то странно и, на наш тогдашний развеселый взгляд, как-то даже дико. Запустишь ему, бывало, в кровать тритона, а он его вытащит, положит на ладонь и долго рассматривает. Мы вокруг гогочем, потому что смешно, а он его разглядывает, а потом скажет негромко: «Вот бедняга» — и отнесет в пруд. Потом он вырос и стал где-то статистиком. Всем известно, работа эта тихая и незаметная, и все мы считали, что так ему и надо и ни на что другое наш Толя не годится. Работал он честно, без всякого увлечения, но добросовестно. Мы летали к Юпитеру, поднимали вечную мерзлоту, строили новые заводы, а он все сидел в своем учреждении и считал на машинах, которые не сам придумал. Образцовый маленький человек. Обложи его ватой и помести в музей под колпак с соответствующей надписью: «Типичный самодовлеющий человечек конца двадцатого века». Потом он умер. Запустил пустяковое заболевание, потому что боялся операции, и умер. Это случается с

маленькими людьми, хотя об этом никогда не пишут в газетах.

Жилин замолчал, словно прислушиваясь. Юра ждал.

— Это было в Карелии, на берегу лесного озера. Его кровать стояла на застекленной веранде, и я сидел рядом и видел сразу и его небритое темное лицо... мертвое лицо... и огромную синюю тучу над лесом на той стороне озера. Врач сказал: «Умер». И тотчас же ударил гром невиданной силы, и разразилась такая гроза, какая в редкость даже на южных морях. Ветер ломал деревья и кидал их на мокрые розовые скалы, так что они разлетались в щепки, но даже их треска не было слышно в реве ветра. Озеро стеной шло на берег, и в эту стену били не по-северному яркие молнии. С домов срывало крыши. Повсюду остановились часы — никто не знает почему. Животные умирали с разорванными легкими. Это была неистовая, з в е р с к а я буря, словно весь неживой мир встал на дыбы. А он лежал тихий, обыкновенный, и, как всегда, это его не касалось.— Жилин снова прислушался.— Я, Юрик, человек не трусливый, спокойный, но тогда мне было страшно. Я вдруг подумал: «Так вот ты какой был, наш маленький скучный Толик. Ты тихо и незаметно, сам не подозревая ни о чем, держал на плечах равновесие Мира. Умер — и равновесие рухнуло, и Мир встал дыбом». Если бы мне тогда прокричали на ухо, что Земля сорвалась с орбиты и ринулась на Солнце, я бы только кивнул головой. И еще я тогда подумал...— Жилин помолчал.— Я подумал: почему он был таким скучным и таким маленьким? Ведь он был очень скучным человеком, Юра. Очень. Если бы эта буря случилась у него на глазах, он наверняка бы закричал: «Ах! Тапочки! Тапочки мои сохнут на крыльце!» И побежал бы спасать тапочки. Но почему, как он стал таким?

Жилин замолчал и строго посмотрел на Юру.

— Но он же сам был виноват...— робко сказал Юра.

— Неправда. Никто никогда не бывает виноват только сам. Такими, какими мы становимся, нас делают люди. Вот в чем дело. А мы... Как часто мы не платим этот должок... Почти никогда. А ведь нет ничего важнее этого. Это главное. Сейчас это главное. Раньше главным было дать человеку свободу стать тем, чем ему хочется быть. А теперь главное — показать человеку, каким надо стать для того, чтобы быть по-человечески счастливым. Вот это сейчас главное.— Жилин посмотрел на Юру и вдруг спросил: — Правда?

— Наверное,— сказал Юра. Все это было правильно, но как-то чуждо ему. Как-то не трогало. Безнадежным казалось это дело. Или скучным.

Жилин сидел, настороженно прислушиваясь. Глаза у него совсем остановились.

— Что случилось? — спросил Юра.

— Тихо! — Жилин поднялся.— Странно,— сказал он. Он все прислушивался.

Юра вдруг ощутил, как пол тихонько дрогнул под ногами, и в ту же секунду пронзительно завыла сирена. Он вскочил и кинулся к двери. Жилин поймал его за плечо.

— Спокойно,— сказал он.— Свое место по расписанию помнишь?

— Да! — сказал Юра и задохнулся.

— Обязанности тоже? — Жилин отпустил его.— Марш!

Юра кинулся в коридор.

Он бежал по кольцевому коридору в вакуум-отсек, где было его место по аварийному расписанию, бежал быстро, но все же сдерживался, чтобы не пуститься во всю прыть. Стажеру надлежит быть «спокойну́, выдержанну и всегда готову», однако когда по кораблю несется тоскливый угрожающий вой, когда корабль судорожно вздрагивает, словно раненый, у которого копаются в ране неумелыми пальцами, когда плохо понимаешь, что ты должен делать, и совсем не понимаешь, что происходит... В конце коридора вспыхнули красные лампы. Юра не выдержал и кинулся со всех ног.

Навалившись, он откатил тяжелую дверь и влетел в серую комнату, где вдоль стен темнели стеклянные шторы боксов с вакуум-скафандрами. Надо было поднять все шторы, проверить комплектность скафандров, давление в баллонах, энергопитание, перевести крепление каждого скафандра в аварийное положение и сделать что-то еще... Потом надо было надеть свой скафандр и с откинутым колпаком ждать дальнейших распоряжений.

Юра проделал все это довольно быстро и, как ему показалось, толково, хотя сильно дрожали пальцы и он ощущал напряжение во всем теле, сильное и неприятное, похожее на затянувшуюся судорогу. Сирена замолчала, наступила зловещая тишина. Юра покончил с последним скафандром и огляделся. В боксах под поднятыми шторами горел сильный голубой свет, блестели огром-

ные с раскинутыми рукавами скафандры, похожие на уродливые безголовые статуи. Юра вытащил свой скафандр и влез в него. Костюм был великоват, в нем было жестко и неудобно, совсем не так, как в костюме сварщика, удобном, гибком, уютном. А в этом сразу стало жарко. Юра включил потоуловитель, потом, тяжело переставляя толстые ноги, лязгая металлом о металл, подошел к двери.

Корабль все вздрагивал, было тихо, вдоль коридора горели под потолком красные аварийные сигналы. Юра прислонился спиной к одному косяку двери и уперся ногой в противоположный. Он перегородил дверь, и теперь войти в отсек можно было, только сбив его с ног. (Было странно читать это место в инструкции, где предписывалось о х р а н я т ь вакуум-отсек во время тревоги. От кого охранять? Зачем?) Войти в отсек во время тревоги имел право только тот человек — член экипажа или пассажир,— о котором капитан лично распоряжался: «Пропустить». Для этого в косяке вмонтирован радиофон, постоянно работающий на волне капитанского радиофона. Юра посмотрел на радиофон и вспомнил, что он еще не сделал. Он торопливо ткнул коленчатым пальцем в кнопку вызова.

— Слушаю,— сказал голос Быкова. Голос был, как всегда, скрипучий и равнодушный.

— Стажер Бородин занял пост по расписанию,— сообщил Юра.

— Хорошо,— сказал Быков и сейчас же отключился.

Юра сердито посмотрел на радиофон и произнес скрипучим голосом:

— Хорошо.

«Дерево»,— подумал он и скорчил рожу, высунув язык. Корабль тряхнуло, и он чуть не прикусил язык. Он стыдливо огляделся, а затем ему в голову пришла мысль: что, если всезнающий и всепредусматривающий Быков нарочно тряхнул корабль, чтобы прищемить язык обнаглевшему стажеру? Можно было легко представить себе, как Быков делает это. «Наверное, жизнь у него была нелегкая,— подумал Юра.— Наверное, жизнь терла его и перемалывала, пока не содрала с него шелуху всяких эмоций, которые, в общем-то, не нужны, но без которых человек уже не человек, а дерево. Жилин как-то сказал, что с годами человек меняется только в одном — становится терпимее. К Быкову это, вероятно, не относится...»

Корабль снова дрогнул, и Юра уперся попрочнее. Непо-

нятно было, что происходит. На метеоритную атаку не похоже, на какое-нибудь там столкновение — тем более. Мишка Ушаков сказал, что опасность в космосе — словно удар шпаги, от нее либо умирают сразу же, либо вообще не умирают... Это заявил Мишка Ушаков, который в космосе был только на практике по строительной сварке и который даже о космосе судит в терминах мушкетерских романов.

У Юры свело икру, и он переменил ногу. Вдоль коридора светились красные огни. Юра все пытался вспомнить, что это ему напоминает, и никак не мог, но было какое-то неприятное воспоминание, это он знал твердо. «Хоть бы пришел кто,— подумал он.— Спросить бы, что случилось, чего надо ждать...» Он посмотрел на кнопку вызова. Взять и обратиться прямо к Быкову: «Товарищ капитан, прошу объяснить задачу...» Потом Юра вдруг представил себе, сколько стажеров стояло здесь, потных от волнения, уперев ногу в косяк; страшно переживали, пытались понять, что происходит, и все прикидывали: «Успею надвинуть колпак или не успею?» Это были славные ребята, с которыми можно отлично сыграть в бокан-штаг или почесать язык насчет смысла жизни. Теперь они все уже опытные и умудренные, теперь они все в рубках, и их корабли носятся в пространстве... и тоже иногда трясутся и вздрагивают... От этих мыслей ни с того ни с сего представилось вдруг залитое потом и кровью лицо Быкова, который с чисто человеческим понятным отчаянием следит остановившимися глазами за чем-то, что учесть не удалось и что приближается теперь совершенно неотвратимо...

В глазах у Юры все поплыло, он потерял равновесие и очутился на полу. Под низким потолком залязгало, загремело. Юра, торопливо царапая башмаками по металлическому полу, перевернулся на живот, поднялся и бросился к двери. Он стал в прежнюю позу и изо всех сил растопырился между косяками.

Теперь «Тахмасиб» вибрировал непрерывно, словно ему тоже было страшно. Юра весь напрягся, стараясь унять дрожь. Хоть бы пришел кто-нибудь, хоть бы понять, что к чему, хоть бы Быков приказал что-нибудь... Мама будет горевать ужасно — как ей скажут? Кто найдется такой, чтобы это сказать? Она ведь умереть может, она недавно оперировалась, у нее сердце ну никуда не годится, ей нельзя этого говорить... Юра закусил губу и крепко сжал зубы. Стало больно, но дрожь не проходила. Ну что

это, в самом деле... Нет, надо немедленно сходить и посмотреть. Сунуть голову в рубку, небрежно бросить: «Ну долго еще?» — и уйти... А вдруг их всех поубивало? Юра с ужасом посмотрел в коридор, ожидая, что вот-вот из-за поворота выползет Жилин, посмотрит потухшими глазами и уронит голову на закоченевшие руки...

Юра отпустил ногу, оттолкнулся от косяка и сделал несколько неуверенных шагов по коридору. По трясущемуся полу, мимо красных огней, к лифту, навстречу тому, кто ползет... Он остановился и вернулся к двери. «Поспокойнее,— сказал он и откашлялся, чтобы не хрипело в горле.— Воображение любит пошутить, но шутит оно зло и нечестно. Не свой друг — воображение». Он снова прочно растопырился в дверях. «Так вот оно каково,— подумал он вдруг.— Так вот оно каково — ждать и всегда быть готовым в шлепанцах и полосатых носочках, с прошлогодней газеткой, чтобы никто не заметил и не подумал... Ничего не знать наверняка и быть всегда готовым...»

Вибрация усиливалась, и спадала, и снова усиливалась. Юра представил себе «Тахмасиб» — километровое сооружение из титановых сплавов, похожее на гигантский бокал. Сейчас вдоль всего тела корабля, от грузового трюма до кромки отражателя, волной проходят судороги вибрации. То усиливаются, то спадают... Тут не надо быть сверхчутким, чтобы разобраться, что к чему. Если бы так завибрировал, скажем, окситановый датчик, все было бы ясно: надо отрегулировать компрессор или хотя бы сменить гаситель... Юра отчетливо ощутил, как корабль заваливается набок — это стало заметно по давлению на ступню. «Тахмасиб» разворачивался сначала плавно, а потом начались рывки. От каждого рывка тряслась голова и все, что в голове... «Что же это? — думал Юра, упираясь изо всех сил в косяки.— Что же у них там, а?..» И тут в страшной глухой тишине раздались шаги. Неторопливые, уверенные, незнакомые шаги, а может быть, Юра просто не узнавал их. Он смотрел вдоль коридора, а шаги все приближались, и вот из-за поворота появился Жилин в рабочем комбинезоне, с плоским ящиком тестера на груди. Лицо у него было серьезное и как будто недовольное, на глаза падал светлый чуб. Жилин подошел вплотную и, похлопав Юру по коленке, сказал негромко:

— Ну-ка...

Он хотел войти в вакуум-отсек. Юра открыл и закрыл

рот, но ногу не убрал. Это был Жилин, милый, славный, долгожданный Жилин, но Юра ногу не убрал, а вместо этого спросил:

— Что там у вас?

Он хотел произнести это небрежно, но на последнем слоге глотнул, и впечатление было испорчено.

— Да что у нас может быть...— неохотно сказал Жилин.— Пропусти-ка меня,— сказал он.— Мне там нужно взять кое-что...

В голове у Юры была каша, и в этой каше из собственных Юриных принципов и понятий в целости оставалась одна только инструкция.

— Подождите, Ваня,— пробормотал он и нажал кнопку вызова.

Капитан не отвечал.

— Юрка,— сказал Жилин,— да что с тобой, братец? Пропусти же меня, я оставил в скафандре...

— Не могу,— сказал Юра и облизнул губы.— Как я могу?.. Вот сейчас капитан отзовется...

Жилин внимательно смотрел на него.

— А если не отзовется?

— Почему же не отзовется? — Юра уставился на Жилина круглыми глазами и вдруг схватил его за рукав.— Что случилось?

— Да ничего не случилось.— Жилин вдруг заулыбался.— Так не пропустишь?

Юра отчаянно замотал головой.

— Ведь нельзя же, Ваня... Ты же должен понять! — Он даже перешел на «ты» от избытка чувств, ему очень хотелось расплакаться и в то же время было отчего-то хорошо и спокойно, и он знал, что ни за что не пропустит Жилина.— Ведь ты сам был стажером...

— Да-а...— неопределенно протянул Жилин, разглядывая его.— Соблюдаем букву и дух инструкции?

— Не знаю...— пробормотал Юра. Ему было стыдно и вместе с тем он знал, что ногу он не отпустит. «Если тебе действительно надо войти, то не стой так,— мысленно взывал он к Жилину.— Бей меня в челюсть и бери, что тебе тут нужно...»

— Капитан Быков слушает,— раздалось из радиофона.

Юра все еще не в силах был собраться с мыслями.

— Алексей Петрович,— сказал Жилин в радиофон,— я хочу пройти в вакуум-отсек, а стажер меня не пускает.

— Зачем тебе понадобился вакуум-отсек? — осведомился Быков.

— Я оставил там «Сириус» в прошлый раз... В скафандре забыл.

— Так,— сказал Быков.— Стажер Бородин, пропустите бортинженера Жилина.

Быков выключился. Юра с огромным облегчением убрал ногу. Он только сейчас заметил, что корабль больше не вибрирует. Жилин ласково посмотрел на него и похлопал по плечу.

— Ваня, вы только не сердитесь...— пробормотал Юра.

— Наоборот! — сказал Жилин.— На тебя исключительно интересно было смотреть.

— У меня такая каша в голове...

— Вот-вот...— Жилин остановился перед своим скафандром.— На этот случай и сочиняются инструкции. Хорошее дело, правда?

— Не знаю. Я теперь что-то перестал понимать, что к чему. Что хоть случилось?

Жилин снова потускнел.

— Что у нас могло случиться? — сказал он сквозь зубы.— Искусственное питание. Таблетки вместо котлетки. Учебная тревога, стажер Бородин, только и всего. Рутинная, не реже одного-двух раз в течение рейса. В целях проверки знания инструкций. Великая вещь — инструкция! — Он вытащил из скафандра белый цилиндрик толщиной в палец и со злостью грохнул шторой.— Бежать мне пора отсюда, Юра. Бежать со всех ног, пока не надоело.

Юра глубоко вздохнул и посмотрел в коридор. Красные огни больше не горели. Пол больше не вибрировал. Юра увидел, как из каюты вышел Юрковский, посмотрел на Юру, величественно кивнул и неспешно скрылся за поворотом.

Жилин проворчал:

— Рыба ищет где глубже, а человек — где хуже. Понял, Юрка? Здесь все хорошо. Тревоги учебные, аварии понарошку. А вот кое-где — похуже. Гораздо хуже. Туда и надо идти, а не ждать, пока тебя поведут... Ты меня слушаешь, стажер? По инструкции ты меня должен слушать.

— Подождите, Ваня,— сказал Юра, сморщившись.— Я еще, кажется, не очухался...

— Стажер Бородин,— сказал Быков, складывая газету,— пора спать, стажер.

Юра встал, закрыл книжку и, немного поколебавшись, сунул ее в шкаф. «Не буду сегодня читать,— подумал он.— Надо наконец выспаться».

— Спокойной ночи,— сказал он.

— Спокойной ночи,— ответил Быков и развернул очередную газету.

Юрковский, не отрываясь от бумаг, небрежно сделал ручкой. Когда Юра вышел, Юрковский спросил:

— Как ты думаешь, Алексей, что он еще любит?

— Кто?

— Наш кадет. Я знаю, что он любит и умеет вакуумно варить. Я видел на Марсе. А вот что он еще любит?

— Девушек,— сказал Быков.

— Не девушек, а девушку. У него есть фотография девушки.

— Я не знал.

— Можно было догадаться. В двадцать лет, отправляясь в дальний поход, все берут с собой фотографии и потом не знают, что с ними делать. В книгах говорится, что на эти фотографии нужно смотреть украдкой и чтобы при этом глаза были полны слез или уж, во всяком случае, затуманивались. Только на это никогда не хватает времени. Или еще чего-нибудь, более важного. Но вернемся к нашему стажеру.

Быков отложил газету, снял очки и посмотрел на Юрковского.

— Ты уже кончил дела на сегодня? — спросил он.

— Нет,— сказал Юрковский с раздражением.— Не кончил и не желаю о них говорить. От этой идиотской канцелярщины у меня распухла голова. Я желаю рассеяться. Можешь ты ответить на мой вопрос?

— На этот вопрос лучше всего тебе ответит Иван,— сказал Быков.— Он с ним все время возится.

— Но поскольку Ивана здесь нет, я спрашиваю тебя. Кажется, совершенно ясно.

— Не волнуйся так, Володя, печенка заболит. Наш стажер еще просто мальчик. Умелые руки, а любить он ничего особенно не любит, потому что ничего не знает. Алексея Толстого он любит. И Уэллса. А Голсуорси ему скучен, и «Дорога дорог» ему скучна. Еще он очень любит Жилина

и не любит одного бармена в Мирза-Чарле. Мальчишка он еще. Почка.

— В его возрасте,— сказал Юрковский,— я очень любил сочинять стихи. Я мечтал стать писателем. А потом я где-то прочитал, что писатели чем-то похожи на покойников: они любят, когда о них либо говорят хорошо, либо ничего не говорят... Да. К чему это я все?

— Не знаю,— сказал Быков.— По-моему, ты просто отлыниваешь от работы.

— Нет-нет, позволь... Да! Меня интересует внутренний мир нашего стажера.

— Стажер есть стажер,— сказал Быков.

— Стажер стажеру рознь,— возразил Юрковский.— Ты тоже стажер, и я стажер. Мы все стажеры на службе у будущего. Старые стажеры и молодые стажеры. Мы стажируемся всю жизнь, каждый по-своему. А когда мы умираем, потомки оценивают нашу работу и выдают диплом на вечное существование.

— Или не выдают,— задумчиво сказал Быков, глядя в потолок.— Как правило, к сожалению, не выдают.

— Ну что же, это наша вина, а не наша беда. Между прочим, знаешь, кому всегда достается диплом?

— Да?

— Тем, кто воспитывает смену. Таким, как Краюхин.

— Пожалуй,— сказал Быков.— И вот что интересно: эти люди, не в пример многим иным, нимало не заботятся о дипломах.

— И напрасно. Меня вот всегда интересовал вопрос: становимся ли мы лучше от поколения к поколению? Поэтому я и заговорил о кадете. Старики всегда говорят: «Ну и молодежь нынче пошла! Вот мы были!»

— Это говорят очень глупые старики, Владимир. Краюхин так не говорил.

— Краюхин просто не любил теории. Он брал молодых, кидал их в печку и смотрел, что получится. Если не сгорали, он признавал в них равных.

— А если сгорали?

— Как правило, мы не сгорали.

— Ну вот, ты и ответил на свой вопрос,— сказал Быков и снова взялся за газету.— Стажер Бородин сейчас на пути в печку, в печке он, пожалуй, не сгорит, через десять лет ты с ним встретишься, он назовет тебя старой песочницей, и ты, как честный человек, с ним согласишься.

— Позволь,— возразил Юрковский,— но ведь на нас тоже лежит какая-то ответственность. Мальчика нужно чему-то учить!

— Жизнь научит,— коротко сказал Быков из-за газеты.

В кают-компанию вошел Михаил Антонович, в пижаме, в шлепанцах на босу ногу, с большим термосом в руке.

— Добрый вечер, мальчики,— сказал он.— Что-то мне захотелось чайку.

— Чаек — это неплохо,— оживился Быков.

— Чаек так чаек,— сказал Юрковский и стал собирать свои бумаги.

Капитан и штурман накрыли на стол, Михаил Антонович разложил варенье в розетки, а Быков налил всем чаю.

— А где Юрик? — спросил Михаил Антонович.

— Спит,— ответил Быков.

— А Ванюша?

— На вахте,— терпеливо ответил Быков.

— Ну и хорошо,— сказал Михаил Антонович. Он отхлебнул чаю, зажмурился и добавил: — Никогда, мальчики, не соглашайтесь писать мемуары. Такое нудное занятие, такое нудное!

— А ты побольше выдумывай,— посоветовал Быков.

— Как это?

— А как в романах. «Юная марсианка закрыла глаза и потянулась ко мне полуоткрытыми устами. Я страстно и длинно обнял ее».

— «Всю»,— добавил Юрковский.

Михаил Антонович зарделся.

— Ишь закраснелся, старый хрыч,— сказал Юрковский.— Было дело, Миша?

Быков захохотал и поперхнулся чаем.

— Фу! — сказал Михаил Антонович.— Фу на вас! — Он подумал и заявил вдруг: — А знаете что, мальчики? Плюну-ка я на эти мемуары. Ну что мне сделают?

— Ты нам вот что объясни,— сказал Быков.— Как повлиять на Юру?

Михаил Антонович испугался.

— А что случилось? Он напалил что-нибудь?

— Пока нет. Но вот Владимир считает, что на него нужно влиять.

— Мы, по-моему, и так на него влияем. От Ванюши он не отходит, а тебя, Володенька, просто боготворит. Раз

двадцать уже рассказывал, как ты за пиявками в пещеру полез.

Быков поднял голову.

— За какими это пиявками? — спросил он.

Михаил Антонович виновато заерзал.

— А, это легенды,— сказал Юрковский, не моргнув глазом.— Это было еще... э-э... давно. Так вот вопрос: как нам влиять на Юру? Мальчику представился единственный в своем роде шанс посмотреть мир лучших людей. С нашей стороны было бы просто... э-э...

— Видишь ли, Володенька,— сказал Михаил Антонович.— Ведь Юра очень славный мальчик. Его очень хорошо воспитали в школе. В нем уже заложен... как бы это сказать... фундамент хорошего человека. Ведь поймн, Володенька, Юра уже никогда не спутает хорошее с плохим...

— Настоящего человека,— веско сказал Юрковский,— отличает широкий кругозор.

— Правильно, Володенька,— сказал Михаил Антонович. - Вот и Юрик...

— Настоящего человека формируют только настоящие люди, работники, и только настоящая жизнь, полнокровная и нелегкая.

— Но ведь и наш Юрик...

— Мы должны воспользоваться случаем и показать Юрию настоящих людей в настоящей, нелегкой жизни.

— Правильно, Володенька, и я уверен, что Юрик...

— Извини, Михаил, я еще не кончил. Вот завтра мы пройдем до смешного близко от Эйномии. Вы знаете, что такое Эйномия?

— А как же? — сказал Михаил Антонович.— Астероид, большая полуось — две и шестьдесят четыре астрономических единицы, эксцентриситет...

— Я не об этом,— нетерпеливо сказал Юрковский.— Известно ли вам, что на Эйномии уже три года функционирует единственная в мире физическая станция по исследованию гравитации?

— А как же! — сказал Михаил Антонович.— Ведь там же...

— Люди работают там в исключительно сложных условиях,— продолжал Юрковский с воодушевлением. Быков пристально смотрел на него.— Двадцать пять человек, крепкие, как алмаз, умные, смелые, я бы сказал

даже — отчаянно смелые! Цвет человечества! Вот прекрасный случай познакомить мальчишку с настоящей жизнью!

Быков молчал. Михаил Антонович сказал озабоченно:

— Очень славная мысль, Володенька, но это...

— И как раз сейчас они собираются произвести интереснейший эксперимент. Они изучают распространение гравитационных волн. Вы знаете, что такое смерть-планета? Скалистый обломок, который в нужный момент целиком превращают в излучение! Чрезвычайно поучительное зрелище!

Быков молчал. Молчал и Михаил Антонович.

— Увидеть настоящих людей в процессе настоящей работы — разве это не прекрасно?

Быков молчал.

— Я думаю, это будет очень полезно нашему стажеру,— сказал Юрковский и добавил тоном ниже: — Даже я не отказался бы посмотреть. Меня давно интересуют условия работы смерть-планетчиков.

Быков наконец заговорил.

— Что ж,— сказал он.— Действительно небезынтересно.

— Уверяю тебя, Алексей! — воскликнул Юрковский.— Я думаю, мы зайдем туда, не так ли?

— М-да,— неопределенно пробормотал Быков.

— Ну, вот и прекрасно,— сказал Юрковский. Он посмотрел на Быкова и спросил: — Тебя что-то смущает, Алексей?

— Меня смущает вот что,— сказал Быков. В моем маршруте есть Марс. В маршруте есть Бамберга с этими паршивыми копями. Есть несколько спутников Сатурна. Есть система Юпитера. И еще кое-что. Одного там нет: Эйномии там нет.

— Н-ну, как тебе сказать...— сказал Юрковский, опустив глаза и барабаня пальцами по столу.— Будем считать, что это недосмотр управления, Алеша.

— Придется тебе, Владимир, посетить Эйномию в следующий раз.

— Позволь, позволь, Алеша. Э-э... Все-таки я генеральный инспектор, я могу отдать приказ, сказать... э-э...— во изменение маршрута...

— Вот сразу бы и отдал. А то морочит мне голову воспитательными задачами.

— Н-ну, воспитательные задачи, конечно, тоже... да.

— Штурман,— сказал Быков.— Генеральный инспектор приказывает изменить курс. Рассчитайте курс на Эйномию.

— Слушаюсь,— сказал Михаил Антонович и озабоченно посмотрел на Юрковского.— Ты знаешь, Володенька, горючего у нас маловато. Эйномия — это крючок... Ведь два раза тормозить придется. И один раз разгоняться. Тебе бы неделю назад об этом сказать.

Юрковский гордо выпрямился.

— Э-э... вот что, Михаил. Есть тут автозаправщики поблизости?

— Есть, как не быть,— сказал Михаил Антонович.

— Будет горючее,— сказал Юрковский.

— Будет горючее — будет и Эйномия,— сказал Быков, встал и пошел к своему креслу.— Ну, мы с Мишей стол накрывали, а ты, генеральный инспектор, прибери.

— *Вольтерьянцы,— сказал Юрковский и стал прибирать* со стола.

Он был очень доволен своей маленькой победой. Быков мог бы и не подчиниться. У капитана корабля, который вез генерального инспектора, тоже были большие полномочия.

Физическая обсерватория «Эйномия» двигалась вокруг Солнца приблизительно в той точке, где когда-то находился астероид Эйномия. Гигантская скала диаметром в *двести километров была за последние несколько лет почти* полностью истреблена в процессе экспериментов. От астероида остался только жиденький рой сравнительно небольших обломков да семисоткилометровое облако космической пыли, огромный серебристый шар, уже слегка растянутый приливной силой. Сама физическая обсерватория мало *отличалась от тяжелых искусственных спутников Земли:* это была система торов, цилиндров и шаров, связанных блестящими тросами, вращающихся вокруг общей оси. *В лаборатории работали двадцать семь физиков и астро*физиков, «крепкие, как алмаз, умные, смелые» и зачастую «отчаянно смелые». Самому младшему из них было двадцать пять лет, самому старшему — тридцать четыре.

Экипаж «Эйномии» занимался исследованием космических лучей, экспериментальными проверками единых теорий поля, вакуумом, сверхнизкими температурами,

экспериментальной космогонией. Все небольшие астероиды в радиусе двадцати мегаметров от «Эйномии» были объявлены смерть-планетами: они либо были уже уничтожены, либо подлежали уничтожению. В основном этим занимались космогонисты и релятивисты[1]. Истребление маленьких планеток производилось по-разному. Их обращали в рой щебня, или в тучу пыли, или в облако газа, или во вспышку света. Их разрушали в естественных условиях и в мощном магнитном поле, мгновенно или постепенно, растягивая процесс на декады и месяцы. Это был единственный в Солнечной системе космогонический полигон, и если возлеземные обсерватории обнаруживали теперь вспыхнувшую новую звезду со странными линиями в спектре, то прежде всего вставал вопрос: где находилась в этот момент «Эйномия» и не в районе ли «Эйномии» вспыхнула новая звезда. Международное управление космических сообщений объявило зону «Эйномия» запретной для всех рейсовых планетолетов.

«Тахмасиб» затормозил у «Эйномии» за два часа до начала очередного эксперимента. Релятивисты собирались превратить в излучение каменный обломок величиной с Эверест и с массой, определенной с точностью до нескольких граммов. Очередная смерть-планета двигалась на периферии полигона. Туда уже были посланы десять космоскафов с наблюдателями и приборами, и на обсерватории остались всего два человека — начальник и дежурный диспетчер.

Дежурный диспетчер встретил Юрковского и Юру у кессона. Это был долговязый, очень бледный, веснушчатый человек. Глаза у него были бледно-голубые и равнодушные.

— Э... здравствуйте,— сказал Юрковский.— Я Юрковский, генеральный инспектор МУКСа.

По всей видимости, голубоглазому человеку было не впервой встречать генеральных инспекторов. Он спокойно, не торопясь оглядел Юрковского и сказал:

— Что ж, заходите.

Голубоглазый спокойно повернулся спиной к Юрковскому и, клацая магнитными подковами, пошел по коридору.

---

[1] Релятивисты — физики, разрабатывающие теорию относительности.

— Постойте! — вскричал Юрковский.— А где здесь... э-э... начальник?

Голубоглазый, не оборачиваясь, сказал:

— Я вас веду.

Юрковский и Юра поспешили за ним. Юрковский вполголоса приговаривал:

— Странные, однако... э-э... порядки. Удивительные...

Голубоглазый открыл в конце коридора круглый люк и полез в него. Юрковский и Юра услышали:

— Костя, к тебе пришли...

Было слышно, как кто-то кричал звонким веселым голосом:

— Шестой! Сашка! Куда ты лезешь, безумный? Пожалей своих детей! Отойди на сто километров, ведь там опасно! Третий! Третий! Тебе ж русским языком было сказано! Держись в створе со мной! Шестой, не ворчи на начальство! Начальство проявило заботу, а ему уже нудно!..

Юрковский и Юра пролезли в небольшую комнату, плотно уставленную приборами. Перед вогнутым экраном висел сухощавый, очень смуглый парень лет тридцати, в синих брюках со складкой и белой рубашке с черным галстуком.

— Костя,— позвал голубоглазый и замолчал.

Костя повернул к вошедшим веселое красивое лицо с горбатым носом, несколько секунд рассматривал их, изысканно поздоровался, затем снова отвернулся к экрану. На экране медленно перемещались по линиям координатной сетки несколько ярких разноцветных точек.

— Девятый, зачем ты остановился? Что, у тебя пропал энтузиазм? А ну прогуляйся еще чуть вперед... Шестой, ты делаешь успехи. Я от тебя уже заболел. Ты что, полетел домой, на Землю?

Юрковский солидно кашлянул. Веселый Костя выдернул из правого уха блестящий шарик и, повернувшись к Юрковскому, спросил:

— Кто вы, гости?

— Я Юрковский,— очень веско сказал Юрковский.

— Какой Юрковский? — весело и нетерпеливо спросил Костя.— Я знал одного, он был Владимир Сергеевич.

— Это я,— сказал Юрковский.

Костя очень обрадовался.

— Вот кстати! — воскликнул он.— Тогда встаньте вон к тому пульту. Будете крутить четвертый верньер — на нем написано по-арабски «четыре»,— чтобы вон та звездочка не выходила из вон того кружочка...

— Но позвольте, однако...— сказал Юрковский.

— Только не говорите мне, что вы не поняли! — закричал Костя.— А то я в вас разочаруюсь.

Голубоглазый подплыл к нему и начал что-то шептать, Костя выслушал и заткнул ухо блестящим шариком.

— Пусть ему от этого будет лучше,— сказал он и звонко закричал: — Наблюдатели, слушайте меня, я опять командую! Все сейчас стоят хорошо, как запорожцы на картине у Репина! Только не касайтесь больше управления! Выключаюсь на две минуты.— Он снова выдернул блестящий шарик.— Так вы стали генеральным инспектором, Владимир Сергеевич? — спросил он.

— Да, стал,— сказал Юрковский.— И я...

— А кто этот молодой юноша? Он тоже генеральный инспектор? Эзра,— он повернулся к голубоглазому,— пусть Владимир Сергеевич держит ось, а мальчику ты дай чем-нибудь полезно поиграть. Лучше всего поставь его к своему экрану, и пусть он посмотрит...

— Может быть, мне все-таки дадут здесь сказать два слова? — спросил Юрковский в пространство.

— Конечно, говорите,— сказал Костя.— У вас еще целых девяносто секунд.

— Я хотел... э-э... попасть на один из космоскафов,— сказал Юрковский.

— Ого! — сказал Костя.— Лучше бы вы захотели колесо от троллейбуса. А еще лучше, если бы вы захотели крутить верньер номер четыре. На космоскафы нельзя даже мне. Там все занято, как на концерте Блюмберга. А старательно поворачивая верньер, вы увеличиваете точность эксперимента на полтора процента.

Юрковский величественно пожал плечами.

— Н-ну, хорошо,— сказал он.— Я вижу, мне придется... А почему... э-э... у вас это не автоматизировано?

Костя уже вставлял в ухо блестящий шарик. Долговязый Эзра прогудел, как в бочку:

— Оборудование. Дрянь. Устарело.

Он включил большой экран и поманил к себе Юру пальцем. Юра подошел к экрану и оглянулся на Юрковского. Юрковский, скорбно перекосив брови, держался за верньер

и глядел на экран, перед которым стоял Юра. Юра тоже стал глядеть на экран. На экране светилось несколько ярких округлых пятен, похожих не то на кляксы, не то на репейник. Эзра ткнул в одно из пятен костлявым пальцем.

— Космоскаф,— сказал он.

Костя опять начал командовать:

— Наблюдатели, вы еще не спите? Что там у вас тянется? Ах, время? Сгори со стыда, Саша, ведь осталось всего три минуты. Корыто? Ах, фотонное корыто? Это к нам прибыл генеральный инспектор. Внимание, я стал серьезным. Осталось тридцать... двадцать девять... двадцать восемь... двадцать семь...

Эзра ткнул пальцем в центр экрана.

— Сюда,— сказал он.

Юра уставился в центр. Там ничего не было.

— ...пятнадцать... четырнадцать... Владимир Сергеевич, держите ось... десять... девять...

Юра смотрел во все глаза. Эзра тоже вертел верньер, должно быть, тоже держал какую-нибудь ось.

— ...три... два... один... Ноль!

В центре экрана вспыхнула яркая белая точка. Затем экран сделался белым, потом ослепительным и черным. Где-то над потолком пронзительно и коротко проверещали звонки. Вспыхнули и погасли красные огоньки на пульте возле экрана. И снова на экране появились округлые пятна, похожие на репейник.

— Все,— сказал Эзра и выключил экран.

Костя ловко спустился на пол.

— Ось можно больше не держать,— сказал он.— Раздевайтесь, я начинаю прием.

— Что такое? — спросил Юрковский.

Костя достал из-под пульта коробочку с пилюлями.

— Одолжайтесь,— сказал он.— Это, конечно, не шоколад, но зато полезнее.

Эзра подошел и молча взял две пилюли. Одну он протянул Юре. Юра нерешительно посмотрел на Юрковского.

— Я спрашиваю, что это? — повторил Юрковский.

— Гамма-радиофаг,— объяснил Костя. Он оглянулся на Юру.— Кушайте, кушайте, юноша,— сказал он.— Вы сейчас получили четыре рентгена, и с этим нужно считаться.

— Да,— сказал Юрковский.— Верно.

Он протянул руку к коробочке. Юра положил пилюлю в рот. Пилюля была очень горькая.

— Так чем же мы можем помочь генеральному инспектору? — осведомился Костя, пряча коробочку обратно под пульт.

— Собственно, я хотел... э-э... присутствовать при эксперименте,— сказал Юрковский,— ну и заодно... э-э... выяснить положение на станции... нужды работников... жалобы, наконец... Что? Вот я вижу, лаборатория плохо защищена от излучений... Тесно. Плохая автоматизация, устаревшее оборудование... Что?

Костя сказал со вздохом:

— Да, это правда, правда горькая, как гамма-радиофаг. Но если вы меня спросите, на что я жалуюсь, я вам вынужден буду ответить, что я ни на что не жалуюсь. Конечно, жалобы есть. Как в этом мире можно без жалоб? Но это не наши жалобы, это жалобы на нас. И согласитесь, что будет смешно, если я вам, генеральному инспектору, стану рассказывать, за что на нас жалуются. Кстати, вы не хотите кушать? Очень хорошо, что вы не хотите. Попробуйте поискать что-нибудь съедобное в нашем погребе... Ближайший продовольственный танкер придет сегодня вечером или завтра днем, и это, поверьте мне, очень грустно, потому что физики привыкли есть каждый день, и никакие ошибки снабжения не могут их от этого отучить. Ну а если вы серьезно хотите узнать мое мнение о жалобах, то я скажу вам все коротко и ясно, как любимой девушке: эти дипломированные кое-какеры из нашего дорогого МУКСа всегда на что-нибудь жалуются. Если мы работаем быстро, то они жалуются, что мы работаем быстро и быстро изнашиваем драгоценное, оно же уникальное, оборудование, что у нас все горит и что они не успевают. А если мы работаем медленно... Впрочем, что я говорю? Еще не было такого оригинала, который бы жаловался, что мы работаем медленно. Кстати, Владимир Сергеевич, вы же были порядочным планетологом, мы же все учились по вашим роскошным книжкам и всяким там отчетам! Для чего же вы попали в МУКС, да еще занялись генеральной инспекцией?

Юрковский ошеломленно смотрел на Костю. Юра весь поджался, ожидая, что вот-вот разразится гром. Эзра стоял и совершенно равнодушно моргал желтыми коровьими ресницами.

— Э-э-э...— хмурясь, затянул Юрковский.— Собственно, почему же нет?

— Я вам объясню, почему нет,— сказал Костя, толкая его пальцами в грудь.— Вы же хороший ученый, вы же родитель современной планетологии! Из вас же с детства бил фонтан идей! Что гигантские планеты должны иметь кольца, что планеты могут конденсироваться без центрального светила, что кольцо Сатурна имеет искусственное происхождение,— спросите у Эзры, кто это все придумал? Эзра вам сразу скажет: Юрковский! И вы отдали все эти лакомые куски на растерзание всякой макрели, а сами подались в кое-какеры!

— Ну что вы! — сказал Юрковский благодушно.— Я всего лишь... э-э... простой ученый...

— Были вы простым ученым! Теперь вы, извините за выражение, простой генеральный инспектор. Ну, вот скажите мне серьезно: зачем вы приехали сюда? Ни спросить вы ничего толком не можете, ни посоветовать, я уж не говорю, чтобы помочь. Ну, скажем, я в порядке вежливости поведу вас по лабораториям, и мы станем ходить, *как два лунатика, и уступать друг другу дорогу перед* люками. И мы будем вежливо молчать, потому что вы не знаете, как спросить, а я не знаю, как ответить. Это ж нужно собрать все двадцать семь человек, чтобы объяснить, что делается на станции, а двадцать семь сюда не влезут даже из уважения к генеральному инспектору, потому что тесно, и один у нас даже живет в лифте...

— Вы напрасно думаете... э-э... что меня это радует,— казенным голосом перебил его Юрковский.— Я имею в виду такую... э-э... перенаселенность станции. Насколько мне известно, станция рассчитана на экипаж из пяти гравиметристов. И если бы вы, как руководитель станции, придерживались существующих положений, утвержденных МУКСом...

— Так ведь, Владимир Сергеевич! — воскликнул веселый Костя.— Товарищ генеральный инспектор! Люди же хотят работать! Гравиметристы хотят работать? Хотят. Релятивисты хотят? Тоже хотят. Я уже не говорю про космогонистов, которые втиснулись сюда прямо через мой труп. И на Земле еще полтораста человек роют землю от нетерпения... Подумаешь, ночевать в лифте! Что же, ждать, пока МУКС закончит постройку новой станции? Нет, планетолог Юрковский рассудил бы совсем иначе. Он не стал бы выговаривать мне за перенаселенность. И не стал бы требовать, чтобы я ему все объяснял. Тем более

что он не Гейзенберг и все равно понял бы не больше половины. Нет, планетолог Юрковский сказал бы: «Костя! Мне нужно, чтобы вы экспериментально обосновали мою новую роскошную идею. Давайте займемся, Костя!» Тогда я уступил бы вам свою койку, а сам бы занял аварийный лифт, и мы бы с вами работали до тех пор, пока бы все не стало ясно, как весеннее утро! А вы приезжаете собирать жалобы. Какие могут быть жалобы у человека, имеющего интересную работу?

Юра вздохнул с облегчением. Гром так и не разразился. Лицо Юрковского становилось все более задумчивым и даже грустным.

— Да,— сказал он.— Вы, пожалуй, правы... э-э... Костя. Мне действительно не следовало приезжать сюда в таком... э-э... качестве. И я вам... э-э... завидую, Костя. С вами я с удовольствием бы поработал. Но... э-э... есть станции и есть... э-э... станции. Вы себе представить не можете, Костя, сколько безобразий еще у нас в системе. И поэтому планетологу Юрковскому пришлось... э-э... сделаться генеральным инспектором Юрковским.

— Безобразия,— быстро сказал Костя,— это дело космической полиции...

— Не всегда,— сказал Юрковский,— к сожалению, не всегда.

В коридоре что-то лязгнуло и загрохотало. Послышалось беспорядочное клацанье магнитных подков. Кто-то завопил:

— Костя-а! Есть упреждение-е! На три миллисекунды!..

— О! — сказал Костя.— Это идут мои работнички, сейчас они потребуют кушать. Эзра,— сказал он,— как им помягче сообщить, что танкер будет только завтра?

— Костя,— сказал Юрковский,— я вам дам ящик консервов.

— Шутите! — обрадовался Костя.— Вы бог. Вдвое подает тот, кто подает вовремя. Считайте, что я вам должен два ящика консервов!

В люк один за другим протиснулись четверо, и в помещении сразу стало негде повернуться. Юру затиснули в угол и огородили широкими спинами. По-настоящему хорошо он мог видеть только худой вихрастый затылок Эзры, чей-то зеркально выбритый череп и еще один мускулистый затылок. Кроме того, Юра видел ноги — они располагались над головами, и гигантские ботинки с блестя-

щими стертыми подковами осторожно шевелились в двух сантиметрах от бритого черепа. В просветы между спинами и затылками Юра видел иногда горбоносый Костин профиль и густобородатое лицо четвертого работничка. Юрковского видно не было — вероятно, его тоже затерли. Говорили все сразу.

— Разброс точек очень маленький. Я считал наскоро, но три миллисекунды, по-моему, совершенно бесспорно...

— Но все-таки три, а не шесть!

— Не в этом дело! Важно, что за пределами ошибок!

— Марс бы взорвать, вот это была бы точность!

— Да, брат, тогда можно было бы половину гравископов убрать.

— Ненавистный прибор — гравископ. И кто его такого выдумал!

— Скажи спасибо, что хоть такие есть. Знаешь, как мы это раньше делали?

— Скажите, ему уже не нравятся гравископы!

— А поесть дадут?

— Кстати о еде. Костя, радиофаг мы весь съели.

— Да-да, хорошо, что ты вспомнил. Костя, выдай нам таблеток.

— Ребята, я, кажется, наврал. Не три миллисекунды, а четыре.

— Болтовня это все. Отдай Эзре, Эзра посчитает как следует.

— Правильно... Эзра, вот возьми, голуба, ты у нас самый хладнокровный, а то у меня руки от жадности трясутся.

— Вспышка была сегодня красоты изумительной. Я чуть не ослеп. Люблю взрывы на аннигиляцию! Чувствуешь себя этаким творцом, человеком будущего...

— Слушай, Костя, что это Пагава говорит, что теперь будут только очаговые взрывы? А как же мы?

— А у тебя есть совесть? Ты что, воображаешь, что это гравитационная обсерватория? А космогонисты тебе так, мальчики?

— Ой, Фанас, не ввязывайся в этот спор. Все-таки Костя начальник. А зачем существует начальник? Чтобы все было справедливо.

— Какой же тогда смысл иметь начальником своего человека?

— Ого! Я уже не гожусь в начальники? Это что, бунт? Где мои ботфорты, брабантские манжеты и пистолеты?

— Между прочим, я бы поел.

— Сосчитал,— сказал Эзра.

— Ну?

— Не торопите его, он не может так быстро.

— Три и восемь.

— Эзра! Каждое твое слово — золото!

— Ошибка плюс-минус два и два.

— Как сегодня словоохотлив наш Эзра!

Юра не выдержал и прошептал Эзре прямо в ухо:

— Что случилось? Почему все так радуются?

Эзра, слегка повернув голову, пробубнил:

— Получили упреждение. Доказали. Что гравитация распространяется. Быстрее света. Впервые доказали.

— Три и восемь, ребята,— объявил бритоголовый,— это значит, что мы утерли нос этому кое-какеру из Ленинграда. Как, бишь, его...

— Отличное начало. Сейчас бы только поесть, перебить космогонистов и взяться за дело по-настоящему.

— Слушайте, ученые, а для чего здесь нет Крамера?

— Он врет, что у него есть две банки консервов. Он сейчас их ищет у себя в старых бумагах. Устроим пиршество тощих — по банке на четырнадцать человек.

— Пиршество тощих телом и нищих духом.

— Тихо, ученые, и я вас порадую.

— А про какие консервы врал Валерка?

— По слухам, там у него банка компота из персиков и банка кабачков...

— Колбаски бы...

— Меня здесь будут слушать или нет? Смирно, вы, ученые! Вот так. Могу вам сообщить, что среди нас имеется один генеральный инспектор — Юрковский Владимир Сергеевич. Он жалует нам ящик консервов со свово стола!

— Ну-у! — сказал кто-то.

— Нет, это даже не остроумно. Кто же так шутит?

Откуда-то из угла послышалось:

— Э-э... Здравствуйте.

— Ба! Владимир Сергеевич? Как же мы вас не заметили?

— Охамели мы здесь, братцы смерть-планетчики!

— Владимир Сергеевич! Про консервы — это правда?

— Истинная правда,— сказал Юрковский.

— Ура!

— И еще раз...

— Ура!

— И еще раз...

— Ур-р-а-а!

— Консервы мясные,— сказал Юрковский.

По комнате пронесся голодный стон.

— Эх, ну почему здесь невесомость? Качать надо такого человека. На руках носить!

В открытый люк просунулась еще одна борода.

— Что вы тут разорались? — сумрачно спросила она.— Упреждение получили, а что лопать нечего — вы знаете? Танкер только завтра приковыляет.

Некоторое время все смотрели на бороду. Потом человек с мускулистым затылком сказал задумчиво:

— Узнаю космогониста по изящным словесам.

— Ребята, а ведь он голоден.

— Еще бы! Космогонисты всегда голодны!

— А не послать ли его за консервами?

— Павел, друг мой,— сказал Костя,— сейчас ты пойдешь за консервами. Пойди надень вакуум-скафандр.

Бородатый парень подозрительно на него посмотрел.

— Юра,— сказал Юрковский,— проводи товарища на «Тахмасиб». Впрочем, ладно, я сам схожу.

— Здравствуйте, Владимир Сергеевич,— сказал бородатый, расплываясь в улыбке.— Как это вы к нам?

Он отступил от люка, давая Юрковскому дорогу. Они вышли.

— Хороший человек Юрковский. Добрый человек.

— А зачем нас инспектировать?

— Он приехал не инспектировать. Я понял так, что ему просто любопытно.

— Тогда пусть.

— А нельзя, чтобы он похлопотал насчет расширения программы?

— Расширение программы — ладно. А вот не сократил бы он штаты. Пойду уберу свою постель из лифта.

— Да, инспекторы не любят, чтобы жили в лифтах.

— Ученые, не пугайтесь. Я ему уже все рассказал. Он не такой. Это же Юрковский!

— Ребята, пойдемте искать столовую. В библиотеку, что ли?

— В библиотеке космогонисты все заставили.

Все по очереди стали вылезать через люк. Тогда человек с мускулистым затылком подошел к Косте и сказал тихо:

— Дай-ка мне еще одну пилюлю, Костя. Мутит меня что-то.

«Эйномия» осталась далеко позади. «Тахмасиб» держал курс на астероид Бамбергу — в царство таинственной «Спэйс Пёрл Лимитэд». Юра проснулся глубокой ночью — ужасно хотелось пить. Юра услышал тяжелые неровные шаги в коридоре. Ему показалось даже, что он слышит сдавленный стон. «Привидения,— подумал он с досадой.— Только этого еще и не хватало». Не слезая с койки, он приоткрыл дверь и выглянул.

В коридоре, странно скособочившись, стоял Юрковский в своем великолепном халате. Лицо у него обрюзгло, глаза были закрыты. Он тяжело и часто дышал искривленным ртом.

— Владимир Сергеевич! — испуганно позвал Юра.— Что с вами?

Юрковский быстро открыл глаза и попробовал выпрямиться, но его снова согнуло.

— Ти-хо! — сказал он угрожающе и торопливо, весь искривившись, пошел к Юре.

Юра отодвинулся и пропустил его в каюту. Юрковский плотно притворил за собою дверь и осторожно сел рядом с Юрой.

— Ты чего не спишь? — сказал он шепотом.

— Что с вами, Владимир Сергеевич? — пробормотал Юра.— Вам плохо?..

— Ерунда, печень.

Юра с ужасом смотрел на его судорожно прижатые к бокам, словно оцепеневшие, руки.

— Всегда она, подлая, после лучевого удара... А все-таки не зря мы побывали на «Эйномии». Вот они, люди, Юра! Настоящие люди! Работники. Чистые. И никакие кое-какеры им не помешают.— Он осторожно откинулся спиной к стене, и Юра торопливо подсунул ему подушку.— Смешное слово «кое-какеры» — правда, Юра? А вот скоро мы увидим других людей... Совсем других...

Гнилушки, дрянь... Хуже марсианских пиявок... Ты-то их, конечно, не увидишь, а вот мне придется...— Он закрыл глаза.— Юра... ты прости... я, может быть, тут... засну... Я принял... лекарство... Если засну... иди... спать ко мне...

9. БАМБЕРГА. НИЩИЕ ДУХОМ

Бэла Барабаш перешагнул через комингс и плотно прикрыл за собой дверь. На двери красовалась черная пластмассовая табличка: «The chief manager of Bamberga mines. Space Pearl Limited»[1]. Табличка была расколота. Еще вчера она была цела. Пуля попала в левый нижний уголок таблички, и трещина проходила через заглавную букву «В». «Подлый слизняк,— подумал Бэла.— «Уверяю вас, на копях нет никакого оружия. Только у вас, мистер Барабаш, да у полицейских. Даже у меня нет». Мерзавец».

Коридор был пуст. Прямо перед дверью висел жизнерадостный плакат: «Помни: ты — пайщик. Интересы компании — твои интересы». Бэла взялся за голову, закрыл глаза и некоторое время постоял так, слегка покачиваясь. «Боже мой! — подумал он.— Когда же все это кончится? Когда меня отсюда уберут? Ну какой я комиссар? Ведь я же ничего не могу. У меня сил больше нет. Вы понимаете? У меня больше нет сил. Заберите меня отсюда, пожалуйста. Да, мне очень стыдно и все такое. Но больше я не могу...»

Где-то с лязгом захлопнулся люк. Бэла опустил руки и побрел по коридору. Мимо осточертевших рекламных проспектов на стенах. Мимо запертых кают инженеров. Мимо высоких узких дверей полицейского отделения. «Интересно, в кого могли стрелять на этаже администрации? Конечно, мне не скажут, кто стрелял. Но может быть, удастся узнать, в кого стреляли?» Бэла вошел в полицию. За столом, подперев рукой щеку, дремал сержант Хиггинс, начальник полиции, и один из трех полицейских шахты Бамберги. На столе перед Хиггинсом стоял микрофон, справа — рация, слева лежал журнал в пестрой обложке.

— Здравствуйте, Хиггинс,— сказал Бэла.

Хиггинс открыл глаза.

---

[1] «Главный управляющий копями Бамберги. Спэйс Пёрл Лимитед» *(англ.)*.

— Добрый день, мистер Барабаш.

Голос у него был мужественный, но немножко сиплый.

— Что нового, Хиггинс?

— Пришла «Гея»,— сказал Хиггинс.— Привезли почту. Жена пишет, что очень скучает. Как будто я не скучаю. Вам тоже есть четыре пакета. Я сказал, чтобы вам занесли. Я думал, что вы у себя.

— Спасибо, Хиггинс. Вы не знаете, кто сегодня стрелял на этом этаже?

Хиггинс подумал.

— Что-то я не помню, чтобы сегодня стреляли,— сказал он.

— А вчера вечером? Или ночью?

Хиггинс сказал неохотно:

— Ночью кто-то стрелял в инженера Мейера.

— Это сам Мейер вам сказал? — спросил Барабаш.

— Меня не было. Я дежурил в салуне.

— Видите ли, Хиггинс,— сказал Барабаш,— я сейчас был у управляющего. Управляющий в десятый раз заверил меня, что оружие здесь имеется только у вас, у полицейских.

— Очень может быть.

— Значит, в Мейера стрелял кто-нибудь из ваших подчиненных?

— Не думаю,— сказал Хиггинс.— Том был со мной в салуне, а Конрад... Зачем Конраду стрелять в инженера?

— Значит, оружие есть у кого-нибудь еще?

— Я его не видел, мистер Барабаш, этого оружия. Если бы видел — отобрал бы. Потому что оружие запрещено. Но я его не видел.

Бэле вдруг стало все совершенно безразлично.

— Ладно,— вяло сказал он.— В конце концов, следить за законностью — дело ваше, а не мое. Мое дело — информировать МУКС о том, как вы справляетесь со своими обязанностями.

Он повернулся и вышел. Он спустился в лифте на второй этаж и пошел через салун. В салуне никого не было. Вдоль стен мигали желтыми огоньками продавцы-автоматы. «Напиться, что ли? — подумал Бэла.— Нализаться, как свинья, лечь в постель и проспать двое суток. А потом встать и опять напиться». Он прошел салун и пошел по длинному широкому коридору. Коридор назывался «Бродвеем» и тянулся от салуна до уборных. Здесь тоже висели

плакаты, напоминавшие о том, что «интересы компании — твои интересы», висели программы кино на ближайшую декаду, биржевые бюллетени, лотерейные таблицы, висели таблицы бейсбольных и баскетбольных соревнований, проводившихся на Земле, и таблицы соревнований по боксу и по вольной борьбе, проводившихся здесь, на Бамберге. На «Бродвей» выходили двери обоих кинозалов и дверь библиотеки. Спортзал и церковь находились этажом ниже. По вечерам на «Бродвее» было не протолкнуться, и глаза слепили разноцветные огни бессмысленных реклам. Впрочем, не так уж и бессмысленных — они ежевечерне напоминали рабочему, что ждет его на Земле, когда он вернется в родные пенаты с набитым кошельком.

Сейчас на «Бродвее» было пусто и полутемно. Бэла свернул в один из коридоров. Справа и слева потянулись одинаковые двери. Здесь располагались общежития. Из дверей тянуло запахом табака и одеколона. В одной из комнат Бэла увидел лежащего на койке человека и вошел. Лицо лежавшего было облеплено пластырем. Одинокий глаз грустно смотрел в низкий потолок.

— Что с тобой, Джошуа? — спросил Бэла, подходя.

Печальный глаз Джошуа обратился на него.

— Лежу,— сказал Джошуа.— Мне следует быть в шахте, а я лежу. И каждый час теряю уйму денег. Я даже боюсь подсчитать, сколько я теряю.

— Кто тебя побил?

— Почем я знаю? — ответил Джошуа.— Напился вчера так, что ничего не помню. Черт меня дернул... Целый месяц крепился. А теперь вот пропил дневной заработок, лежу и еще буду лежать.— Он снова печально уставился в потолок.

— Да,— сказал Бэла.

«Ну вот что ты с ним сделаешь! — подумал он.— Убеждать его, что пить вредно,— он и сам это знает. Когда он встанет, то будет сидеть в шахте по четырнадцать часов, чтобы наверстать упущенное. А потом вернется на Землю, и у него будет прогрессирующий паралич и никогда не будет детей или будут рождаться уроды».

— Ты знаешь, что работать в шахте больше шести часов опасно? — спросил Бэла.

— Идите вы!..— тихо сказал Джошуа.— Не ваше это дело. Не вам работать.

Бэла вздохнул и сказал:

— Ну что ж, поправляйся.

— Спасибо, мистер комиссар,— проворчал Джошуа.— Не о том вы заботитесь. Позаботьтесь лучше, чтобы салун прикрыли. И чтобы самогонщиков нашли.

— Ладно,— сказал Бэла.— Попробую.

«Вот,— думал он, направляясь к себе.— А попробуй закрой салун, и ты же сам будешь орать на митингах, что всякие коммунисты лезут не в свое дело. Нет никакого выхода из этого круга. Никакого».

Он вошел в свою комнату и увидел, что там сидит инженер Сэмюэль Ливингтон. Инженер читал старую газету и ел бутерброды. На столе перед ним лежала шахматная доска с расставленными фигурами. Бэла поздоровался и устало уселся за стол.

— Сыграем? — предложил инженер.

— Сейчас, я только посмотрю, что мне прислали.

Бэла распечатал пакеты. В трех пакетах были книги, в четвертом — письмо от матери и несколько открыток с видами Нового Пешта. На столе лежал еще розовый конвертик. Бэла знал, что в этом конвертике, но все-таки распечатал его. «Мистер комиссар! Убирайся отсюда к чертовой матери. Не мути воду, пока цел. Доброжелатели». Бэла вздохнул и отложил записку.

— Ходите,— сказал он.

Инженер двинул пешку.

— Опять неприятности? — спросил он.

— Да.

Бэла в молчании разыграл защиту Каро-Канн. Инженер получил небольшое позиционное преимущество. Бэла взял бутерброд и стал задумчиво жевать, глядя на доску.

— Вы знаете, Бэла,— сказал инженер,— когда я впервые увижу вас веселым, я скажу, что проиграл идеологическую войну.

— Вы еще увидите,— сказал Бэла без особой надежды.

— Нет,— сказал инженер.— Вы обречены. Посмотрите вокруг, вы сами видите, что вы обречены.

— Я? — спросил Бэла.— Или мы?

— Все вы со своим коммунизмом. Нельзя быть идеалистами в нашем мире.

— Ну, это нам двадцать раз говорили за последние сто лет.

— Шах,— сказал инженер.— Вам говорили правильно. Кое-что, конечно, недооценили и потому часто говорили

ерунду. Смешно было говорить, что вы уступите военной силе или проиграете экономическое соревнование. Всякое крепкое правительство и всякое достаточно богатое государство в наше время непобедимо в военном и экономическом отношении. Да, да, коммунизм как экономическая система взял верх, это ясно. Где они сейчас, прославленные империи Морганов, Рокфеллеров, Круппов, всяких там Мицуи и Мицубиси? Все лопнули и уже забыты. Остались жалкие огрызки вроде нашей «Спэйс Пёрл», солидные предприятия по производству шикарных матрасов узкого потребления... да и те вынуждены прикрываться лозунгами всеобщего благоденствия. Еще раз ах. И несколько миллионов упрямых владельцев отелей, агентов по продаже недвижимости, унылых ремесленников. Все это тоже обречено. Все это держится только на том, что в обеих Америках еще имеют хождение деньги. Но тут вы зашли в тупик. Есть сила, которую даже вам не побороть. Я имею в виду мещанство. Косность маленького человека. Мещан не победить силой, потому что для этого их пришлось бы физически уничтожить. И их не победить идеей, потому что мещанство органически не приемлет никаких идей.

— Вы были когда-нибудь в коммунистических государствах, Сэм?

— Был. И видел там мещан.

— Вы правы, Сэм. Они еще есть и у нас. Пока есть, и вы это заметили. Но вы не заметили, что у нас их гораздо меньше, чем у вас, и что у нас они тихие. У нас нет воинствующего мещанина. Пройдет еще поколение-другое, и их не станет совсем.

— Так я беру слона,— сказал инженер.

— Попробуйте,— сказал Бэла.

Некоторое время инженер раздумывал, затем взял слона.

— Через два поколения, говорите вы? А может быть, через двести тысяч поколений? Снимите, наконец, розовые очки, Бэла. Вот они вокруг вас, эти маленькие люди. Я не беру авантюристов и сопляков, которые играют в авантюристов. Возьмите таких, как Джошуа, Смит, Блэкуотэр. Таких, кого вы сами называете сознательными или тихими, в зависимости от вашего настроения. У них же так мало желаний, что вы ничего им не можете предложить. А того, чего они хотят, они добьются безо всякого коммунизма. Они станут владельцами трактиров, заведут жену,

детей и будут тихо жить в свое удовольствие. Коммунизм, капитализм — какое им до этого дело? Капитализм даже лучше, потому что капитализм благословляет такое бытие. Человек же по натуре скотинка. Дайте ему полную кормушку, не хуже, чем у соседа, дайте ему набить брюшко и дайте ему раз в день посмеяться над каким-нибудь нехитрым представлением. Вы мне сейчас скажете: мы можем предложить ему больше. А зачем ему больше? Он вам ответит: «Не лезьте не в свое дело». Маленькая равнодушная скотинка.

— Вы клевещете на людей, Сэм. Джошуа и компания кажутся вам скотами только потому, что вы очень много потрудились, чтобы сделать их такими. Кто с пеленок внушал им, что самое главное в жизни — это деньги? Кто учил их завидовать миллионерам, домовладельцам, соседскому бакалейщику? Вы забивали им головы дурацкими фильмами и дурацкими книжками и говорили им, что выше бога не прыгнешь. И вы вдалбливали им, что есть Бог, есть дом и есть бизнес и больше ничего нет на целом свете. Так вы и делаете людей скотами. А человек ведь не скотина, Сэм. Внушите ему с пеленок, что самое важное в жизни — это дружба и знание, что, кроме его колыбельки, есть огромный мир, который ему и его друзьям предстоит освоить,— вот тогда вы получите настоящего человека. Ну вот, теперь я ладью прозевал.

— Можете переходить,— сказал инженер.— Не буду с вами спорить. Может быть, роль воспитания действительно так велика, как вы говорите. Хотя и у вас, при вашем воспитании, при государственной нетерпимости к мещанству, все-таки ухитряются как-то вырастать... как это говорят по-русски... чертополохи. А у нас, при нашем воспитании, ухитряются как-то вырастать те, кого вы называете настоящими людьми. Конечно, мещан у вас гораздо меньше, чем у нас... Шах... Все равно я не знаю, куда вы намерены девать два миллиарда мещан капиталистического мира. У нас их перевоспитывать не собираются. Да, капитализм — труп. Но это опасный труп. А вы еще открыли границы. И пока открыты границы, мещанство во всех видах будет течь через эти границы. Как бы вам не захлебнуться в нем... Еще шах.

— Не советую,— сказал Бэла.

— А в чем дело?

— Я закроюсь на же-восемь, и у вас висит ферзь.

Инженер некоторое время размышлял.

— Да, пожалуй,— сказал он.— Шаха не будет.

— Глупо было бы отрицать опасность мещанства,— сказал Бэла.— Кто-то из ваших деятелей правильно сказал, что идеология маленького хозяйчика представляет для коммунизма бо́льшую опасность, чем забытая теперь водородная бомба. Только адресовал он эту опасность неправильно. Не для коммунизма, а для всего человечества опасно мещанство. Потому что в ваших рассуждениях, Сэм, есть одна ошибка. Мещанин — это все-таки тоже человек, и ему всегда хочется большего. Но поскольку он в то же время и скотина, это стремление к большему по необходимости принимает самые чудовищные формы. Например, жажда власти. Жажда поклонения. Жажда популярности. Когда двое таких вот сталкиваются, они рвут друг друга, как собаки. А когда двое таких сговариваются, они рвут в клочья окружающих. И начинаются веселенькие штучки вроде фашизма, сегрегации, геноцида. И прежде всего поэтому мы ведем борьбу против мещанства. И скоро вы вынуждены будете начать такую войну просто для того, чтобы не задохнуться в собственном навозе. Помните поход учителей в Вашингтон в позапрошлом году?

— Помню,— сказал Ливингтон.— Только, по-моему, бороться с мещанством — это все равно что резать воду ножом.

— Инженер,— насмешливо сказал Бэла,— это утверждение столь же голословно, как Апокалипсис. Вы просто пессимист. Как это там?.. «Преступники возвысятся над героями, мудрецы будут молчать, а глупцы будут говорить; ничто из того, что люди думают, не осуществится».

— Ну что ж,— сказал Ливингтон.— Были и такие времена. И я, конечно, пессимист. С чего это мне быть оптимистом? Да и вам тоже.

— Я не пессимист,— сказал Бэла.— Я просто плохой работник. Но время нищих духом прошло, Сэм. Оно давно миновало, как сказано в том же Апокалипсисе.

Дверь распахнулась, и на пороге остановился высокий человек с залысым лбом и бледным, слегка обрюзгшим лицом. Бэла застыл, всматриваясь. Через секунду он узнал его. «Ну вот и все,— подумал он с тоской и облегчением.— Вот и конец». Человек скользнул взглядом по инженеру и шагнул в комнату. Теперь он смотрел только на Бэлу.

— Я генеральный инспектор МУКСа,— сказал он.— Моя фамилия Юрковский.

Бэла встал. Инженер тоже почтительно встал. За Юрковским в комнату вошел громадный загорелый человек в мешковатом синем комбинезоне. Он скользнул взглядом по Бэле и стал смотреть на инженера.

— Прошу меня извинить,— сказал инженер и вышел. Дверь за ним закрылась. Пройдя несколько шагов по коридору, инженер остановился и задумчиво засвистел. Затем он достал сигарету и закурил. «Так,— подумал он.— Идеологическая борьба на Бамберге входит в новую фазу. Надо срочно принять меры».

Размышляя, он пошел по коридору, все ускоряя шаг. В лифт он уже почти вбежал. Поднявшись на самый верхний этаж, он направился в радиорубку. Дежурный радист посмотрел на него с удивлением.

— Что случилось, мистер Ливингтон? — спросил он.

Ливингтон провел ладонью по мокрому лбу.

— Я получил плохие вести из дому,— сказал он отрывисто.— Когда ближайший сеанс с Землей?

— Через полчаса,— сказал радист.

Ливингтон присел к столику, вырвал из блокнота лист бумаги и быстро написал радиограмму.

— Отправьте срочно, Майкл,— сказал он, протягивая листок радисту.— Это очень важно.

Радист взглянул на листок и удивленно свистнул.

— Зачем это вам понадобилось? — спросил он.— Кто же продает «Спэйс Пёрл» в конце года?

— Мне срочно нужны наличные,— сказал инженер и вышел.

Радист положил листок перед собой и задумался.

Юрковский сел и отодвинул локтем шахматную доску. Жилин сел в стороне.

— Осрамились, товарищ Барабаш,— сказал Юрковский негромко.

— Да,— сказал Бэла и глотнул.

— Откуда на Бамбергу попадает спирт, вы выяснили?

— Нет. Скорее всего, спирт гонят прямо здесь.

— За последний год компания отправила на Бамбергу четыре транспорта с прессованной клетчаткой. Для каких работ на Бамберге нужно столько клетчатки?

— Не знаю,— сказал Бэла.— Не знаю таких работ.

— Я тоже не знаю. Из клетчатки гонят спирт, товарищ Барабаш. Это ясно даже и ежу.

Бэла молчал.

— Кто на Бамберге имеет оружие? — спросил Юрковский.

— Не знаю,— сказал Бэла.— Я не мог выяснить.

— Но оружие все-таки есть?

— Да.

— Кто санкционирует сверхурочные работы?

— Их никто не запрещает.

— Вы обращались к управляющему?

Бэла сжал руки.

— К этой сволочи я обращался двадцать раз. Он ни о чем не желает слушать. Он ничего не видит, не слышит и не понимает. Он очень сожалеет, что у меня плохие источники информации. Знаете что, Владимир Сергеевич, либо вы меня отсюда снимайте к чертовой матери, либо дайте мне полномочия расстреливать гадов. Я ничего не могу сделать. Я вразумлял. Я просил. Я угрожал. Это стена. Для всех рабочих комиссар МУКСа — красное пугало. Разговаривать *со мной* никто не желает. «I don't know nothing and it's not any damn business of yours»[1]. Плевать они хотели на международное трудовое законодательство. Я больше так не могу. Видели плакаты на стенах?

Юрковский задумчиво смотрел на него, вертя в пальцах белого ферзя.

— Здесь не на кого опереться,— продолжал Бэла.— Это либо бандиты, либо тихая дрянь, которая мечтает только о том, чтобы набить свой карман, и ей наплевать, сдохнет она после этого или нет. Ведь у них настоящие люди сюда не идут. Отбросы, неудачники. Люмпены. У меня руки трясутся по вечерам от всего этого. Я не могу спать. Позавчера меня пригласили подписать протокол о несчастном случае. Я отказался: совершенно ясно, что человеку вспороли скафандр автогеном. Тогда этот подлец, секретарь профсоюза, сказал, что будет на меня жаловаться. Месяц назад на Бамберге появляются и в то же утро исчезают три девицы. Я иду к управляющему, и этот стервец смеется мне в лицо: «У вас галлюцинации, мистер комиссар, вам пора вернуться к вашей жене, вам уже мерещатся девки». В конце концов в меня трижды стреляли. Да, да, я знаю, что ни один дурак не старался в меня попасть. Но мне от этого не легче. И по-

[1] Здесь: «Ничего я не знаю, и не ваше это собачье дело» *(англ.)*

думать только, меня посадили сюда, чтобы охранять жизнь и здоровье этих обормотов! Да провались они все...

Бэла замолчал и хрустнул пальцами.

— Ну-ну, спокойно, Бэла,— сказал строго Юрковский.

— Разрешите мне уехать,— сказал Бэла.— Вот товарищ,— он указал на Жилина,— это, вероятно, новый комиссар...

— Это не новый комиссар,— сказал Юрковский.— Познакомьтесь, бортинженер «Тахмасиба» Жилин.

Жилин слегка поклонился.

— Какого «Тахмасиба»? — спросил Бэла.

— Это мой корабль,— сказал Юрковский.— Вот что мы сейчас сделаем. Мы пойдем к управляющему, и я скажу ему несколько слов. А потом мы поговорим с рабочими.— Он встал.— Ничего, Бэла, не огорчайтесь. Не вы первый. У меня эта Бамберга тоже вот здесь сидит.

Бэла озабоченно сказал:

— Только нужно взять с собой несколько наших. Может случиться драка. Управляющий здесь подкармливает целую шайку гангстеров.

— Каких наших? — спросил Юрковский.— Вы же говорили, что ни на кого здесь положиться не можете.

— Так вы приехали один? — с ужасом спросил Бэла.

Юрковский пожал плечами.

— Ну, естественно,— сказал он.— Я же не управляющий.

— Ладно,— сказал Бэла.

Он отпер сейф и взял пистолет. Лицо у него было бледное и решительное. «Первую пулю я всажу в этого слизняка,— с острой радостью подумал он.— Пусть в меня стреляет кто угодно, но первую пулю получит мистер Ричардсон. В жирную, гладкую, подлую свою рожу».

Юрковский внимательно посмотрел на него.

— Знаете что, Бэла,— сказал он проникновенно,— я бы на вашем месте пистолет оставил. Или отдайте его товарищу Жилину. Я боюсь, что вы не удержитесь.

— А вы думаете, он удержится?

— Удержусь, удержусь,— сказал Жилин, улыбаясь.

Бэла с сожалением отдал ему пистолет.

Юрковский открыл дверь и остановился. Перед ним вырос молодцеватый сержант Хиггинс в свежей парадной

форме и в голубой каске. Хиггинс отчетливо взял под козырек.

— Сэр,— сказал он,— начальник полиции шахты Бамберги сержант Хиггинс прибыл в ваше распоряжение.

— Очень рад, сержант Хиггинс, следуйте за нами,— сказал Юрковский.

Они миновали короткий коридор и вышли на «Бродвей». Еще не было шести часов, но «Бродвей» был залит ярким светом и плотно забит рабочими. «Бродвей» гудел от встревоженных голосов. Юрковский шел неторопливо, любезно улыбаясь и внимательно вглядываясь в лица рабочих. Он хорошо видел эти лица в ровном свете дневных ламп — осунувшиеся, с нездоровой землистой кожей, с отеками под глазами, апатично-равнодушные, сердитые, любопытные, злобные, ненавидящие. Рабочие расступались перед ним, давая дорогу, а за спиной Хиггинса снова смыкались и шли следом. Сержант Хиггинс покрикивал:

— Дорогу генеральному инспектору! Не напирайте, ребята! Дайте дорогу генеральному инспектору!

Так они дошли до лифта и поднялись на этаж администрации. Здесь толпа была еще гуще. И здесь дорогу уже не уступали. Между усталыми лицами рабочих стали просовываться какие-то нагловатые веселые морды. Теперь сержант Хиггинс пошел впереди, расталкивая толпу голубой дубинкой.

— Посторонись,— говорил он негромко,— дай дорогу... Посторонись...

Затылок его между краем каски и воротником налился кровью и заблестел от пота. Шествие замыкал Жилин. Нагловатые морды протискивались в первые ряды толпы, перекликаясь:

— Эй, ребята, а кто из них инспектор?

— Не разобрать, они все красные, как томатный сок...

— Они насквозь красные, внутри и снаружи...

— Не верю, хочу посмотреть...

— Посмотри, я тебе мешать не стану...

— Эй, сержант! Хиггинс! Ну и в компанию же ты попал!

Жилину подставили ножку. Он не обернулся, но стал смотреть под ноги. Увидев под собой очередной ботинок из мягкой замши, он старательно, всем весом наступил на

него. Рядом взвыли. Жилин посмотрел в перекошенное, побелевшее лицо с усиками и сказал:

— Извините, пожалуйста, какой я неуклюжий!

У него были здоровенные, необычайно тяжелые башмаки с рубчатыми магнитными подковами.

Шум вокруг нарастал. Теперь уже кричали все:

— Кто их звал сюда?

— Эй, вы! Не суйтесь не в свое дело!

— Дайте нам работать, как мы хотим! Мы не лезем в ваши дела!

— Убирайтесь к себе домой и там распоряжайтесь!

Сержант Хиггинс, мокрый как мышь, добрался наконец до дверей с треснувшей табличкой и распахнул ее перед Юрковским.

— Сюда, сэр,— тяжело дыша, сказал он.

Юрковский и Бэла вошли. Жилин перешагнул через комингс и оглянулся. Он увидел множество наглых морд и только за ними, в табачном дыму, хмурые, ожесточенные лица рабочих. Хиггинс тоже перешагнул через комингс и закрыл дверь.

Кабинет управляющего шахтами мистера Ричардсона был обширен. Вдоль стен стояли большие мягкие кресла и стеклянные витрины с образцами пород и с имитациями самых крупных «космических жемчужин», найденных на Бамберге. Из-за стола навстречу Юрковскому поднялся благообразный приятный человек в черном костюме.

— О, мистер Юрковский,— пророкотал он и, обогнув стол, пошел к Юрковскому, протягивая руки.— Я бесконечно рад...

— Не беспокойтесь,— сказал Юрковский, огибая стол с другой стороны.— Руки я вам все равно не подам.

Управляющий остановился, приятно улыбаясь. Юрковский сел за стол и повернулся к Бэле.

— Это управляющий? — спросил он.

— Да! — с наслаждением сказал Бэла.— Это управляющий шахтами мистер Ричардсон.

Управляющий покачал головой.

— О, мистер Барабаш,— сказал он укоризненно,— неужели же вам я обязан такой неприветливостью мистера инспектора?

— Кем выдан патент на управление шахтой? — спросил Юрковский.

— Как это принято в западном мире, мистер Юрковский, советом директоров компании.

— Предъявите.

— Прошу вас,— весьма вежливо сказал управляющий. Он неторопливо пересек комнату, отпер большой сейф, вделанный в стену, достал большой бювар коричневой кожи и извлек из бювара лист плотной бумаги с золотым обрезом.— Прошу вас,— повторил он и положил лист перед Юрковским.

— Заприте сейф,— сказал Юрковский,— и передайте ключи сержанту.

Сержант Хиггинс с каменным лицом принял ключи. Юрковский просмотрел патент, сложил его вчетверо и сунул в карман. Мистер Ричардсон продолжал приятно улыбаться. Жилин подумал, что никогда в жизни он не видел человека столь обаятельной наружности. Юрковский положил локти на стол и задумчиво посмотрел на Ричардсона. Ричардсон пророкотал:

— Мне было бы очень приятно узнать, мистер Юрковский, что означают все эти странные действия.

— Вы обвиняетесь в ряде преступлений против международного трудового законодательства,— небрежно сказал Юрковский.

Мистер Ричардсон, необычайно удивившись, развел руками.

— Вы обвиняетесь в нарушении правовых норм космического пространства.

Изумлению мистера Ричардсона не было границ.

— Вы обвиняетесь в убийстве — пока непреднамеренном — шестнадцати рабочих и трех женщин.

— Я? — оскорбленно вскричал мистер Ричардсон.— Я обвиняюсь в убийстве?

— В том числе и в убийстве,— сказал Юрковский.— Я снимаю вас с должности, в ближайшее время вы будете арестованы и отправлены на Землю, где предстанете перед международным трибуналом. А сейчас я вас не задерживаю.

— Я уступаю грубой силе,— с достоинством сказал мистер Ричардсон.

— И правильно делаете,— сказал Юрковский.— Явитесь сюда через час и сдадите дела своему преемнику.

Ричардсон круто повернулся, подошел к двери и распахнул ее.

— Друзья мои! — громко сказал он.— Эти люди меня арестовали! Им не нравятся ваши высокие заработки! Они

хотят, чтобы вы работали по шесть часов и оставались нищими!

Юрковский с любопытством глядел на него. Хиггинс, расстегивая кобуру, понятился к столу. Ричардсона отнесло в сторону. В дверь ворвались ревущие молодчики, их сейчас же оттеснили, и кабинет быстро наполнился рабочими. Плотная стена серых комбинезонов и злобных, угрюмых лиц остановилась перед столом. Юрковский осмотрелся и увидел, что Жилин стоит справа от него, засунув руки в карманы, а Бэла, изогнувшись, стиснув руками спинку стула, не отрываясь, смотрит на мистера Ричардсона. Лицо его было гораздо более свирепое, чем лица самых озлобленных рабочих. «Плохо придется управляющему»,— мельком подумал Юрковский. Сержант Хиггинс с пистолетом в руке упирался дубинкой в грудь одного из рабочих и бормотал:

— Никаких незаконных действий, ребята, поспокойней, ребята, поспокойней...

Сквозь толпу протолкался облепленный пластырями Джошуа.

— Мы не хотим ни с кем ссориться, мистер инспектор,— прохрипел он, уставясь на Юрковского злобным глазом.— Но мы не допустим здесь этих ваших штучек.

— Каких штучек? — осведомился Юрковский.

— Мы прилетели сюда, чтобы заработать...

— А мы прилетели сюда, чтобы не дать вам сгнить заживо.

— А я говорю вам, что это не ваше дело! — заорал Джошуа. Он повернулся к толпе и спросил: — Верно, ребята!

— Уо-о-о! — заревела толпа, и в этот момент кто-то выстрелил.

За спиной Юрковского зазвенела, разлетаясь, витрина. Бэла застонал, с натугой поднял стул и обрушил его на голову мистера Ричардсона, который стоял в первом ряду, подняв глаза и молитвенно сложив руки. Жилин вынул руки из карманов и приготовился на кого-то прыгнуть. Джошуа испуганно отпрянул. Юрковский встал и сердито сказал:

— Какой дурак там стреляет? Чуть не попал в меня. Сержант, что вы стоите, как стул? Отберите у болвана оружие!

Хиггинс послушно полез в толпу. Жилин снова сунул

руки в карманы и присел на угол стола. Он посмотрел на Бэлу и засмеялся. Лицо Бэлы сияло блаженством. Он с наслаждением наблюдал за Ричардсоном. Двое молодчиков поднимали Ричардсона, злобно и растерянно поглядывая на Бэлу, на Юрковского и на рабочих. Глаза Ричардсона были закрыты, на высоком гладком лбу разливался темный кровоподтек.

— Кстати,— сказал Юрковский,— вообще сдайте все оружие, которое здесь есть. Это я вам говорю, дармоеды! С этого момента всякий, у кого будет обнаружено оружие, подлежит расстрелу на месте. Я облекаю комиссара Барабаша соответствующими полномочиями.

Жилин неторопливо обошел стол, вынул пистолет и протянул его Барабашу. Барабаш, пристально уставившись на ближайшего гангстера, медленно оттянул затвор. *В наступившей тишине затвор звонко щелкнул.* Вокруг гангстера мгновенно образовалось пустое пространство. Тот побледнел, вынул из заднего кармана пистолет и бросил на пол. Бэла пинком отшвырнул оружие в угол и повернулся к молодчику, поддерживавшему Ричардсона.

— Ты!

Молодчик опустил Ричардсона и, криво улыбаясь, покачал головой.

— У меня нет,— сказал он.

— Ну хорошо,— сказал Юрковский.— Сержант, помогите этим типам разоружиться. Вернемся к нашему разговору. Здесь нас прервали,— сказал он, обращаясь к Джошуа.— Вы, кажется, говорили, чтобы я не вмешивался в ваши дела, так?

— Так,— сказал Джошуа.— Мы свободные люди и сами пошли сюда, чтобы заработать. И нечего нам мешать. Мы вам не мешаем, и вы нам не мешайте.

— Вопрос о том, кто кому мешает, мы пока оставим,— сказал Юрковский.— А сейчас я хочу вам кое-что рассказать.— Он достал из кармана и бросил на стол несколько ослепительно сверкающих разноцветных камешков.— Вот так называемый космический жемчуг,— сказал он.— Вы все его хорошо знаете. Это обыкновенные драгоценные и полудрагоценные камни, которые здесь, на Бамберге, в течение очень долгого времени подвергались воздействию космического излучения и низких температур. Никаких особенных достоинств, если не считать очень красивого блеска, за ними не числится. Богатые дамочки

платят за них бешеные деньги, и на этой махровой глупости выросла ваша компания. Пользуясь спросом на эти камни, компания получает большие деньги.

— И мы тоже! — крикнули из толпы.

— И вы тоже,— согласился Юрковский.— Но вот в чем дело. За восемь лет существования компании на Бамберге отработали по трехгодичному контракту около двух тысяч человек. А знаете ли вы, сколько из тех, кто вернулся, осталось в живых? Меньше пятисот. Средний срок жизни рабочего после возвращения не превышает двух лет. Вы три года надрываете пуп тут, на Бамберге, только для того, чтобы потом два года гнить заживо на Земле. Это происходит прежде всего потому, что на Бамберге никогда не соблюдается постановление Международной комиссии, запрещающей работать в ваших шахтах больше шести часов в сутки. На Земле вы только лечитесь, страдаете оттого, что у вас нет детей, или рождаете уродов. Это преступление компании, но не о компании сейчас идет речь.

— Подождите,— сказал Джошуа и поднял руку.— Дайте и мне сказать. Все это мы уже слышали. Нам об этом прожужжал уши мистер комиссар. Не знаю, как другим, а мне нет дела до тех, кто помер. Я человек здоровый и помирать не собираюсь.

— Верно,— загудели в толпе.— Пусть сопляки помирают.

— Дети там, не дети — это мое дело. И лечиться тоже не вам, а мне. Слава богу, я давно уже совершеннолетний и отвечаю за свои поступки. Я не хочу слушать никаких речей. Вот вы отобрали оружие у гангстеров, я говорю: правильно. Найдите спиртогонов, закройте салун. Точно? — Он повернулся к толпе. В толпе неопределенно заговорили.— Что вы там бормочете? Я правильно говорю. Где это видано — за выпивку два доллара? Взяточников кое-каких к рукам приберите. Это тоже будет правильно. А в работу мою не вмешивайтесь. Я прилетел сюда, чтобы заработать, и я заработаю. Решил я открыть свое дело — и открою. А речи ваши мне ни к чему. За слова дом не купишь...

— Правильно, Джо! — закричали в толпе.

— А вот и неправильно,— сказал Юрковский. Он вдруг налился кровью и заорал: — Вы что же, думаете, вам так и дадут сдохнуть? Это вам, голубчики, не девятнадцатый век! Ваше дело, ваше дело...— Он снова заговорил нормальным голосом: — Вас здесь, дураков, от силы

четыреста человек. А нас — четыре миллиарда. И мы не хотим, чтобы вы умирали. И вы не умрете. Ладно, я не буду с вами говорить о вашей нищете духовной. Вам, как я вижу, этого не понять. Это только ваши дети поймут, если они у вас еще будут. Я буду говорить с вами на языке, который вам понятен. На языке закона. Человечество приняло закон, по которому запрещается загонять себя в гроб. Закон, понимаете вы? Закон! Отвечать по этому закону будет компания, а вы запомните вот что. Человечеству ваши шахты не нужны. Копи на Бамберге могут быть закрыты в любой момент, и все только вздохнут с облегчением. И имейте в виду: если комиссар МУКСа доложит хотя бы еще об одном случае каких-либо безобразий, все равно каких — сверхурочные, взятки, спирт, стрельба,— копи будут закрыты, а Бамберга будет смешана с космической пылью. Это закон, и я говорю вам это именем человечества.

Юрковский сел.

Плакали наши денежки,— громко сказал кто-то.

Толпа зашумела. Кто-то крикнул:

Значит, копи закрыть, а нас на улицу?

Юрковский встал.

Не говорите чепуху,— сказал он.— Что у вас за дурацкое представление о жизни? Столько работы на Земле и в космосе! Настоящей, действительно необходимой, всем нужной, понимаете? Не горстке сытых дамочек, а всем! У меня, кстати, есть к вам предложение от МУКСа — желающие могут в течение месяца рассчитаться с компанией и перейти на строительные и технические работы на других астероидах и на спутниках больших планет. Вот если бы вы все здесь дружно проголосовали закрыть эти вонючие копи, я бы сделал это сегодня же. А работы вам всегда будет выше головы.

— А сколько платят? — заорал кто-то.

Платят, конечно, раз в пять меньше,— ответил Юрковский.— Зато работа у вас будет на всю жизнь и хорошие друзья, настоящие люди, которые из вас тоже сделают настоящих людей! И здоровыми останетесь и будете участниками самого большого дела в мире.

— Какой интерес работать в чужом деле? — сказал Джошуа.

— Да, это нам не подходит,— заговорили в толпе.

Разве это бизнес?

— Всякий будет тебя учить, что можно, что нельзя...

— Так всю жизнь и промыкаешься в рабочих...

— Бизнесмены! — с невыразимым презрением сказал Юрковский.— Ну, пора кончать. Имейте в виду: этого господина,— он указал на мистера Ричардсона,— этого господина я арестовал, его будут судить. Выберите сейчас сами временного управляющего и сообщите мне. Я буду у комиссара Барабаша.

Джошуа мрачно сказал Юрковскому:

— Неправильный это закон, мистер инспектор. Разве можно не давать рабочим заработать? А вы, коммунисты, еще хвастаете, что вы за рабочих.

— Мой друг,— мягко сказал Юрковский,— коммунисты совсем за других рабочих. За рабочих, а не за хозяйчиков.

В комнате у Барабаша Юрковский вдруг хлопнул себя по лбу.

— Растяпа,— сказал он.— Я забыл камни на столе у управляющего.

Бэла засмеялся.

— Ну, теперь вы их больше не увидите,— сказал он.— Кто-то станет хозяйчиком.

— Черт с ними,— сказал Юрковский.— А первы у вас... э-э... Бэла, действительно... неважные.

Жилин захохотал:

— Как он его стулом!..

— А верно, гадкая рожа? — спросил Бэла.

— Нет, почему же? — сказал Жилин.— Очень культурный и обходительный человек.

Юрковский брюзгливо заметил:

— Вежливый паглец. А какие здесь помещения, товарищи, а? Какой дворец отгрохали, а смерть-планетчики живут в лифте! Нет, я этим займусь, я этого так не оставлю.

— Хотите обедать? — спросил Бэла.

— Нет, обедать пойдем на «Тахмасиб». Сейчас кончится вся эта канитель...

— Боже мой! — мечтательно сказал Бэла.— Посидеть за столом с нормальными хорошими людьми, не слышать ни о долларах, ни об акциях, ни о том, что все люди скоты... Владимир Сергеевич,— умоляюще сказал он,— прислали бы вы мне сюда хоть кого-нибудь.

— Потерпите еще немного, Бэла,— сказал Юрковский.— Эта лавочка скоро закроется.

— Кстати об акциях,— сказал Жилин.— Вот, наверное, сейчас в радиорубке бедлам...

— Наверняка,— сказал Бэла.— Продают и покупают очередь к радисту. Глаза на лоб, морды в мыле... Ой, когда же я отсюда выберусь!..

— Ладно, ладно,— сказал Юрковский.— Давайте я посмотрю все протоколы.

Бэла пошел к сейфу.

— Кстати, Бэла, получится здесь из кого-нибудь хоть более или менее порядочный управляющий?

Бэла копался в сейфе.

— Почему же,— сказал он.— Получится, конечно. Инженеры здесь люди в общем неплохие. Хозяйчики.

В дверь постучали. Вошел угрюмый, облепленный пластырем Джошуа.

— Пойдемте, мистер инспектор,— сказал он хмуро.

Юрковский, кряхтя, поднялся.

— Пойдемте,— сказал он.

Джошуа протянул ему открытую ладонь.

— Вы камни там забыли,— хмуро сказал он.— Я собрал. А то у нас тут народ разный.

10. «ТАХМАСИБ». ГИГАНТСКАЯ ФЛЮКТУАЦИЯ

Был час обычных предобеденных занятий. Юра изнывал над «Курсом теории металлов». Взъерошенный, невыспавшийся Юрковский вяло перелистывал очередной отчет. Время от времени он сладострастно зевал, деликатно прикрывая рот ладонью. Быков сидел в своем кресле и дочитывал последние журналы. Был двадцать четвертый день пути, где-то между орбитой Юпитера и Сатурном.

«Изменение кристаллической решетки кадмиевого типа в зависимости от температуры в области малых температур определяется, как мы видели, соотношением...» — читал Юра. Он подумал: «Интересно, что случится, когда у Алексея Петровича кончатся последние журналы?» Он вспомнил рассказ Колдуэлла, как парень в жаркий полдень сострогивал ножом маленькую палочку и как все ждали, что будет, когда палочка кончится. Он прыснул, и в тот же момент Юрковский резко повернулся к Быкову.

— Если бы ты знал, до чего мне все это надоело, Алексей,— сказал он,— до чего мне хочется размяться...

— Возьми у Жилина гантели,— посоветовал Быков.

— Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю,— сказал Юрковский.

— Догадываюсь,— проворчал Быков.— Давно уже догадываюсь.

— И что ты по этому поводу... э-э... думаешь?

— Неугомонный старик,— сказал Быков и закрыл журнал.— Тебе уже не двадцать пять лет. Что ты все время лезешь на рожон?

Юра с удовольствием стал слушать.

— Почему... э-э... на рожон? — удивился Юрковский.— Это будет небольшой, абсолютно безопасный поиск...

— А может быть, хватит? — сказал Быков.— Сначала абсолютно безопасный поиск в пещеру к пиявкам, потом безопасный поиск к смерть-планетчикам... Кстати, как *твоя печень*? *Наконец, совершенно фанфаронский налет на* Бамбергу.

— Позволь, но это был мой долг,— сказал Юрковский.

— Твой долг был вызвать управляющего на «Тахмасиб», мы вот здесь сообща намылили бы ему шею, пригрозили бы сжечь шахту реактором, попросили бы рабочих выдать нам гангстеров и самогонщиков — и все обошлось бы безо всякой дурацкой стрельбы. Что у тебя за манера из всех вариантов выбирать наиболее опасный?

— Что значит опасный? — сказал Юрковский.— Опасность — понятие субъективное. Тебе это представляется опасным, а мне — нисколько.

— Ну вот и хорошо,— сказал Быков.— Поиск в кольце Сатурна представляется мне опасным. И поэтому я не разрешу тебе этот поиск производить.

— Ну хорошо, хорошо,— сказал Юрковский.— Мы еще об этом поговорим.— Он раздраженно перевернул несколько листов отчета и снова повернулся к Быкову.— Иногда ты меня просто удивляешь, Алексей! — заявил он.— Если бы мне попался человек, который назвал бы тебя трусом, я бы размазал наглеца по стенам, но иногда я гляжу на тебя, и...— Он затряс головой и перевернул еще несколько страниц отчета.

— Есть храбрость дурацкая,— наставительно сказал Быков,— и есть храбрость разумная!

— Разумная храбрость — это катахреза![1] «Спокойствие горного ручья, прохлада летнего солнца» — как говорит Киплинг. «Безумству храбрых поем мы песню!..»

— Попели, и хватит,— сказал Быков.— В наше время надо работать, а не петь. Я не знаю, что такое катахреза, но разумная храбрость — это единственный вид храбрости, приемлемый в наше время. Безо всяких там этих... покойников. Кому нужен покойник Юрковский?

— Какой утилитаризм! — воскликнул Юрковский.— Я не хочу сказать, что прав только я! Но не забывай же, что существуют люди разных темпераментов. Вот мне, например, опасные ситуации просто доставляют удовольствие. Мне скучно жить просто так! И слава богу, я не один такой...

— Знаешь что, Володя,— сказал Быков.— В следующий раз возьми себе капитаном Баграта, если он к тому времени еще будет жив, и летай с ним хоть на Солнце. А я потакать твоим удовольствиям не намерен.

Оба сердито замолчали. Юра снова принялся читать: «Изменение кристаллической решетки кадмиевого типа в зависимости от температуры...» «Неужели Быков прав? — подумал он.— Вот скука-то, если он прав! Верно говорят, что самое разумное — самое скучное...»

Из рубки вышел Жилин с листком в руке. Он подошел к Быкову и сказал негромко:

— Вот, Алексей Петрович, это Михаил Антонович передает...

— Что это? — спросил Быков.

— Программа на киберштурман для рейса от Япета.

— Хорошо, оставь, я погляжу,— сказал Быков.

«Вот уже программа рейса от Япета,— подумал Юра.— Они полетят еще куда-то, а меня уже здесь не будет». Он грустно посмотрел на Жилина. Жилин был в той самой клетчатой рубахе с закатанными рукавами.

Юрковский неожиданно сказал:

— Ты вот что пойми, Алексей. Я уже стар. Через год, через два я навсегда уже останусь на Земле, как Дауге, как Миша... И может быть, нынешний рейс — моя последняя возможность. Почему ты не хочешь пустить меня?..

Жилин на цыпочках пересек кают-компанию и сел на диван.

---

[1] Катахреза — соединение несовместимых понятий.

— Я не хочу тебя пускать не столько потому, что это опасно,— медленно сказал Быков,— сколько из-за того, что это бессмысленно опасно. Ну что, Владимир, за бредовая идея — искусственное происхождение колец Сатурна! Это же старческий маразм, честное слово...

— Ты всегда был лишен воображения, Алексей,— сухо сказал Юрковский.— Космогония колец Сатурна не ясна, и я считаю, что моя гипотеза имеет не меньше прав на существование, чем любая другая, более, так сказать, рациональная. Я уже не говорю о том, что всякая гипотеза несет не только научную нагрузку. Гипотеза должна иметь и моральное значение — она должна будить воображение и заставлять людей думать...

— При чем здесь воображение? — сказал Быков.— Это же чистый расчет. Вероятность прибытия пришельцев именно в Солнечную систему мала. Вероятность того, что им взбредет в голову разрушать спутники и строить из них кольцо, я думаю, еще меньше...

— Что мы знаем о вероятностях? — провозгласил Юрковский.

— Ну хорошо, допустим, ты прав,— сказал Быков.— Допустим, что действительно в незапамятные времена в Солнечную систему прибыли пришельцы и зачем-то устроили искусственное кольцо около Сатурна. Отметились, так сказать. Но неужели ты рассчитываешь найти подтверждение своей гипотезе в этом первом и единственном поиске в кольце?

— Что мы знаем о вероятностях? — повторил Юрковский.

— Я знаю одно,— сердито сказал Быков,— что у тебя нет совершенно никаких шансов и вся эта затея безумна.

Они снова замолчали, и Юрковский взялся за отчет. У него было очень грустное и очень старое лицо. Юре стало его невыносимо жалко, но он не знал, как помочь. Он посмотрел на Жилина. Жилин сосредоточенно думал. Юра посмотрел на Быкова. Быков делал вид, что читает журнал. По всему было видно, что ему тоже очень жалко Юрковского.

Жилин вдруг сказал:

— Алексей Петрович, а почему вы считаете, что если шансы малы, то и надеяться не на что?

Быков опустил журнал.

— А ты думаешь иначе?

— Мир велик,— сказал Жилин.— Мне очень понравились слова Владимира Сергеевича: «Что мы знаем о вероятностях?»

— Ну и чего же мы не знаем о вероятностях? — спросил Быков.

Юрковский, не поднимая глаз от отчета, насторожился.

— Я вспомнил одного человека,— сказал Жилин.— У него была очень любопытная судьба...— Жилин в нерешительности остановился.— Может, я мешаю вам, Владимир Сергеевич?

— Рассказывай,— потребовал Юрковский и решительно захлопнул отчет.

— Это займет некоторое время,— предупредил Жилин.

— Тем лучше,— сказал Юрковский.— Рассказывай.

И Жилин начал рассказывать.

Рассказ о гигантской флюктуации

Я был тогда еще совсем мальчишкой и многого тогда не понял и многое забыл — может быть, самое интересное. Была ночь, и лица этого человека я так и не видел. А голос у него был самый обыкновенный, немножко печальный и сиплый, и он изредка покашливал, словно от смущения. Словом, если нам случится встретиться еще раз где-нибудь на улице или, скажем, в гостях, я его, скорее всего, не узнаю.

Встретились мы на пляже. Я только что искупался и сидел на камне. Потом я услышал, как позади посыпалась галька — это он спускался с насыпи,— запахло табачным дымом, и он остановился рядом со мной. Как я уже сказал, дело было ночью. Небо было покрыто облаками, и на море начинался шторм. Вдоль пляжа дул сильный теплый ветер. Незнакомец курил. Ветер высекал у него из папиросы длинные оранжевые искры, которые неслись и пропадали над пустынным пляжем. Это было очень красиво, и я это хорошо помню. Мне было всего шестнадцать лет, и я даже не думал, что он заговорит со мной. Но он заговорил. Начал он очень странно.

— Мир полон удивительных вещей,— сказал он.

Я решил, что он просто размышляет вслух, и промолчал. Я обернулся и посмотрел на него, но ничего не увидел: было слишком темно. А он повторил:

— Мир полон удивительных вещей...— И затем затянулся, осыпав меня дождем искр.

Я снова промолчал: я был тогда стеснительный. Он докурил папиросу, закурил новую и присел на камни рядом со мной. Время от времени он принимался что-то бормотать, но шум воды скрадывал слова, и я слышал только неразборчивое ворчание. Наконец он заявил громко:

— Нет, это уже слишком. Я должен это кому-нибудь рассказать.

И обратился прямо ко мне, впервые с момента своего появления:

— Не откажитесь выслушать меня, пожалуйста.

Я, конечно, не отказался. Он сказал:

— Только я вынужден буду начать издалека, потому что, если я сразу расскажу вам, в чем дело, вы не поймете и не поверите. А мне очень важно, чтобы мне поверили. Мне никто не верит, а теперь это зашло так далеко...

Он помолчал и сообщил:

— Это началось еще в детстве. Я начал учиться играть на скрипке и разбил четыре стакана и блюдце.

— Как это так? — спросил я. Я сразу вспомнил какой-то анекдот, где одна дама говорит другой: «Вы представляете, вчера дворник бросал нам дрова и разбил люстру». Есть такой старый анекдот.

Незнакомец этак грустно рассмеялся и сказал:

— Вот представьте себе. В течение первого же месяца обучения. Уже тогда мой преподаватель сказал, что он в жизни не видел ничего подобного.

Я промолчал, но тоже подумал, что это должно было выглядеть довольно страшно. Я представил себе, как он размахивает смычком и время от времени попадает в буфет. Это действительно могло завести его довольно далеко.

— Это известный физический закон,— пояснил он неожиданно.— Явление резонанса.— И он, не переводя дыхания, изложил мне соответствующий анекдот из школьной физики, как через мост шла в ногу колонна солдат и мост рухнул. Потом он объяснил мне, что стаканы и блюдца тоже можно дробить резонансом, если подобрать звуковые колебания соответствующих частот. Должен сказать, что именно с тех пор я начал отчетливо понимать, что звук — это тоже колебания.

Незнакомец объяснил мне, что резонанс в обыденной жизни (в домашнем хозяйстве, как он выражался) вещь необычайно редкая, и очень восхищался тем, что

какой-то древний правовой кодекс учитывает такую ничтожную возможность и предусматривает наказание владельцу того петуха, который своим криком расколет кувшин у соседа.

Я согласился, что это действительно, должно быть, редкое явление. Я лично никогда ни о чем таком не слыхал.

— Очень, очень редкое,— сказал он.— А я вот своей скрипкой разбил за месяц четыре стакана и блюдце. Но это было только начало.

Он закурил очередную папиросу и сообщил:

— Очень скоро мои родители и знакомые отметили, что я нарушаю закон бутерброда.

Тут я решил не ударить в грязь лицом и сказал:

— Странная фамилия.

— Какая фамилия? — спросил он.— Ах, закон? Нет, это не фамилия. Это... как бы вам сказать... нечто шутливое. Знаете, есть целая группа поговорок: чего боялся, на то и нарвался... Бутерброд всегда падает маслом вниз... В том смысле, что плохое случается чаще, чем хорошее. Или в наукообразной форме: вероятность желательного события всегда меньше половины.

— Половины чего? — спросил я и тут же понял, что сморозил глупость. Он очень удивился моему вопросу.

— Разве вы не знакомы с теорией вероятностей? — спросил он.

Я ответил, что мы этого еще не проходили.

— Так тогда вы ничего не поймете,— сказал он разочарованно.

— А вы объясните,— сердито сказал я, и он покорно принялся объяснять. Он объявил, что вероятность — это количественная характеристика возможности наступления того или иного события.

— А при чем здесь бутерброды? — спросил я.

— Бутерброд может упасть или маслом вниз, или маслом вверх,— сказал он.— Так вот, вообще говоря, если вы будете бросать бутерброд наудачу, случайным образом, то он будет падать то так, то эдак. В половине случаев он падает маслом вверх, в половине — маслом вниз. Понятно?

— Понятно,— сказал я. Почему-то я вспомнил, что еще не ужинал.

— В таких случаях говорят, что вероятность желаемого исхода равна половине — одной второй.

Дальше он рассказал, что если бросать бутерброд, например, сто раз, то он может упасть маслом вверх не пятьдесят раз, а пятьдесят пять или двадцать и что, только если бросать его очень долго, масло вверху окажется приблизительно в половине всех случаев. Я представлял себе этот несчастный бутерброд с маслом (и может быть, даже с икрой) после того, как его бросали тысячу раз на пол, пусть даже на не очень грязный, и спросил, что неужели действительно были люди, которые этим занимались. Он стал рассказывать, что для этих целей пользовались в основном не бутербродами, а монетой, как в игре в орлянку, и начал объяснять, как это делалось, забираясь во все более глухие дебри, и скоро я совсем перестал его понимать, и сидел, глядя в хмурое небо, и думал, что, вероятно, пойдет дождь. Из этой первой лекции по теории вероятностей я запомнил только полузнакомый термин «математическое ожидание». Незнакомец употреблял этот термин неоднократно, и каждый раз я представлял себе большое помещение, вроде зала ожидания, с кафельным полом, где сидят люди с портфелями и бюварами и, подбрасывая время от времени к потолку монетки и бутерброды, чего-то сосредоточенно ожидают. До сих пор я часто вижу это во сне. Но тут незнакомец оглушил меня звонким термином «предельная теорема Муавра — Лапласа» и сказал, что все это к делу не относится.

— Я, знаете ли, совсем не об этом хотел вам рассказать,— проговорил он голосом, лишенным прежней живости.

— Простите, вы, вероятно, математик? — спросил я.

— Нет,— ответил он уныло.— Какой я математик? Я флюктуация.

Из вежливости я промолчал.

— Да, так я вам, кажется, еще не рассказал своей истории,— вспомнил он.

— Вы говорили о бутербродах,— сказал я.

— Это, знаете ли, первым заметил мой дядя,— продолжал он.— Я был, знаете ли, рассеян и часто ронял бутерброды. И бутерброды у меня всегда падали маслом вверх.

— Ну и хорошо,— сказал я.

Он горестно вздохнул:

— Это хорошо, когда изредка... А вот когда всегда! Вы понимаете — всегда!

Я ничего не понимал и сказал ему об этом.

— Мой дядя немного знал математику и увлекался теорией вероятностей. Он посоветовал мне попробовать бросать монетку. Мы ее бросали вместе. Я сразу тогда даже не понял, что я конченый человек, а мой дядя это понял. Он так и сказал мне тогда: «Ты конченый человек!»

Я по-прежнему ничего не понимал.

— В первый раз я бросил монетку сто раз, и дядя сто раз. У него орел выпал пятьдесят три раза, а у меня девяносто восемь. У дяди, знаете ли, глаза на лоб вылезли. И у меня тоже. Потом я бросил монетку еще двести раз, и, представьте себе, орел у меня выпал сто девяносто шесть раз. Мне уже тогда следовало понять, чем такие вещи должны кончиться. Мне надо было понять, что когда-нибудь наступит и сегодняшний вечер! — Тут он, кажется, всхлипнул.— Но тогда я, знаете ли, был слишком молод, моложе вас. Мне все это представлялось очень интересным. Мне казалось очень забавным чувствовать себя средоточием всех чудес на свете.

— Чем? — изумился я.

— Э-э-э... средоточием чудес. Я не могу другого слова подобрать, хотя и пытался.

Он немножко успокоился и принялся рассказывать все по порядку, беспрерывно куря и покашливая. Рассказывал он подробно, старательно описывая все детали и неизменно подводя научную базу под все излагаемые события. Он поразил меня если не глубиной, то разносторонностью своих знаний. Он осыпал меня терминами из физики, математики, термодинамики и кинетической теории газов, так что потом, уже став взрослым, я часто удивлялся, почему тот или иной термин кажется мне таким знакомым. Зачастую он пускался в философские рассуждения, а иногда казался просто несамокритичным. Так, он неоднократно величал себя феноменом, чудом природы и гигантской флюктуацией. Тогда я понял, что это не профессия. Он мне заявил, что чудес не бывает, а бывают только весьма маловероятные события.

— В природе,— наставительно говорил он,— наиболее вероятные события осуществляются наиболее часто, а наименее вероятные осуществляются гораздо реже.

Он имел в виду закон неубывания энтропии, но тогда для меня все это звучало веско. Потом он попытался мне объяснить понятия наивероятнейшего состояния и флюктуации. Мое воображение потряс тогда этот известный

пример с воздухом, который весь собрался в одной половине комнаты.

— В этом случае,— говорил он,— все, кто сидел в другой половине, задохнулись бы, а остальные сочли бы происшедшее чудом. А это отнюдь не чудо, это вполне реальный, но необычайно маловероятный факт. Это была бы гигантская флюктуация — ничтожно вероятное отклонение от наиболее вероятного состояния.

По его словам, он и был таким отклонением от наиболее вероятного состояния. Его окружали чудеса. Увидеть, например, двенадцатикратную радугу было для него пустяком — он видел ее шесть или семь раз.

— Я побью любого синоптика-любителя,— удрученно хвастался он.— Я видел полярные сияния в Алма-Ате, Брокенское видение на Кавказе и двадцать раз наблюдал знаменитый зеленый луч, или «меч голода», как его называют. Я приехал в Батуми, и там началась засуха. Тогда я отправился путешествовать в Гоби, и трижды попал там под тропический ливень.

За время обучения в школе и в вузе он сдал множество экзаменов и каждый раз вытаскивал билет номер пять. Однажды он сдавал спецкурс, и было точно известно, что будет всего четыре билета — по числу сдающих,— и он все-таки вытащил билет номер пять, потому что за час до экзамена преподаватель вдруг решил добавить еще один билет. Бутерброды продолжали у него падать маслом вверх. («На это я, по-видимому, обречен до конца жизни,— сказал он.— Это всегда будет мне напоминать, что я не какой-нибудь обыкновенный человек, а гигантская флюктуация».) Дважды ему случалось присутствовать при образовании больших воздушных линз («Это макроскопические флюктуации плотности воздуха»,— непонятно объяснил он), и оба раза эти линзы зажигали спичку у него в руках.

Все чудеса, с которыми он сталкивался, он делил на три группы: на приятные, неприятные и нейтральные. Бутерброды маслом вверх, например, относились к первой группе. Неизменный насморк, регулярно и независимо от погоды начинающийся и кончающийся первого числа каждого месяца, относился ко второй группе. К третьей группе относились разнообразные редчайшие явления природы, которые имели честь происходить в его присутствии. Однажды в его присутствии произошло нарушение второго закона термодинамики: вода в сосуде с цветами неожи-

данно принялась отнимать тепло от окружающего воздуха и довела себя до кипения, а в комнате выпал иней. («После этого я ходил как пришибленный и до сих пор, знаете ли, пробую воду пальцем, прежде чем ее, скажем, пить...») Неоднократно к нему в палатку — он много путешествовал — залетали шаровые молнии и часами висели под потолком. В конце концов он привык к этому и использовал шаровые молнии как электрические лампочки: читал.

— Вы знаете, что такое метеорит? — спросил он неожиданно.

Молодость склонна к плоским шуткам, и я ответил, что метеориты — это падающие звезды, которые не имеют ничего общего со звездами, которые не падают.

— Метеориты иногда попадают в дома,— задумчиво сказал он.— Но это очень редкое событие. И зарегистрирован только один, знаете ли, случай, когда метеорит попал в человека. Единственный, знаете ли, в своем роде случай...

— Ну и что? — спросил я.

Он наклонился ко мне и прошептал:

— Так этот человек — я!

— Вы шутите! — сказал я, вздрогнув.

— Нисколько,— грустно сказал он.

Оказалось, что все это произошло на Урале. Он шел пешком через горы, остановился на минутку, чтобы завязать шнурок на ботинке. Раздался резкий шелестящий свист, и он ощутил толчок в заднюю часть тела и боль от ожога.

— На штанах была вот такая дыра,— рассказывал он.— Кровь текла, знаете ли, но не сильно. Жалко, что сейчас темно, я бы показал вам шрам.

Он подобрал там несколько подозрительных камешков и хранил их в своем столе — может быть, один из них и есть тот метеорит.

Случались с ним вещи совершенно необъяснимые с научной точки зрения. По крайней мере пока, при нынешнем уровне науки. Так, однажды ни с того ни с сего он стал источником мощного магнитного поля. Выразилось это в том, что все предметы из ферромагнетиков, находившиеся в комнате, сорвались с места и по силовым линиям ринулись на него. Стальное перо вонзилось ему в щеку, что-то больно ударило по голове и по спине. Он закрылся руками, дрожа от ужаса, с ног до головы облепленный

ножами, вилками, ложками, ножницами, и вдруг все кончилось. Явление длилось не больше десяти секунд, и он совершенно не знал, как его можно объяснить.

В другой раз, получив письмо от приятеля, он после первой же строчки, к изумлению своему, обнаружил, что совершенно такое же письмо получал уже несколько лет назад. Он вспомнил даже, что на оборотной стороне, рядом с подписью, должна быть большая клякса. Перевернув письмо, он действительно увидел кляксу.

— Все эти вещи не повторялись больше,— печально сообщил он.— Я считал их самыми замечательными в своей коллекции. Но только, знаете ли, до сегодняшнего вечера.

Он вообще очень часто прерывал свою речь, для того чтобы заявить: «Все это, знаете ли, было бы очень хорошо, но вот сегодня... Это уже слишком, уверяю вас».

— А вам не кажется,— спросил я,— что вы представляете интерес для науки?

— *Я думал об этом,— сказал он.— Я писал. Я, знаете* ли, предлагал. Мне никто не верит. Даже родные не верят. Только дядя верил, но теперь он умер. Все считают меня оригиналом и неумным шутником. Я просто не представляю себе, что они будут думать после сегодняшнего события.— Он вздохнул и бросил окурок.— Да, может быть, это и к лучшему, что мне не верят. Предположим, что мне бы кто-нибудь поверил. Создали бы комиссию, она бы за мной везде ходила и ждала чудес. А я человек от природы нелюдимый, а тут еще от всего этого характер у меня испортился совершенно. Иногда не сплю по ночам — боюсь.

Насчет комиссии я был с ним согласен. Ведь и в самом деле, он не мог вызывать чудеса по своему желанию. Он был только средоточием чудес, точкой пространства, как он говорил, где происходят маловероятные события. Без комиссии и наблюдения не обошлось бы.

— Я писал одному известному ученому,— продолжал он.— В основном, правда, о метеорите и о воде в вазе. Но он, знаете ли, отнесся к этому юмористически. Он ответил, что метеорит упал вовсе не на меня, а на одного, кажется японского, шофера. И он очень язвительно посоветовал мне обратиться к врачу. Меня очень заинтересовал этот шофер. Я подумал, что он, может быть, тоже гигантская флюктуация — вы сами понимаете, это возможно. Но оказалось, что он умер много лет назад. Да, знаете ли...— Он

задумался.— А к врачу я все-таки пошел. Оказалось, что я с точки зрения медицины ничего особенного не представляю. Но он нашел у меня некоторое расстройство нервной системы и послал сюда, на курорт. И я поехал. Откуда я мог знать, что здесь произойдет? — Он вдруг схватил меня за плечо и прошептал: — Час назад у меня улетела знакомая!

Я не понял.

— Мы прогуливались там, наверху, по парку. В конце концов, я же человек, и у меня были самые серьезные намерения. Мы познакомились в столовой, пошли прогуляться в парк, и она улетела.

— Куда? — закричал я.

— Не знаю. Мы шли, вдруг она вскрикнула, ойкнула, оторвалась от земли и поднялась в воздух. Я опомниться не успел, только схватил ее за ногу, и вот...

Он ткнул мне в руку какой-то твердый предмет. Это была босоножка, обыкновенная светлая босоножка среднего размера.

— Вы понимаете, это же совершенно невозможно,— бормотал феномен.— Хаотическое движение молекул тела, броуновское движение частиц живого коллоида стало упорядоченным, ее оторвало от земли и унесло совершенно не представляю куда. Очень, очень маловероятно... Вы мне теперь только скажите, должен я считать себя убийцей?

Я был потрясен и молчал. В первый раз мне пришло в голову, что он, наверное, все выдумал. А он сказал с тоской:

— И дело, знаете ли, даже не в этом. В конце концов, она, может быть, зацепилась где-нибудь за дерево. Ведь я не стал искать, потому что побоялся, что не найду. Но вот, знаете ли... Раньше все эти чудеса касались только меня. Я не очень любил флюктуации, но флюктуации, знаете ли, очень любили меня. А теперь? Если этакие штуки начнут происходить и с моими знакомыми?.. Сегодня улетает девушка, завтра проваливается сквозь землю сотрудник, послезавтра... Да вот, например, вы. Ведь вы сейчас ни от чего не застрахованы.

Это я уже понял сам, и мне стало удивительно интересно и жутко. «Вот здорово! — подумал я.— Скорее бы!» Мне вдруг показалось, что я взлетаю, и я вцепился руками в камень над собой. Незнакомец вдруг встал.

— Вы знаете, я лучше пойду,— сказал он жалобно.—

Не люблю я бессмысленных жертв. Вы сидите, а я пойду. Как это мне раньше в голову не пришло!

Он торопливо пошел вдоль берега, оступаясь на камнях, а потом вдруг крикнул издали:

— Вы уж извините меня, если с вами что случится! Ведь это от меня не зависит!

Он уходил все дальше и дальше и скоро превратился в маленькую черную фигурку на фоне чуть фосфоресцирующих волн. Мне показалось, что он размахнулся и бросил в волны что-то белое. Наверное, это была босоножка. Вот так мы с ним и расстались.

К сожалению, я не смог бы узнать его в толпе. Разве что случилось бы какое-нибудь чудо. Я никогда и ничего больше не слыхал о нем, и, по-моему, ничего особенного в то лето на морском побережье не случилось. Вероятно, его девушка все-таки зацепилась за какой-нибудь сук и они потом пожепились. Ведь у него были самые серьезные намерения. Я знаю только одно: если когда-нибудь, пожимая руку новому знакомому, я вдруг почувствую, что становлюсь источником мощного магнитного поля, и вдобавок замечу, что новый знакомец много курит, часто покашливает, этак «кхым-кхум», значит это, знаете ли, он, феномен, средоточие чудес, гигантская флюктуация.

Жилин закончил рассказ и победоносно оглядел слушателей. Юре рассказ понравился, но он, как всегда, так и не понял, выдумал все это Жилин или рассказывал правду. На всякий случай он в течение всего рассказа скептически усмехался.

— Прелестно,— сказал Юрковский.— Но больше всего мне нравится мораль.

— Что же это за мораль? — сказал Быков.

— Мораль такова,— объяснил Юрковский.— Нет ничего невозможного, есть только маловероятное.

— И кроме того,— сказал Жилин,— мир полон удивительных вещей — это раз. И два: что мы знаем о вероятностях?

— Вы мне тут зубы не заговаривайте,— сказал Быков и встал.— Тебе, Иван, я вижу, не дают покоя писательские лавры Михаила Антоновича. Рассказ этот можешь вставить в свои мемуары.

— Обязательно вставлю,— сказал Жилин.— Правда хороший рассказ?

— Спасибо, Ванюша,— сказал Юрковский.— Ты меня отлично рассеял. Интересно, как это у него могло появиться электромагнитное поле?

— Магнитное,— поправил Жилин.— Он говорил мне о магнитном.

— М-да,— сказал Юрковский и задумался.

После ужина они остались в кают-компании втроем. Сменившийся с вахты Михаил Антонович с наслаждением забрался в быковское кресло почитать на сон грядущий «Повесть о принце Гэндзи», а Юра с Жилиным устроились перед экраном магнитовизора поглядеть что-нибудь легкое. Свет в кают-компании был притушен, только переливались на экране глухими мрачными красками страшные джунгли, по которым шли первооткрыватели, да поблескивала в углу под бра глянцевитая лысина штурмана. И было совсем тихо.

Жилин «Первооткрывателей» уже видел, гораздо интереснее ему было смотреть на Юру и штурмана. Юра глядел на экран не отрываясь и только иногда нетерпеливо поправлял на голове тонкий обруч фонодемонстратора. Первооткрыватели страшно нравились ему, а Жилин посмеивался про себя и думал, до чего же нелеп и примитивен этот фильм, особенно если смотреть его не в первый раз и тебе уже за тридцать. Эти подвиги, похожие на упоенное самоистязание, нелепые с начала и до конца, и этот командир Сандерс, которого бы немедленно сместить, намылить ему шею и отправить назад на Землю архивариусом, чтобы не сходил с ума и не губил невинных людей, не имеющих права ему противоречить. И в первую очередь прикончить бы эту истеричку — Прасковину, кажется,— послать ее в джунгли одну, раз уж у нее так пятки чешутся. Ну и экипаж подобрался! Сплошные самоубийцы с инфантильным интеллектом. Доктор был неплох, но автор прикончил его в самом начале, видимо, чтобы никто не мешал идиотскому замыслу ополоумевшего командира.

Самое забавное, что Юра все это, конечно, не может не видеть, но попробуй вот оторвать его сейчас от экрана и засадить, скажем, за того же «Принца Гэндзи»!.. Издавна так повелось и навсегда, наверное, останется, что каждый нормальный юноша до определенного возраста будет предпочитать драму погони, поиска, без-

заветного самоистребления драме человеческой души, тончайшим переживаниям, сложнее, увлекательнее и трагичнее которых нет ничего в мире... О, конечно, он подтвердит, что Лев Толстой велик, как памятник человеческой душе, что Голсуорси монументален и замечателен как социолог, а Дмитрий Строгов не знает себе равных в исследовании внутреннего мира нового человека. Но все это будут слова, пришедшие извне. Настанет, конечно, время, когда он будет потрясен, увидев князя Андрея живого среди живых, когда он задохнется от ужаса и жалости, поняв до конца Сомса, когда он ощутит великую гордость, разглядев ослепительное солнце, что горит в невообразимо сложной душе строговского Токмакова... Но это случится позже, после того, как он накопит опыт собственных душевных движений.

Другое дело — Михаил Антонович. Вот он поднял голову и уставился маленькими глазками в темноту комнаты, и сейчас перед ним, конечно, далекий красавец в странной одежде и странной прическе, с ненужным мечом за поясом, тонкий и насмешливый грешник, японский донжуан — именно такой, каким он выскочил в свое время из-под пера гениальной японки в пышном и грязном хэйанском дворце и отправился невидимкой гулять по свету, пока не нашлись и для него такие же гениальные переводчики. И Михаил Антонович видит его сейчас так, словно нет между ними девяти веков и полутора миллиардов километров, и видит его только он, а Юре пока это не дано, будет дано только лет через пять, когда войдут в Юрину жизнь и Токмаков, и Форсайты, и Катя с Дашей, и многие, многие другие...

Последний первооткрыватель умер под водруженным флагом, и экран погас. Юра стащил с затылка фонодемонстратор и задумчиво произнес:

— Да, отлично сделан фильм.

— Прелесть,— серьезно откликнулся Жилин.

— Какие люди, а? — Юра дернул себя за хохол на макушке.— Как стальной клинок... Герои последнего шага. Только Прасковина какая-то неестественная.

— Н-да, пожалуй...

— Но зато Сандерс! До чего же он похож на Владим Сергеича!

— Мне они все напоминают Владим Сергеича,— сказал Жилин.

— Ну что вы! — Юра оглянулся, увидел Михаила

Антоновича и перешел на шепот: — Конечно, все они настоящие, чистые, но...

— Пойдем-ка лучше ко мне,— предложил Жилин.

Они вышли из кают-компании и направились к Жилину. Юра говорил:

— Все они хороши, я не спорю, но Владимир Сергеевич — это, конечно, совсем другое, он мощнее их как-то, значительнее...

Они вошли в комнату. Жилин сел и стал смотреть на Юру. Юра говорил:

— А какое болото! Как это все изумительно сделано: коричневая жижа с громадными белыми цветами, и блестящая скользкая шкура чья-то в тине, и крики джунглей...— Он замолчал.— Ваня,— сказал он осторожно,— а вам, я вижу, картина не очень?..

— Ну что ты! — сказал Жилин.— Просто я уже видел ее, да и староват я для всех этих болот, Юрик. Я по ним хаживал и знаю, что там на самом деле...

Юра пожал плечами. Он был недоволен.

— Право же, дружище, не в болотах суть.— Жилин откинулся на спинку кресла и принял любимую позу: закинул голову, сцепил пальцы на затылке и растопырил локти.— И не подумай, пожалуйста, что я намекаю на разницу в наших годах. Нет. Это ведь неправда, что бывают дети и бывают взрослые. Все на самом деле сложнее. Бывают взрослые и взрослые. Вот, например, ты, я и Михаил Антонович. Стал бы ты сейчас в трезвом уме и здравой памяти читать «Повесть о Гэндзи»? Вижу ответ твой на лице твоем. А Михаил Антонович перечитывает сейчас «Гэндзи» чуть ли не пятый раз, а я впервые почувствовал прелесть его только в этом году...— Жилин помолчал и пояснил: — Прелесть этой книги, конечно. Прелесть Михаила Антоновича я почувствовал гораздо раньше.

Юра с сомнением смотрел на него.

— Я, разумеется, знаю, что это классика и все такое,— сообщил он.— Но читать «Гэндзи» пять раз я бы не стал. Там все запутано, усложнено... А жизнь по сути своей проста, много проще, чем ее изображают в таких книгах.

— А жизнь по сути своей сложна,— сказал Жилин.— Много сложнее, чем описывают ее такие фильмы, как «Первооткрыватели». Если хочешь, мы попробуем разобраться. Вот командир Сандерс. У него есть жена и сын.

У него есть друзья. И все же как легко он идет на смерть! У него есть совесть. И как легко он ведет на смерть своих людей...

— Он забыл обо всем этом, потому что...

— Об этом, Юрик, не забывают никогда. И главным в фильме должно быть не то, что Сандерс геройски погиб, а то, как он сумел заставить себя забыть. Ведь гибель-то была верной, дружище. Этого в кино нет, поэтому все кажется простым. А если бы это было, фильм показался бы тебе скучнее...

Юра молчал.

— Ну-с? — сказал Жилин.

— Может быть,— неохотно проговорил Юра.— Но мне все-таки кажется, что на жизнь надо смотреть проще.

— Это пройдет,— пообещал Жилин.

Они помолчали. Жилин, прищурясь, глядел на лампу. Юра сказал:

— Есть трусость, есть подвиг, есть работа — интересная и неинтересная. Надо ли все это перепутывать и выдавать трусость за подвиг и наоборот?

— А кто же перепутывает, кто этот негодяй? — вскричал Жилин.

Юра засмеялся.

— Я просто схематически представил, как это бывает в некоторых книгах. Возьмут какого-нибудь типа, напустят вокруг слюней, и потом получается то, что называют изящным парадоксом или противоречивой фигурой. А он — тип типом. Тот же Гэндзи.

— Все мы немножко лошади,— проникновенно сказал Жилин.— Каждый из нас по-своему лошадь. Это жизнь все перепутывает. Ее величество жизнь. Эта благословенная негодяйка. Жизнь заставляет гордого Юрковского упрашивать непримиримого Быкова. Жизнь заставляет Быкова отказывать своему лучшему другу. Кто же из них лошадь, то бишь тип? Жизнь заставляет Жилина, который целиком согласен с железной линией Быкова, сочинять сказочку о гигантской флюктуации, чтобы хоть так выразить свой протест против самой непоколебимости этой линии. Жилин тоже тип. Весь в слюнях, и никакого постоянства убеждений. А знаменитый вакуум-сварщик Бородин? Не он ли видел смысл жизни в том, чтобы положить живот на подходящий алтарь? И кто поколебал его — не логикой, а просто выражением лица? Растленный кабатчик с Дикого запада. Поколебал ведь, а?

— Н-ну... в каком-то смысле...

— Ну не тип ли этот Бородин? Ну не проста ли жизнь? Выбрал себе принцип — и валяй. Но принципы тем и хороши, что они стареют. Они стареют быстрее, чем человек, и человеку остаются только те, что продиктованы самой историей. Например, в наше время история жестко объявила Юрковским: баста! Никакие открытия не стоят одной-единственной человеческой жизни. Рисковать жизнью разрешается только ради жизни. Это придумали не люди. Это продиктовала история, а люди только сделали эту историю. Но там, где общий принцип сталкивается с принципом личным,— там кончается жизнь простая и начинается сложная. Такова жизнь.

— Да,— сказал Юра.— Наверное.

Они замолчали, и Жилин опять ощутил мучительное чувство раздвоенности, не оставлявшее его вот уже несколько лет. Как будто каждый раз, когда он уходил в рейс, на Земле остается какое-то необычайно важное дело, *самое важное для людей, необычайно важное, важнее всей* остальной Вселенной, важнее самых замечательных творений рук человеческих.

На Земле оставались люди, молодежь, дети. Там оставались миллионы и миллионы таких вот Юриков, и Жилин чувствовал, что может здорово помочь им, хотя бы некоторым из них. Все равно где. В школьном интернате. Или в заводском клубе. Или в Доме пионеров. Помочь им входить в жизнь, помочь найти себя, определить свое место в мире, научить хотеть сразу многого, научить хотеть работать взахлеб.

Научить не кланяться авторитетам, а исследовать их и сравнивать их поучения с жизнью.

Научить настороженно относиться к опыту бывалых людей, потому что жизнь меняется необычайно быстро.

Научить презирать мещанскую мудрость.

Научить, что любить и плакать от любви не стыдно.

Научить, что скептицизм и цинизм в жизни стоят дешево, что это много легче и скучнее, нежели удивляться и радоваться жизни.

Научить доверять движениям души своего ближнего.

Научить, что лучше двадцать раз ошибиться в человеке, чем относиться с подозрением к каждому.

Научить, что дело не в том, как на тебя влияют другие, а в том, как ты влияешь на других.

И научить их, что один человек ни черта не стоит. Юра вздохнул и сказал:

— Давайте, Ваня, в шахматы сыграем.

— Давай,— сказал Жилин.

11. ДИОНА. НА ЧЕТВЕРЕНЬКАХ

Директора обсерватории на Дионе Юрковский знал давно, еще когда тот был аспирантом в Институте планетологии. Владислав Кимович Шершень слушал тогда у Юрковского спецкурс «Планеты-гиганты». Юрковский его *помнил* и *любил* за дерзость ума и исключительную целенаправленность.

Шершень вышел встречать старого наставника прямо в кессон.

— Не ожидал, не ожидал,— говорил он, ведя Владимира Сергеевича под локоток к своему кабинету.

Шершень был уже не тот. Не было больше стройного черноволосого парня, всегда загорелого и немного сумрачного. Шершень стал бледен, он облысел, располнел и все время улыбался.

— Вот не ожидал! — повторял он с удовольствием.— Как же это вы к нам надумали, Владимир Сергеевич? И никто нам не сообщил...

В кабинете он усадил Юрковского за свой стол, сдвинув в сторону пружинный пресс с кипой фотокорректуры, а сам сел на табурет напротив. Юрковский озирался, благожелательно кивал. Кабинет был невелик и гол. Настоящее рабочее место ученого на межпланетной станции. И сам Владислав был под стать этому месту. На нем был поношенный, но выглаженный комбинезон с подвернутыми рукавами, полное лицо было тщательно выбрито, а жиденькая полуседая прядь на макушке аккуратно причесана.

— А вы постарели, Владислав,— сказал Юрковский с сожалением.— И... э-э... фигура не та. Ведь вы спортсменом были, Владислав.

— Шесть лет здесь почти безвыездно, Владимир Сергеевич,— сказал Шершень.— Тяжесть здесь в пятьдесят раз меньше, чем на Планете, эспандерами изнурять себя, как наша молодежь делает, не могу за недостатком времени, да и сердце пошаливает, вот и толстею. Да к чему мне стройность, Владимир Сергеевич? Жене все равно,

какой я, а девушек ради худеть — темперамент не тот, да и положение не позволяет...

Они посмеялись.

— А вы, Владимир Сергеевич, изменились мало.

— Да,— сказал Юрковский.— Волос поменьше, ума побольше.

— Что нового в институте? — спросил Шершень.— Как дела у Габдула Кадыровича?

— Габдул застрял,— сказал Юрковский.— Очень ждет ваших результатов, Владислав. По сути, вся планетология Сатурна держится на вас. Избаловали вы их, Владислав... э-э... Избаловали.

— Что ж,— сказал Шершень,— за нами дело не станет. В следующем году начнем глубинные запуски... Вы вот только людей бы мне подбросили, Владимир Сергеевич, специалистов. Опытных, крепких специалистов...

— Специалисты,— сказал, усмехаясь, Юрковский.— Специалисты всем нужны. Только это, между прочим, ваше дело, Владислав,— готовить специалистов. Вы, вы должны их институту давать, а не институт вам. А я слыхал, что от вас Мюллер на Тефию ушел. Даже то, что мы вам дали, вы упускаете.

Шершень покачал головой.

— Дорогой Владимир Сергеевич,— сказал он,— мне работать нужно, а не специалистов готовить. Подумаешь, Мюллер! Ну, хороший атмосферник, два десятка неплохих работ. Так ведь Дионе программу надо выполнять, а не гоняться за хитрыми разумом Мюллерами. И таких, как Мюллер, пусть институт держит у себя. Никто на них не польстится. А нам здесь нужны молодые дисциплинированные ребята... Кто там сейчас в координационном отделе? Все еще Баркан?

— Да,— сказал Юрковский.

— Оно и видно.

— Ну, ну, Владислав, Баркан хороший работник. Но сейчас открыты пять новых обсерваторий в Пространстве. И всем нужны люди.

— Ну так, товарищи! — сказал Шершень.— Надо же планировать по-человечески! Обсерваторий стало больше, а специалистов не прибавилось? Нельзя же так!

— Ладно,— весело сказал Юрковский,— ваше... э-э... неудовольствие, Владислав, я непременно передам Баркану. И вообще, Владислав, готовьте ваши жалобы и претензии. Насчет людей, насчет оборудования. Пользуйтесь

случаем, ибо в настоящее время я облечен властью разрешать и вязать, высшей властью, Владислав.

Шершень удивленно поднял брови.

— Да, Владислав, вы разговариваете с генеральным инспектором МУКСа.

Шершень вздернул голову.

— Ах... вот как? — медленно сказал он.— Вот не ожидал! — *Он вдруг опять заулыбался.*— А я, дурень, ломаю голову: как случилось, что глава мировой планетологии так внезапно, без предупреждения... Интересно, по каким же это наветам удостоилась наша маленькая Диона генерального посещения?

Они еще раз посмеялись.

— Послушайте... э-э... Владислав,— сказал Юрковский.— Мы довольны работой обсерватории, вы это знаете. Я очень доволен вами, Владислав. Отчетливо... э-э... работаете. И я вовсе не собирался беспокоить вас в моем, так сказать... э-э... официальном качестве. Но вот все тот же вопрос о людях. Понимаете, Владислав, некоторое — я бы сказал законное — недоумение вызывает тот факт, что у вас... э-э... Вот за последний год у вас здесь закончено двадцать работ. Хорошие работы. Некоторые просто превосходные. Например... э-э... эта, об определении глубины экзосферных слоев по конфигурации тени колец. Да. Хорошие работы. Но среди них нет ни одной самостоятельной. Шершень и Аверин. Шершень и Свирский. Шершень и Шатрова... Возникает вопрос: а где просто Аверин и Шатрова? Где просто Свирский? То есть создается впечатление, что вы ведете свою молодежь на помочах. Конечно, более всего важен результат, победителя не судят... э-э... но при всей вашей загруженности вы не имеете права упускать из виду подготовку специалистов. Им ведь рано или поздно придется работать самостоятельно. И в свою очередь людей учить. Как же это у вас получается?

— Вопрос законный, Владимир Сергеевич,— сказал Шершень после некоторого молчания.— Но как на него ответить — не представляю. И выглядит это подозрительно. Я бы сказал, мерзко. Я уж тут несколько раз пытался отказываться от соавторства — знаете, просто чтобы спасти лицо. И представьте себе, ребята не разрешают. И я их понимаю! Вот Толя Кравец.— Он похлопал ладонью по фотокорректуре.— Великолепный наблюдатель. Мастер прецизионных измерений. Инженер чудес-

ный. Но...— он развел руками,— недостаточно опыта у него, что ли... Огромный, интереснейший наблюдательный материал — и практически полная неспособность провести квалифицированный анализ результатов. Вы понимаете, Владимир Сергеевич, я же ученый, мне до боли жалко этот пропадающий материал, а опубликовывать это в сыром виде, чтобы выводы делал Габдул Кадырович, тоже, знаете ли, с какой стати. Не выдерживает ретивое, сажусь, начинаю интерпретировать сам. Ну... у мальчика же самолюбие... Так и появляется — Шершень и Кравец.

— М-да,— сказал Юрковский.— Это бывает. Да вы не беспокойтесь, Владислав, никто ничего страшного не предполагает... Мы отлично знаем вас. Да, Анатолий Кравец. Кажется, я его... э-э... припоминаю. Такой крепыш. Очень вежливый. Да-да, помню, очень, помню, был старательный студент. Я почему-то думал, что он на Земле, в Абастумани... Э... да. Знаете, Владислав, расскажите мне, пожалуйста, о ваших сотрудниках. Я уже всех их перезабыл.

— Что ж,— сказал Шершень.— Это не трудно. Нас здесь всего восемь человек на всей Дионе. Ну, Дитца и Оленеву мы исключим, это инженеры-контролеры. Славные, умные ребята, ни одной аварии за три года. Обо мне говорить тоже не будем. Итого у нас остается всего пять собственно астрономов. Ну, Аверин. Астрофизик. Обещает стать очень ценным работником, но пока слишком разбрасывается. Мне лично это никогда в людях не нравилось. Потому мы и с Мюллером не сошлись. Так. Свирский Виталий. Тоже астрофизик.

— Позвольте, позвольте,— сказал Юрковский, просияв.— Аверин и Свирский! Как же... Это была чудесная пара! Помню, я был в плохом настроении и завалил Аверина, и Свирский отказался мне сдавать. Очень, помню, трогательный был бунт... Да, большие были друзья.

— Теперь они поохладели друг к другу,— грустно сказал Шершень.

— А что... э-э... случилось?

— Девушка,— сердито сказал Шершень.— Оба влюбились по уши в Зину Шатрову...

— Помню! — воскликнул Юрковский.— Маленькая такая, веселая, глаза синие, как... э-э... незабудки. Все за ней ухаживали, а она отшучивалась. Изрядная была забавница.

— Теперь она уже не забавница,— сказал Шершень.— Запутался я в этих сердечных делах, Владимир Сергеевич.

Нет, воля ваша. Я в этом отношении всегда выступал против вас и буду впредь выступать. Молодым девчонкам на дальних базах не место, Владимир Сергеевич.

— Оставьте, Владислав,— сказал Юрковский, нахмурясь.

— Дело, в конце концов, не в этом. Хотя я тоже многого ожидал от этой пары — Аверин и Свирский. Но они потребовали разных тем. Теперь их старую тему разрабатываем мы с Авериным, а Свирский работает отдельно. Так вот Свирский. Спокойный, выдержанный, хотя и несколько флегматичный. Я намерен оставить его за себя, когда уйду в отпуск. Еще не совсем самостоятелен, приходится помогать. Ну, о Толе Кравце я вам рассказывал. Зина Шатрова...— Шершень замолчал и шибко почесал затылок.— Девушка! — сказал он.— Знающая, конечно, но... Этакая, знаете ли, во всем расплывчатость. Эмоции. Впрочем, особых претензий к ее работе у меня нет. Свой хлеб на Дионе она, пожалуй, оправдывает. И наконец, Базанов.

Шершень замолчал и задумался. Юрковский покосился на фотокорректуру, затем не выдержал и сдвинул крышку пресса, закрывавшую титульный лист. «Шершень и Кравец,— прочитал он.— Пылевая составляющая полос Сатурна». Он вздохнул и стал глядеть на Шершня.

— Так что же? — сказал он.— Что же... э-э... Базанов?

— Базанов — отличный работник,— решительно сказал Шершень.— Немного строптив, но хорошая, светлая голова. Ладить с ним трудновато, правда.

— Базанов... Что-то я не помню... Чем он занимается?

— Атмосферник. Вы знаете, Владимир Сергеевич, он очень щепетилен. Работа готова, ему еще Мюллер помогал, нужно публиковать — так нет! Все он чем-то недоволен, что-то ему кажется необоснованным... Вы знаете, есть такие... очень самокритичные люди. Самокритичные и упрямые. Его результатами мы давно уже пользуемся... Получается глупое положение: не имеем возможности ссылаться. Но я, откровенно говоря, не очень беспокоюсь. Да и упрям он ужасно и раздражителен.

— Да,— сказал Юрковский.— Такой... э-э... очень самостоятельный студент был. Да... очень.— Он как бы невзначай протянул руку к фотокорректуре и словно в рассеянности стал ее листать.— Да... э-э... интересно. А вот эту работу я у вас еще не видел, Владислав,— сказал он.

— Это моя последняя,— сказал Шершень, улыбаясь.—

Корректуру, вероятно, сам на Землю отвезу, когда в отпуск поеду. Парадоксальные результаты получены, Владимир Сергеевич. Просто изумительные. Вот взгляните...

Шершень обошел стол и нагнулся над Юрковским. В дверь постучали.

— Простите, Владимир Сергеевич,— сказал Шершень и выпрямился.— Войдите!

В низкий овальный люк, согнувшись в три погибели, пролез костлявый бледный парень. Юрковский узнал его — это был Петя Базанов, добродушный, очень справедливый юноша, умница и добряк. Юрковский уже начал благожелательно улыбаться, но Базанов только холодно кивнул ему, подошел к столу и положил перед Шершнем папку.

— Вот расчеты,— сказал он.— Коэффициенты поглощения.

Юрковский спокойно сказал:

— Что же это вы, Петр... э-э... не помню отчества, и поздороваться со мной не хотите?

Базанов медленно повернул к нему худое лицо и, прищурясь, поглядел в глаза.

— Прошу прощения, Владимир Сергеевич,— сказал он.— Здравствуйте. Боюсь, я немного забылся.

— Боюсь, вы действительно немного забылись, Базанов,— негромко произнес Шершень.

Базанов пожал плечами и вышел, захлопнув за собой люк. Юрковский резко выпрямился, и его вынесло из-за стола. Шершень поймал его за руку.

— Магнитные подковки у нас полагается держать на полу, товарищ генеральный инспектор,— сказал он смеясь.— Это вам не «Тахмасиб».

Юрковский смотрел на закрытый люк. «Неужели это Базанов?» — с удивлением думал он.

Шершень стал серьезен.

— Вы не удивляйтесь поведению Базанова,— сказал он.— Мы с ним повздорили из-за этих коэффициентов поглощения. Он полагает ниже своего достоинства считать коэффициенты поглощения и уже двое суток терроризирует всю обсерваторию.

Юрковский сдвинул брови, пытаясь вспомнить. Затем он махнул рукой.

— Не будем об этом,— сказал он.— Давайте, Владислав, показывайте ваши парадоксы.

...От реакторного кольца «Тахмасиба» через каменис-

тую равнину к цилиндрической башне лифта был протянут тонкий трос. Юра неторопливо и осторожно двигался вдоль троса, с удовольствием чувствуя, что период подготовки в условиях невесомости не прошел для него даром. Впереди, шагах в пятидесяти, поблескивал в желтом свете Сатурна скафандр Михаила Антоновича.

Огромный желтый серп Сатурна выглядывал из-за плеча. Впереди над близким горизонтом ярко горела зеленоватая ущербленная луна — это был Титан, самый крупный спутник Сатурна и вообще самый крупный спутник в Солнечной системе. Юра оглянулся на Сатурн. Колец с Дионы видно не было, Юра увидел только тонкий серебристый луч, режущий серп пополам. Неосвещенная часть диска Сатурна слабо мерцала зеленым. Где-то позади Сатурна двигалась сейчас Рея.

Михаил Антонович подождал Юру, и они вместе протиснулись в низкую полукруглую дверцу. Обсерватория размещалась под землей, на поверхности оставались только сетчатые башни интерферометров и параболоиды антенн, похожие на исполинские блюдца. В кессоне, вылезая из скафандра, Михаил Антонович сказал:

— Я, Юрик, пойду в библиотеку, а ты здесь прогуляйся, посмотри, сотрудники тут все молодые, ты с ними быстро познакомишься... А часа через два встретимся... Или возвращайся прямо на корабль...

Он похлопал Юру по плечу и, гремя магнитными подковами, пошел по коридору налево. Юра пошел направо. Коридор был круглый, облицованный матовым пластиком, только под ногами лежала неширокая стальная дорожка, исцарапанная подковами. Вдоль коридора тянулись трубы, в них клокотало и булькало. Пахло сосновым лесом и нагретым металлом.

Юра прошел мимо открытого люка. Там никого не было, только мигали цветные огоньки на пультах. «Тихо как,— подумал Юра.— Никого не видно и не слышно». Он свернул в поперечный коридор и услыхал музыку. Кто-то где-то играл на гитаре, уверенно и неторопливо выводя печальную мелодию. «Неужели и на Рее так?» — подумал вдруг Юра. Он любил, чтобы вокруг было шумно, чтобы все были вместе, и смеялись, и острили, и пели. Ему стало грустно. Потом он подумал, что все сейчас, должно быть, на работе, но все же так и не смог отделаться от ощущения, что люди не могут не скучать в круглых пустых

коридорах — здесь ли или на других далеких планетах. Вероятно, виновата была гитара.

Вдруг кто-то злобно сказал над самым ухом:

— А вот это уже тебя не касается! Понимаешь? Совершенно не касается!

Юра остановился. Коридор был по-прежнему пуст. Другой голос, мягкий и извиняющийся, сказал:

— Я не имел в виду ничего плохого, Виталий. Ведь это действительно не нужно ни тебе, ни ей, ни Владиславу Кимовичу. Никому это не нужно. Я только хотел сказать...

Злобный голос перебил:

— Я уже слышал, и надоело! И отстаньте вы от меня с вашим Авериным, не лезьте в мои дела! Я прошу только одного: дайте мне отработать мои три года — и провалитесь вы в самые глубокие тартарары...

Слева от Юры распахнулся люк, и в коридор выскочил беловолосый парень лет двадцати пяти. Светлые вихры его были взъерошены, покрасневшее лицо перекошено. Он с наслаждением грохнул люком и остановился перед Юрой. Минуту они глядели друг на друга.

— Вы кто такой? — спросил беловолосый.

— Я...— сказал Юра,— я с «Тахмасиба».

— А...— с отвращением сказал беловолосый.— Еще один любимчик!

Он обошел Юру и стремительно зашагал по коридору, то и дело подлетая к потолку и бормоча: «Провалитесь вы все в тартарары! Провалитесь вы все...» Юра холодно спросил ему вслед:

— Вы что, палец прищемили, юноша?

Беловолосый не обернулся.

«Ну и ну,— подумал Юра.— Здесь совсем не так скучно».

Он повернулся к люку и обнаружил, что перед ним стоит еще один человек, должно быть, тот, что говорил извиняющимся голосом. Он был коренаст, широкоплеч и одет не без изящества. У него была красивая прическа и румяное грустное лицо.

— Вы с «Тахмасиба»? — тихо спросил он, приветливо кивая.

— Да,— сказал Юра.

— С Владимиром Сергеевичем Юрковским? Здравствуйте.— Человек протянул руку.— Меня зовут Кравец. Анатолий. Вы будете у нас работать?

— Нет,— сказал Юра.— Я здесь проездом.

— Ах, проездом? — сказал Кравец. Он все еще держал Юрину руку. Ладонь у него была сухая и прохладная.

— Юрий Бородин,— сказал Юра.

— Очень приятно,— сказал Кравец и отпустил Юрину руку.— Так вы проездом. Скажите, Юра, Владимир Сергеевич действительно приехал сюда инспектировать?

— Не знаю,— сказал Юра.

Румяное лицо Анатолия Кравца стало совсем печальным.

— Ну, конечно, откуда вам знать... Тут у нас, знаете ли, распространился вдруг этот странный слух... Вы давно знакомы с Владимиром Сергеевичем?

— Месяц,— неохотно сказал Юра. Он уже понял, что Кравец ему не нравится. Может быть, потому, что он говорил с белобрысым извиняющимся голосом. Или потому, что все время задавал вопросы.

— А я его знаю больше,— сказал Кравец.— Я у него учился.— Он вдруг спохватился.— Что же мы тут стоим? Заходите!

Юра шагнул в люк. Это была, по-видимому, вычислительная лаборатория. Вдоль стен тянулись прозрачные стеллажи электронной машины. Посередине стоял матово-белый пульт и большой стол, заваленный бумагами и схемами. На столе стояло несколько биоточных компьютеров для контрольных вычислений.

— Это наш мозг,— сказал Кравец.— Присаживайтесь.

Юра остался стоять. Молчание затянулось.

— На «Тахмасибе» тоже такая же машина,— сообщил Юра.

— Сейчас все наблюдают,— заговорил Кравец.— Видите, никого нет. У нас вообще очень много наблюдают. Очень много работают. Время летит совершенно незаметно. Иногда такие ссоры бывают из-за работы...— Он махнул рукой и засмеялся.— Наши астрофизики совсем рассорились. У каждого своя идея, и каждый почитает другого дураком. Объясняются через меня. И мне же от обоих попадает.

Кравец замолчал и выжидательно посмотрел на Юру.

— Что ж,— сказал Юра, глядя в сторону.— Бывает.

«Конечно,— подумал он,— никому неохота сор из избы выносить».

— Нас здесь мало,— сказал Кравец,— все мы очень заняты, директор наш, Владислав Кимович, очень хороший человек, но он тоже занят. Так что на первый взгляд

может показаться, что у нас очень скучно. А на самом деле мы круглыми сутками сидим каждый со своей работой.

Он снова выжидательно поглядел на Юру. Юра вежливо сказал:

— Да, конечно, чем тут еще заниматься. Космос ведь для работы, а не для развлечений. Правда, у вас тут действительно пусто немножко. Только где-то гитара играет.

— А,— сказал Кравец, улыбаясь,— это наш Дитц погрузился в размышления.

Люк отворился, и в лабораторию неловко протиснулась маленькая девушка с большой охапкой бумаг. Она плечом затворила люк и посмотрела на Юру. Наверное, она только что проснулась — глаза у нее были слегка припухшие.

— Здравствуйте,— сказал Юра.

Девушка беззвучно шевельнула губами и тихонько прошла к столу. Кравец сказал:

— Это Зина Шатрова. А это, Зиночка, Юрий Бородин, он прибыл вместе с Владимиром Сергеевичем Юрковским.

Девушка кивнула, не поднимая глаз. Юра старался сообразить, ко всем ли прибывшим на «Тахмасибе» с Юрковским работники обсерватории относятся так странно. Он взглянул на Кравца. Кравец смотрел на Зину и, кажется, что-то подсчитывал. Зина молча перебирала листки. Когда она придвинула к себе биокомпьютер и стала звонко щелкать клавишами настройки, Кравец обернулся к Юре и сказал:

— Ну что, Юра, хотите...

Его прервало мягкое пение радиофонного вызова. Он извинился и поспешно вытащил из кармана радиофон.

— Анатолий? — спросил густой голос.

— Да, я, Владислав Кимович.

— Анатолий, навести, пожалуйста, Базанова. Он в библиотеке.

Кравец взглянул на Юру.

— У меня...— начал он.

Голос в радиофоне стал вдруг далеким.

— Здравствуйте, Владимир Сергеевич... Да-да, схемы я приготовил...

Послышались частые гудки отбоя. Кравец засунул радиофон в карман и нерешительно поглядел на Зину и на Юру.

— Мне придется уйти,— сказал он.— Директор просит

меня помочь нашему атмосфернику... Зина, будь добра, покажи нашему гостю обсерваторию. Учти, он хороший друг Владимира Сергеевича, надо принять его получше.

Зина не ответила. Она словно не слышала Кравца и только низко опустила лицо над машиной. Кравец улыбнулся Юре грустной улыбкой, поднял брови, слегка развел руками и вышел.

Юра отошел к пульту и украдкой взглянул на девушку. У нее было милое и какое-то безнадежно усталое лицо. Что все это значит: «Владимир Сергеевич действительно приехал сюда инспектировать?.. Учти, он хороший друг Владимира Сергеевича... Провалитесь вы все в тартарары!..» Юра чувствовал, что все это означает что-то нехорошее. Он испытывал настоятельную потребность во что-то вмешаться. Уйти и оставить все в таком же положении было решительно невозможно. Он опять посмотрел на Зину. Девушка прилежно работала. Никогда он еще не видел, чтобы такая милая девушка была так печальна и молчалива. «Да ее же обидели! — подумал вдруг он.— Ясно как солнце, что ее обидели. Обидели на твоих глазах человека — и ты виноват,— машинально вспомнил он.— Ну ладно...»

— Это что? — громко спросил Юра и ткнул пальцем наугад в одну из мигающих ламп. Зина вздрогнула и подняла голову.

— Это? — сказала она. В первый раз она подняла на него глаза. У нее были необыкновенно синие большие глаза.

Юра храбро сказал:

— Вот именно, это.

Зина все еще смотрела на него.

— Скажите,— спросила она,— вы будете работать у нас?

— Нет,— сказал Юра и подошел вплотную к столу.— Я не буду у вас работать. Я здесь проездом. И никакой я не друг Владимира Сергеевича, а просто мы слегка знакомы. И я не любимчик. Я вакуум-сварщик.

Она провела ладонью по лицу.

— Погодите,— пробормотала она.— Вакуум-сварщик? Почему вакуум-сварщик?

— А почему бы и нет? — сказал Юра. Он чувствовал, что каким-то непостижимым образом это имеет огромное значение, и очень хорошо для этой милой печальной

девушки, что он именно вакуум-сварщик, а не кто-то другой. Никогда он еще так не радовался тому, что он вакуум-сварщик.

— Простите,— сказала девушка.— Я вас спутала.

— С кем?

— Не знаю. Я думала... Не знаю. Это не важно.

Юра обошел стол и остановился рядом с нею, глядя на нее сверху вниз.

— Рассказывайте,— потребовал он.

— Что?

— Все. Все, что здесь делается.

И вдруг Юра увидел, как на блестящую полированную поверхность стола закапали частые капли. У него подкатил ком к горлу.

— Ну вот еще,— сердито сказал он.

Зина затрясла головой. Он испуганно огляпулся на люк и грозно сказал:

— Прекратите реветь! Какой срам!

Она подняла голову. Лицо у нее было мокрое и жалкое, глаза припухли еще больше.

— Вам... бы... так,— проговорила она.

Он достал носовой платок и положил ей на мокрую ладонь. Она стала вытирать щеки.

— Кто это вас? — тихо спросил Юра.— Кравец? Так я пойду и сейчас набью ему морду, хотите?

Она сложила платок и попыталась улыбнуться. Затем она спросила:

— Слушайте, вы правда вакуум-сварщик?

— Правда. Только, пожалуйста, не ревите. В первый раз вижу человека, который плачет при виде вакуум-сварщика.

— А правда, что Юрковский привез на обсерваторию своего протеже?

— Какого протеже? — изумился Юра.

— У нас тут говорили, что Юрковский хочет устроить на Дионе какого-то своего любимца — астрофизика...

— Что за чушь! — сказал Юра.— На борту только экипаж, Юрковский и я. Никаких астрофизиков.

— Правда?

— Ну конечно, правда! И вообще — у Юрковского любимцы? Это же надо придумать! Кто это вам сказал? Кравец?

Она опять помотала головой.

— Хорошо.— Юра пошарил ногой табурет и сел.— Вы

все-таки рассказывайте. Все рассказывайте. Кто вас обидел?

— Никто,— сказала она тихо.— Я просто плохой работник. Да еще с неуравновешенной психикой.— Она невесело усмехнулась.— Наш директор вообще против женщин на обсерватории. Спасибо, что хоть не сразу на Планету вернул. Со стыда бы сгорела. На Земле пришлось бы менять специальность. А мне этого вовсе не хочется. Здесь у меня хоть и ничего не получается, зато я на обсерватории, у мощного ученого. Я ведь люблю все это.— Она судорожно глотнула.— Ведь я думала, что у меня призвание...

Юра сказал сквозь зубы:

— В первый раз слышу о человеке, чтобы он любил свое дело и чтобы у него ничего не получалось.

Она дернула плечом.

— Ведь вы любите свое дело?

— Да.

— И у вас ничего не получается?

— Я бездарь,— сказала она.

— Как это может быть?

— Не знаю.

Юра прикусил губу и задумался.

— Послушайте,— сказал он.— Послушайте, Зина, ну а другие как же?

— Кто?

— Другие ребята...

Зина судорожно вздохнула.

— Они здесь стали совсем другие, чем на Земле. Базанов всех ненавидит, а эти два дурачка вообразили невесть что, перессорились и теперь ни со мной, ни друг с другом не разговаривают...

— А Кравец?

— Кравец — холуйчик,— равнодушно сказала она.— Ему на все наплевать.— Она вдруг растерянно посмотрела на него.— Только вы никому не говорите того, что я вам здесь рассказала. Ведь мне совсем житья не будет. Начнутся всякие укоризненные замечания, общие рассуждения о сущности женской натуры...

Юра сузившимися глазами смотрел на нее.

— Как же так? — сказал он.— И никто об этом не знает?

— А кому это интересно? — Она жалко улыбнулась.— Ведь мы — лучшая из дальних обсерваторий...

Люк распахнулся. Давешний беловолосый парень просунулся по пояс в комнату, уставился на Юру, неприятно сморщив нос, затем взглянул на Зину и снова уставился на Юру. Зина встала.

— Познакомьтесь,— сказала она дрожащим голосом.— Это Свирский, Виталий Свирский, астрофизик. А это Юрий Бородин...

— Сдаешь дела? — неприятным голосом осведомился Свирский.— Ну, не буду мешать.

Он стал закрывать люк, но Юра поднял руку.

— Одну минутку,— сказал он.

— Хоть пять,— любезно осклабился Свирский.— Но в другой раз. А сейчас мне не хочется нарушать ваш тет-а-тет, коллега.

Зина негромко охнула и прикрыла лицо рукой.

— Я тебе не коллега, дурак,— тихо сказал Юра и пошел на Свирского. Свирский бешеными глазами глядел на него.— И я буду говорить с тобой сейчас, понял? А сначала ты извинишься перед девушкой, скотина этакая.

Юра был в пяти шагах от люка, когда Свирский, зверски выпятив челюсть, полез в комнату ему навстречу.

Быков расхаживал по кают-компании, заложив руки за спину и опустив голову. Жилин стоял, прислонившись к двери в рубку. Юрковский, сцепив пальцы, сидел за столом. Все трое слушали Михаила Антоновича. Михаил Антонович говорил страстно и взволнованно, прижимая к левой стороне груди коротенькую руку.

— ...И поверь мне, Володенька, никогда в жизни я не выслушивал столько гадостей о людях. Все гадкие, дурные, один Базанов хороший. Шершень, видите ли, тиран и диктатор, всех измотал, нагло диктует свою волю. Все его боятся. Был один смелый человек на Дионе, Мюллер, и того Шершень, видите ли, выжил. Нет-нет, Базанов не отрицает научных заслуг Шершня, он, видите ли, даже восхищается ими, и в том, что обсерватория пользуется такой славой, заслуга именно Шершня, но зато, видите ли, внутри там царит упадок нравов. У Шершня есть специальный осведомитель и провокатор, некий бездарь Кравец. Этот Кравец, видите ли, везде подслушивает, а потом наушничает, а потом по указанию директора распространяет слухи и всех между собой ссорит. Так сказать, разде-

ляй и властвуй. Кстати, пока мы беседовали, этот несчастный Кравец зашел в библиотеку за какой-то книжкой. Как на него Базанов накричал! «Пошел вон!» — кричит. Бедный Кравец, такой милый, симпатичный юноша, даже представиться не успел толком. Весь покраснел и ушел, даже книжки не взял. Я, конечно, не мог сдержаться и здорово отчитал Базанова. Я ему прямо сказал: «Что же вы, Петя? Разве можно?»

Михаил Антонович перевел дух и вытер лицо платочком.

— Ну вот,— продолжал он.— Базанов, видите ли, необычайно нравственно чистоплотен. Он не выносит, когда кто-нибудь за кем-нибудь ухаживает. Здесь есть молоденькая сотрудница Зина, астрофизик, так он приклеил к ней сразу двух кавалеров, да еще вообразил, что они из-за нее передрались. Она, видите ли, делает авансы и тому и другому, а те как петушки... Причем сам, заметьте, добавляет, что это только слухи, но что факт остается фактом, все трое в ссоре. Мало того, что Базанов склочничает со всеми астрономами, он втянул в свои склоки и инженер-контролеров. Все у него кретины, сопляки, работать никто не умеет, недоучки... У меня волосы дыбом вставали, когда я это слышал! Вообрази, Володенька... Знаешь, кого он считает главным виновником всего этого?

Михаил Антонович сделал эффектную паузу. Быков остановился и посмотрел на него. Юрковский, сильно прищурясь, играл желваками на обрюзглых щеках.

— Тебя! — сказал Михаил Антонович сорвавшимся голосом.— Я прямо ушам не поверил! Генеральный инспектор МУКСа прикрывает все эти безобразия, мало того, возит по обсерваториям каких-то таинственных любимцев, пристраивает их там, а простых работников, придравшись к мелочи, увольняет и возвращает на Землю. Всюду насадил своих ставленников, вроде Шершня! Я этого уже не выдержал. Я ему сказал! «Извините,— говорю,— голубчик, извольте отдавать отчет в своих словах».

Михаил Антонович снова перевел дух и замолчал. Быков принялся расхаживать по кают-компании.

— Так,— сказал Юрковский.— Чем же ваша беседа кончилась?

Михаил Антонович гордо сказал:

— Я больше не мог его слушать. Я не мог слышать, как обливают грязью тебя, Володенька, и коллектив луч-

шей дальней обсерватории. Я встал, язвительно попрощался и ушел. Надеюсь, ему сделалось стыдно.

Юрковский сидел, опустив глаза. Быков сказал с усмешкой:

— Хорошо живут у тебя на базах, генеральный инспектор. Дружно живут.

— Я бы на твоем месте, Володенька, принял бы меры,— сказал Михаил Антонович.— Базанова надо вернуть на Землю без права работать на внеземных станциях. Такие люди ведь очень опасны, Володенька, ты сам знаешь...

Юрковский сказал, не поднимая глаз:

— Хорошо. Спасибо, Михаил. Меры принять придется.

Жилин тихо сказал:

— Может быть, он просто устал?

— Кому от этого легче? — сказал Быков.

— Да,— сказал Юрковский и тяжело вздохнул.— Базанова придется убрать.

В коридоре послышался торопливый стук магнитных подков.

— Юра возвращается,— сказал Жилин.

— Что ж, давайте обедать,— сказал Быков.— Ты с нами обедаешь, Владимир?

— Нет. Я обедую у Шершня. Мне еще о многом надо договориться с ним.

Жилин стоял у входа в рубку и первым увидел Юру. Он вытаращил глаза и поднял брови. Тогда к Юре обернулись все остальные.

— Что это значит, стажер? — осведомился Быков.

— Что с тобой, Юрик? — воскликнул Михаил Антонович.

Выглядел Юра предосудительно. Левый глаз был залит красно-синим синяком, нос деформировался, губы распухли и почернели. Левую руку он держал несколько на весу, пальцы правой были облеплены пластырями. Спереди на куртке виднелись наспех замытые темные пятна.

— Я дрался,— хмуро ответил Юра.

— С кем вы дрались, стажер?

— Я дрался со Свирским.

— Кто это?

— Это один молодой астрофизик на обсерватории,— нетерпеливо пояснил Юрковский.— Почему вы подрались, кадет?

— Он оскорбил девушку,— сказал Юра. Он глядел

прямо в глаза Жилину.— Я потребовал, чтобы он извинился.

— Ну?

— Ну и мы подрались.

Жилин едва заметно одобрительно кивнул. Юрковский встал, прошелся по каюте и остановился перед Юрой, глубоко засунув руки в карманы халата.

— Я так понимаю, кадет,— сказал он холодно,— что вы устроили в обсерватории мерзкий дебош.

— Нет,— сказал Юра.

— Вы избили сотрудника обсерватории.

— Да,— сказал Юра.— Но я не мог иначе. Я должен был заставить его извиниться.

— Заставил? — быстро спросил Жилин.

Юра поколебался немного, затем сказал уклончиво:

— В общем, он извинился. Потом.

Юрковский раздраженно сказал:

— А, черт, при чем тут это, Иван?

— Извините, Владимир Сергеевич,— смиренно сказал Иван.

Юрковский снова повернулся к Юре.

— Все равно это был дебош,— сказал он.— Так это выглядит, во всяком случае. Послушайте, кадет, я охотно верю, что вы действовали из самых лучших побуждений, но вам придется извиниться.

— Перед кем? — сейчас же спросил Юра.

— Во-первых, разумеется, перед Свирским.

— А во-вторых?

— Во-вторых, вы должны будете извиниться перед директором обсерватории.

— Нет! — сказал Юра.

— Придется.

— Нет.

— Что значит нет? Вы устроили драку в его обсерватории. Это отвратительно. И вы отказываетесь извиниться?

— Я не стану извиняться перед подлецом,— ровным голосом сказал Юра.

— Молчать, стажер! — проревел Быков.

Воцарилось молчание. Михаил Антонович горестно вздыхал и качал головой. Юрковский с изумлением глядел на Юру.

Жилин вдруг оттолкнулся от стены, подошел к Юре и положил руку ему на плечо.

— Простите, Алексей Петрович,— сказал он.— Мне кажется, надо дать Бородину рассказать все по порядку.

— А кто ему мешает? — сердито сказал Быков. Было видно, что он очень недоволен всем происходящим.

— Рассказывай, Юра,— сказал Жилин.

— Что тут рассказывать? — тихо начал Юра. Затем он закричал: — Это надо видеть! И слышать! Этих дураков надо немедленно спасать! Вы говорите — обсерватория, обсерватория! А это притон! Здесь люди плачут, понимаете? Плачут!

— Спокойно, кадет,— сказал Юрковский.

— Я не могу спокойно! Вы говорите — извиняться... Я не стану извиняться перед инквизитором! Перед мерзавцем, который науськивает дураков друг на друга и на девушку! Куда вы смотрите, генеральный инспектор? Все это заведение пора давно эвакуировать на Землю, они скоро на четвереньки станут, начнут кусаться!

— Успокойся и расскажи по порядку,— сказал Жилин.

И Юра рассказал. Как он встретился с Зиной Шатровой, и как она плакала, и как он понял, что необходимо вмешаться немедленно, и он начал со Свирского, который до того оброс шерстью, что верил всяким гадостям о любимой девушке. Как он заставил Аверина со Свирским «поговорить по душам», и как выяснилось, что Свирский никогда не называл Аверина бездарью и подхалимом, и что Аверин даже не подозревал, что его неоднократно выводили ночью из комнаты Зины. Как отобрали у контролера Дитца гитару и узнали, что он никогда не распускал слухов про Базанова и Таню Оленину... И как сразу обнаружилось, что все это проделки Кравца и что Шершень не может не знать о них, и он-то и есть главный негодяй...

— Ребята прислали меня к вам, Владимир Сергеевич, чтобы вы что-нибудь сделали. И вы лучше что-нибудь сделайте, иначе они сами сделают... Они уже готовы.

Юрковский сидел в кресле за столом, и лицо у него было такое старое и жалкое, что Юра остановился и растерянно оглянулся на Жилина. Но Жилин опять еле заметно кивнул.

— За эти слова вы тоже ответите,— процедил сквозь зубы Шершень.

— Замолчи! — закричал маленький смуглый Аверин,

сидевший рядом с Юрой.— Не смей перебивать! Товарищи, как он смеет все время перебивать?

Юрковский переждал шум и продолжал:

— Все это до того омерзительно, что я вообще исключал возможность такого явления, и понадобилось вмешательство постороннего человека, мальчишки, чтобы... Да. Омерзительно. Я не ждал этого от вас, молодые. Как это оказалось просто — вернуть вас в первобытное состояние, поставить вас на четвереньки — три года, один честолюбивый маньяк и один провинциальный интриган. И вы согнулись, озверели, потеряли человеческий облик. Молодые, веселые, честные ребята... Какой стыд!

Юрковский сделал паузу и оглядел астрономов. «Все это сейчас зря,— подумал он.— Им не до меня». Они сидели кучкой и с ненавистью смотрели на Шершня и Кравца.

— Ладно. Нового директора вам пришлют с Титана. Два дня можете митинговать и думать. Думайте. Вы бедные и слабые, вам говорю: думайте! А сейчас идите.

Они поднялись и, понурившись, пошли из кабинета. Шершень тоже встал и, нелепо качаясь на магнитных башмаках, подошел к Юрковскому вплотную.

— Это самоуправство,— сипло сказал он.— Вы нарушаете работу обсерватории.

Юрковский гадливо отстранил его.

— Слушайте, Шершень,— сказал он.— На вашем месте я бы застрелился.

12. «КОЛЬЦО-1». БАЛЛАДА ОБ ОДНОНОГОМ ПРИШЕЛЬЦЕ

— Знаешь,— сказал Быков, глядя на Юрковского поверх очков и поверх «Физики металлов»,— а ведь Шершень, пожалуй, считает себя незаслуженно оскорбленным. Как-никак лучшая обсерватория и так далее...

— Шершень меня не интересует,— сказал Юрковский. Он захлопнул бювар и потянулся.— Меня интересует, как могли эти ребята дойти до такой жизни... А Шершень — прах, мелочь.

Несколько минут Быков размышлял.

— И как же, по-твоему? — спросил наконец он.

— У меня есть одна теория... Вернее, гипотеза. Я полагаю, что у них уже исчез необходимый в прошлом иммуни-

тет к социально вредному, но еще не исчезли их собственные антиобщественные задатки.

— Попроще,— сказал Быков.

— Пожалуйста. Возьмем тебя. Чтобы ты сделал, если бы к тебе подошел сплетник и сказал, что... э-э... скажем, Михаил Крутиков ворует и продает продовольствие? Ты повидал на своем веку много сплетников, знаешь им цену, и ты бы сказал ему... э-э... удалиться. Теперь возьмем нашего кадета. Что бы он сделал, если бы ему сказали... э-э... ну, скажем, то же самое? Он бы принял все за чистую монету и моментально помчался бы к Михаилу объясняться. И сразу же понял бы, что это чепуха, вернулся бы и... э-э... побил бы негодяя.

— Ага,— с удовольствием сказал Быков.

— Ну так вот. А наши друзья на Дионе — это уже не ты, но еще и не кадет. Они принимают гадость за чистую монету, но неистраченные запасы ложной гордости мешают им пойти и все выяснить.

— Что ж,— сказал Быков.— Может быть, это и так.

Вошел Юра, сел на корточки перед открытым книжным шкафом и стал выбирать себе книгу на вечер. События на Дионе совсем выбили его из колеи, и он все никак не мог прийти в себя. Прощание с Зиной Шатровой было молчаливым и очень трогательным. Зина и подавно не успела прийти в себя. Правда, она уже улыбалась. Юре очень хотелось остаться на Дионе до тех пор, пока Зина не начнет смеяться. Он был уверен, что сумел бы развеселить ее, в какой-то мере помочь ей забыть о страшных днях владычества Шершня. Он очень жалел, что остаться нельзя. Зато в коридоре он поймал белобрысого Свирского и потребовал, чтобы с Зиной здесь были особенно внимательны. Свирский бешено взглянул на него и невпопад ответил: «Морду мы ему еще набьем».

— Э... Алексей,— сказал Юрковский.— Я никому не помешаю в рубке?

— Ты генеральный инспектор,— сказал Быков.— Кому же ты можешь помешать?

— Я хочу связаться с Титаном,— сказал Юрковский.— И вообще послушать эфир.

— Валяй,— сказал Быков.

— А мне можно? — спросил Юра.

— И тебе можно,— сказал Быков.— Всем все можно.

Утром Быков дочитал последний журнал, долго и внимательно разглядывал обложку. Затем он вздохнул, отнес

журнал в свою каюту, а когда вернулся, Юра понял, что «парень дострогал палочку до конца». Быков был теперь очень ласков, словоохотлив и всем все позволял.

— Пойду-ка и я с вами,— сказал Быков.

Все втроем они ввалились в рубку. Михаил Антонович изумленно поглядел на них со своего пьедестала, расплылся в улыбке и помахал им ручкой.

— Мы не помешаем,— сказал Быков.— Мы на рацию.

— Только смотрите, мальчики,— предупредил Михаил Антонович,— через полчаса невесомость.

По требованию Юрковского «Тахмасиб» шел к станции «Кольцо-1», искусственному спутнику Сатурна, движущемуся вблизи Кольца.

— А нельзя ли без невесомости? — капризно спросил Юрковский.

— Видишь ли, Володенька,— виновато ответил Михаил Антонович,— очень тесно здесь «Тахмасибу». Все время приходится маневрировать.

Они прошли мимо Жилина, копавшегося в комбайне контроля, и сели перед рацией. Быков принялся манипулировать верньерами. В динамике завыло и заверещало.

— Музыка сфер,— прокомментировал позади Жилин.— Подключите дешифратор, Алексей Петрович.

— Да, действительно,— сказал Быков.— Я почему-то решил, что это помехи.

— Радист,— презрительно сказал Юрковский.

Динамик вдруг заорал неестественным голосом: «...минут слушайте концерт Александра Блюмберга, ретрансляция с Земли. Повторяю...»

Голос уплыл и сменился сонным похрапыванием. Потом кто-то сказал: «...чем не могу помочь. Придется вам, товарищи, подождать».— «А если мы пришлем свой бот?» — «Тогда ждать придется меньше, но все-таки придется». Быков включил самонастройку, и стрелка поползла по шкале, ненадолго задерживаясь на каждой работающей станции: «...восемьдесят гектаров селеновых батарей для оранжереи, сорок километров медного провода, шесть сотых, двадцать километров...», «...масла нет, сахару нет, осталось сто пачек «Геркулеса», сухари и кофе. Да, и еще сигарет нет...», «...And hear me? I'm not going to stand this impudence... Hear me? I'm...»[1]. «Ку-два,

[1] «...И слышите? Я не намерен терпеть эту наглость... Слышите? Я...» *(англ.)*.

ку-два, ничего не понял... Что у него за рация?.. Ку-два, даю настройку. Раз, два, три...», «...очень соскучилась. Когда же ты вернешься? И почему не пишешь? Целую, твоя Анна. Точка», «...Чэн, не пугайся, это очень просто. Берешь объемный интеграл по гиперболоиду до аш...», «Седьмой, седьмой, для вас очищен третий сектор. Седьмой, выходите на посадку в третий сектор...», «...Саша, ходят слухи, что какой-то генеральный инспектор прилетел. Чуть ли не сам Юрковский...».

— Хватит,— сказал Юрковский.— Ищи Титан. Паршивцы,— проворчал он.— Уже знают.

— Интересно,— глубокомысленно сказал Быков.— Всего-то их в системе Сатурна полтораста человек, а сколько шуму...

Рация крякала и подвывала. Быков настроился и стал говорить в микрофон:

— Титан, Титан. Я «Тахмасиб». Титан. Титан.

— Титан слушает,— сказал женский голос.

— Генеральный инспектор Юрковский вызывает директора системы.— Быков весело посмотрел на Юрковского.— Я правильно говорю, Володя? — спросил он.

Юрковский благосклонно покивал.

— Алло, алло, «Тахмасиб»! — Женский голос стал немножко взволнованным.— Подождите минуту, я соединю вас с директором.

— Ждем,— сказал Быков и пододвинул микрофон к Юрковскому.

Юрковский откашлялся.

— Лизочка! — закричал кто-то в динамике.— Дай-ка мне директора, голубчик! Быстренько!

— Освободите частоту,— строго сказал женский голос.— Директор занят.

— Как это занят? — оскорбленно сказал голос.— Ференц, это ты? Опять без очереди?

— Освободите частоту,— строго сказал Юрковский.

— Всем освободить частоту,— раздался медлительный скрипучий голос.— Директор слушает генерального инспектора Юрковского.

— Ух ты...— испуганно сказал кто-то.

Юрковский самодовольно посмотрел на Быкова.

— Зайцев,— сказал он.— Здравствуй, Зайцев.

— Здравствуй, Володя,— проскрипел директор.— Какими судьбами?

— Я... э-э... слегка инспектирую. Прибыл вчера. Прямо

на Диону. Шершня я снял. Подробности после. Значит, сделаем... э-э... так. На смену Шершню пришли Мюллера. Шершня постарайся как можно скорее отправить на Землю. Шершня и еще там одного. Кравец его фамилия. Из молодых, да ранний. За отправкой проследи лично. И учти, что я тобой недоволен. С этим делом... э-э... ты мог бы справиться сам, и гораздо раньше. Далее...— Юрковский замолчал. В эфире царила почтительная тишина.— Я наметил себе следующий маршрут. Сейчас я иду к «Кольцу-1». Задержусь там на двое-трое суток, а затем загляну к тебе на Титан. Прикажи там, чтобы приготовили горючее для «Тахмасиба». И наконец, вот что.— Юрковский опять замолчал.— У меня на борту находится один юноша. Это вакуум-сварщик. Один из группы добровольцев, что работают у тебя на Рее. Будь добр, посоветуй, где я его могу высадить, чтобы его немедленно отправили на Рею.— Юрковский снова замолчал. В эфире было тихо.— Так я слушаю тебя,— сказал Юрковский.

— Одну минуту,— сказал директор.— Сейчас здесь наводят справки. Ты что, на «Тахмасибе»?

— Да,— сказал Юрковский.— Вот тут со мной рядом Алексей.

Михаил Антонович крикнул из штурманской:

— Привет Феденьке, привет!

— Вот Миша тебе привет передает.

— А Григорий с тобой?

— Нет,— сказал Юрковский.— А ты разве не знаешь?

В эфире молчали. Потом скрипучий голос осторожно спросил:

— Что-нибудь случилось?

— Нет-нет,— сказал Юрковский.— Ему просто запретили летать. Вот уже год.

В эфире вздохнули.

— Да-а,— сказал директор.— Вот скоро и мы так же.

— Надеюсь, еще не скоро,— сухо сказал Юрковский.— Ну, как там твои справки?

— Так,— сказал голос.— Минутку. Слушай. На Рею твоему сварщику лететь не нужно. Добровольцев мы перебросили на «Кольцо-2». Там они нужнее. На «Кольцо-2», если повезет, отправишь его прямо с «Кольца-1». А если не повезет — отправим его отсюда, с Титана.

— Что значит повезет, не повезет?

— Два раза в декаду на Кольцо ходят швейцарцы,

возят продовольствие. Возможно, ты застанешь швейцарский бот на «Кольце-1».

— Понимаю,— сказал Юрковский.— Ну что ж, хорошо. У меня к тебе пока больше ничего нет. До встречи.

— Спокойной плазмы, Володя,— сказал директор.— Не провалитесь там в Сатурн.

— Тьфу на тебя,— проворчал Быков и выключил рацию.

— Ясно, кадет? — спросил Юрковский.

— Ясно,— сказал Юра и вздохнул.

— Ты что, недоволен?

— Да нет, работать все равно где,— сказал Юра.— Не в этом дело.

Обсерватория «Кольцо-1» двигалась в плоскости Кольца Сатурна по круговой орбите и делала полный оборот за четырнадцать с половиной часов. Станция была молодая, ее постройку закончили всего год назад. Экипаж ее состоял из десяти планетологов, занятых исследованием Кольца, и четырех инженер-контролеров. Работы у инженер-контролеров было очень много: некоторые агрегаты и системы обсерватории — обогреватели, кислородные регенераторы, гидросистема — еще не были окончательно отрегулированы. Неудобства, связанные с этим, нимало не смущали планетологов, тем более что большую часть времени они проводили в космоскафах, плавая над Кольцом. Работе планетологов Кольца придавалось большое значение в системе Сатурна. Планетологи рассчитывали найти в Кольце воду, железо, редкие металлы — это дало бы системе автономность в снабжении горючим и материалами. Правда, даже если бы эти поиски увенчались успехом, воспользоваться такими находками пока не представлялось возможным. Не был еще создан снаряд, способный войти в сверкающие толщи колец Сатурна и вернуться оттуда невредимым.

Алексей Петрович Быков подвел «Тахмасиб» к внешней линии доков и осторожно пришвартовался. Подход к искусственным спутникам — дело тонкое, требующее мастерства и ювелирного изящества. В таких случаях Алексей Петрович вставал с кресла и сам поднимался в рубку. У внешних доков уже стоял какой-то бот, судя по обводам — продовольственный танкер.

— Стажер,— сказал Быков.— Тебе повезло. Собирай чемодан.

Юра промолчал.

— Экипаж отпускаю на берег,— объявил Быков.— Если пригласят к ужину — не увлекайтесь. Здесь вам не отель. А лучше всего захватите с собой консервы и минеральную воду.

— Увеличим круговорот,— вполголоса сказал Жилин.

Снаружи послышался скрип и скрежет — это дежурный диспетчер прилаживал к внешнему люку «Тахмасиба» герметическую перемычку. Через пять минут он сообщил по радио:

— Можно выходить. Только одевайтесь потеплее.

— Это почему? — осведомился Быков.

— Мы регулируем кондиционирование,— ответил дежурный и дал отбой.

— Что значит теплее? — возмутился Юрковский.— Что надевать? Фланель? Или как это там называлось — валенки? Стеганки? Ватники?

Быков сказал:

— Надевай свитер. Надевай теплые носки. Меховую куртку неплохо надеть. С электроподогревом.

— Я надену джемпер,— сказал Михаил Антонович.— У меня есть очень красивый джемпер. С парусом.

— А у меня ничего нет,— грустно сказал Юра.— Могу вот надеть несколько безрукавок.

— Безобразие,— сказал Юрковский.— У меня тоже ничего нет.

— Надень свой халат,— посоветовал Быков и отправился к себе в каюту.

В обсерваторию они вступили все вместе, одетые очень разнообразно и тепло. На Быкове была гренландская меховая куртка. Михаил Антонович тоже надел куртку и натянул на ноги унты. Унты были лишены магнитных подков, и Михаила Антоновича тащили, как привязной аэростат. Жилин натянул свитер и один свитер дал Юре. Кроме того, на Юре были меховые штаны Быкова, которые он затянул под мышками. Меховые штаны Жилина были на Юрковском. И еще на Юрковском были джемпер Михаила Антоновича с парусом и очень красивый белый пиджак.

В кессоне их встретил дежурный диспетчер в трусах и майке. В кессоне была удушливая жара, как в финской бане.

— Здравствуйте,— сказал диспетчер. Он оглядел гос-

тей и нахмурился.— Я же сказал: одеться потеплее. Вы же замерзнете в ботинках.

Юрковский зловеще сказал:

— Вы что, молодой человек, шутки со мной хотите шутить?

Диспетчер непонимающе посмотрел на него.

— Какие там шутки? В кают-компании минус пятнадцать.

Быков вытер со лба пот и проворчал:

— Пошли.

Из коридора пахнуло леденящим холодом, ворвались клубы пара. Диспетчер, обхватив себя руками за плечи, завопил:

— Да поскорее же, пожалуйста!

Обшивка коридора была местами разобрана, и желтая сетка термоэлементов бесстыдно блестела в голубоватом свете. Возле кают-компании они столкнулись с инженер-контролером. Инженер был в невообразимо длинной шубе, из-под которой проглядывала голубая майка. На голове инженера красовалась ушанка с торчащими ушами.

Юрковский зябко повел плечами и открыл дверь в кают-компанию.

В кают-компании за столом сидели, пристегнувшись к стульям, пять человек в шубах с поднятыми воротниками. Они были похожи на будочников времен Алексея Тишайшего и сосали горячий кофе из прозрачных термосов. При виде Юрковского один из них отогнул воротник и, выпустив облако пара, сказал:

— Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Что-то вы легко оделись. Садитесь. Кофе?

— Что у вас тут делается? — спросил Юрковский.

— Мы регулируем,— сказал кто-то.

— А где Маркушин?

— Маркушин ждет вас в космоскафе. Там тепло.

— Проводите меня,— сказал Юрковский.

Один из планетологов поднялся и выплыл с Юрковским в коридор. Другой, долговязый вихрастый парень, сказал:

— Скажите, среди вас больше нет генеральных инспекторов?

— Нет,— сказал Быков.

— Тогда я вам прямо скажу: собачья у нас жизнь. Вчера по всей обсерватории была температура плюс тридцать, а в кают-компании даже плюс тридцать три. Ночью

температура внезапно упала. Лично я отморозил себе пятку, работать при таких перепадах температуры никому неохота, поэтому работаем мы по очереди в космоскафах. Там автономное кондиционирование. У вас так не бывает?

— Бывает,— сказал Быков.— Во время аварий.

— И это вы так целый год живете? — с ужасом и жалостью спросил Михаил Антонович.

— Нет, что вы! Всего около месяца. Раньше перепады температур были не так значительны. Но мы организовали бригаду помощи инженерам, и вот... сами видите.

Юра старательно сосал горячий кофе. Он чувствовал, что замерзает.

— Бр-р-р,— сказал Жилин.— Скажите, а нет ли здесь какого-нибудь оазиса?

Планетологи переглянулись.

— Разве что в кессоне,— сказал один.

— Или в душевой,— сказал другой.— Но там сыро.

— Неуютно очень,— пожаловался Михаил Антонович.

— Ну вот что,— сказал Быков.— Пойдемте все к нам.

— И-эх,— сказал долговязый планетолог.— А потом опять сюда возвращаться?

— Пойдемте, пойдемте,— сказал Михаил Антонович.— Там и побеседуем.

— Как-то это не по правилам гостеприимства,— нерешительно сказал долговязый.

Наступило молчание. Юра сказал:

— Как мы забавно сидим — четыре на четыре. Прямо как шахматный матч.

Все посмотрели на него.

— Пошли, пошли к нам,— сказал Быков, решительно поднимаясь.

— Как-то это неловко,— сказал один из планетологов.— Давайте посидим у нас. Может, еще разговоримся.

Жилин сказал:

— У нас тепло. Маленький поворот регулятора — и можно сделать жарко. Мы будем сидеть в легких красивых одеждах. Не будем шмыгать носами.

В кают-компанию просунулся угрюмый человек в шубе на голое тело. Глядя в потолок, он неприветливо сказал:

— Прошу прощения, конечно, но разошлись бы вы, в самом деле, по каютам. Через пять минут мы перекроем здесь воздух.

Человек скрылся. Быков, не говоря ни слова, двинулся к выходу. Все потянулись за ним.

В торжественном молчании они прошли коридор, захлебнулись горячим воздухом в пустом кессоне и вступили на борт «Тахмасиба». Долговязый планетолог проворно стащил с себя шубу и пиджак и принялся сматывать с шеи шарф.

Теплую амуницию запихали в стенной шкаф. Потом состоялись представления и взаимные пожимания ледяных рук. Долговязого планетолога звали Рафаил Горчаков.

Остальные трое, как выяснилось, были Иозеф Влчек, Евгений Садовский и Павел Шемякин. Оттаяв, они оказались веселыми, разговорчивыми ребятами. Очень скоро выяснилось, что Горчаков и Садовский исследуют турбулентные движения в Кольце, не женаты, любят Грэма Грина и Строгова, предпочитают кино театру, в настоящий момент читают в подлиннике «Опыты» Монтеня, неореалистическую живопись не понимают, но не исключают возможность, что в ней что-то есть; что Иозеф Влчек ищет в Кольце железную руду методом нейтронных отражений и при помощи бомб-вспышек, что по профессии он скрипач, был чемпионом Европы по бегу на четыреста метров с барьерами, а в систему Сатурна попал, мстя своей девушке за холодность и печуткое к нему отношение; что, наконец, Павел Шемякин, напротив, женат, имеет детей, работает ассистентом в Институте планетологии, яро выступает за гипотезу об искусственном происхождении Кольца и намерен «голову сложить, но превратить гипотезу в теорию».

— Вся беда в том,— горячо говорил он,— что наши космоскафы как исследовательские снаряды не выдерживают никакой критики. Они очень тихоходны и очень непрочны. Когда я сижу в космоскафе над Кольцом, мне просто плакать хочется от обиды. Ведь рукой подать... А спускаться в Кольцо нам решительно запрещают. А я совершенно уверен, что первый же поиск в Кольце дал бы что-нибудь интересное. По крайней мере, какую-нибудь зацепку...

— Какую, например? — спросил Быков.

— Н-ну, я не знаю!..

— Я знаю,— сказал Горчаков.— Он надеется найти на каком-нибудь булыжнике след босой ноги. Знаете, как он работает? Опускается как можно ближе к Кольцу и рассматривает обломки в сорокакратный бинокулар. А в это время сзади подбирается здоровенный астероид и бьет его под корму.

— Ну и глупо,— сердито сказал Шемякин.— Если бы удалось показать, что Кольцо — результат распада какого-то тела, это уже означало бы многое, а между тем ловлей обломков нам заниматься запрещено.

— Легко сказать — поймать обломок,— сказал Быков.— Я знаю эту работу. Весь в поту и так до конца и не знаешь, кто кого поймал, а потом выясняется, что ты сбил аварийную ракету и горючего не хватит до базы. Не-ет, правильно делают, что запрещают эту ерунду.

Михаил Антонович вдруг сказал, мечтательно закатив глаза:

— Но зато, мальчики, как это увлекательно! Какая это живая, тонкая работа!

Планетологи посмотрели на него с почтительным удивлением. Юра тоже. Ему никогда не приходило в голову, что толстый добрый Михаил Антонович занимался когда-то охотой на астероиды. Быков холодно посмотрел на Михаила Антоновича и звучно откашлялся. Михаил Антонович испуганно огляпулся на него и торопливо заявил:

— Но это, конечно, очень опасно... Неоправданный риск... И вообще не надо...

— Кстати, о следах,— задумчиво сказал Жилин.— Вы тут далеки от источников информации,— он оглядел планетологов,— и, наверное, не знаете...

— А о чем речь? — спросил Садовский. По его лицу было видно, что он основательно изголодался по информации.

— На острове Хонсю,— сказал Жилин,— недалеко от бухты Данно-ура, в ущелье между горами Сираминэ и Титигатакэ, в непроходимом лесу археологи обнаружили систему пещер. В этих пещерах нашли множество первобытной утвари и — что самое интересное — много окаменевших следов первобытных людей. Археологи считают, что в пещерах двести веков назад обитали первояпонцы, потомки коих были впоследствии вырезаны племенами Ямато, ведомыми императором Дзимму-тэнно, божественным внуком небоблистающей Аматэрасу.

Быков крякнул и взялся за подбородок.

— Эта находка всполошила весь мир,— сказал Жилин,— вероятно, вы слыхали об этом.

— Где уж нам...— грустно сказал Садовский.— Живем как в лесу...

— А между тем об этом много писали и говорили, но не в этом дело. Самая любопытная находка была сделана сравнительно недавно, когда основательно расчистили центральную пещеру. Представьте себе: в окаменевшей глине оказалось свыше двадцати пар следов босых ног с далеко отставленными большими пальцами, и среди них...— Жилин обвел круглыми глазами лица слушателей. Юре было все ясно, но тем не менее эффектная пауза произвела на него большое впечатление.— След ботинка...— сказал Жилин обыкновенным голосом.

Быков поднялся и пошел из кают-компании.

— Алешенька! — позвал Михаил Антонович.— Куда же ты?

— Я уже знаю эту историю,— сказал Быков, не оборачиваясь.— Я читал. Я скоро приду.

— Ботинка? — переспросил Садовский.— Какого ботинка?

— Примерно сорок пятого размера,— сказал Жилин.— *Рубчатая подошва, низкий каблук, тупой квадратный* носок.

— Бред,— решительно сказал Влчек.— Утка.

Горчаков засмеялся и спросил:

— А не отпечаталась ли там фабричная марка «Скороход»?

— Нет,— сказал Жилин. Он покачал головой.— Если бы там была хоть какая-нибудь надпись! Просто след ботинка... Слегка перекрыт следом босой ноги — кто-то наступил позже.

— Ну это же утка! — сказал Влчек.— Это же ясно. Массовый отлов русалок на острове Мэн, дух Буонапарте, вселившийся в Массачусетскую счетную машину...

— Солнечные пятна расположены в виде чертежа Пифагоровой теоремы! — провозгласил Садовский.— Жители Солнца ищут контакта с МУКСом!

— Что-то ты, Ванюша, немножко... это...— сказал Михаил Антонович недоверчиво.

Шемякин молчал. Юра тоже.

— Я читал перепечатку из научного приложения к «Асахи-симбун»,— сказал Жилин.— Сначала я тоже думал, что это утка. В наших газетах такое сообщение не появлялось. Но статья подписана профессором Усодзуки — крупный человек, я слыхал о нем от японских ребят. Там он, между прочим, пишет, что хочет своей статьей положить конец потоку дезинформации, но никаких ком-

ментариев давать не собирается. Я понял так, что они сами не знают, как это объяснить.

— Отважный европеец в лапах разъяренных синантропов! — провозгласил Садовский.— Съеден целиком, остался только след ботинка фирмы «Шуз Маджестик». Покупайте изделия «Шуз Маджестик», если хотите, чтобы от вас хоть что-нибудь осталось.

— *Это были не синантропы,— терпеливо* сказал Жилин.— Большой палец отличается даже на глаз. Профессор Усодзуки называет их нихонантропами.

Шемякин наконец не выдержал.

— А почему, собственно, обязательно утка? — спросил он.— Почему мы всегда из всех гипотез выбираем наивероятнейшие?

— Действительно, почему? — сказал Садовский.— Следы оставил, конечно, пришелец, и первый контакт закончился трагически.

— А почему бы и нет? — сказал Шемякин.— Кто мог носить ботинок двести столетий назад?

— Елки-палки,— сказал Садовский.— Если говорить серьезно, то это след одного из археологов.

Жилин замотал головой.

— Во-первых, глина там совершенно окаменела. Возраст следа не вызывает сомнений. Неужели вы думаете, что Усодзуки не подумал о такой возможности?

— Тогда это утка,— упрямо сказал Садовский.

— Скажите, Иван,— сказал Шемякин,— а фотография следа не приводилась?

— А как же,— сказал Жилин.— И фотография следа, и фотография пещеры, и фотография Усодзуки... Причем учтите: у японцев самый большой размер сорок второй. От силы сорок третий.

— Давайте так,— сказал Горчаков.— Будем считать, что перед нами стоит задача построить логически непротиворечивую гипотезу, объясняющую эту японскую находку.

— Пожалуйста,— сказал Шемякин.— Я предлагаю — пришелец. Найдите в этой гипотезе противоречие.

Садовский махнул рукой.

— Опять пришелец,— сказал он.— Просто какой-нибудь бронтозавр.

— Проще предположить,— сказал Горчаков,— что это все-таки след какого-нибудь европейца. Какого-нибудь туриста.

— Да, это либо какое-нибудь неизвестное животное,

либо турист,— сказал Влчек.— Следы животных имеют иногда удивительные формы.

— Возраст, возраст...— тихонько сказал Жилин.

— Тогда просто неизвестное животное.

— Например, утка,— сказал Садовский.

Вернулся Быков, солидно устроился в кресле и спросил:

— Н-ну, что тут у вас?

— Вот товарищи пытаются как-то объяснить японский след,— сказал Жилин.— Предлагаются: пришелец, европеец, неизвестное животное.

— И что же? — сказал Быков.

— Все эти гипотезы,— сказал Жилин,— даже гипотеза о пришельце, содержат одно чудовищное противоречие.

— Какое? — спросил Шемякин.

— Я забыл вам сказать,— сказал Жилин.— Площадь пещеры сорок квадратных метров. След ботинка находится в самой середине пещеры.

— Ну и что же? — спросил Шемякин.

— И он один,— сказал Жилин.

Некоторое время все молчали.

— Н-да,— сказал Садовский.— Баллада об одноногом пришельце.

— Может, остальные следы стерты? — предположил Влчек.

— Абсолютно исключено,— сказал Жилин.— Двадцать пар совершенно отчетливых следов босых ног по всей пещере и один отчетливый след ботинка посередине.

— Значит, так,— сказал Быков.— Пришелец был одноногий. Его принесли в пещеру, поставили вертикально и, выяснив отношения, съели на месте.

— А что? — сказал Михаил Антонович.— По-моему, логически непротиворечиво. А?

— Плохо, что он одноногий,— задумчиво сказал Шемякин.— Трудно представить одноногое разумное существо.

— Возможно, он был инвалид? — предположил Горчаков.

— Одну ногу могли съесть сразу,— сказал Садовский.

— Бог знает какой ерундой мы занимаемся,— сказал Шемякин.— Пойдемте работать.

— Нет уж, извини,— сказал Влчек.— Надо расследовать. У меня есть такая гипотеза: у пришельца был очень широкий шаг. Они все там такие ненормально длинноногие

— Он бы разбил себе голову о свод пещеры,— возразил Садовский.— Скорее всего, он был крылатый — прилетел в пещеру, увидел, что его нехорошо ждут, оттолкнулся и улетел. А сами-то вы что думаете, Иван?

Жилин открыл рот, чтобы ответить, но вместо этого поднял палец и сказал:

— Внимание! Генеральный инспектор!

В кают-компанию вошел красный, распаренный Юрковский.

— Ф-фу! — сказал он.— Как хорошо, прохладно! Планетологи, вас зовет начальство. И учтите, что у вас там сейчас около сорока градусов.— Он повернулся к Юре.— Собирайся, кадет. Я договорился с капитаном танкера, он забросит тебя на «Кольцо-2».

Юра вздрогнул и перестал улыбаться.

— Танкер стартует через несколько часов, но лучше пойти туда заблаговременно. Ваня, проводишь его. Да! Планетологи! Где планетологи? — Он выглянул в коридор.— Шемякин! Паша! Приготовь фотографии, которые ты сделал над Кольцом. Мне надо посмотреть. Михаил, не уходи, погоди минуточку. Останься здесь. Алексей, брось книжку, мне нужно поговорить с тобой.

Быков отложил книжку. В кают-компании остались только он, Юрковский и Михаил Антонович. Юрковский, неуклюже раскачиваясь, пробежал из угла в угол.

— Что это с тобой? — осведомился Быков, подозрительно следя за ним.

Юрковский резко остановился.

— Вот что, Алексей,— сказал он.— Я договорился с Маркушиным, он дает мне космоскаф. Я хочу полетать над Кольцом. Абсолютно безопасный рейс, Алексей.— Юрковский неожиданно разозлился.— Ну чего ты так смотришь? Ребята совершают такие рейсы по два раза в сутки уже целый год. Да, я знаю, что ты упрям. Но я не собираюсь забираться в Кольцо. Я хочу полетать над Кольцом. Я подчиняюсь твоим распоряжениям. Уважь и ты мою просьбу. Я прошу тебя самым нижайшим образом, черт возьми! В конце концов, друзья мы или нет?

— В чем, собственно, дело? — сказал Быков спокойно.

Юрковский опять пробежался по комнате.

— Дай мне Михаила,— отрывисто сказал он.

— Что-о-о? — сказал Быков, медленно выпрямляясь.

— Или я полечу один,— сейчас же сказал Юрковский.— А я плохо знаю космоскафы.

Быков молчал. Михаил Антонович растерянно переводил глаза с одного на другого.

— Мальчики,— сказал он.— Я ведь с удовольствием... О чем разговор?

— Я мог бы взять пилота на станции,— сказал Юрковский.— Но я прошу Михаила, потому что Михаил в сто раз опытнее и осторожнее, чем все они, вместе взятые. Ты понимаешь? Осторожнее!

Быков молчал. Лицо у него стало темное и угрюмое.

— Мы будем предельно осторожны,— сказал Юрковский.— Мы будем идти на высоте двадцать — тридцать километров над средней плоскостью, не ниже. Я сделаю несколько крупномасштабных снимков, понаблюдаю визуально, и через два часа мы вернемся.

— Алешенька,— робко сказал Михаил Антонович.— Ведь случайные обломки над Кольцом очень редки. И они не так уж страшны. Немного внимательности...

Быков молча смотрел на Юрковского. «Ну что с ним делать? — думал он.— Что делать с этим старым безумцем? У Михаила больное сердце. Он в последнем рейсе. У него притупилась реакция, а в космоскафах ручное управление. А я не могу водить космоскаф. И Жилин не может. А молодого пилота с ним отпускать нельзя. Они уговорят друг друга нырнуть в Кольцо. Почему я не научился водить космоскаф, старый я дурак?»

— Алеша,— сказал Юрковский.— Я тебя очень прошу. Ведь я, наверное, больше никогда не увижу колец Сатурна. Я старый, Алеша.

Быков поднялся и, ни на кого не глядя, молча вышел из кают-компании. Юрковский закрыл лицо руками.

— Ах, беда какая! — сказал он с досадой.— Ну почему у меня такая отвратительная репутация? А, Миша?

— Очень ты неосторожный, Володенька,— сказал Михаил Антонович.— Право же, ты сам виноват.

— А зачем быть осторожным? — спросил Юрковский.— Ну скажи, пожалуйста, зачем? Чтобы дожить до полной духовной и телесной немощи? Дождаться момента, когда жизнь опротивеет, и умереть от скуки в кровати? Смешно же, Михаил, в конце концов, так трястись над собственной жизнью.

Михаил Антонович покачал головой.

— Экий ты, Володенька! — сказал он тихо.— И как ты не понимаешь, голубчик: ты-то умрешь — и все. А ведь

после тебя люди останутся, друзья. Знаешь, как им горько будет? А ты только о себе, Володенька, все о себе.

— Эх, Миша,— сказал Юрковский,— не хочется мне с тобой спорить. Скажи-ка ты мне лучше, согласится Алексей или нет?

— Да он, по-моему, уже согласился,— сказал Михаил Антонович.— Разве ты не видишь? Я-то его знаю, пятнадцать лет на одном корабле.

Юрковский снова пробежался по комнате.

— Ты-то хоть, Михаил, хочешь лететь или нет? — закричал он.— Или ты тоже... соглашаешься?

— Очень хочется,— сказал Михаил Антонович и покраснел.— На прощание.

Юра укладывал чемодан. Он никогда как следует не умел укладываться, а сейчас вдобавок торопился, чтобы не заметно было, как ему не хочется уходить с «Тахмасиба». Иван стоял рядом, и до чего же грустно было думать, что сейчас с ним придется проститься и что они больше никогда не встретятся. Юра как попало запихивал в чемодан белье, тетрадки с конспектами, книжки, в том числе «Дорогу дорог», о которой Быков сказал: «Когда эта книга тебе начнет нравиться, можешь считать себя взрослым». Иван, насвистывая, веселыми глазами следил за Юрой. Юра наконец закрыл чемодан, грустно оглядел каюту и сказал:

— Вот и все, кажется.

— Ну, раз все, пойдем прощаться,— сказал Жилин.

Он взял у Юры невесомый чемодан, и они пошли по кольцевому коридору, мимо плавающих в воздухе десятикилограммовых гантелей, мимо душевой, мимо кухни, откуда пахло овсяной кашей, в кают-компанию. В кают-компании был только Юрковский. Он сидел за пустым столом, обхватив ладонями залысую голову, и перед ним лежал прижатый к столу зажимами одинокий чистый листок бумаги.

— Владимир Сергеевич,— сказал Юра.

Юрковский поднял голову.

— А, кадет,— сказал он, печально улыбаясь.— Что ж, давай прощаться.

Они пожали друг другу руки.

— Я вам очень благодарен,— сказал Юра.

— Ну-ну,— сказал Юрковский.— Что ты, брат, в самом деле! Ты же знаешь, я не хотел тебя брать.

И напрасно не хотел. Что же тебе пожелать на прощание? Побольше работай, Юра. Работай руками, работай головой. В особенности не забывай работать головой. И помни, что настоящие люди — это те, кто много думает о многом. Не давай мозгам закиснуть.— Юрковский посмотрел на Юру со знакомым выражением, как будто ожидал, что Юра вот сейчас, немедленно, изменится к лучшему.— Ну, ступай.

Юра неловко поклонился и пошел из кают-компании. У дверей в рубку он оглянулся. Юрковский задумчиво смотрел ему вслед, но, кажется, уже не видел его. Юра поднялся в рубку. Михаил Антонович и Быков разговаривали возле пульта управления. Когда Юра вошел, они замолчали и посмотрели на него.

— Так,— сказал Быков.— Ты готов, Юрий? Иван, значит, ты его проводишь.

— До свидания,— сказал Юра.— Спасибо.

Быков молча протянул ему огромную ладонь.

— Большое вам спасибо, Алексей Петрович,— повторил Юра. И вам, Михаил Антонович.

— Не за что, не за что, Юрик,— заговорил Михаил Антонович.— Счастливой тебе работы. Обязательно напиши мне письмецо. Адресок ты не потерял?

Юра молча похлопал себя по нагрудному карману.

— Ну, вот и хорошо, ну, вот и прекрасно. Напиши, а если захочешь — приезжай. Право же, как вернешься на Землю, так и приезжай. У нас весело. Много молодежи. Мемуары мои почитаешь.

Юра слабо улыбнулся.

— До свидания,— сказал он.

Михаил Антонович помахал ручкой, а Быков прогудел:

— Спокойной плазмы, стажер.

Юра и Жилин вышли из рубки. В последний раз открылась и закрылась за Юрой дверь кессона.

— Прощай, «Тахмасиб»,— сказал Юра.

Они прошли по бесконечному коридору обсерватории, где было жарко, как в бане, и вышли на вторую доковую палубу. У раскрытого люка танкера сидел на маленькой бамбуковой скамеечке голенастый рыжий человек в расстегнутом кителе с золотыми пуговицами и в полосатых шортах. Глядясь в маленькое зеркальце, он расчесывал пятерней рыжие бакенбарды и, выпятив челюсть, дудел какой-то тирольский мотив. Увидев Юру и Жилина, он спрятал зеркальце в карман и встал.

— Капитан Корф? — сказал Жилин.

— Йа,— сказал рыжий.

— На «Кольцо-2»,— сказал Жилин,— вы доставите вот этого товарища. Генеральный инспектор говорил с вами, не так ли?

— Йа,— сказал рыжий капитан Корф.— Отчень корошо. Багаж?

Жилин протянул ему чемодан.

— Йа,— сказал капитан Корф в третий раз.

— Ну, прощай, Юрка,— сказал Жилин.— Не вешай ты, пожалуйста, носа. Что за манера, в самом деле?

— Ничего я не вешаю,— сказал Юра печально.

— Я отлично знаю, почему ты вешаешь нос,— сказал Жилин.— Ты вообразил, что мы больше никогда не встретимся, и не замедлил сделать из этого трагедию. А трагедии никакой нет. Тебе еще сто лет встречаться с разными хорошими и плохими людьми. А можешь ты мне ответить на вопрос: чем один хороший человек отличается от другого хорошего человека?

— Не знаю,— сказал Юра со вздохом.

— Я тебе скажу,— сказал Жилин.— Ничем существенным не отличается. Вот завтра ты будешь со своими ребятами. Завтра все тебе будут завидовать, а ты будешь хвастаться. Мы, мол, с инспектором Юрковским... Расскажешь, как ты стрелял в пиявок на Марсе, как своими руками вот таким стулом изничтожил мистера Ричардсона на Бамберге, как спас синеглазую девушку от злодея Шершня. Про смерть-планетчиков ты тоже чего-нибудь наврешь.

— Да что вы, Ваня! — сказал Юра, слабо улыбаясь.

— Ну а почему же? Воображение у тебя живое. Могу себе представить, как ты споешь им балладу об одноногом пришельце. Только учти. Честно говоря, там было два следа. Про второй след я не успел рассказать. Второй след был на потолке, в точности над первым. Не забудь. Ну, прощай.

— Ти-ла-ла-ла и-а! — тихонько завопил сзади капитан Корф.

— До свидания, Ваня,— сказал Юра. Он двумя руками пожал руку Жилина.

Жилин похлопал его по плечу, повернулся и вышел в коридор. Юра услышал, как в коридоре крикнули:

— Иван! Есть еще одна гипотеза! Там, в пещере, не было никакого пришельца. Был только его ботинок.

Юра слабо улыбнулся.

— Ти-ла-ла-ла и-а! — распевал позади капитан Корф, расчесывая рыжие бакенбарды.

13. «КОЛЬЦО-1». ДОЛЖЕН ЖИТЬ

— Володенька, подвинься немножко,— сказал Михаил Антонович.— А то я прямо в тебя локтем упираюсь. Если вдруг придется, скажем, делать вираж...

— Изволь, изволь,— сказал Юрковский.— Только мне, собственно, некуда. Удивительно тесно здесь. Кто строил эти... э-э... аппараты...

— А вот так... И хватит, и хватит, Володенька...

В космоскафе было очень тесно. Маленькая круглая ракета была рассчитана только на одного человека, но обычно в нее забирались по двое. Мало того, по правилам безопасности при работах над Кольцом экипажу надлежало быть в скафандрах с откинутым колпаком. Вдвоем, да еще в скафандрах, да еще с колпаками, висящими за спиной, в космоскафе было не повернуться. Михаилу Антоновичу досталось удобное кресло водителя с широкими мягкими ремнями, и он очень переживал, что другу Володеньке приходится корчиться где-то между чехлом регенератора и пультом бомбосбрасывателя.

Юрковский, прижимая лицо к нарамнику бинокулара, время от времени щелкал затвором фотокамеры.

— Чуть-чуть притормози, Миша,— приговаривал он.— Так... остановись... Фу ты, до чего у них тут все неудобно устроено!..

Михаил Антонович, с удовольствием покачивая штурвал, глядел не отрываясь на экран телепроектора. Космоскаф медленно плыл в двадцати пяти километрах от средней плоскости Кольца. Впереди исполинским, мутно-желтым горбом громоздился водянистый Сатурн. Ниже, вправо и влево, на весь экран тянулось плоское сверкающее поле. Вдали оно заволакивалось зеленоватой дымкой, и казалось, что гигантская планета рассечена пополам. А под космоскафом проползало каменное крошево. Радужные россыпи угловатых обломков, мелкого щебня, блестящей искрящейся пыли. Иногда в этом крошеве возникали странные вращательные движения, и тогда Юрковский говорил: «Притормози, Михаил... Вот так...» — и несколько раз щелкал затвором. Эти неопределенные и непо-

пятные движения привлекали особенное внимание Юрковского. Кольцо не было пригоршней камней, брошенных в мертвое инертное движение вокруг Сатурна; оно жило своей странной, непостижимой жизнью, и в закономерностях этой жизни еще предстояло разобраться. Михаил Антонович был счастлив. Он нежно сжимал податливые рукоятки штурвала, с наслаждением чувствуя, как мягко и послушно отзывается ракета на каждое движение его пальцев. Как это было прекрасно — вести корабль без кибер-штурмана, без всякой там электроники, бионики и кибернетики, надеяться только на себя, упиваться полной и безграничной уверенностью в себе и знать, что между тобой и кораблем только этот мягкий удобный штурвал и не приходится привычным усилием воли подавлять в себе мысль, что у тебя под ногами клокочет хотя и усмиренная, но страшная сила, способная разнести в пыль целую планету. У Михаила Антоновича было богатое воображение, в душе он всегда был немножко ретроградом, и медлительный космоскаф с его слабосильными двигателями казался ему уютным и домашним по сравнению с фотонным чудовищем «Тахмасибом» и с другими такими же чудовищами, с которыми пришлось иметь дело Михаилу Антоновичу за двадцать пять лет штурманской работы.

Кроме того, его, как всегда, приводили в тихий восторг сверкающие радугой алмазные россыпи Кольца. У Михаила Антоновича всегда была слабость к Сатурну и к его кольцам. Кольцо было изумительно красиво. Оно было гораздо красивее, чем об этом мог рассказать Михаил Антонович, и все же каждый раз, когда он видел Кольцо, ему хотелось рассказывать.

— Хорошо как! — сказал он наконец.— Как все переливается! Я, может быть, не могу...

— Притормози-ка, Миша,— сказал Юрковский.

Михаил Антонович притормозил.

— Вот есть лунатики,— сказал он.— А у меня такая же слабость...

— Притормози еще,— сказал Юрковский.

Михаил Антонович замолчал и притормозил еще. Юрковский щелкал затвором. Михаил Антонович помолчал и позвал в микрофон:

— Алешенька, ты нас слушаешь?

— Слушаю,— басом отозвался Быков.

— Алешенька, у нас все в порядке,— торопливо сообщил Михаил Антонович.— Я просто хотел поделиться.

Очень красиво здесь, Алешенька. Солнце так переливается на камнях... и пыль так серебрится... Какой ты молодец, Алешенька, что отпустил нас. Напоследок хоть посмотреть... Ах, ты бы посмотрел, как тут камушек один переливается! — От полноты чувств он снова замолчал.

Быков подождал немного и спросил:

— Вы долго еще намерены идти к Сатурну?

— Долго, долго! — раздраженно сказал Юрковский.— Ты бы шел, Алексей, занялся бы чем-нибудь. Ничего с нами не случится.

Быков сказал:

— Иван делает профилактику.— Он помолчал.— И я тоже.

— Ты не беспокойся, Алешенька,— сказал Михаил Антонович.— Шальных камней нет, все очень спокойно, безопасно.

— Это хорошо, что шальных камней нет,— сказал Быков.— Но ты все-таки будь повнимательнее.

— *Притормози, Михаил,— приказал Юрковский.*

— Что это там? — спросил Быков.

— Турбуленция,— ответил Михаил Антонович.

— А...— сказал Быков и замолчал.

Минут пятнадцать прошло в молчании. Космоскаф удалился от края Кольца уже на триста километров. Михаил Антонович покачивал штурвал и боролся с желанием разогнаться посильнее, так, чтобы сверкающие обломки внизу слились в сплошную сверкающую полосу. Это было бы очень красиво. Михаил Антонович любил делать такие вещи, когда был помоложе.

Юрковский вдруг сказал шепотом:

— Остановись.

Михаил Антонович притормозил.

— Остановись, говорят! — сказал Юрковский.— Ну?

Космоскаф повис неподвижно. Михаил Антонович оглянулся на Юрковского. Юрковский так втиснул лицо в парамник, словно хотел продавить корпус космоскафа и выглянуть наружу.

— Что там? — спросил Михаил Антонович.

— *Что у вас? — спросил Быков.*

Юрковский не ответил.

— Михаил! — закричал вдруг он.— По вращению Кольца... Видишь, под нами длинный черный обломок? Иди прямо над ним... точно над ним, не обгоняя...

Михаил Антонович повернулся к экрану, нашел длинный черный обломок внизу и повел космоскаф, стараясь не выпускать обломок из визирного перекрестия.

— Что там у вас? — снова спросил Быков.

— Какой-то обломок,— сказал Михаил Антонович.— Черный и длинный.

— Уходит,— сказал Юрковский сквозь зубы.— Медленнее на метр! — крикнул он.

Михаил Антонович снизил скорость.

— Нет, так не получится,— сказал Юрковский.— Миша, смотри, черный обломок видишь? — Он говорил очень быстро и шепотом.

— Вижу.

— Прямо по курсу на два градуса от него группа камней...

— Вижу,— сказал Михаил Антонович.— Там что-то блестит так красиво.

— Вот-вот... Держи на этот блеск... Не потеряй только... Или у меня в глазах что-то такое?

Михаил Антонович ввел блестящую точку в визирное перекрестие и дал максимальное увеличение на телепроектор. Он увидел пять округлых, странно одинаковых белых камней, а между ними что-то блестящее, неясное, похожее на серебристую тень растопыренного паука. Словно камни расходились, а паук цеплялся за них расставленными голыми лапами.

— Как забавно! — вскричал Михаил Антонович.

— Да что там у вас? — заорал Быков.

— Погоди, погоди, Алексей,— пробормотал Юрковский.— Здесь надо бы снизиться...

— Начинается,— сказал Быков.— Михаил! Ни на метр ниже!

Взволнованный Михаил Антонович, сам того не замечая, уже вел космоскаф вниз. Это было так удивительно и непонятно — пять одинаковых белых глыб и совершенно непривычных очертаний серебристая тень между ними.

Михаил! — рявкнул Быков и замолчал.

Михаил Антонович опомнился и резко затормозил.

— Ну что же ты? — не своим голосом закричал Юрковский.— Упустишь!

Длинный черный обломок медленно, едва заметно для глаза наползал на странные камни.

— Алешенька! — позвал Михаил Антонович.— Здесь в

самом деле что-то очень странное! Можно я еще немножко спущусь? Плохо видно!

Быков молчал.

— Упустишь, упустишь! — рычал Юрковский.

— Алешенька! — отчаянно закричал Михаил Антонович.— Я спущусь! На пять километров, а?

Он судорожно сжимал рукоятки штурвала, стараясь не выпустить блестящий предмет из перекрестия. Черный обломок надвигался медленно и неумолимо. Быков не отвечал.

— Да спускайся же, спускайся,— сказал Юрковский неожиданно спокойно.

Михаил Антонович в отчаянии посмотрел на спокойно мерцающий экран метеоритного локатора и повел космоскаф вниз.

— Алешенька,— бормотал он.— Я чуть-чуть, только чтобы из виду не упустить. Вокруг все спокойно, пусто.

Юрковский торопливо щелкал затворами фотокамер. Черный длинный обломок наползал, наползал и, наконец, надвинулся, закрыл белые камни и блестящего паучка между ними.

— Эх! — сказал Юрковский.— С твоим Быковым...

Михаил Антонович затормозил.

— Алешенька! — позвал он.— Вот и все.

Быков все молчал, и тогда Михаил Антонович посмотрел на рацию. Прием был выключен.

— Ай-яй-яй-яй! — закричал Михаил Антонович.— Как же это я... Локтем, наверное?

Он включил прием.

— ...хаил, назад! Михаил, назад! Михаил, назад!..— монотонно повторял Быков.

— Слышу, слышу, Алешенька! Здесь я нечаянно прием выключил!

— Немедленно возвращайтесь назад,— сказал Быков.

— Сейчас, сейчас, Алешенька! — сказал Михаил Антонович.— Мы *уже все кончили, и все в порядке*...— Он замолчал.

Продолговатый черный обломок постепенно уплывал, открывая снова группу белых камней. Снова вспыхнул на солнце серебристый паучок.

— Что у вас там происходит? — спросил Быков.— Можете вы мне толком объяснить или нет?

Юрковский, отпихнув Михаила Антоновича, нагнулся к микрофону.

— Алексей! — крикнул он.— Ты помнишь сказочку про гигантскую флюктуацию? Кажется, нам выпал-таки один шанс на миллиард!

— Какой шанс?

— Мы, кажется, нашли...

— Смотри, смотри, Володенька! — пробормотал Михаил Антонович, с ужасом глядя на экран. Масса плотной серой пыли надвигалась сбоку, и над ней плыли наискосок десятки блестящих угловатых глыб. Юрковский застонал: сейчас заволочет, закроет, сомнет и утащит невесть куда и эти странные белые камни и этого серебристого паучка, и никто никогда не узнает, что это было...

— Вниз! — заорал он.— Михаил, вниз!..

Космоскаф дернулся.

— Назад! — крикнул Быков.— Михаил, я приказываю: назад!

Юрковский протянул руку и выключил прием.

— Вниз, Миша, вниз... Только вниз... И поскорее.

— Что ты, Володенька! Нельзя же — приказ! Что ты! — Михаил Антонович потянулся к рации.

Юрковский поймал его за руку.

— Посмотри на экран, Михаил,— сказал он.— Через двадцать минут будет поздно...

Михаил Антонович молча рвался к рации.

— Михаил, не будь дураком... Нам выпал один шанс на миллиард... Нам никогда не простят... Да пойми ты, старый дурак!

Михаил Антонович дотянулся-таки до рации и включил прием. Они услыхали, как тяжело дышит Быков.

— Нет, они нас не слышат,— сказал он кому-то.

— Миша,— хрипло зашептал Юрковский.— Я тебе не прощу никогда в жизни, Миша... Я забуду, что ты был моим другом, Миша... Я забуду, что мы были вместе на Голконде... *Миша, это же смысл моей жизни, пойми... Я ждал этого всю жизнь... Я верил в это... Это пришельцы, Миша...*

Михаил Антонович взглянул ему в лицо и зажмурился: он не узнал Юрковского.

— Миша, пыль надвигается... Выводи под пыль, Миша, прошу, умоляю... Мы быстро, мы только поставим радиобакен и сразу вернемся. Это же совсем просто и неопасно, и никто не узнает...

— Ну вот, что ты с ним будешь делать! — вскричал Быков.

— Они что-то нашли,— сказал голос Жилина.

Михаил Антонович торопливо забормотал:

— Нельзя ведь. Не проси. Нельзя. Ведь я же обещал. Он с ума сойдет от беспокойства. Не проси...

Серая пелена пыли надвинулась вплотную.

— Пусти,— сказал Юрковский.— Я сам поведу.

Он стал молча выдирать Михаила Антоновича из кресла. Это было так дико и страшно, что Михаил Антонович совсем потерялся.

— Ну хорошо,— забормотал он.— Ну ладно... Ну подожди...— Он все никак не мог узнать лица Юрковского, это было похоже на жуткий сон.

— Михаил Антонович! — позвал Жилин.

— Я,— слабо сказал Михаил Антонович, и Юрковский изо всех сил ударил по рычажку бронированным кулаком. Металлическая перчатка срезала рычажок словно бритвой.

— Вниз! — заревел Юрковский.

Михаил Антонович, ужаснувшись, бросил космоскаф в двадцатикилометровую пропасть. Он весь содрогался от жалости и страшных предчувствий. Прошла минута, другая...

Юрковский сказал ясным голосом:

— Миша, Миша, я же понимаю...

Поздреватые каменные глыбы на экране росли, медленно поворачивались. Юрковский привычным движением надвинул на голову прозрачный колпак скафандра.

— Миша, Миша, я же понимаю,— услышал Жилин голос Юрковского.

Быков, сгорбившись, сидел перед рацией, обеими руками вцепившись в стойку бесполезного микрофона. Он мог только слушать, и пытаться понять, что происходит, и ждать, и надеяться. «Вернутся — изобью в кровь,— думал он.— Этого паиньку штурмана и этого генерального мерзавца. Нет. Не изобью. Только бы вернулись. Только бы вернулись». Рядом — руки в карманы — молчал угрюмый Жилин.

— Камни,— жалобно сказал Михаил Антонович,— камни...

Быков закрыл глаза. Камни в Кольце. Острые, тяжелые. Летят, ползут, крутятся. Обступают. Подталкивают, отвратительно скрипят по металлу. Толчок. Потом толчок посильнее. Это еще ерунда, не страшно, горохом сыплется по обшивке ползучая мелочь, и это тоже ерунда, а вот где-

то сзади надвигается тот самый тяжелый и быстрый, словно пущенный из гигантской катапульты, и локаторы еще не видят его за пеленой пыли, а когда увидят, будет все равно поздно... Лопается корпус, гармошкой складываются переборки, на миг мелькнет в трещине забитое камнем небо, пронзительно свистнет воздух, и люди становятся белыми и хрупкими, как лед... Впрочем, они в скафандрах. Быков открыл глаза.

— Жилин,— сказал он.— Иди к Маркушину и узнай, где второй космоскаф. Пусть приготовит для меня пилота.

Жилин исчез.

— Миша,— беззвучно позвал Быков.— Как-нибудь, Миша... Как-нибудь...

— Вот он,— сказал Юрковский.

— *Ай-яй-яй-яй-яй,— сказал Михаил Антонович.*

— Километров пять?

— Что ты, Володенька! Гораздо меньше... Правда, хорошо, когда камней нет?

— Тормози понемногу. Я буду готовить бакен. Эх, зря я рацию сломал, дурак...

— Что же это может быть, Володенька? Смотри, какое чудище!..

— Он их держит, видишь? Вот они где, пришельцы. А ты ныл!

— Что ты, Володенька? Разве я ныл? Я так...

— Как-нибудь стань, чтобы его, спаси-сохрани, не задеть...

Наступило молчание. Быков напряженно слушал. «Может быть, и обойдется»,— думал он.

— Ну, чего ты *куксишься*?

— Не знаю, право... Как-то мне все это странно... Не по себе как-то...

— Выйди под лапу и выброси магнитную кошку.

— Хорошо, Володенька...

«Что они там нашли? — думал Быков.— Что еще за лапа? Что они там копаются? Неужели нельзя побыстрее?»

— Не попал,— сказал Юрковский.

— Подожди, Володенька, ты не умеешь. Дай я.

— Смотри, она словно вросла в камень... А ты заметил, что они все одинаковые?

— Да, все пять. Мне это сразу странным показалось...

Вернулся Жилин.

— Нет космоскафа,— сказал он.

Быков даже не стал спрашивать, что это значит — нет

космоскафа. Он оставил микрофон, поднялся и сказал:

— Пошли к швейцарцам.

— Так у нас ничего не получится,— сказал голос Михаила Антоновича.

Быков остановился.

— Да, действительно... Что ж тут придумать?

— Погоди, Володенька. Давай я сейчас вылезу и сделаю это вручную.

— Правильно,— сказал Юрковский.— Давай вылезем.

— Нет уж, Володенька, ты сиди здесь. Толку от тебя мало... мало ли что...

Юрковский сказал, помолчав:

— Ладно. А я еще несколько снимков сделаю.

Быков поспешно пошел к выходу. Жилин вслед за ним вышел из рубки и запер люк в рубку на ключ. Быков на ходу сказал:

— Возьмем танкер, по пеленгу выйдем к этому месту и будем их ждать там.

— Правильно, Алексей Петрович,— сказал Жилин.— А что они там нашли?

— Не знаю,— сказал Быков сквозь зубы.— И знать не хочу. Пока я буду говорить с капитаном, ступай в рубку и займись пеленгом.

В коридоре обсерватории Быков поймал распаренного дежурного и приказал:

— Мы сейчас идем на танкер. Снимешь перемычку и задраишь люк.

Дежурный кивнул.

— Второй космоскаф возвращается,— сказал он.

Быков остановился.

— Нет-нет,— сказал дежурный с сожалением.— Он будет не скоро, часа через три.

Быков молча двинулся дальше. Они миновали кессон, прошли мимо бамбукового стульчика и по узкому тесному колодцу поднялись в рубку танкера. Капитан Корф и его штурман стояли над низким столиком и рассматривали голубой чертеж.

— Здравствуйте,— сказал Быков.

Жилин, не говоря ни слова, прошел к рации и принялся настраиваться на волну космоскафа. Капитан и штурман в изумлении воззрились на него. Быков подошел к ним.

— Кто капитан? — спросил он.

— Капитан Корф,— сказал рыжий капитан.— Кто ви? Потшему?

— Я Быков, капитан «Тахмасиба». Прошу мне помочь.

— Рад,— сказал капитан Корф. Он посмотрел на Жилина.

Жилин возился над рацией.

— Двое наших товарищей забрались в Кольцо,— сказал Быков.

— О! — На лице капитана изобразилась растерянность.— Как неосторожно!

— Мне нужен корабль. Я прошу у вас ваш корабль.

— Мой корабль? — растерянно повторил Корф.— Идти в Кольцо?

— Нет,— сказал Быков.— В Кольцо только в крайнем случае. Если случится несчастье.

— А где ваш корабль? — спросил Корф подозрительно.

— У меня фотонный грузовик,— ответил Быков.

— А...— сказал Корф.— Да, этто нельзя.

В рубке раздался голос Юрковского:

— Погоди, я сейчас вылезу.

— А я тебе говорю, сиди, Володенька,— сказал Михаил Антонович.

— Ты очень долго копаешься.

Михаил ничего не ответил.

— Это они в Кольце? — спросил Корф, показывая пальцем на рацию.

— Да,— сказал Быков.— Вы согласны?

Жилин подошел и стал рядом.

— Да,— сказал Корф задумчиво.— Надо помогать.

Штурман вдруг заговорил так быстро и неразборчиво, что Быков понимал только отдельные слова. Корф слушал и кивал. Затем он, сильно покраснев, сказал Быкову:

— Штурман не хочет лететь. Он не обязан.

— Он может сойти,— сказал Быков.— Спасибо, капитан Корф.

Штурман произнес еще несколько фраз.

— Он говорит, что мы идем на верную смерть,— перевел Корф.

— Скажите ему, чтобы он уходил,— сказал Быков.— Нам надо спешить.

— Может быть, господину Корфу тоже лучше сойти? — осторожно сказал Жилин.

— Хо-хо-хо! — сказал Корф.— Я капитан!

Он махнул штурману и пошел к пульту управления. Штурман, ни на кого не глядя, вышел. Через минуту гулко бухнул наружный люк.

— Девушки,— сказал капитан Корф, не оборачиваясь,— они делают нас слабыми. Слабыми, как они. Но надо сопротивляться. Приготовимся.

Он полез в боковой карман, вытащил фотографию, поставил на пульт перед собой.

— Вот так,— сказал он.— И никак по-другому, если рейс опасен. По местам, господа.

Быков сел у пульта рядом с капитаном. Жилин пристегнулся в кресле перед рацией.

— Диспетчер! — сказал капитан.

— Есть диспетчер,— откликнулся дежурный обсерватории.

— Прошу старт!

— Даю старт!

Капитан Корф нажал стартер, и все сдвинулось. И тогда Жилин вдруг вспомнил: «Юрка!» Несколько секунд он глядел на рацию, вздыхающую грустными вздохами Михаила Антоновича. Он просто не знал, как поступить. Танкер уже покинул зону обсерватории, и капитан Корф, маневрируя рулями, выводил корабль на пеленг. «Не будем-ка паниковать,— подумал Жилин.— Не так уж плохи дела. Пока еще не случилось ничего страшного».

— Михаил! — позвал голос Юрковского.— Скоро ты там?

— Сейчас, Володенька,— отозвался Михаил Антонович. Голос у него был какой-то странный — не то усталый, не то растерянный.

— Хо! — сказал позади голос Юры.

Жилин обернулся. В рубку входил Юра, заспанный и очень обрадованный.

— Вы тоже на «Кольцо-2»? — спросил он.

Быков дико взглянул на него.

— Химмельдоннерветтер! — прошептал капитан Корф. Он тоже начисто забыл о Юре.— Пассажиер! Ф-в каюта! — крикнул он грозно. Его рыжие бакенбарды страшно растопырились.

Михаил Антонович вдруг громко сказал:

— Володя... Будь добр, отведи космоскаф метров на тридцать. Сумеешь?

Юрковский недовольно заворчал.

— Ну, попробую,— сказал он.— А зачем это тебе понадобилось?

— Так мне будет удобней, Володя. Пожалуйста.

Быков вдруг встал и рванул на себе застежки куртки. Юра с ужасом глядел на него. Лицо Быкова, всегда красно-кирпичное, сделалось бело-синим. Юрковский вдруг закричал:

— Камень! Миша, камень! Назад! Бросай все!

Послышался слабый стон, и Михаил Антонович сказал дрожащим голосом:

— Уходи, Володенька. Скорее уходи. Я не могу.

— Скорость,— прохрипел Быков.

— Что значит не могу? — завизжал Юрковский. Было слышно, как он тяжело дышит.

— Уходи, уходи, не надо сюда...— бормотал Михаил Антонович.— Ничего не выйдет... Не надо, не надо...

— Так вот в чем дело,— сказал Юрковский.— Что же ты молчал? Ну, это ничего. Мы сейчас... Сейчас... Эк тебя угораздило...

— Скорость, скорость...— рычал Быков.

Капитан Корф, перекосив веснушчатое лицо, навис над клавишами управления. Перегрузка нарастала.

— Сейчас, Мишенька, сейчас...— бодро говорил Юрковский.— Вот так... Эх, лом бы мне...

— Поздно,— неожиданно спокойно сказал Михаил Антонович.

В наступившей тишине было слышно, как они тяжело, с хрипом, дышат.

— Да,— сказал Юрковский.— Поздно.

— Уйди,— сказал Михаил Антонович.

— Нет.

— Зря.

— Ничего,— сказал Юрковский,— это быстро.

Раздался сухой смешок.

— Мы даже не заметим. Закрой глаза, Миша.

И после короткой тишины кто-то — непонятно кто — тихо и жалобно позвал:

— Алеша... Алексей...

Быков молча отшвырнул капитана Корфа, как котенка, и впился пальцами в клавиши. Танкер рвануло. Вдавленный в кресло страшной перегрузкой, Жилин успел только подумать: «Форсаж!» На секунду он потерял сознание. Затем сквозь шум в ушах он услышал короткий оборвавшийся крик, как от сильной боли, и через красную пелену, застилавшую глаза, увидел, как стрелка автопеленгатора дрогнула и расслабленно закачалась из стороны в сторону.

— Миша! — закричал Быков.— Ребята!

Он упал головой на пульт и громко, неумело заплакал...

Юре было плохо. Его тошнило, сильно болела голова. Его мучил какой-то странный двойной бред. Он лежал на своей койке в тесной темной каюте «Тахмасиба», и в то же время это была его светлая большая комната дома на Земле. В комнату входила мама, клала холодную приятную руку ему на щеку и говорила голосом Жилина: «Нет, еще спит». Юре хотелось сказать, что он не спит, но это почему-то нельзя было делать. Какие-то люди, знакомые и незнакомые, проходили мимо, и один из них — в белом халате — нагнулся и очень сильно ударил Юру по больной, разбитой голове, и сейчас же Михаил Антонович жалобно сказал: «Алеша... Алексей...», а Быков, страшный, бледный как мертвец, схватился за пульт, и Юру кинуло вдоль коридора головой на острое и твердое. Играла печальная до слез музыка, и чей-то голос говорил: «...при исследовании Кольца Сатурна погибли генеральный инспектор Международного управления космических сообщений Владимир Сергеевич Юрковский и старейший штурман-космонавт Михаил Антонович Крутиков...» И Юра плакал, как плачут во сне даже взрослые люди, когда им приснится что-нибудь печальное...

Когда Юра пришел в себя, то увидел, что находится действительно в каюте «Тахмасиба», а рядом стоит врач в белом халате.

— Ну вот, давно бы так,— сказал Жилин.

— Они правда погибли? — спросил Юра.

Жилин молча кивнул.

— А Алексей Петрович?

Жилин ничего не сказал.

Врач спросил:

— Голова сильно болит?

Юра прислушался.

— Нет,— сказал он.— Не сильно.

— Это хорошо,— сказал врач.— Дней пять полежишь и будешь здоров.

— Меня не отправят на Землю? — спросил Юра. Он вдруг очень испугался, что его отправят на Землю.

— Нет, зачем же,— удивился врач, а Жилин бодро сообщил:

— О тебе уже справлялись с «Кольца-2», хотят тебя навестить.

— Пусть,— сказал Юра.

Врач сказал Жилину, что Юру надо через каждые три часа поить микстурой, предупредил, что придет послезавтра, и ушел. Жилин сказал, что скоро заглянет, и пошел его проводить. Юра снова закрыл глаза. «Погибли,— подумал он.— Никто больше не назовет меня кадетом и не попросит побеседовать со стариком, и никто не станет добрым голосом застенчиво читать свои мемуары о милейших и прекраснейших людях. Этого не будет никогда. Самое страшное — что этого не будет никогда. Можно разбить себе голову о стену, можно разорвать рубашку — все равно никогда не увидеть Владимира Сергеевича, как он стоит перед душевой в своем роскошном халате, с гигантским полотенцем через плечо и как Михаил Антонович раскладывает по тарелкам неизменную овсяную кашу и ласково улыбается. Никогда, никогда, никогда... Почему никогда? Как это так можно, чтобы никогда? Какой-то дурацкий камень в каком-то дурацком Кольце дурацкого Сатурна... И людей, которые должны быть, просто обязаны быть, потому что мир без них хуже,— этих людей нет и никогда больше не будет...»

Юра помнил смутно, что они что-то там нашли. Но это было неважно, это было не главное, хотя они-то считали, что это и есть самое главное. И конечно, все, кто их не знает, тоже будут считать, что это самое главное. Это всегда так. Если не знаешь того, кто совершил подвиг, для тебя главное — подвиг. А если знаешь — что тебе тогда подвиг? Хоть бы его и вовсе не было, лишь бы был человек. Подвиг — это хорошо, но человек должен жить.

Юра подумал, что через несколько дней встретит ребят. Они, конечно, сразу станут спрашивать, что да как. Они не будут спрашивать ни о Юрковском, ни о Крутикове, они будут спрашивать, что Юрковский и Крутиков нашли. Они будут прямо гореть от любопытства. Их будет больше всего интересовать, что успели передать Юрковский и Крутиков о своей находке. Они будут восхищаться мужеством Юрковского и Крутикова, их самоотверженностью и будут восклицать с завистью: «Вот это были люди!» И больше всего их будет восхищать, что они погибли на боевом посту. Юре даже стало тошно от обиды и от злости. Но он уже знал, что им ответить. «Чтобы не закричать на них: «Дураки сопливые!», чтобы не заплакать, чтобы не полезть в драку, я скажу им: «Подождите. Есть одна история...», и я начну так: «На острове Хонсю, в ущелье горы Титигатакэ, в непроходимом лесу нашли пещеру...»

Вошел Жилин, сел у Юры в ногах и потрепал его по колену. Жилин был в клетчатой рубашке с засученными рукавами. Лицо у него было осунувшееся и усталое. Он был небрит. «А как же Быков?» — подумал вдруг Юра и спросил:

— Ваня, а как же Алексей Петрович?

Жилин ничего не ответил.

ЭПИЛОГ

Автобус бесшумно подкатил к низкой белой ограде и остановился перед большой пестрой толпой встречающих. Жилин сидел у окна и смотрел на веселые, раскрасневшиеся от мороза лица, на сверкающие под солнцем сугробы перед зданием аэровокзала, на одетые инеем деревья. Открылись двери, морозный воздух ворвался в автобус. Пассажиры потянулись к выходу, отпуская прощальные шутки бортпроводнице. В толпе встречающих стоял веселый шум — у дверей обнимались, пожимали руки, целовались. Жилин поискал знакомые лица, никого не нашел и вздохнул с облегчением. Он посмотрел на Быкова. Быков сидел неподвижно, опустив лицо в меховой воротник гренландской куртки.

Бортпроводница взяла из сетки свой чемоданчик и весело сказала:

— Ну что же вы, товарищи? Приехали! Автобус дальше не идет.

Быков тяжело встал и, не вынимая рук из карманов, через опустевший автобус пошел к выходу. Жилин с портфелем Юрковского последовал за ним. Толпы уже не было. Люди группами направлялись к аэровокзалу, смеясь и переговариваясь. Быков ступил в снег, постоял, хмуро жмурясь на солнце, и тоже пошел к вокзалу. Снег звонко скрипел под ботинками. Сбоку бежала длинная голубоватая тень. Потом Жилин увидел Дауге.

Дауге торопливо ковылял навстречу, сильно опираясь на толстую полированную палку, маленький, закутанный, с темным морщинистым лицом. В руке у него, в теплой мохнатой варежке, был зажат жалкий букетик увядших незабудок. Глядя прямо перед собой, он подошел к Быкову, сунул ему букетик и прижался лицом к гренландской куртке. Быков обнял его и проворчал:

— Вот еще, сидел бы дома, видишь, какой мороз...

Он взял Дауге под руку, и они медленно пошли к вокзалу — огромный, сутулый Быков и маленький, сгорбленный Дауге. Жилин шел следом.

— Как легкие? — спросил Быков.

— Так...— сказал Дауге,— не лучше, не хуже...

— Тебе нужно в горы. Не мальчик, нужно беречься.

— Некогда,— сказал Дауге.— Очень многое нужно закончить. Очень многое начато, Алеша.

— Ну и что же? Надо лечиться. А то и кончить не успеешь.

— Главное — начать.

— Тем более.

Дауге сказал:

— Решен вопрос с экспедицией к Трансплутону. Настаивают, чтобы пошел ты. Я попросил подождать, пока ты вернешься.

— Ну что ж,— сказал Быков,— съезжу домой, отдохну... Пожалуйста.

— Начальником назначен Арнаутов.

— Все равно,— сказал Быков.

Они стали подниматься по ступенькам вокзала. Дауге было неудобно, видимо, он еще не привык к своей палке. Быков поддерживал его под локоть. Дауге тихонько сказал:

— А я ведь так и не обнял их, Алеша... Тебя обнял, Ваню обнял, а их не обнял...

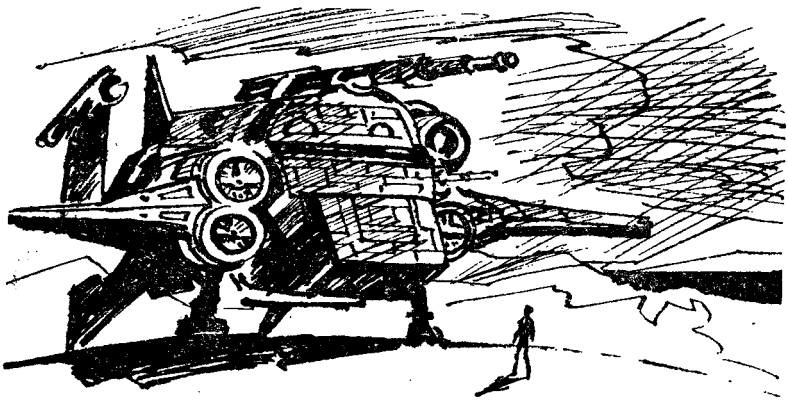
Быков промолчал, и они вошли в вестибюль. Жилин поднялся по лестнице и вдруг увидел в тени за колонной какую-то женщину, которая смотрела на него. Она сразу же отвернулась, но он успел заметить ее лицо под меховой шапочкой — когда-то, наверное, очень красивое, а теперь старое, обрюзгшее, почти безобразное. «Где я ее видел? — подумал Жилин.— Я ведь ее много раз где-то видел. Или она на кого-то похожа?»

Он толкнул дверь и вошел в вестибюль. Значит, теперь Трансплутон, он же Цербер. Далекий-далекий. От всего далекий. От Земли далекий, от людей далекий, от главного далекий. Снова стальная коробка, снова чужие, обледеневшие, такие неглавные скалы. Главное остается на Земле. Как всегда, впрочем. Но ведь так нельзя, нечестно. Пора решиться, Иван Жилин, пора! Конечно, некоторые скажут — с сожалением или насмешливо: «Нервы не выдержали. Бывает». Алексей Петрович может так подумать. Жилин даже приостановился. Да, он так и подумает:

«Нервы не выдержали. А ведь крепкий парень был». А ведь это здорово! «По крайней мере, ему не так будет обидно, что я бросаю его сейчас, когда он остается один... Конечно, ему будет легче думать, что у меня нервы не выдержали, чем видеть, что я ни во что не ставлю все эти трансплутоны. Он ведь упрям и очень тверд в своих убеждениях... и заблуждениях. Твердокаменные заблуждения...

Главное — на Земле. Главное всегда остается на Земле, и я останусь на Земле. Решено,— подумал он.— Решено. Главное — на Земле...»

МАЛЫШ



ГЛАВА ПЕРВАЯ. ПУСТОТА И ТИШИНА

— Знаешь,— сказала Майка,— предчувствие у меня какое-то дурацкое...

Мы стояли возле глайдера, она смотрела себе под ноги и долбила каблуком промерзший песок.

Я не нашелся, что ответить. Предчувствий у меня не было никаких, но мне, в общем, здесь тоже не нравилось. Я прищурился и стал смотреть на айсберг. Он торчал над горизонтом гигантской глыбой сахара, сверкающе-белый иззубренный клык, очень холодный, очень неподвижный, очень цельный, без всех этих живописных мерцаний и переливов,— видно было, что как вломился он в этот плоский беззащитный берег сто тысяч лет назад, так и намеревается проторчать здесь еще сто тысяч лет на зависть всем своим собратьям, неприкаянно дрейфующим в открытом океане. Пляж, гладкий, серо-желтый, сверкающий мириадами чешуек инея, уходил к нему, а справа был океан, свинцовый, дышащий стылым металлом, подернутый зябкой рябью, у горизонта черный, как тушь, противоестественно мертвый. Слева над горячими ключами, над болотом лежал серый слоистый туман, за туманом смутно угадывались щетинистые сопки, а дальше громоздились отвесные темные скалы, покрытые пятнами снега. Скалы эти тянулись вдоль всего побережья, насколько хватал глаз, а над скалами в безоблачном, но тоже безрадостном

ледяном серо-лиловом небе всходило крошечное негреющее лиловатое солнце.

Вандерхузе вылез из глайдера, немедленно натянул на голову меховой капюшон и подошел к нам.

— Я готов,— сообщил он.— Где Комов?

Майка коротко пожала плечами и подышала на застывшие пальцы.

— Сейчас придет, наверное,— рассеянно сказала она.

— Вы куда сегодня? — спросил я Вандерхузе.— На озеро?

Вандерхузе слегка запрокинул лицо, выпятил нижнюю губу и сонно посмотрел на меня поверх кончика носа, сразу сделавшись похожим на пожилого верблюда с рысьими бакенбардами.

— Скучно тебе здесь одному,— сочувственно произнес он.— Однако придется потерпеть, как ты полагаешь?

— Полагаю, что придется.

Вандерхузе еще сильнее запрокинул голову и с той же верблюжьей надменностью поглядел в сторону айсберга.

— Да,— сочувственно произнес он.— Это очень похоже на Землю, но это не Земля. В этом вся беда с землеподобными мирами. Все время чувствуешь себя обманутым. Обворованным чувствуешь себя. Однако и к этому можно привыкнуть, как ты полагаешь, Майка?

Майка не ответила. Совсем она что-то загрустила сегодня. Или наоборот — злилась. Но с Майкой это вообще-то бывает, она это любит.

Позади, легонько чмокнув, лопнула перепонка люка, и на песок соскочил Комов. Торопливо, на ходу застегивая доху, он подошел к нам и отрывисто спросил:

— Готовы?

— Готовы,— сказал Вандерхузе.— Куда мы сегодня, Геннадий? Опять на озеро?

— Так,— сказал Комов, возясь с застежкой на горле.— Насколько я понял, Майя, у вас сегодня квадрат шестьдесят четыре. Мои точки: западный берег озера, высота семь, высота двенадцать. Расписание уточним в дороге. Попов, вас я попрошу отправить радиограммы, я оставил их в рубке. Связь со мной через глайдер. Возвращение в восемнадцать ноль-ноль по местному времени. В случае задержки предупредим.

— Понятно,— сказал я без энтузиазма: не понравилось мне это упоминание о возможной задержке.

Майка молча подошла к глайдеру. Комов справился

наконец с застежкой, провел ладонью по груди и тоже пошел к глайдеру. Вандерхузе пожал мне плечо.

— Поменьше глазей на все эти пейзажи,— посоветовал он.— Сиди по возможности дома и читай. Береги цветы своей селезенки.

Он неспешно забрался в глайдер, устроился в водительском кресле и помахал мне рукой. Майка наконец позволила себе улыбнуться и тоже помахала мне рукой. Комов, не глядя, кивнул, фонарь задвинулся, и я перестал их видеть. Глайдер неслышно тронулся с места, стремительно скользнул вперед и вверх, сразу сделался маленьким и черным и исчез, словно его не было. Я остался один.

Некоторое время я стоял, засунув руки глубоко в карманы дохи, и смотрел, как трудятся мои ребятишки. За ночь они поработали на славу, поосунулись, отощали и теперь, развернув энергозаборники на максимум, жадно глотали бледный бульончик, который скармливало им хилое лиловое светило. И ничто иное их не заботило. И ничего больше им было не нужно, даже я им был не нужен — во всяком случае, до тех пор, пока не исчерпается их программа. Правда, неуклюжий толстяк Том каждый раз, когда я попадал в поле его визиров, зажигал рубиновый лобовой сигнал, и при желании это можно было принимать за приветствие, за вежливо-рассеянный поклон, но я-то знал, что это просто означает: «У меня и у остальных все в порядке. Выполняем задание. Нет ли новых указаний?» У меня не было новых указаний. У меня было много одиночества и много, очень много мертвой тишины.

Это не была ватная тишина акустической лаборатории, от которой закладывает уши, и не та чудная тишина земного загородного вечера, освежающая, ласково омывающая мозг, которая умиротворяет и сливает тебя со всем самым лучшим, что есть на свете. Это была тишина особенная — пронзительная, прозрачная, как вакуум, взводящая все нервы,— тишина огромного, совершенно пустого мира.

Я затравленно огляделся. Вообще-то, наверное, нельзя так говорить о себе; наверное, следовало бы сказать просто: «Я огляделся». Однако на самом деле я огляделся не просто, а именно затравленно. Бесшумно трудились киберы. Бесшумно слепило лиловое солнце. С этим надо было как-то кончать.

Например, можно было собраться наконец и сходить к

айсбергу. До айсберга было километров пять, а стандартная инструкция категорически запрещает дежурному удаляться от корабля дальше, чем на сто метров. Наверное, при других обстоятельствах чертовски соблазнительно было бы рискнуть и нарушить инструкцию. Но только не здесь. Здесь я мог уйти и на пять километров, и на сто двадцать пять, и ничего бы не случилось ни со мной, ни с моим кораблем, ни с десятком других кораблей, рассаженных сейчас по всем климатическим поясам планеты к югу от меня. Не выскочит из этих корявых зарослей кровожаждущее чудовище, чтобы пожрать меня,— нет здесь никаких чудовищ. Не налетит с океана свирепый тайфун, чтобы вздыбить корабль и швырнуть на эти угрюмые скалы,— не замечено здесь ни тайфунов, ни землетрясений. Не будет здесь сверхсрочного вызова с базы с объявлением *биологической тревоги* — не может здесь быть биологической тревоги, нет здесь ни вирусов, ни бактерий, опасных для многоклеточных существ. Ничего здесь нет, на этой планете, кроме океана, скал и карликовых деревьев. Неинтересно здесь нарушать инструкцию.

И выполнять ее здесь неинтересно. На любой порядочной биологически активной планете фига с два я стоял бы вот так, руки в карманах, на третий день после посадки. Я бы мотался сейчас как угорелый. Наладка, запуск и ежесуточный контроль настройки сторожа-разведчика. Организация вокруг корабля — и вокруг строительной площадки, между прочим,— Зоны Абсолютной Биологической Безопасности. Обеспечение упомянутой ЗАББ от нападения из-под почвы. Каждые два часа контроль и смена фильтров — внешних бортовых, внутренних бортовых и личных. Устройство могильника для захоронения всех отходов, в том числе и использованных фильтров. Каждые четыре часа стерилизация, дегазация и дезактивация управляющих систем кибермеханизмов. Контроль информации роботов медслужбы, занущенных за пределы ЗАББ. Ну и всякие мелочи: метеозонды, сейсмическая разведка, снелеоопасность, тайфуны, обвалы, сели, карстовые сбросы, лесные пожары, вулканические извержения...

Я представил себе, как я, в скафандре, потный, невыспавшийся, злой и уже слегка отупевший, промываю нервные узлы толстяку Тому, а сторож-разведчик мотается у меня над головой и с настойчивостью идиота в двадцатый

раз сообщает о появлении вон под той корягой страшной крапчатой лягушки неизвестного ему вида, а в наушниках верещат тревожные сигналы ужасно взволнованных роботов медслужбы, обнаруживших, что такой-то местный вирус дает нестандартную реакцию на пробу Балтерманца и, следовательно, теоретически способен прорвать биоблокаду. Вандерхузе, который, как и подобает врачу и капитану, сидит в корабле, озабоченно ставит меня в известность, что возникла опасность провалиться в трясину, а Комов с ледяным спокойствием сообщает по радио, что двигатель глайдера съеден маленькими насекомыми вроде муравьев и что муравьи эти в настоящий момент пробуют на зуб его скафандр... Уф! Впрочем, на такую планету меня бы, конечно, не взяли. Меня взяли именно на такую планету, для которой инструкции не писаны. За ненадобностью.

Перед люком я задержался, отряхнул с подошв приставшие песчинки, постоял немного, положив ладонь на теплый дышащий борт корабля, и ткнул пальцем в перепонку. В корабле тоже было тихо, но это все-таки была домашняя тишина, тишина пустой и уютной квартиры. Я сбросил доху и прошел прямо в рубку. У своего пульта я задерживаться не стал — я и так видел, что все хорошо,— а сразу сел за рацию. Радиограммы лежали на столике. Я включил шифратор и стал набирать текст. В первой радиограмме Комов сообщал на базу координаты предполагаемых *стойбищ, отчитывался за мальков, которые были* вчера запущены в озеро, и советовал Китамуре не торопиться с пресмыкающимися. Все это было более или менее понятно, но вот из второй радиограммы, адресованной в Центральный информаторий, я понял только, что Комову позарез нужны данные относительно игрек-фактора для двунормального гуманоида с четырехэтажным индексом, состоящим в общей сложности из девяти цифр и четырнадцати греческих букв. Это была сплошная и непроницаемая высшая ксенопсихология, в которой я, как и всякий нормальный гуманоид индекса ноль, не разбирался абсолютно. И не надо.

Набрав текст, я включил служебный канал и передал все сообщения в одном импульсе. Потом я зарегистрировал радиограммы, и тут мне пришло в голову, что пора бы и мне послать первый отчет. То есть, собственно, что значит — отчет... «Группа ЭР-2, строительные работы по стандарту 15, выполнение столько-то процентов, дата,

подпись». Все. Мне пришлось встать и подойти к своему пульту, чтобы взглянуть на график выполнения, и я сразу понял, почему это меня вдруг потянуло на отчет. Не в отчете здесь было дело, а просто я, наверное, уже достаточно опытный кибертехник и почуял перебой, даже ничего не видя и не слыша: Том опять остановился, совсем как вчера, ни с того ни с сего. Как и вчера, я раздраженно ткнул пальцем в клавишу контрольного вызова: «В чем дело?» Как и вчера, сигнал задержки сейчас же погас — и вспыхнул рубиновый огонек: «У нас все в порядке, выполняем задание. Нет ли новых указаний?» Я дал ему указание возобновить работу и включил видеоэкран. Джек и Рекс усердно работали, и Том тоже двинулся, но в первые секунды как-то странно, чуть ли не боком, однако тут же выровнялся.

— Э, брат,— сказал я вслух,— видно, ты у меня переутомился и надобно тебя, брат, почистить.— Я заглянул в рабочий дневник Тома. Профилактику ему надлежало делать сегодня вечером.— Ладно, до вечера мы с тобой как-нибудь дотянем, как ты полагаешь?

Том не возражал. Некоторое время я смотрел, как они работают, а потом выключил видеоэкран: айсберг, туман над болотом, темные скалы... Хотелось без этого обойтись.

Отчет я все-таки послал и тут же связался с ЭР-6. Вадик откликнулся немедленно, словно только того и ждал.

— Ну, что там у вас? — спросили мы друг друга.

— У нас ничего,— ответил я.

— У нас ящерицы передохли,— сообщил Вадик.

— Эх, вы,— сказал я.— Предупреждает же вас Комов, любимый ученик доктора Мбога: не торопитесь вы с пресмыкающимися.

— А кто с ними торопится? — возразил Вадик.— Если ты хочешь знать мое мнение, они здесь просто не выживут. Жарища же!

— Купаетесь? — спросил я с завистью.

Вадик помолчал.

— Окунаемся,— сказал он.— Время от времени.

— Что так?

— Пусто,— сказал Вадик.— Вроде кошмарно большой ванны... Ты этого не поймешь. Нормальный человек такую невероятную ванну представить себе не может. Я здесь заплыл километров на пять, сначала все было хорошо, а потом вдруг как представил себе, что это же не

бассейн — океан! И, кроме меня, нет в нем ни единой живой твари... Нет, старик, ты этого не поймешь. Я чуть не потонул.

— Н-да,— проговорил я.— Значит, вас тоже...

Мы поболтали еще несколько минут, а потом Вадика вызвала база, и мы торопливо распрощались. Я вызвал ЭР-9. Ганс не откликнулся. Можно было бы, конечно, вызвать ЭР-1, ЭР-3, ЭР-4 и так далее — до ЭР-12, поговорить о том, что, мол, пусто, безжизненно, мол, но какой от этого прок? Если подумать, никакого. Поэтому я выключил рацию и переселился к себе за пульт. Некоторое время я сидел просто так — глядел на рабочие экраны и думал о том, что дело, которое мы делаем, это вдвойне хорошее дело: мы не только спасаем пантиан от неминуемой и поголовной гибели, мы еще и эту планету спасаем — от пустоты, от мертвой тишины, от бессмысленности. Потом мне пришло в голову, что пантиане, наверное, довольно странная раса, если наши ксенопсихологи считают, что эта планета им подходит лучше всего. Странный, должно быть, образ жизни у них на Панте. Вот доставят их сюда — сначала, конечно, не всех, а по два, по три представителя от каждого племени,— увидят представители этот промерзший пляж, этот айсберг, пустой ледяной океан, пустое лиловое небо, увидят и скажут: «Прекрасно! Совсем как дома!» Не верится что-то. Правда, к их приезду здесь уже не будет так пусто. В озерах будет рыба, в зарослях — дичь, на отмелях — съедобные ракушки. Может быть, и ящерицы как-нибудь приживутся... А потом, надо сказать, в положении пантиан не приходится особенно выбирать. Если бы, например, стало известно, что наше Солнце вот-вот взорвется и слизнет с Земли все живое, я, наверное, тоже не был бы таким привередливым. Наверное, сказал бы себе: ничего, проживем как-нибудь. Впрочем, пантиан никто и не спрашивает. Они все равно ничего не понимают, космографии у них еще нет, даже самой примитивной. Так и не узнают они, что переселились на другую планету...

И вдруг я обнаружил, что слышу нечто. Какое-то шуршание, будто ящерица пробежала. Ящерица вспомнилась мне, должно быть, из-за недавнего разговора с Вадиком, на самом-то деле звук был еле слышный и совершенно неопределенный. Потом в дальнем конце рубки что-то тикнуло — и сейчас же где-то пролилась струйкой вода. На самом пределе слышимости билась и зудела муха, попав-

шая в паутину, скороговоркой бормотали раздраженные голоса. И снова по коридору пробежала ящерица. Я почувствовал, что у меня свело шею от напряжения, и встал. При этом я задел справочник, лежавший на краю пульта, и он со страшным грохотом обрушился на пол. Я поднял его и со страшным грохотом швырнул обратно на пульт. Я задудел бодрый марш и, печатая шаг, вышел в коридор.

Это все тишина. Тишина и пустота. Вандерхузе каждый вечер объясняет нам это с предельной ясностью. Человек — не природа, он не терпит пустоты. Оказавшись в пустоте, он стремится ее заполнить. Он заполняет ее видениями и воображаемыми звуками, если не в состоянии заполнить ее чем-нибудь реальным. Воображаемых звуков я за эти три дня наслышался предостаточно. Надо полагать, скоро начнутся видения...

Я маршировал по коридору мимо пустых кают, мимо библиотеки, мимо арсенала, а когда проходил мимо медицинского отсека, почувствовал слабый запах — свежий и одновременно неприятный, вроде нашатырного спирта. Я остановился и принюхался. Знакомый запах. Хотя что это такое — непонятно. Я заглянул в хирургическую. Постоянно включенный и готовый к действию киберхирург — огромный белый спрут, подвешенный к потолку,— холодно глянул на меня зеленоватыми глазищами и с готовностью приподнял манипуляторы. Запах здесь был гуще. Я включил аварийную вентиляцию и замаршировал дальше. Надо же, до чего у меня все чувства обострились. Уж что-что, а обоняние у меня всегда было негодным...

Свой дозорный марш я закончил на кухне. Здесь тоже было полно запахов, но против этих запахов я ничего не имел. Что бы там ни говорили, а на кухне должно пахнуть. На других кораблях что на кухне, что в рубке — одно и то же. У меня этого нет и не будет. У меня свои порядки. Чистота чистотой, а на кухне должно хорошо пахнуть. Вкусно. Возбуждающе. Мне здесь надлежит четырежды в день составлять меню, и это, заметьте, при полном отсутствии аппетита, потому что аппетит и пустота — тишина — вещи, по-видимому, несовместимые...

На составление меню мне потребовалось не менее получаса. Это были трудные полчаса, но я сделал все, что мог. Потом я включил повара, втолковал ему меню и пошел взглянуть, как работают мои ребятишки.

Уже с порога рубки я увидел, что имеет место ЧП. Все

три рабочих экрана на моем пульте показывали полный останов. Я подбежал к пульту и включил видеоэкран. Сердце у меня екнуло: строительная площадка была пуста. Такого у меня еще никогда не случалось. Я даже не слыхивал, что такое вообще может случиться. Я помотал головой и бросился к выходу. Киберов кто-то увел... Шальной метеорит... Стукнул Тома в крестец... Взбесилась программа... Невозможно, невозможно! Я влетел в кессон и схватил доху. Руки не попадали в рукава, куда-то пропали застежки, и пока я сражался с дохой, как барон Мюнхгаузен со своей взбесившейся шубой, перед глазами моими стояла жуткая картина: кто-то неведомый и невозможный ведет моего Тома, как собачонку, и киберы покорно ползут прямо в туман, в курящуюся топь, погружаются в бурую жижу и исчезают навсегда... Я с размаху пнул ногой в перепонку и выскочил наружу.

У меня все поплыло перед глазами. Киберы были здесь, у корабля. Они толпились у грузового люка, все трое, легонько отталкивая друг друга, как будто каждый пытался первым попасть в трюм. Это было невозможно, это было страшно. Они словно стремились поскорее спрятаться в трюме, укрыться от чего-то, спастись... Известно такое явление второй природы — взбесившийся робот, оно бывает очень редко, а о взбесившемся строительном роботе я не слышал никогда. Однако нервы у меня были так взвинчены, что сейчас я был готов к этому. Но ничего не произошло. Заметив меня, Том перестал ерзать и включил сигнал «жду указаний». Я решительно показал ему руками: «Вернуться на место, продолжать выполнение программы». Том послушно включил задний ход, развернулся и покатил обратно на площадку. Джек и Рекс, естественно, последовали за ним. А я все стоял возле люка, в горле у меня пересохло, колени ослабели, и мне очень хотелось присесть.

Но я не присел. Я принялся приводить себя в порядок. Доха на мне была застегнута вкривь и вкось, уши мерзли, на лбу и на щеках быстро застывал пот. Медленно, стараясь контролировать все свои движения, я вытер лицо, застегнулся как следует, надвинул на глаза капюшон и натянул перчатки. Стыдно признаться, конечно, но я испытывал страх. Собственно, это уже был не сам страх, это были остатки пережитого страха, смешанные со стыдом. Кибертехник, который испугался собственных киберов... Мне стало совершенно ясно, что об этом случае я никогда

и никому не расскажу. Елки-палки, у меня же ноги тряслись, они у меня и сейчас какие-то дряблые, и больше всего на свете мне сейчас хочется вернуться в корабль, спокойно, по-деловому обдумать происшествие, разобраться. Справочники кое-какие просмотреть. А на самом деле я, наверное, просто боюсь приближаться к моим ребятишкам...

Я решительно засунул руки в карманы и зашагал к стройплощадке. Ребятишки трудились как ни в чем не бывало. Том, как всегда, предупредительно запросил у меня новые указания. Джек обрабатывал фундамент диспетчерской, как ему и было положено по программе. Рекс зигзагами ходил по готовому участку посадочной полосы и занимался расчисткой. Да, что-то у них не в порядке все-таки с программой. Камней каких-то на полосу накидали... Не было этих камней, да и не нужны они тут, хватает строительного материала и без камней. Да, как Том тогда остановился, так с тех пор весь последний час они тут делали что-то не то. Сучья какие-то валяются на полосе... Я наклонился, поднял сучок и прошелся взад-вперед, похлопывая себя этим сучком по голенищу. А не остановить ли мне их подобру-поздорову прямо сейчас, не дожидаясь срока профилактики? Неужели же, елки-палки, я где-то напахал в программе? Уму непостижимо... Я бросил сучок в кучу камней, собранных Рексом, повернулся и пошел к кораблю.

ГЛАВА ВТОРАЯ. ТИШИНА И ГОЛОСА

Следующие два часа я был очень занят, так занят, что не замечал ни тишины, ни пустоты. Для начала я посовещался с Гансом и Вадиком. Ганса я разбудил, и спросонок он только мычал и мямлил какую-то несусветицу про дождь и низкое давление. Толку от него не получилось никакого. Вадика мне пришлось долгое время убеждать, что я не шучу и не разыгрываю. Это было тем более трудно, что меня все время душил нервный смех. В конце концов я убедил его, что мне не до шуток и что для смеха у меня совсем другие основания. Тогда он тоже сделался серьезным и сообщил, что у него у самого старший кибер время от времени спонтанно останавливается, но в этом как раз нет ничего удивительного: жара, работа идет на пределе технических норм, и система еще не успела акко-

модироваться. Может быть, все дело в том, что у меня здесь холод? Может быть, все дело было в этом, я еще не знал. Я, собственно, надеялся выяснить это у Вадика. Тогда Вадик вызвал головастую Нинон с ЭР-8, мы обсудили эту возможность втроем, ничего не придумали, и головастая Нинон посоветовала мне связаться с главным киберинженером базы, который зубы съел именно на этих строительных системах, чуть ли не их создатель. Ну, это-то я и сам знал, однако мне совсем не улыбалось лезть к главному за консультацией уже на третий день самостоятельной работы, да еще не имея за душой ни одного, буквально ни одного толкового соображения.

В общем, я сел за свой пульт, развернул программу и принялся ее вылизывать — команду за командой, группу за группой, поле за полем. Надо сказать, никаких дефектов я не обнаружил. За ту часть программы, которую составлял я сам, я и раньше готов был отвечать головой, а теперь готов был отвечать и своим добрым именем вдобавок. Со стандартными полями дело обстояло хуже. Многие из них были мне знакомы мало, и если бы я взялся каждое такое стандартное поле контролировать заново, обязательно бы сорвал график работ. Поэтому я решился на компромисс. Я временно выключил из программы все поля, которые пока не были нужны, упростил программу до наивозможнейшего предела, ввел ее в систему управления и положил было палец на пусковую клавишу, как вдруг до меня дошло, что уже в течение некоторого времени я опять слышу нечто — нечто совсем уже странное, совершенно неуместное и невероятно знакомое.

Плакал ребенок. Где-то далеко, на другом конце корабля, за многими дверями отчаянно плакал, надрываясь и захлебываясь, какой-то ребеночек. Маленький, совсем маленький. Годик, наверное. Я медленно поднял руки и прижал ладони к ушам. Плач прекратился. Не опуская рук, я встал. Точнее сказать, я обнаружил, что уже некоторое время стою на ногах, зажимая уши, что рубашка у меня прилипла к спине и что челюсть у меня отвисла. Я закрыл рот и осторожно отвел ладони от ушей. Плача не было. Стояла обычная проклятая тишина, только звенела в невидимом углу муха, запутавшаяся в паутине. Я достал из кармана платок, торопливо развернул его и тщательно вытер лоб, щеки и шею. Затем, так же торопливо сворачивая платок, я прошелся перед пультом. Мыслей у меня не было никаких. Я постучал костяшками пальцев по

кожуху вычислителя и кашлянул. Все было в порядке, я слышал. Я шагнул обратно к креслу, и тут ребенок заплакал снова.

Не знаю, сколько времени я стоял столбом и слушал. Самым страшным было то, что я слышал его совершенно ясно. Я даже отдавал себе отчет в том, что это не бессмысленное мяуканье новорожденного и не обиженный рев карапуза лет четырех-пяти,— вопил и захлебывался младенец, еще не умеющий ходить и разговаривать, но уже не грудной. У меня племянник такой есть — год с небольшим...

Оглушительно грянул звонок радиовызова, и у меня от неожиданности едва не выскочило сердце. Я подобрался к рации и включил прием. Ребеночек все плакал.

— Ну, как у тебя дела? — осведомился Вадик.

— Никак,— сказал я.

— Ничего не придумал?

— Ничего,— сказал я. Я поймал себя на том, что прикрываю микрофон рукой.

— Что-то тебя плохо слышно,— сказал Вадик.— Так что же ты думаешь делать?

— Как-нибудь,— пробормотал я, плохо соображая, что говорю.

Ребенок продолжал плакать. Теперь он плакал тише, но все так же явственно.

— Ты что это, Стась? — озабоченно сказал Вадик.— Я тебя разбудил, что ли?

Больше всего мне хотелось сказать: «Слушай, Вадька, у меня здесь все время плачет какой-то ребенок. Что мне делать?» Однако у меня хватило ума сообразить, как это может быть воспринято. Поэтому я откашлялся и сказал:

— Ты знаешь, я с тобой через часок свяжусь. Здесь у меня кое-что наклевывается, но я еще не вполне уверен...

— Ла-а-адно,— озадаченно протянул Вадик и отключился.

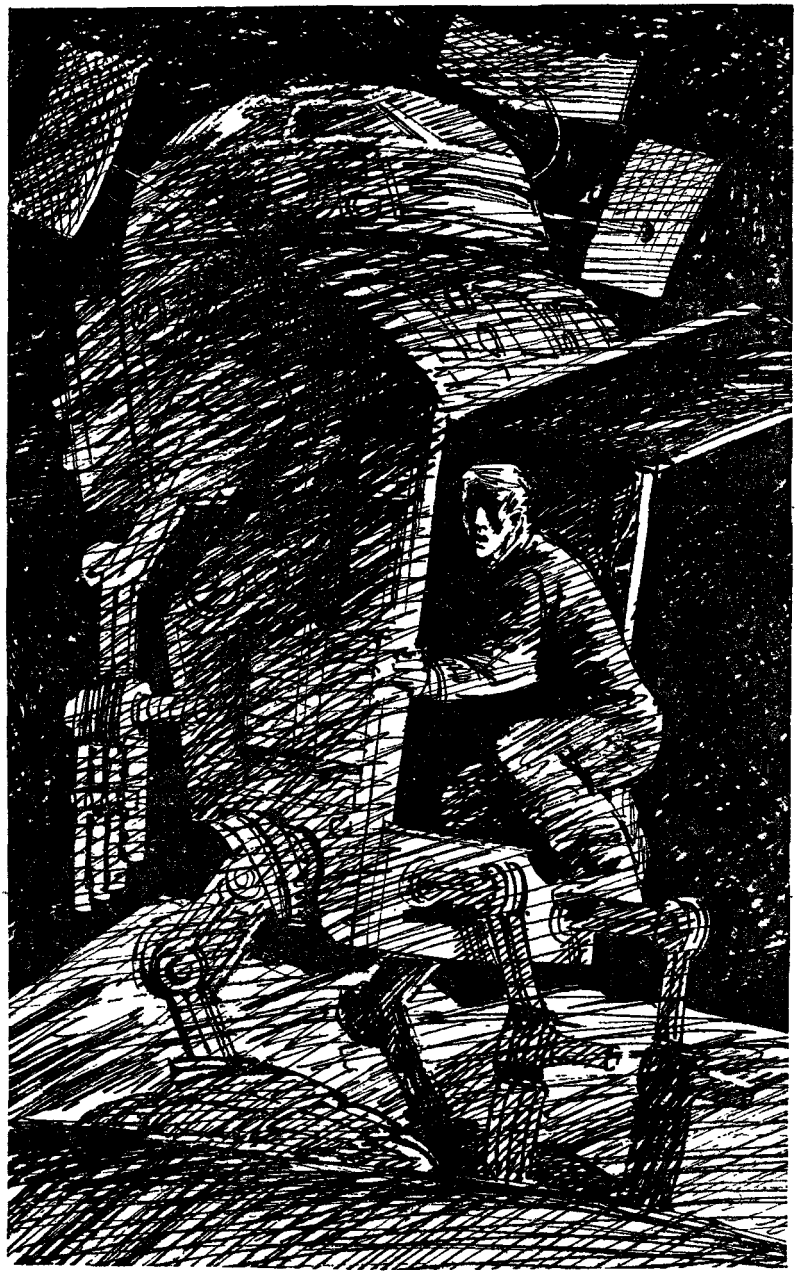
Я еще немного постоял у рации, затем вернулся к своему пульту. Ребенок несколько раз всхлипнул и затих. А Том опять стоял. Опять этот испорченный сундук остановился. И Джек с Рексом тоже стояли. Я изо всех сил ткнул пальцем в клавишу контрольного вызова. Никакого эффекта. Мне захотелось заплакать самому, но тут я сообразил, что система выключена. Я же ее и выключил два часа назад, когда взялся за программу. Ну и работничек из меня теперь! Может быть, сообщить на базу и попросить

приготовить замену? Обидно-то как, елки-палки... Я поймал себя на том, что в страшном напряжении жду, когда все это начнется снова. И я понял, что если останусь здесь, в рубке, то буду прислушиваться и прислушиваться, ничего не смогу делать, только прислушиваться, и я, конечно, услышу, я здесь такое услышу!..

Я решительно включил профилактику, вытащил из стеллажа футляр с инструментами и почти бегом ринулся вон из рубки. Я старался держать себя в руках и с дохой управился на этот раз довольно быстро. Ледяной воздух, опаливший лицо, подтянул меня еще больше. Хрустя каблуками по песку, я, не оглядываясь, зашагал к строительной площадке, прямо к Тому. По сторонам я тоже не глядел. *Айсберги, туманы, океаны — все это меня отныне не* интересовало. Я берег цветы своей селезенки для своих непосредственных обязанностей. Не так уж много у меня этих цветов оставалось, а обязанностей было столько же, сколько раньше, и, может быть, даже больше.

Прежде всего я проверил Тому рефлексы. Рефлексы у Тома оказались в превосходном состоянии. «Отлично!» — сказал я вслух, извлек из футляра скальпель и одним движением, как на экзаменах, вскрыл Тому заднюю черепную коробку.

Я работал с упоением, даже с остервенением каким-то, быстро, точно, расчетливо, как машина. Одно могу сказать: никогда в жизни я так не работал. Мерзли пальцы, мерзло лицо, дышать приходилось не как попало, а с умом, чтобы иней не оседал на операционном поле, но я и думать не хотел о том, чтобы загнать киберов в корабельную мастерскую. *Мне становилось все легче и легче, ничего неподобающего* я больше не слышал, я уже забыл о том, что могу услышать неподобающее, и дважды сбегал в корабль за сменными узлами для координационной системы Тома. «Ты у меня будешь как новенький,— приговаривал я.— Ты у меня больше не будешь бегать от работы. Я тебя, старикашечку моего, вылечу, на ноги поставлю, в люди выведу. Хочешь небось выйти в люди? Еще бы! В людях хорошо, в людях тебя любить будут, холить будут, лелеять. Но ведь что я тебе скажу? Куда тебе в люди с таким блоком аксиоматики? С таким блоком аксиоматики тебе не то что в люди — в цирк тебя не возьмут. Ты с таким блоком аксиоматики все подвергнешь сомнению, задумываться станешь, научишься в носу ковырять глубокомысленно. Стоит ли, мол? Да зачем все это нужно? Для



чего все эти посадочные полосы, фундаменты? А сейчас я тебя, голубчик...»

— Шура...— простонал совсем рядом хриплый женский голос.— Где ты, Шура... Больно...

Я замер. Я лежал в брюхе Тома, стиснутый со всех сторон колоссальными буграми его рабочих мышц, только ноги мои торчали наружу, и мне вдруг стало невероятно страшно, как в самом страшном сне. Я просто не знаю, как я сдержался, чтобы не заорать и не забиться в истерике. Может быть, я потерял сознание на некоторое время, потому что долго ничего не слышал и ничего не соображал, а только пялил глаза на озаренную зеленоватым светом поверхность обнаженного первого вала у себя перед лицом.

— Что случилось? Где ты? Я ничего не вижу, Шура...— хрипела женщина, явно от невыносимой боли.— Здесь кто-то есть... Да отзовись же, Шура! Больно как! Помоги мне, я ничего не вижу...

Она хрипела и плакала и повторяла снова и снова одно и то же, и мне уже мерещилось, что я вижу ее искаженное лицо, залитое смертным потом, и в хрипе ее была уже не только мольба, не только боль, в нем была ярость, требование, приказ. Я почти физически ощутил, как ледяные цепкие пальцы тянутся к моему мозгу, чтобы вцепиться, стиснуть его и погасить. Уже в полубеспамятстве, сжимая до судороги зубы, я нащупал левой рукой пневматический клапан и изо всех сил надавил на него. С диким воющим ревом ринулся наружу сжатый аргон, а я все нажимал и нажимал на клапан, сметая, разбивая в пыль, уничтожая хриплый голос у себя в мозгу, я чувствовал, что глохну, и чувство это доставляло мне невыразимое облегчение.

Потом оказалось, что я стою рядом с Томом, холод прожигает меня до костей, а я дую на окоченевшие пальцы и повторяю, блаженно улыбаясь: «Звуковая завеса, понятно? Звуковая завеса...» Том стоял, сильно накренившись на правый бок, а мир вокруг меня был скрыт огромным неподвижным облаком инея и мерзлых песчинок. Зябко пряча ладони под мышками, я обошел Тома и увидел, что струя аргона выбила на краю площадки огромную яму. Я немного постоял над этой ямой, все еще повторяя про звуковую завесу, но я уже чувствовал, что пора бы прекратить повторять, и догадался, что стою на морозе без дохи, и вспомнил, что доху я сбросил как раз на то место, где

сейчас яма, и стал вспоминать, не было ли у меня в карманах чего-нибудь существенного, ничего не вспомнил, легкомысленно махнул рукой и нетвердой трусцой побежал к кораблю.

В кессоне я прежде всего взял себе новую доху, потом пошел в свою каюту, кашлянул у входа, как бы предупреждая, что сейчас войду, вошел и сейчас же лег на койку лицом к стене, накрывшись дохой с головой. При этом я прекрасно понимал, что все эти мои действия лишены какого бы то ни было смысла, что в каюту к себе я направлялся с вполне определенной целью, но цель эту запамятовал, а лег и укрылся, словно бы для того, чтобы показать кому-то: вот это именно и есть то, зачем я сюда пришел.

Все-таки, наверное, это было что-то вроде истерики, и, немного придя в себя, я только порадовался, что истерика моя приняла вот такие, совершенно безобидные формы. В общем, мне было ясно, что с моей работой здесь покончено. И вообще в космосе работать мне, вероятно, больше не придется. Это было, конечно, безумно обидно, и — чего там говорить! — стыдно было, что вот не выдержал, на первом же практическом деле сорвался, а уж, казалось бы, послали для начала в самое что ни на есть безопасное и спокойное место. И еще было обидно, что оказался я такой нервной развалиной, и стыдно, что когда-то испытывал самодовольную жалость к Каспару Манукяну, когда тот не прошел по конкурсу проекта «Ковчег» из-за какой-то там повышенной нервной возбудимости. Будущее представлялось мне в самом черном свете — тихие санатории, медосмотры, процедуры, осторожные вопросы психологов и целые моря сочувствия и жалости, сокрушительные шквалы сочувствия и жалости, обрушивающиеся на человека со всех сторон...

Я рывком отшвырнул доху и сел. Ладно, сказал я тишине и пустоте, ваша взяла. Горбовского из меня не вышло. Переживем как-нибудь... Значит, так. Сегодня же я расскажу обо всем Вандерхузе, и завтра, наверное, пришлют мне замену. Елки-палки, а у меня на площадке что творится! Том демобилизован, график сломался, ямища эта дурацкая рядом с полосой... Я вдруг вспомнил, зачем сюда пришел, выдвинул ящик стола, нашел кристаллофон с записью ирукапских боевых маршей и аккуратно подвесил его к мочке правого уха. Звуковая завеса, сказал я себе в последний раз. Взявши доху под мышку, я снова вышел

в кессон, несколько раз глубоко вздохнул и выдохнул, чтобы совершенно уже успокоиться, включил кристалл и шагнул наружу.

Теперь мне было хорошо. Вокруг меня и внутри меня ревели варварские трубы, лязгала бронза, долбили барабаны; покрытые оранжевой пылью телемские легионы, тяжело печатая шаг, шли через древний город Сэтэм; пылали башни, рушились кровли, и страшно, угнетая рассудок врага, свистели боевые драконы-стенобитчики. Окруженный и огражденный этими шумами тысячелетней давности, я снова забрался во внутренности Тома и теперь без всякой помехи довел профилактику до конца.

Джек и Рекс уже заравнивали яму, а в потроха Тома нагнетались последние литры аргона, когда я увидел над пляжем стремительно растущее черное пятнышко. Глайдер возвращался. Я взглянул на часы — было без двух минут восемнадцать по местному времени. Я выдержал. Теперь можно было выключить литавры и барабаны и заново обдумать вопрос: стоит ли беспокоить Вандерхузе, беспокоить базу, ведь сменщика найти будет не так-то просто, да и ЧП все-таки, работа на всей планете может из-за этого задержаться, набегут всякие комиссии, начнутся контрольные проверки и перепроверки, дело остановится, Вадик будет ходить злой, как черт, а если вдобавок представить себе, как глянет на меня доктор ксеноисихологии, член Комкона, специальный уполномоченный по проекту «Ковчег» Геннадий Комов, восходящее светило науки, любимый ученик доктора Мбога, новый соратник самого Горбовского... Нет, все это надо тщательно продумать. Я глядел на приближающийся глайдер и думал: все это надо продумать самым тщательнейшим образом. Во-первых, у меня еще целый вечер впереди, а во-вторых, есть у меня предчувствие, что все это мы временно отложим. В конце концов, переживания мои касаются меня одного, а отставка моя касается уже не только меня, но и, можно сказать, всех. Да и звуковая завеса себя превосходно показала. Так что, пожалуй, все-таки отложим.

Все эти мысли разом вылетели у меня из головы, едва я увидел лица Майки и Вандерхузе. Комов — тот выглядел как обычно и, как обычно, озирался с таким видом, словно все вокруг принадлежит ему персонально, принадлежит давно и уже порядком надоело. А вот Майка была бледна прямо-таки до синевы, как будто ей было дурно. Уже Комов соскочил на песок и коротко осведомился у меня,

почему я не откликался на радиовызовы (тут глаза его скользнули по кристаллофону на моем ухе, он пренебрежительно усмехнулся и, не дожидаясь ответа, прошел в корабль). Уже Вандерхузе неторопливо вылез из глайдера и подходил ко мне, почему-то грустно кивая, более чем когда-либо похожий на занемогшего пожилого верблюда. А Майка все неподвижно сидела на своем месте, нахохлившись, спрятав подбородок в меховой воротник, и глаза у нее были какие-то стеклянные, а рыжие веснушки казались черными.

— Что случилось? — испуганно спросил я.

Вандерхузе остановился передо мной. Голова его задралась, нижняя челюсть выдвинулась. Он взял меня за плечо и легонько потряс. Сердце у меня ушло в пятки, я не знал, что и подумать. Он снова тряхнул меня за плечо и сказал:

— Очень грустная находка, Стась. Мы нашли погибший корабль.

Я судорожно глотнул и спросил:

— Наш?

— Да. Наш.

Майка выползла из глайдера, вяло махнула мне рукой и направилась к кораблю.

— Много убитых? — спросил я.

— Двое,— ответил Вандерхузе.

— Кто? — с трудом спросил я.

— Пока не знаем. Это старый корабль. Авария произошла много лет назад.

Он взял меня под руку, и мы вместе пошли следом за Майкой. У меня немного отлегло от сердца. Поначалу я, естественно, решил, что разбился кто-нибудь из нашей экспедиции. Но все равно...

— Никогда мне эта планета не нравилась,— вырвалось у меня.

Мы вошли в кессон, разделись, и Вандерхузе принялся обстоятельно очищать свою доху от приставших репьев и колючек. Я не стал его дожидаться и пошел к Майке. Майка лежала на койке, подобрав ноги, повернувшись лицом к стене. Эта поза мне сразу кое-что напомнила, и я сказал себе: а ну-ка, поспокойнее, без всяких этих соплей и сопереживаний. Я сел за стол, побарабанил пальцами и осведомился самым деловым тоном:

— Слушай, корабль действительно старый? Вандер говорит, что он разбился несколько лет назад. Это так?

— Так,— не сразу ответила Майка в стену.

Я покосился на нее. Острые кошачьи когти проборозди*ли по моей душе, но я продолжал все так же деловито:*

— Сколько это — много лет? Десять? Двадцать? Чепуха какая-то получается. Планета-то открыта всего два года назад...

Майка не ответила. Я снова побарабанил пальцами и сказал тоном ниже, но все еще по-деловому:

— Хотя, конечно, это могли быть первопроходцы... какие-нибудь вольные исследователи... Двое их там, как я понял?

Тут она вдруг взметнулась над койкой и села лицом ко мне, упершись ладонями в покрывало.

— Двое! — крикнула она.— Да! Двое! Коряга ты бесчувственная! Дубина!

— Подожди,— *сказал я опешенно.*— Что ты...

— Ты зачем сюда пришел? — продолжала она почти шепотом.— Ты к роботам своим иди, с ними вот обсуждай, сколько там лет прошло, какая чепуха получается, почему *их там двое, а не трое, не семеро...*

— Да подожди, Майка! — сказал я с отчаянием.— Я же совсем не то хотел...

Она закрыла лицо руками и невнятно проговорила:

— *У них все кости переломаны... но они еще жили...* пытались что-то делать... Слушай,— попросила она, отняв руки от лица,— уйди, пожалуйста. Я скоро выйду. Скоро.

Я осторожно поднялся и вышел. Мне хотелось ее обнять, сказать что-то ласковое, утешительное, но утешать я не умел. В коридоре меня вдруг затрясло. Я остановился и подождал, пока это пройдет. Ну и денек выдался! И ведь никому не расскажешь. Да и не надо, наверное. Я разжмурил глаза и увидел, что в дверях рубки стоит Вандерхузе и смотрит на меня.

— Как там Майка? — спросил он негромко.

Наверное, по моему лицу было видно — как, потому что он грустно кивнул и скрылся в рубке. А я поплелся на кухню. Просто по привычке. Просто так уж повелось, что сразу после возвращения глайдера все мы садились обедать. Но сегодня, видно, все будет по-другому. Какой тут может быть обед... Я накричал на повара, потому что мне показалось, будто он переврал меню. На самом деле он ничего не переврал, обед был готов, хороший обед, как обычно, но сегодня должно быть не как обычно. Майка, наверное, вообще ничего не станет есть, а надо, чтобы поела. И я заказал для нее повару фруктовое желе со взби-

тыми сливками — единственное ее любимое лакомство, которое я знал. Для Комова я решил ничего дополнительно не заказывать, для Вандерхузе, подумавши,— тоже. Потом я отправился в рубку и уселся за свой пульт.

Ребятишки мои работали, как часы, Майки в рубке не было, а Вандерхузе с Комовым составляли экстренную радиограмму на базу. Они спорили.

— Это не информация, Яков, — говорил Комов.— Вы же лучше меня знаете: существует определенная форма состояние корабля, состояние останков, предполагаемые причины крушения, находки особого значения... ну и так далее.

— Да, конечно,— отвечал Вандерхузе.— Но согласитесь, Геннадий, вся эта проформа имеет смысл только для биологически активных планет. В данной конкретной ситуации...

— Тогда лучше вообще не посылать ничего. Тогда давайте сядем в глайдер, слетаем туда сейчас же и сегодня же составим полный акт...

Вандерхузе покачал головой.

— Нет, Геннадий, я категорически против. Комиссии такого рода должны состоять из трех человек как минимум. А потом, сейчас уже стемнело, у нас не будет возможности произвести детальный осмотр окружающей местности... И вообще такие вещи надо делать на свежую голову, а не после полного рабочего дня. Как вы полагаете, Геннадий?

Комов, сжав тонкие губы, легонько постучал кулаком по столу.

— Ах, как это некстати, — произнес он с досадой.

— Такие вещи всегда некстати,— утешил его Вандерхузе.— Ничего, завтра утром мы отправимся туда втроем...

— Может быть, тогда сегодня вообще ничего не сообщать? — перебил его Комов.

— А вот на это я не имею права,— сказал с сожалением Вандерхузе.— Да и зачем нам это — не сообщать?

Комов встал и, заложив руки за спину, посмотрел на Вандерхузе сверху вниз.

— Как вы не понимаете, Яков,— уже с откровенным раздражением произнес он. — Корабль старого типа, неизвестный корабль, бортжурнал почему-то стерт... Если мы пошлем донесение в таком виде,— он схватил со стола листок и помахал им перед лицом Вандерхузе,— Сидоров решит, что мы не хотим или неспособны самостоятельно провести экспертизу. Для него это еще одна забота — со-

здавать комиссию, искать людей, отбиваться от любопытствующих бездельников... Мы поставим себя в смешное и глупое положение. И потом, во что превратится наша работа, Яков, если сюда явится толпа любопытствующих бездельников?

— Гм,— сказал Вандерхузе.— То есть, иначе говоря, вы не хотите скопления посторонних на нашем участке. Так?

— Именно так,— произнес Комов твердо.

Вандерхузе пожал плечами.

— Ну что ж...— Он подумал немного, отобрал у Комова листок и приписал к тексту несколько слов.— А в таком виде пойдет? «ЭР-2 базе,— скороговоркой прочитал он.— Экстренная. В квадрате сто два обнаружен потерпевший крушение земной корабль типа «Пеликан», регистрационный номер такой-то, в корабле останки двух человек, предположительно мужчины и женщины, бортжурнал стерт, подробную экспертизу...— тут Вандерхузе повысил голос и значительно поднял палец,— начинаем завтра». Как вы полагаете, Геннадий?

Несколько секунд Комов в задумчивости покачивался с носка на пятку.

— Ну что ж,— проговорил он наконец,— пусть будет так. Что угодно, лишь бы нам не мешали. Пусть будет так.

Он вдруг сорвался с места и вышел из рубки. Вандерхузе повернулся ко мне.

— Передай, Стась, пожалуйста. И пора уже обедать, как ты полагаешь? — Он поднялся и задумчиво произнес одну из своих загадочных фраз: — Было бы алиби, а трупы найдутся.

Я зашифровал радиограмму и послал ее в экстренном импульсе. Мне было как-то не по себе. Что-то совсем недавно, буквально минуту назад, вонзилось в подсознание и мешало там, как заноза. Я посидел перед рацией, прислушиваясь. Да, это совсем другое дело - прислушиваться, когда знаешь, что в корабле полно народа. Вот по кольцевому коридору быстро прошагал Комов. У него всегда такая походка, словно он куда-то спешит, но вместе с тем знает, что мог бы и не спешить, потому что без него ничего не начнется. А вот гудит что-то неразборчивое Вандерхузе. Майка отвечает ему, и голос у нее обыкновенный — высокий и независимый, видимо, она уже успокоилась или, по крайней мере, сдерживается. И нет ни тишины, ни пустоты, ни мух в паутине... И я вдруг понял, что это за

заноза: голос умирающей женщины в моем бреду и умершая женщина в разбитом звездолете... Совпадение, конечно... Страшненькое совпадение, что и говорить.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ГОЛОСА И ПРИЗРАКИ

Сколь это ни удивительно, но спал я как убитый. Утром я, по обыкновению, поднялся на полчаса раньше остальных, сбегал на кухню посмотреть, как там с завтраком, сбегал в рубку посмотреть, как там мои ребятишки, а потом выскочил наружу делать зарядку. Солнце еще не поднялось над горами, но было уже совсем светло и очень холодно. Ноздри слипались, ресницы смерзались, я изо всех сил размахивал руками, приседал и вообще спешил поскорее отделаться и вернуться на корабль. И тут я заметил Комова. Сегодня он, как видно, встал раньше меня, сходил куда-то и теперь возвращался со стороны стройплощадки. Шел он против обыкновения неторопливо, словно бы задумавшись, и в рассеянности похлопывал себя по ноге какой-то веточкой. Я уже заканчивал зарядку, когда он подошел ко мне вплотную и поздоровался. Я, естественно, тоже поздоровался и вознамерился было нырнуть в люк, но он остановил меня вопросом:

— Скажите, Попов, когда вы остаетесь здесь один, вы отлучаетесь куда нибудь от корабля?

— То есть? — Я удивился даже не столько его вопросу, сколько самому факту, что Геннадий Комов снизошел заинтересоваться моим времяпрепровождением. У меня к Геннадию Комову отношение сложное. Я его недолюбливаю.

— То есть ходите вы куда-нибудь? К болоту, например, или к сопкам...

Ненавижу эту манеру, когда с человеком разговаривают, а сами смотрят куда угодно, только не на человека. Причем сами в теплой дохе с капюшоном, а человек в спортивном костюмчике на голое тело. Но при всем при том Геннадий Комов есть Геннадий Комов, и я, обхватив руками плечи и приплясывая на месте, ответил:

— Нет. У меня и так времени не хватает. Не до прогулок.

Тут он наконец соизволил заметить, что я замерзаю, и вежливо указал мне веточкой на люк, сказав: «Прошу вас. Холодно». Но в кессоне он меня остановил снова.

— А роботы от стройплощадки удаляются?

— Роботы? — Никак я не мог понять, куда он клонит.— Нет. Зачем?

— Ну, я не знаю... Например, за строительными материалами.

Он аккуратно прислонил свою веточку к стене и стал расстегивать доху. Я начал злиться. Если он каким-нибудь образом пронюхал о неполадках в моей строительной системе, то, во-первых, это не его дело, а во-вторых, мог бы сказать об этом прямо. Что это за допрос, в самом деле...

— Строительным материалом для киберсистемы данного типа,— как можно суше сказал я,— является тот материал, который у киберсистемы под ногами. В данном случае — песок.

— И камни,— добавил он небрежно, вешая доху на крючок.

Этим он меня уел. Но это было решительно не его дело, и я с вызовом откликнулся:

— Да! *Если попадутся, то и камни.*

Он впервые посмотрел мне в глаза.

— Боюсь, что вы неправильно меня поняли, Попов,— с неожиданной мягкостью произнес он.— Я не собираюсь вмешиваться в вашу работу. Просто у меня возникли кое-какие недоумения, и я обратился к вам, поскольку вы — единственный человек, который может их разрешить.

Ну что ж, когда со мной по-хорошему, тогда и я по-хорошему.

— В общем-то, конечно, камни им ни к чему,— сказал я.— Вчера у меня система немножко барахлила, и машины разбросали эти камни по всей стройплощадке. Кто их знает, зачем это им понадобилось. Потом, конечно, убрали.

Он кивнул.

— Да, я заметил. А какого рода была неполадка?

Я в двух словах рассказал ему о вчерашнем дне, не касаясь, конечно, интимных подробностей. Он слушал, кивал, а потом подхватил свою веточку, поблагодарил за разъяснения и удалился. И только в кают-компании, поедая гречневую кашу с холодным молоком, я сообразил, что мне так и осталось непонятным, какие такие недоумения одолевали любимца доктора Мбога и насколько мне удалось их разрешить. И удалось ли вообще. Я перестал есть и посмотрел на Комова. Нет, видимо, не удалось.

Геннадий Комов вообще, как правило, имеет вид человека не от мира сего. Вечно он высматривает что-то за

далекими горизонтами и думает о чем-то своем, дьявольски возвышенном. На землю он спускается в тех случаях, когда кто-то или что-то, случайно или с умыслом, становится препятствием для его изысканий. Тогда он недрогнувшей рукой, зачастую совершенно беспощадно, устраняет препятствие и вновь взмывает к себе на Олимп. Так, во всяком случае, о нем рассказывают, и, в общем-то, ничего такого-этакого тут нет. Когда человек занимается проблемой инопланетных психологий, причем занимается успешно, дерется на самом переднем крае и себя совершенно не жалеет; когда при этом он, как говорят, является одним из выдающихся футурмастеров планеты, тогда ему можно многое простить и относиться к его манерам с определенным снисхождением. В конце концов, не всем быть такими обаятельными, как Горбовский или доктор Мбога.

С другой стороны, последние дни я все чаще и чаще с удивлением и горечью вспоминал восторженные рассказы Татьяны, которая проработала с Комовым целый год, была, по-моему, в него влюблена и отзывалась о нем как о человеке редкостной общительности, тончайшего остроумия и все такое прочее. Она прямо так и называла его: душа общества. Что это за общество, у которого такая душа, я представить себе не могу.

Да, так вот Геннадий Комов всегда производил на меня впечатление человека не от мира сего. Но сегодня за завтраком он превзошел самого себя. Еду свою он обильно посыпал солью. Посыплет, попробует и рассеянно спровадит тарелку в мусоропровод. Горчицу путал с маслом. Намажет сладкий гренок, попробует и рассеянно спровадит вслед за тарелкой. Якову Вандерхузе на вопросы не отвечал, зато, как пиявка, привязался к Майке, добиваясь, все ли время они с Вандером на съемке ходят вдвоем или иногда расстаются. И еще он время от времени вдруг принимался озираться нервно, а один раз вдруг вскочил, выбежал в коридор, отсутствовал несколько минут и вернулся как ни в чем не бывало — опять мазать гренки горчицей, пока эту злосчастную горчицу не убрали от него вовсе.

Майка тоже нервничала. Отвечала отрывисто, глядела в тарелку и за весь завтрак ни разу не улыбнулась. Впрочем, что делается с ней — я как раз понимал. Я бы на ее месте тоже нервничал перед таким предприятием. В конце концов, Майка — моя ровесница, хотя опыт работы у нее зна-

чительно больше, но это совсем не тот опыт, который сегодня ей понадобится.

Одним словом, Комов явно нервничал, Майка нервничала, Вандерхузе тоже, глядя на них, стал обнаруживать некоторые признаки беспокойства, и мне стало ясно, что поднимать сейчас вопрос о моем участии в предстоящей экспертизе решительно неуместно. Я понял, что сегодня мне опять предстоит целый рабочий день тишины и пустоты, и тоже стал нервничать. Атмосфера за столом сделалась прямо-таки напряженной. И тогда Вандерхузе, как командир корабля и врач, решил эту атмосферу разрядить. Он задрал голову, выдвинул челюсть и длинно посмотрел на нас поверх носа. Рысьи бакенбарды его растопырились. Для начала он рассказал несколько анекдотов из быта звездолетчиков. Анекдоты были старые, заезженные, я заставлял себя улыбаться, Майка никак не реагировала, а Комов реагировал как-то странно. Слушал он внимательно и серьезно, в ударных местах кивал, а потом задумчиво оглядел Вандерхузе и произнес внушительно:

— А знаете, Яков, к вашим бакенбардам очень пошли бы кисточки на ушах.

Это было хорошо сказано, и при других обстоятельствах я порадовался бы острому словцу, но сейчас мне это показалось совершенно бестактным. Впрочем, сам Вандерхузе был, очевидно, противоположного мнения. Он самодовольно ухмыльнулся, согнутым пальцем взбил свои бакенбарды — сначала левый, а затем правый — и поведал нам следующую историю.

Является на некую цивилизованную планету один землянин, входит он в контакт и предлагает аборигенам свои услуги в качестве крупнейшего на Земле специалиста по конструированию и эксплуатации вечных двигателей первого рода. Аборигены, натурально, смотрят этому посланцу сверхразума в рот и, следуя его указаниям, немедленно принимаются строить. Построили. Не работает вечный двигатель. Землянин крутит колеса, ползает среди стержней и всяких шестеренок и бранится, что все сделано не так. «Технология,— говорит,— у вас отсталая, вот эти узлы надо решительно переделать, а вон те так и вообще заменить, как вы полагаете?» Аборигенам деваться некуда. Принимаются они переделывать и решительно заменять. И только это они закончили, как вдруг прибывает с Земли ракета «скорой помощи», санитары хватают изобретателя

и делают ему надлежащий укол, врач приносит аборигенам свои извинения, и ракета отбывает. Аборигены в тоске и смущении, стыдясь глядеть друг другу в глаза, начинают расходиться и тут замечают, что двигатель-то заработал. Да, друзья мои, двигатель заработал и продолжает работать до сих пор, вот уже полтораста лет.

Мне эта незамысловатая история понравилась. Сразу видно, что Вандерхузе выдумал ее сам и, скорее всего, только что. К моему огромному удивлению, Комову история понравилась тоже. Уже на середине рассказа он перестал блуждать взглядом по столу в поисках горчицы, уставился на Вандерхузе и не спускал с него прищуренных глаз до самого конца, а потом высказался в том смысле, что идея невменяемости одного из партнеров по контакту представляется ему теоретически любопытной. «Во всяком случае, до сих пор общая теория контакта не учитывала такой возможности, хотя еще в начале двадцать первого века некий Штраух выдвигал предложение включать шизоидов в состав экипажей космических кораблей. Уже тогда было известно, что шизоидные типы обладают ярко выраженной способностью непредвзятого ассоциирования. Там, где нормальный человек в хаосе невиданного волей-неволей стремится углядеть знакомое, известное ранее, стереотипное, шизоид, напротив, не только видит все так, как оно есть, но способен создавать новые стереотипы, прямо вытекающие из сокровенной природы рассматриваемого хаоса. Между прочим,— продолжал Комов, понемножку разгораясь, это свойство оказывается чрезвычайно общим для шизоидных представителей разумов самых различных типов. А поскольку теоретически совершенно не исключена возможность, что объектом контакта окажется именно шизоидный индивидуум, и поскольку своевременно неразгаданная шизоидность может в ходе контакта привести к тяжелейшим последствиям, проблема, затронутая вами, Яков, кажется достойной определенного научного внимания».

Вандерхузе, ухмыляясь, объявил, что дарит Комову эту идею, и сказал, что пора трогаться. При этих словах Майка, заинтересовавшаяся было и слушавшая Комова с полуоткрытым ртом, сразу увяла. Я тоже сразу увял: все эти разговоры о шизоидах навели меня на неприятные размышления. И вот что тогда произошло.

Вандерхузе и Майка уже вышли из кают-компании, а Комов замешкался в дверях, повернулся вдруг, крепко

взял меня за локоть и, как-то жутковато-пристально шаря по моему лицу своими холодными серыми глазами, тихо и быстро проговорил:

— Что это вы приуныли, Стась? Что-нибудь случилось?

Я обалдел. Меня наповал сразила поистине сверхъестественная проницательность этого специалиста по шизоидам. Но мне все-таки удалось мгновенно взять себя в руки. Слишком многое для меня решалось в этот момент. Я отстранился и с безмерным изумлением спросил:

— О чем вы, Геннадий Юрьевич?

Взгляд его продолжал бегать по моему лицу, и он спросил еще тише и еще быстрее:

— Вы боитесь остаться один?

Но я уже прочно сидел в седле.

— Боюсь? — переспросил я. — Ну, это слишком сильно сказано, Геннадий Юрьевич. Я не ребенок все-таки...

Он отпустил мой локоть.

— А может быть, полетите с нами?

Я пожал плечами.

— Я бы с удовольствием. Но ведь вчера у меня были неполадки. Пожалуй, мне все-таки лучше остаться.

— Ну-ну! — произнес он с неопределенным выражением, резко повернулся и вышел.

Я постоял еще в кают-компании, окончательно приводя себя в порядок. В голове у меня была сумятица, но чувствовал я себя как после хорошо сданного экзамена.

Они помахали мне на прощанье и улетели, а я даже не стал провожать их взглядом. Я сразу же вернулся в корабль, выбрал стереопару кристаллофонов, вооружил оба уха и завалился в кресло перед своим пультом. Я следил за работой своих ребятишек, читал, принимал радиограммы, беседовал с Вадиком и Нинон (было утешительно обнаружить, что у Вадика тоже вовсю играет музыка), я затеял уборку помещения, я составил роскошное меню с расчетом на необходимость подкрепления душевных сил — и все это в громе, в звоне, в завывании флейт и в мяуканье нэкофонов. В общем, я старательно, безжалостно и с пользой для себя и окружающих убивал время. И все это убиваемое время меня неотступно грызла терзающая мысль: откуда Комов узнал о моей слабости и что он в связи с этим намерен предпринять. Комов ставил меня в тупик. Эти его недоумения, возникшие после похода на стройплощадку, этот разговор о шизоидах, эта странная

интерлюдия в дверях кают-компании... Елки-палки, ведь он предложил мне лететь с ними, он явно опасался оставить меня одного! Неужели это все-таки так заметно? Но ведь Вандерхузе вот ничего не заметил...

В таких примерно подспудных мыслях прошла большая часть моего рабочего дня. В пятнадцать часов, гораздо раньше, чем я ожидал, глайдер вернулся. Я едва успел сорвать с ушей и спрятать кристаллофоны, как вся компания ввалилась в корабль. Я встретил их в кессоне с тщательно продуманной сдержанной приветливостью, не стал задавать никаких вопросов по существу и только осведомился, нет ли желающих подкрепиться. Боюсь, правда, что после шестичасового грома и звона я говорил немножко слишком громко, так что Майка, которая, к вящей моей радости, выглядела вполне удовлетворительно, воззрилась на меня с некоторым удивлением, а Комов быстро оглядел меня с ног до головы и, не сказав ни слова, сейчас же скрылся в своей каюте.

— Подкрепиться? — раздумчиво проговорил Вандерхузе. — Знаешь ли, Стась, я сейчас пойду в рубку писать экспертное заключение, так что если бы ты как-нибудь мимоходом занес мне стаканчик тонизирующего, это было бы уместно, как ты полагаешь?

Я сказал, что принесу, Вандерхузе удалился в рубку, а мы с Майкой пошли в кают-компанию, где я нацедил два стаканчика тонизирующего — один отдал Майке, а второй отнес Вандерхузе. Когда я вернулся, Майка со стаканчиком в руке бродила по кают-компании. Да, она была значительно спокойнее, чем утром, но все равно чувствовалась в ней какая-то напряженность, натянутость какая-то, и, чтобы помочь ей разрядиться, я спросил:

— Ну, что там с кораблем?

Майка сделала хороший глоток, облизала губы и, глядя куда-то мимо меня, произнесла:

— Знаешь, Стась, все это неспроста.

Я подождал продолжения, но она молчала.

— Что — неспроста? — спросил я.

— Все! — Она неопределенно повела рукой со стаканом. — Вымороченный мир. Бледная немочь. Помяни мое слово: и корабль этот здесь разбился не случайно, и нашли мы его не случайно, и вообще вся эта наша затея, весь проект — все провалится на этой планетке! — Она допила и поставила стакан на стол. — Элементарные правила безопасности не соблюдаются, большинство работников

здесь — мальки вроде тебя, да и меня тоже... и все только потому, что планета биологически пассивна. Да разве в этом дело! Ведь любой человек с элементарным чутьем в первый же час чует здесь неладное. Была здесь жизнь когда-то, а потом вспыхнула звезда — и в один миг все кончилось... Биологически пассивная? Да! Но зато активная некротически. Вот и Панта будет такой через сколько-то там лет. Корявые деревца, чахлая травка и все вокруг пропитано древними смертями. Запах смерти, понимаешь? Даже хуже того — запах бывшей жизни! Нет, Стась, помяни мое слово, не приживутся здесь пантиане, не узнают они здесь никакой радости. Новый дом для целого человечества? Нет, не новый дом, а старый за́мок с привидениями...

Я вздрогнул. Она заметила, но поняла неправильно.

— Ты не беспокойся,— сказала она, печально улыбаясь.— Я в полном порядке. Просто пытаюсь выразить свои ощущения и свои предчувствия. Ты меня, я вижу, понять не можешь, но сам посуди, что это за предчувствия, если мне на язык лезут все эти словечки: некротический, приведения...

Она опять прошлась по кают-компании, остановилась передо мной и продолжала:

— Конечно, с другой стороны, параметры у планеты прекрасные, редкостные. Биологическая активность почти нулевая, атмосфера, гидросфера, климат, термический баланс — все как по заказу для проекта «Ковчег». Но даю тебе голову на отсечение, никто из организаторов этой затеи здесь не был, а если и был кто-нибудь, то чутья у него, нюха на жизнь, что ли, ни на грош не оказалось... Ну понятно, это все старые волки, все в шрамах, все прошли через разнообразные ады... чутье на материальную опасность у них великолепное! Но вот на э т о...— Она пощелкала пальцами и даже, бедняжка, сморщилась от бессилия выразить.— А впрочем, откуда я знаю, может быть, кто-нибудь из них и почуял неладное, а как это объяснишь тем, кто здесь не был? Но ты-то меня хоть понимаешь?

Она смотрела на меня в упор зелеными глазами, а я колебался и, поколебавшись, соврал:

— Не совсем. То есть, конечно, в чем-то ты права...

— Вот видишь,— сказала она,— даже ты не понимаешь. Ну ладно, хватит об этом.— Она села на стол напротив меня и вдруг, ткнув меня пальцем в щеку, засмеялась.— Выговорилась — и как-то легче стало. С Комо-

вым, сам понимаешь, не разговоришься, а к Вандеру лучше с этим не соваться — сгноит в медотсеке...

Напряжение, сковывавшее ее, да и меня тоже, сразу же спало, и разговор превратился в легкий треп. Я пожаловался ей на вчерашние неприятности с роботами, рассказал, как Вадик купался один в целом океане, и спросил, как продвигаются квартирьерские дела. Майка ответила, что они наметили четыре места для стойбищ, места вообще-то хорошие, и при прочих равных условиях любой пантианин с удовольствием провел бы здесь всю свою жизнь, но поскольку вся эта затея все равно обречена, говорить особенно не о чем. Я напомнил Майке, что она всегда отличалась природным скептицизмом и что скептицизм этот далеко не всегда оправдывался. Майка возразила, что речь сейчас идет уже не о природном скептицизме, а о скептицизме природы и что я вообще салага, малек и, по сути, должен был бы стоять перед нею, опытной Майкой, по стойке «смирно». Тогда я сказал ей, что настоящий опытный человек никогда не станет спорить с кибертехником, ибо кибертехник является на корабле той осью, вокруг которой, собственно, происходит все коловращение жизни. Майка заметила, что большинство осей вращения является, по сути, понятием воображаемым, не более чем геометрическими местами точек... Потом мы затеяли спор, есть ли разница между понятиями «ось вращения» и «ось коловращения», в общем, мы трепались, и со стороны, вероятно, это выглядело довольно мило, но не знаю, о чем там в это время думала Майка, а я лично вторым планом все время прикидывал, не заняться ли мне прямо сейчас профилактикой всех систем обеспечения безопасности. Правда, системы эти были рассчитаны на опасность биологическую, и невозможно было сказать, годятся ли они против опасности некротической, но при всем при том береженого бог бережет, под лежачий камень вода не течет, и вообще: тише едешь — дальше будешь.

Словом, когда Майка стала позевывать и жаловаться на недосып, я отослал ее вздремнуть перед обедом, а сам прежде всего полез в библиотеку, отыскал толковый словарь и посмотрел, что такое «некротический». Толкование произвело на меня тяжелое впечатление, и я решил начать профилактику немедленно. Предварительно, правда, я забежал в рубку посмотреть, как работают мои ребятишки, и застал там Вандерхузе как раз в тот момент, когда он складывал аккуратной стопочкой свое экспертное заключе-

ние. «Сейчас отнесу это Комову,— объявил он, увидев меня,— потом дам просмотреть Майке, а потом устроим обсуждение, как ты полагаешь? Позвать тебя?» Я сказал, что позвать, и сообщил, что буду в отсеке обеспечения безопасности. Он с любопытством посмотрел на меня, но ничего не сказал и вышел.

Меня позвали часа через два. Вандерхузе по интеркому объявил, что заключение прочитали все члены комиссии, и спросил, не хочу ли прочесть и я. Я, конечно, хотел бы, но профилактика у меня была в самом разгаре, сторож-разведчик наполовину выпотрошен, имела место заправка, так что я ответил в том смысле, что читать, пожалуй, не стану, а на обсуждение явлюсь непременно, как только покончу с делами. «У меня еще на час работы,— сказал я, — так что обедайте без меня».

В общем, когда я явился в кают-компанию, обед кончился, и обсуждение началось. Я взял себе супу, сел в сторонке и стал есть и слушать.

— Не могу я принять метеоритную гипотезу совсем без оговорок,— укоризненно говорил Вандерхузе.— «Пеликаны» прекрасно защищены от метеоритного удара, Геннадий. Он бы просто уклонился.

— Не спорю,— отвечал Комов, глядя в стол и брезгливо морщась.— Однако предположите, что метеоритная атака произошла в момент выхода корабля из подпространства...

— Да, конечно,— согласился Вандерхузе.— В этом случае — конечно. Но вероятность...

— Вы меня удивляете, Яков. У корабля абсолютно разрушен рейсовый двигатель. Огромная сквозная дыра со следами сильного термического воздействия. По-моему, каждому нормальному человеку ясно, что это может быть только метеорит.

У Вандерхузе был очень несчастный вид.

— Ну... хорошо,— сказал он.— Ну, пусть будет по-вашему... Вы просто не понимаете, Геннадий, вы не звездолетчик... Вы просто не понимаете, насколько это маловероятно. Именно в момент выхода из подпространства огромный метеорит огромной энергии... Я просто не знаю, с чем это сравнить по невероятности!

— Хорошо. Что вы предлагаете?

Вандерхузе оглядел всех в поисках поддержки и, поддержки не обнаружив, сказал:

— Хорошо, пусть будет так. Но я все-таки буду на-

стаивать, чтобы формулировка имела сослагательный оттенок. Скажем: «Указанные факты заставляют предположить...»

— «Сделать вывод»,— поправил Комов.

— «Сделать вывод»? — Вандерхузе нахмурился.— Да нет, Геннадий, какой тут может быть вывод? Именно предположение! «...заставляют предположить, что корабль был поражен метеоритом высокой энергии в момент появления из подпространства». Вот так. Предлагаю согласиться.

Несколько секунд Комов думал, шевеля желваками на скулах, потом сказал:

— Согласен. Перехожу к следующей поправке.

— Минуточку,— сказал Вандерхузе.— А ты, Майка?

Майка пожала плечами.

— Честно говоря, не ощущаю разницы. В общем, согласна.

— Следующая поправка,— терпеливо произнес Комов.— Нам не надо запрашивать мнение базы, как поступить с останками. Вообще этому вопросу не место в экспертном заключении. Надо дать специальную радиограмму, что останки пилотов помещены в контейнеры, залиты стеклопластом и в ближайшее время будут переправлены на базу.

— Однако...— с растерянным видом начал Вандерхузе.

— Я займусь этим завтра,— прервал его Комов.— Сам.

— Может быть, следовало бы похоронить их здесь? — негромко сказала Майка.

— Не возражаю,— сейчас же сказал Комов.— Но, как правило, в таких случаях останки пересылаются на Землю... Что? — повернулся он к Вандерхузе.

Вандерхузе, открывший было рот, помотал головой и сказал:

— Ничего.

— Короче говоря,— сказал Комов,— этот вопрос из заключения я предлагаю выбросить. Согласны, Яков?

— Пожалуй,— сказал Вандерхузе.— А ты, Майка?

Майка колебалась, и я понял ее. Как-то все это происходило слишком по-деловому. Правда, я не знаю, как это должно происходить, но, по-моему, такие вопросы нельзя решать голосованием.

— Прекрасно,— произнес Комов как ни в чем не бывало.— Теперь относительно причин и обстоятельств смерти пилотов. Акт о вскрытии и фотоматериалы меня

вполне удовлетворяют, а формулировку я предлагаю такую: «Положение трупов свидетельствует о том, что смерть пилотов наступила вследствие удара корабля о поверхность планеты. Мужчина погиб раньше женщины, успев только стереть бортжурнал. Выбраться из кресла пилота он был уже не в состоянии. Женщина, напротив, была жива еще некоторое время и пыталась покинуть корабль. Смерть застигла ее уже в кессонной камере». Ну, а дальше — по вашему тексту.

— Гм...— сказал Вандерхузе с большим сомнением.— Не слишком ли все это категорично, как вы полагаете, Геннадий? Ведь если придерживаться того самого акта о вскрытии, против которого вы не возражаете, бедняжка была просто не в состоянии доползти до кессона.

— *Тем не менее она оказалась там,— холодно произнес* Комов.

— Но ведь именно это обстоятельство...— проникновенно начал Вандерхузе, прижимая руки к груди.

— Слушайте, Яков,— сказал Комов.— Никто не знает, на что способен человек в критических условиях. И особенно женщина. Вспомните историю Марты Пристли. Вспомните историю Колесниченко. И вспомните вообще историю, Яков.

Наступило молчание. Вандерхузе сидел с несчастным видом и безжалостно таскал себя за бакенбарды.

— А меня как раз не удивляет, что она оказалась в кессоне,— подала голос Майка.— Я другого не понимаю. Почему он стер бортжурнал? Ведь был же удар, человек умирает...

— *Ну, это как раз...— неуверенно проговорил* Вандерхузе.— Это может быть. Агония, шарил руками по пульту, заценил ключ...

— Вопрос о бортжурнале,— сказал Комов,— вынесен в раздел фактов особого значения. Лично я думаю, что эта загадка никогда не будет разрешена... если, впрочем, это загадка, а не случайное стечение обстоятельств. Продолжаем.— Он быстро перебрал разбросанные перед ним листки.— Собственно, у меня, пожалуй, больше нет замечаний. Земная микрофлора и микрофауна, по-видимому, погибла, следов ее, во всяком случае, нет... Так... Личные бумаги. Разбирать их — дело не наше, кроме того, они в таком состоянии, что мы можем только напортить. Завтра я их законсервирую и привезу сюда... Да! Попов, тут есть кое-что по вашей части. Вам известно

кибернетическое оборудование кораблей типа «Пеликан»?

— Да, конечно,— сказал я, поспешно отодвигая тарелку.

— Будьте добры,— он перебросил мне листок бумаги,— вот опись всех обнаруженных кибермеханизмов. Проверьте, все ли на месте.

Я взял опись. Все выжидательно глядели на меня.

— Да,— проговорил я,— пожалуй, все на месте. Даже инициаторные разведчики на месте, обычно их всегда некомплект... А вот этого я не понимаю. Что такое: «Ремонтный робот, переоборудованный в шьющее устройство»?

— Яков, объясните,— распорядился Комов.

Вандерхузе задрал голову и выпятил челюсть.

— Понимаешь ли, Стась,— как бы в задумчивости произнес он.— Трудно тут что-либо объяснить. Просто ремонтный кибер, превращенный в шьющее устройство. В устройство, которое шьет, понимаешь? У кого-то из них, видимо у женщины, было несколько необычное хобби.

— Ага,— сказал я, удивившись.— Но это точно — ремонтный кибер?

— Несомненно,— уверенно сказал Вандерхузе.

— Тогда здесь полный комплект,— сказал я, возвращая Комову опись.— Просто на редкость полный. Наверное, они ни разу не высаживались на тяжелых планетах.

— Спасибо,— сказал Комов.— Когда будет готов чистовик заключения, я попрошу вас подписать раздел об утечке выжившей кибертехники.

— Но ведь утечки нет,— возразил я.

Комов не обратил на меня внимания, а Вандерхузе объяснил:

— Это просто название раздела: «Утечка выжившей кибертехники». Ты подпишешь, что утечки нет.

— Так...— проговорил Комов, собирая в пачку разбросанные листы.— Теперь я очень прошу вас, Яков, привести все это в окончательный порядок, мы подпишемся, и уже сегодня можно будет радировать. А теперь, если ни у кого нет дополнительных соображений, я пойду.

Дополнительных соображений не было, и он ушел. Вандерхузе с тяжким вздохом поднялся, взвесил на ладони пачку листов заключения, посмотрел на нас, откинув голову, и тоже удалился.

— Вандер явно недоволен,— заметил я, накладывая на тарелку жаркое.

— Я тоже недовольна,— сказала Майка. - Как-то недостойно все это получилось. Я не умею объяснить, может быть, это я по-детски, наивно... но должно же быть... *должна же быть минута молчания какая-то...* А тут — раз-два, завертели-закрутили колесо: положение останков, утечка кибертехники, топографические параметры... Тьфу! Как будто в школе на практических занятиях...

Я был полностью с нею согласен.

— Ведь Комов никому рта не дает раскрыть! — продолжала она со злостью.— Все ему ясно, все ему очевидно, а на самом деле не так все это ясно. И с метеоритом неясно, и особенно с этим бортжурналом. И не верю я, что ему все ясно! По-моему, у него что-то на уме, и Вандер это тоже понимает, только не знает, как его зацепить... а может быть, считает, что это несущественно...

— Может быть, это и в самом деле несущественно...— пробормотал я неуверенно.

— А я и не говорю, что существенно! — возразила Майка.— Мне просто не нравится, как Комов себя ведет. Не понимаю я его. И вообще он мне не нравится! Мне о нем все уши прожужжали, а я теперь хожу и считаю дни, сколько мне с ним работать осталось... В жизни больше никогда с ним работать не буду!

— Ну, не так уж много и осталось,— примирительно сказал я.— Всего-то еще дней двадцать...

На том мы и расстались. Майка пошла приводить в порядок свои измерения и квартирьерские кроки, а я отправился в рубку, где меня ожидал маленький сюрприз: Том сообщал, что закладка фундамента закончена, и предлагал принять работу. Я пакинул доху и побежал на стройплощадку.

Солнце уже зашло, сумерки сгустились. Странные здесь сумерки — темно-фиолетовые, как разведенные чернила. Луны нет, зато в изобилии северное сияние, да еще какое! Гигантские полотнища радужного света бесшумно развеваются над черным океаном, сворачиваются и разворачиваются, трепещут и вздрагивают, словно под ветром, переливаются белым, зеленым, розовым и вдруг мгновенно гаснут, оставив в глазах смутные цветные пятна, а потом вновь возникают, и тогда исчезают звезды, исчезают сумерки, все вокруг окрашивается в неестественные, но чистейшие цвета — туман над болотом становится красно-синим, айсберг вдали мерцает, как глыба янтаря,

а по пляжу стремительно несутся зеленоватые тени.

Яростно растирая мерзнущие щеки и нос, я осматривал в этом чудном свете готовые фундаменты. Том, неотступно следовавший за мной по пятам, услужливо сообщал необходимые цифры, а когда сияние гасло — не менее услужливо включал прожекторы. И было, как всегда, мертвенно-тихо, только похрустывал у меня под каблуками смерзшийся песок. Потом я услышал голоса: Майка и Вандерхузе вышли подышать свежим воздухом и полюбоваться небесным спектаклем. Майке очень нравилось северное сияние — единственное, что ей нравилось на этой планете. Я был довольно далеко от корабля, метрах в ста, и не видел их, но голоса слышал отчетливо. Впрочем, сначала я слушал их вполуха. Майка говорила что-то о *поврежденных верхушках деревьев*, а Вандерхузе *гудел об эрозии* бортовой квазиорганики — по-видимому, они снова обсуждали причины и обстоятельства гибели «Пеликана».

Была в их беседе какая-то странность. Повторяю: я вначале не очень-то прислушивался и только потом понял, в чем дело. Они разговаривали, словно не слушая друг друга. Например, Вандерхузе говорил: «Один планетарный двигатель у них уцелел, иначе они бы просто не могли маневрировать в атмосфере...» А Майка долбила свое: «Нет, Яков, не менее десяти — пятнадцати лет. Посмотрите на эти наплывы...»

Я спустился в один из фундаментов, чтобы осмотреть дно, а когда вылез, разговор сделался более связным, но зато менее понятным. Они словно репетировали какую-то пьесу.

— *А это еще что такое? — спрашивала Майка.*

— Я бы сказал, что это игрушка,— отвечал Вандерхузе.

— Я бы тоже так сказала. Но зачем?

— Хобби. Ничего удивительного, весьма распространенное хобби.

В общем, это было похоже, как мы развлекались на базе в ожидании формировки. Вадим, скажем, ни с того ни с сего орал на всю столовую: «Капитан! Принимаю решение сбросить хвостовую часть и уходить в подпространство!» — на что какой-нибудь другой остряк немедленно откликался: «Ваше решение одобряю, капитан! Не забудьте головную часть, капитан!» — и так далее.

Впрочем, страшный этот разговор скоро прекратился. Явственно чмокнула переборка люка, и снова наступила

тишина. Я осмотрел последний фундамент, похвалил Тома за хорошую работу и приказал ему переключить Джека на следующий этап. Сполохи погасли, и в наступившей тьме ничего не было видно, кроме бортовых огней моих киберов. Чувствуя, что кончик носа у меня вот-вот отвалится, я рысцой побежал к кораблю, нашарил перепонку и вскочил в кессон. Кессон — это прекрасно. Это одно из самых чудесных помещений корабля. Наверное, это потому, что кессон — первое помещение корабля, которое дарует тебе сладостное ощущение дома: вернулся домой, в родное, теплое, защищенное, из чужого, ледяного, угрожающего. Из тьмы в свет. Я сбросил доху и, на ходу покрякивая и растирая ладони, направился в рубку.

Вандерхузе уже сидел там, обложенный своими бумажками, и, скорбно склонив голову, переписывал начисто очередную страницу заключения. Шифрующая машинка бойко стрекотала под его пальцами.

— А мои ребятки уже фундамент закончили,— похвастался я.

— Угу,— отозвался Вандерхузе.

— А что у вас там за игрушки? — спросил я.

— Игрушки...— рассеянно повторил Вандерхузе.- Игрушки? — переспросил он, не переставая стрекотать машинкой.— Ах, игрушки...— Он отложил готовый листок и взял другой.

Я подождал немного и напомнил:

— Так что это за игрушки?

— Что это за игрушки...— со значительностью в голосе повторил Вандерхузе и, задрав голову, поглядел на меня.— Ты так ставишь вопрос? Это, видишь ли... А впрочем, кто его знает, что это за игрушки. Там, на «Пеликане»... Извини, Стась, я сначала закончу, как ты полагаешь?

Я на цыпочках прошел к своему пульту, последил немного за работой Джека, который принялся уже возводить стены метеостанции, а потом, так же на цыпочках, вышел из рубки и отправился к Майке.

Все мыслимое освещение в каюте Майки было включено, а сама она восседала по-турецки на койке и тоже была очень занята. На столе, на койке, на полу расстилались простыни-склейки, карты, кроки, раздвинутые гармошки аэрофотографий, наброски и записи, и Майка по очереди все это рассматривала, делала какие-то пометки, иногда хватала лупу, а иногда — бутылку с соком, стоявшую

шую на стуле рядом. Понаблюдав ее некоторое время, я выбрал момент, когда бутылка с соком покинула стул, и уселся на стул сам, так что когда Майка, не глядя, сунула бутылку обратно, то попала мне прямо в протянутую руку.

— Спасибо, — сказал я и отхлебнул.

Майка приподняла голову.

— А, это ты? — произнесла она с неудовольствием.— Ты чего?

— Просто так зашел, — сказал я благодушно.— Нагулялась?

— И не думала,— возразила она, отбирая у меня бутылку.— Сижу, как про́клятая, вчера вечером не работала, накопилось тут всякого... Какое тут гулянье!

Она вернула мне бутылку, я машинально отхлебнул, ощущая смутное беспокойство, и тут у меня словно пелена с глаз упала: Майка была одета по-домашнему, в свою любимую пушистую кофту и шорты, на голове у нее был платок, и волосы под платком были влажные.

— В душе была? — тупо спросил я.

Она что-то ответила, но я и так уже все понял. Я встал. Я аккуратно поставил бутылку на сиденье. Я пробормотал что-то, не помню — что. Я каким-то образом очутился в коридоре, потом у себя в каюте, погасил зачем-то верхний свет, включил зачем-то ночничок, лег на койку и повернулся лицом к стене. Меня опять трясло. Помню, в голове моей крутились какие-то обрывочные мысли, вроде: «Теперь-то уж все пропало, все напрасно, теперь-то уж окончательно и бесповоротно». Я поймал себя на том, что опять прислушиваюсь. И я опять что-то слышал, что-то неподобающее. Тогда я рывком поднялся, полез в ночной столик, взял таблетку снотворного и положил под язык. Потом я снова лег. По стенам топотали ящерицы, затененный потолок медленно поворачивался, ночник то совсем меркнул, то разгорался нестерпимо ярко, погибающие мухи отчаянно зудели по углам. Кажется, приходила Майка, смотрела на меня с беспокойством, чем-то укрыла и исчезла, а потом появился Вадик, уселся у меня в ногах и сказал сердито: «Что же ты валяешься? Целая комиссия тебя ждет, а ты разлегся».— «Да ты громче говори,— сказала ему Нинон,— у него же что-то с ушами, он не слышит». Я сделал каменное лицо и сказал, что все это чепуха. Я встал, и все вместе мы вошли в разбитый «Пеликан», вся органика в нем распалась, и стоял острый нашатырный запах, как тогда в коридоре. Но это был не совсем

«Пеликан», скорее уж это была стройплощадка, копошились мои ребятишки, посадочная полоса изумительно сверкала под солнцем, и я все боялся, что Том наедет на две мумии, которые лежали поперек, то есть это все думали, что мумии, а на самом деле это были Комов и Вандерхузе, только надо было, чтобы этого никто не заметил, потому что они разговаривали, и слышал их только я. Но от Майки не скроешься. «Разве вы не видите, что ему плохо?» — сердито сказала она и положила мне на рот и нос сырой платок, смоченный в нашатырном спирте. Я чуть не задохнулся, замотал головой и сел на койке.

Глаза у меня были открыты, и в свете ночника я сразу увидел перед собой человека. Он стоял возле самой койки и, наклонившись, внимательно смотрел мне прямо в лицо. В слабом свете он казался темным, почти черным — бредовая скособоченная фигура без лица, зыбкая, без четких очертаний, и такой же зыбкий, нечеткий отблеск лежал у него на груди и на плече.

Уже точно зная, чем это кончится, я протянул к нему руку, и рука моя прошла сквозь него, как сквозь воздух, а он заколыхался, начал таять и исчез без следа. Я откинулся на спину и закрыл глаза. А вы знаете, что у алжирского дея под самым носом шишка? Под самым носом... Я был мокрый, как мышь, и мне было невыносимо душно. Я почти задыхался.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПРИЗРАКИ И ЛЮДИ

Я проснулся поздно, с тяжелой головой и с твердым намерением сразу же после завтрака уединиться где-нибудь с Вандерхузе и выложить ему все. Кажется, никогда еще в жизни я не чувствовал себя таким несчастным. Все было кончено для меня, поэтому я не стал даже делать зарядку, а просто принял усиленный ионный душ и побрел в кают-компанию. Уже на пороге я сообразил, что вчера вечером за всеми своими неприятностями я начисто забыл отдать повару распоряжение насчет завтрака, и это меня окончательно доконало. Пробормотав какое-то невнятное приветствие и чувствуя, что от горя и стыда я красен, как вареный рак, я уселся на свое место и уныло оглядел стол, стараясь ни с кем не встречаться глазами. Трапеза была, прямо скажем, монастырская, послушническая была трапеза. Все питались черным хлебом и молоком.

Вандерхузе посыпал свой ломоть солью. Майка помазала свой ломоть маслом. Комов жевал хлеб всухомятку, не прикасаясь даже к молоку.

У меня аппетита не было никакого — подумать было страшно жевать что-нибудь. Я взял себе стакан молока, отхлебнул. Боковым зрением я видел, что Майка смотрит на меня и что ей очень хочется спросить, что со мной и вообще. Однако она ничего не спросила, а Вандерхузе принялся многословно рассуждать, какая это с медицинской точки зрения полезная вещь — разгрузочный день, и как хорошо, что у нас сегодня именно такой завтрак, а не какой-нибудь другой. Он подробно объяснил нам, что такое пост и что такое Великий пост, и не без уважения отозвался о ранних христианах, которые дело свое знали туго. Заодно он рассказал нам, что такое масленица, но скоро, впрочем, почувствовал, что слишком увлекается описанием блинов с икрой, с балыком, с семгой и другими вкусными вещами, оборвал себя и принялся в некотором *затруднении расправлять бакенбарды. Разговор не завязывался.* Я беспокоился за себя, Майка беспокоилась за меня. А что касается Комова, то он опять, как и вчера, был явно не в своей тарелке. Глаза у него были красные, он большей частью смотрел в стол, но время от времени вскидывал голову и озирался, как будто его окликали. Хлеба он накрошил вокруг себя ужасно и продолжал крошить, так что мне захотелось дать ему по рукам, как маленькому. Так мы и сидели унылой компанией, а бедный Вандерхузе из сил выбивался, стараясь нас рассеять.

Он как раз мыкался с какой-то длинношей заунывной историей, которую придумывал на ходу и никак не мог придумать до конца, как вдруг Комов издал странный сдавленный звук, словно сухой кусок хлеба встал ему наконец поперек горла. Я взглянул на него через стол и *испугался. Комов сидел прямой,* вцепившись обеими руками в край столешницы, красные глаза его вылезли из орбит, он смотрел куда-то мимо меня и стремительно бледнел. Я обернулся. Я обмер. У стены, между фильмотекой и шахматным столиком, стоял мой давешний призрак.

Теперь я видел его совершенно отчетливо. Это был человек, во всяком случае — гуманоид, маленький, тощий, совершенно голый. Кожа у него была темная, почти черная, и блестела, словно покрытая маслом. Лица его я не разглядел или не запомнил, но мне сразу бросилось в глаза, как и в ночном моем кошмаре, что человечек этот

был весь какой-то скособоченный и словно бы размытый. И еще — глаза: большие, темные, совершенно неподвижные, слепые, как у статуи.

— Да вот же он! Вот он! — гаркнул Комов.

Он указывал пальцем совсем в другую сторону, и там у меня на глазах прямо из воздуха возникла новая фигура. Это был все тот же застывший лоснящийся призрак, но теперь он застыл в стремительном рывке, на бегу, как фотография спринтера на старте. И в ту же секунду Майка бросилась ему в ноги. С грохотом полетело в сторону кресло, Майка с воинственным воплем проскочила сквозь призрак и врезалась в экран видеофона, я еще успел заметить, как призрак заколебался и начал таять, а Комов уже кричал:

— Дверь! Дверь!

И я увидел: кто-то маленький, белый и матовый, как стена кают-компании, согнувшись в неслышном беге, скользнул в дверь и исчез в коридоре. И тогда я рванулся за ним.

Теперь об этом стыдно вспоминать, но тогда мне было совершенно безразлично, что это за существо, откуда оно, почему оно здесь и зачем,— я испытывал только безмерное облегчение, уже понимая, что с этой минуты бесповоротно кончились все мои кошмары и страхи, и еще я испытывал страстное желание догнать, схватить, скрутить и притащить.

В дверях я столкнулся с Комовым, сбил его с ног, споткнулся о него, пробежал по коридору на четвереньках, коридор был уже пуст, только резко и знакомо пахло нашатырным спиртом, позади что-то кричал Комов, стучали дробно каблуки, я вскочил, промчался через кессон, нырнул в люк, еще не успевший зарасти перепонкой, и вылетел наружу, в лиловатое сияние солнца.

Я сразу увидел его. Он бежал к стройплощадке, бежал легко, едва касаясь босыми ногами мерзлого песка, он был все такой же скособоченный и как-то странно двигал на бегу разведенными локтями, но теперь он был не темный и не матово-белый, а светло-лиловый, и солнце отсвечивало на его тощих плечах и боках. Он бежал прямо на моих киберов, и я замедлил бег, ожидая, что сейчас он испугается и свернет вправо или влево, но он не испугался, он проскочил в десяти шагах от Тома, и я глазам своим не поверил, когда этот величественный дурак вежливо просигналил ему обычное «жду приказаний».

— К болоту! — кричал позади задыхающийся голос Майки.— Отжимай его к болоту!

Маленький абориген и без этого бежал по направлению к болоту. Бегать, надо сказать, он умел, и расстояние между нами сокращалось очень медленно. Ветер свистел у меня в ушах, издалека что-то кричал Комов, но его решительно заглушала Майка.

— Левее, левее бери! — азартно вопила она.

Я взял левее, выскочил на посадочную полосу, на уже готовый участок, ровный, с удобнейшей рубчатой поверхностью, и здесь дело у меня пошло лучше — я стал нагонять. «Не уйдешь,— твердил я про себя,— нет, брат, теперь не уйдешь. Ты мне за все ответишь...» Я глядел не отрываясь на его быстро работающие лопатки, на мелькающие голые ноги, на клочья пара, взлетающие из-за его плеча. Я нагонял и испытывал ликование. Полоса кончалась, но до серой пелены над болотом оставалось всего шагов сто, и я нагонял.

Добежав до края трясины, до унылых зарослей карликового тростника, он остановился. Несколько секунд он стоял как бы в нерешительности, потом посмотрел на меня через плечо, и я снова увидел его большие темные глаза, никакие не застывшие, а, напротив, очень даже живые и вроде бы смеющиеся, и вдруг он присел на корточки, обхватил руками колени и покатился. Я даже не сразу понял, что произошло. Только что стоял человек, странный человек, наверное, и не человек вовсе, но по обличью все-таки человек, и вдруг человека не стало, а по трясине, через непроходимую бездонную тонь, катится, разбрызгивая грязь и мутную воду, какой-то пепельный серый колобок. Да еще как катится! Я не успел добежать до берега, а он уже исчез за клочьями тумана, и только слышались оттуда, из-за сероватой пелены, затихающие шорохи, плески и тоненький пронзительный свист.

С топотом набежала Майка и остановилась рядом, тяжело дыша.

— Ушел,— констатировала она с досадой.

— Ушел,— сказал я.

Несколько секунд мы стояли, вглядываясь в мутные клубы тумана. Потом Майка вытерла со лба пот и проговорила:

— Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел...

— А от тебя, квартирьер, и подавно уйду,— добавил я и огляделся.

Так. Дураки, значит, бегали, а умные, сами понимаете, стояли и смотрели. Мы с Майкой были вдвоем. Маленькие фигурки Комова и Вандерхузе темнели рядом с кораблем.

— А ничего себе пробежка получилась,— проговорила Майка, тоже глядя в сторону корабля.— Километра три, не меньше, как вы полагаете, капитан?

— Согласен с вами, капитан,— отозвался я.

— Слушай,— задумчиво сказала Майка.— А может быть, это все нам почудилось?

Я сгреб ее за плечи. Чувство свободы, здоровья, восторга, ощущение огромных сияющих перспектив с новой силой взорвалось во мне.

— Что ты в этом понимаешь, салажка! — гаркнул я, чуть не плача от счастья и тряся ее изо всех сил.— Что ты понимаешь в галлюцинациях! И не надо тебе ничего понимать! Живи счастливо и ни о чем таком не задумывайся!

Майка растерянно хлопала на меня глазами, пыталась вырваться, а я тряхнул ее напоследок хорошенько, обхватил за плечи и потащил к кораблю.

— Подожди,— слабо отбивалась ошеломленная Майка.— Что ты, в самом деле... Да отпусти ты меня, что за телячьи нежности!

— Идем, идем,— приговаривал я.— Идем! Сейчас нам любимец доктора Мбога вломит — чует мое сердце, что зря мы эту беготню устроили, не надо было нам ее устраивать...

Майка рывком освободилась, постояла секунду, потом присела на корточки, нагнула голову и, обхватив колени руками, качнулась вперед.

— Нет,— сказала она, снова выпрямляясь.— Этого я не понимаю.

— И не надо,— сказал я.— Комов нам все объяснит. Сначала выволочку даст, ведь мы ему контакт сорвали, а потом все-таки объяснит...

— Слушай, холодно! — сказала Майка, подпрыгнув на месте.— Бежим?

И мы побежали. Первые мои восторги утихли, и я стал соображать, что же все-таки произошло. Получалось, что планета-то на самом деле обитаемая! Да еще как обитаемая — крупные человекообразные существа, может быть, даже разумные, может быть, даже цивилизованные...

— Стась,— сказала Майка на бегу,— а может быть, это пантианин?

— Откуда? — удивился я.

— Ну... мало ли откуда... Мы же не знаем всех деталей проекта. Может, переброска уже началась.

— Да нет,— сказал я.— Не похож он на пантианина. Пантиане рослые, краснокожие... Потом они одеты, елки-палки, а этот совсем голый!

Мы остановились перед люком, и я пропустил Майку вперед.

— Бр-р-р! — произнесла она, растирая плечи.- Ну, что, пойдем фитиль получать?

— Полуметровый,— сказал я.

— Хорошо смазанный,— сказала Майка.

— Семьдесят пять миллиметров в диаметре, — сказал я.

Мы крадучись проникли в рубку, но остаться незамеченными нам не удалось. Нас ждали. Комов расхаживал по рубке, заложив руки за спину, а Вандерхузе, глядя в пространство и выпятив челюсть, наматывал свои бакенбарды: правый на палец правой руки, а левый — на палец левой. Увидев нас, Комов остановился, но Майка не дала ему заговорить.

— Ушел,— деловито доложила она.— Ушел прямо через трясину, причем совершенно необычным способом...

— Помолчите,— прервал ее Комов.

«Сейчас начнется»,— подумал я, заранее настраиваясь на отбрыкивание и отругивание. И не угадал. Комов приказал нам сесть, уселся сам и обратился прямо ко мне:

— Я вас слушаю, Попов. Рассказывайте все. До мельчайших подробностей.

Интересно, что я даже не удивился. Такая постановка вопроса показалась мне совершенно естественной. И я рассказал все — о шорохах, о запахах, о детском плаче, о криках женщины, о странном диалоге вчера вечером и о черном призраке сегодня ночью. Майка слушала меня, приоткрыв рот, Вандерхузе хмурился и укоризненно качал головой, а Комов не отрываясь глядел мне в лицо — прищуренные глаза его вновь были пристальны и холодны, лицо затвердело, он покусывал нижнюю губу и время от времени напряженно сплетал пальцы, похрустывая суставами. Когда я закончил, воцарилось молчание. Потом Комов спросил:

— Вы уверены, что это плакал ребенок?

— Д-да... Во всяком случае, очень похоже...

Вандерхузе шумно перевел дух и похлопал ладонью по подлокотнику кресла.

— И ты все это вытерпел! — проговорила Майка с испугом.— Бедный Стасик!

— Должен тебе сказать, Стась...— внушительно начал Вандерхузе, но Комов перебил его.

— А камни? — спросил он.

— Что — камни? — не понял я.

— Откуда взялись камни?

— Это на стройплощадке? Киберы натаскали, наверное. При чем это здесь?

— Откуда киберы могли взять камни?

— Н-ну...— начал я и замолчал. Действительно, откуда?

— Кругом песчаный пляж,— продолжал Комов.— Ни одного камешка. Киберы с площадки не отлучались. Откуда же на полосе булыжники и откуда на полосе сучья? — Он оглядел нас и усмехнулся.— Все это риторические вопросы, разумеется. Могу добавить, что у нас за кормой, прямо под маяком, целая россыпь булыжников. Очень любопытная россыпь. Могу также добавить... Простите, вы кончили, Стась? Спасибо. А теперь послушайте, что было со мной.

Комову, оказывается, тоже пришлось нелегко. Правда, испытания его были несколько иного рода. Испытания интеллекта. На второй день после прибытия, запуская в озеро пантианских рыб, он заметил в двадцати шагах от себя необычное ярко-красное пятно, которое расплылось и исчезло, прежде чем он решился приблизиться. На следующий день он обнаружил на самой макушке высоты 12 дохлую рыбу, явно одну из запущенных накануне. Под утро четвертого дня он проснулся с явственным ощущением, что в каюте находится кто-то посторонний. Постороннего не оказалось, но Комову послышался щелчок лопнувшей перепонки люка. Выйдя из корабля, он обнаружил, во-первых, россыпь камней у кормы, а во-вторых, камни и охапки сучьев на стройплощадке. После разговора со мной он окончательно утвердился в мысли, что в окрестностях корабля происходит неладное. Он уже был почти уверен, что поисковые группы проглядели какой-то чрезвычайно важный фактор, действующий на планете, и только глубокая убежденность в том, что разумную жизнь проглядеть было бы невозможно, удерживала его от самых решительных шагов. Он только принял все меры, чтобы район действия нашей группы не стал объектом нашествия «любопытствующих бездельников». Именно поэтому он изо всех

сил старался сформулировать экспертное заключение таким образом, чтобы оно не вызывало ни малейших сомнений. Между тем мое возбужденно-подавленное состояние прекрасно подтверждало его предварительный вывод о том, что неизвестные существа способны проникать в корабль. Он стал ждать этого проникновения и дождался его сегодня утром.

— *Резюмирую,* — *объявил он, словно читая лекцию.* — По крайней мере этот район планеты, вопреки данным предварительных исследований, обитаем крупными позвоночными, причем есть все основания предполагать, что существа эти разумны. По-видимому, это троглодиты, приспособившиеся к жизни в подземных пустотах. Судя по тому, чему мы были свидетелями, средний абориген анатомически напоминает человека, обладает ярко выраженной способностью к мимикрии, а также и, вероятно, в связи с этим — способностью к воспроизводству защитно-отвлекающих фантомов. Должен сказать, что для крупных позвоночных такая способность была до сих пор отмечена только у некоторых грызунов на Пандоре, на Земле же этой способностью обладают некоторые виды головоногих моллюсков. А теперь я хотел бы особенно подчеркнуть, что, несмотря на эти нечеловеческие и вообще негуманоидные способности, здешний абориген не только в анатомическом, но и в физиологическом и, в частности, в нейрологическом отношении необычайно, небывало близок к земному человеку. Я кончил.

— Как — кончили? — вскричал я, испугавшись.— А мои голоса? Значит, галлюцинации были?

Комов усмехнулся.

— Успокойтесь, Стась, сказал он.— С вами все в порядке. Ваши «голоса» легко объясняются, если предположить, что устройство их голосового аппарата идентично нашему. Сходство голосового аппарата плюс развитая способность к имитации, плюс гипертрофированная фонетическая память...

— Стойте,— сказала Майка. Я понимаю, они могли подслушать наши разговоры, но как же женский голос?

Комов кивнул.

— Да, приходится предположить, что они присутствовали при агонии.

Майка присвистнула.

— Слишком замысловато,— пробормотала она с сомнением.

— Предложите другое объяснение,— холодно возразил Комов.— Впрочем, вероятно, мы скоро узнаем имена погибших. Если пилота звали Александром...

— Ну, хорошо,— сказал я.— А ребенок плакал?..

— А вы уверены, что это плакал ребенок?

— А с чем это можно спутать?

Комов уставился на меня, плотно прижал пальцем верхнюю губу и вдруг приглушенно залаял. Именно залаял — другого слова я не подберу.

— Что это было? — спросил он.— Собака?

— Похоже,— сказал я с уважением.

— Так вот, это я произнес фразу на одном из наречий Леониды.

Я был сражен. Майка тоже. Некоторое время все молчали. Все было несомненно так, как он говорил. Все объяснялось, все получалось очень изящно, но... Было, конечно, очень приятно сознавать, что все страхи остались позади и что именно нашей группе повезло открыть еще одну гуманоидную расу. Однако вместе с тем это означало самую решительную перемену в наших судьбах. Да и не только в наших. Во-первых, невооруженным глазом было видно, что проекту «Ковчег» конец. Планета занята, придется искать для пантиан другую. Во-вторых, если окончательно выяснится, что аборигены разумны, нас, наверное, сейчас же попрут отсюда, а вместо нас прибудет сюда Комиссия по контактам. Все эти соображения были очевидны не только мне, конечно, но и остальным. Вандерхузе расстроенно рванул себя за бакенбарды и сказал:

— Почему же именно разумные? По-моему, пока совершенно ниоткуда не следует, что они непременно разумные, как вы полагаете, Геннадий?

— Я не утверждаю, что они непременно разумные,— возразил Комов.— Я сказал только: есть все основания предполагать, что это так.

— Ну, какие же это такие все основания? — продолжал расстраиваться Вандерхузе. Очень ему не хотелось покидать насиженное место. Известна была за ним такая слабость — любовь к насиженным местам.— Что это за все основания? Внешний облик разве что...

— Дело не только в анатомии,— сказал Комов.— Камни под маяком расположены в явном порядке, это какие-то знаки. Камни и ветки на посадочной полосе... Я не хочу ничего утверждать категорически, но все это очень похоже на попытку войти в контакт, осуществляе-

мую гуманоидами с первобытной культурой. Тайная разведка и одновременно не то дары, не то предупреждение...

— Да, похоже на то,— пробормотал Вандерхузе и впал в прострацию.

Снова последовало молчание, затем Майка тихонько спросила:

— А откуда следует, что они так уж особенно близки нам по своей физиологической и нервной организации?

Комов удовлетворенно покивал.

— Здесь мы тоже располагаем только косвенными соображениями,— сказал он.— Но это достаточно веские соображения. Во-первых, аборигены способны проникать в корабль. Корабль их впускает. Для сравнения напомню, что ни тагорцу, ни даже пантианину, при всем их огромном сходстве с человеком, люковую перепонку не преодолеть. Люк просто не раскроется перед ними...

Тут я хлопнул себя по лбу.

— Елки-палки! Значит, все мои киберы были в полном порядке! Просто аборигены, наверное, бегали перед Томом, и он останавливался, потому что боялся наехать на человека... А потом они, наверное, считали Тома за живое существо, размахивали руками и случайно подали ему сигнал: «Опасность! Немедленно в корабль!» Это же очень простой сигнал...— Я показал.— Ну, мои ребятишки и полезли в трюм наперегонки... Конечно, так оно все и было... Да я и сейчас своими глазами видел: Том реагировал на аборигена, как на человека.

— То есть? — быстро спросил Комов.

— То есть, когда абориген появился в поле его визиров, Том просигналил: «Жду приказаний».

— Это очень ценное наблюдение,— произнес Комов.

Вандерхузе тяжело вздохнул.

— Да,— сказала Майка.— Конец «Ковчегу». Жалко.

— Что же теперь будет? — спросил я, ни к кому в особенности не обращаясь.

Мне не ответили. Комов поднял листки со своими записями, под ними обнаружилась коробочка диктофона.

— Прошу прощения,— объявил он, очаровательно улыбаясь.— Чтобы не терять времени зря, я нашу дискуссию записал. Благодарю за точно поставленные вопросы. Стась, я попрошу вас, закодируйте все это и отправьте в экстренном импульсе прямо в Центр, копию на базу.

— Бедный Сидоров,— негромко сказал Вандерхузе.

Комов глянул на него и снова опустил глаза на бумаги.

Майка отодвинула кресло.

— Во всяком случае, с моим квартирьерством здесь покончено,— проговорила она.— Пойду собираться.

— Одну минуту,— остановил ее Комов.— Здесь спросили, что же теперь будет. Отвечаю. Как полномочный член Комиссии по контактам, я беру командование на себя. Объявляю весь наш район зоной предполагаемого контакта. Яков, прошу вас, составьте соответствующую радиограмму. Все работы по проекту «Ковчег» прекращаются. Роботы демобилизуются и переводятся в трюм. Выход из корабля только с моего личного разрешения. Сегодняшняя охота с борзыми, вероятно, уже создала для контакта определенные трудности. Новые недоразумения были бы крайне нежелательны. Итак, Майя, прошу вас загнать глайдер в ангар. Стась, прошу заняться вашей кибер-системой...— Он поднял палец.— Но сначала отправьте запись дискуссии...— Он улыбнулся и хотел сказать еще что-то, но в это время затрещал дешифратор рации.

Вандерхузе протянул длинную руку, извлек из приемного кармана карточку радиограммы и пробежал ее глазами. Брови его задрались.

— Гм,— сказал он.— На лету схватывают. Вы, случайно, не индуктор, Геннадий?

Он передал карточку Комову. Комов тоже пробежал ее глазами, и брови его тоже задрались.

— Вот этого я уже не понимаю,— пробормотал он, бросил карточку на стол и прошелся по рубке, заложив руки за спину.

Я взял карточку. Майка возбужденно сопела у меня над ухом. Радиограмма действительно была неожиданная.

ЭКСТРЕННАЯ. НУЛЬ-СВЯЗЬ. ЦЕНТР, КОМИССИЯ ПО КОНТАКТАМ, ГОРБОВСКИЙ — НАЧАЛЬНИКУ БАЗЫ «КОВЧЕГ» СИДОРОВУ. НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ ВСЕ РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ. ПОДГОТОВИТЬ ВОЗМОЖНУЮ ЭВАКУАЦИЮ ЛИЧНОГО СОСТАВА И ОБОРУДОВАНИЯ. ДОПОЛНЕНИЕ — ПОЛНОМОЧНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ КОМКОНА КОМОВУ. ОБЪЯВЛЯЮ РАЙОН ЭР-2 ЗОНОЙ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО КОНТАКТА. ОТВЕТСТВЕННЫМ НАЗНАЧАЕТЕСЬ ВЫ.

ГОРБОВСКИЙ

— Вот это да! — сказала Майка с восхищением.— Ай да Горбовский!

Комов остановился и исподлобья оглядел нас.

— Прошу всех приступить к выполнению моих распоряжений. Яков, найдите мне, пожалуйста, копию нашего экспертного заключения.

Они с Вандерхузе погрузились в изучение копии, Майка вышла загонять глайдер, а я устроился возле рации и принялся кодировать нашу дискуссию. Однако не прошло и двух минут, как дешифратор заверещал снова. Комов отпихнул Вандерхузе и кинулся к рации. Перегнувшись через мое плечо, он жадно читал строчки, появляющиеся на карточке.

ЭКСТРЕННАЯ. НУЛЬ-СВЯЗЬ. ЦЕНТР, КОМИССИЯ ПО КОНТАКТАМ, БАДЕР — КАПИТАНУ ЭР-2 ВАНДЕРХУЗЕ. СРОЧНО ПОДТВЕРДИТЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ОСТАНКОВ ДВУХ, ПОВТОРЯЮ: ДВУХ ТЕЛ НА БОРТУ КОРАБЛЯ И СОСТОЯНИЕ БОРТОВОГО ЖУРНАЛА, ОПИСАННОГО В ВАШЕМ ЭКСПЕРТНОМ ЗАКЛЮЧЕНИИ.

БАДЕР

Комов перебросил карточку Вандерхузе.

— Вот, значит, в чем дело,— проговорил он.— Так-так...— Он повернулся ко мне: — Стась, что вы сейчас делаете?

— Кодирую,— ответил я угрюмо. Я ничего не понимал.

— Дайте-ка мне диктофон,— сказал он.— Пока воздержимся.— Он спрятал диктофон в нагрудный карман и аккуратно застегнул клапан.— Значит, так, Яков. Подтвердите то, о чем они вас просят, Стась. Передайте подтверждение. А потом, Яков, я вас попрошу... Вы разбираетесь в этом лучше меня. Окажите мне любезность, поройтесь в нашей фильмотеке и просмотрите всю официальную документацию относительно бортовых журналов.

— Я и так знаю все относительно бортовых журналов,— возразил Вандерхузе недовольно.— Вы мне лучше просто скажите, что вас интересует.

— Я и сам толком не знаю, что меня интересует. Меня интересует, случайно или намеренно был стерт бортжурнал. Если намеренно, то почему. Вы же видите, Бадера это тоже интересует... Не ленитесь, Яков. Существуют же все-таки какие-то правила, предусматривающие уничтожение бортжурнала.

— Не существует таких правил,— проворчал себе под нос Вандерхузе и тем не менее отправился оказывать любезность.

Комов сел писать подтверждение, а я мучительно соображал, что же такое происходит, почему такая паника и как в Центре могли усомниться в совершенно четких формулировках заключения. Не могли же они там подумать, что мы спутали останки земляшина с останками

какого-нибудь аборигена и добавили лишний труп... И как все-таки, елки-палки, Горбовский умудрился догадаться о том, что у нас здесь происходит? Никакого толку от моих рассуждений не было, и я с тоской смотрел на рабочие экраны, где все было так ясно и понятно, и я с горечью подумал, что туповатый человек самым печальным образом напоминает кибера. Вот я сейчас сижу, тупо выполняю приказания: сказали кодировать — кодировал, сказали прекратить — прекратил, а что происходит, зачем все это, чем все это кончится — ничего не понимаю. Совершенно как мой Том: работает сейчас, бедняга, в поте лица, старается получше выполнить мои распоряжения и ведь знать не знает, что через десять минут я приду, загоню его со всей компанией в трюм, и работа его окажется вся ни к чему, и сам он станет никому не нужным...

Комов передал мне подтверждение, я закодировал текст, отослал и хотел было уже пересесть за свой пульт, как вдруг раздался вызов с базы.

— ЭР-два? — осведомился спокойный голос.— Сидоров говорит.

— ЭР-два слушает! — откликнулся я немедленно.— Говорит кибертехник Попов. Кого вам, Михаил Альбертович?

— Комова, пожалуйста.

Комов уже сидел в соседнем кресле.

— Я тебя слушаю, Атос,— сказал он.

— Что у вас там произошло? — спросил Сидоров.

— Аборигены,— ответил Комов, помедлив.

— Поподробнее, если можно,— сказал Сидоров.

— Прежде всего, имей в виду, Атос,— сказал Комов,— я не знаю и не понимаю, откуда Горбовский узнал об аборигенах. Мы сами начали понимать, что к чему, всего два часа назад. Я подготовил для тебя информацию, начал уже ее кодировать, но тут все так запуталось, что я вынужден просить тебя потерпеть еще некоторое время. Меня тут старик Бадер на такую идею навел... Одним словом, потерпи, пожалуйста.

— Понятно,— сказал Сидоров.— Но сам факт существования аборигенов достоверен?

— Абсолютно,— сказал Комов.

Было слышно, как Сидоров вздохнул.

— Ну что ж,— сказал он.— Ничего не поделаешь. Начнем все сначала.

— Мне очень жаль, что все так получилось,— произнес Комов.— Честное слово, жаль.

— Ничего,— сказал Сидоров.— Переживем и это.— Он помолчал.— Как ты намерен действовать дальше? Будешь ждать комиссию?

— Нет. Я начну сегодня же. И я очень прошу тебя: оставь ЭР-два с экипажем в моем распоряжении.

— Разумеется,— сказал Сидоров.— Ну, не буду тебе мешать. Если что-нибудь понадобится...

— Спасибо, Атос. И не огорчайся, все еще наладится.

— Будем надеяться.

Они распрощались. Комов покусал ноготь большого пальца, с каким-то непонятным раздражением посмотрел на меня и снова принялся ходить по рубке. Я догадывался, в чем тут дело. Комов и Сидоров были старые друзья, вместе учились, вместе где-то работали, но Комову всегда и во всем везло, а Сидорова за глаза называли Атос-неудачник. Не знаю, почему это так сложилось. Во всяком случае, Комов *должен был сейчас испытывать большую* неловкость. А тут еще радиограмма Горбовского. Получалось так, будто Комов информировал Центр, минуя Сидорова...

Я тихонько перебрался к своему пульту и остановил киберов. Комов уже сидел за столом, грыз ноготь и таращился на разбросанные листки. Я попросил разрешения выйти наружу.

— Зачем? — вскинулся было он, но тут же спохватился.— А, киберсистема... Пожалуйста, пожалуйста. Но как только закончите, немедленно возвращайтесь.

Я загнал ребятишек в трюм, демобилизовал их, закрепил на случай внезапного старта и постоял немного около люка, глядя на опустевшую стройплощадку, на белые стены несостоявшейся метеостанции, на айсберг, все такой же идеальный и равнодушный... Планета казалась мне теперь какой-то другой. Что-то в ней изменилось. Появился какой-то смысл в этом тумане, в карликовых зарослях, в скалистых отрогах, покрытых лиловатыми пятнами снега. Тишина осталась, конечно, но пустоты уже не было, и это было хорошо.

Я вернулся в корабль, заглянул в кают-компанию, где сердитый Вандерхузе копался в фильмотеке, чувства меня распирали, и я отправился утешаться к Майке. Майка расстелила по всей каюте огромную склейку и лежала на ней с лупой в глазу. Она даже не обернулась.

— Ничего не понимаю,— сказала она сердито.— Негде им здесь жить. Все мало-мальски годные для обитания точки мы обследовали. Не в болоте же они барахтаются!..

— А почему бы не в болоте? — спросил я, усаживаясь.

Майка села по-турецки и воззрилась на меня через лупу.

— Гуманоид не может жить в болоте,— объявила она веско.

— Почему же,— возразил я.— У нас на Земле были племена, которые жили даже на озерах, в свайных постройках...

— Если бы на этих болотах была хоть одна постройка...— сказала Майка.

— А может быть, они живут как раз под водой, наподобие водяных пауков, в таких воздушных колоколах?

Майка подумала.

— Нет,— сказала она с сожалением.— Он бы грязный был, грязи бы в кóрабль натащил...

— А если у них водоотталкивающий слой на коже? Водогрязеотталкивающий... Видела, как он лоснится? И удрал он от нас — куда? И такой способ передвижения — для чего?

Дискуссия завязалась. Под давлением многочисленных гипотез, которые я выдвигал, Майка принуждена была согласиться, что теоретически аборигенам ничто не препятствует жить в воздушных колоколах, хотя лично она, Майка, все-таки склонна полагать, что прав Комов, который считает аборигенов пещерными людьми. «Видел бы ты, какие там ущелья,— сказала она.— Вот бы куда сейчас слазить...» Она стала показывать по карте. Места даже на карте выглядели неприветливо: сначала полоса сопок, поросших карликовыми деревцами, за ней обезображенные бездонными разломами скалистые предгорья, наконец, сам хребет, дикий и жестокий, покрытый вечными снегами, а за хребтом — бескрайняя каменистая равнина, унылая, совершенно безжизненная, изрезанная вдоль и поперек глубокими каньонами. Это был насквозь промерзший, стылый мир, мир ощетинившихся минералов, и при одной мысли о том, чтобы здесь жить, ступать босыми ногами по этому каменному крошеву, кожа на спине у меня начинала ежиться.

«Ничего страшного,— утешала меня Майка,— я могу показать тебе инфрасъемки этой местности, под этим плато есть обширные участки подземного тепла, так что если они

живут в пещерах, то от холода они во всяком случае не страдают». Я сейчас же вцепился в нее: а что же они едят? «Если есть пещерные люди,— сказала Майка,— могут быть и пещерные животные. А потом — мхи, грибы, и еще можно представить себе растения, которые осуществляют фотосинтез в инфракрасном свете». Я представил себе эту жизнь, жалкую пародию на то, что считаем жизнью мы, упорную, но вялую борьбу за существование, чудовищное однообразие впечатлений, и мне стало ужасно жалко аборигенов. И я объявил, что забота об этой расе — задача тоже достаточно благородная и благодарная. Майка возразила, что это совсем другое дело, что пантиане обречены, и если бы нас не было, они бы просто исчезли, прекратили бы свою историю; а что касается здешнего народа, то это еще бабушка надвое сказала, нужны ли мы им. Может быть, они и без нас процветают.

Это у нас старый спор. По моему мнению, человечество знает достаточно, чтобы судить, какое развитие исторически перспективно, а какое — нет. Майка же в этом сомневается. Она утверждает, что мы знаем ничтожно мало. Мы вошли в соприкосновение с двенадцатью разумными расами, причем три из них — негуманоидные. В каких отношениях мы находимся с этими негуманоидами, сам Горбовский, наверное, не может сказать: вступили мы с ними в контакт или не вступили, а если вступили, то по обоюдному ли согласию или навязали им себя, а может быть, они вообще воспринимают нас не как братьев по разуму, а как редкостное явление природы, вроде необычных метеоритов. Вот с гуманоидами все ясно: из девяти гуманоидных рас только три согласились иметь с нами что-либо общее, да и то леонидяне, например, охотно делятся с нами своей информацией, а нашу, земную, очень вежливо, но решительно отвергают. Казалось бы, совершенно очевидная вещь: квазиорганические механизмы гораздо рациональнее и экономичнее прирученных животных, но леонидяне от механизмов отказываются. Почему? Некоторое время мы спорили — почему, запутались, незаметно поменялись точками зрения (это у нас с Майкой бывает сплошь и рядом), и Майка, наконец, заявила, что все это вздор.

— Не в этом дело. Понимаешь ли ты, в чем состоит главная задача всякого контакта? — спросила она.— Понимаешь ли ты, почему человечество вот уже двести лет стремится к контактам, радуется, когда контакты удаются, горюет, когда ничего не получается?

Я, конечно, понимал.

— Изучение разума,— сказал я.— Исследование высшего продукта развития природы.

— Это, в общем, верно,— сказала Майка,— но это только слова, потому что на самом-то деле нас интересует не проблема разума вообще, а проблема нашего, человеческого, разума, иначе говоря, нас прежде всего интересуем мы сами. Мы уже пятьдесят тысяч лет пытаемся понять, что мы такое, но, глядя изнутри, эту задачу не решить, как невозможно поднять себя самого за волосы. Надо посмотреть на себя извне, чужими глазами, совсем чужими...

— А зачем это, собственно, нужно? — агрессивно осведомился я.

— А затем,— веско сказала Майка,— что человечество становится галактическим. Вот как ты представляешь себе человечество через сто лет?

— Как представляю? — Я пожал плечами.— Да так же, как ты... Конец биологической революции, преодоление галактического барьера, выход в нуль-мир... ну, широкое распространение контактного видения, реализация П-абстракций...

— Я тебя не спрашиваю, как ты себе представляешь достижения человечества через сто лет. Я тебя спрашиваю, как ты представляешь себе само человечество через сто лет?

Я озадаченно поморгал. Я не улавливал разницы. Майка смотрела на меня победно.

— Про идеи Комова слыхал? — спросила она.— Вертикальный прогресс и все такое прочее...

— Вертикальный прогресс? — Что-то такое я вспоминал.— Подожди... Это, кажется, Боровик, Микава... да?

Она полезла в стол и принялась там копаться.

— Вот ты тогда плясал в баре со своей Танечкой, а Комов собирал в библиотеке ребят... На! — Она протянула мне кристаллофон.— Послушай.

Я неохотно нацепил кристаллофон и стал слушать. Это было что-то вроде лекции, читал Комов, и запись начиналась с полуслова. Комов говорил неторопливо, просто, очень доступно, применяясь, по-видимому, к уровню аудитории. Он приводил много примеров, острил. Получалось у него примерно следующее.

Земной человек выполнил все поставленные им перед собой задачи и становится человеком галактическим. Сто тысяч лет человечество пробиралось по узкой пещере,

через завалы, через заросли, гибло под обвалами, попадало в тупики, но впереди всегда была синева, свет, цель, и вот мы вышли из ущелья под синее небо и разлились по равнине. Да, равнина велика, есть куда разливаться. Но теперь мы видим, что это — равнина, а над нею — небо. Новое измерение. Да, на равнине хорошо, и можно вволю заниматься реализацией П-абстракций. И казалось бы, никакая сила не гонит нас вверх, в новое измерение... Но галактический человек не есть просто земной человек, живущий в галактических просторах по законам Земли. Это нечто большее. С иными законами существования, с иными целями существования. А ведь мы не знаем ни этих законов, ни этих целей. Так что, по сути, речь идет о формулировке идеала галактического человека. Идеал земного человека строился в течение тысячелетий на опыте предков, на опыте самых различных форм живого нашей планеты. Идеал человека галактического, по-видимому, следует строить на опыте галактических форм жизни, на опыте историй разных разумов Галактики. Пока мы даже не знаем, как подойти к этой задаче, а ведь нам предстоит еще решать ее, причем решать так, чтобы свести к минимуму число возможных жертв и ошибок. Человечество никогда не ставит перед собой задач, которые не готово решить. Это глубоко верно, но ведь это и мучительно...

Заканчивалась запись тоже на полуслове.

Честно говоря, все это до меня как-то не дошло. При чем здесь галактический идеал? По-моему, люди в космосе совсем не становятся какими-то галактическими. Я бы сказал, наоборот, люди несут в космос Землю — земной комфорт, земные нормы, земную мораль. Если уж на то пошло, то для меня, да и для всех моих знакомых идеалом будущего является наша маленькая планетка, распространившаяся до крайних пределов Галактики, а потом, может быть, и за эти пределы. В таком примерно плане я принялся было излагать Майке свои соображения, но тут мы заметили, что в каюте, должно быть уже некоторое время, присутствует Вандерхузе. Он стоял, прислонившись к стене, теребил свои рысьи бакенбарды и разглядывал нас с задумчиво-рассеянным верблюжьим выражением на физиономии. Я встал и пододвинул ему стул.

— Спасибо,— произнес Вандерхузе,— но я лучше постою.

— А что вы думаете по этому поводу? — спросила его Майка воинственно.

— По какому поводу?

— По поводу вертикального прогресса.

Вандерхузе некоторое время молчал, затем вздохнул и произнес:

— Неизвестно, кто первый открыл воду, но уж наверняка это сделали не рыбы.

Мы напряженно задумались. Потом Майка просияла, подняла палец и сказала:

— О!

— Это не я,— меланхолично возразил Вандерхузе.— Это очень старый афоризм. Мне он давно нравился, только все не было случая его привести.— Он помолчал минуту, потом сказал: — Насчет бортжурнала. Представляете себе, действительно, было такое правило.

— Какой бортжурнал? — спросила Майка.— При чем здесь бортжурнал?

— Комов попросил отыскать правила, предписывающие уничтожать бортжурналы,— грустно объяснил Вандерхузе.

— Ну? — сказали мы одновременно.

Вандерхузе снова помолчал, потом махнул рукой.

— Срам,— сказал он.— Есть, оказывается, одно такое правило. Вернее, было. В старом «Своде инструкций». В новом — нет. Откуда мне было знать? Я же не историк.

Он надолго задумался. Майка нетерпеливо поерзала.

— Да,— сказал Вандерхузе.— Так вот, если ты потерпел крушение на неизвестной планете, населенной разумными существами — негуманоидами либо гуманоидами, но пребывающими в стадии ярко выраженной машинной цивилизации,— ты обязан уничтожить все космографические карты и бортовые журналы.

Мы с Майкой переглянулись.

— Этот бедняга, командир «Пеликана»,— продолжал Вандерхузе,— наверное, здорово знал старинные законы. Ведь этому правилу, наверное, лет двести, его выдумали еще на заре звездоплавания, выдумали из головы, стараясь все предусмотреть. Но разве все предусмотришь? — Он вздохнул.— Конечно, можно было догадаться, почему с бортжурналом произошла такая штука. Вот Комов и догадался... И вы знаете, как он реагировал на мое сообщение?

— Нет,— сказал я.— Как?

— Он кивнул и перешел к другим делам,— сказала Майка.

Вандерхузе посмотрел на нее с восхищением.

— Правильно — сказал он.— Именно кивнул и именно перешел. Я бы на его месте целый день радовался, что я такой догадливый...

— Что ж это, значит, получается? — сказала Майка.— Значит, либо негуманоиды, либо гуманоиды, но на стадии машинной цивилизации. Ничего не понимаю. Ты что-нибудь понимаешь? — спросила она меня.

Меня очень забавляет эта манера Майки с гордостью объявлять, что она ничего не понимает. Я и сам так поступаю частенько.

— Они подъехали к «Пеликану» на велосипедах,— сказал я.

Майка нетерпеливо отмахнулась.

— Машинной цивилизации здесь нет,— пробормотала она.— Негуманоидов здесь тоже нет...

Голос Комова по интеркому провозгласил:

— Вандерхузе, Глумова, Попов! Прошу явиться в рубку.

— Началось! — сказала Майка, вскакивая.

Мы гурьбой ввалились в рубку. Комов стоял у стола и вкладывал в пластиковый чехол портативный транслятор. Судя по положению переключателей, транслятор был подключен к бортовому вычислителю. Лицо у Комова было непривычно озабоченное, какое-то очень человечное, без этой своеобычной, оскомину набившей ледяной сосредоточенности.

— Сейчас я выхожу,— объявил он.— Первый сикурс. Яков, вы остаетесь за старшего. Главное, обеспечить непрерывное наблюдение и бесперебойную работу бортового вычислителя. При появлении аборигенов немедленно известить меня. Рекомендую установить у обзорных экранов трехсменную вахту. Майя, ступайте к экранам прямо сейчас же. Стась, там мои радиограммы. Передайте их как можно быстрее. Я думаю, нет надобности объяснять, почему никто не должен выходить из корабля. Вот и все. Давайте за дело.

Я подсел к рации и принялся за дело. Комов и Вандерхузе о чем-то негромко говорили у меня за спиной. Майка на другом конце рубки настраивала экраны кругового обзора. Я перебрал радиограммы. Да, пока мы решали философские проблемы, Комов здесь здорово поработал. Почти все его радиограммы были ответами. Иерархию срочности, за неимением специальных указаний, я устанавливал сам.

ЭР-2, КОМОВ — ЦЕНТР, ГОРБОВСКОМУ. БЛАГОДАРЮ ЗА ЛЮБЕЗНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, НЕ СЧИТАЮ СЕБЯ ВПРАВЕ ОТРЫВАТЬ ВАС ОТ БОЛЕЕ ВАЖНЫХ ЗАНЯТИЙ, БУДУ ДЕРЖАТЬ ВАС В КУРСЕ ВСЕХ НОВОСТЕЙ.

ЭР-2, КОМОВ — ЦЕНТР, БАДЕРУ. ОТ ПОСТА ГЛАВНОГО КСЕНОЛОГА ПРОЕКТА «КОВЧЕГ-2» ВЫНУЖДЕН ОТКАЗАТЬСЯ. РЕКОМЕНДУЮ АМИРЭДЖИБИ.

ЭР-2, КОМОВ — БАЗА, СИДОРОВУ. УМОЛЯЮ, ИЗБАВЬ МЕНЯ ОТ ДОБРОВОЛЬЦЕВ.

ЭР-2, КОМОВ — ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРЕСС-ЦЕНТР, ДОМБИНИ. ПРИСУТСТВИЕ ЗДЕСЬ ВАШЕГО НАУЧНОГО КОММЕНТАТОРА СЧИТАЮ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ. ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ ПРОШУ ОБРАЩАТЬСЯ В ЦЕНТР, КОМИССИЯ ПО КОНТАКТАМ.

И так далее, в том же духе. Штук пять радиограмм было в Центральный информаторий. Этих я не понял.

Работа моя была в самом разгаре, когда дешифратор снова заверещал.

— Откуда? — спросил меня Комов с другого конца рубки. Он стоял рядом с Майкой и осматривал окрестности.

— «ЦЕНТР, ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ...» — прочитал я.

— А, наконец-то! — сказал Комов и направился ко мне.

— «...ПРОЕКТ «КОВЧЕГ»,— читал я.— ЭР-2, ВАНДЕРХУЗЕ, КОМОВУ. ИНФОРМАЦИЯ. ОБНАРУЖЕННЫЙ ВАМИ КОРАБЛЬ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ТАКОЙ-ТО ЕСТЬ ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ ЗВЕЗДОЛЕТ «ПИЛИГРИМ». ПРИПИСАН К ПОРТУ ДЕЙМОС, ОТБЫЛ ВТОРОГО ЯНВАРЯ ДВЕСТИ ТРИДЦАТЬ ПЕРВОГО ГОДА В СВОБОДНЫЙ ПОИСК В ЗОНУ «Ц». ПОСЛЕДНИЙ ОТЗЫВ ПОЛУЧЕН ШЕСТОГО МАЯ ДВЕСТИ ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ИЗ ОБЛАСТИ «ТЕНЬ». ЭКИПАЖ: СЕМЕНОВА МАРИЯ-ЛУИЗА И СЕМЕНОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ. С ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО АПРЕЛЯ ДВЕСТИ ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕГО ГОДА ПАССАЖИР: СЕМЕНОВ ПЬЕР АЛЕКСАНДРОВИЧ. АРХИВ «ПИЛИГРИМА»...»

Там было еще что-то, но тут вдруг Комов засмеялся у меня за спиной, и я с изумлением обернулся к нему. Комов смеялся, Комов сиял.

— Так я и думал! — торжествующе сказал он, а мы все смотрели на него, разинув рты.— Так я и думал! Это человек! Вы понимаете, ребята? Это человек!

ГЛАВА ПЯТАЯ. ЛЮДИ И НЕЛЮДИ

— Стоять по местам! — весело скомандовал Комов, подхватил футляры с аппаратурой и удалился.

Я посмотрел на Майку. Майка стояла столбом посере-

дине рубки с затуманенным взором и беззвучно шевелила губами — соображала.

Я посмотрел на Вандерхузе. Брови у Вандерхузе были высоко задраны, баки растопырились, впервые на моей памяти он был похож не на млекопитающее, а на чертрыбу, вытащенную из воды. На обзорном экране Комов, обвешанный аппаратурой, бодро шагал к болоту вдоль строительной площадки.

— Так-так-так! — произнесла Майка.— Вот, значит, почему игрушки...

— Почему? — живо поинтересовался Вандерхузе.

— Он с ними играл,— объяснила Майка.

— Кто? — спросил Вандерхузе.— Комов?

— Нет. Семенов.

— Семенов? — удивленно переспросил Вандерхузе.— Гм... Ну и что?

— Семенов-младший,— нетерпеливо сказал я.— Пассажир. Ребенок.

— Какой ребенок?

— Ребенок Семеновых! — сказала Майка.— Понимаете, зачем у них было это шьющее устройство? Чепчики всякие там, распашоночки, подгузнички...

— Подгузнички! — повторил пораженный Вандерхузе.— Так это у них родился ребенок! Да-да-да-да! Я еще удивился, где они подцепили пассажира, и вдобавок однофамильца! Мне и в голову... Ну конечно!

Запел радиовызов. Я машинально откликнулся. Это оказался Вадик. Говорил он торопливо и вполголоса — видно, боялся, что засекут...

— Что у вам там, Стась? Только быстро, мы сейчас снимаемся...

— Такое быстро не расскажешь,— сказал я недовольно.

— А ты в двух словах. Корабль Странников нашли?

— Каких Странников? — поразился я.— Где?

— Ну, этих... которых Горбовский ищет...

— Кто нашел?

— Вы нашли! Нашли ведь? — Голос его вдруг изменился.— Проверяю настройку,— строго произнес он.— Выключаюсь.

— Что там нашли? — спросил Вандерхузе.— Какой еще корабль?

Я отмахнулся.

— Это так, любопытные... Значит, родился он в апреле

тридцать третьего, а отозвались они в последний раз в мае тридцать четвертого... Яков, как часто они должны были выходить на отзыв?

— Раз в месяц,— сказал Вандерхузе.— Если корабль находится в свободном поиске...

— Минуточку,— сказал я.— Май, июнь...

— Тринадцать месяцев,— сказала Майка.

Я не поверил и пересчитал сам.

— Да,— сказал я.

— Невероятно, правда?

— Что, собственно, невероятно? — осторожно спросил Вандерхузе.

— В день крушения,— сказала Майка,— младенцу был год и один месяц. Как же он выжил?

— Аборигены,— сказал я.— Семенов стер бортжурнал. Значит, кого-то увидел... И нечего было Комову на меня лаять! Это был настоящий детский плач! Что я, годовалых детей не слышал?.. Они все это записали, а когда он вырос, дали ему прослушать...

— Чтобы записать, нужно иметь технику,— сказала Майка.

— Ну, не записали, так запомнили,— сказал я.— Это неважно.

— Ага,— произнес Вандерхузе.— Он увидел либо негуманоидов, либо гуманоидов, но в стадии машинной цивилизации. И поэтому стер бортжурнал. По инструкции.

— На машинную цивилизацию не похоже,— сказала Майка.

— Значит, негуманоиды...— До меня вдруг дошло.— Ребята,— сказал я,— если здесь негуманоиды, то это такой случай, что я просто не знаю... Человек-посредник, понимаете? Он — и человек и нечеловек, гуманоид и негуманоид! Такого еще никогда не бывало. О таком даже мечтать никто не рискнул бы!

Я был в восторге. Майка тоже была в восторге. Перспективы ослепляли нас. Туманные, неясные, но ослепительно радужные. Дело было не только в том, что впервые в истории становился возможным контакт с негуманоидами. Человечество получало уникальнейшее зеркало, перед человечеством открывалась дверь в совершенно недоступный ранее, непостижимый мир принципиально иной психологии, и смутные комовские идеи вертикального прогресса обретали наконец экспериментальный фундамент...

— Чего ради негуманоиды станут возиться с человеческим ребенком? — задумчиво произнес Вандерхузе.— Зачем это им, и что они в этом понимают?

Перспективы несколько потускнели, но Майка сейчас же сказала с вызовом:

— На Земле известны случаи, когда негуманоиды воспитывали человеческих детей.

— Так то на Земле! — сказал Вандерхузе грустно.

И он был прав. Все известные разумные негуманоиды отстояли от человека гораздо дальше, чем волки или даже осьминоги. Утверждал же такой серьезный специалист, как Крюгер, что разумные слизни Гарроты рассматривают человека со всей его техникой не как явление реального мира, а как плод своего невообразимого воображения...

— И тем не менее он уцелел и вырос! — сказала Майка.

И она тоже была права.

Я — человек по натуре скептический. Я не люблю зарываться и чрезмерно фантазировать. Не то что Майка. Но тут больше просто ничего нельзя было предположить. Годовалый ребенок. Ледяная пустыня. Один. Ведь ясно же, что сам по себе он выжить не смог бы. Причем с другой стороны — стертый бортжурнал. Что тут еще можно придумать? Какие-нибудь пришельцы-гуманоиды случайно оказались поблизости, выкормили, а потом улетели... Чепуха ведь...

— А может быть, он не выжил? — сказала Майка.— Может быть, все, что от него осталось, это его плач и голоса его родителей?

На секунду мне показалось, что все рухнуло. Вечно эта Майка что-нибудь выдумает. Но я тут же сообразил.

— А как он проходит в корабль? Как он командует моими киберами? Нет, ребята, либо мы встретили в космосе точную — понимаете? — точную, идеальную реплику человечества, либо это космический Маугли. Не знаю, что более вероятно.

— *И я не знаю,*— сказала Майка.

— И я,— сказал Вандерхузе.

Из репродуктора раздался голос Комова:

— Внимание, на борту! Я вышел на позицию. Смотреть вокруг хорошенько. Мне отсюда видно немного. Радиограммы были?

Я заглянул в приемный карман.

— Целая пачка,— сказал я.

— Целая пачка,— сказал Вандерхузе в микрофон.

— Стась, мои радиограммы вы отправили?

— А... еще не все,— сказал я, поспешно усаживаясь за рацию.

— Еще не все,— сообщил Вандерхузе в микрофон.

— Хлев на палубе! — объявил Комов.— Хватит философствовать, принимайтесь за дело. Майя, следите за экраном. Забудьте обо всем и следите за экраном. Попов, чтобы последняя моя радиограмма через десять минут была в эфире. Яков, зачитайте, что там пришло на мое имя...

Когда я закончил передачу и осмотрелся, все были заняты своими делами. Майка сидела за пультом обзора — на панорамном экране виднелся Комов, крошечная фигурка у самого берега; над болотом шевелился туман, и больше никакого движения на всех трехстах шестидесяти градусах в радиусе семи километров от корабля не было заметно. Комов сидел к нам спиной: очевидно, он ждал, что наш Маугли появится из болота. Майка медленно поворачивала голову из стороны в сторону, озирая окрестности, и время от времени давала на какой-нибудь подозрительный участок максимальное увеличение — тогда на экранах малых мониторов появлялся то поникший куст, то лиловая тень дюны на искрящемся песке, то неопределенное пятно в редкой щетине карликовых деревьев.

Вандерхузе монотонно бубнил в микрофон: «...варианты психотипа двоеточие шестнадцать эн дробь тридцать два дзета или шестнадцать эм... мама... дробь тридцать один эпсилон...» — «Достаточно,— говорил Комов.— Следующую».— «Земля Лондон Картрайт, уважаемый Геннадий, еще раз напоминаю о вашем обещании дать отзыв...» — «Достаточно. Следующую».— «Пресс-центр...»— «Достаточно. Дальше. Яков, читайте только то, что из Центра или с базы». Пауза. Вандерхузе перебирает карточки. «Центр Бадер затребованная вами аппаратура нуль-транспортируется на базу вышли ваши предварительные соображения по следующим пунктам первое другие вероятные зоны обитания аборигенов...» — «Достаточно. Дальше...»

Тут меня вызвала база. Сидоров спрашивал Комова.

— Комов на контакте, Михаил Альбертович,— сказал я виновато.

— Контакт начался?

— Нет еще. Ждем.

Сидоров кашлянул.

— Ну ладно, я соединюсь с ним попозже. Это не срочно.— Он помолчал.— Волнуетесь?

Я прислушался к своим ощущениям.

— Н-не то что волнуемся... Странно как-то. Как во сне. Как в сказке.

Сидоров вздохнул.

— Не буду мешать,— сказал он.— Желаю удачи.

Я поблагодарил. Затем я оперся локтем на пульт, положил подбородок на ладонь и снова прислушался к своим ощущениям. Да, странно как-то. Человек — нечеловек. Наверное, на самом деле его нельзя называть человеком. Человеческий детеныш, воспитанный волками, вырастает волком. Медведями — медведем. А если бы человеческого детеныша взялся воспитывать спрут? Не съел бы, а стал воспитывать... Дело даже не в этом. И волк, и медведь, и спрут — все они лишены разума. Во всяком случае, того, что ксенологи называют разумом. А вот если нашего Маугли воспитали существа разумные, но в то же время в некотором смысле спруты?.. И даже еще более чужие, чем спруты... А ведь это они научили его выбрасывать защитные фантомы, научили мимикрии — в человеческом организме нет ничего для таких штучек, значит, это искусственное приспособление... Постой, а для чего ему мимикрия? От кого это он приучен защищаться? Планета-то ведь пуста! Значит, не пуста.

Я представил себе огромные пещеры, залитые призрачным лиловым светом, мрачные закоулки, в которых таится смертельная опасность, и маленького мальчика, который крадется вдоль липкой стены, готовый в любую секунду исчезнуть, раствориться в неверном сиянии, оставив врагу свою зыбкую, расплывающуюся тень. Бедный мальчуган. Его надо немедленно вывезти отсюда... Стоп-стоп-стоп! Это все чепуха. Это все не бывает. Не бывает так, чтобы существовала сложная, мудрая, многоопытная жизнь и не кишела бы вокруг нее жизнь попроще, поглупее. Сколько здесь обнаружили видов живых существ? Не то одиннадцать, не то двенадцать — и это во всем диапазоне от вируса до человеческого детеныша. Нет, так не бывает. Тут что-то не то. Ладно, скоро узнаем. Мальчуган нам все расскажет. А если не расскажет? Много ли человеческие волчата рассказали людям о волках? На что же рассчитывает Комов? Мне захотелось сейчас же, немедленно спросить у Комова, на что он рассчитывает.

Вандерхузе, дочитав последнюю радиограмму,

вытянулся в кресле, заложил руки за голову и произнес задумчиво:

— А ведь я знавал Семеновых. Должен вам сказать, очень были славные и в то же время очень странные люди. Романтики старины. Конечно, Шура знал все старинные законы, он их вечно цитировал. Нам они казались смешными и нелепыми, а он находил в них какую-то прелесть... Катастрофа, агония, страшные чудовища лезут в корабль... Уничтожить бортжурнал, стереть свой след в пространстве — ведь на том конце следа Земля! Да, это очень на него похоже.— Вандерхузе помолчал.— Между прочим, таких, кто ищет уединения, гораздо больше, чем мы с вами думаем. Ведь уединение — не такая уж плохая вещь, как вы полагаете?

— Не для меня,— коротко сказала Майка, не отрываясь от экрана.

— Это потому, что ты молода,— возразил Вандерхузе.— В твоем возрасте Шура Семенов тоже любил дружить со многими и чтобы многие дружили с ним. И чтобы работать вместе — большой шумной компанией. И чтобы устраивать мозговые атаки, и все время быть в веселом напряжении, и чтобы все время соревноваться, все равно в чем — в прыжках ли с крыльями, в количестве острот на единицу времени, в знании наизусть каких-нибудь таблиц... во всем. А в промежутках во все горло распевать под нэкофон куплеты собственного сочинения...— Вандерхузе вздохнул.— Обычно это проходит с началом настоящей любви... Впрочем, об этом я ничего не знаю. Я знаю только, что с двадцатого года Шурик и Мари ушли в группу свободного поиска. С тех пор я их, собственно, ни разу не видел. Один раз говорил по видео... Я был тогда диспетчером, и Шура запрашивал у меня разрешение на выход с Пандоры.— Вандерхузе снова вздохнул.— Между прочим, у Шуры отец жив и сегодня, Павел Александрович. Надо будет обязательно к нему зайти, когда вернемся...— Он помолчал.— Если хотите знать,— объявил он,— я всегда был против свободного поиска. Архаизм. Бродят по космосу в одиночку, опасно, научный выход ничтожный, а иногда мешают .. Помните историю с Каммерером? Они все притворяются, будто мы уже овладели космосом, будто мы в космосе как дома. Неверно это. И никогда это не будет верно. Космос всегда будет космосом, а человек всегда останется всего лишь человеком. Он будет только становиться все более и более опытным, но

никакого опыта не хватит, чтобы чувствовать себя в космосе как дома... По-моему, Шурик и Мари так ничего и не нашли в космосе, во всяком случае, ничего такого, о чем стоило бы рассказать хотя бы за столом в кают-компании.

— Но зато они были счастливы,— сказала Майка, не оборачиваясь.

— Почему ты так думаешь?

— Иначе бы они вернулись! Зачем им было что-то искать, если они и без того были счастливы? — Майка сердито посмотрела на Вандерхузе.— Что вообще стоит искать, кроме счастья?

— Я мог бы тебе ответить, что тот, кто счастлив, ничего и не ищет,— сказал Вандерхузе,— но я не подготовлен к такому глубокому спору, да и ты тоже, как ты полагаешь? Рано или поздно мы начнем обобщать понятие счастья на негуманоидов...

— На борту! — раздался голос Комова.— Смотреть внимательно!

— Именно это я и хотел сказать,— проговорил Вандерхузе, и Майка снова отвернулась к экрану.

Теперь мы смотрели на экран все втроем. Солнце было совсем низко, оно висело над самыми вершинами, и на сопках уже лежали тени. Ярко отсвечивала посадочная полоса, шапка пара над болотом казалась теперь тяжелой и неподвижной, а верхушка ее, через которую пробивался солнечный свет, сделалась пронзительно-фиолетовой. Все вокруг было очень неподвижно, даже Комов.

— Пять часов,— негромко сказал Вандерхузе.— Не пора ли нам обедать? Геннадий, вы будете есть?

— Мне ничего не надо,— сказал Комов.— Я захватил с собой. А вы поешьте, потом может стать не до того.

Я поднялся.

— Пойду готовить. Какие заказы?

И тут Вандерхузе сказал:

— Вижу!

— Где? — сейчас же спросил Комов.

— Идет к нам по берегу, со стороны айсберга. Градусах в шестидесяти влево от вашего направления на корабль.

— Ага,— сказала Майка.— Я тоже вижу! Действительно, идет.

— Не вижу! — нетерпеливо сказал Комов.— Дайте координаты по дальномеру.

Вандерхузе сунул лицо в нарамник дальномера и про-

диктовал координаты. Теперь и я увидел: вдоль самой кромки черной воды, не спеша, словно бы нехотя, брела к кораблю зеленоватая, странно скособоченная фигурка.

— Нет, не вижу,— сказал Комов с досадой.— Рассказывайте мне.

— Н-ну, значит, так...— начал Вандерхузе и откашлялся.— Идет медленно, смотрит на нас... в руках охапка каких-то прутьев... Остановился, поковырял ногой в песке... Бр-р-р, по такой холодине — нагишом... Пошел дальше... Смотрит в вашу сторону, Геннадий... Любопытно, анатомия у него не человеческая, точнее, не совсем человеческая... Вот опять остановился и все время смотрит в вашу сторону. Неужели вы его не видите, Геннадий? Он же прямо у вас на траверзе, к вам он сейчас ближе, чем к нам...

Пьер Александрович Семенов, космический Маугли, приближался. Сейчас до него было метров двести, и когда Майка давала на мониторе увеличенное изображение, можно было рассмотреть даже его ресницы. Заходящее солнце как раз проглянуло в промежуток между двумя горными пиками, снова стало совсем светло, длинные тени протянулись вдоль пляжа.

Это был ребенок, мальчишка лет двенадцати, угловатый подросток, костлявый, длинноногий, с острыми плечами и локтями, но этим сходство с обычным мальчишкой и ограничивалось. Уже лицо у него не было мальчишеское — с человеческими чертами, но совершенно неподвижное, окаменевшее, застывшее, как маска. Только глаза у него были живые, большие, темные, и он стрелял ими налево и направо, словно сквозь прорези в маске. Уши у него были большие, оттопыренные, правое заметно больше левого, а из-под левого уха тянулся по шее до ключицы темный неровный шрам — грубый, неправильно заживший рубец. Рыжеватые свалявшиеся волосы беспорядочными космами спадали на лоб и на плечи, торчали в разные стороны, лихим хохлом вздымались на макушке. Жуткое, неприятное лицо, и вдобавок — мертвенного, синевато-зеленого оттенка, лоснящееся, словно смазанное каким-то жиром. Впрочем, так же лоснилось и все его тело. Он был совершенно голый, и когда он подошел к кораблю совсем близко и бросил на песок охапку сучьев, стало видно, какой он весь жилистый, без всяких следов этой трогательной детской незащищенности. Он был костлявый, да, но не тощий — удивительно, по-взрослому жилистый, не муску-

листый, не атлет, а именно жилистый, и еще стали видны страшные рваные шрамы — глубокий шрам на левом боку через ребра до самого бедра, отчего он и был таким скособоченным, и еще шрам на правой ноге, и глубокая вдавлина посередине груди. Да, видно, нелегко ему здесь пришлось. Планета старательно жевала и грызла человеческого детеныша, но, видимо, привела-таки его в соответствие с собой.

Он был теперь шагах в двадцати, у самого края мертвого пространства. Охапка прутьев лежала у его ног, а он стоял, опустив руки, и смотрел на корабль; он не мог, конечно, видеть объективов, но смотрел он, казалось, прямо нам в глаза. И поза у него была нечеловеческая. Не знаю, как это объяснить. Просто люди не стоят в такой позе. Никогда не стоят. Ни отдыхая, ни в ожидании, ни в напряжении. Левая нога у него была отставлена чуть назад и слегка согнута в колене, но всем весом он опирался именно на нее. И вперед он выставил левое плечо. У человека, готовящегося метнуть диск, можно на мгновенье уловить подобную позу — долго так не простоишь, это неудобно, да и некрасиво, а он стоял, стоял несколько минут, а потом вдруг присел и стал перебирать свои прутья. Я сказал — присел, но это неправильно: он опустился на левую ногу, правую же, не сгибая, вытянул вперед — даже смотреть на него было неудобно, особенно когда он принялся возиться с прутьями, помогая рукам правой ногой. Потом он поднял к нам лицо, протянул руки — в каждом кулаке по прутику — и тут началось такое, что я вообще не берусь описывать.

Могу только сказать: лицо его ожило, и не просто ожило — оно взорвалось движениями. Не знаю, сколько там на лице у человека мускулов, но у него они все разом пришли в движение, и каждый самостоятельно, и каждый беспрестанно, и каждый необычайно сложно. Я не знаю, с чем это сравнить. Может быть, с бегом ряби на воде в солнечном свете, только рябь однообразна и хаотична, однообразна в своей хаотичности, а здесь сквозь фейерверк движений проглядывал какой-то определенный ритм, какой-то осмысленный порядок, это не была болезненная конвульсивная дрожь, агония, паника. Это был танец мускулов, если можно так выразиться. И начался этот танец с лица, а затем заплясали плечи, грудь, запели руки, и сухие прутья затрепетали в сжатых кулаках, принялись скрещиваться, сплетаться, бороться — с шорохом, с барабанной дробью,

со стрекотом, словно целое поле кузнечиков развернулось под кораблем. Это длилось не больше минуты, но у меня зарябило в глазах и заложило уши. А затем все пошло на убыль. Пляска и пение ушли из палочек в руки, из рук в плечи, затем в лицо, и все кончилось. На нас снова глядела неподвижная маска. Мальчик легко поднялся, шагнул через кучку прутьев и вдруг ушел в мертвое пространство.

— Почему вы молчите? — надрывался Комов.— Яков! Яков! Вы слышите меня? Почему молчите?

Я очнулся и поискал глазами Комова. Ксенопсихолог стоял в напряженной позе, лицом к кораблю, длинная тень тянулась по песку от его ног. Вандерхузе откашлялся и проговорил:

— Слышу.

— Что произошло?

— Не берусь рассказать,— сказал он.— Может быть, вы, ребята?

— Он разговаривал! — произнесла Майка сдавленным голосом.— Это он разговаривал!..

— Слушайте,— сказал я.— А он не к люку пошел?

— Возможно,— сказал Вандерхузе.— Геннадий, он ушел в мертвое пространство. Возможно, он пошел к люку...

— Следите за люком,— быстро скомандовал Комов.— Если он войдет, сейчас же сообщите мне, а сами заприте в рубке...— Он помолчал.— Жду вас через час,— проговорил он с какой-то новой интонацией, обычным спокойно-деловым тоном и словно бы отвернувшись от микрофона.— За час вы управитесь?

— Не понял,— сказал Вандерхузе.

— Запритесь! — раздраженно закричал Комов прямо в микрофон.— Понимаете? Запритесь, если он войдет в корабль!

— Это я понял,— сказал Вандерхузе.— Где вы нас ждете через час?

Наступило молчание.

— Жду вас через час,— снова отвернувшись от микрофона, деловито повторил Комов.— За час вы управитесь?

— Где? — сказал Вандерхузе.— Где ждете?

— Яков, вы меня слышите? — громко спросил Комов с беспокойством.

— Слышу вас отлично,— произнес Вандерхузе и растерянно оглянулся на нас.— Вы сказали, что ждете нас через час. Где?

— Я не говорил...— начал Комов, но тут его прервал голос Вандерхузе, такой же глуховатый, словно в отдалении от микрофона:

— А не пора ли нам обедать? Стась там, наверное, соскучился, как ты полагаешь, Майка?

Майка нервно захихикала.

— Это же он...— проговорила она, тыча пальцем в экран.— Это же он... там...

— Что происходит, Яков? — гаркнул Комов.

Странный голос — я даже не сразу понял чей — произнес:

— Я тебя, старикашечку моего, вылечу, на ноги поставлю, в люди выведу...

Майка, уткнувшись лицом в ладони, икала от нервного хохота, поджимая колени к подбородку.

— Ничего особенного, Геннадий,— произнес Вандерхузе, вытирая платком вспотевший лоб.— Недоразумение. Клиент разговаривает нашими голосами. Мы его слышим через внешнюю акустику. Маленькое недоразумение, Геннадий.

— Вы его видите?

— Нет... Впрочем, вот он появился.

Мальчик снова стоял возле своих прутьев, уже в другой, но такой же неудобной позе. Он опять глядел нам прямо в глаза. Потом рот его приоткрылся, губы странно искривились, обнажив десны и зубы в левом углу рта, и мы услышали голос Майки:

— В конце концов, если бы у меня были ваши бакенбарды, я бы, может быть, относилась к жизни совсем подругому...

— Сейчас он говорит голосом Майки,— невозмутимо сообщил Вандерхузе.— А сейчас посмотрел в вашу сторону. Вы его все еще не видите?

Комов молчал. Мальчик все стоял, повернув голову в его сторону, совершенно неподвижный, словно окаменелый,— странная фигура в сгущающихся сумерках. И вдруг я понял, что это не он. Фигура расплывалась. Сквозь нее проступила темная кромка воды.

— Ага, вижу! — с удовлетворением сказал Комов.— Он стоит шагах в двадцати от корабля, так?

— Так,— сказал Вандерхузе.

— Не так,— сказал я.

Вандерхузе присмотрелся.

— Да-да, пожалуй, не так,— согласился он.— Это,

пожалуй... как вы это называете, Геннадий? Фантом?

— Стойте,— сказал Комов.— Вот теперь я его вижу по-настоящему. Он идет ко мне.

— Ты видишь его? — спросила меня Майка.

— Нет,— ответил я.— Темно уже.

— Не в темноте дело,— возразила Майка.

Наверное, она была права. Солнце, правда, зашло, и сумерки сгустились, но Комова я на экране различал и видел тающий фантом, и взлетную полосу, и айсберг вдали, а вот мальчика я больше не видел.

Потом я увидел, что Комов сел.

— Подходит,— проговорил он вполголоса.— Сейчас я буду занят. Не отвлекайте меня. Продолжайте внимательно следить за окрестностями, но никаких локаторов, никаких активных средств вообще. Попробуйте обойтись инфраоптикой. Все.

— Доброй охоты,— сказал Вандерхузе в микрофон и поднялся. Вид у него был торжественный. Он строго посмотрел на нас поверх носа, привычным плавным движением взбил бакенбарды и произнес: — Стада в хлевах, свободны мы до утренней зари.

Майка судорожно зевнула и проговорила:

— Спать мне хочется, что ли? Или это от нервов?

— Между прочим, спать нам теперь придется мало,— заявил Вандерхузе.— Давайте сделаем так. Пусть Майка идет отдыхать. Я останусь у экрана, а Стась пусть спит у рации. Через четыре часа я его разбужу, как ты полагаешь, Стась?

Я не возражал, хотя и сомневался, что Комов столько высидит на морозе. Майка, продолжая зевать, не возражала тоже. Когда она ушла, я предложил Вандерхузе сварить кофе, но он отказался под каким-то смехотворным предлогом — наверное, он хотел, чтобы я поспал. Тогда я устроился возле рации, просмотрел новые радиограммы, не обнаружил ничего срочного и передал их Вандерхузе.

Некоторое время он молчал. Спать совсем не хотелось. Я так и этак прикидывал, какими же должны быть воспитатели Пьера Семенова. Человеческий детеныш, воспитанный волком, бегает на четвереньках и рычит. Медвежий человек — тоже. Вообще воспитание полностью определяет модус вивенди любого существа. То есть не то чтобы полностью, но заметно определяет. Почему, собственно, наш Маугли остался человеком прямостоящим? Это наводит на определенные размышления. Он ходит на ногах, он

активно пользуется руками, это само по себе не есть что-то врожденное, это воспитывается. Он может говорить. Конечно, он не понимает, что он говорит, но видно, что та часть мозга, которая ведает речью, задействована у него великолепно... И ведь он запоминает все с одного раза! Странно, очень странно. Негуманоиды, о которых я знаю, были бы совершенно неспособны так воспитывать человеческого детеныша. Прокормить его, приручить — могли бы. Исследовать в своих странных лабораториях, похожих на гигантскую действующую модель кишечника,— тоже могли бы. Но увидеть в нем человека, идентифицировать в нем человека, сохранить в нем человека — вряд ли. Неужели это все-таки гуманоиды?..

— Во всяком случае,— сказал вдруг Вандерхузе,— они гуманны в самом широком смысле слова, какой только можно придумать, раз они спасли жизнь нашему младенцу, и они гениальны, ибо сумели воспитать его похожим на человека, ничего, может быть, не зная о руках и ногах. Как ты полагаешь, Стась?

Я неопределенно хмыкнул, и он замолчал.

В рубке было тихо. База нас не беспокоила, Комов тоже на связь не выходил; на темном экране вспыхивали, переливаясь, радужные полотнища сполохов, и в их призрачном свете был едва виден Комов, сидевший совершенно неподвижно, а мальчика я так и не сумел разглядеть ни разу. Но дело у них явно шло на лад, потому что большой бортовой вычислитель время от времени принимался тихонько чавкать и урчать, переваривая и организуя информацию, получаемую с транслятора. Потом я задремал, и приснились мне, помнится, какие-то хмурые небритые осьминоги в синих спортивных костюмах и с зонтиками, они учили меня ходить, а мне было так смешно, что я все время падал, вызывая их крайнее неудовольствие. Проснулся я от мягкого и неприятного толчка в сердце. Что-то произошло. Вандерхузе сидел, напряженно пригнувшись к экрану, вцепившись руками в подлокотники.

— Стась! — окликнул он негромко.

— Да?!

— Посмотри на экран.

Я без того уже смотрел на экран, но не видел пока ничего особенного. Как и прежде, полыхали и переливались небесные огни, Комов сидел в прежней позе, далекий айсберг отсвечивал розовым и зеленым. Потом я увидел.

— Над горами? — шепотом спросил я.

— Да. Именно над горами.

— Что это такое?

— Не знаю.

— Давно?

— Не знаю. Я заметил эту штуку минуты две назад. Думал — смерч...

Я сначала тоже подумал, что это смерч. Над бледной иззубренной линией хребта, на фоне радужных полотнищ поднималось что-то вроде длинного тонкого хлыста — черная кривая, словно царапина на экране. Этот хлыст едва заметно вибрировал, гнулся, иногда словно бы проседал и снова распрямлялся, и заметно было, что он не гладкий, а как бы суставчатый, похожий на ствол бамбука. Он торчал над хребтом, до которого было по крайней мере километров десять, словно кто-то высунул из-за вершин исполинское удилище. Он придавал знакомому пейзажу на экране нереальный вид декораций кукольного театра. Смотреть на это было как-то противоестественно и жутко-смешно, как если бы над вершинами появилась неправдоподобно громадная физиономия. В общем, это было что-то вне всяких масштабов, что-то невозможное, вне всяких представлений о пропорциях.

— Они? — спросил я шепотом.

— Невозможно, чтобы это было естественное...— проговорил Вандерхузе.— И невозможно, чтобы это было искусственное.

Я и сам чувствовал то же самое.

— Надо сообщить Комову,— сказал я.

— Комов отключился,— ответил Вандерхузе. Он наводил дальномер.— Расстояние не меняется. Четырнадцать километров. И эта штука страшно вибрирует, вся трясется. Амплитуда не меньше сотни метров... Совершенно невозможная штука.

— Какая же у него высота? — пробормотал я.

— Около шестисот метров.

— Елки-палки,— сказал я.

Он вдруг вскочил и нажал сразу две клавиши: наружного аварийного радиовызова «всем немедленно вернуться на борт» и внутреннего сигнала «всем собраться в рубке». Потом он повернулся ко мне и непривычно отрывистым голосом скомандовал:

— Стась! Бегом на пост УАС. Приведи в готовность носовую ПМП. Сиди и жди. Без команды — ничего.

Я выскочил в коридор. Из-за двери кают слышались приглушенные отрывистые звонки сигнала сбора. Навстречу мне мчалась Майка, на ходу натягивая куртку. Она была в туфлях на босу ногу.

— Что случилось? — сиплым со сна голосом спросила она еще издали.

Я махнул рукой и по трапу ссыпался вниз, в пост управления активными средствами. Меня слегка лихорадило, но в общем я был спокоен. В известном смысле я был даже горд: ситуация складывалась редкостная. Настолько редкостная, что я был уверен: с момента первого старта этого корабля на пост УАС никто еще не заходил — разве что работники космодромов для профилактического осмотра автоматики.

Я повалился в кресло, врубил круговой экран, отключил автоматику ПМП и сразу же заблокировал кормовую установку, чтобы в суматохе не выпалить в надир. Затем я взялся за верньеры ручной наводки, и изображение на экране поползло через черное перекрестие перед моими глазами: прополз клыкастый айсберг, проползла туманная масса над болотами, прополз Комов — теперь он стоял, озаряемый сполохами, спиной к нам и глядел в сторону гор... Еще немного повыше. Вот он. Черный, дрожащий, нелепый, совершенно невозможный. А рядом — второй, он покороче, но растет на глазах, вытягивается, гнется... Елки-палки, да как же они это делают? Какие же это мощности нужны, и что это за материал? Ну и зрелище!.. Теперь это было так, будто чудовищный таракан прячется за горами и высунул оттуда свои усы. Я прикинул телесный угол поражения и установил перекрестие таким образом, чтобы одним ударом поразить обе цели. Теперь оставалось только толкнуть ногой педаль...

— Пост УАС! — гаркнул Вандерхузе.

— Есть пост УАС! — отозвался я.

— Готовность!

— Есть готовность!

По-моему, это у нас очень лихо получилось.

— Обе цели видишь? — обыкновенным голосом спросил Вандерхузе.

— Да. Накрываю обе одним импульсом.

— Обрати внимание: сорок градусов к востоку — третья цель.

Я взглянул: действительно, еще один гигантский ус гнулся и трепетал в неверном свете сполохов. Это мне не

понравилось. Успею или нет? Чего там, должен успеть... Я мысленно прорепетировал, как я выпускаю импульс, а затем двумя движениями разворачиваю пушку на третью цель. Ничего, успею.

— Вижу третью цель,— сказал я.

— Это хорошо,— сказал Вандерхузе.— Но ты, однако, не горячись. Стрелять только по моей команде.

— Вас понял,— буркнул я.

Вот даст он по кораблю каким-нибудь... этим... искривителем пространства каким-нибудь, дождешься тогда от тебя команды. Меня уже заметно трясло. Я стиснул руки, чтобы привести себя в порядок. Потом я посмотрел, как там Комов. Комов был ничего себе. Он снова сидел в прежней позе, повернувшись к гигантскому таракану боком. Я сразу успокоился, тем более что обнаружил наконец рядом с Комовым крошечную черную фигурку. Мне даже стало неловко.

Чего это я вдруг? Какие, собственно, основания для паники? Ну, выставил усы... Большие усы, не спорю, я бы даже сказал — сногсшибательной величины усы. Но, в конце концов, никакие это, вероятно, не усы, а что-нибудь вроде антенн. Может быть, они просто за нами наблюдают. Мы за ними, а они за нами. И даже, собственно, не за нами, наверное, а за своим воспитанником, за Пьером Александровичем Семеновым, наблюдают — как, мол, он здесь, не обижают ли его...

Вообще, если подумать, противометеоритная пушка — страшная штука, не хотелось бы ее здесь применять. Одно дело — сровнять с грунтом какую-нибудь скалу, чтобы расчистить посадочную площадку, или, скажем, завалить ущелье, когда нужен пресный водоем, а другое дело — вот так, по живому... А вообще-то применялись когда-нибудь ПМП как средство обороны? Пожалуй, да. Во-первых, был случай, не помню где, грузовой автомат потерял управление и стал валиться прямо на лагерь — пришлось его сжечь. А потом, помнится, разбирали такой инцидент: на какой-то биологически активной планете корабль-разведчик подвергся «направленному непреодолимому воздействию биосферы»... То есть подвергся он или нет — до сих пор неизвестно, но капитан решил, что подвергся, и ударил из носовой пушки. Выжег он вокруг себя все, до самого горизонта, так что потом при расследовании эксперты только руками разводили. Капитана, помнится, от полетов отстранили надолго... Да что и

говорить, страшное средство — ПМП. Последнее средство.

Чтобы отвлечься от всяких таких мыслей, я произвел замеры расстояний до целей и рассчитал их высоту и толщину. Расстояния оказались: четырнадцать, четырнадцать с половиной и шестнадцать километров. Высота — от пятисот до семисот метров, а толщина у них была примерно одинаковая: у основания около пятидесяти метров, а на самом кончике уса — меньше метра. И все они действительно были суставчатыми, как бамбуковые стволы или катушечные антенны. И еще мне показалось, что я различаю на их поверхности какое-то движение, направленное снизу вверх, этакую перистальтику, но, может быть, это была только игра света. Я попытался прикинуть свойства материала, из которого могут состоять такие вот образования,— получалась какая-то чепуха. Да, пощупать бы их локатором-пробником, но нельзя, конечно. Неизвестно, как они к этому отнесутся. Да и не это главное. Главное — это то, что цивилизация здесь, пожалуй, технологическая. Высокоразвитая цивилизация. Что и требовалось доказать. Непонятно только, чего это они зарылись под землю, почему оставили свою родную планету во власти пустоты и тишины. Впрочем, если подумать, у каждой цивилизации свои представления о благоустроенности. Например, на Тагоре...

— Пост УАС! — гаркнул Вандерхузе над самым ухом, так что я вздрогнул.— Как видишь цели?

— Вижу цели...— откликнулся я машинально, но тут же осекся: усов над горами не было.— Нет целей,— упавшим голосом сказал я.

— Спишь на посту!

— Ничего не сплю... Только что были, своими глазами видел...

— И что ты видел своими глазами? — осведомился Вандерхузе.

— Цели. Три цели.

— А потом?

— А теперь их нет.

— Гм...— сказал Вандерхузе.— Странно это как-то произошло, как ты полагаешь?

— Да,— сочувственно сказал я.— Очень странно. Были — и вдруг нет.

— Комов возвращается,— сообщил Вандерхузе.— Может быть, он что-нибудь понимает?..

Действительно, Комов, обвешанный футлярами, челов-

кой походкой — очевидно, у него затекли ноги — возвращался к кораблю. Время от времени он оборачивался — надо полагать, прощался с Пьером Александровичем, но самого Пьера Александровича видно не было.

— Отбой,— сказал Вандерхузе.— Оставь все, как есть, и беги на камбуз, приготовь что-нибудь горячее и подкрепляющее. Геннадий, наверное, замерз, как сосулька. Впрочем, голос у него был довольный, как ты полагаешь, Майка?

Я мигом очутился на кухне и принялся торопливо готовить глинтвейн, кофе и легкую закуску. Я очень боялся пропустить хоть слово из того, что будет рассказывать Комов. Но когда я бегом прикатил столик в рубку, Комов еще ничего не рассказывал. Он стоял перед столом, растирая замерзшую щеку, на столе была расстелена самая большая и подробная карта нашего района, и Майка пальцем показывала ему те места, откуда высовывались давешние усы-антенны.

— Здесь ничего нет! — возбужденно говорила Майка.— Здесь мерзлые скалы, каньоны в сто метров глубины, вулканические пропасти — и ничего живого. Я пролетала здесь десятки раз. Тут даже кустарника нет.

Комов *рассеянно-благодарно кивнул мне, взял в обе* руки чашу с глинтвейном, погрузил в нее лицо и стал шумно прихлебывать, покряхтывая, обжигаясь и с наслаждением отдуваясь.

— И грунт здесь хрупкий,— продолжала Майка,— он бы не выдержал таких сооружений. Это же десятки, а может быть, и сотни тысяч тонн!

— Да,— произнес Комов и со стуком поставил пустую чашу на стол.— Что и говорить, странно.— Он сильно потер ладони.— Замерз, как собака,— сообщил он. Это был опять совсем другой Комов — румяный, красноносый, доброжелательный, с блестящими веселыми глазами.— Странно, странно, ребята. Но это еще не самое странное — мало ли странного бывает на чужих планетах.— Он повалился в кресло и вытянул ноги.— Сегодня меня, знаете ли, трудно удивить. За эти четыре часа я наслышался такого... Кое-что нуждается, конечно, в проверке. Но вот вам два фундаментальных факта, которые, так сказать, уже теперь лежат на поверхности. Во-первых, Малыш... его зовут Малыш... уже научился бегло говорить и понимать практически все, что говорят ему. Это маль-

чишка, который за всю свою сознательную жизнь ни разу не общался с людьми!

— Что значит — бегло? — недоверчиво спросила Майка.— После четырех часов обучения — бегло?

— Да, после четырех часов обучения — бегло! — торжествующе подтвердил Комов.— Но это во-первых. А во-вторых, Малыш пребывает в совершенной убежденности, что он — единственный обитатель этой планеты.

Мы не поняли.

— Почему же единственный? — спросил я.— Какой же он единственный?

— Малыш совершенно убежден,— с ударением произнес Комов,— что, кроме него, на этой планете нет ни одного разумного аборигена.

Воцарилось молчание. Комов поднялся.

— У нас много работы,— сказал он.— Завтра утром Малыш намерен нанести нам официальный визит.

ГЛАВА ШЕСТАЯ. НЕЛЮДИ И ВОПРОСЫ

Мы проработали всю ночь. В кают-компании был оборудован импровизированный диагностер с индикатором эмоций. Мы с Вандерхузе собрали его буквально из ничего. Приборчик получился маломощный, хилый, с безобразной чувствительностью, но кое-какие физиологические параметры он мерил более или менее удовлетворительно, а что касается индикатора, то фиксировал он у нас только три основные позиции: ярко выраженные отрицательные эмоции (красная лампочка на пульте), ярко выраженные положительные эмоции (зеленая лампочка) и вся остальная эмоциональная гамма (белая лампочка). А что было делать? В медотсеке стоял прекрасный стационарный диагностер, но было совершенно ясно, что Малыш не согласится так, ни с того ни с сего, укладываться в матово-белый саркофаг с массивной герметической крышкой. В общем, к девяти часам мы кое-как управились, и тут во весь рост встала проблема дежурства на посту УЛС.

Вандерхузе, как капитан корабля, отвечающий за безопасность, неприкосновенность и все такое прочее, категорически отказался отменить это дежурство. Майка, просидевшая на посту вторую половину ночи, естественно, льстила себя надеждой, что уж она-то присутствовать при официальном визите будет непременно. Однако она была

горько разочарована. Выяснилось, что квалифицированно работать на диагностере может только Вандерхузе. Выяснилось дальше, что поддерживать в рабочем состоянии диагностер, в любую минуту рискующий потерять настройку, могу только я. И наконец, выяснилось, что Комов по каким-то своим высшим ксенопсихологическим соображениям считал нежелательным присутствие женщины на первой беседе с Малышом. Короче говоря, бледная от бешенства Майка снова отправилась на пост, причем сохранивший полное хладнокровие Вандерхузе не преминул проводить ее приемным раструбом диагностера, так что все желающие могли убедиться: индикатор эмоций действует — красная лампочка горела до тех пор, пока Майка не скрылась в коридоре. Впрочем, на посту УАС можно было слышать, что говорится в кают-компании, через интерком с усилителем.

В девять пятнадцать по бортовому времени Комов вышел на середину кают-компании и огляделся. Все было готово. Диагностер был настроен и включен, на столе красовались блюда со сластями, освещение было отрегулировано под местный дневной свет. Комов коротко повторил инструкцию по поведению при контакте, включил регистрирующую аппаратуру и пригласил нас по местам. И мы стали ждать.

Он явился в девять сорок по бортовому времени.

Он остановился в дверях, вцепившись левой рукой в косяк и поджав правую ногу. Наверное, целую минуту он стоял так, разглядывая нас по очереди сквозь прорези своей мертвенной маски. Тишина была такая, что я слышал его дыхание — мерное, мощное, свободное, словно работал хорошо отлаженный механизм. Вблизи и при ярком свете он производил еще более странное впечатление. Все в нем было странным: и поза — по-человечески совершенно неестественная и вместе с тем непринужденная, и блестящая, словно лаком покрытая, зеленовато-голубая кожа, и неприятная диспропорция в расположении мышц и сухожилий, и необычайно мощные коленные узлы, и удивительно узкие и длинные ступни ног. И то, что он оказался не таким уж маленьким — ростом с Майку. И то, что на пальцах левой руки у него не было ногтей. И то, что в правом кулаке он сжимал горсть свежих листьев.

Взгляд его остановился наконец на Вандерхузе. Он смотрел на Вандерхузе так долго и так пристально, что мне пришла в голову дикая мысль: уж не догадывается ли

Малыш о назначении диагностера,— а наш бравый капитан в конце концов с некоторой первностью взбил согнутым пальцем свои бакенбарды и, вопреки инструкции, слегка поклонился.

— Феноменально! — громко и отчетливо произнес Малыш голосом Вандерхузе. На индикаторе затлела зеленая лампочка.

Капитан снова нервно взбил бакенбарды и искательно улыбнулся. И тотчас же лицо Малыша ожило. Вандерхузе был награжден целой серией ужасающих гримас, мгновенно сменявших друг друга. На лбу у Вандерхузе выступил холодный пот. Не знаю, чем бы все это кончилось, но тут Малыш отлепился наконец от косяка, скользнул вдоль стены и остановился возле экрана видеофона.

— Что это? — спросил он.

— Видеофон,— ответил Комов.

— Да,— сказал Малыш.— Все движется, и ничего нет. Изображения.

— Вот еда,— сообщил Комов.— Хочешь поесть?

— Еда — отдельно? — непонятно спросил Малыш и приблизился к столу.— Это еда? Не похоже. Шарада.

— Не похоже на что?

— Не похоже на еду.

— Все-таки попробуй,— посоветовал Комов, придвигая к нему блюдо с меренгами.

Тогда Малыш вдруг упал на колени, протянул руки и открыл рот. Мы молчали, опешив. Малыш тоже не двигался. Глаза его были закрыты. Это длилось всего несколько секунд, затем он вдруг мягко повалился на спину, сел и резким движением разбросал на полу перед собою смятые листья. По лицу его снова пробежала ритмичная рябь. Быстрыми и какими-то очень точными касаниями пальцев он принялся передвигать листики, время от времени помогая себе ногой. Мы с Комовым, привстав с кресел и вытянув шеи, следили за ним. Листья словно сами собой укладывались в странный узор, несомненно правильный, но не вызывающий решительно никаких ассоциаций. На мгновение Малыш застыл в неподвижности — и вдруг снова одним резким движением сгреб листья в кучку. Лицо его замерло.

— Я понимаю,— объявил он,— это ваша еда. Я так не ем.

— Смотри, как надо,— сказал Комов.

Он протянул руку, взял меренгу, нарочито медленным

движением поднес ее ко рту, откусил осторожно и принялся демонстративно жевать. По мертвенному лицу Малыша пробежала судорога.

— Нельзя! — почти крикнул он.— Ничего нельзя брать руками в рот. Будет плохо!

— А ты попробуй,— снова предложил Комов, взглянул в сторону диагностера и осекся.— Ты прав. Не надо. Что будем делать?

Малыш присел на левую пятку и сочным баритоном произнес:

— Сверчок на печи. Чушь. Объясни мне снова: когда вы отсюда уходите?

— Сейчас объяснить трудно,— мягко ответил Комов.— Нам очень, очень нужно узнать все о тебе. Ты ведь еще ничего о себе не рассказывал. Когда мы узнаем о тебе все, мы уйдем, если ты захочешь.

— Ты знаешь обо мне все,— объявил Малыш голосом Комова.— Ты знаешь, как я возник. Ты знаешь, как я сюда попал. Ты знаешь, зачем я к тебе пришел. Ты знаешь обо мне все.

У меня глаза на лоб полезли, а Комов как будто даже и не удивился.

— Почему ты думаешь, что я все это знаю? — спросил он.

— Я размышлял. Я понял.

— Это феноменально,— спокойно сказал Комов,— но это не совсем верно. Я ничего не знаю о том, как ты здесь жил до меня.

— Вы уйдете сразу, когда узнаете обо мне все?

— Да, если ты захочешь.

— Тогда спрашивай,— сказал Малыш.— Спрашивай быстро, потому что я тоже хочу тебя спросить.

Я взглянул на индикатор. Просто так взглянул. И мне стало не по себе. Только что там был нейтральный белый свет, а сейчас ярким рубиновым огнем горел сигнал отрицательных эмоций. Я мельком заметил, что лицо у Вандерхузе встревожено.

— Сначала расскажи мне,— произнес Комов,— почему ты так долго прятался?

— Курвиспат,— отчетливо выговорил Малыш и пересел на правую пятку.— Я давно знал, что люди придут снова. Я ждал, мне было плохо. Потом я увидел: люди пришли. Я стал размышлять и понял — если людям сказать, они уйдут, и тогда будет хорошо. Обязательно уйдут,

но я не знал — когда. Людей четыре. Очень много. Даже один очень много. Но лучше, чем четыре. Я входил к одному и разговаривал ночью. Шарада. Тогда я подумал: один человек говорить не может. Я пришел к четверым. Было очень весело, мы играли с изображениями, мы бежали, как волна. Опять шарада. Вечером я увидел: один сидит отдельно. Ты. Я подумал и понял: ты ждешь меня. Я подошел. Чеширский кот! Вот как было.

Он говорил резко и отрывисто, голосом Комова, и только внесмысловые слова он произносил этим сочным незнакомым баритоном. Руки, пальцы его ни на секунду не оставались в покое, и сам он все время двигался, и движения его были стремительны и неуловимо-плавны, он словно переливался из одной позы в другую. Фантастическое это было зрелище: привычные стены кают-компании, ванильный запах от пирожных, все такое домашнее, обычное — только странный лиловатый свет и в этом свете на полу гибкое, плавное и стремительное маленькое чудище. И тревожный рубиновый огонек на пульте.

— Откуда ты знал, что люди придут снова? — спросил Комов.

— Я размышлял и понял.

— А может быть, кто-нибудь рассказал тебе?

— Кто? Камни? Солнце? Кусты? Я один. Я и мои изображения. Но они молчат. С ними можно только играть. Нет. Люди пришли и ушли.— Он быстрым движением передвинул несколько листочков на полу.— Я подумал и понял: они придут снова.

— А почему тебе было плохо?

— Потому что люди.

— Люди никогда никому не вредят. Люди хотят, чтобы всем вокруг было хорошо.

— Я знаю,— сказал Малыш.— Я ведь уже говорил: люди уйдут, и будет хорошо.

— От каких действий людей тебе плохо?

— От всех. Они есть, или они могут прийти — это плохо. Они уйдут навсегда — это хорошо.

Красный огонек на пульте буравил мне душу. Я не удержался и тихонько толкнул Комова ногой под столом.

— Откуда ты узнал, что если людям сказать, то они уйдут? — спросил Комов, не обратив на меня внимания.

— Я знал: люди хотят, чтобы всем вокруг было хорошо.

— Но как ты это узнал? Ты же никогда не общался с людьми.

— Я много размышлял. Долго не понимал. Потом понял.

— Когда понял? Давно?

— Нет, недавно. Когда ты ушел от озера, я поймал рыбу. Я очень удивился. Она почему-то умерла. Я стал размышлять и понял, что вы обязательно уйдете, если вам сказать.

Комов покусал нижнюю губу.

— Я заснул на берегу океана,— сказал он вдруг.— Когда я проснулся, то увидел: на мокром песке возле меня — следы человеческих ног. Я поразмыслил и понял: пока я спал, мимо меня прошел человек. Откуда я это узнал? Ведь я не видел человека, я увидел только следы. Я размышлял: раньше следов не было; теперь следы есть; значит, они появились, пока я спал. Это человеческие следы — не следы воли, не следы камня, который скатился с горы. Значит, мимо меня прошел человек. Пока я спал, мимо меня прошел человек. Так размышляем мы. А как размышляешь ты? Вот прилетели люди. Ты ничего о них не знаешь. Но ты поразмыслил и узнал, что они обязательно улетят навсегда, если ты поговоришь с ними. Как ты размышлял?

Малыш молчал долго — минуты три. На лице и на груди его вновь начался танец мускулов. Проворные пальцы двигали и перемещали листья. Потом он отпихнул листья ногой и сказал громким сочным баритоном:

— Это вопрос. По бим-бом-брамселям!

Вандерхузе затравленно кашлянул в своем углу, и Малыш сейчас же поглядел на него.

— Феноменально! — воскликнул он все тем же баритоном.— Я всегда хотел узнать: почему длинные волосы на щеках?

Воцарилось молчание. И вдруг я увидел, как рубиновый огонек погас и разгорелся изумрудный.

— Ответьте ему, Яков,— спокойно попросил Комов.

— Гм...— сказал Вандерхузе, порозовев.— Как тебе сказать, мой мальчик...— Он машинально взбил бакенбарды.— Это красиво, это мне нравится... По-моему, это достаточное объяснение, как ты полагаешь?

— Красиво... нравится...— повторил Малыш.— Колокольчик! — сказал он вдруг нежно.— Нет, ты не объяснил. Но так бывает. Почему только на щеках? Почему нет на носу?

— А на носу некрасиво,— наставительно сказал Вандерхузе.— И в рот попадают, когда ешь...

— Правильно,— согласился Малыш.— Но если на щеках и если идешь через кусты, то должен цепляться. Я всегда цепляюсь волосами, хотя они у меня наверху.

— Гм,— сказал Вандерхузе.— Видишь ли, я редко хожу через кусты.

— Не ходи через кусты,— сказал Малыш.— Будет больно. Сверчок на печи!

Вандерхузе не нашелся, что ответить, но по всему видно было, что он доволен. На индикаторе горел изумрудный огонек, Малыш явно забыл о своих заботах, и наш бравый капитан, очень любивший детей, несомненно, испытывал определенное умиление. К тому же ему, кажется, льстило, что его бакенбарды, служившие до сих пор только объектом более или менее плоских острот, сыграли такую заметную роль в ходе контакта. Но тут наступила моя очередь. Малыш неожиданно глянул мне в глаза и выпалил:

— А ты?

— Что — я? — спросил я, растерявшись, а потому агрессивно.

Комов немедленно и с явным удовольствием пнул меня в лодыжку.

— У меня вопрос к тебе,— объявил Малыш.— Тоже всегда. Но ты боялся. Один раз чуть меня не погубил — зашипел, заревел, ударил меня воздухом. Я бежал до самых сопок. То большое, теплое, с огоньками, делает ровную землю — что это?

— Машины,— сказал я и откашлялся.— Киберы.

— Киберы,— повторил Малыш.— Живые?

— Нет,— сказал я.— Это машины. Мы их сделали.

— Сделали? Такое большое? И двигается? Феноменально. Но ведь они большие!

— Бывают и больше,— сказал я.

— Еще больше?

— Гораздо больше,— сказал Комов.— Больше, чем айсберг.

— И они тоже двигаются?

— Нет,— сказал Комов.— Но они размышляют.

И Комов принялся рассказывать, что такое кибернетические машины. Мне было очень трудно судить о душевных движениях Малыша. Если исходить из предположения, что душевные движения его так или иначе выражались движениями телесными, можно было считать, что

Малыш сражен наповал. Он метался по кают-компании, словно кот Тома Сойера, хлебнувший болеутолителя. Когда Комов объяснил ему, почему моих киберов нельзя считать ни живыми, ни мертвыми, он вскарабкался на потолок и бессильно повис там, прилипнув к пластику ладонями и ступнями. Сообщение о машинах, гигантских машинах, которые размышляют быстрее, чем люди, считают быстрее, чем люди, отвечают на вопросы в миллион раз быстрее, чем люди, скрутило Малыша в колобок, развернуло, выбросило в коридор и через секунду снова швырнуло к нашим ногам, шумно дышащего, с огромными потемневшими глазами, отчаянно гримасничающего. Никогда раньше и никогда после не приходилось мне встречать такого благодарного слушателя. Изумрудная лампа на пульте индикатора сияла, как кошачий глаз, а Комов говорил и говорил, точными, ясными, предельно простыми фразами, ровным, размеренным голосом и время от времени вставлял интригующие: «Подробнее об этом мы поговорим позже» или: «Это на самом деле гораздо сложнее и интереснее, но ведь ты пока еще не знаешь, что такое гемостатика».

Едва Комов закончил, Малыш вскочил на кресло, обхватил себя своими длинными жилистыми руками и спросил:

— А можно сделать так, чтобы я говорил, а киберы слушали?

— Ты это уже сделал,— сказал я.

Он беспумно, как тень, упал на руки на стол передо мной.

— Когда?

— Ты прыгал перед ними, и самый большой — его зовут Том — останавливался и спрашивал тебя, какие будут приказания.

— Почему я не слышал вопроса?

— Ты видел вопрос. Помнишь, там мигал красный огонек? Это был вопрос. Том задавал его по-своему.

Малыш перелился на пол.

— Феноменально! — тихо-тихо сказал он моим голосом.— Это игра. Феноменальная игра. Щелкунчик!

— Что значит «щелкунчик»? — спросил вдруг Комов.

— Не знаю,— сказал Малыш нетерпеливо.— Просто слово. Приятно выговаривать. Ч-чеширский кот. Щ-щелкунчик.

— А откуда ты знаешь эти слова?

— Помню. Два больших ласковых человека. Гораздо больше, чем вы... По бим-бом-брамселям! Щелкунчик... С-сверчок на печи. Мар-ри, Мар-ри! Сверчок кушать хочет!

Честно говоря, у меня мороз пошел по коже, а Вандерхузе побледнел, и бакенбарды его обвисли. Малыш выкрикивал слова сочным баритоном: закрыть глаза — так и видишь перед собой огромного, полного крови и радости жизни человека, бесстрашного, сильного, доброго... Потом в интонации его что-то изменилось, и он тихонько пророкотал с неизъяснимой нежностью:

— Кошенька моя, ласонька...— И вдруг ласковым женским голосом: — Колокольчик!.. Опять мокренький...

Он замолчал, постукивая себя пальцем по носу.

— И ты все это помнишь? — слегка изменившимся голосом произнес Комов.

— Конечно,— сказал Малыш голосом Комова.— А ты разве не помнишь все?

— Нет,— сказал Комов.

— Это потому, что ты размышляешь не так, как я,— уверенно сказал Малыш.— Я помню все. Все, что было вокруг меня когда-нибудь, я уже не забуду. А когда забываю, надо только поразмыслить хорошенько, и все вспоминается. Если тебе интересно обо мне, я потом расскажу. А сейчас ответь мне: что вверху? Ты вчера сказал: звезды. Что такое звезды? Сверху падает вода. Иногда я не хочу, а она падает. Откуда она? И откуда корабли? Очень много вопросов, я очень много размышлял. Так много ответов, что ничего не понимаю. Нет, не так. Много разных ответов, и все они спутаны друг с другом, как листья...— Он сбил листья на полу в беспорядочную кучку.— Закрывают друг друга, мешают друг другу. Ты ответишь?

Комов принялся рассказывать, и Малыш опять заметался, трепеща от возбуждения. У меня зарябило в глазах, я зажмурился и стал думать, как же это аборигены не объяснили Малышу таких простых вещей; и как это они исхитрились так его одурачить, что он даже не подозревал об их существовании; и как это Малыш умудряется помнить так точно все, что слышал во младенчестве; и как это, в сущности, страшно — особенно то, что он ничего не понимает из запомненного.

Тут Комов вдруг замолчал, в нос мне ударил резкий запах нашатырного спирта, и я открыл глаза. Малыша в кают-компании не было, только слабый, совсем прозрач-

ный фантом быстро таял над горстью рассыпанных листьев. В отдалении слабо чмокнула перепонка люка. Голос Майки обеспокоенно осведомился по интеркому:

— Куда это он так почесал? Что-нибудь случилось?

Я взглянул на Комова. Комов с шелестом потирал руки, задумчиво улыбаясь.

— Да,— проговорил он.— Любопытная картина получается... Майя! — позвал он.— Усы эти появлялись?

— Восемь штук,— сказала Майка.— Только сейчас пропали, а то торчали вдоль всего хребта... причем цветные — желтые, зеленые... Я сделала несколько снимков.

— Молодец,— похвалил Комов.— Теперь имейте в виду, Майя, при следующей встрече обязательно будете присутствовать вы... Яков, забирайте регистрограммы, пойдемте ко мне. А вы, Стась...— Он встал и направился в угол, где был установлен блок видеофонографов.— Вот вам кассета, Стась, передайте все в экстренных импульсах прямо в Центр. Дубль я возьму себе, надо проанализировать... Где я тут видел проектор? А, вот он. Я думаю, в нашем распоряжении еще часа три-четыре, потом он снова придет... Да, Стась! Поглядите заодно радиограммы. Если есть что-нибудь стоящее... Только из Центра, с базы или лично от Горбовского, или от Мбога.

— Вы меня просили,— сказал я, поднимаясь.— Вам еще надо поговорить с Михаилом Альбертовичем.

— Ах, да! — Лицо Комова стало виноватым.— Знаете, Стась, это не совсем законно... Окажите любезность, выдайте запись сразу по двум каналам: не только в Центр, но и на базу, лично и конфиденциально Сидорову. Под мою ответственность.

— Я и под свою могу,— проворчал я уже за дверью.

Придя в рубку, я вставил кассету в автомат, включил передачу и просмотрел радиограммы. На этот раз их было немного — всего три; видимо, Центр принял меры. Одна радиограмма была из информатория и состояла из цифр, букв греческого алфавита и значков, которые я видел, только когда регулировал печатающее устройство. Вторая радиограмма была из Центра: Бадер продолжал настойчиво требовать предварительных соображений относительно других вероятных зон обитания аборигенов, возможных типов предстоящего контакта по классификации Бюлова и тому подобное. Третья радиограмма была с базы, от Сидорова: Сидоров официально запрашивал Комова о порядке доставки заказанного оборудования в зону кон-

такта. Я пораскинул умом и решил, что первая радиограмма Комову может понадобиться; третью не передать неудобно перед Михаилом Альбертовичем; а что касается Бадера — пусть пока полежит. Какие там еще предварительные соображения.

Через полчаса транслирующий автомат просигналил, что передача закончена. Я вынул кассету, забрал две карточки с радиограммами и отправился к Комову. Когда я вошел, Комов и Вандерхузе сидели перед проектором. По экрану взад и вперед молнией проносился Малыш, виднелись лица с Комовым напряженные физиономии. Вандерхузе сидел, весь подавшись к экрану, поставив локти на стол и захватив бакенбарды в сжатые кулаки.

— ...резкое повышение температуры,— бубнил он.— Доходит до сорока трех градусов... И теперь обратите внимание на энцефалограмму, Геннадий... Вот она, волна Петерса, снова появляется...

На столе перед ним были расстелены рулоны регистрограмм нашего диагностера, множество рулонов валялось на полу и на койке.

— Ага...— задумчиво говорил Комов, ведя пальцем по регистрограмме.— Ага... Минуточку, а здесь у нас что было? — Он остановил проектор, повернулся, чтобы взять один из рулонов, и заметил меня.— Да? — сказал он с неудовольствием.

Я положил перед ним радиограммы.

— Что это? — спросил он нетерпеливо.— А...— Он пробежал радиограмму из информатория, усмехнулся и отбросил ее в сторону.— Все не то,— сказал он.— Впрочем, откуда им знать...— Потом он проглядел радиограмму Сидорова и поднял глаза на меня.— Вы отправили ему?..

— Да,— сказал я.

— Хорошо, спасибо. Составьте от моего имени радиограмму, что оборудования пока не нужно. Вплоть до нового запроса.

— Хорошо,— сказал я и вышел.

Я составил и отправил радиограмму на базу и решил посмотреть, как там Майка. Мрачная Майка старательно крутила верньеры. Насколько я понял, она тренировалась в наведении пушки на далеко разнесенные цели.

— Безнадежное дело,— объявила она, заметив меня.— Если все они одновременно в нас плюнут, нам каюк. Просто не успеть.

— Во-первых, можно увеличить телесный угол пора-

жения,— сказал я, подходя.— Эффективность, конечно, уменьшится порядка на три, на четыре, но зато можно охватить четверть горизонта, а расстояния здесь небольшие... А во-вторых, ты действительно веришь, что в нас могут плюнуть?

— А ты?

— Да не похоже что-то...

— А если не похоже, то чего ради я здесь сижу?

Я опустился на пол возле ее кресла.

— Честно говоря, не знаю,— сказал я.— Все равно надо вести наблюдение. Раз уж планета оказалась биологически активной, надо выполнять инструкцию. Сторожа-разведчика ведь не разрешают выпускать...

Мы помолчали.

— Тебе его жалко? — спросила вдруг Майка.

— Н-не знаю,— сказал я.— Почему жалко? Я бы сказал — жутко. А жалеть... Почему, собственно, я должен его жалеть? Он бодрый, живой... совсем не жалкий.

— Я не об этом. Не знаю, как это сформулировать... Вот я слушала, и мне тошно делалось, как Комов себя с ним держит. Ведь ему абсолютно наплевать на мальчишку...

— Что значит — наплевать? Комову надо установить контакт. Он проводит определенную стратегию... Ты ведь понимаешь, что без Малыша в контакт нам не вступить...

— Понимаю. От этого меня, наверное, и тошнит. Малыш-то ничего не знает об аборигенах... Слепое орудие!

— Ну, не знаю,— сказал я.— По-моему, ты здесь впадаешь в сентиментальность. Он ведь все-таки не человек. Он абориген. Мы налаживаем с ним контакт. Для этого надо преодолеть какие-то препятствия, разгадать какие-то загадки... Трезво надо к этому относиться, по-деловому. Чувства здесь ни при чем. Он ведь к нам тоже, прямо скажем, любви не испытывает. И испытывать не может. В конце концов, что такое контакт? Столкновение двух стратегий.

— Ох,— сказала Майка.— Скучно ты говоришь. Суконно. Тебе только программы составлять. Кибертехник.

Я не обиделся. Я видел, что Майке нечего возразить по существу, и я чувствовал, что ее действительно что-то мучает.

— Опять у тебя предчувствия,— сказал я.— Но ведь на самом-то деле ты и сама прекрасно понимаешь, что Ма-

лыш — это единственная ниточка, которая связывает нас с этими невидимками. Если мы Малышу не понравимся, если мы его не завоюем...

— Вот-вот,— прервала меня Майка.— В том-то и дело. Что бы Комов ни говорил, как бы он ни поступал, сразу чувствуется: его интересует только одно — контакт. Все для великой идеи вертикального прогресса!

— А как надо? — спросил я.

Она дернула плечом.

— Не знаю. Может быть, как Яков... Во всяком случае, он — единственный из вас — говорил с Малышом по-человечески.

— Ну, знаешь,— сказал я, несколько обидевшись,— контакт на бакенбардном уровне — тоже, в общем...

Мы помолчали, дуясь друг на друга. Майка с преувеличенным старанием крутила вернъеры, нацеливая черное перекрестие на заснеженные зубцы хребта.

— В самом деле, Майка,— сказал я наконец.— Ты что, не хочешь, чтобы контакт состоялся?

— Да хочу, наверное,— сказала Майка без всякого энтузиазма.— Ты же видел, я очень обрадовалась, когда мы впервые поняли, что к чему... Но вот прослушала я эту вашу беседу... не знаю. Может быть, это потому, что я никогда не участвовала в контактах... Я все не так себе *представляла*.

— Нет,— сказал я.— Здесь дело не в этом. Я догадываюсь, что с тобой происходит. Ты думаешь, что он — человек...

— Ты уже говорил это,— сказала Майка.

— Нет, ты дослушай. Тебе все время бросается в глаза человеческое. А ты подойди к этому с другой стороны. Не будем говорить про фантомы, про мимикрию — что у него вообще наше? В какой-то степени общий облик, прямохождение. Ну, голосовые связки... Что еще? У него даже мускулатура не наша, а уж это, казалось бы, прямо из ген... Тебя просто сбивает с толку, что он умеет говорить. Действительно, он великолепно говорит... Но и это ведь, в конце концов, не наше! Никакой человек не способен научиться бегло говорить за четыре часа. И тут дело даже не в запасе слов — надо освоить интонации, фразеологию... Оборотень это, если хочешь знать! А не человек. Мастерская подделка. Подумай только: помнить, что было с тобой в грудном возрасте, а может быть — как знать! — и в утробе матери... Разве это человеческое?.. Вот ты видела

когда-нибудь роботов-андроидов? Не видела, конечно, а я видел.

— Ну и что? — мрачно спросила Майка.

— А то, что теоретически идеальный робот-андроид может быть построен только из человека. Это будет сверхмыслитель, это будет сверхсилач, сверхэмоционал, все что угодно «сверх», в том числе и сверхчеловек, но только не *человек*...

— Ты кажется, хочешь сказать, что аборигены превратили его в робота? — проговорила Майка, криво улыбаясь.

— Да нет же,— сказал я с досадой.— Я только хочу убедить тебя, что все человеческое в нем случайно, это просто свойство исходного материала... и что не нужно разводить вокруг него сантименты. Считай, что ты ведешь переговоры с этими цветными усами...

Майка вдруг схватила меня за плечо и сказала вполголоса:

— Смотри, возвращается!

Я привстал и посмотрел на экран. От болота, прямо к кораблю, быстро семеня ногами, во весь дух чесала скособоченная фигурка. Короткая черно-лиловая тень моталась по земле перед нею, грязный хохол на макушке отсвечивал рыжим. Малыш возвращался, Малыш спешил. Длинными своими руками он обнимал и прижимал к животу что-то вроде большой плетеной корзины, доверху набитой камнями. Тяжеленная, должно быть, была корзина.

Майка включила интерком.

— Пост УАС — Комову,— громко сказала она.— Малыш приближается.

— Понял вас,— сейчас же откликнулся Комов.— Яков, по местам... Попов, смените Глумову на посту УАС. Майя, в кают-компанию.

Майка нехотя поднялась.

— Иди, иди,— сказал я.— Посмотри на него вблизи, сосуд скорби.

Она сердито фыркнула и взбежала по трапу. Я занял ее место. Малыш был уже совсем близко. Теперь он замедлил свой бег и смотрел на корабль, и снова у меня появилось ощущение, будто он глядит мне прямо в глаза.

И тут я увидел: над хребтом в серо-лиловом небе возникли из ничего, словно проявились, чудовищные усы чудовищных тараканов. Как и давеча, они медленно гнулись, вздрагивали, сокращались. Я насчитал их шесть.

— Пост УАС! — окликнул меня Комов.— Сколько усов на горизонте?

— Шесть,— ответил я.— Три белых, два красных, один зеленый.

— Вот видите, Яков,— сказал Комов,— строгая закономерность. Малыш к нам — усы наружу.

Приглушенный голос Вандерхузе отозвался:

— Отдаю должное вашей проницательности, Геннадий, и тем не менее дежурство полагаю пока обязательным.

— Ваше право,— коротко сказал Комов.— Майя, садитесь вот сюда...

Я доложил:

— Малыш скрылся в мертвом пространстве. Тащит с собой здоровенную плетенку с камнями.

— Понятно,— сказал Комов.— Приготовились, коллеги!

Я весь обратился в слух и сильно вздрогнул, когда из интеркома грянул рассыпчатый грохот. Я не сразу сообразил, что это Малыш разом высыпал на пол свои булыжники. Я слышал его мощное дыхание, и вдруг совершенно младенческий голос произнес:

— Мам-ма!..— И снова: — Мам-ма...

А затем раздался уже знакомый мне захлебывающийся плач годовалого младенца. По старой памяти у меня что-то съежилось внутри, и в то же мгновение я понял, что́ это: Малыш увидел Майку. Это продолжалось не больше полуминуты; плач оборвался, снова загремели камни, и голос Комова деловито произнес:

— Вот вопрос. Почему мне все интересно? Все вокруг. Почему у меня все время появляются вопросы? Ведь мне от них нехорошо. Они у меня чешутся. Много вопросов. Десять вопросов в день, двадцать вопросов в день. Я стараюсь спастись: бегаю, целый день бегаю или плаваю,— не помогает. Тогда начинаю размышлять. Иногда приходит ответ. Это — удовольствие. Иногда приходит много ответов, не могу выбрать. Это — неудовольствие. Иногда ответа не приходит. Это — беда. Очень чешется. Ш-шарада. Сначала я думал, вопросы идут изнутри. Но я поразмыслил и понял: все, что идет изнутри, должно делать мне удовольствие. Значит, вопросы идут снаружи? Правильно? Я размышляю, как ты. Но тогда где они лежат, где они висят, где их точка?

Пауза. Потом снова раздался голос Комова — настоящего Комова. Очень похоже, только настоящий Комов

говорил не так отрывисто, и голос его звучал не так резко. В общем, отличить было можно, если знаешь, в чем дело.

— Я мог бы уже сейчас ответить на этот твой вопрос,— медленно проговорил Комов.— Но я боюсь ошибиться. Боюсь ответить неправильно или неточно. Когда я узнаю о тебе все, я смогу ответить без ошибки.

Пауза. Загремели и заскрипели по полу передвигаемые камни.

— Ф-фрагмент,— сказал Малыш.— Вот еще вопрос. Откуда берутся ответы? Ты меня заставил думать. Я всегда считал: есть ответ — это удовольствие, нет ответа — беда. Ты мне рассказал, как размышляешь ты. Я вспоминал и вспомнил, что я тоже часто так размышляю, и часто приходит ответ. Видно, как он приходит. Так я делаю объем для камней. Вот такой. («Корзину»,— подсказал Комов.) Да, корзину. Один прут цепляется за второй, второй — за третий, третий — дальше, и получается... корзина. Видно — как. Но гораздо чаще я размышляю,— снова загремели камни,— и ответ получается готовый. Есть куча прутьев, и вдруг — готовая корзина. Почему?

— И на этот вопрос,— сказал Комов,— я смогу ответить, только когда узнаю о тебе все.

— Тогда узнавай! — потребовал Малыш.— Узнавай скорее! Почему не узнаешь? Я расскажу сам. Был корабль, только больше твоего, теперь он съежился, а был очень большой. Это ты знаешь сам. Потом было так.

Из интеркома донесся раздирающий хруст и треск, и сейчас же отчаянно, на нестерпимо высокой ноте завизжал ребенок. И сквозь этот визг, сквозь затихающий треск, удары, звон бьющегося стекла прохрипел мужской задыхающийся голос:

— Мари... Мари... Ма... ри...

Ребенок кричал, надрываясь, и некоторое время ничего больше не было слышно. Потом раздался какой-то шорох, сдавленный стон. Кто-то полз по полу, усеянному обломками и осколками, что-то покатилось с дребезгом. До жути знакомый женский голос простонал:

— Шура... Где ты, Шура... Больно... Что случилось? Где ты? Я ничего не вижу, Шура... Да отзовись же, Шура! Больно как! Помоги мне, я ничего не вижу...

И все это сквозь непрекращающийся крик младенца. Потом женщина затихла, через некоторое время затих и младенец. Я перевел дух и обнаружил, что кулаки у меня

сжаты, а ногти глубоко вонзились в ладони. Челюсти у меня онемели.

— Так было долго,— сказал Малыш торжественно.— Я устал кричать. Я заснул. Когда я проснулся, было темно, как раньше. Мне было холодно. Я хотел есть. Я так сильно хотел есть и чтобы было тепло, что сделалось так.

Целый каскад звуков хлынул из интеркома — совершенно незнакомых звуков. Ровное нарастающее гудение, частое щелканье, какие-то гулы, похожие на эхо; басистое, на пороге слышимости, бормотание; писк, скрип, зудение, медные удары, потрескивание... Это продолжалось долго, несколько минут. Потом все разом стихло, и Малыш, чуть задыхаясь, сказал:

— Нет. Так мне не рассказать. Так я буду рассказывать столько времени, сколько я живу. Что делать?

— И тебя накормили? Согрели тебя? — спросил Комов ровным голосом.

— Стало так, как мне хотелось. И с тех пор всегда *было так, как мне хотелось. Пока не прилетел первый* корабль.

— А что это было? — спросил Комов и, на мой взгляд, очень удачно проимитировал звуковую кашу, которую мы только что слышали.

Пауза.

— А, понимаю,— сказал Малыш.— Ты совсем не умеешь, но я тебя понял. Но я не могу ответить. Ведь у тебя самого нет слова, чтобы назвать. А ты знаешь больше слов, чем я. Дай мне слова. Ты мне дал много слов, но все не те.

Пауза.

— Какого это было цвета? — спросил Комов.

— Никакого. Цвет — это когда смотришь глазами. Там нельзя смотреть глазами.

— Где — там?

— У меня. Глубоко. В земле.

— А как там на ощупь?

— Прекрасно, — сказал Малыш. — Удовольствие. Ч-чеширский кот! У меня лучше всего. Так было, пока не пришли люди.

— Ты там спишь? — спросил Комов.

— Я там все. Сплю, ем, размышляю. Только играю я здесь, потому что люблю глядеть глазами. И там тесно играть. Как в воде, только еще теснее.

— Но ведь в воде нельзя дышать,— сказал Комов.

— Почему нельзя? Можно. И играть можно. Только тесно.

Пауза.

— Теперь ты все обо мне узнал? — осведомился Малыш.

— Нет,— решительно сказал Комов.— Ничего я о тебе не узнал. Ты же видишь, у нас нет общих слов. Может быть, у тебя есть свои слова?

— Слова...— медленно повторил Малыш.— Это когда двигается рот, а потом слышно ушами. Нет. Это только у людей. Я знал, что есть слова, потому что я помню. Но бим-бом-брамселям. Что это такое? Я не знаю. Но теперь я знаю, зачем многие слова. Раньше не знал. Было удовольствие говорить. Игра.

— Теперь ты знаешь, что значит слово «океан»,— произнес Комов,— но океан ты видел и раньше. Как ты его называл?

Пауза.

— Я слушаю,— сказал Комов.

— Что ты слушаешь? Зачем? Я назвал. Так нельзя услышать. Это внутри.

— Может быть, ты можешь показать? — сказал Комов.— У тебя есть камни, прутья...

— Камни и прутья не для того, чтобы показывать,— объявил Малыш, как мне показалось, сердито.— Камни и прутья — для того, чтобы размышлять. Если тяжелый вопрос — камни и прутья. Если не знаешь, какой вопрос,— листья. Тут много всяких вещей. Вода, лед — он хорошо тает, поэтому...— Малыш помолчал.— Нет слов,— сообщил он.— Много всяких вещей. Волосы... и много такого, для чего нет слова. Но это там, у меня.

Послышался протяжный тяжкий вздох. По-моему, Вандерхузе. Майка вдруг спросила:

— А когда ты двигаешь лицом? Что это?

— Мам-ма...— сказал Малыш нежным мяукающим голоском.— Лицо, руки, тело,— продолжал он голосом Майки,— это тоже вещи для размышления. Этих вещей много. Долго все называть.

Пауза.

— Что делать? — спросил Малыш.— Ты придумал?

— Придумал,— ответил Комов.— Ты возьмешь меня к себе. Я посмотрю и сразу многое узнаю. Может быть, даже все.

— Об этом я размышлял,— сказал Малыш.— Я знаю, что ты хочешь ко мне. Я тоже хочу, но я не могу. Это вопрос! Когда я хочу, я все могу. Только не про людей. Я не хочу, чтобы они были, а они есть. Я хочу, чтобы ты пришел ко мне, но не могу. Люди — это беда.

— Понимаю,— сказал Комов.— Тогда я возьму тебя к себе. Хочешь?

— Куда?

— К себе. Туда, откуда я пришел. На Землю, где живут все люди. Там я тоже смогу узнать о тебе все, и довольно быстро.

— Но ведь это далеко,— проговорил Малыш.— Или я тебя не понял?

— Да, это очень далеко,— сказал Комов.— Но мой корабль...

— Нет! — сказал Малыш.— Ты не понимаешь. Я не могу далеко. Я не могу даже просто далеко и уж совсем не могу очень далеко. Один раз я играл на льдинах. Заснул. Проснулся от страха. Большой страх, огромный. Я даже закричал. Фрагмент! Льдина уплыла, и я видел только верхушки гор. Я подумал, что океан проглотил землю. Конечно, я вернулся. Я очень захотел, и льдина сразу пошла обратно к берегу. Но теперь я знаю, мне нельзя далеко. Я не только боялся. Мне было худо. Как от голода, только гораздо хуже. Нет, к тебе я не могу.

— Ну, хорошо,— произнес Комов натужно-веселым голосом.— Наверное, тебе надоело отвечать и рассказывать. Я знаю, что ты любишь задавать вопросы. Задавай, я буду отвечать.

— Нет,— сказал Малыш.— У меня много вопросов к тебе. Почему падает камень? Что такое горячая вода? Почему пальцев десять, а чтобы считать, нужен всего один? Много вопросов. Но я не буду сейчас спрашивать. Сейчас плохо. Ты не можешь ко мне, я не могу к тебе, слов нет. Значит, узнать все про меня ты не можешь. Ш-шарада! Значит, не можешь уйти. Я прошу тебя: думай, что делать. Если сам не можешь быстро думать, пусть думают твои машины в миллион раз быстрее. Я ухожу. Нельзя размышлять, когда разговариваешь. Размышляй быстрее, потому что мне хуже, чем вчера. А вчера было хуже, чем позавчера.

Загремел и покатился камень. Вандерхузе опять протяжно и тяжко вздохнул. Я глазом не успел моргнуть, а Малыш уже вихрем мчался к сопкам через строительную

площадку. Я видел, как он проскочил взлетную полосу и вдруг исчез, словно его и не было. И в ту же секунду, как по команде, исчезли разноцветные усы над хребтом.

— Так,— сказал Комов.— Ничего не поделаешь. Яков, прошу вас, дайте радиограмму Сидорову, пусть доставит сюда оборудование, я вижу, без ментоскопа мне не обойтись.

— Хорошо,— сказал Вандерхузе.— Но я хотел бы обратить ваше внимание, Геннадий... За весь разговор на индикаторе ни разу не зажегся зеленый огонь.

— Я видел,— сказал Комов.

— Но ведь это не просто отрицательные эмоции, Геннадий. Это ярко выраженные отрицательные эмоции...

Ответа Комова я не расслышал.

Я просидел на посту весь вечер и половину ночи. Ни вечером, ни ночью Малыш больше не появлялся. Усы тоже не появлялись. И Майка тоже.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ВОПРОСЫ И СОМНЕНИЯ

За завтраком Комов был очень разговорчив. Ночью он, по-моему, совсем не спал, глаза у него были красные, щеки запали, но был он весел и возбужден. Он наливался крепким чаем и излагал нам свои предварительные соображения и выводы.

По его словам, теперь уже не было никакого сомнения в том, что аборигены подвергли организм мальчика самым коренным изменениям. Они оказались удивительно смелыми и знающими экспериментаторами: они изменили его физиологию и, частично, анатомию, невероятно расширили активную область его мозга, а также снабдили его новыми физиологическими механизмами, развить которые на базе обычного человеческого организма с точки зрения современной земной науки представляется пока невозможным. Цель этих анатомофизиологических изменений лежит, может быть, на поверхности: аборигены попросту стремились приспособить беспомощного человеческого детеныша к совершенно нечеловеческим условиям существования в этом мире. Не совсем ясным представляется вопрос, зачем они так серьезно вмешались в работу центральной нервной. Можно допустить, конечно, что это получилось у них случайно, как побочное следствие анатомофизиологических изменений. Но можно допустить также, что они использовали резервы человеческого мозга целенаправ-

ленно. Тогда возникает веер предположений. Например, они стремились сохранить у Малыша все его младенческие воспоминания и впечатления, с тем чтобы облегчить ему обратную адаптацию, если он вновь попадет в человеческое общество. Действительно, Малыш поразительно легко сошелся с нами, так что мы не кажемся ему ни уродами, ни чудовищами. Но не исключено также, что громадная память Малыша и феноменальное развитие его звуковоспроизводящих центров есть опять же лишь побочный результат работы аборигенов над его мозгом. Возможно, аборигены прежде всего стремились создать между собой и центральной нервной Малыша устойчивую психическую связь. То, что такая связь существует, представляется в высшей степени вероятным. Во всяком случае, трудно иначе объяснить такие факты, как спонтанное — внелогическое — появление у Малыша ответов на вопросы, непременное исполнение всех осознанных и даже неосознанных желаний Малыша; прикованность Малыша к этому району планеты. Сюда же, вероятно, относится и сильное психическое напряжение, в котором пребывает Малыш в связи с появлением людей. Сам Малыш не в состоянии объяснить, чем, собственно, ему мешают люди. Очевидно, что мы мешаем не ему. Мы мешаем аборигенам. И тут мы вплотную подходим к вопросу о природе аборигенов.

Простая логика заставляет нас предположить, что аборигены являются существами либо микроскопическими, либо гигантскими — так или иначе, несоизмеримыми с физическими размерами Малыша. Именно поэтому Малыш воспринимает их самих и их проявления как стихию, как часть природы, окружающей его с младенчества. («Когда я спросил его про усы, Малыш довольно равнодушно сообщил: усы он видит впервые, но он каждый день видит что-нибудь впервые. Слова же для обозначения подобных явлений мы подобрать не смогли».) Лично он, Комов, склонен предполагать, что аборигены представляют собой некие исполинские сверхорганизмы, чрезвычайно далекие как от гуманоидов, так и от негуманоидных структур, с которыми человек встречался прежде. Мы знаем о них пока ничтожно мало. Мы видели: чудовищные сооружения (или образования?) над горизонтом, появление и исчезновение которых явно связаны с посещениями Малыша. Мы слышали: ни с чем не ассоциируемые звуки, которые воспроизводил Малыш, описывая свой «дом». Мы поняли: аборигены находятся на чрезвычайно высоком уровне тео-

ретического и практического знания, если судить по тому, во что они сумели превратить обыкновенного человеческого младенца. Вот и все. У нас пока даже вопросов немного, хотя вопросы эти, конечно, фундаментальны. Почему аборигены спасли и содержат Малыша, почему они вообще заинтересовались им, какое им до него дело? Откуда они знают людей — знают неплохо, разбираются в основах их психологии и социологии? Почему при всем том они так отталкиваются от общения с людьми? Как совместить очевидно высокий уровень знаний с полным отсутствием следов какой бы то ни было разумной деятельности? Или нынешнее плачевное состояние планеты как раз и есть следствие этой деятельности? Или состояние это является плачевным только с нашей точки зрения? Вот, собственно, и все основные вопросы. У него, Комова, есть кое-какие соображения на этот счет, но он полагает, что высказывать их пока преждевременно.

Во всяком случае, ясно, что сделанное открытие есть открытие первостепенной важности, реализовать его необходимо, но реализация возможна только через посредничество Малыша. Скоро должна прибыть ментоскопическая и прочая спецтехника. Использовать ее на все сто процентов мы сможем только в том случае, если Малыш нам будет полностью доверять и, более того, будет испытывать достаточно сильную в нас нужду.

— Я решил, что сегодня в контакт с ним не вступаю,— произнес Комов, отодвинув пустой стакан.— Сегодня ваша очередь. Стась, вы покажете ему своего Тома. Майя, вы будете играть с ним в мяч и катать его на глайдере. Не стесняйтесь с ним, ребята, веселее, проще! Представьте себе, что он — ваш младший братишка-вундеркинд... Яков, вам придется побыть на дежурстве. В конце концов, вы сами его учредили... Ну, а если Малыш доберется и до вас, как-нибудь соберитесь с силами и позвольте ему подергать вас за бакенбарды — очень он ими интересуется. А я притаюсь, как наук, буду за всем этим наблюдать и регистрировать. Поэтому, молодежь, извольте экипироваться «третьим глазом». Если Малыш будет спрашивать обо мне, скажите, что я размышляю. Пойте ему песни, покажите ему кино... Покажите ему вычислитель, Стась, расскажите, как он действует, попробуйте считать с ним наперегонки. Думаю, здесь ожидает вас некоторый сюрприз... И пусть он больше спрашивает, как можно больше. Чем больше, тем лучше... По местам, ребята, по местам!

Он вскочил и умчался. Мы посмотрели друг на друга.

— Вопросы есть, кибертехник? — спросила Майка. Холодно спросила, совсем не по-дружески. Это были ее первые слова за все утро. Она даже не поздоровалась со мной сегодня.

— Нет, квартирьер,— сказал я.— Вопросов нет, квартирьер. Вас вижу, но не слышу.

— Все это, конечно, хорошо,— задумчиво проговорил Вандерхузе.— Мне бакенов не жалко. Но!

— Вот именно,— сказала Майка, поднимаясь.— Но.

— Я хочу сказать,— продолжал Вандерхузе,— что вчера вечером была радиограмма от Горбовского. Он самым деликатным образом, но совершенно недвусмысленно просил Комова не форсировать контакт. И он снова намекал, что был бы рад к нам присоединиться.

— А что Комов? — спросил я.

Вандерхузе задрал голову и, лаская левый бакенбард, поглядел на меня поверх носа.

— Комов высказался об этом непочтительно,— сказал он.— Устно, конечно. Ответил же он в том смысле, что благодарит за совет.

— И? — сказал я. Мне очень хотелось поглядеть на Горбовского. Я его толком даже в хронике не видел.

— И все,— сказал Вандерхузе, тоже поднимаясь.

Мы с Майкой отправились в арсенал. Там мы отыскали и нацепили на лбы широкие пластинчатые обручи с «третьим глазом» — знаете, эти портативные телепередатчики для разведчиков-одиночек, чтобы можно было непрерывно передавать визуальную и акустическую информацию, все, что видит и слышит сам разведчик. Простая, но остроумная штука, ее совсем недавно стали включать в комплект оборудования ЭР. Пришлось немножко повозиться, пока мы подгоняли обручи, чтобы они не давили на виски и не сваливались на переносицу и чтобы объектив не экранировался капюшоном. При этом я отпускал отчаянные остроты, всячески провоцировал Майку на шуточки в мой адрес и вообще пускался во все тяжкие, чтобы хоть немножко расшевелить ее. Все втуне — Майка оставалась хмурой, отмалчивалась или отвечала односложно. Вообще с Майкой это бывает, случаются у нее приступы хандры, и в таких случаях лучше всего оставить ее в покое. Но сейчас мне казалось, что Майка не просто хандрит, а злится, и злится именно на меня; почему-то я чувствовал себя виноватым перед нею и совершенно не понимал, как быть.

Потом Майка отправилась к себе в каюту искать мяч, а я выпустил на волю Тома и погнал его на посадочную полосу. Солнце уже поднялось, ночной мороз спал, но было все-таки еще очень холодно. Нос у меня сразу закоченел. Вдобавок легким, но очень злым ветерком тянуло с океана. Малыша нигде видно не было.

Я немного погонял Тома по полосе, чтобы дать ему размяться. Том был польщен таким вниманием и преданно испрашивал приказаний. Потом подошла Майка с мячом, и мы, чтобы не замерзнуть, минут пять постукали — честно говоря, не без удовольствия. Я все надеялся, что Майка, по обыкновению, войдет в азарт, но и здесь втуне. В конце концов мне это надоело, и я прямо спросил, что случилось. Она поставила мяч на рубчатку, села на него, подобрала доху и пригорюнилась.

— В чем все-таки дело? — повторил я.

Майка посмотрела на меня и отвернулась.

— Может быть, ты все-таки ответишь? — спросил я, повысив голос.

— Ветерок нынче,— произнесла Майка, рассеянно оглядывая небо.

— Что? — спросил я.— Какой ветерок?

Она постучала себя пальцем по лбу рядом с объективом «третьего глаза» и сказала:

— Ба-кал-да-ка. На-кас слы-кы-ша-кат.

— Са-кал-ма-ка ба-кал-да-ка,— ответствовал я.— Такам же-ке тра-кан-сля-ка-то-кор...

— И то верно,— сказала Майка.— Вот я и говорю тебе: ветерок, мол.

— Да,— подтвердил я.— Что ветерок, то ветерок.

Я постоял, чувствуя себя чертовски стесненно и пытаясь придумать какую-нибудь нейтральную тему для беседы, ничего, кроме того же ветерка, не придумал, и тут мне пришло в голову, что неплохо бы пройтись. Я ведь ни разу еще не бродил по окрестностям — без малого неделю здесь нахожусь, а на земле этой так толком и не стоял, только на экранах видел. К тому же был шанс наткнуться где-нибудь в зарослях на Малыша, особенно если он сам этого захочет, и это было бы уже не только приятно, но и полезно для дела: завязать с ним беседу в привычной для него обстановке. Я изложил все эти соображения Майке. Она молча встала и пошла к болоту, а я, погрузив нос в меховой воротник и засунув руки поглубже в карманы, поплелся следом. Том, изнемогая от услужливости, увя-

зался было за мною, но я велел ему оставаться на месте и ждать дальнейших указаний.

В болото мы, конечно, не полезли, а двинулись в обход, продираясь через заросли кустарника. Жалкая была здесь растительность — бледная, худосочная, вялые синеватые листочки с металлическим отливом, хрупкие узловатые веточки, пятнистая оранжевая кора. Кусты редко достигали моего роста, так что вряд ли Вандерхузе рисковал бы здесь своими бакенбардами. Под ногами упруго подавался толстый слой палых листьев, перемешанных с песком. В тени искрился иней. Но при всем при том растительность эта вызывала определенное к себе уважение. Наверное, очень нелегко было ей здесь произрастать: ночью температура падала до минус двадцати, днем редко поднималась выше нуля, а под корнями — сплошной соленый песок. Не думаю, чтобы какое-нибудь земное растение сумело бы приспособиться к таким безрадостным условиям. И странно было представить себе, что где-то среди этих прозябших кустов бродит, ступая босыми пятками по заиндевелому песку, голый человечек.

Мне почудилось какое-то движение в густых зарослях справа. Я остановился, позвал: «Малыш!» — но никто не откликнулся. Мерзлая ледяная тишина окружала нас. Ни шелеста листвы, ни жужжания насекомых — все это вызывало неожиданное ощущение, словно мы плутали среди театральных декораций. Мы обогнули длинный язык тумана, высунувшийся из горячего болота, и стали подниматься по склону холма. Собственно, это была песчаная дюна, схваченная кустами. Чем выше мы поднимались, тем тверже становилась под ногами песчаная поверхность. Взобравшись на гребень, мы огляделись. Корабль скрывали от нас облака тумана, но посадочная полоса была видна хорошо. Весело и ярко блестела под солнцем рубчатка, сиротливо чернел посередине оставленный мяч, и грузный Том неуверенно топтался вокруг него — явно решал непосильную задачу: то ли убрать с полосы этот посторонний предмет, то ли при случае жизнь положить за эту забытую человеком вещь.

И тут я заметил следы на промерзшем песке — темные влажные пятна среди серебристого инея. Здесь проходил Малыш, проходил совсем недавно. Сидел на гребне, а потом поднялся и пошел вниз по склону, удаляясь от корабля. Цепочка следов тянулась в заросли, забившие дно лощины между дюнами. «Малыш!» — снова позвал я, и

снова он не отозвался. Тогда я стал спускаться в лощину.

Я нашел его сразу. Мальчик лежал ничком, вытянувшись во всю длину, прижавшись щекой к земле и обхватив голову руками. Он казался очень странным и невозможным здесь, никак не вписывался он в этот ледяной пейзаж. Противоречил ему. В первую секунду я даже испугался, не случилось ли что-нибудь. Слишком уж здесь было холодно и неприютно. Я присел рядом с ним на корточки, окликнул, а потом, когда он промолчал, легонько шлепнул его по голому поджарому заду. Это я впервые прикоснулся к нему и чуть не заорал от неожиданности: он показался мне горячим, как утюг.

— Он придумал? — спросил Малыш, не поднимая головы.

— Он размышляет,— сказал я.— Трудный вопрос.

— А как я узнаю, что он придумал?

— Ты придешь, и он сразу тебе скажет.

— Мам-ма,— вдруг сказал Малыш.

Я взглянул, Майка стояла рядом.

— Мам-ма,— повторил Малыш, не двигаясь.

— Да, колокольчик,— сказала Майка тихо.

Малыш сел — перелился из лежачего положения в сидячее.

— Скажи еще раз! — потребовал он.

— Да, колокольчик,— сказала Майка. Лицо у нее побелело, резко проступили веснушки.

— Феноменально! — произнес Малыш, глядя на нее снизу вверх.— Щелкунчик!

Я прокашлялся.

— Мы тебя ждали, Малыш,— сказал я.

Он стал смотреть на меня. С большим трудом я удержался, чтобы не отвести глаза. Страшненькое все-таки было у него лицо.

— Зачем ты меня ждал?

— Ну как зачем...— Я несколько растерялся, но меня тут же осенило.— Мы скучаем без тебя. Нам без тебя плохо. Нет удовольствия, понимаешь?

Малыш вскочил и сейчас же снова сел. Очень неудобно сел — я бы двух секунд так не просидел.

— Тебе плохо без меня?

— Да,— сказал я решительно.

— Феноменально,— проговорил он.— Тебе плохо без меня, мне плохо без тебя. Ш-шарада!

— Ну почему же — шарада? — огорчился я.— Если бы

мы не могли быть вместе, вот тогда бы была шарада. А сейчас мы встретились, можно играть... Вот ты любишь играть, но ты всегда играл один...

— Нет,— возразил Малыш.— Только сначала я играл один. А потом я играл на озере и увидел свое изображение в воде. Хотел с ним играть, оно распалось. Тогда я очень захотел, чтобы у меня были изображения, много изображений, чтобы с ними играть. И стало так.

Он вскочил и легко побежал по кругу, оставляя свои диковинные фантомы — черные, белые, желтые, красные, а потом сел посередине и горделиво огляделся. И должен вам сказать, это было зрелище: голый мальчишка на песке, и вокруг него дюжина разноцветных статуй в разных позах.

— Феноменально,— сказал я и посмотрел на Майку, приглашая ее принять хоть какое-нибудь участие в беседе. Мне было неловко, что я все время говорю, а она молчит. Но она ничего не сказала, просто хмуро глядела, а фантомы зыбко колебались и медленно таяли, распространяя запах нашатырного спирта.

— Я всегда хотел спросить,— объявил Малыш,— зачем вы заворачиваетесь? Что это такое? — Он подскочил ко мне и дернул за полу дохи.

— Одежда,— сказал я.

— Одежда,— повторил он.— Зачем?

Я рассказал ему про одежду. Я не Комов. Сроду не читал лекций, особенно об одежде. Но без ложной скромности скажу: лекция имела успех.

— Все люди в одежде? — спросил пораженный Малыш.

— Все,— сказал я, чтобы покончить с этим вопросом. Я не совсем понимал, что его, собственно, поражает.

— Но людей много! Сколько?

— Пятнадцать миллиардов.

— Пятнадцать миллиардов,— повторил он и, выставив перед собой палец без ногтя, принялся сгибать и разгибать его.— Пятнадцать миллиардов! — сказал он и оглянулся на призрачные остатки фантомов. Глаза его потемнели.— И все в одежде... А еще что?

— Не понимаю.

— Что они еще делают?

Я набрал в грудь побольше воздуху и принялся рассказывать, что делают люди. Странно, конечно, но до сих пор я как-то не задумывался над этим вопросом. Боюсь, что у

Малыша создалось впечатление, будто человечество занимается большей частью кибертехникой. Впрочем, я решил, что для начала и это неплохо. Малыш, правда, не метался, как во время лекций Комова, и не скручивался в узел, но слушал все равно словно завороженный. И когда я кончил, совершенно запутавшись и отчаявшись дать ему представление об искусстве, он немедленно задал новый вопрос.

— Так много дел,— сказал он.— Зачем пришли сюда?

— Майка, расскажи ему,— взмолился я сиплым голосом.— У меня нос замерз...

Майка отчужденно посмотрела на меня, но все-таки принялась вяло и, на мой взгляд, совсем неинтересно рассказывать про блаженной памяти проект «Ковчег». Я не удержался, стал ее перебивать, пытаясь расцветить лекцию живописными подробностями, затеял вносить поправки, и в конце концов вдруг оказалось, что опять говорю я один. Рассказ свой я счел необходимым закончить моралью.

— Ты сам видишь,— сказал я.— Мы начали было большое дело, но как только поняли, что твоя планета занята, мы сразу же отказались от нашей затеи.

— Значит, люди умеют узнавать, что будет? — спросил Малыш.— Но это неточно. Если бы люди умели, они бы давно отсюда ушли.

Я не придумал, что ответить. Тема показалась мне скользкой.

— Знаешь, Малыш,— сказал я бодро,— давай пойдем поиграем. Посмотришь, как интересно играть с людьми.

Малыш молчал. Я свирепо поглядел на Майку: что она, в самом деле, не могу же я один тащить на себе весь контакт!

— Пойдем поиграем, Малыш,— без всякого энтузиазма поддержала меня Майка.— Или хочешь, я покатаю тебя на летательной машине?

— Ты будешь летать в воздухе,— подхватил я,— и все будет внизу — горы, болота, айсберг...

— Нет,— сказал Малыш.— Летать — это обычное удовольствие. Это я могу сам.

Я подскочил.

— Как — сам?

По лицу его прошла мгновенная рябь, поднялись и опустились плечи.

— Нет слов,— сказал он.— Когда захочу — летаю...

— Так лети! — вырвалось у меня.

— Сейчас не хочу,— сказал он нетерпеливо.— Сейчас

мне удовольствие с вами.— Он вскочил.— Хочу играть! — объявил он.— Где?

— Побежали к кораблю,— предложил я.

Он испустил душераздирающий вопль, и не успело эхо замереть в дюнах, как мы уже наперегонки неслись через кустарник. На Майку я окончательно махнул рукой: пусть делает что хочет.

Малыш скользил меж кустов как солнечный зайчик. По-моему, он не задел ни одной ветки и вообще ни разу не коснулся земли. Я в своей дохе с электроподогревом ломил напролом, как песчаный танк, только трещало вокруг. Я все время пытался его догнать, и меня все время сбивали с толку его фантомы, которые он поминутно оставлял за собой. На опушке зарослей Малыш дождался меня и сказал:

— У тебя так бывает? Ты просыпаешься и вспоминаешь, будто сейчас только видел что-то. Иногда это хорошо известное. Например, как я летаю. Иногда — совсем новое, такое, чего не видел раньше.

— Да, бывает,— сказал я, переводя дух.— Это называется сон. Ты спишь и видишь сны.

Мы пошли шагом. Где-то позади трещала кустарником Майка.

— Откуда это берется? — спросил Малыш.— Что это такое — сны?

— Небывалые комбинации бывалых впечатлений,— отбарабанил я.

Он не понял, конечно, и мне пришлось прочесть еще одну большую лекцию — о том, что такое сны, как они возникают, зачем они нужны и как было бы плохо человеку, если бы их не было.

— Чеширский кот! Но я так и не понял, почему я вижу во сне то, чего раньше не видел никогда.

Майка нагнала нас и молча пошла рядом.

— Например? — спросил я.

— Иногда мне снится, что я огромный-огромный, что я размышляю, что вопросы приходят ко мне один за другим, очень яркие вопросы, удивительные, и я нахожу ответы, удивительные ответы, и я очень хорошо знаю, как из вопроса образуется ответ. Это самое большое удовольствие, когда знаешь, как из вопроса образуется ответ. Но когда я просыпаюсь, я не помню ни вопросов, ни ответов. Помню только удовольствие.

— М-да,— сказал я уклончиво.— Интересный сон. Но

объяснить его я тебе не могу. Спроси у Комова. Может быть, он объяснит.

— У Комова... Что такое — Комов?

Мне пришлось изложить ему нашу систему имен. Мы уже огибали болото, и перед нами открылся корабль и посадочная полоса. Когда я закончил, Малыш вдруг сказал ни с того ни с сего:

— Странно. Никогда со мной так не было.

— Как?

— Чтобы я хотел для себя и не мог.

— А что ты хочешь?

— Я хочу разделиться пополам. Сейчас я один, а чтобы стало два.

— Ну, брат,— сказал я,— тут и хотеть нечего. Это же невозможно.

— А если бы возможно? Плохо или хорошо?

— Плохо, конечно,— сказал я.— Я не совсем понимаю, что ты хочешь сказать... Можно разорваться пополам. Это совсем плохо. Можно заболеть: называется раздвоение личности. Это тоже плохо, но это можно поправить.

— Больно? — спросил Малыш.

Мы ступили на рубчатку. Том уже катил навстречу, гоня перед собой мяч и мигая сигнальными огоньками.

— Брось об этом,— сказал я.— Ты и в целом виде хорош.

— Нет, не хорош,— возразил Малыш, но тут набежал Том, и началась потеха.

Из Малыша градом посыпались вопросы. Я не успевал отвечать. Том не успевал выполнять команды. Мяч не успевал касаться земли. И только Малыш все успевал.

Со стороны это выглядело, наверное, очень весело. Да нам и на самом деле было весело, даже Майка в конце концов разошлась. Наверное, мы были похожи на распалившихся подростков, которые удрали с уроков на берег океана. Сначала еще была какая-то неловкость, сознание того, что мы не развлекаемся, а работаем, что за каждым нашим движением следят, что между нами и Малышом осталось что-то тяжкое, недоговоренное, а потом все это как-то забылось. Остался только мяч, летящий тебе прямо в лицо, и восторг удачного удара, и злость на неуклюжего Тома, и звон в ушах от удалого гиканья, и резкий отрывистый хохот Малыша — мы впервые услышали тогда его смех, самозабвенный, совсем детский...

Это была странная игра. Малыш придумывал правила

на ходу. Он оказался невероятно выносли и азартен, он не упускал ни единого случая продемонстрировать перед нами свои физические преимущества, он навязал нам соревнование, и как-то само собой получилось, что он стал играть один против нас троих, и мы все время проигрывали. Сначала он выигрывал, потому что мы поддавались. Потом он выигрывал, потому что мы не понимали его правил. Потом мы поняли правила, но нам с Майкой мешали дохи. Потом мы решили, что Том слишком неуклюж, и прогнали его. Майка вошла в азарт и заиграла в полную силу, я тоже делал все, что мог, но мы проигрывали очко за очком. Мы ничего не могли сделать с этим молниеносным дьяволенком, который перехватывал любые мячи, сам бил очень сильно и точно, негодующе вопил, если мяч задерживался в наших руках дольше секунды, и совершенно сбивал нас с толку своими фантомами или, того хуже, манерой мгновенно исчезать из виду и появляться столь же мгновенно совсем в другом месте. Мы не сдавались, конечно,— от нас столбом шел пар, мы задыхались, мы потели, мы орали друг на друга, но мы дрались до последнего. И вдруг все кончилось.

Малыш остановился, проводил взглядом мяч и сел на песок.

— Это было хорошо,— сказал он.— Я никогда не знал, что бывает так хорошо.

— Что? — крикнул я, задыхаясь.— Устал, Малыш?

— Нет. Вспомнил. Не могу забыть. Не помогает. Никакое удовольствие не помогает. Больше не зови меня играть. Мне плохо, а сейчас еще хуже. Скажи ему, чтобы он думал скорее. Я разорвусь пополам, если он быстро не придумает. У меня внутри все болит. Я хочу разорваться, но боюсь. Поэтому не могу. Если будет очень болеть, перестану бояться. Пусть думает быстро.

— Ну что ты, в самом деле, Малыш! — сказал я растроенно. Я не совсем понимал, что с ним происходит, но я видел, что ему действительно плохо.— Выбрось ты все это из головы! Просто ты не привык к людям. Надо чаще встречаться, больше играть...

— Нет,— сказал Малыш и вскочил.— Больше не приду.

— Ну почему же? — вскричал я.— Ведь было хорошо! Будет еще лучше! Есть другие игры, не только с мячом... С обручем, с крыльями!

Он медленно пошел прочь.

— Есть шахматы! — торопливо говорил я ему в спину.— Ты знаешь, что такое шахматы? Это величайшая игра!

Он приостановился. Я принялся торопливо и вдохновенно объяснять ему, что такое шахматы — простые шахматы, трехмерные шахматы, эн-мерные шахматы... Он стоял и слушал, глядя в сторону. Я кончил про шахматы и начал про покари. Я судорожно вспоминал все игры, какие знал.

— Да,— произнес Малыш.— Я приду.

И, уже больше не останавливаясь, он побрел, нога за ногу, к болоту. Некоторое время мы молча смотрели ему вслед, потом Майка крикнула: «Малыш!» — сорвалась с места, догнала его и пошла рядом. Я подобрал свою доху, оделся, отыскал доху Майки и нерешительно двинулся за ними. На душе у меня был какой-то неприятный осадок, и я не понимал, в чем дело. Вроде бы все кончилось хорошо: Малыш обещал вернуться, значит, все-таки привязался к нам, значит, без нас ему теперь гораздо хуже, чем с нами... «Привыкнет,— повторял я про себя.— Ничего, привыкнет...» Я увидел, что Майка остановилась, а Малыш побрел дальше. Майка повернулась и, обхватив себя за плечи, побежала мне навстречу. Я подал ей доху и спросил:

— Ну, что?

— Все в порядке,— сказала она. Глаза у нее были прозрачные и какие-то отчаянные.

— Я думаю, что в конце концов...— начал я и осекся.— Майка,— сказал я,— ты же «третий глаз» потеряла!

— Я его не потеряла,— сказала Майка.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. СОМНЕНИЯ И РЕШЕНИЯ

Малыш уходил от корабля на запад вдоль береговой линии, прямо через дюны и заросли. Сначала «третий глаз» интересовал его. Он останавливался, снимал обруч, вертел его в руках, и тогда у нас на приемном экране мелькало то бледное небо, то голубовато-зеленое лицо-маска, то заиндевелый песок. Потом он оставил обруч в покое. Не знаю, двигался ли он не так, как обычно, или обруч надел не совсем правильно, но впечатление было такое, словно объектив смотрит не прямо по ходу, а несколько вправо. По экрану, подрагивая, проплывали однообразные дюны,

озябшие кусты, иногда возникали сизые горные вершины, или появлялся вдруг черный океан со сверкающими айсбергами на горизонте.

По-моему, Малыш двигался без определенной цели — просто брел куда глаза глядят, подальше от нас. Несколько раз он поднимался на гребни дюн и смотрел в нашу сторону. На приемном экране появлялся ослепительно-белый конус нашего ЭР-2, серебристая лента посадочной полосы, оранжевый Том, одиноко приткнувшийся к стене недостроенной метеостанции. Но на обзорном экране Малыша мы так и не обнаружили.

Примерно через час Малыш вдруг резко свернул к горам. Теперь солнце било прямо в объектив — и видно стало хуже. Дюны вскоре кончились, Малыш брел по редколесью, перешагивая через сгнившие сучья, среди корявых стволов с отставшей пятнистой корой, по бурой, пропитанной ледяной влагой земле. Раз он вскарабкался на одинокий гранитный валун, постоял, оглядываясь, потом спрыгнул, подобрал с земли два черных осклизлых сучка и пошел дальше, постукивая ими друг о друга. Сначала стук был беспорядочный, потом в нем появился ритм, а к ритму применивалось не то жужжание, не то гудение. Звук этот, непрерывный и неприятный, становился все громче. Скорее всего, это гудел и жужжал сам Малыш — может быть, это была песня, а может быть, и разговор с самим собой.

Так он брел, стуча, жужжа и гудя, а между деревьев все чаще попадались каменные россыпи, замшелые валуны, громадные обломки скал. Потом на экране вдруг появилось озеро. Малыш, не останавливаясь, вошел в него, на мгновение мы увидели взбаламученную воду, затем изображение потускнело и исчезло — Малыш нырнул.

Под водой он был очень долго, я уже думал, что он утопил передатчик и мы больше ничего не увидим, но минут через десять изображение появилось снова, мутное, размытое, струйчатое. Сначала мы почти ничего не различали, но вскоре в правой части экрана появилось изображение ладони, на которой прыгала и извивалась уродливая пантианская рыбка.

Когда объектив «глаза» очистился окончательно, Малыш бежал. Древесные стволы неслись на нас и в последние мгновения стремительно ускользали то вправо, то влево. Он бежал очень быстро, но мы не слышали ни топота, ни дыхания — только шумел ветер и мелькало солнце за путаницей голых ветвей. И вдруг произошло

непонятное: Малыш как вкопанный остановился перед серым валуном и погрузил в него руки по локоть. Не знаю, может быть, там было хорошо замаскированное отверстие. По-моему, не было. Когда через несколько секунд Малыш извлек руки, они были черные и блестящие, и это черное и блестящее стекало с кончиков пальцев и тяжело, с отчетливым мокрым стуком капало на землю. Потом руки исчезли из поля зрения и Малыш побежал дальше.

Он остановился перед диковинным сооружением, похожим на покосившуюся башню, и я не сразу понял, что это — разбитый корабль «Пеликан». Теперь я своими глазами увидел, как страшно ему досталось при падении и что с ним сделали долгие годы на этой планете. Зрелище было не из приятных. Между тем Малыш медленно приблизился, заглянул в отверстую дыру люка — на мгновение экран погрузился в непроглядную тьму,— затем так же медленно обошел несчастный корабль кругом. Он снова остановился перед люком, поднял руку и приложил черную ладонь с растопыренными пальцами к изъеденному эрозией борту. Он стоял так с минуту, и мы снова услышали его жужжание и гудение, и мне показалось, что из-под растопыренных пальцев поднимаются струйки синеватого дыма. Наконец он отнял руку и отступил на шаг. На мертвой почерневшей обшивке явственно виднелся отчетливый рельефный отпечаток — ладонь с растопыренными пальцами.

— Ух ты мой сверчок на печи,— произнес сочный баритон.

— Колокольчик!..— откликнулся нежный женский голос.

— Зика! — почти шепотом проговорил баритон.— Зиканька!

Заплакал младенец.

Отпечаток ладони резко метнулся в сторону и исчез. Теперь на экране виднелся горный склон — изборожденный трещинами гранит, старые осыпи, крошево острых камней, сверкающих изломанными гранями, поросли хилой жесткой травы, глубокие, непроницаемо черные расселины. Малыш поднимался по склону, мы видели его руки, цепляющиеся за выступы, зернистый камень толчками уходил вниз по экрану, стало слышно ровное шумное дыхание, а потом движение стало плавным и быстрым, у меня зарябило в глазах, склон вдруг отдалился, проваливаясь куда-то в сторону и вниз, и мы услышали резкий,

хриплый, сразу же оборвавшийся смех Малыша. Малыш летел — это было несомненно.

На экране сияло серо-лиловое небо, а сбоку пульсировали какие-то мутные полупрозрачные клочья, словно обрывки запылившейся кисеи. Медленно прошло поперек экрана ослепительное лиловое солнце, пыльная кисея закрыла все и тут же исчезла. Мы увидели далеко внизу плоскогорье, затянутое сиреневой дымкой, ужасные шрамы бездонных ущелий, неправдоподобно острые пики, покрытые вечными снегами,— безрадостный ледяной мир, уходящий за горизонт, мертвый, истрескавшийся, ощетиненный. И мы увидели мощное, лаково отсвечивающее колено Малыша, повисшее над бездной, и его черную руку, крепко вцепившуюся в осязаемое ничто.

Честно говоря, в эту минуту я перестал верить своим глазам и посмотрел, ведется ли запись. Запись велась. Но у Вандерхузе вид был тоже озадаченный, а Майка недоверчиво щурилась и вертела шеей, словно ей мешал воротник. Только Комов был совершенно спокоен и неподвижен — сидел, уперев локти в панель и положив подбородок на сплетенные пальцы.

А Малыш уже падал. Каменная пустыня стремительно надвигалась, слегка поворачиваясь вокруг невидимой оси, и ясно было, куда уходила эта ось — в черную трещину, расколовшую бурое поле, загроможденное обломками скал. Трещина росла, ширилась, освещенный солнцем край ее казался гладким и совершенно отвесным, а о том, чтобы увидеть дно, не могло быть и речи,— там царила сплошная тьма. И в эту тьму стремительно ворвался Малыш; изображение исчезло, и Майка, протянув руку, включила усиление, но и с усилением ничего нельзя было разглядеть, кроме струящихся по экрану неопределенных серых полос. Затем Малыш издал пронзительный вопль, и движение остановилось. «Разбился!» — подумал я в ужасе. Майка изо всей силы вцепилась мне в запястье.

На экране виднелись какие-то смутные неподвижные пятна, все было серое и черное, и слышались странные звуки — какое-то бульканье, хриплое курлыканье, шипение. Возник знакомый черный силуэт руки с растопыренными пальцами и скрылся. Смутные пятна поплыли, сменяя друг друга, курлыканье и бульканье становилось то громче, то тише, разгорелся и погас оранжевый огонек, потом еще один, и еще... Что-то коротко взревело и пошло отдаваться многократным эхом. «Дайте инфра»,— сквозь

зубы проговорил Комов. Майка схватилась за верньер инфракрасного усиления и повернула его до отказа. Экран сразу посветлел, но я по-прежнему ничего не понимал.

Все пространство было заполнено фосфоресцирующим туманом. Правда, это был не обычный туман, в нем угадывалась какая-то структура — словно срез животной ткани под расфокусированным микроскопом,— и в этом структурном тумане угадывались местами более светлые уплотнения и собрания темных пульсирующих зерен, и все это словно бы висело в воздухе, иногда вдруг совсем пропадало и появлялось вновь, а Малыш шел через это, будто на самом деле ничего этого не было, шел, вытянув перед собой светящиеся руки с растопыренными пальцами, а вокруг — булькало, хрипело, журчало, звонко тикало.

Так он шел долго, и мы не сразу заметили, что рисунок структуры бледнеет, расплывается, и вот на экране осталось только молочное свечение и едва заметные очертания растопыренных пальцев Малыша. И тогда Малыш остановился. Мы поняли это потому, что звуки перестали приближаться и удаляться. Те самые звуки. Целая лавина, целый каскад звуков. Хриплые гулы, басистое бормотание, задавленные писки... что-то сочно лопнуло и разлетелось звонкими брызгами... зудение, скрип, медные удары... А потом в ровном сиянии проступили темные пятна, десятки темных пятен, больших и маленьких; сначала смутные, они принимали все более определенные очертания, становились все более похожими на что-то удивительно знакомое, и вдруг я догадался, что это такое. Это было совершенно невозможно, но я уже не мог отогнать от себя эту мысль. Люди. Десятки, сотни людей, целая толпа, выстроенная в правильном порядке и видимая словно бы несколько сверху... И тут что-то произошло. На какую-то долю мгновения изображение сделалось совершенно ясным. Слишком ненадолго, впрочем, чтобы можно было рассмотреть что-либо. Затем раздался отчаянный крик, изображение перевернулось и пропало вовсе. И сейчас же бешеный голос Комова произнес:

— Зачем вы это сделали?

Экран был мертв. Комов стоял, неестественно выпрямившись, сжатые кулаки его упирались в пульт. Он смотрел на Майку. Майка была бледна, но спокойна. Она тоже поднялась и теперь стояла перед Комовым лицо к лицу Она молчала.

— Что случилось? — осторожно осведомился Вандерхузе. По-видимому, он тоже ничего не понимал.

— Вы либо хулиганка, либо...— Комов остановился.— Исключаю вас из группы контакта. Запрещаю вам выходить из корабля, входить в рубку и на пост УАС. Ступайте отсюда.

Майка, по-прежнему не говоря ни слова, повернулась и вышла. Ни секунды не раздумывая, я двинулся за ней.

— Попов! — резко сказал Комов.

Я остановился.

Прошу вас немедленно передать эту запись в Центр. Экстренно.

Он смотрел мне прямо в глаза, и я почувствовал себя нехорошо. Такого Комова я еще никогда не видел. Такой Комов имел несомненное право приказывать, сажать под домашний арест и вообще подавлять любой бунт в самом зародыше. У меня было ощущение, что я сейчас разорвусь пополам. «Как Малыш»,— мелькнуло у меня в голове.

Вандерхузе произнес, кашлянув:

— Э-э, Геннадий. Может быть, все-таки не в Центр? Горбовский ведь уже на базе. Может быть, все-таки на базу, как вы полагаете?

Комов все смотрел на меня. Суженные глаза его казались льдинками.

— Да, конечно,— проговорил он, совершенно, впрочем, спокойно. Копию на базу, Горбовскому. Благодарю вас, Яков. Попов, приступайте.

Мне ничего не оставалось делать, кроме как приступить. Но я был недоволен. Если бы мы носили фуражки, как в старину, я бы повернул свою фуражку козырьком назад. Но фуражки на мне не было, и поэтому я, извлекая из рекордера кассету ограничился тем, что спросил с вызовом:

А что собственно, произошло? Что она такого сделала?

Некоторое время Комов молчал. Он уже снова сидел в своем кресле и, покусывая губу, барабанил пальцем по подлокотнику. Вандерхузе, растопырив бакенбарды, тоже смотрел на него с ожиданием.

Она включила прожектор,— сказал наконец Комов.

Я не сразу понял.

Какой прожектор?

Комов, не отвечая, показал пальцем на утопленную клавишу.

— А,— произнес Вандерхузе с огорчением.

А я ничего не сказал. Я взял кассету и пошел к рации. Если честно, говорить мне было нечего. Даже за меньшие провинности людей с шумом и позором вышибали из космоса. Майка включила аварийную лампу-вспышку, вмонтированную в обруч. И можно было представить себе, каково пришлось обитателям пещеры, когда в вечном мраке на мгновение вспыхнуло маленькое солнце. Разведчика, потерявшего сознание, по этой вспышке можно обнаружить с орбиты даже на освещенной стороне планеты... даже если он засыпан... Такой прожектор излучает в диапазоне от ультрафиолета до УКВ... Не было еще случая, чтобы разведчику не удалось отпугнуть такой вспышкой самое бешеное, самое кровожадное животное. Даже тахорги, которые вообще ничего на свете не боятся, тормозят задними ногами, останавливая свой неудержимый разбег... «С ума сошла,— подумал я безнадежно.— Совсем взбесилась...» Но вслух я сказал (усаживаясь за рацию):

— Подумаешь! Нажал человек не на ту клавишу, ошибся...

— Да, действительно,— произнес Вандерхузе.— Наверное, так оно и было. Она, очевидно, хотела включить инфракрасный прожектор... Клавиши рядом... Как вы полагаете, Геннадий?

Комов молчал. Что-то он там делал на пульте. Я не хотел на него смотреть. Я включил автомат и стал демонстративно глядеть в другую сторону.

— Неприятно, конечно,— бормотал Вандерхузе,— Ай-яй-яй-яй... В самом деле, ведь это может отразиться... Активное воздействие... Вряд ли приятное... Гм... У нас у всех несколько напряжены нервы в последнее время, Геннадий. Неудивительно, что девочка ошиблась... Мне самому хотелось, знаете ли, что-нибудь сделать... как-то улучшить изображение... Бедный Малыш. По-моему, это он закричал...

— Вот,— сказал Комов.— Можете полюбоваться. Три с половиной кадра.

Было слышно, как Вандерхузе озабоченно засопел. Я не удержался и оглянулся на них. Ничего не было видно за их сдвинутыми головами, поэтому я встал и подошел. На экране было то самое, что я увидел в последнее мгновение, но не успел воспринять. Изображение было отличное, и все-таки я совершенно не понимал, что это такое. Много

людей, множество черных фигурок, абсолютно одинаковых, выстроенных в шахматном порядке. Стояли они как бы на ровной и хорошо освещенной площади. Передние фигурки были больше, задние, в полном соответствии с законами перспективы, меньше. Впрочем, ряды казались бесконечными и где-то вдали сливались в сплошные черные полосы.

— Это Малыш,— проговорил Комов.— Узнаете?

До меня дошло: действительно, это был Малыш, повторенный, как в бесчисленных зеркалах, бесчисленное множество раз.

— Похоже на многократное отражение,— пробормотал Вандерхузе.

— Отражение...— повторил Комов.— А где же тогда отражение лампы? И где у Малыша тень?

— Не знаю,— честно признался Вандерхузе.— Действительно, тень должна быть.

— А вы что думаете, Стась? — спросил Комов, не оборачиваясь.

— Ничего,— коротко сказал я и вернулся на свое место.

На самом деле я, конечно, думал, у меня мозги скрипели — так я думал, но придумать ничего не мог. Больше всего мне это напоминало формалистический рисунок пером.

— Да, не много мы узнали,— проговорил Комов.— Даже шерсти клок оказался никудышным...

— Охо-хо-хо-хонюшки,— проговорил Вандерхузе, тяжело поднялся и вышел.

Мне тоже очень хотелось выйти и посмотреть, как там Майка. Но я взглянул на хронометр — до конца передачи оставалось еще минут десять. Комов шуршал и возился у меня за спиной. Потом рука его протянулась через мое плечо, и на пульт передо мной лег голубой бланк радиограммы.

— Это объяснительная записка,— сказал Комов.— Отправьте сразу же по окончании передачи записи.

Я прочел радиограмму.

ЭР-2, КОМОВ — БАЗА, ГОРБОВСКОМУ, КОПИЯ: ЦЕНТР, БАДЕРУ. НАПРАВЛЯЕТСЯ ВАМ ЗАПИСЬ С ПЕРЕДАТЧИКА ТИПА ТГ. НОСИТЕЛЬ МАЛЫШ. ЗАПИСЬ ВЕЛАСЬ С 13.46 ПО 17.02 ВВ. ПРЕРВАНА ВСЛЕДСТВИЕ СЛУЧАЙНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ЛАМПЫ-ВСПЫШКИ ПО МОЕЙ НЕБРЕЖНОСТИ. СИТУАЦИЯ НА НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ.

Я не понял и перечитал радиограмму еще раз. Потом я оглянулся на Комова. Он сидел в прежней позе, положив подбородок на сплетенные пальцы, и смотрел на обзорный экран. Не то чтобы горячая волна благодарности захлестнула меня с головой. Нет, этого не было. Слишком мало симпатии испытывал я к этому человеку. Но должного ему нельзя было не отдать. В такой ситуации не всякий поступил бы столь же решительно и просто. И неважно, собственно, почему он так поступил: потому ли, что пожалел Майку (сомнительно), или устыдился своей резкости (более похоже на правду), или потому, что принадлежит к руководителям того типа, которые совершенно искренне считают проступки подчиненных своими проступками. Во всяком случае, для Майки опасность птичкой вылететь из космоса существенно уменьшилась, а позиция и реноме самого Комова заметно ухудшились. Ладно, Геннадий Юрьевич, при случае это вам зачтется. Такие действия надлежит всячески поощрять. А с Майкой мы еще поговорим. Какого дьявола, в самом деле? Что она — маленькая? В куклы она тут играть решила?

Автомат звякнул и выключился, я взялся за радиограмму. Вошел Вандерхузе, толкая перед собой столик на колесах. Совершенно бесшумно и с необыкновенной легкостью, которая сделала бы честь самому квалифицированному киберу, он поставил поднос с тарелками у правого локтя Комова. Комов рассеянно поблагодарил. Я взял себе стакан томатного сока, выпил и налил еще.

— А салат? — огорченно спросил Вандерхузе.

Я покачал головой и сказал в спину Комову:

— У меня все закончено. Можно быть свободным?

— Да,— ответил Комов, не оборачиваясь.— Из корабля не выходить.

В коридоре Вандерхузе сообщил мне:

— Майка обедает.

— Истеричка,— сказал я со злостью.

— Напротив. Я бы сказал, что она спокойна и довольна. И никаких следов раскаяния.

Мы вместе вошли в кают-компанию. Майка сидела за столом, ела суп и читала какую-то книжку.

— Здорово, арестант,— сказал я, усаживаясь перед ней со своим стаканом.

Майка оторвалась от книжки и поглядела на меня, прищурив один глаз.

— Как начальство? — осведомилась она.

— В тягостном раздумье,— сказал я, разглядывая ее.— Решает, вздернуть ли тебя на фок-рее немедленно или довезти до Дувра, где тебя повесят на цепях.

— А что на горизонтах?

— Без изменений.

— Да,— сказала Майка,— теперь он больше не придет.

Она сказала это с явным удовлетворением. Глаза у нее были веселые и отчаянные, как давеча. Я отхлебнул томатного сока и покосился на Вандерхузе. Вандерхузе с постным видом поедал мой салат. Мне вдруг пришло в голову: а капитан-то наш рад-радехонек, что не он командует в сей кампании.

— Да,— сказал я.— Похоже на то, что контакт ты нам сорвала.

— Грешна,— коротко ответила Майка и снова уткнулась в книгу. Только она не читала. Она ждала продолжения.

— Будем надеяться, что дело обстоит не так плохо,— сказал Вандерхузе.— Будем надеяться, что это просто очередное осложнение.

— Вы думаете, Малыш вернется? — спросил я.

— Думаю, да,— сказал Вандерхузе со вздохом.— Он слишком любит задавать вопросы. А теперь у него появилась масса новых.— Он доел салат и поднялся.— Пойду в рубку,— сообщил он.— Сказать по правде, это очень некрасивая история. Я понимаю тебя, Майка, но ни в какой степени не оправдываю. Так, знаешь ли, не поступают...

Майка ничего не ответила, и Вандерхузе удалился, толкая перед собою столик. Как только шаги его затихли, я спросил, стараясь говорить вежливо, но строго:

— Ты это сделала нарочно или случайно?

— А ты как полагаешь? — спросила Майка, уставясь в книгу.

— Комов взял вину на себя,— сказал я.

— То есть?

— Лампа-вспышка была включена, оказывается, по его небрежности.

— Очень мило,— произнесла Майка. Она положила книжку и потянулась.— Великолепный жест.

— Это все, что ты можешь мне сказать?

— А что тебе, собственно, нужно? Чистосердечное признание? Раскаяние? Слезы в жилетку?

Я снова отхлебнул соку. Я сдерживался.

— Прежде всего я хотел бы узнать: случайно или нарочно?

— Нарочно. Что дальше?

— Дальше я хотел бы узнать: для чего ты это сделала?

— Я сделала это для того, чтобы раз и навсегда прекратить безобразие. Дальше?

— Какое безобразие? О чем ты говоришь?

— Потому что это отвратительно! — сказала Майка с силой.— Потому что это было бесчеловечно. Потому что я не могла сидеть сложа руки и наблюдать, как гнусная комедия превращается в трагедию.— Она отшвырнула книжку.— И нечего сверкать на меня глазами! И нечего за меня заступаться! Ах, как он великодушен! Любимец доктора Мбога! Все равно я уйду. Уйду в школу и буду учить ребят, чтобы они вовремя хватали за руку всех этих фанатиков абстрактных идей и дураков, которые им подпевают!

У меня было благое намерение выдержать вежливый, корректный тон до конца. Но тут терпение мое лопнуло. У меня вообще дело с терпением обстоит неважно.

— Нагло! — сказал я, не находя слов.— Нагло себя ведешь! Нагло!

Я попытался еще раз отхлебнуть соку, но выяснилось, что стакан пуст. Как-то незаметно я успел все выхлебать.

— А дальше? — спросила Майка, презрительно усмехаясь.

— Все,— сказал я угрюмо, разглядывая пустой стакан.

Действительно, сказать мне было больше нечего. Расстрелял я весь свой боезапас. Вероятно, я и шел-то к Майке не для того, чтобы разобраться, а просто чтобы обругать ее.

— А если все,— сказала Майка,— то иди в рубку и целуйся со своим Комовым. А заодно со своим Томом и прочей своей кибернетикой. А мы, знаешь ли, просто люди, и ничто человеческое нам не чуждо.

Я отодвинул стакан и встал. Говорить больше было не о чем. Все было ясно. Был у меня товарищ — нет у меня товарища. Ну что ж, перебьемся.

— Приятного аппетита,— сказал я и на негнущихся ногах направился в коридор.

Сердце у меня колотилось, губы отвратительно дрожали. Я заперся у себя в каюте, повалился на постель и уткнулся носом в подушку. В голове у меня горькой и

бездонной пустоте кружились, сталкивались и рассыпались невысказанные слова. Глупо. Глупо!.. Ну, ладно, ну, не нравится тебе эта затея. Мало ли кому что не нравится! В конце концов, тебя сюда не приглашали, случайно ты здесь оказалась, так веди себя как полагается! Ведь не понимаешь же ничего в контактах, квартирьер несчастный... Снимай свои паршивые кроки и делай то, что тебе говорят! Ну что ты смыслишь в абстрактных идеях? И где ты их вообще видела — абстрактные? Ведь сегодня она абстрактная, а завтра без нее история остановится... Ну, хорошо, ну, не нравится тебе. Ну, откажись!.. Ведь так все шло славно, только-только с Малышом сошлись, такой парень чудесный, умница, с ним горы можно было бы своротить! Эх ты, квартирьер! Друг, называется... А теперь вот ни Малыша, ни друга... И Комов тоже хорош: ломится, как вездеход, напролом, ни посоветуется, ни объяснит ничего толком... Не-ет, чтобы я еще когда-нибудь в контактах участвовал — дудки! Кончится вся эта кутерьма, немедленно подаю заявление в проект «Ковчег-2» — с Вадиком, с Таней, с головастой Нинон, в конце концов. Как зверь буду работать, без болтовни, ни на что не отвлекаясь. Никаких контактов!.. Незаметно я заснул и спал так, что только бурболки отскакивали, как говаривал мой прадед. Все-таки за последние двое суток я не спал и четырех часов. Еле-еле Вандерхузе меня добудился. Пора было на вахту.

— А Майка? — спросил я спросонок, но тут же спохватился. Впрочем, Вандерхузе сделал вид, что не расслышал.

Я принял душ, оделся и пошел в рубку. Давешние неприятные ощущения вновь овладели мною. Не хотелось ни с кем разговаривать, не хотелось никого видеть. Вандерхузе сдал вахту и ушел спать, сообщив, что вокруг корабля ничего не происходит и что через шесть часов меня сменит Комов.

Было ровно двадцать два по бортовому времени. На экране играли сполохи над хребтом, дул сильный ветер с океана — рвал в клочья туманную шапку над горячей трясиной, прижимал к промерзшему песку оголенные кусты, швырял на пляж клочья мгновенно замерзающей пены. На посадочной полосе, слегка кренясь навстречу ветру, торчал одинокий Том. Все сигнальные огни его сообщали, что он в простое, никаких заданий не имеет и пребывает в готовности выполнить любое приказание. Очень грустный пей-

заж. Я включил внешнюю акустику, с минуту послушал рев океана, свист и завывание ветра, дробный стук ледяных капель по обшивке, и снова отключился.

Я попытался представить себе, что сейчас делает Малыш, вспомнил горячий ячеистый туман, размытые сгустки света, а точнее — не света, конечно, а тепла, и это ровное сияние, наполненное кашей странных звуков, и загадочный строй отражений, которые не были отражениями... Ну, что ж, ему там, наверное, тепло, уютно, привычно и есть, ох, есть о чем поразмышлять. Забился, наверное, в какой-нибудь каменный угол и тяжко переживает обиду, которую нанесла ему Майка («Мам-ма...» — «Да, колокольчик»,— вспомнил я.). С точки зрения Малыша все это должно выглядеть крайне нечестно. Я бы на его месте больше сюда никогда бы не пришел... А ведь Комов так обрадовался, когда Майка нацепила на Малыша свой обруч. «Молодец, Майя,— сказал он.— Это хороший шанс, я бы не рискнул...» Впрочем, все равно из этой идеи ничего не получилось бы. Все-таки конструкторы ТГ многого не додумали. Объектив, например, надо было делать стерео... хотя, конечно, ТГ предназначается совсем для других целей... Но кое-что подсмотреть все-таки удалось. Скажем, как Малыш летел. Только — каким образом летел, почему летел, на чем летел?.. И эта сцена у разбитого «Пеликана»... Планета невидимок. Да, наверное, любопытные вещи можно было бы здесь увидеть, если бы Комов разрешил запустить сторожа-разведчика. Может быть, теперь разрешит? Да и сторожа-разведчика не нужно. На первый случай просто пройтись локатором-пробником по горизонту...

Запел радиовызов. Я подошел к рации. Незнакомый голос очень вежливо, я бы даже сказал, робко попросил Комова.

— Кто вызывает? — осведомился я не очень приветливо.

— Это такой член Комиссии по контактам. Горбовский моя фамилия.— Я сел.— Мне очень нужно поговорить с Геннадием Юрьевичем. Или он, может быть, спит?

— Сейчас, Леонид Андреевич,— забормотал я.— Сию минутку, Леонид Андреевич...— Я торопливо включил интерком.— Комова в рубку,— сказал я.— Срочный вызов с базы.

— Да не такой уж срочный...— запротестовал Горбовский.

— Вызывает Леонид Андреевич Горбовский! — торжественно добавил я в интерком, чтобы Комов там не слишком копался.

— Молодой человек...— позвал Горбовский.

— На вахте Стась Попов, кибертехник! — отрапортовал я.— За время моей вахты никаких происшествий не произошло!

Горбовский помолчал, потом неуверенно произнес:

— Вольно...

Послышался стук торопливых шагов, и в рубку быстро вошел Комов. Лицо у него было осунувшееся, глаза стеклянные, под глазами темные круги. Я поднялся и уступил ему место.

— Комов слушает,— проговорил он.— Это вы, Леонид Андреевич?

— Это я, здравствуйте...— отозвался Горбовский.— Слушайте, Геннадий, а нельзя ли нам сделать так, чтобы мы друг друга видели? Тут какие-то кнопки...

Комов только глянул на меня, и руки мои сами протянулись к пульту и подключили визор. Мы, радисты, обычно держим визор отключенным. По разным причинам.

— Ага,— удовлетворенно сказал Горбовский.— Вот я вас начинаю видеть.

На нашем экранчике тоже появилось изображение — знакомое мне по портретам и описаниям длинное и как бы слегка вдавленное внутрь лицо Леонида Андреевича. Правда, на портретах он обычно выглядел этаким античным философом, а сейчас вид имел несколько унылый, разочарованный, и на широком утином носу его, к моему изумлению, имела место царапина — по-моему, совсем свежая. Когда изображение установилось, я отступил и тихонько уселся на место вахтенного. У меня появилось сильнейшее предчувствие, что я сейчас буду выгнан, поэтому я принялся сосредоточенно озирать терзаемые ураганом окрестности.

Горбовский сказал:

— Во-первых, большое вам спасибо, Геннадий. Я просмотрел все ваши материалы и должен вам сказать, что это нечто совершенно особенное. Безумно интересно. Изобретательно, изящно... молниеносно...

— Польщен,— отрывисто сказал Комов.— Но...

— Почему «но»? — удивился Горбовский.— «И» — вы хотите сказать. И большинство членов Комиссии придер-

живается того же мнения. Трудно поверить, что такая колоссальная работа проделана за двое суток.

— Я здесь ни при чем,— сухо сказал Комов.— Благоприятные обстоятельства, только и всего.

— Нет, не говорите,— живо возразил Горбовский.— Согласитесь, вы же заранее знали, с кем имели дело. Это не просто — знать заранее. А потом — ваша решительность, интуиция... энергия...

— Я польщен, Леонид Андреевич,— повторил Комов, чуть повысив голос.

Горбовский помолчал и вдруг очень тихо спросил:

— Геннадий, как вы представляете себе дальнейшую судьбу Малыша?

Ощущение, что меня сейчас же, немедленно, в мгновение ока, с наивозможной быстротой и прямотой попросят из рубки, достигло во мне апогея. Я съежился и перестал дышать.

Комов сказал:

— Малыш будет посредником между Землей и аборигенами.

— Я понимаю,— сказал Горбовский.— Это было бы прекрасно. А если контакт не состоится?

— Леонид Андреевич,— произнес Комов жестко.— Давайте говорить прямо. Давайте выскажем вслух то, о чем мы с вами сейчас думаем, и то, чего мы опасаемся больше всего. Я стремлюсь превратить Малыша в орудие Земли. Для этого я всеми доступными мне средствами и совершенно беспощадно, если так можно выразиться, стремлюсь восстановить в нем человека. Вся трудность заключается в том, что человеческая психика, земное отношение к миру в высшей степени, по-видимому, чужды аборигенам, воспитавшим Малыша. Они отталкиваются от нас, они не хотят нас. И этим отношением к нам насквозь пропитано все подсознание Малыша. К счастью или к несчастью, аборигены оставили в Малыше достаточно человеческого, чтобы мы получили возможность завладеть его сознанием. Ситуация, возникшая сейчас,— ситуация критическая. Сознание Малыша принадлежит нам. Подсознание — им. Конфликт очень тяжелый и рискованный, я это прекрасно сознаю, но этот конфликт разрешим. Мне нужно еще буквально несколько дней, чтобы подготовить Малыша. Я раскрою ему истинное положение дел, освобожу его подсознание, и Малыш превратится целиком и полностью в нашего сотрудника. Вы не можете не пони-

мать, Леонид Андреевич, какую ценность представляет для нас такое сотрудничество... Я предвижу множество трудностей. Например, подсознательное отталкивание в принципе может превратиться у Малыша — после того, как мы раскроем ему истинное положение дел,— в сознательное стремление защитить от нас свой «дом», своих спасителей и воспитателей. Может быть, возникнут новые опасные напряжения. Но я уверен: мы сумеем убедить Малыша, что наши цивилизации — это равные партнеры со своими достоинствами и недостатками, и тогда он, как посредник между нами, сможет всю жизнь черпать и с той, и с другой стороны, не опасаясь ни за тех, ни за других. Он будет горд своим исключительным положением, жизнь его будет радостна и полна...— Комов помолчал.— Мы должны, мы обязаны рискнуть. Такого случая больше не будет никогда. Вот моя точка зрения, Леонид Андреевич.

— Понимаю,— сказал Горбовский.— Знаю ваши идеи, ценю их. Знаю, во имя чего вы предлагаете рискнуть. Но согласитесь, риск не должен превышать какого-то предела. Поймите, с самого начала я был на вашей стороне. Я знал, что мы рискуем, мне было страшно, но я все думал: а вдруг обойдется? Какие перспективы, какие возможности!.. И еще я все думал, что мы всегда успеем отступить. Мне и в голову не приходило, что мальчик окажется таким коммуникабельным, что дело зайдет так далеко уже через двое суток.— Горбовский сделал паузу.— Геннадий, контакта ведь не будет. Пора бить отбой.

— Контакт будет! — сказал Комов.

— Контакта не будет,— мягко, но настойчиво повторил Горбовский.— Вы ведь прекрасно понимаете, Геннадий, что мы имеем дело со свернувшейся цивилизацией. С разумом, замкнутым на себя.

— Это не замкнутость,— сказал Комов.— Это квазизамкнутость. Они стерилизовали планету и явно поддерживают ее в таком состоянии. Они почему-то спасли и воспитали Малыша. Они, наконец, очень неплохо осведомлены о человечестве. Это квазизамкнутость, Леонид Андреевич.

— Ну, Геннадий, абсолютная замкнутость — это теоретическая идеализация. Конечно, всегда остается какая-то функциональная деятельность, направленная вовне, например, санитарно-гигиеническая. Что же касается Малыша... Конечно, все это домыслы, но ведь если цивили-

зация достаточно стара, гуманизм ее мог превратиться в безусловный социальный рефлекс, в социальный инстинкт. Ребенок был спасен просто потому, что в такой акции испытывалась потребность...

— Все это возможно,— сказал Комов. Не в домыслах сейчас дело. Важно то, что это квазизамкнутость, что лазейки для контакта остаются. Конечно, процесс сближения будет очень длителен. Может быть, понадобится на полтора, на два порядка больше времени, чем для сближения с обычной разомкнутой цивилизацией... Нет, Леонид Андреевич. Обо всем этом я думал, и вы сами хорошо понимаете, что ничего нового вы мне не сказали. Ваше мнение против моего — и только. Вы предлагаете отступиться, а я хочу использовать этот единственный шанс до конца.

— Геннадий, не только я думаю, что контакта не будет,— тихонько сказал Горбовский.

— Кто же еще? — осведомился Комов с легкой иронией.— Август-Иоганн-Мария Бадер?

— Нет, и не только Бадер. Честно говоря, я скрыл от вас одну козырную карту, Геннадий... Вам никогда не приходило в голову, что Шура Семенов стер бортжурнал не на планете, а еще в космосе; не потому, что увидел разумных чудовищ, а потому, что еще в космосе подвергся нападению и решил, что на планете господствует высокоразвитая агрессивная цивилизация? Нам это в голову пришло. Не сразу, конечно,— вначале мы просто сделали правильные выводы из неверной предпосылки, как и вы. Но как только эта мысль пришла нам в голову, мы принялись обшаривать околопланетное пространство. И вот два часа назад пришло сообщение, что он наконец обнаружен.— Горбовский замолчал.

Я прилагал гигантские усилия, чтобы не закричать: «Кто? Кто обнаружен?» По-моему, Горбовский ждал такого возгласа. Но не дождался. Комов безмолвствовал. Горбовский был вынужден продолжать.

— Он великолепно замаскирован. Он поглощает почти все лучи. Мы бы никогда не нашли его, если бы не искали специально, да и то пришлось применить что-то совсем новое — мне объясняли, но я не понял, что именно,— какой-то вакуумный концентратор. В общем, мы его нащупали и взяли на абордаж. Спутник-автомат, что-то вроде вооруженного часового. Судя по некоторым деталям конструкции, его установили здесь Странники. Очень давно

установили, порядка сотни тысяч лет назад. К счастью для участников проекта «Ковчег», он нес на себе всего два заряда. Первый заряд был выпущен в незапамятные времена, мы уже теперь и не узнаем, наверное, по кому. Второй заряд пришелся на долю Семеновых. Странники считали эту планету запрещенной, иного объяснения я придумать не могу. Вопрос: почему? В свете того, что мы знаем, ответ может быть только один: они на своем опыте поняли, что местная цивилизация некоммуникабельна, более того – она замкнута, более того — контакт грозит серьезными потрясениями для этой цивилизации. Если бы на моей стороне был только Август-Иоганн-Мария Бадер... Но, насколько я помню, вы всегда с большим уважением отзывались о Странниках, Геннадий.— Горбовский снова помолчал.— Однако дело не только в этом. При прочих равных условиях мы, невзирая даже на мнение Странников, могли бы позволить себе очень осторожные, очень постепенные попытки развернуть этих свернувшихся аборигенов. В худшем случае наш опыт обогатился бы еще одним отрицательным результатом. Мы бы поставили здесь какой-нибудь знак и убрались бы восвояси. Это было бы делом только наших двух цивилизаций... Но дело в том, что между нашими двумя цивилизациями, как между молотом и наковальней, оказалась сейчас третья, и за эту третью, Геннадий, за единственного ее представителя, Малыша, мы вот уже несколько суток несем всю полноту ответственности.

Я услышал, как Комов глубоко вздохнул, и наступило долгое молчание. Когда Комов заговорил снова, голос у него был какой-то необычный, какой-то надломленный. Заговорил он о Странниках; сначала подивился тому, что Странники, поставив охранный спутник, пошли на риск, граничащий с преступлением, но потом сам же вспомнил косвенные данные, согласно которым Странники всегда путешествуют целыми эскадрами и всякий одиночный звездолет в их представлении не может быть ни чем иным, кроме автоматического зонда. Поговорил он также о том, что и на Земле приходит к концу полувековая варварская эпоха одиночных полетов в свободный поиск — слишком много жертв, слишком много нелепых ошибок, слишком мало толку. «Да,— соглашался Горбовский,— я тоже об этом думал». Потом Комов вспомнил о случаях загадочного исчезновения автоматических разведчиков, запущенных к некоторым планетам. «У нас все руки не доходили

проанализировать эти исчезновения, а ведь теперь они предстают в новом свете».— «И верно! — с энтузиазмом подхватил Горбовский.— Об этом я как раз не подумал, это очень интересная мысль». Поговорили об охранном спутнике, подивились, что он нес только два заряда, попытались прикинуть, каковы же в этом случае должны быть представления Странников об обитаемости Вселенной, нашли, что в конечном счете они не очень отличаются от наших представлений, но сама собой возникает мысль, что Странники, по-видимому намеревались вернуться сюда, да вот почему-то не вернулись — возможно, прав Боровик, полагая, что Странники вообще покинули Галактику. Комов полушутливо предположил, что аборигены и есть Странники — угомонившиеся, насытившиеся внешней информацией, замкнувшейся на себя. Горбовский опять намекнул на идеи Комова и тоже в шутку стал его допрашивать, как надлежит оценивать такую эволюцию Странников в свете теории вертикального прогресса.

Потом поговорили о здоровье доктора Мбога, перескочили внезапно на умиротворение какой-то Островной Империи и о роли в этом умиротворении некоего Карла-Людвига, которого они почему-то тоже называли Странником; плавно и как-то неуловимо перешли от Карла-Людвига к вопросу о пределах компетенции Совета Галактической Безопасности, согласились на том, что в компетенцию эту входят только гуманоидные цивилизации... Очень скоро я перестал понимать, о чем они говорят, а главное — почему они говорят именно об этом.

Потом Горбовский сказал:

– Я вас совсем заморил, Геннадий, извините. Идите отдыхать. Очень приятно было с вами побеседовать. Мы таки давненько не видались.

— Но скоро, конечно, увидимся вновь,— проговорил Комов с горечью.

— Да, думаю, дня через два. Бадер уже в пути, Боровик тоже. Я думаю, что послезавтра весь Комкон будет на базе.

— Значит, до послезавтра,— сказал Комов.

— Передайте привет вашему вахтенному... Стасю, кажется. Очень он у вас... такой... строевой, я бы сказал. И Якову, Якову обязательно передайте привет! Ну, и всем остальным, конечно.

Они попрощались.

Я сидел тихо, как мышь, и продолжал бессмысленно таращиться на обзорный экран, ничего не видя, ничего не понимая. За спиной у меня не было слышно ни звука. Минуты тянулись нестерпимо медленно. От желания обернуться у меня окаменела шея и кололо под лопаткой. Мне было совершенно ясно, что Комов сражен. Во всяком случае, я был сражен наповал. Я искал ответ за Комова, но в голове у меня бессмысленно вертелось только одно: «А что мне Странники? Подумаешь, Странники! Я сам в некотором роде Странник...»

Вдруг Комов сказал:

- Ну, а ваше мнение, Стась?

Я чуть было не ляпнул: «А что нам Странники?» — но удержался. Посидел секунду в прежней позе для значительности, а потом повернулся вместе с креслом. Комов, положив подбородок на сплетенные пальцы, смотрел на потухший экранчик визора. Глаза его были полузакрыты, рот какой-то скорбный.

— Наверное, придется выждать...— сказал я.— Что ж делать... Да и Малыш, может быть, больше не придет... во всяком случае, не скоро придет...

Комов усмехнулся краем рта.

- Малыш-то придет,— сказал он.— Малыш слишком любит задавать вопросы. А представляете, сколько у него теперь новых вопросов?

Это было почти слово в слово то, что сказал в кают-компании Вандерхузе.

- Тогда, может быть...— пробормотал я нерешительно,— может быть, и на самом деле лучше...

Ну что я мог ему сказать? После Горбовского, после самого Комова что мог сказать незаметный рядовой кибертехник, двадцати лет, стаж практической работы шесть с половиной суток,— парень, может быть, и неплохой, трудолюбивый, интересующийся и все такое, но, прямо надо признать, не великого ума, простоватый, невежественный...

— Может быть,— вяло сказал Комов. Он поднялся, направился, шаркая подошвами, к выходу, но на пороге остановился. Лицо его вдруг исказилось. Он почти выкрикнул: — Неужели же никто из вас не понимает, что Малыш — это случай единственный, случай, по сути дела, невозможный, а потому единственный и последний! Ведь этого больше не случится никогда. Понимаете? Ни-ког-да!

Он ушел, а я остался сидеть лицом к рации и спиной к экрану и старался разобраться не столько даже в мыслях своих, сколько в чувствах. Никогда!.. Конечно, никогда. Как мы все здесь запутались! Бедный Комов, бедная Майка, бедный Малыш... А кто самый бедный? Теперь мы, конечно, отсюда уйдем. Малышу станет полегче, Майка пойдет учиться на педагога, так что, пожалуй, самый бедный — Комов. Это же надо придумать: наткнуться — лично наткнуться! — на уникальнейшую ситуацию, на уникальнейшую возможность подвести наконец под свои идеи экспериментальный базис, и вдруг — все вдребезги! Вдруг тот самый Малыш, который должен был стать верным помощником, неоценимым посредником, главным тараном, сокрушающим все преграды, сам превращается в главное препятствие... Ведь нельзя же ставить вопрос: будущее Малыша или вертикальный прогресс человечества. Тут какая-то логическая каверза, вроде апорий Зенона... Или не каверза? Или на самом деле вопрос так и следует ставить? Человечество все-таки... В задумчивости я повернулся в кресле лицом к экрану, рассеянно оглядел окрестности и ахнул. Великие вопросы мгновенно вылетели из головы.

Урагана как не бывало. Все вокруг было бело от инея и снега, а Том стоял совсем рядом с кораблем, на самой границе мертвой зоны, перед входным люком, и я сразу понял, что это Малыш сидит там на снегу и не решается войти — одинокий, раздираемый между двумя цивилизациями...

Я вскочил и галопом понесся по коридору. В кессоне я машинально схватил было доху, но тут же бросил ее, всем телом ударил в перепонку люка и вывалился наружу. Малыша не было. Глупый Том зажег огонек, испрашивая приказаний. Все было белое и искрилось в свете сполохов. Но у самого люка, у меня под ногами, чернел какой-то круглый предмет. Черт знает, какая дикость представилась мне на мгновение. Я даже не сразу заставил себя нагнуться.

Это был наш мяч. А на мяч был напялен обруч с «третьим глазом». Объектив был разбит, и вообще обруч выглядел так, словно побывал под обвалом.

И ни одного следа на снежной целине.

Он вызывает меня всякий раз, когда ему хочется побеседовать.

— Здравствуй, Стась,— говорит он.— Побеседуем? Давай?

Для связи выделено четыре часа в сутки, но он никогда не выдерживает расписания. Он его не признает. Он вызывает меня, когда я сплю, когда я сижу в ванне, когда я пишу отчеты, когда я готовлюсь к очередному разговору с ним, когда я помогаю ребятам, которые по винтику перебирают охранный спутник Странников... Я не сержусь. На него нельзя сердиться.

— Здравствуй, Малыш,— отзываюсь я.— Конечно, давай побеседуем.

Он жмурится, как бы от удовольствия, и задает свой стандартный вопрос:

— Ты сейчас настоящий, Стась? Или это твое изображение?

Я уверяю его, что это я, собственной персоной, Стась Попов, лично и без никаких изображений. Уже много раз я объяснял ему, что не умею строить изображения, и он, по-моему, давным-давно это понял, но вопрос остается. Может быть, он так шутит, может быть, без этого вопроса он не представляет себе нормальный обмен приветствиями, а может быть, ему просто нравится слово «изображение». Есть у него любимые слова — «изображение», «феноменально», «по бим-бом-брамселям»...

— Почему глаз видит? — начинает он.

Я объясняю ему, почему видит глаз. Он внимательно слушает, то и дело прикасаясь к своим глазам длинными чуткими пальцами. Он великолепно умеет слушать, и хотя теперь он бросил эту свою манеру — метаться как угорелый, когда его что-нибудь особенно поражает,— я все время чувствую в нем какой-то азарт, скрытую буйную страсть, неописуемый, недоступный мне, к сожалению, всепоглощающий восторг узнавания.

— Феноменально! — хвалит он, когда я заканчиваю.— Щелкунчик! Я это обдумаю, а потом спрошу еще раз...

Между прочим, эти его одинокие размышления над прослушанным (бешеный танец лицевых мускулов, замысловатые узоры из камней, прутьев, листьев) наводят его иногда на очень странные вопросы. Вот и сейчас:

— Как узнали, что люди думают головой? — спрашивает он.

Я слегка ошарашен и начинаю барахтаться. Он слушает меня по-прежнему внимательно, и постепенно я выплываю, нащупываю твердую почву под ногами, и все идет вроде бы гладко, и оба мы вроде бы довольны, но когда я заканчиваю, он объявляет:

— Нет. Это очень частное. Это не всегда и не везде. Если я думаю только головой, то почему я совсем не могу размышлять без рук?..

Я чувствую, что мы вступаем на скользкую почву. Центр категорически предписал мне любой ценой уклоняться от разговоров, которые могли бы навести Малыша на идею аборигенов. И предписал, надо сказать, правильно. Совсем избежать таких разговоров не удается, и в последнее время я заметил, что Малыш как-то очень болезненно переживает даже собственные ссылки на свой образ жизни. Может быть, начинает догадываться? Кто его знает... Я уже несколько дней жду его прямого вопроса. Хочу этого вопроса и боюсь его...

— Почему вы можете, а я не могу?

— Этого мы еще толком не знаем,— признаюсь я и осторожно добавляю: — Есть предположение, что ты все-таки не совсем человек...

— Тогда что же такое человек? — немедленно осведомляется он.— Что такое человек совсем?

Я очень неважно представляю себе, как можно ответить на такой вопрос, и обещаю рассказать ему об этом в следующую встречу. Он сделал из меня настоящего энциклопедиста. Иногда я круглые сутки глотаю и перевариваю информацию. Главный Информаторий работает на меня, крупнейшие специалисты по самым различным отраслям знания работают на меня, я обладаю правом в любую минуту связаться с любым из них и просить разъяснений — относительно моделирования П-абстракций, обмена веществ у абиссальных форм жизни, методики построения шахматных этюдов...

— У тебя усталый вид,— сочувственно замечает Малыш.— Ты устал?

— Ничего,— говорю я.— Терпеть можно.

— Странно, что ты устаешь,— сообщает он задумчиво.— Я почему-то никогда не устаю. А что такое, собственно, усталость?

Я набираю в грудь побольше воздуху и принимаюсь

объяснять ему, что такое усталость. Не переставая слушать, он раскладывает перед собою камешки, которые обработал для него старый добрый Том, придав им форму кубиков, шаров, параллелепипедов, конусов и более сложных фигур. К моменту, когда я заканчиваю, перед Малышом вырастает сложнейшее сооружение, решительно ни на что не похожее, но тем не менее в своем роде гармоническое и странно осмысленное.

— Ты рассказал хорошо,— говорит Малыш.— Скажи мне, наша беседа записывается?

— Да, конечно.

— Изображение хорошее, четкое? Изображение!

— Как всегда.

— Тогда пусть эту фигуру посмотрит дед. Посмотри, дед: узлы остывания здесь, здесь и здесь...

Дед Малыша, Павел Александрович Семенов, работает в области реализации абстракций в смысле Парсиваля. Он довольно рядовой ученый, но большой эрудит, и Малыш поддерживает с ним постоянную творческую связь. Павел Александрович говорил мне, что Малыш мыслит зачастую наивно, но всегда оригинально, и некоторые из его построений представляют определенный интерес для теории Парсиваля.

— Обязательно,— говорю я.— Непременно передам. Сегодня же.

— А может быть, это пустяки,— вдруг заявляет Малыш и одним движением сметает всю свою конструкцию.— Что сейчас делает Лева? — спрашивает он.

Лева — это старший инженер базы, большой шутник и анекдотчик. Когда Лева беседует с Малышом, околопланетный эфир заполняется хохотом и азартными визгами, а я испытываю что-то вроде ревности. Малыш очень любит Леву и обязательно каждый раз спрашивает о нем. Иногда он спрашивает и о Вандерхузе, и тогда чувствуется, что сладостная тайна бакенбард до сих пор осталась для него неразгаданной и острой. Раз или два он спросил о Комове, и мне пришлось объяснить ему, что такое проект «Ковчег-2», а также зачем этому проекту нужен ксеноспсихолог. А вот о Майке он не спросил ни разу. Когда я сам попытался заговорить о ней, когда попытался объяснить, что Майка, если и обманывала, то для его же, Малыша, пользы, что из нас четверых именно Майка первая поняла, как тяжело Малышу и как он нуждается в помощи,— когда я попытался все это ему растолковать, он просто встал и

ушел. И точно так же встал и ушел, когда я однажды, к слову, принялся объяснять ему, что такое ложь...

— Лева спит,— говорю я.— У нас тут сейчас ночь, вернее, ночное время бортовых суток.

— Значит, ты тоже спал? Я тебя опять разбудил?

— Это нестрашно,— говорю я искренне.— Мне интереснее с тобою, чем спать.

— Нет. Ты иди и спи,— решительно распоряжается Малыш.— Странные мы все-таки существа. Обязательно нам нужно спать.

Это «мы» подобно бальзаму проливается на мое сердце. Впрочем, Малыш последнее время часто говорит «мы», и я уже понемножку начал привыкать.

— Иди спать,— повторяет Малыш.— Но только скажи мне сначала: пока ты спишь, никто не придет на этот берег?

— Никто,— говорю я, как обычно.— Можешь не беспокоиться.

— Это хорошо,— говорит он с удовлетворением.— Так ты спи, а я пойду поразмышляю.

— Конечно, иди,— говорю я.

— До свидания,— говорит Малыш.

— До свидания,— говорю я и отключаюсь.

Но я знаю, что будет дальше, и я не иду спать. Мне совершенно ясно, что сегодня я опять не высплюсь.

Он сидит в своей обычной позе, к которой я привык и которая уже не кажется мне мучительной. Некоторое время он всматривается в потухший экран во лбу старины Тома, потом поднимает глаза к небу, как будто надеется увидеть там, на двухсоткилометровой высоте, мою базу, состыкованную со спутником Странников, а за его спиной расстилается знакомый мне пейзаж запрещенной планеты Ковчег — песчаные дюны, шевелящаяся шапка тумана над горячей топью, хмурый хребет вдали, а над ним — тонкие и длинные линии колоссальных, по-прежнему и, может быть, навсегда загадочных сооружений, словно гибкие, тревожно трепещущие антенны чудовищного насекомого.

Там у них сейчас весна, на кустах распустились большие, неожиданно яркие цветы, над дюнами струится теплый воздух. Малыш рассеянно озирается, пальцы его перебирают отшлифованные камешки. Он смотрит через плечо в сторону хребта, отворачивается и некоторое время сидит неподвижно, понурив голову. Потом, решившись, он

протягивает руку прямо ко мне и нажимает клавишу вызова под самым носом у Тома.

— Здравствуй, Стась,— говорит он.— Ты уже поспал?

— Да,— отвечаю я. Мне смешно, хотя спать хочется ужасно.

— А хорошо было бы сейчас поиграть, Стась. Верно?

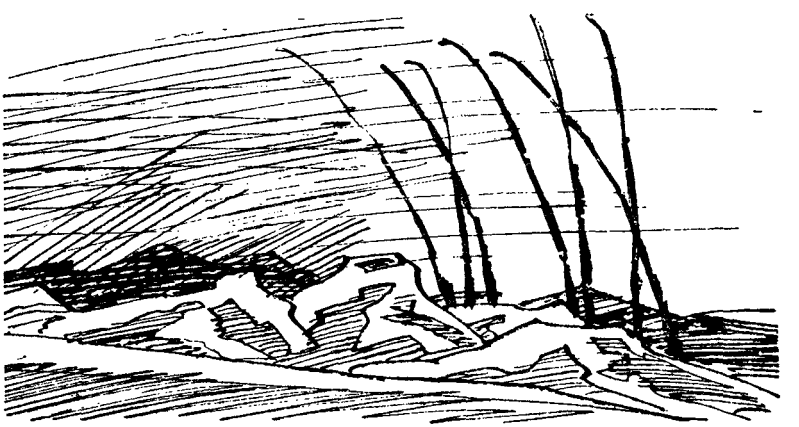
— Да,— говорю я.— Это было бы неплохо.

— Сверчок на печи,— говорит он и некоторое время молчит.

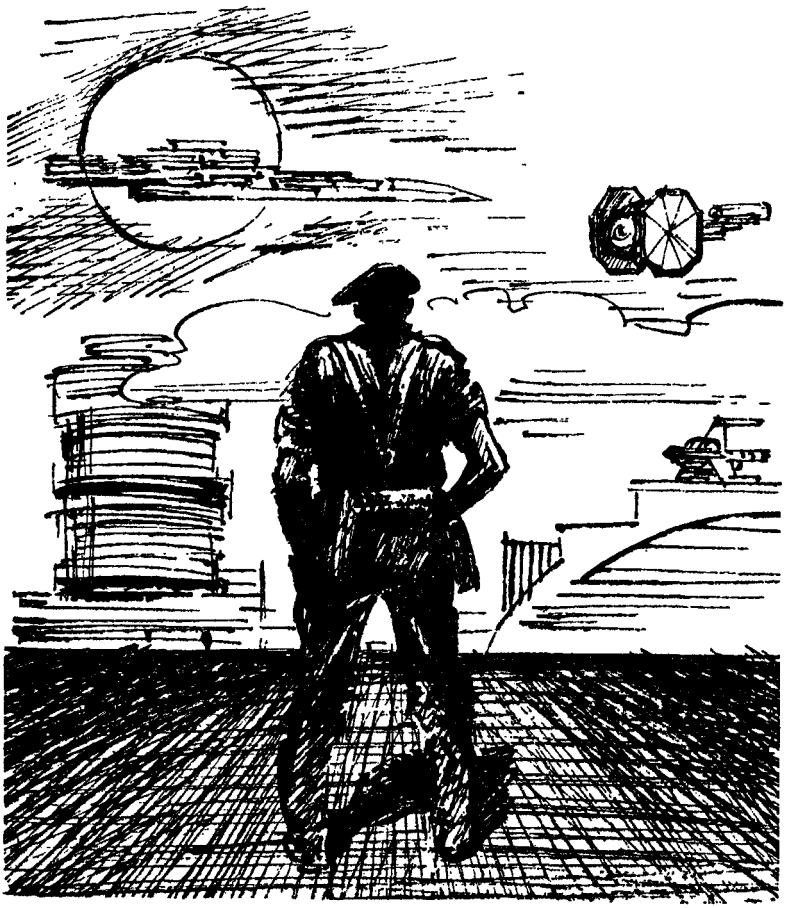
Я жду.

— Ладно,— бодро говорит Малыш.— Тогда давай опять побеседуем. Давай?

— Конечно,— говорю я.— Давай.



ПАРЕНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ



Другой раз встретишь такого и поду маешь. вроде парень ничего. А он, глядишь, разинет рот да и пойдет сыпать треску чими словесами: господствующая раса, безо говорочная преданность, фанатическая воля, ну, в общем, крутит шарманку..

Д ПОЛЛЬ
«Приключения Вернера Хольта»

Я по профессии учитель, таких ребят, как вы, я готовлю к выпускным экзаменам и хочу делать это и впредь. Что же мне, пре подавать в пустых классах? Постарайтесь продержаться! Когда с войной будет покончено, тогда-то и начнется тяжелая борьба.

Там же

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Ну и деревня! Сроду я таких деревень не видел и не знал даже, что такие деревни бывают. Дома круглые, бурые, без окон, торчат на сваях, как сторожевые вышки, а под ними чего только не навалено — горшки какие-то здоровенные, корыта, ржавые котлы, деревянные грабли, лопаты... Земля между домами — глина, и до того она выжжена и вытоптана, что даже блестит. И везде, куда ни поглядишь,— сети. Сухие. Что они здесь этими сетями

ловят — я не знаю: справа болото, слева болото, воняет, как на помойке... Жуткая дыра. Тысячу лет они здесь гнили и, если бы не герцог, гнили бы еще тысячу лет. Север. Дичь. И жителей, конечно, никого не видать. То ли удрали, то ли угнали их, то ли они попрятались.

На площади около фактории дымила полевая кухня, снятая с колес. Здоровенный дикобраз — поперек себя шире — в грязном белом фартуке поверх грязной серой формы ворочал в котле черпаком на длинной ручке. По-моему, от этого котла главным образом и воняло по деревне.

Мы подошли, и Гепард, задержавшись, спросил, где командир. Это животное даже не обернулось — буркнул что-то, уставившись в свое варево, и ткнул черпаком куда-то вдоль улицы. Поддал я ему носком сапога под крестец, он живо повернулся, увидел нашу форму и сразу встал как положено. Морда у него оказалась под стать окорокам, да еще не бритая целую неделю, у дикобраза.

— Так где у вас тут командир? — снова спрашивает Гепард, упершись тросточкой ему в жирную шею под двойным подбородком.

Дикобраз выкатил глаза, пошлепал губами и просипел:

— Виноват, господин старший наставник... Господин штаб-майор на позициях... Извольте вот по этой улице... прямо на окраине... Примите извинения, господин старший наставник...

Он еще что-то там сипел и булькал, а из-за угла фактории выволоклись два новых дикобраза — еще страшнее этого, совсем уже чучела огородные, без оружия, без головных уборов,— увидели нас и обомлели по стойке «смирно». Гепард только посмотрел на них, вздохнул да и зашагал дальше, постукивая тросточкой по голенищу.

Да, вовремя мы сюда подоспели. Эти дикобразы, они бы нам тут навоевали. Всего-то я только троих пока еще видел, но уже меня от них тошнит, и уже мне ясно, что такая вот, извините за выражение, воинская часть, из тыловой вши сколоченная, да еще наспех, да еще кое-как, все эти полковые пекари, бригадные сапожники, писаря, интенданты — ходячее удобрение, смазка для штыка. Имперские бронеходы прошли бы сквозь них и даже не заметили бы, что тут кто-то есть. Гуляючи.

Тут нас окликнули. Слева, между двумя домами, был натянут маскировочный тент и висела бело-зеленая тряпка на шесте. Медпункт. Еще двое дикобразов неторопливо

копались в зеленых вьюках с медикаментами, а на циновках, брошенных прямо на землю, лежали раненые. Всего раненых было трое; один, с забинтованной головой, приподнявшись на локте, смотрел на нас. Когда мы обернулись, он снова позвал:

Господин наставник! На минуточку, прошу вас!..

Мы подошли. Гепард опустился на корточки, а я остался стоять за его спиной. На раненом не было видно никаких знаков различия, был он в драном, обгоревшем маскировочном комбинезоне, расстегнутом на голой волосатой груди, но по лицу его, по бешеным глазам с опаленными ресницами я сразу понял, что уж это-то не дикобраз, ребята, нет, этот — из настоящих. И точно.

Бригад-егерь барон Трэгг,— представился он. Будто гусеницы лязгнули.— Командир отдельного восемнадцатого отряда лесных егерей.

Старший наставник Дигга,— сказал Гепард.— Слушаю тебя, брат-храбрец.

Сигарету...— попросил барон каким-то сразу севшим голосом.

Пока Гепард доставал портсигар, он торопливо продолжал:

Попал под огнемет, опалило, как свинью... Слава богу, болото рядом, забрался по самые брови... Но сигареты - в кашу... Спасибо...

Он затянулся, прикрыв глаза, и сейчас же надсадно закашлялся, весь посинел, задергался, из-под повязки на щеку выползла капля крови и застыла. Как смола. Гепард, не оборачиваясь, протянул ко мне через плечо руку и щелкнул пальцами. Я сорвал с пояса флягу, подал. Барон сделал несколько глотков, и ему вроде бы полегчало. Двое других раненых лежали неподвижно — то ли они спали, то ли уже отошли. Санитары глядели на нас боязливо. Не глядели даже, а так, поглядывали.

Славно...— произнес барон Трэгг, возвращая флягу Сколько у тебя людей?

Четыре десятка,— ответил Гепард.— Флягу оставь... Оставь себе.

Сорок... Сорок Бойцовых Котов...

Котят,— сказал Гепард.- К сожалению... Но мы сделаем все, что сумеем.

Барон смотрел на него из-под сгоревших бровей. В глазах у него была мука.

Слушай, брат-храбрец,— сказал он.— У меня ни-

кого не осталось. Я отступаю от самого перевала, трое суток. Непрерывные бои. Крысоеды прут на бронеходах. Я сжег штук двадцать. Последние два — вчера... здесь, у самой околицы... увидишь. Этот штаб-майор... дурак и трус... старая рухлядь... Я его застрелить хотел, но ведь ни одного патрона не осталось. Представляешь? Ни одного патрона! Прятался в деревне со своими дикобразами и смотрел, как нас выжигают одного за другим... О чем это я? Где бригада Гагрида? Рация вдребезги... Последнее: «Держись, бригада Гагрида на подходе...» Слушай, сигарету... И сообщи в штаб, что восемнадцатого отдельного больше нет.

Барон уже бредил. Бешеные глаза его затянулись мутью, язык едва ворочался. Он повалился на спину и все говорил, говорил, бормотал, хрипел, а скрюченные пальцы его беспокойно шарили вокруг, вцепляясь то в края циновки, то в комбинезон. Потом он вдруг затих на полуслове, и Гепард поднялся.

Он медленно вытащил сигарету, не сводя глаз с запрокинутого лица, щелкнул зажигалкой, потом наклонился и положил портсигар вместе с зажигалкой рядом с черными пальцами, и пальцы жадно вцепились в портсигар и сжали его, а Гепард, не говоря ни слова, повернулся, и мы двинулись дальше.

Я подумал, что это, пожалуй, милосердно — бригадегерь потерял сознание как раз вовремя. А то пришлось бы услышать ему, что бригады Гагрида тоже уже нет. Накрыли ее этой ночью на рокаде бомбовым ковром — два часа мы расчищали шоссе от обломков машин, отгоняя сумасшедших, лезущих под грузовики, чтобы спрятаться. От самого Гагрида мы нашли только генеральскую фуражку, заскорузлую от крови... Меня холодом продрало, когда я все это вспомнил, и я невольно взглянул на небо и порадовался, какое оно низкое, серое и беспросветное.

Первое, что мы увидели, выйдя за околицу, был имперский бронеход, съехавший с дороги и завалившийся носом в деревенский колодец. Он уже остыл, трава вокруг него была покрыта жирной копотью, под распахнутым бортовым люком валялся дохлый крысоед — все на нем сгорело, остались только рыжие ботинки на тройной подошве. Хорошие у крысоедов ботинки. У них ботинки хорошие, бронеходы, да еще, пожалуй, бомбардировщики. А солдаты они, как всем известно, никуда не годные. Шакалы.

— Как тебе нравится эта позиция, Гаг? — спросил Гепард.

Я огляделся. Ну и позиция! Я прямо глазам своим не поверил. Дикобразы отрыли себе окопы по обе стороны от дороги, посередине поляны между околицей и джунглями. Джунгли стеной стояли перед окопами шагах ну в пятидесяти, никак не больше. Можешь там накопить полк, можешь — бригаду, что хочешь, в окопах об этом не узнают, а когда узнают, то сделать уже все равно ничего не смогут. Окопы на левом фланге имели позади себя трясину. Окопы на правом франге имели позади себя ровное поле, на котором раньше было что-то посеяно, а теперь все сгорело. Да-а-а...

— Не нравится мне эта позиция,— сказал я.

— Мне тоже,— сказал Гепард.

Еще бы! Здесь ведь была не только эта позиция. Здесь вдобавок еще были дикобразы. Было их тут штук сто, не меньше, и они бродили по этой своей позиции, как по базару. Одни, значит, собравшись кружками, палили костры. Другие просто стояли, засунув руки в рукава. А третьи бродили.

Возле окопов валялись винтовки, торчали пулеметы, бессмысленно задрав хоботы в низкое небо. Посередине дороги, увязнув в грязи по ступицы, ни к селу ни к городу пребывал ракетомет. На лафете сидел пожилой дикобраз — то ли часовой, то ли просто так присел, устав бродить. Впрочем, вреда от него не было: сидел себе и ковырял щепочкой в ухе!

Кисло мне стало от всего этого. Эх, будь моя воля — полоснул бы я по всему этому базару из пулемета... Я с надеждой посмотрел на Гепарда, но Гепард молчал и только водил своим горбатым носом слева направо и спра́ва налево.

Позади раздались рассерженные голоса, и я оглянулся. Под лестницей крайнего дома ссорились два дикобраза. Не поделили они между собой деревянное корыто — каждый тянул к себе, каждый изрыгал черную брань, и вот по этим я бы полоснул с особенным удовольствием. Гепард сказал мне:

— Приведи.

Я мигом подскочил к этим охламонам, стволом автомата дал по рукам одному, дал другому и, когда они уставились на меня, выронивши свое корыто, мотнул им головой в сторону Гепарда. Не пикнули даже. Их обоих сразу

пóтом прошибло, как в бане. Утираясь на ходу рукавами, они трусцой подбежали к Гепарду и застыли в двух шагах перед ним. Гепард неторопливо поднял трость, примерился, словно в бильярд играл, и врезал — прямо по мордам, одному раз и другому раз, а потом посмотрел на них, на скотов, и только сказал:

— Командира ко мне. Быстро.

Нет, ребята. Все-таки Гепард явно не ожидал, что здесь будет до такой степени плохо. Конечно, хорошего ждать не приходилось. Уж если Бойцовых Котов бросают затыкать прорыв, то всякому ясно: дело дрянь. Но такое!.. У Гепарда даже кончик носа побелел.

Наконец появился ихний командир. Выбралась из-за домов, застегивая на ходу китель, длинная заспанная жердь в серых бакенбардах. Лет ему пятьдесят, не меньше. Нос красный, весь в прожилках, захватанное пальцами пенсне, какое носили штабные в ту войну, на длинном подбородке — мокрые крошки жевательного табака. Представился он нам штаб-майором и попытался перейти с Гепардом на «ты».

Куда там! Гепард такого морозу на него напустил, что он как-то даже ростом приуменьшился: сначала был на полголовы длиннее, а через минуту смотрю — змеиное молоко! — он уже снизу вверх на Гепарда смотрит, седенький такой старикашка.

В общем, выяснилось такое дело. Где противник и сколько его, штаб-майору не известно; задачей своей имеет штаб-майор удержать деревню до подхода подкреплений; боевая сила его состоит из ста шестнадцати солдат при восьми пулеметах и двух ракетометах; почти все солдаты — ограниченно годные, а после вчерашнего марш-броска двадцать семь из них лежат вон в тех домах кто с потертостями, кто с грыжей, кто с чем...

— Послушайте,— сказал вдруг Гепард.— Что это у вас там делается?

Штаб-майор оборвал себя на середине фразы и посмотрел, куда указывала полированная тросточка. Ну и глазищи все-таки у нашего Гепарда! Только сейчас я заметил: в самом большом кружке около одного из костров среди серых курток наших дикобразов гнусно маячат полосатые комбинезоны имперской бронепехоты. Змеиное молоко! Раз, два, три... Четыре крысоеда у нашего костра, и эти свиньи с ними чуть ли не в обнимку. Курят. И еще гогочут чего-то...

— Это? — произнес штаб-майор и кроличьими своими глазами посмотрел на Гепарда.— Вы о пленных, господин старший наставник?

Гепард не ответил. Штаб-дикобраз снова нацепил пенсне и пустился в объяснения. Это, видите ли, пленные, но к нам они, видите ли, *никакого отношения не имеют*. Захвачены во вчерашнем бою егерями. Не имея средств транспорта, а также за недостатком личного состава для надлежащей охраны...

— Гаг,— произнес Гепард.— Отведи их и сдай Клещу. Только сначала пусть допросит...

Я щелкнул затвором и пошел к костру.

Дикобразы заметили меня еще издали, разом замолчали и принялись потихоньку расползаться кто куда. А у некоторых, видно, ноги отнялись со страху: как сидели, так и сидят, выпучив глаза. А полосатые — так те аж серые сделались, знают нашу эмблему, крысоеды, наслышаны!

Я приказал им встать. Они встали. Нехотя. Я приказал им *построиться*. Построились, деваться некуда. Белобрысый принялся было что-то лопотать по-нашему — я ткнул ему стволом между ребер, и он замолчал. Так они у меня и пошли — гуськом, понурившись, заложив руки за спину. Крысы. И запах-то от них какой-то крысиный... Двое — крепкие мужики, плечистые, а двое, видно, из последнего набора, хлипкие сопляки, чуть, может, постарше меня.

— Бегом марш! — гаркнул я по-ихнему.

Побежали. Медленно бегут, плохо. Белобрысый этот хромает. Тяжело раненный, значит, ногу в бане подвернул. Ничего, дохромаешь.

Добежали мы до того края деревни, а там и грузовики — ребята увидели нас, заорали, засвистели. Я выбрал лужу побольше, положил пленных в грязь и пошел к переднему грузовику, где Клещ. А Клещ уже мне навстречу выскакивает — морда веселая, усики под носом торчком, в зубах костяной мундштук по моде старшего курса.

— Ну, что скажешь, брат-смертник? — *говорит он мне*.

Я ему докладываю: так, мол, и так, такое, мол, положение, а пленных обязательно сначала допросить. И уже от себя:

— Про меня не забудь, Клещ,— говорю.— Все-таки я их сюда привел...

А он на меня посмотрел, и у меня сердце сразу упало.

— Котенок...— говорит.— Ты здесь развлекаться будешь, а Гепард там один? А ну, бери три двойки и дуй к Гепарду! Быстро!

Делать было нечего. Не судьба, значит, не повезло. Посмотрел я на моих полосатиков в последний раз, закинул автомат за плечо да и гаркнул что было силы:

— Пер-рвая, вторая, третья двойки — ко мне!

Котята горохом посыпались с грузовика: Заяц с Петухом, Носатый с Крокодилом, Снайпер с этим... как его... не привык я еще к нему, его только-только из Нигганской школы к нам перевели — убил он там кого-то не того, вот его и к нам.

Я уж давно заметил, да никому не говорю: шлепнет Кот под горячую руку какого-нибудь штатского, сейчас — приказ по части. Такого-то и такого-то по кличке такой-то за совершение уголовного преступления расстрелять. И ведь выведут на плац, поставят перед строем лучших друзей, дадут по нему залп, тело в грузовик забросят на предмет бесчестного захоронения, а потом слышишь — видели его ребята либо на операции, либо в другой части... И правильно, по-моему.

Ну, скомандовал я «бегом», и поскакали мы обратно к Гепарду. А Гепард там времени зря не теряет. Смотрю — навстречу нам жердина эта, штаб-майор, рысью пылит, а за ним колонна, штук пятьдесят дикобразов с лопатами и киркомотыгами, бухают сапожищами, потные, только пар от них идет. Это, значит, погнал их Гепард новую позицию копать, настоящую, для нас. Под домом напротив медчасти, смотрю, лопаты уже мелькают, и стоит ракетомет, и вообще движение в деревне, как на главном проспекте в день тезоименитства,— дикобразы так и мельтешат, и ни одного не видно, чтобы был с пустыми руками: либо с оружием, но таких мало, а большинство волочат на себе ящики с боеприпасами и станки для пулеметов.

Гепард увидел нас — выразил удовольствие. Двойки Зайца и Снайпера с ходу послал в джунгли в передовой дозор. Носатого с Крокодилом оставил при себе для связи, а мне сказал:

— Гаг. Ты — лучший в отряде ракетометчик, и я на тебя надеюсь. Видишь этих тараканов? Бери их себе. Установишь ракетомет на той окраине, выбери позицию примерно там, где сейчас грузовики. Хорошенько замаскируйся, откроешь огонь, когда я зажгу деревню. Действуй, Кот.

Когда я все это услышал, я не то что поскакал, я прямо-таки полетел к своим тараканам. Эти тараканы мои вместе с ракетометом увязли в грязном ухабе посередине дороги и намеревались, видно, всю войну там провозиться. Ну, я одному по уху, другому пинком, третьего прикладом между лопаток, заорал так, что у самого в ушах зазвенело,— заработали мои тараканы по-настоящему, почти как люди. Ракетомет из ухаба на руках вынесли и — марш-марш — покатили по дороге, только колеса завизжали, только грязь полетела, и — в другой ухаб. Тут уж пришлось и мне впрячься. Нет, ребята, дикобразов тоже можно заставить работать, нужно только знать — как.

Значит, положение у меня было такое. Позицию я уже выбрал — вспомнились мне неподалеку от грузовиков густые такие, рыжие кустики и плоская низинка за ними, где можно было легко врыться в землю так, что ни один дьявол со стороны джунглей не увидит. А я оттуда все буду видеть: и дорогу до самых джунглей, и всю деревенскую окраину, если попрут прямо через дома, и болото слева, если бронепехота оттуда сунется... И подумал я еще, что надо бы не забыть попросить у Клеща несколько двоек для прикрытия с этой стороны. Ракет у меня в лотках двадцать штук, если только эти писаря по дороге сюда их не повыбрасывали для облегчения ноши... ну, это мы сейчас посмотрим, а в любом случае, как только окопаемся, надо будет послать тараканов за пополнением. Страсть не люблю, когда в бою приходится экономить. Это уже тогда не бой, а я не знаю что... Времени хватит до сумерек, а когда они в сумерках попрут, вспыхнет эта дикая деревня, и будут они все у меня как на ладони — бей на выбор. Не пожалеешь, Гепард, что на меня понадеялся!..

Вот эту последнюю мысль я машинально додумал, уже лежа на спине, а в сером небе надо мной, как странные птицы, летели какие-то горящие клочья. Ни выстрела, ни взрыва я не услышал, а сейчас и вообще ничего не слышал. Оглох. Не знаю, сколько времени прошло, а потом я сел.

Из джунглей по четыре в ряд выползают бронеходы, плюют огнем и расходятся в боевой веер, а за ними выползает следующая четверка. Деревня горит. Над окопами дым, ни души не видно. Походная кухня рядом с факторией перевернута, варево из нее разлилось бурым месивом, идет пар. Ракетомет мой тоже перевернут, а тараканы лежат в кювете кучей друг на друге. Одним словом, занял я удобную позицию, змеиное молоко!

Тут накрыло нас второй очередью. Снесло меня в кювет, перевернуло через голову, полон рот глины, глаза забило землей. Только на ноги поднялся — третья очередь. И пошло, и пошло...

Ракетомет мы все-таки на колеса поставили, скатили в кювет, и один бронеход я сжег. Тараканов стало уже двое, куда третий делся — неизвестно.

Потом — сразу, без перехода — я оказался на дороге. Впереди целая куча полосатиков — близко, совсем близко, рядом. На клинках у них кроваво отсвечивал огонь. Над ухом у меня оглушительно грохотал пулемет, в руке был нож, а у ног моих кто-то дергался, поддавая мне под коленки...

Потом я старательно, как на полигоне, наводил ракетомет в стальной щит, который надвигался на меня из дыма. Мне даже слышалась команда инструктора: «По бронепехоте... бронебойным...» И я никак не мог нажать на спуск, потому что в руке у меня опять был нож...

Потом вдруг наступила передышка. Были уже сумерки. Оказалось, что ракетомет мой цел, и сам я тоже цел, вокруг меня собралась целая куча дикобразов, человек десять. Все они курили, и кто-то сунул мне в руку флягу. Кто? Заяц? Не знаю... Помню, что на фоне пылающего дома шагах в тридцати чернела странная фигура: все сидели или лежали, а этот стоял, и было такое впечатление, будто он черный, но голый... Не было на нем одежды — ни шинели, ни куртки. Или не голый все-таки?.. «Заяц, кто это там торчит?» — «Не знаю, я не Заяц»,— «А где Заяц?» — «Не знаю, ты пей, пей...»

Потом мы копали, торопились изо всех сил. Это было уже какое-то другое место. Деревня была уже теперь не сбоку, а впереди. То есть деревни больше не было вообще — груды головешек, зато на дороге горели бронеходы. Много. Несколько. Под ногами хлюпала болотная жижа... «Объявляю тебе благодарность, молодец, Кот...» — «Извините, Генард, я что-то плохо соображаю. Где все наши? Почему только дикобразы?..» — «Все в порядке, Гаг, работай, работай, брат-храбрец, все целы, все восхищены тобой...»

...И вдруг из черно-алой мути прямо в лицо ливень жидкого огня. Все сразу вспыхивает — и трупы, и земля, и ракетомет. И кусты какие-то. И я. Больно. Адская боль. Как барон Трэгг...

Лужу мне, лужу! Тут ведь лужа была! Они в ней лежали! Я их туда положил, змеиное молоко, а их в огонь надо было положить, в огонь! Нет лужи... Земля горела, земля дымилась, и кто-то вдруг с нечеловеческой силой вышиб ее у меня из-под ног...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Возле койки Гага сидели двое. Один — сухопарый, с широкими костлявыми плечами, с большими костлявыми лапами. Он сидел, закинув ногу на ногу, обхватив колено мосластыми пальцами. Был на нем серый свитер со свободным воротом, узкие синие брюки непонятного покроя, не форменные, и красные с серым плетеные сандалии. Лицо было острое, загорелое, с ласкающей сердце твердостью в чертах, светлые глаза с прищуром, седые волосы — беспорядочной, но в то же время какой-то аккуратной копной. Из угла в угол большого тонкогубого рта передвигалась соломинка.

Другой был добряк в белом халате. Лицо у него было румяное, молодое, без единой морщинки. Странное какое-то лицо. То есть не само лицо, а выражение. Как у святых на древних иконах. Он глядел на Гага из-под светлого чуба и улыбался как именинник. Очень был чем-то доволен. Он и заговорил первым.

— Как мы себя чувствуем? — осведомился он.

Гаг уперся ладонями в постель, согнул ноги в коленях и легко перенес зад в изголовье.

— Нормально...— сказал он с удивлением.

Ничего на нем не было, даже простыни. Он посмотрел на свои ноги, на знакомый шрам выше колена, потрогал грудь и сразу же нащупал пальцами то, чего раньше не было: два углубления под правым соском.

— Ого! — сказал он, не удержавшись.

— И еще одна в боку,— заметил добряк.— Выше, выше...

Гаг нащупал шрам в правом боку. Потом он быстро оглядел голые руки.

— Погодите...— пробормотал он.— Я же горел...

— Еще как! — вскричал румяный и руками показал — как. Получалось, что Гаг горел, как бочка с бензином.

Сухопарый в свитере молчал, разглядывая Гага, и было

в его взгляде что-то такое, отчего Гаг подтянулся и произнес:

— Благодарю вас, господин врач. Долго я был без памяти?

Румяный добряк почему-то перестал улыбаться.

— А что ты помнишь последнее? — спросил он почти вкрадчиво.

Гаг наморщился.

— Я подбил... Нет! Я горел. Огнемет, наверное. И я побежал искать воду...— Он замолчал и снова ощупал шрамы на груди.— В этот момент меня, наверное, подстрелили...— сказал он неуверенно.— Потом...— Он замолчал и посмотрел на сухопарого.— Мы их задержали? Да?.. Где я? В каком госпитале?

Однако сухопарый не ответил, и снова заговорил добряк. Как бы в затруднении он с силой погладил себя по круглым коленям.

— А ты сам как думаешь?

— Виноват...— сказал Гаг и спустил ноги с койки.— Неужели так много времени прошло? Полгода? Или год?.. Скажите мне прямо,— потребовал он.

— Да что время...— сказал румяный.— Времени-то прошло всего пять суток.

— Сколько?

— Пять суток,— повторил румяный.— Верно? — спросил он, обращаясь к сухопарому.

Тот молча кивнул. Гаг улыбнулся снисходительно.

— Ну хорошо,— сказал он.— Ну ладно. Вам, врачам, виднее. В конце концов, какая разница... Я бы хотел только знать, господин...— Он специально сделал паузу, глядя на сухопарого, но сухопарый никак не отреагировал.— Я бы хотел только знать положение на фронте и когда я смогу вернуться в строй...

Сухопарый молча передвигал соломинку из одного угла рта в другой.

— Я ведь могу надеяться снова попасть в свою группу... в столичную школу.

— Вряд ли,— сказал румяный.

Гаг только глянул на него и снова стал смотреть на сухопарого.

— Ведь я — Бойцовый Кот,— сказал он.— Третий курс... Имею благодарности. Имею одну личную благодарность его высочества...

Румяный замотал головой.

— Это несущественно,— сказал он.— Не в этом дело.

— Как это — не в этом дело? — сказал Гаг.— Я — Бойцовый Кот! Вы что, не знаете? Вот! — Он поднял правую руку и показал — опять-таки сухопарому — татуировку под мышкой.— Мне пожимал руку его высочество, лично! Его высочество пожаловал мне...

— Да нет, мы верим, верим, знаем! — замахал на него руками румяный, но Гаг оборвал его:

— Господин врач, я разговариваю не с вами! Я обращаюсь к господину офицеру!

Тут румяный почему-то вдруг фыркнул, закрыл лицо ладонями и захохотал тонким противным смехом. Гаг ошеломленно смотрел на него, потом перевел взгляд на сухопарого. Тот наконец заговорил:

— Не обращай внимания, Гаг.— Голос у него был глубокий, значительный, под стать лицу.— Однако ты действительно не представляешь своего положения. Мы не можем отправить тебя сейчас в столичную школу. Скорее всего, ты вообще никогда больше не попадешь в школу Бойцовых Котов...

Гаг открыл и снова закрыл рот. Румяный перестал хихикать.

— Но я же чувствую себя...— прошептал Гаг.— Я совершенно здоров. Или я калека? Скажите мне сразу, господин врач: я не калека?

— Нет-нет,— быстро сказал румяный.— Руки-ноги у тебя в полном порядке, а что касается психики... Кто такой был Ганг Гнук, ты помнишь?

— Так точно... Это был ученый. Утверждал множественность обитаемых миров... Имперские фанатики повесили его за ноги и расстреляли из арбалетов...— Гаг замялся.— Вот точной даты я не помню, виноват. Но это было до первого алайского восстания...

— Очень хорошо! — похвалил румяный.— А как относится к учению Ганга современная наука?

Гаг опять замялся.

— Не могу сказать точно... Причин отрицать нет. У нас в школе на занятиях практической астрономией прямо об этом не говорилось. Говорилось только, что Айгон... Да, правильно! На Айгоне есть атмосфера, открытая великим основоположником алайской науки Гриддом, так что там вполне может существовать жизнь...

Он перевел дух и с тревогой взглянул на сухопарого.

— Очень хорошо,— снова сказал румяный.— Ну, а как на других звездах?

— Что — на других звездах, прошу прощения?

— Вблизи других звезд может существовать жизнь?

Гага прошибла испарина.

— Н-нет...— произнес он.— Нет, поскольку там безвоздушное пространство. Не может.

— А если около какой-нибудь звезды есть планеты? — неумолимо налегал доктор.

— А! Тогда может, конечно. Если около звезды имеется планета с атмосферой, на ней вполне может быть жизнь.

Румяный с удовлетворением откинулся на спинку кресла и посмотрел на сухопарого. Тогда сухопарый вынул соломинку изо рта и поглядел Гагу прямо в душу.

— Ты ведь Бойцовый Кот, Гаг? — сказал он.

— Так точно! — Гаг приосанился.

— А Бойцовый Кот есть боевая единица сама в себе,— в голосе сухопарого зазвенел уставной металл,— способная справиться с любой мыслимой и немыслимой неожиданностью, так?

— И обратить ее,— подхватил Гаг,— к чести и славе его высочества герцога и его дома!

Сухопарый кивнул.

— Созвездие Жука знаешь?

— Так точно! Эклиптикальное созвездие из двенадцати ярких звезд, видимое в летнее время года. Первая Жука является...

— Стоп. Седьмую Жука знаешь?

— Так точно. Оранжевая звезда...

— ...около которой,— прервал его сухопарый, подняв мосластый палец,— имеется планетная система, неизвестная пока алайской астрономии. На одной из этих планет существует цивилизация разумных существ, значительно опередившая цивилизацию Гиганды. Ты на этой планете, Гаг.

Воцарилось молчание. Гаг, весь подобравшись, ждал продолжения. Сухопарый и врач пристально глядели на него. Молчание затягивалось. Наконец Гаг не выдержал.

— Я понял, господин офицер,— доложил он.— Продолжайте, пожалуйста.

Врач крякнул, а сухопарый мигнул несколько раз подряд.

— А,— сказал он спокойно.— Он решил, что мы продолжаем испытание психики и теперь даем ему вводную,— пояснил он врачу.— Это не вводная, Гаг. Это на самом деле так и есть. Я работал на вашей планете, на Гиганде, в северных джунглях герцогства. Случайно я оказался около тебя во время боя. Ты лежал на земле и горел, к тому же ты был смертельно ранен. Я перенес тебя на свой звездолет... это такой специальный аппарат для путешествия между звезд... и доставил сюда. Здесь мы тебя вылечили. Это все не вводная, Гаг. Я не офицер и, конечно, не алаец. Я — земляпин.

Гаг в задумчивости пригладил волосы.

— Предполагается, господин офицер, что я знаю ваш язык и условия жизни на этой планете. Или нет?

Снова наступило молчание. Потом сухопарый сказал, усмехнувшись:

— Ты, кажется, вообразил себя на занятиях по диверсионно-разведывательной подготовке...

Гаг тоже позволил себе улыбнуться.

— Не совсем так, господин офицер.

— А как же?

— Я полагаю... я надеюсь, что командование удостаивает меня пройти спецпроверку для того, чтобы принять новое, весьма ответственное назначение. Я горжусь, господин офицер. Приложу все усилия, чтобы оправдать...

— Послушай,— сказал вдруг румяный врач, поворачиваясь к сухопарому.— А может быть, так и оставить? Создать условия ничего не стоит. Ты ведь говоришь, что понадобится всего три-четыре месяца!

Сухопарый помотал головой и принялся что-то говорить румяному на непонятном языке. Гаг с нарочито рассеянным видом осматривался. Помещение было необычное. Прямоугольная комната, гладкие кремовые стены, потолок расчерчен в шахматную клетку, причем каждая клетка светится изнутри красным, оранжевым, голубым, зеленым. Окон нет. Дверей тоже что-то не заметно. У изголовья постели в стене какие-то кнопки, над кнопками — длинные прозрачные окошечки, которые светятся ровным, очень чистым зеленым светом. Пол черный, матовый... и кресла, в которых сидят эти двое, словно бы растут из пола, а может быть, составляют с ним одно целое. Гаг незаметно погладил пол босой ступней. Прикосновение было приятное, словно к мягкому теплому животному...

— Ладно,— сказал наконец сухопарый.— Одевайся, Гаг. Я тебе кое-что покажу... Где его одежда?

Румяный, поколебавшись еще секунду, наклонился куда-то вбок и вытащил словно бы из стены плоский прозрачный пакет. Держа его в опущенной руке, он снова заговорил с сухопарым, и говорил довольно долго, а сухопарый только все энергичнее крутил головой и в конце концов отобрал пакет у румяного и бросил его Гагу на колени.

— Одевайся,— приказал он снова.

Гаг осторожно осмотрел пакет со всех сторон. Пакет был из какого-то прозрачного материала, бархатистого на ощупь, а внутри было что-то очень чистое, мягкое, легкое, белое с голубым. И вдруг пакет сам собой распался, рассыпался тающими в воздухе серебристыми искрами, и на постель упали, разворачиваясь, короткие голубые штаны, белая с голубым куртка и еще что-то.

Гаг с каменным лицом принялся одеваться. Румяный вдруг сказал громко:

— Но может быть, мне все-таки пойти с вами?

— Не надо,— сказал сухопарый.

Румяный всплеснул белыми мягкими руками:

— Ну что у тебя за манера, Корней! Что это за порывы интуиции! Ведь казалось бы, все расписали, обо всем договорились...

— Как видишь, не обо всем.

Гаг натянул совершенно невесомые сандалии, удивительно ладно пришедшиеся по ногам. Он встал, сдвинул пятки и наклонил голову.

— Я готов, господин офицер.

Сухопарый оглядел его.

— Как, нравится тебе это? — спросил он.

Гаг дернул плечом.

— Конечно, я предпочел бы форму...

— Обойдешься без формы,— проворчал сухопарый, поднимаясь.

— Слушаюсь,— сказал Гаг.

— Поблагодари врача,— сказал сухопарый.

Гаг отчетливым движением повернулся к румяному с лицом святого, снова сдвинул пятки и снова наклонил голову.

— Позвольте поблагодарить вас, господин врач,— сказал он.

Тот вяло махнул рукой.

— Иди уж... Кот...

Сухопарый уже уходил, направляясь прямо в глухую стену.

— До свидания, господин врач,— сказал Гаг весело.— Надеюсь, здесь мы больше не увидимся, а услышите вы обо мне только хорошее.

— Ох, надеюсь...— откликнулся румяный с явным сомнением.

Но Гаг больше не стал с ним разговаривать. Он догнал сухопарого как раз в тот момент, когда в стене перед ними не распахнулась, а как-то просто вдруг появилась прямоугольная дверь, и они ступили в коридор, тоже кремовый, тоже пустой, тоже без окон и дверей и тоже непонятно как освещенный.

— Что ты сейчас рассчитываешь увидеть? — спросил сухопарый.

Он шагал широко, вымахивая голенастыми ногами, но ступни ставил с какой-то особой мягкостью, живо напомнившей Гагу неподражаемую походку Гепарда.

— Не могу знать, господин офицер,— ответил Гаг.

— Зови меня Корней,— сказал сухопарый.

— Понял, господин Корней.

— Просто — Корней...

— Так точно... Корней.

Коридор незаметно превратился в лестницу, которая вела вниз по плавной широкой спирали.

— Значит, ты не против того, чтобы оказаться на другой планете?

— Постараюсь справиться, Корней.

Они почти бежали вниз по ступенькам.

— Сейчас мы находимся в госпитале,— говорил Корней.— За его стенами ты увидишь много неожиданного, даже пугающего. Но учти, здесь ты в полной безопасности. Какие бы странные вещи ты ни увидел, они не могут угрожать тебе и не могут причинить вреда. Ты меня понимаешь?

— Да, Корней,— сказал Гаг и снова позволил себе улыбнуться.

— Постарайся сам разобраться, что к чему,— продолжал Корней.— Если чего-нибудь не понимаешь — обязательно спрашивай. Ответам можешь верить. Здесь не врут.

— Слушаюсь...— ответствовал Гаг с самым серьезным видом.

Тут бесконечная лестница кончилась, и они вылетели в обширный светлый зал с прозрачной передней стеной, за которой было полно зелени, желтел песок дорожек, поблескивали на солнце непонятные металлические конструкции. Несколько человек в ярких и, прямо скажем, легкомысленных нарядах беседовали о чем-то посреди зала. И голоса у них были под стать нарядам — развязные, громкие до неприличия. И вдруг они разом замолчали, как будто их кто-то выключил. Гаг обнаружил, что все они смотрят на него... Нет, не на него. На Корнея. Улыбки сползали с лиц, лица застывали, взгляды опускались — и вот уже никто больше не смотрит на Корнея, вообще никто больше не смотрит в их сторону, а Корней знай себе вышагивает мимо них в полной тишине, словно ничего этого не заметив.

Он остановился перед прозрачной стеной и положил Гагу руку на плечо.

— Как тебе это нравится? — спросил он.

Огромные, во много обхватов, морщинистые стволы, клубы, облака, целые тучи ослепительной, пронзительной зелени над ними, желтые ровные дорожки, а вдоль них — темно-зеленый кустарник, непроницаемо густой, пестрящий яркими, неправдоподобно лиловыми цветами, и вдруг из пятнистой от солнца тени на песчаную площадку выступил поразительный, совершенно невозможный зверь, состоящий как бы только из ног и шеи, остановился, повернул маленькую голову и взглянул на Гага огромными бархатистыми глазами.

— Колоссально...— прошептал Гаг. Голос у него сорвался.— Великолепно сделано!

— Зеброжираф,— непонятно и в то же время вроде бы и понятно пояснил Корней.

— Для человека опасен? — деловито осведомился Гаг.

— Я же тебе сказал: здесь нет ничего ни опасного, ни угрожающего...

— Я понимаю: здесь — нет. А там?

Корней покусал губу.

— Здесь — это и есть там,— сказал он.

Но Гаг уже не слышал его. Он потрясенно смотрел, как по песчаной дорожке мимо зеброжирафа, совсем рядом с ним, идет человек. Он увидел, как зеброжираф склонил

бесконечную шею, будто пестрый шлагбаум опустился, а человек, не останавливаясь, потрепал животное по холке и пошел дальше, мимо сооружения из скрученного ли пастого металла, мимо радужных перьев, повисших прямо в воздухе, поднялся по нескольким плоским ступеням и сквозь прозрачную стену вошел в зал.

— Между прочим, это тоже инопланетянин,— сказал Корней вполголоса.— Его здесь вылечили, и скоро он вернется на свою планету.

Гаг сглотнул всухую, провожая выздоровевшего инопланетянина глазами. У того были странные уши. То есть, строго говоря, ушей почти не было, а голый череп неприятно поражал обилием каких-то бугров и узловатых гребенчатых выступов. Гаг снова глотнул и посмотрел на зеброжирафа.

— Разве...— начал он и замолчал.

— Да?

— Прошу прощения, Корней... Я думал... это все... Ну, вот это все, за стеной...

— Нет, это не кино,— с оттенком нетерпения в голосе сказал Корней.— И не вольера. Это все на самом деле, и так здесь везде. Хочешь погладить его? — спросил он вдруг.

Гаг весь напрягся.

— Слушаюсь,— сказал он осипшим голосом.

— Да нет, если не хочешь — не надо. Просто ты должен понять..

Корней вдруг оборвал себя. Гаг поднял на него глаза. Корней смотрел поверх его головы в глубь зала, где снова уже раздавались голоса и смех, и лицо его неожиданно и страшно изменилось. Новое выражение появилось на нем — смесь тоски, боли и ожидания. Гагу уже приходилось видеть такие лица, но он не успел вспомнить, где и когда. Он обернулся.

На той стороне зала у самой стены стояла женщина. Гаг даже не успел ее толком рассмотреть — через мгновение она исчезла. Но она была в красном, у нее были угольно-черные волосы и яркие, кажется синие, глаза на белом лице. Неподвижный язык красного пламени на кремовом фоне стены. И сразу — ничего. А Корней сказал спокойно:

— Ну что ж, пошли...

Лицо у него было прежнее, как будто ничего не произошло. Они шли вдоль прозрачной стены, и Корней говорил:

— Сейчас мы очутимся совсем в другом месте. Очутимся, понимаешь? Не перелетим, не переедем в другое место, а просто очутимся там, имей в виду...

Позади громко захохотали в несколько голосов. Гаг, вспыхнув, оглянулся. Нет, смеялись не над ним. На них вообще никто не смотрел.

— Заходи,— сказал Корней.

Это была круглая будка вроде телефонной, только стенки у нее были не прозрачные, а матовые. В будку вела дверь, и оттуда тянуло запахом, какой бывает после сильной грозы. Гаг несмело шагнул внутрь, Корней втиснулся следом, и дверной проем исчез.

— Я потом объясню тебе, как это делается,— говорил Корней. Он неторопливо нажимал клавиши на небольшом пульте, встроенном в стену. Такие пульты Гаг видел на арифметических машинах в бухгалтерии школы.— Вот я набираю шифр,— продолжал Корней.— Набрал... Видишь зеленый огонек? Это означает, что шифр имеет смысл, а финиш свободен. Теперь отправляемся... Вот эта красная кнопка...

Корней нажал на красную кнопку. Чтобы не упасть, Гаг вцепился в его свитер. Пол словно исчез на мгновение, а потом появился снова, и за матовыми стенками вдруг стало светлее.

— Все,— сказал Корней.— Выходи.

Зала не было. Был широкий, ярко освещенный коридор. Пожилая женщина в блестящей, как ртуть, накидке посторонилась, давая им дорогу, сурово смерила взглядом Гага, глянула на Корнея — лицо ее вдруг дрогнуло, она торопливо нырнула в будку, и дверь за нею исчезла.

— Прямо,— сказал Корней.

Гаг пошел прямо. Только сделав несколько шагов, он тихонько перевел дух.

— Один миг — и мы в двадцати километрах, — сказал Корней у него за спиной.

— Потрясающе...— отозвался Гаг.— Я не знал, что мы умеем такие вещи...

— Ну, положим, вы еще не умеете...— возразил Корней.— Сюда, направо.

— Нет, я имел в виду — в принципе... Я понимаю, все засекречено, но для армии...

— Проходи, проходи.— Корней подтолкнул его в спину.

Для армии такая штука незаменима... Для армии, для разведки...

— Так,— произнес Корней.— Сейчас мы находимся в гостинице. Это мой номер. Я тут жил, пока тебя лечили.

Гаг осмотрелся. Комната была велика и совершенно пуста. Никаких следов мебели. Вместо передней стены — голубое небо, остальные стены разноцветные, пол белый, потолок, как и в госпитале, в разноцветную клетку.

Давай побеседуем,— сказал Корней и сел.

Он должен был упасть своим сухопарым задом на этот белый пол. Но пол вспучился навстречу его падающему телу, как бы обтек его и превратился в кресло. Этого кресла только что не было. Оно просто мгновенно выросло. Прямо из пола. Прямо на глазах. Корней закинул ногу на ногу, привычно обхватил мосластыми пальцами колено.

— Мы тут много спорили, Гаг,— проговорил он,— как с тобой быть. Что тебе рассказать, что от тебя скрыть. Как сделать, чтобы ты, упаси бог, не свихнулся...

Гаг облизал пересохшие губы.

— Я...

— Предлагалось, например, оставить тебя на эти три-четыре месяца в бессознательном состоянии. Предлагалось загипнотизировать тебя. Много разной чепухи предлагалось. Я был против. И вот почему. Во-первых, я верю в тебя. Ты — сильный, тренированный мальчик, я видел тебя в бою и знаю, что ты можешь выдержать многое. Во-вторых, для всех будет лучше, если ты увидишь наш мир... пусть даже только кусочек нашего мира. Ну, а в-третьих, я тебе честно скажу: ты мне можешь понадобиться.

Гаг молчал. Ноги у него одеревенели, заложенные за спину руки он стиснул изо всей силы, до боли. Корней вдруг подался вперед и сказал, словно заклиная:

— Ничего страшного с тобой не произошло. Ничего страшного с тобой не случится. Ты в полной безопасности. Ты просто совершаешь путешествие, Гаг. Ты в гостях, понимаешь?

— Нет,— сказал Гаг хрипло.

Он повернулся и пошел прямо в голубое небо. Остановился. Глянул. Стиснутые кулаки его побелели. Он сделал шаг назад, другой, третий и пятился до тех пор, пока не уперся лопатками.

— Значит... я уже там? — сказал он хрипло.
— Значит, ты уже здесь,— сказал Корней.
— Какое же у меня задание?..— сказал Гаг.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Одним словом, ребята, влип я, как ни один еще Бойцовый Кот, наверное, до меня не влипал. Вот сижу я сейчас на роскошной лужайке по шею в мягкой травке-муравке. Вокруг меня — благодать, чистый курорт на озере Заггута, только самого озера нет. Деревья — никогда таких не видел: листья зеленые-зеленые, мягкие, шелковистые, а на ветвях висят здоровенные плоды — груши называются — объеденье, и ешь сколько влезет. Слева от меня роща, а прямо передо мной дом. Корней говорит, что сам его своими руками построил. Может быть, не знаю. Знаю только, что когда меня назначали в караул у охотничьего домика его высочества, так там тоже был дом — роскошный дом, и строили его большие головы, но куда ему до этого. Перед домом бассейн, вода чистая, как увидишь — пить хочется, купаться страшно. А вокруг — степь. Там я еще не был. И пока неохота. Не до степи мне сейчас. Мне бы сейчас понять, на каком языке я думаю, змеиное молоко! Ведь сроду я никаких языков, кроме родного алайского, не знал. Военный разговорник — это, натурально, не в счет: всякие там «руки вверх», «ложись», «кто командир» и прочее. А теперь вот никак не могу понять, какой же язык мне родной — этот самый ихний русский или алайский. Корней говорит, что этот русский в количестве двадцати пяти тысяч слов и разных там идиом в меня занихнули за одну ночь, пока я спал после операции. Не знаю. Идиома... Как это по-алайски-то будет? Не знаю.

Нет, я ведь сначала что подумал? Спецлаборатория. Такие у нас есть, я знаю. Корней — офицер нашей разведки. И готовят они меня для какого-то особой важности задания. Может быть, интересы его высочества распространились на другой материк. А может быть, черт подери, и на другую планету. Почему бы и нет? Что я знаю?

Я даже, дурак, сначала думал, что вокруг все — декорация. А потом день здесь живу, другой — нет, ребята, не получается. Город этот декорация? Синие эти громады, что

на горизонте время от времени появляются,— декорация? А жратва? Показать ребятам эту жратву — не поверят, не бывает такой жратвы. Берешь тюбик, вроде бы с зубной пастой, выдавливаешь на тарелку, и на́ тебе — запузырилось, зашипело, и тут надо схватить другой тюбик, его давить, и ахнуть ты не успел, как на тарелке перед тобой — здоровенный ломоть поджаренного мяса, весь золотистый, дух от него... э, что там говорить. Это, ребята, не декорация. Это мясо. Или, скажем, ночное небо: все созвездия перекошены. И Луна. Тоже декорация? Честно говоря, она-то на декорацию как раз очень похожа. Особенно когда высоко. Но на восходе — смотреть же страшно! Огромная, разбухшая, красная, лезет из-за деревьев... Который я уже здесь день, пятый, что ли, а до сих пор меня от этого зрелища просто в дрожь бросает.

Вот и получается, что дело дрянь. Могучие они здесь, могучие, простым глазом видно. И против них, против всей их мощи я здесь один. И ведь никто же у нас про них ничего не знает, вот что самое страшное. Ходят они по нашей Гиганде, как у себя дома, знают про нас все, а мы про них — ничего. С чем они к нам пришли, что им у нас надо? Страшно... Как представишь себе всю ихнюю чертовщину — все эти мгновенные скачки на сотни километров без самолета, без машин, без железных дорог... эти их здания выше облаков, невозможные, невероятные, как дурной сон... комнаты-самобранки, еда прямо из воздуха, врачи-чудодеи... А сегодня утром — приснилось мне, что ли? — Корней прямо из бассейна без ничего, в одних плавках, взмыл в небо, как птица, развернулся над садом и пропал за деревьями...

Я как это вспомнил, продрало меня до самых печенок. Вскочил, пробежался по лужайке, грушу сожрал, чтобы успокоиться. А ведь я здесь всего-то-навсего пятый день! Что я за пять дней мог здесь увидеть? Вот хоть эта лужайка. У меня окно прямо на нее выходит. И вот давеча просыпаюсь ночью от какого-то хриплого мяуканья. Кошки дерутся, что ли! Но уже знаю, что не кошки. Подкрался к окну, выглянул. Стоит. Прямо посреди лужайки. Что — не понимаю. Вроде треугольное, огромное, белое. Пока я глаза протирал, смотрю — тает в воздухе. Как привидение, честное слово. Они у них так и называются: «призраки». Я наутро у Корнея спросил, а он говорит: это, говорит, наши звездолеты класса «призрак» для перелетов

средней дальности, двадцать световых лет и ближе. Представляете? Двадцать световых лет — это у них средняя дальность! А до Гиганды, между прочим, всего восемнадцать...

Не-ет, от нас им только одно может понадобиться: рабы. Кто-то же у них здесь должен работать, кто-то же эту ихнюю благодать обеспечивает... Вот Корней мне все твердит: учись, присматривайся, читай, через три-четыре месяца, мол, домой вернешься, начнешь строить новую жизнь, то-сё, войне, говорит, через три-четыре месяца конец, мы, говорит, этой войной занялись и в самое ближайшее время с ней покончим. Тут-то я его и поймал. Кто же, говорю, в этой войне победит? А никто не победит, отвечает. Будет мир, и всё. Та-ак... Все понятно. Это, значит, чтобы мы материал зря не переводили. Чтобы все было тихо-мирно, без всяких там возмущений, восстаний, кровопролития. Вроде как пастухи не дают быкам драться и калечиться. Кто у нас им опасен — тех уберут, кто нужен — тех купят, и пойдут они набивать трюмы своих «призраков» алайцами и крысоедами вперемешку...

Корней вот, правда... Ничего не могу с собой поделать: нравится он мне. Башкой понимаю, что иначе быть не может, что только такого человека они и могли ко мне приставить. Башкой понимаю, а ненавидеть его не могу. Наваждение какое-то. Верю ему, как дурак. Слушаю его, уши развесив. А сам ведь знаю, что вот-вот начнет он мне внушать и доказывать, как ихний мир прекрасен, а наш — плох, и что наш мир надо бы переделать по образцу ихнего, и что я им в этом деле должен помочь, как парень умный, волевой, сильный, вполне пригодный для настоящей жизни...

Да чего там, он уже и начал понемногу. Ведь всех великих людей, на кого мы молимся, он уже обгадить успел. И фельдмаршала Брагга, и Одноглазого Лиса, великого шефа разведки, и про его высочество намекнул было, но тут я его, конечно, враз оборвал... Всем от него досталось. Даже и имперцам — это, значит, чтобы показать, какие они здесь беспристрастные. И только про одного он говорил хорошо — про Гепарда. Похоже, он его знал лично. И ценил. В этом человеке, говорит, погиб великий педагог...

Хотел я остановиться, но не сумел — стал думать о Гепарде. Эх, Гепард... Ну ладно, ребята погибли, Заяц,

Носатый... Клещ на мине подорвался... пусть. На то нас родили на свет. А вот Гепард... Отца ведь я почти не помню, мать — ну что мать? А вот тебя я никогда не забуду. Я ведь слабый в школу пришел — голод, кошатину жрал, самого чуть не съели, отец с фронта пришел без рук, без ног, пользы от него никакой, все на водку променивал... А в казарме что? В казарме тоже не сахар, пайки сами знаете какие. И кто мне свои консервы отдавал? Стоишь ночью дневальным, жрать хочется — аж зубы скрипят; вдруг появится, как из-под земли, рапорт выслушает, буркнет что-то, сунет в руку ломоть хлеба с кониной — свой ведь ломоть, по тыловой норме,— и нет его... А как в марш-броске он меня двадцать километров на загривке тащил, когда я от слабости свалился? Ребята ведь должны были тащить, и они бы и рады, да сами падали через каждые десять шагов. А по инструкции как? Не может идти — не может служить. Валяй домой, под вонючую лестницу, за кошками охотиться...

Да, не забуду я тебя, Гепард. Погиб ты, как нас учил погибать, так и сам погиб. Ну, а раз уж я уцелел, значит, и жить я теперь должен, твоей памяти не посрамив. А как жить? Влип я, Гепард. Ох и влип же я! Где ты там сейчас? Вразуми, подскажи...

Ведь они меня здесь купить хотят. Перво-наперво спасли мне жизнь. Вылечили, как новенького сделали, даже ни одного зуба дырявого не осталось — новые выросли, что ли? Дальше. Кормят на убой, знают, бродяги, как у нас со жратвой туго. Ласковые слова говорят, симпатичного человека приставили...

Тут он меня позвал: обедать пора.

Уселись мы за столом в гостиной, взяли эти самые тюбики, навертели себе еды. Корней что-то странное соорудил — целый клубок прозрачных желтоватых нитей, что-то вроде дохлого болотного ежа,— все это залил коричневым соусом, сверху лежат кусочки и ломтики то ли мяса, то ли рыбы, и пахнет... не знаю даже — чем, но крепко пахнет. Ел он почему-то палочками. Зажал две палочки между пальцами, тарелку к самому подбородку поднес и пошел кидать все это в рот. Кидает, а сам мне подмигивает. Хорошее у него, значит, настроение. Ну, а у меня от всех моих мыслей, да и от груш, наверное, аппетита почти не осталось. Сделал себе мяса. Вареного. Хотел тушеного, а получилось вареное. Ладно, есть можно, и на том спасибо.

— Хорошо я сегодня поработал,— сообщил Корней, уплетая своего ежа.— А ты что поделывал?

— Да так. Ничего особенного. Купался. В траве сидел.

— В стень ходил?

— Нет.

— Зря. Я же тебе говорю: там для тебя много интересного.

— Я схожу. Потом.

Корней доел ежа и снова взялся за тюбики.

— Придумал, где бы тебе хотелось побывать?

— Нет. То есть, да.

— Ну?

Что бы мне ему такое-этакое соврать? Никуда мне сейчас не хотелось, мне бы здесь, с этим домом разобраться, и я ляпнул:

— На Луне...

Он посмотрел на меня с удивлением.

— А за чем же дело стало? Нуль-кабина — в саду, справочник по шифрам я тебе дал... Набирай номер и отправляйся.

Нужна мне эта Луна...

— И отправлюсь,— сказал я.— Галоши вот только надену...

Сам не знаю, откуда эта фразочка у меня взялась. Идиома, наверное, какая-нибудь. Засадили они мне ее в мозг, и теперь она время от времени у меня выскакивает.

— Что-что? — *спросил Корней, подняв брови.*

Я промолчал. Теперь вот на Луну надо. Раз сказал, значит, придется. А чего я там не видел? Вообще-то, конечно, не мешает посмотреть... Подумал я, сколько мне еще здесь надо посмотреть, и в глазах у меня потемнело. И ведь это только посмотреть! А надо еще запомнить, уложить в башке все это кирпичик к кирпичику, а в башке и так все перемешалось, будто я сто лет уже здесь болтаюсь, и все эти сто лет днем и ночью мне показывают какое-то сумасшедшее кино без начала и конца. Он ведь ничего от меня не скрывает. Нуль-транспортировка? Пожалуйста! Объясняет про нуль-транспортировку. И вроде бы понятно объясняет, модели показывает. Модели понимаю, а как работает нуль-кабина — нет, хоть кол на голове теши. Изгибание пространства, понял? Или, скажем, про эту *пищу из тюбиков. Три часа мне объяснял,* а что осталось в голове? Субмолекулярное сжатие. Ну, еще расширение.

Субмолекулярное сжатие — это, конечно, хорошо и даже прекрасно. Химия. А вот откуда кусок жареного мяса берется?

— Ну, что загрустил? — спросил Корней, утираясь салфеткой.— Трудно?

— Башка болит,— сказал я со злостью.

Он хмыкнул и принялся прибирать со стола. Я, конечно, как положено, сунулся ему помогать, только тут у них и одному делать нечего. Всего и приборки-то: в середине стола лючок открыть и все туда спихнуть, а уж закрывать и не надо, само закроется.

— Пойдем кино посмотрим,— сказал он.— Один мой знакомый отличную ленту сделал. В старинном стиле, плоскую, черно-белую. Тебе понравится.

Короче, пришлось мне тут же сесть и смотреть это кино. Куролесица какая-то. Про любовь. Любят там друг друга двое аристократов, а родители против. Есть там, конечно, пара мест, где дерутся, но все на мечах. Снято, правда, здорово, у нас так не умеют. Один там другого ткнул мечом, так уж без обману: лезвие из спины на три пальца вылезло и даже вроде дымится... Вот им еще, например, зачем рабы нужны. Замутило меня от этой мысли, еле я дотерпел до конца. Вдобавок курить хотелось дико. Корней, как и Гепард, курение не одобряет. Предложил даже излечить от этой привычки, да я не согласился: всего-то от меня изначального одно это, может быть, и осталось... В общем, попросил я разрешения пойти к себе. Почитать, говорю. Про Луну. Поверил. Отпустил.

И вошел я в свою комнату, будто домой вернулся. Я ее сразу, как приехал, для себя переоборудовал. Тоже, между прочим, намучился. Корней мне, конечно, все объяснил, но я, конечно, ничего толком не понял. Стою посреди комнаты и ору, как псих: «Стул! Хочу стул!» Только потом понемногу приспособился. Здесь, оказывается, орать не надо, а надо только тихонечко представить себе этот стул во всех подробностях. Вот я и представил. Даже кожаная обшивка на сиденье продрана, а потом аккуратно заштопана. Это когда Заяц, помню, после похода сразу сел, а потом встал и зацепился за обшивку крючком от кошки. Ну и все остальное я устроил как у Гепарда в его комнатушке: койка железная с зеленым шерстяным покрывалом, тумбочка, железный ящик для оружия, столик с лампой, два стула и шкаф для одежды. Дверь сделал, как у людей,

стены — в два цвета, оранжевый и белый, цвета его высочества. Вместо прозрачной стены сделал одно окно. Лампу подвесил с жестяным абажуром...

Конечно, все это декорация: ни жести, ни железа, ни дерева — ничего этого на самом деле здесь нет. И оружия у меня, конечно, никакого в железном ящике нет — лежит там один мой единственный автоматный патрон, который у меня в кармане куртки завалялся. И на тумбочке ничего нет. У Гепарда стояла фотография женщины с ребенком — рассказывали, что жены с дочерью, сам он об этом никогда не говорил. Я тоже хотел поставить фотографию. Гепарда. Каким я его в последний раз видел. Но ничего у меня из этого не вышло. Наверное, Корней правильно объяснил, что для этого надо быть художником или там скульптором.

Но в общем мне моя конурка нравится. Я здесь отдыхаю душой, а то в других комнатах как в чистом поле, все насквозь простреливается. Правда, нравится она здесь только мне. Корней посмотрел, ничего не сказал, но, по-моему, он остался недоволен. Да это еще полбеды. Хотите верьте, хотите нет, но эта моя комната сама себе не нравится. Или самому дому. Или, змеиное молоко, той невидимой силе, которая всем здесь управляет. Чуть отвлечешься, глядь — стула нет. Или лампы под потолком. Или железный ящик в такую нишу превратится, в которой они свои микрокниги держат.

Вот и сейчас. Смотрю — нет тумбочки. То есть тумбочка есть, но не моя тумбочка, не Гепарда, да и не тумбочка вовсе. Шут знает что — какое-то полупрозрачное сооружение. Слава богу, хоть сигареты в нем остались как были. Родимые мои, самодельные. Ну, сел я на свой любимый стул, закурил сигаретку и это самое сооружение изничтожил. Честно скажу — с удовольствием. А тумбочку вернул на место. И даже номер вспомнил: 0064. Не знаю уж, что этот номер значит.

Ну, сижу я, курю, смотрю на свою тумбочку. На душе стало поспокойнее, в комнате моей приятный полумрак, окно узкое, отстреливаться из него хорошо в случае чего. Было бы чем. И стал я думать: что бы это мне на тумбочку положить? Думал-думал и надумал. Снял я с шеи медальон, открыл крышечку и вынул портрет ее высочества. Обрастил я его рамкой, как сумел, пристроил посередине, закурил новую сигаретку, сижу и смотрю на прекрасное лицо Девы Тысячи Сердец. Все мы, Бойцовые Коты, до

самой нашей смерти ее рыцари и защитники. Все, что есть в нас хорошего принадлежит ей. Нежность наша, доброта наша, жалость наша — все это у нас от нее, для нее и во имя ее.

Сидел я так, сидел и вдруг спохватился. да в каком же это виде я перед нею нахожусь? Рубашка, штанишки, голоручка-голоножка... Тьфу! Я подскочил так, что даже стул упал, распахнул шкаф, сдернул с себя всю эту бело-синюю дрянь и натянул свое родимое — боевую маскировочную куртку и маскировочные штаны. Сандалии долой, на ноги — тяжелые рыжие сапоги с короткими голенищами. Подпоясался ремнем, аж дыхание сперло. Жалко, берета нет — видимо, совсем берет сгорел, в пыль, даже не сумели восстановить. А может, я его сам потерял в той суматохе... Погляделся я в зеркало. Вот это другое дело: не мальчишка сопливый, а Бойцовый Кот - пуговицы горят, Черный Зверь на эмблеме зубы скалит в вечной ярости, пряжка ремня точно на пупе, как влитая. Эх, берета нет!..

И тут я вдруг заметил, что ору я Марш Боевых Котят, ору во весь голос, до хрипа, и на глазах у меня слезы. Допел до конца, глаза вытер и начал сначала, уже вполголоса, просто для удовольствия, от самой первой строчки, от которой всегда сердце щемит: «Багровым заревом затянут горизонт», и до самой последней, развеселой: «Бойцовый Кот нигде не пропадет». Мы там еще один куплет сочинили сами, но такой куплет в трезвом виде, да еще имея перед глазами портрет Девы, исполнять никак невозможно. Гепард, помню, Крокодила за уши при всех оттаскал за этот куплет...

Змеиное молоко! Опять! Опять эта лампа в какой-то дурацкий светильник превратилась. Ну что ты будешь с ней делать... Попробовал я этот светильник обратно в лампу превратить, а потом плюнул и изничтожил совсем. Отчаяние меня взяло. Ну где мне с ними справиться, когда я с собственной комнатой справиться не могу! С домом этим проклятущим... Поднял я стул и снова уселся. Дом. Как хотите, ребята, а с домом этим все неладно. Казалось бы, проще простого: стоит двухэтажный дом, рядом роща, вокруг на двадцать пять километров голая степь, как доска, в доме двое — я и Корней. Всё. Так вот, ребята, оказывается, не всё.

Во-первых — голоса. Говорит кто-то, и не один, и не радио какое-нибудь. По всему дому голоса. И не то чтобы

ночью среди бела дня. Кто говорит, с кем говорит, о чем говорит — ничего не понятно. Причем, заметьте, Корнея в доме в это время нет. Тоже, между прочим, вопрос: куда он девается?.. Хотя, кажется, на этот вопрос я ответ нашел. Страху набрался, но нашел. А было так. Позавчера сижу я у окна и наблюдаю за пуль-кабиной. Она наискосок, в конце песчаной дорожки, шагах в пятидесяти. Потом слышу — в глубине дома вроде бы хлопнула дверь, и сразу же — тишина, и чувствую я, что опять остался в доме один. Так, думаю, значит, он не через пуль-кабину уходит. И тут меня как обухом по голове ударило: дверь! Где же это, кроме моей комнаты, в нашем доме двери которые хлопать могут?

Выскочил я из комнаты, спустился на первый этаж. *Сунулся туда, сюда — коридор какой-то светлый, окно* вдоль стены... ну, это как всегда у них. И вдруг слышу — шаги. Не знаю, что меня остановило. Притаился, стою не дышу. Коридор пустой, в дальнем конце дверь, обыкновенная, крашеная... Как я ее раньше не замечал — не понимаю. Как я коридора этого раньше не замечал — тоже не понимаю. Ну, это ладно. Главное - шаги. Несколько человек. Ближе, ближе, и вот — у меня даже сердце сжалось — прямо из стены на середине коридора выходят один за другим трое. Змеиное молоко! Имперские парашютисты, в полном боевом, в этих своих разрисованных комбинезонах, автомат под мышкой, топорик на заду... Я сразу лег. Один ведь, и ничего нет — голые руки. Оглянутся — пропал. Не оглянулись. Протопали в дальний конец коридора к той самой двери, и *нет их. Дверь хлопнула, как от сквозняка, и всё.* Ну, ребята... Как дунул я обратно к себе в комнату и только там опомнился...

До сих пор не понимаю, что бы это могло значить. То есть ясно теперь, как Корней из дома исчезает. Через эту самую дверь. Но вот откуда здесь крысоеды взялись, да еще в полном боевом... И что это за дверь?

Бросил я окурок на пол, посмотрел, как пол его в себя втягивает, и поднялся. Странновато, конечно, но надо же когда-нибудь начинать. А если начинать, то с этой двери. В саду на лужайке с грушей за щекой оно, конечно, приятнее... или, скажем, марши распевать, запершись в комнате... Высунул я за дверь голову и прислушался. Тихо. Но Корней — у себя. Может, это даже и лучше. В случае чего заору благим матом - выручит. Спустился я в тот кори

дор, иду на цыпочках, даже руки расставил. До этой двери я целую вечность добирался. Пройду десять шагов, оста новлюсь, послушаю — и дальше. Добрался. Дверь как дверь. Никелированная ручка. Приложил ухо — ничего не слыхать. Нажал плечом. Не открывается. Взялся за ручку, потянул. Опять не открывается. Интересно. Вытер я со лба пот, оглянулся. Никого. Снова взялся за ручку, снова потянул, и тут стала дверь открываться. Со страху или от неожиданности я ее, проклятущую, опять захлопнул. В башке у меня пустота, и только одна мыслишка там прыгает, как горошина в бензобаке: не лезь, дурак, не суйся, тебя не трогают, и ты не трогай... И тут из меня и эту последнюю мыслишку вышибло.

Смотрю: прямо на стене сбоку от двери маленькими аккуратными буковками написано по-алайски «значит» То есть там вообще-то много чего было написано, всего в количестве шести строчек, но все остальное была математика, причем такая математика, что я в ней одни только плюсы и минусы разбирал. Так это выглядело: четыре строчки этой самой математики, потом слово «значит», подчеркнутое двумя чертами, а потом еще две строчки формул, обведенные жирной рамкой, на ней у него грифель раскрошился, у того, кто писал. Вот так так... В бедной голове моей, в пустом моем бензобаке, такая тут толкотня поднялась, что я и про дверь забыл. Выходит, я не один тут, есть еще алайцы? Кто? Где? Почему я вас не видел до сих пор? Зачем вы это написали? Знак подаете? Кому? Мне? Так я же математики не знаю... Или эту математику вы развели только для отвода глаз? Ничего я не успел в этот раз додумать, потому что услыхал, как меня зовет Корней. Я как полоумный сорвался с места и на цыпочках взлетел к себе. Кое-как бухнулся на стул, закурил и схва тил какую-то книжку. Корней внизу гаркнул еще пару раз, а потом слышу — стучит в дверь.

Это у него, между прочим, правило: хоть он и в своем доме, но никогда не войдет без стука. Это мне нравится. Мы к Гепарду тоже всегда стучали. Но сейчас-то мне было не до этого. «Войдите»,— говорю и делаю на лице наивозможнейшую задумчивость, будто я так зачитался, что ничего не вижу и не слышу.

Он вошел, остановился на пороге, прислонился к косяку и смотрит. По лицу ничего не понять. Тут я сделал вид, что спохватился, и притушил окурок. Тогда он заговорил

— Ну, как Луна? — спрашивает.

Я молчу. Сказать мне нечего. В таких вот случаях мне всегда кажется, что он костерить меня начнет, но этого никогда не бывает. Так вот и сейчас.

— Пойдем-ка,— говорит.— Я тебе кое-что покажу.

— Слушаюсь,— говорю. И на всякий случай спрашиваю: — Прикажете переодеться?

— А тебе в этом не жарко? — спрашивает он.

Я только усмехнулся. Не смог удержаться. Вот так вопросик!

— Ну, извини,— говорит он, словно мои мысли подслушал.— Пошли.

И повел он меня, куда раньше никогда не водил. Не-ет, ребята, я с этим домом никогда не разберусь. Я даже и не знал, что в этом доме такое есть. В гостиной он ткнулся в стену рядом с книжной нишей — и открылась дверца, а за дверцей оказалась лестница вниз, в подпол. Оказывается, у этого дома еще целый этаж есть, под землей, такой же роскошный и освещен как бы дневным светом, но это не для жилья. У него там что-то вроде музея. Огромная комната, и чего там только нет!

— Понимаешь, Гаг,— говорит он мне с каким-то странным выражением — с грустью, что ли? — Я ведь раньше работал космозоологом, исследовал жизнь на других планетах. Ах, какое это было чудесное время! Вот посмотрика! — Он схватил меня за рукав и поволок в угол, где на черной лакированной подставке был растопырен какой-то странный скелет величиной с собаку.— Видишь, у него два позвоночника. Зверь с Нистагмы. Когда мы взяли первый экземпляр, то подумали сначала, что это какое-то уродство. Потом другой такой же, третий... Выяснилось, что на Нистагме обитает целый новый бранч животного мира — двухордовые. Их нет больше нигде... да и на Нистагме только один вид. Откуда он взялся? Почему?

И пошел, и пошел. Таскал он меня от скелета к скелету, руками размахивал, голос возвышал — я таким его еще не видывал. Здорово, наверное, он любил эту свою космозоологию. Или связаны были у него с ней какие-то особенные воспоминания.

Не знаю. Из того, что он мне говорил, я, конечно, мало что понял, и мало что запомнил, да, в общем, и не особенно старался. Какое мне до всего этого дело? Забавно было только на него смотреть, а уж эти зверюги!.. У него их,

наверное, штук сто. Либо скелеты, либо целиком, словно бы вплавленные в такие здоровенные прозрачные глыбы (как я понимаю — для особой сохранности), либо просто чучела, как в охотничьем домике у его высочества, а то — одни только головы или шкуры.

Вот во втором зале у него — мы как туда вошли, я даже попятился — вся стена справа завешена одной шкурой. Змеиное молоко! Длиной метров двадцать, в поперечнике метра три, а то и все четыре, аж на потолок краем залезает. И вся эта шкура покрыта не то пластинами, не то чешуей, и каждая чешуинца — с хорошее блюдо, и каждая сияет чистейшим изумрудным светом с красными огоньками, так что вся зала от этой шкуры кажется будто зеленоватой. Я обалдел, глаз не могу оторвать от этого сияния. Это же надо, что на свете бывает! А головка маленькая, в мой кулак, и глаз не видно, а в рот палец не просунешь — как это оно питало свою тушу, непонятно...

Потом смотрю — в конце залы вроде бы еще одна дверь. В темное помещение. Подошли поближе — да, ребята, это, оказывается, не дверь. Это, оказывается, пасть раскрытая. Ей-богу, дверь. И даже не в комнату дверь, а, скажем, в гараж. Или, может быть, в ангар. Называется эта зверюга — тахорг, и добывают ее на планете Пандора. А Корней мимо нее рассеянно этак прошел, как будто это черепаха какая-нибудь или, например, лягушка. А голова ведь — с два вагона хороших, в пасти всю нашу школу разместить можно. Это какое же должно быть тулово при такой голове! И каково его добывать было! Из ракетомета, наверное...

Ну, чего там еще было? Ну, там всякие птицы, насекомые громадные... Нога мне запомнилась. Стоит посередине зала нога. Тоже залита в этот прозрачный материал. Ну, страшная нога, конечно. Выше меня ростом, узловатая, как старое дерево, когти — восемь штук, такие у дракона Гугу изображают, каждый коготь как сабля... Ладно. Замечательно что? Оказывается, кроме такой вот ноги или, скажем, хвоста, ни в одном музее ничего от этого зверя нет. Обитает он на планете Яйла, и сколько лет за ним ни охотятся, а целиком добыть так и не сумели. Пули его не берут, газы его не берут, из любой ловушки он уходит, мертвыми их вообще никогда не видали, а добывают вот так — по частям. У них, оказывается, поврежденные части запросто отваливаются, некоторое время еще как бы живут — скребутся там или дергаются,— ну, потом,

конечно, замирают... Да, нога. Я перед этой ногой стоял с раззявленной пастью, что твой тахорг. Велик все-таки создатель...

Ну, ходим мы вот так, ходим, Корней рассказывает, горячится, а мне уже все это малость надоело, и стал я снова думать о своем. Сначала об этой надписи в коридоре, как мне с ней быть и какие я из нее выводы должен сделать, а потом меня снова чего-то свернуло на Корнея. Почему это, думаю, он один живет? Богатый ведь человек, самостоятельный. Где у него жена, где дети? Вообще-то какая-то женщина у него есть. Первый раз я ее еще в госпитале видел, они там через весь зал перемигивались. А потом она и сюда к нему приходила. То есть, как она приходила, я не видел, но вот как он ее провожал, до самой нуль-кабины довел — это у меня все на глазах было. Только у него с нею настоящего счастья нет. Он ей: «Я жду тебя каждый день, каждый час, всегда». А она ему: «Ненавижу; мол, каждый день, каждый час...» — или что-то в этом роде. Видали? А чего тогда приходила, спрашивается? Только расстроила человека до последней степени. Она в эту кабину — фр-р-р! — и как не было, а он стоит, бедняга, и на лице у него опять эта тоска с болью пополам, как тогда в госпитале, и я наконец вспомнил, у кого такие лица видел: у смертельно раненных, когда они кровью истекают... Нет, у него в личной жизни неудача, я уж на что посторонний человек — простым глазом вижу... Может, он потому и работает днем и ночью, чтобы отвлечься. И бзик этот зоологический у него из-за этого... Отпустит он меня когда-нибудь из этого подпола, или так и будем здесь всю жизнь ходить? Нет, не отпускает. Опять чего-то объяснять начал. Половину-то хоть мы осмотрели? Пожалуй, осмотрели...

Да-а, жило все это зверье, поживало за тысячи световых лет от этого места. Горя не знало, хотя имело, конечно, свои заботы и хлопоты. Пришли, сунули в мешок и — в этот музей. С научной целью. И мы вот тоже — живем, сражаемся, историю делаем, врагов ненавидим, себя не жалеем, а они смотрят на нас и уже готовят мешок. С научной целью. Или еще с какой-нибудь. Какая нам, в конце концов, разница? И может быть, стоять нам всем в таких вот подвалах, а они будут около нас руками размахивать и спорить: почему мы такие, и откуда взялись, и зачем. И до того мне вдруг родными сделались все эти зверюги... Ну, не родными, конечно, а как бы это ска-

зать... Вот говорят, во время наводнений или там, скажем, когда пожар в джунглях, хищники с травоядными спасаются плечо к плечу и становятся как бы даже друзьями, даже помогают друг другу, я слыхал. Вот и у меня такое же появилось чувство. И, как на грех, именно в этот момент я увидел скелет.

Стоит в углу скромно, без особенной какой-нибудь подсветки, невелик росточком — пониже меня. Человек. Череп, руки, ноги. Что я, скелетов человеческих не видел? Ну, может, грудная клетка пошире, ручки такие маленькие, между пальчиками вроде бы перепонки, и ножки кривоватые. Все равно — человек.

Наверное, что-то с моим лицом тут сделалось, потому что Корней вдруг остановился, посмотрел пристально на меня, потом на этот скелет, потом опять на меня.

— Ты что? — спрашивает.— Не понимаешь что-нибудь?

Я молчу, уставился на этот скелет, а на Корнея стараюсь не глядеть. Я ведь как ждал чего-нибудь такого. А Корней говорит спокойно:

— Да-а, это тот самый знаменитый псевдохомо, тоже знаменитая загадка природы. Ты уже где-нибудь прочитал про него?

— Нет,— сказал я, а сам думаю: сейчас он мне все объяснит. Он очень хорошо мне все объяснит. Да вот стоит ли верить?

— Это удивительная история,— сказал Корней,— и в некотором роде трагическая. Понимаешь, эти существа должны были оказаться разумными. По всем законам, какие нам известны, должны.— Тут он развел руки.— Но — не оказались. Скелет — чепуха, я тебе потом фотографии покажу. Страшно! В прошлом веке научная группа на Магоре открыла этих псевдохомо. Долго пытались вступить с ними в контакт, наблюдали их в естественных условиях, исследовали и пришли к выводу, что это животные. Звучало это парадоксом, но факт есть факт: животные. Соответственно с ними и обращались, как с животными: держали в зверинце, при необходимости забивали, анатомировали, препарировали, брали скелеты и черепа для коллекций. Как-никак ситуация в научном смысле уникальная. Животное обязано быть человеком, но человеком не является. И вот еще несколько лет спустя на Магоре обнаруживают мощнейшую цивилизацию. Совершенно не похожую ни на нашу земную, ни на вашу — невиданную, совер-

менно фантастической фактуры, но несомненную. Представляешь, какой это был ужас? Из первооткрывателей один сошел с ума, другой застрелился... И только еще через двадцать лет нашли! Оказалось: да, есть на планете разум. Но совершенно нечеловеческий. До такой степени не похож ни на нас, ни на вас, ни, скажем, на леонидян, что наука просто не могла даже предположить возможность такого феномена... Да... Это была трагедия. Он вдруг как-то поскучнел и пошел из зала, словно забыл обо мне, но на пороге остановился и сказал, глядя на скелет в углу: — А сейчас есть гипотеза, что это вот — искусственные существа. Понимаешь, тагоряне их создали сами, смоделировали, что ли. Но для чего? Мы ведь так и не сумели найти с магорянами общего языка... - Тут он посмотрел на меня, хлопнул по плечу и сказал: - Вот так-то, брат-храбрец. А ты говоришь — космозоология...

Не знаю уж, правду он мне рассказал или выдумал всё, чтобы мозги мне окончательно замутить, но только охота размахивать руками и излагать мне про всякие загадки природы у него после этого пропала. Пошли мы из музея вон. Он молчит, я тоже, в душе у меня какой-то курятник нечищенный, и таким манером пришли мы к нему в кабинет. Он уселся в свое кресло перед экранами, вынул из воздуха бокал со своей любимой шпилькой, стал тянуть через соломинку, а сам смотрит как бы сквозь меня. В кабинете у него, кроме этих экранов и ненормального количества книг, ничего, в общем-то, и нет. Даже стола у него нет, до сих пор не могу понять, что он делает, когда ему какую-нибудь бумагу надо, скажем, подписать. И нет у него в кабинете ни картин, ни фотографий, ни украшений каких-нибудь. А ведь он богатый человек, мог бы себе позволить. Я бы на его месте, если, скажем, наличности не хватает, шкуру бы эту изумрудную загнал, слуг бы нанял, статуй бы везде расставил, ковры бы навесил - знай наших... Правда, что с него взять — холостяк. А может быть, ему и по должности не положено роскошествовать. Что я о его должности знаю? Ничего. То-то он музей в подвале держит...

— Слушай, Гаг,— говорит он вдруг.— А ведь тебе, наверное, скучно здесь, а?

Застал он меня этим вопросом врасплох. Кто его знает, как тут надо отвечать. Да и вообще — откуда я знаю, скучно мне здесь или нет? Тоскливо — это да.

Неуютно — да. Места себе не нахожу — да. А скучно?.. Вот человеку в окопе под обстрелом — скучно? Ему, ребята, скучать некогда. И мне здесь скучать пока некогда.

— Никак нет, — говорю. — Я свое положение понимаю.

— Ну и как же ты его понимаешь?

— Всецело нахожусь в вашем распоряжении.

Он усмехнулся.

— В моем распоряжении... Ладно, не будем об этом. Я, как видишь, не могу уделять тебе все свое время. Да ты, по-моему, к этому и не стремишься особенно. Стараешься держаться от меня подальше...

— Никак нет, — возражаю я вежливо. — Никогда не забуду, что вы мой спаситель.

— Спаситель? Гм... До спасения еще далеко. А вот не хочешь ли ты познакомиться с одним интересным субъектом?

У меня сердце ёкнуло.

— Как прикажете, — говорю.

Он подумал.

— Пожалуй, прикажу, — сказал он, поднимаясь. — Пожалуй, это будет полезно.

И с этими непонятными словами подошел он к дальней стене, что-то там сделал, и стена раскрылась. Я глянул и понятился. Что стены у них здесь поминутно раскрываются и закрываются — к этому я уже привык, и это мне уже надоело. Но ведь я что думал? Думал, он меня с этим математиком хочет познакомить, а там — змеиное молоко! — стоит там, ребята, этакий долдон в два с половиной метра ростом, плечищи, ручищи, шеи нет совсем, а морда закрыта как бы забралом, частой такой матовой решеткой, а по сторонам головищи торчат то ли фары, то ли уши. Я честно скажу: не будь я в мундире, я бы удрал без памяти. Честно. Я бы и в мундире удрал, да ноги отнялись. А тут этот долдон вдобавок еще произносит густым басом:

— Привет, Корней.

— Привет, Драмба, — говорит ему Корей. — Выходи.

Тот выходит. И опять — чего я ожидал? Что от его шагов весь дом затрясется. Чудище ведь, статуя! А он вышел, как по воздуху выплыл. Ни звука, ни шороха — только что стоял в нише, а теперь стоит посередине комнаты и эти свои уши-фары на меня навел. Я чувствую: за

лопатками у меня стена, и отступать дальше некуда. А Корней смеется, бродяга, и говорит:

— Да ты не трусь, не трусь, Бойцовый Кот! Это же робот! Машина!

Спасибо, думаю. Легче мне стало оттого, что это машина, как же.

— Таких мы теперь больше не делаем,— говорит Корней, поглаживая долдона по локтю и сдувая с него какие-то там пылинки.— А вот мой отец с такими хаживал и на Яйлу, и на Пандору. Помнишь Пандору, Драмба?

— Я все помню, Корней,— басит долдон.

— Ну вот, познакомьтесь,— говорит Корней.— Это — Гаг, парень из преисподней. На Земле новичок, ничего здесь не знает. Переходишь в его распоряжение.

— Жду ваших приказаний, Гаг,— басит долдон и как бы в знак приветствия поднимает широченную свою ладонь под самый потолок.

В общем, все кончилось благополучно. А глубокой ночью, когда дом спал, я прокрался в тот самый коридор и под математическими формулами написал: «Кто ты, друг?»

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Когда они вышли к заброшенной дороге, солнце уже поднялось высоко над степью. Роса высохла, жесткая короткая трава шуршала и похрустывала под ногами. Мириады кузнечиков звенели вокруг, острый горький запах поднимался от нагретой земли.

Дорога была странная. Совершенно прямая, она выходила из-за мутно-синего горизонта, рассекала круг земли напополам и уходила снова за мутно-синий горизонт, туда, где круглые сутки, днем и ночью, что-то очень далекое и большое невнятно вспыхивало, мерцало, двигалось, вспучивалось и опадало. Дорога была широкая, она матово отсвечивала на солнце, и полотно ее как бы лежало поверх степи массивной, в несколько сантиметров толщиной, закругленной на краях полосой какого-то плотного, но не твердого материала. Гаг ступил на нее и, удивляясь неожиданной упругости, несколько раз легонько подпрыгнул на месте. Это, конечно, не был бетон, но это не был и прогретый солнцем асфальт. Что-то вроде очень плотной резины.

От этой резины шла прохлада, а не душный зной раскаленного покрытия. И на поверхности дороги не было видно никаких следов, даже пыли не было на ней. Гаг наклонился и провел рукой по гладкой, почти скользкой поверхности. Посмотрел на ладонь. Ладонь осталась чистой.

— Она сильно усохла за последние восемьдесят лет,— прогудел Драмба.— Когда я видел ее в последний раз, ее ширина была больше двадцати метров. И тогда она еще двигалась.

Гаг соскочил на землю.

— Двигалась? Как двигалась?

— Это была самодвижущаяся дорога. Тогда было много таких дорог. Они опоясывали весь земной шар, и они текли — по краям медленнее, в центре очень быстро.

— У вас не было автомобилей? — спросил Гаг.

— Были. Я не могу вам сказать, почему люди увлеклись созданием таких дорог. Я имею только косвенную информацию. Это было связано с очищением среды. Самодвижущиеся дороги очищали. Они убирали из атмосферы, из воды, из земли все лишнее, все вредное.

— А почему она сейчас не движется? — спросил Гаг.

— Не знаю. Все очень изменилось. Раньше на этой дороге были толпы людей. Теперь никого нет. Раньше в этом небе в несколько горизонтов шли, шли потоками летательные аппараты. Теперь в небе пусто. Раньше по обе стороны от дороги стояла пшеница в мой рост. Теперь это степь.

Гаг слушал, приоткрыв рот.

— Раньше через мои рецепторы,— продолжал Драмба монотонным голосом,— ежесекундно проходили сотни радиоимпульсов. Теперь я не ощущаю ничего, кроме атмосферных разрядов. Сначала мне показалось даже, что я заболел. Но теперь я знаю: я прежний. Изменился мир.

— Может быть, мир заболел? — спросил Гаг живо.

— Не понимаю,— сказал Драмба.

Гаг отвернулся и стал смотреть туда, где горизонт вспыхивал и шевелился. «Черта с два,— угрюмо подумал он.— Как же, заболеют они!»

— А там что? — спросил он.

— Там Антонов,— ответил Драмба.— Это город. Восемьдесят лет назад его не было видно отсюда. Это был сельскохозяйственный город.

— А сейчас?

— Не знаю. Я все время вызываю информаторий, но мне никто не отвечает.

Гаг смотрел на загадочное мерцание, и вдруг из-за горизонта возникло что-то невероятно огромное, похожее на косой парус невообразимых размеров, почти такое же серо-голубое, как небо, может быть — чуть темнее, медленно и величественно описало дугу, словно стрелка часов прошла по циферблату, и снова растворилось в туманной дымке. Гаг перевел дух.

— Видел? — спросил он шепотом.

— Видел, — сказал Драмба удрученно.— Не знаю, что это такое. Раньше такого не было.

Гаг зябко передернул плечами.

— Толку от тебя...— проворчал он.— Ладно, пошли домой.

— Вы хотели посетить ракетодром,— напомнил Драмба.

— Господин! — резко сказал Гаг.

— Не понимаю...

— Когда обращаешься ко мне, изволь добавлять «господин»!

— Понял, господин.

Некоторое время они шли молча. Кузнечики сухими брызгами разлетались из-под ног. Гаг искоса поглядывал на бесшумного колосса, который плавно покачивался рядом с ним. Он вдруг заметил, что около Драмбы, совсем как давеча около дороги, держится своя атмосфера — свежести и прохлады. Да и сделан был Драмба из чего-то похожего: такой же плотно-упругий, и так же матово отсвечивали кисти его рук, торчащие из рукавов синего комбинезона. И еще Гаг заметил, что Драмба все время держится так, чтобы быть между ним и солнцем.

— Ну-ка расскажи еще раз про себя,— приказал Гаг.

Драмба повторил, что он — робот-андроид номер такой-то из экспериментальной серии экспедиционных роботов, сконструирован тогда-то (около ста лет назад — ничего себе старикашечка!), задействован тогда-то. Работал в таких-то экспедициях, на Ялле претерпел серьезную аварию, был частично разрушен; реконструирован и модернизирован тогда-то, но больше в экспедициях не участвовал...

— В прошлый раз ты говорил, что пять лет простоял в музее,— прервал его Гаг.

— Шесть лет, господин. В Музее истории открытий в Любеке.

— Ладно,— проворчал Гаг.— А потом восемьдесят лет ты торчал в этой нише у Корнея...

— Семьдесят девять, господин.

— Ладно-ладно, нечего меня поправлять...— Гаг помолчал. Скучно, наверное, было стоять?

— Не понимаю вопроса, господин.

— Экая дубина... Впрочем, это никого не интересует. Ты мне лучше вот что скажи. Чем ты отличаешься от людей?

— Я всем отличаюсь от людей, господин. Химией, принципом системы управления и контроля, назначением.

— Ну и какое у тебя, у дубины, назначение?

— Выполнять все приказания, которые я способен выполнить.

— Хе!.. А у людей какое назначение?

— У людей нет назначения, господин.

— Долдон ты, парень! Деревня. Что бы ты понимал в настоящих людях!

— Не понимаю вопроса, господин.

— А я тебя ни о чем и не спрашиваю пока.

Драмба промолчал.

Они шагали через степь, все больше уклоняясь от прямой дороги к дому, потому что Гагу стало вдруг интересно посмотреть, что за сооружение торчит на небольшом холме справа. Солнце было уже высоко, над степью дрожал раскаленный воздух, душный острый запах травы и земли все усиливался.

— Значит, ты готов выполнить любое мое приказание? — спросил Гаг.

— Да, господин. Если это в моих силах.

— Ну, хорошо... А если я прикажу тебе одно, а... м-м-м... кто-нибудь еще — совсем противоположное? Тогда что?

— Не понял, кто отдает второе приказание.

— Ну... м-м-м... Да все равно кто.

— Это не все равно, господин.

— Ну, например, Корней...

— Я выполню приказ Корнея, господин.

Некоторое время Гаг молчал. «Ах ты скотина,— думал он.— Дрянь этакая».

— А почему? — спросил он наконец.

— Корней старше, господин. Индекс социальной значимости у него гораздо выше.

— Что еще за индекс?

— На нем больше ответственности перед обществом.

— А ты откуда знаешь?

— Уровень информированности у него значительно выше.

— Ну и что же?

— Чем выше уровень информированности, тем больше ответственности.

«Ловко,— подумал Гаг.— Не придерешься. Все верно. Я здесь как дитя малое. Ну, мы еще посмотрим...»

— Да, Корней — великий человек,— сказал он.— Мне до него, конечно, далеко. Он все видит, все знает. Вот мы сейчас идем с тобой, болтаем, а он небось каждое наше слово слышит. Чуть что не так, он нам задаст...

Драмба молчал. Шут его знает, что происходило в его ушастой башке. Морды, можно сказать, нет, глаз нет — ничего не понять. И голос все время одинаковый...

— Правильно я говорю?

— Нет, господин.

— Как так — нет? По-твоему, Корней может чего-нибудь не знать?

— Да, господин. Он задает вопросы.

— Сейчас, что ли?

— Нет, господин. Сейчас у меня с ним нет связи.

— Что же он, по-твоему, не слышит, что ты сейчас говоришь? Или что я тебе говорю? Да он, если хочешь знать, даже наши мысли слышит! Не то что разговоры...

— Понял вас, господин.

Гаг посмотрел на Драмбу с ненавистью.

— Что ты понял, раздолбай?

— Понял, что Корней располагает аппаратурой для восприятия мыслей.

— Кто тебе сказал?

— Вы, господин.

Гаг остановился и плюнул в сердцах. Драмба тоже сейчас же остановился. Эх, садануть бы ему промеж ушей, да ведь не достанешь. Это надо же, какая дубина! Или притворяется? Спокойнее, Кот, спокойнее! Хладнокровие и выдержка.

— А до меня ты этого не знал, что ли?

— Нет, господин. Я ничего не знал о существовании такой аппаратуры.

— Так ты что же, дикобраз, хочешь сказать — что такой великий человек, как Корней, не видит нас сейчас и не слышит?

— Прошу уточнить: аппаратура для восприятия мыслей существует?

— Откуда я знаю? Да и не нужно аппаратуры! Ты ведь умеешь передавать изображение, звук...

— Да, господин.

— Передаешь?

— Нет, господин.

— Почему?

— Не имею приказа, господин.

— Хе... Приказа не имеешь,— проворчал Гаг.— Ну, чего встал? Пошли!

Некоторое время они шли молча. Потом Гаг сказал:

— Слушай, ты! Кто такой Корней?

— Не понимаю вопроса, господин.

— Ну... какая у него должность? Чем он занимается?

— Не знаю, господин.

Гаг снова остановился.

— То есть как это не знаешь?

— Не имею информации.

— Он же твой хозяин! Ты не знаешь, кто твой хозяин?

— Знаю.

— Кто?

— Корней.

Гаг стиснул зубы.

— Странно как-то у тебя получается, Драмба, дружок,— сказал он вкрадчиво.— Корней — твой хозяин, ты у него восемьдесят лет в доме и ничего о нем не знаешь?

— Не так, господин. Мой первый хозяин — Ян, отец Корнея. Ян передал меня Корнею. Это было тридцать лет назад, когда Ян удалился, а Корней выстроил дом на месте лагеря Яна. С тех пор Корней мой хозяин, но *я* с ним никогда не работал и потому не знаю, чем он занимается.

— Угу...— произнес Гаг и двинулся дальше.— Значит, ты про него вообще ничего не знаешь?

— Это не так. Я знаю про него очень много.

— Рассказывай,— потребовал Гаг.

— Корней Янович. Рост — сто девяносто два сантиметра, вес по косвенным данным — около девяноста килограммов, возраст по косвенным данным — около шестиде-

сяти лет, индекс социальной значимости по косвенным данным — около поль девять...

— Подожди, - ошеломленно сказал Гаг. - Заткнись на минутку. Ты о деле говори, что ты мне бубнишь?

-- Не понял приказа, господин, немедленно откликнулся Драмба.

-- Н-ну... например, женат или нет, какое образование... дети... Понял?

- Сведений о жене Корнея не имею. Об образовании — тоже.— Робот сделал паузу. Имею информацию о сыне: Андрей, около двадцати пяти лет.

— О жене ничего не знаешь, а о сыне, выходит, знаешь?

— Да, господин. Одиннадцать лет назад получил приказ перейти в распоряжение подростка, по косвенным сведениям четырнадцати лет, которого Корней называл «сын» и «Андрей». Находился в его распоряжении четыре часа.

-- А потом?

— Не понял вопроса, господин.

-- Потом ты его видел когда-нибудь?

— Нет, господин.

— Поня-атно,— задумчиво произнес Гаг.— Ну и чем вы с ним занимались эти четыре часа?

— Мы разговаривали. Андрей расспрашивал меня о Корнее.

Гаг споткнулся.

— Что ты ему сказал?

— Все, что знал: рост, вес. Потом он меня прервал. Потребовал, чтобы я рассказал ему о работе Яна на других планетах.

Да-а. Такие, значит, дела. Ну, это нас не касается. Но какова дубина! Уж о доме его и спрашивать нечего, ясно, что ничего не знает. Все планы мои разрушил, бродяга... Зачем же все-таки Корней мне его подсунул? Вот дьявол, как же мне его проверить? Мне ведь шагу нельзя будет ступить, если я его не проверю!

— Напоминаю,— подал голос Драмба,— что вы намеревались отправиться домой.

— Ну, намеревался. А в чем дело?

— Мы все больше уклоняемся от курса, господин.

— Тебя не спросили,-- сказал Гаг.— Я хочу посмотреть, что это там за штука на холме...

— Это обелиск, господин. Памятник над братской могилой.

— Кому? — с живостью спросил Гаг.

— Героям последней войны. Сто лет назад археологи обнаружили в этом холме братскую могилу.

«Посмотрим»,— подумал Гаг и ускорил шаги. Дерзкая и даже страшная мысль пришла ему в голову. «Рискованно,— подумал он.— Ох, сорвут мне башку! А за что? Откуда мне знать, что к чему? Я здесь человек новый, ничего этого не понимаю и не знаю... Да и не выйдет, наверное, ничего. Но уж если выйдет... Если выйдет — тогда верняк. Ладно, попробуем».

Холм был невысокий, метров двадцать — двадцать пять, и еще на столько же возвышалась над ним гранитная плита, отполированная до глади с одной стороны и грубо стесанная со всех остальных. На полированной поверхности вырезана была надпись — старинными буквами, которых Гаг не знал. Гаг обошел обелиск и вернулся в тень. Сел.

— Рядовой Драмба! — сказал он негромко.

Робот повернул к нему ушастую голову.

— Когда я говорю «рядовой Драмба», — по-прежнему негромко произнес Гаг,— надо отвечать: «Слушаю, господин капрал».

— Понял, господин.

— Не господин, а господин капрал! — заорал Гаг и вскочил на ноги.— Господин капрал, понял? Корыто деревенское!

— Понял, господин капрал.

— Не понял, а так точно!

— Так точно, господин капрал.

Гаг подошел к нему вплотную, подбоченился и снизу вверх уставился в непроницаемую матовую решетку.

— Я из тебя сделаю солдата, дружок,— произнес он ласково-зловещим голосом.— Как стоишь, бродяга? Смирно!

— Не понял, господин капрал,— монотонно прогудел Драмба.

— По команде «смирно» надлежит сомкнуть пятки и развернуть носки, выпятив грудь как можно дальше вперед, прижав ладони к бедрам и оттопырив локти... Вот так. Неплохо... Рядовой Драмба, вольно! По команде «вольно» надлежит отставить ногу и заложить руки за спину. Так. Уши твои мне не нравятся. Уши можешь опустить?

— Не понял, господин капрал.

— Вот эти штуки свои, которые торчат, можешь опустить по команде «вольно»?

— Так точно, господин капрал. Могу. Но буду хуже видеть.

— Ничего, потерпишь... А ну-ка, попробуем... Рядовой Драмба, смирно! Вольно! Смирно! Вольно!..

Гаг вернулся в тень обелиска и сел. Да, таких бы солдат хотя бы взвод. На лету схватывает. Он представил себе взвод таких вот драмб на позиции у той деревушки. Облизнул сухие губы. Да, такого дьявола, наверное, ракетой не прошибешь. «Я только вот чего все-таки не понимаю: думает этот долдон или нет?»

— Рядовой Драмба! — гаркнул он.

— Слушаю, господин капрал.

— О чем думаешь, рядовой Драмба?

— Ожидаю приказания, господин капрал.

— Молодец! Вольно!

Гаг вытер пальцами капельки пота, выступившие на верхней губе, и сказал:

— Отныне ты есть солдат его высочества герцога Алайского. Я — твой командир. Все мои приказания для тебя закон. Никаких рассуждений, никаких вопросов, никакой болтовни! Ты обязан с восторгом думать о той минуте, когда наступит счастливый миг сложить голову во славу его высочества...

Болван, наверное, половины не понимает, ну да ладно. Важно вбить ему в башку основы. Дурь из него выпибить. А понимает он там или не понимает — дело десятое.

— Все, чему тебя учили раньше, забудь. Я твой учитель! Я твой отец и твоя мать. Только мои приказы должны выполняться, только мои слова могут быть для тебя приказом. Все, о чем я говорю с тобой, все, что я тебе приказываю, есть военная тайна. Что такое тайна — знаешь?

— Нет, господин капрал.

— Гм... Тайна — это то, о чем должны знать только я и ты. И его высочество, разумеется.

«Крутовато я взял,— подумал он.— Рано. Деревня ведь. Ну ладно, там видно будет. Надо его сейчас погонять. Пусть с него семь потов сойдет, с бродяги».

— Смир-рна! — скомандовал он.— Рядовой Драмба, тридцать кругов вокруг холма — бегом марш!

И рядовой Драмба побежал. Бежал он легко и как-то странно, не по уставу и вообще не по-людски — не бежал

даже, а летел огромными скачками, надолго зависая в воздухе, и при этом по-прежнему держал ладони прижатыми к бедрам. Гаг, приоткрыв рот, следил за ним. Ну и ну! Это было похоже на сон. Совершенно бесшумный полубег-полуполет, ни топота, ни хриплого дыхания, и не оступится ведь ни разу, а там же кочки, камни, норы... и ведь поставь ему на голову котелок с водой — не расплескает ни капли! Какой солдат! Нет ребята, какой солдат!

— Быстрее! — гаркнул он.— Шевелись, тараканья немочь!

Драмба сменил аллюр. Гаг замигал: у Драмбы исчезли ноги. Вместо ног под совершенно вертикальным туловищем видно было теперь только туманное мерцание, как у пропеллера на больших оборотах. Земля не выдерживала, за гигантом потянулась, темнея и углубляясь на глазах, взрытая борозда, и появился звук — шелестящий свист рассекаемого воздуха и дробный шорох оседающей земли. Гаг еле успевал поворачивать голову. И вдруг все кончилось. Драмба снова стоял перед ним по стойке «смирно» — неподвижный, огромный, дышащий прохладой. Будто и не бежал вовсе.

«Да-а,— подумал Гаг.— С такого, пожалуй, сгонишь пот... Но в разум-то я его привел или нет? Ладно, рискнем.— Он посмотрел на обелиск.— Гадко это, вот что. Солдаты ведь лежат... Герои. За что они там дрались, с кем дрались — этого я толком не понял, но как они дрались — я видел. Дай бог нам всем так драться в наш последний час. Ох, не зря Корней показал мне эти фильмы. Ох, не зря...— В душе у Гага шевельнулся суеверный ужас.— Неужели этот лукавый Корней еще тогда предвидел такую вот мою минуту? Да нет, ерунда, ничего он не мог предвидеть, не господь же он бог все-таки... Просто хотел тоненько мне намекнуть, с чьими потомками я имею дело... А они здесь лежат. Сколько веков уже они здесь лежат, и никто их не тревожил. Будь они живы — не допустили бы, шуганули бы меня отсюда... Ну ладно, а если бы это были крысоеды? Нет, пожалуй, все равно гадко... И потом, что за ерунда — крысоеды — трусы, вонючки. А это же солдаты были, я же своими глазами видел! Тьфу, пропасть, даже тошнит... А если бы здесь Генард стоял рядом? Доложил бы я ему свое решение — что бы он мне сказал? Не знаю. Знаю только, что его бы тоже замутило. Тут бы всякого замутило, если он, конечно, человек».

Он посмотрел на Драмбу. Драмба стоял по стойке «смирно», равнодушно поводя глазами-щупами. «А что мне остается-то? Мыслишка-то правильная! Гаденькая — не спорю. Скользкая. Другому и в другое время я бы за такую мыслишку сам по рылу бы дал. А мне деваться некуда. Мне такой случай, может, никогда больше не представится. Сразу все проверю. И этого дурака проверю, и насчет наблюдения... Тут в том-то все и дело, что гадко. Тут бы никто не удержался, сразу бы за руку меня схватил, если бы мог. Ладно, хватит слюни распускать. Я это не для собственного удовольствия затеваю. Я не паразит какой-нибудь. Я — солдат и делаю свое солдатское дело, как умею. Простите меня братья-храбрецы. Если можете».

— Рядовой Драмба! — произнес он дребезжащим голосом.

— Слушаю, господин капрал.

— Приказ! Повалить этот камень! Выполняй!

Он отскочил в сторону, не чуя под собой ног. Если бы здесь был окоп, он прыгнул бы в окоп.

— Живо! — завизжал он, срывая голос.

Когда он разжмурился. Драмба уже стоял, наклонившись, перед обелиском. Огромные руки-лопаты скользнули по граниту и погрузились в пересохшую землю. Гигантские плечи зашевелились. Это длилось секунду. Робот замер, и Гаг вдруг с ужасом увидел, что его могучие ноги как бы оплывают, укорачиваются на глазах, превращаясь в короткие, толстые, расплющенные внизу тумбы. А потом холм дрогнул. Послышался пронзительный скрип, и обелиск едва заметно накренился. И тогда Гаг не выдержал.

— Стой! — заорал он.— Отставить!

Он кричал еще что-то, уже не слыша самого себя, ругаясь по-русски и по-алайски, никакой нужды не было в этом крике, и он уже понимал это и все-таки кричал, а Драмба стоял перед ним по стойке «смирно», монотонно повторяя: «Слушаю, господин капрал, слушаю, господин капрал...»

Потом он опомнился. Саднило в глотке, все тело болело. Спотыкаясь, он обошел обелиск кругом, трогая гранит дрожащими пальцами. Все было, как прежде, только у основания, под непонятной надписью, зияли две глубокие дыры, и он принялся судорожно забивать в них землю каблуками.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Всю ночь я не мог заснуть. Крутился, вертелся, курил, в сад высовывался для прохлаждения. Нервы, видимо, разгулялись после всего. Драмба торчал в углу и светился в темноте. В конце концов я его выгнал — просто так, чтобы злость сорвать. В голову лезла всякая чушь, картинки всякие, не относящиеся к делу. А тут еще эта койка подлая — я ее засек, что она норовит все время превратиться в этакое мягкое ложе, на каких здесь все, наверное, спят, да еще, подлюга, посягает меня укачивать. Как младенца.

Вообще-то не в том беда, что я заснуть не мог,— я по трое суток могу не спать, и ничего со мной не делается. А главное, что я думать не мог по-человечески. Ничего не соображал. Добился я вчера своего или не добился? Могу я Драмбе теперь доверять или нет? Не знаю. Следит за мной Корней или нет? Опять же не знаю. Вчера после ужина заглянул я к нему в кабинет. Сидит он перед своими экранами, на каждом экране — по рылу, а то и по два, и он со всеми этими рылами разговаривает. Меня как ножом ткнули. Представил я себе, как бешусь там на холме, истерику закатываю, а он сидит себе здесь в прохладе, смотрит на все это через экран и хихикает. Да еще, может быть, Драмбе радирует: валяй, мол, разрешаю... Нет, про себя я точно знаю, что я бы так не мог. Чтобы на моих глазах осквернили святыню моего народа, а я бы при этом хихикал и на экранчик смотрел — нет, у меня бы так не получилось. Я вам не крысоед.

А если у него такое задание, сказано ему: любой, мол, ценой... Не знаю, не знаю. Давеча, когда я вернулся, он меня сначала встретил, как всегда, потом присмотрелся, насторожился и принялся расспрашивать, что да как. Отец родной, да и только. Я ему опять соврал, что башка болит. От степных запахов. Но он, по-моему, мне не поверил. Виду не подал, конечно, но не поверил. А я весь вечер за ним следил: будет он Драмбу допрашивать или нет. Нет, не допрашивал. Даже не поглядел на него... Ох, ребята, бедная моя голова! Хоть ложись на спинку, и пусть несет, куда несет.

Так промаялся я до самого рассвета. Ложился, вскакивал, кружил по комнате, опять ложился, в окно высовывался, башку в сад свешивал, и в конце концов меня, видно, сморило — задремал я, положив ухо на подоконник.

Проснулся весь в поту и сразу услышал это самое хриплое мяуканье — мрррряу-мрррряу-мрррряу,— словно самого дьявола ангелы небесные душат голыми руками в преисподней, и мне в лицо из сада фукнуло горячим, как бы шипучим, ветром. Я еще глаз как следует не разлепил, а уже сижу на полу, рукой шарю автомат и высматриваю поверх подоконника, как из-за бруствера. И в этот раз я все увидел, как это у них делается, с самого начала и до самого конца.

Над моей круглой поляной, правей бассейна, загорелась в сумерках яркая точка, и поток от нее вниз и в стороны словно бы жидкий лиловый свет, еще прозрачный, еще кусты сквозь него видно, а он все течет, течет, и вот уже заполнил здоровенный такой конус вроде химической банки в четыре метра высотой, заполнил и тут же стал отвердевать, остывать, меркнуть, и вот уже стоит на поляне ихний звездолет класса «призрак», каким я его увидел в первый раз. И тишина. Первобытная. Даже птицы замолчали. Над поляной — рассветное серо-голубое небо, вокруг поляны — черные кусты и деревья, а посередине поляны — это серебристое чудище, и никак я не могу понять, то ли оно живое, то ли оно вещь.

Потом что-то слабо треснуло, раскрылась в нем черная пасть, звякнуло, зашипело, и выбрался оттуда человек. То есть это я сначала подумал, что человек: руки у него были, ноги. Голова. Весь он был какой-то черноватый, что ли... либо закоптило его, либо обгорел... и весь он был обвешан оружием. Я такого оружия, ребята, никогда не видывал, но с первого взгляда мне ясно стало, что это именно оружие. Оно свисало у него с обоих плеч и с пояса и лязгало и брякало на каждом шагу. По сторонам он не глядел, а двинулся прямо к крыльцу, как в собственный дом, и шагал как-то странно, но я не сразу понял, в чем тут дело, потому что глаз не мог оторвать от его лица. Оно у него тоже было черноватое, обгорелое, блестело и отсвечивало, и вдруг он поднял обе руки и принялся его с себя сдирать, как маску — да это, видно, и была маска, потому что он в две секунды с нею управился и с размаху шмякнул ее оземь. И тут меня прошибло потом в другой раз, потому что под этим черноватым, обгорелым, липким и лакированным у него оказалось второе лицо, уже не человеческое — белое, как камень, безносое, безгубое, а глаза — как плошки и светятся. Я на это лицо только взглянул и сразу понял: не

могу. Стал глядеть ему на ноги — еще хуже. У него ведь почему такая страшная походка была? Он по этой густой траве, по твердой земле шел, как мы с вами шли бы по зыбучему песку или, скажем, по трясине,— на каждом шагу проваливался по щиколотку, а то и глубже. Не держала его земля, подавалась...

У крыльца он приостановился на секунду и разом стряхнул с себя всю свою амуницию. Залязгала она, загрохотала, а он шагнул в дверь — и снова тишина. И пусто. Как в бреду. И звездолета уже нет, словно и не было никогда. Только черные дыры от поляны до дома да груда невиданного оружия у крыльца. Все.

Очень мне захотелось протереть глаза, ущипнуть себя за ляжку и все такое, но я этого делать не стал. Я ведь Бойцовый Кот, ребята. Я весь этот бред отмел. Не впервой. Я только главное оставил: оружие! Впервые я здесь увидел оружие. Я даже одеваться не стал — как был, в одних трусах, махнул через подоконник со второго этажа.

Роса была обильная, ноги мои моментально стали мокрые выше колен, и продрал меня озноб — то ли от этой сырости, то ли, опять же, от нервов. Около крыльца я присел на корточки и прислушался. Тихо, по-нормальному тихо, по-утреннему. Птички завозились, сверчок какой-то заскрипел. Мне до этого дела не было, я ждал голоса услышать. Нет, не слышно голосов. В этом доме ведь всегда так: не должно быть голосов — галдят, бормочут, переругиваются, причем кто — неизвестно, потому что Корнея в доме нет, шляется где-то, беса тешит. А вот когда, как сейчас, должны люди — или даже пусть не совсем люди,— но должны же они здороваться, друг друга по спинам хлопать, восклицать что-нибудь приветственное! Нет, тут у них будет тишина. Могила. Ладно.

И вот сижу я на корточках и смотрю на эти штуки, которые передо мной лежат, даже на вид тяжеленные, гладкие, масленые, надежные. Никогда я таких не видел ни на картинках, ни в кино. Большой, видно, убойной силы аппараты, да вот беда, непонятно, с какой стороны к ним подступиться, за какое место их брать и на что в них нажимать. И даже прикасаться к ним как-то боязно: того и гляди — ахнет, костей не соберешь.

В общем, я растерялся, и это было плохо, потому что на самом-то деле мне следовало бы сразу хватать что-нибудь и рвать когти. Ну, Гаг, давай! Давай быстро! Вот

эту коротышку: ствол есть, вместо дула, правда, стекляшка какая-то, зато и рукоятка вроде бы есть, два плоских магазина по сторонам ствола торчат... Все. Нет у меня больше времени. Потом разберусь. Протянул я руку и осторожно взялся за рукоятку. И тут произошла со мной странная вещь.

Взялся я, значит, за рукоятку. Рубчатая такая, теплая. Пальцы сомкнул. Тяну на себя. Осторожно, чтобы не брякнуло. Тяжесть даже почувствовал. А в кулаке — ничего. Снизу, как пьяный, гляжу на пустой кулак, а машинка эта как лежала на ступеньке, так и лежит. Я сгоряча ее хвать поперек — и опять под пальцами металл, твердое, тяжелое. Рванул на себя — опять ничего.

И захотелось мне тут заорать во весь голос. Еле сдержался. Посмотрел на ладонь — ладонь в масле. Вытер ее о траву, поднялся. Разочарование, конечно, страшное. Все у них учтено, все рассчитано и предусмотрено, у гадов. Перешагнул я через эту груду бесполезного для меня железа и пошел в дом. Вижу: в холле, в углу, торчит Драмба. Зашевелил своими ушами, уставился, а мне на него и смотреть было противно. И уже хотел я подняться к себе, как вдруг подумал: а что, если... В конце концов, не все ли равно, у кого в руках будет машинка, у меня или у этого долдона?

— Рядовой Драмба,— сказал я негромко.

— Слушаю, господин капрал,— отозвался он как положено.

— А ну-ка, иди за мной.

Вышли мы обратно на крыльцо. Оружие лежит, никуда не делось.

— Подай мне вот эту, крайнюю,— говорю.— Только осторожно.

— Не понял, господин капрал,— гудит эта дубина.

— Чего ты не понял?

— Не понял, что именно приказано подать.

Провались ты! Мне-то откуда знать, как это называется?

— Как называются эти предметы? — спрашиваю.

Драмба заработал ушами и рапортует:

— Трава, господин капрал. Ступени...

— А на ступеньках? — спрашиваю я и чувствую, что меня мороз по коже начинает продирать.

— На ступенях пыль, господин капрал.

— А еще?

Впервые Драмба промедлил с ответом. Долго молчал. У него, видно, тоже шестеренка за шестеренку запла, как и у меня.

— Еще на ступеньках имеются: господин капрал, рядовой Драмба, четыре муравья... — Он снова помедлил. — А также всевозможные микроорганизмы.

Он их не видел! Понимаете? Не видел! Микроорганизмы он видел, а железяки эти метровой длины видеть ему было не положено. Ему их видеть не положено, а мне — брать. Все, все предусмотрели! И тут я с досады, не сообразив, махнул босой ногой по самой здоровенной железяке, что на крыльце валялась. Взвыл я, палец отшиб начисто, ноготь сломал. А железяка как лежала, так и осталась лежать. Всё. Это уже было последней каплей. Захромал я к себе, зубами скриплю, чуть не плачу, кулаки стиснул. Пришел, повалился на койку, и взяло меня отчаяние, какого не испытывал я аж с того дня, когда пришел на побывку домой и увидел, что не то что дома моего — всего квартала нет, одни горелые кирпичи громоздятся и душит гарью. Почудилось мне в эти черные минуты, что никуда я не годен, ничего я не могу здесь сделать, в этом сытом и лукавом мире, где каждый мой шаг рассчитан и предусмотрен на сто лет вперед. И вполне может быть, что каждое мое действие, какое я еще только собираюсь совершить, они уже знают, как пресечь и обратить себе на пользу.

И чтобы разогнать мрак, я стал вспоминать самое светлое, что было в моей жизни, и вспомнил тот морозный ясный день, столбы дыма, которые поднимались в зеленое небо, и треск пламени, пожирающего развалины, серый от сажи снег на площади, окоченевшие трупы, изуродованный ракетомет в огромной воронке... а герцог идет вдоль нашей шеренги, опираясь на руку адъютанта, и снег скрипит под его мягкими красными сапожками. А потом он остановился. Прямо передо мной. И Генард, которого я не видел, — я никого не видел, кроме герцога, — назвал мое имя, и герцог положил мне руку на плечо и некоторое время смотрел мне в глаза, и лицо у него было желтое, иссеченное глубокими морщинами, а вовсе не гладкое, как на портретах, веки красные и воспаленные, и мерно двигалась тяжелая, плохо выбритая челюсть. И все еще держа свою правую руку у меня на плече, он поднял левую и щелкнул пальцами, и адъютант поспешно положил в эти пальцы черный кубик, а я все еще не верил своему

счастью, не мог поверить, но герцог произнес низким хриплым голосом: «Открой пасть, Котенок...» — и я зажмурился и открыл рот изо всех сил, почувствовал на языке шершавое и сухое и стал жевать. Волосы встали дыбом у меня под каской, из глаз покатились слезы. Это был личный его высочества жевательный табак пополам с известью и сушеной горчицей, а герцог хлопал меня по плечу и говорил: «О эти сопляки! Мои верные, непобедимые сопляки!..»

И тут я поймал вдруг себя на том, что улыбаюсь во всю морду. Не-ет, господа, еще не все кончено. Верные, непобедимые сопляки не подведут. Не подводили там, не подведут и здесь. Повернулся я на бок и заснул, чем и окончилось это мое приключение.

Это кончилось, зато другие начались, потому что тихий наш домик вдруг зашевелился. Раньше было как? Позавтракаем мы с Корнеем, потреплемся минут двадцать о том о сем, и всё, до самого обеда я один. Хочешь — спи, хочешь — книжки читай, хочешь — голоса в доме слушай. А тут — не знаю, то ли кто-то этот ихний гадючник разворошил, то ли у них передышка какая кончилась, но только стало в нашем домике тесно.

А началось все с того, что отправился я в тот коридор посмотреть, как там моя переписка. Честно говоря, ничего нового я увидеть не ожидал, однако смотрю — хо! — отозвался мой математик. Прямо под моим вопросом теми же аккуратными маленькими буковками было выведено: «Твои друзья в аду». Вот тебе и на! Что же это получается? «Кто ты, друг?» — «Твои друзья в аду». Значит, их тут несколько... Почему же не пишут, кто они? Боятся? И почему в аду? Нормальному человеку тут, конечно, несладко приходится, но в аду... Я посмотрел на эту крашеную дверь. Может быть, там тюрьма? Или что-нибудь похуже? Что же вы, ребята, толком ничего не сумели написать? Не-ет, этот коридорчик надо взять под наблюдение. Но это потом, а что мне сейчас написать? Чтобы они сразу всё про меня поняли... Ч-черт, математики этой я не знаю. Может быть, у них в этой формуле все зашифровано. Напишу-ка я им, кто я есть, чтобы они знали, с кем имеют дело и на что я годен. Напишу я им... Я достал припасенный огрызок карандаша и нацарапал печатными буквами: «Бойцовый Кот нигде не пропадет». Очень мне понравилось, как я это придумал. Любому ясно, что я — Кот, что я бодр и готов к действию.

Парашютистов этих я в гробу видал, ничего они мне здесь не сделают. А если это ловушка и затеял эту переписку Корней — что ж, пожалуйста, ничего такого я не написал.

Ладно. За коридорчиком этим мы понаблюдаем. А сейчас пришла пора посмотреть, что же у них за этой дверью. Не долго думая, взялся я за ручку и потянул ее на себя. Открылась. Я думал — там комната какая-нибудь будет, или коридор, или лестница... ну что у людей за дверями бывает? Так вот там ничего этого не было. Камера там была. Три на три. Стены черные, матовые. В стене напротив торчит круглая красная кнопка. И всё. Ничего больше в этой камере не было. Я когда эту камеру увидел, мне сразу расхотелось в нее заходить. Да ну их, думаю, к шутам, чего я в этом склепе не видел? Кнопок красных я не видел, что ли?

Стою я в нерешительности и вдруг слышу сзади — голоса. Близко. Можно сказать, рядом. Ну, думаю, кажется, влип. Захлопнул дверь, зубы стиснул, оборачиваюсь. Переднему по горлу и — в сад, думаю, а там ищи меня, свищи...

Но оказалось, что это не парашютисты. Выворачивает в коридор из-за угла какой-то человек с тележкой, с этакой платформой на колесиках. Я засунул руки в карманы и этакой ленивой походочкой двинулся навстречу. Коридор широкий, разминемся спокойно. А он уже близко со своей тележкой. Глянул на него — змеиное молоко! черный! Мне сперва даже показалось, что у него вообще головы нет, потом, конечно, присмотрелся и вижу: есть голова. Но черная. То есть вся черная! Не только волосы, но и щеки, уши, лоб, а губы красные, толстые, белки глаз так и сверкают и зубы тоже. Это с какой же планеты его занесло сюда такого? Я прижался к стене, уступая дорогу изо всех сил — проходи, мол, не задерживайся, только не трогай... Не тут-то было. Конечно же, он вместе со своей тележкой останавливается около меня, ослепляет меня своими белками и зубами и хриплым нутряным голосом произносит:

— По-моему, это типичный алаец...

Я сглотнул, киваю.

— Так точно,— говорю.— Алаец я.

И он начинает говорить со мной по-алайски, но уже не хриплым басом, а приятным таким, нормальным голосом — тенором или, я не знаю там, баритоном.

— Ты,— говорит,— наверное, Гаг. Бойцовый Кот.

— Так точно,— говорю.

— Ты,— спрашивает,— из Центра сейчас?

Ну что я ему отвечу?

— Н-никак нет,— говорю.— Я сам по себе...

Я уже разглядел его и вижу, что человек как человек. Ну, черный... Ну и что? У нас на островах голубые живут, и никто им в нос не тычет. Одет нормально, как все здесь одеваются - рубашка навыпуск, короткие штаны. Только черный. Весь.

— Ты, может быть, Корнея ищешь? — спрашивает он.

Участливо так спрашивает. Совсем как Корней.

— Вид у тебя какой-то взъерошенный,— говорит.

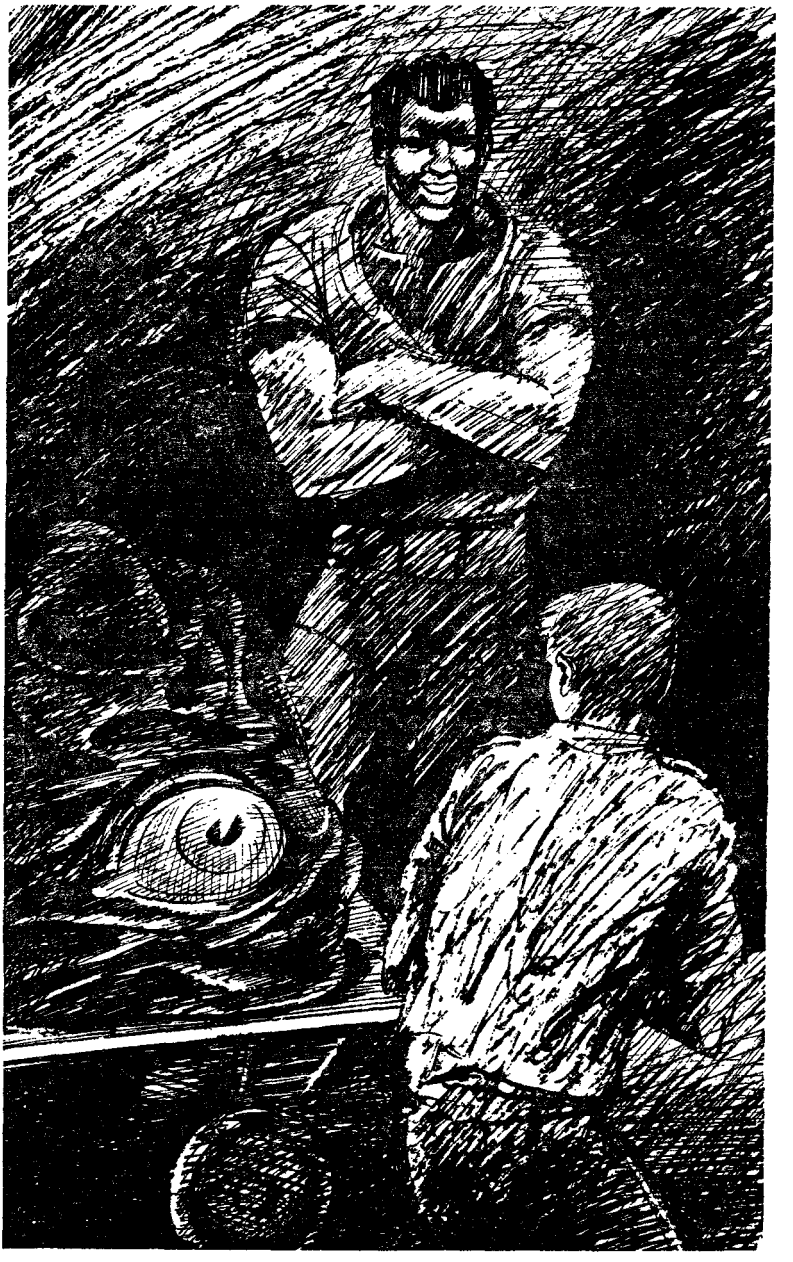
— Да нет, отвечаю я с досадой.— Это я вспотел просто. Жарко тут у вас...

— А-а... Так ты бы мундир свой снял, что ты в нем преешь... А Корнея ты пока лучше не ищи, Корней сейчас занят до предела...

Чисто так говорит по-алайски, грамотно, и выговор у него такой столичный, с придыханием. Стильно говорит. Ну, объясняет он мне что-то про Корнея, где сейчас Корней и чем он занимается, а я все поглядываю на его тележку и, честно вам скажу, ребята, ничего уже не слышу, что он там мне говорит.

Значит, так. Ну, тележка — она тележка и есть, не в тележке дело. А вот на этой тележке лежит у него громадный, вроде бы кожаный мешок. Кожаный и снаружи как бы маслом облитый, коричневый такой, вроде как куртка бронеходчика. Сверху он, значит, гладкий, без единой морщинки, а внизу весь какой-то смятый, весь в бороздах и складках. И вот там, в этих самых бороздах и складках, я еще в самом начале заприметил какое-то движение. Сначала думал — показалось. Потом... В общем, там был глаз. Оторвите мне руки-ноги — глаз! Какая-то складка там раздвинулась тихонько, и глянул на меня большой круглый темный глаз. Печальный такой и внимательный. Нет, ребята, зря я в этот коридор сегодня пошел. Оно конечно, Бойцовый Кот есть боевая единица сама в себе и так далее, но все-таки о таких встречах в уставе ничего не говорится...

Стою я, держусь за стенку и знай себе долблю: «Так точно... Так точно...» А сам думаю: увези ты это от меня, в самом деле, ну чего ты здесь встал? И понял мой черный,



понял, что мне надобно передохнуть. Говорит хриплым басом:

— Привыкай, алаец, привыкай... Пойдемте, Джонатан.

А потом по-алайски нормальным голосом:

— Ну, будь здоров, брат-храбрец... Эк тебя скрутило. Да не трусь ты, не трусь, Бойцовый Кот! Это ведь не джунгли...

— Так точно,— сказал я в сто сорок восьмой раз.

Блеснул он своими белками и зубами на прощанье и двинулся с тележкой дальше по коридору. Поглядел я ему вслед — змеиное молоко! — тележка-то катится сама по себе, а он рядом с ней вышагивает сам по себе, совсем отдельно, и уже раздаются опять голоса: один, значит, хриплый бас, а другой — нормальный, но говорят они уже оба на каком-то неизвестном языке. И на лопатках у этого черного надпись полукругом: ГИГАНДА. Хороша встреча, а? Еще одна такая встреча, и я в собственные сапоги прятаться начну. «Привыкай, алаец, привыкай». Не знаю, может быть, я когда-нибудь и привыкну, но в ближайшие полста лет вы меня в этот коридор пряником не заманите... Досмотрел я, как они в этот склеп втиснулись, захлопнули за собой дверь, да и пошел от этого поганого места. Держась за стену.

С этого самого дня стало у нас в домике тесновато. Валят валом. Через нуль-кабину прибывают по двое, по трое. По ночам и особенно под утро от «призраков» в саду сплошной мяв стоит. Некоторые вываливаются прямо из чистого неба — один в бассейн угодил, когда я утром купался, тоже устроил мне переживание. И все они к Корнею, и все они галдят на разных языках, и у всех у них дела, и у всех срочные. В холл выйдешь — галдят. В столовую придешь пищу принять — сидят по двое, по трое, кушают и опять же галдят, причем одни поели — другие откуда-то приходят... Я на это просто смотреть не мог: сколько они хозяйского добра даром переводят, хоть бы с собой приносили, что ли... Неужели не понимают, что на всех не напасешься? Совести у людей нет, вот что я вам скажу. Правда, надо им все-таки отдать справедливость. Все-таки мешков среди них с глазами я больше не заметил. Были среди них, конечно, довольно жуткие экземпляры, но чтобы совсем уж мешок — нет, таких больше не было. И на том спасибо. Я день терпел, два терпел, а потом от этого нашествия, честно скажу, ребята, просто сбежал.

Возьмешь с утра Драмбу — и на пруды километров за пятнадцать от этого постоялого двора. Я там пруды нашел, роскошное место, камыши, прохлада, уток видимо-невидимо...

Конечно, может быть, я поступил неправильно, смалодушничал. Наверное, я должен был там среди них крутиться, подслушивать там, подсматривать, мотать на ус. Но ведь, ребята, я же старался. Сядешь где-нибудь в уголке в гостиной, рот раскроешь, уши развесишь — ни черта не понять. Галдят на непонятных языках, чертят какие-то кривые, мотают друг у друга перед носом какие-то рулоны голубой бумаги со значками, один раз даже карту империи вывесили, битый час по ней пальцами ползали... уж казалось бы, чего проще — карта, а так я и не понял, чего они друг от друга добивались, чего не поделили... Одно я, ребята, понял: что-то у нас там происходит или вот-вот должно произойти. Потому весь этот гадючник и зашевелился.

Короче говоря, решил я предоставить инициативу противнику. Разобраться в обстановке я не умею, помешать им никак не могу, и остается мне рассуждать примерно так: раз они меня здесь держат — значит, я им зачем-то нужен, а раз я им нужен, то что бы они там ни затевали, а рано или поздно ко мне обратятся. Вот тогда мы и посмотрим, как действовать. А пока будем на пруды ходить, Драмбу муштровать и ждать — может, что-нибудь подвернется.

И между прочим, подвернулось.

Как-то раз иду я на завтрак. Смотрю — за столом Корней. И притом один. Я последние дни Корнея редко видел, да и то вокруг него всегда народ толокся. А тут сидит один, молоко пьет. Ну, поприветствовал я его, сажусь напротив. И странно мне как-то стало — соскучился я по нему, что ли? Тут все дело, наверное, было в его лице. Хорошее у него все-таки лицо. Есть в нем что-то очень мужественное и в то же время, наоборот, детское, что ли? В общем, лицо человека безо всяких тайных умыслов. Такому и не хочется верить, а веришь. Разговариваем мы с ним, а я все время себе напоминаю: осторожно, Кот, другом он тебе быть никак не может, не с чего ему быть другом, а раз он не друг — значит, враг... И тут он вдруг говорит ни с того ни с сего:

— А почему ты, Гаг, мне вопросов не задаешь никогда?

Вот тебе и на — вопросов я ему не задаю. А где мне ему вопросы задавать, когда я целыми днями его не вижу? И что-то мне так горько стало, и ужасно захотелось сказать ему прямо: «А чтобы вранья поменьше слушать, друг лукавый». Но я, конечно, этого не сказал. Пробормотал только:

— Почему же не задаю? Задаю...

— Понимаешь,— говорит он, и тон у него такой, будто он передо мной извиняется,— я ведь не могу тебе длинные лекции читать. Во-первых, у меня времени на это нет, сам видишь. И хотел бы с тобой побольше времени проводить, да не могу. А во-вторых, лекции — это, по-моему, скучища. Какой интерес выслушивать ответы на вопросы, которых ты не задавал? Или ты, может, иначе считаешь?

Я растерялся, замычал что-то самому мне непонятное, и тут вваливаются в столовую двое, а за ними еще и третий. Сияют все трое, как начищенные медные чайники. И будто все втроем несут крошечную круглую коробочку и с этой коробочкой — прямиком к Корнею.

— Она? — говорит Корней, поднимаясь им навстречу.

— Она,— отвечают они чуть ли не хором и тут же замолкают.

Я давно заметил, что при Корнее они не галдят. При Корнее они держатся как положено. Корней, видно, шутить не любит.

Да. Уплетаю я какую-то вроде бы рыбу, заниваю горячим пойлом, а Корней эту коробочку берет двумя пальцами, открывает ее осторожно и вытягивает из нее узкую красную ленту. Эти трое дышать перестали. В столовой тишина, и слышно только, как галдят в гостиной. Корней эту красную ленточку рассмотрел внимательно — просто так и на свет,— а потом сказал негромко:

— Молодцы. Размножьте и раздайте.

И пошел из столовой. Только у самой двери спохватился, повернулся ко мне и сказал:

— Извини, Гаг. Ничего не могу поделать.

Я только плечом дернул — мне-то что... пожалуйста! Ну, из этих троих двое поскакали за Корнеем, а третий остался и стал аккуратно укладывать эту красную ленточку обратно в коробочку. Я сижу злой, не люблю пищу принимать при посторонних. Но он на меня вроде бы и внимания не обращает. Он идет через всю столовую в угол, где у Корнея стоит какой-то шкаф не шкаф, сундук не сун-

дук... ящик, в общем, поставленный на попа. Я этот ящик сто раз видел и никогда на него внимания не обращал. А он подходит к этому ящику и сдвигает кверху какую-то шторку, и в стенке ящика образуется ярко освещенная ниша. В эту нишу он кладет свою коробочку и шторку опускает. Раздается короткое гудение, на ящике вспыхивает желтый глаз. Этот тип снова поднимает шторку... и тут, ребята, я есть перестал. Потому что смотрю — а в нише уже две коробочки. Этот тип опять опускает шторку — опять загудело, опять загорелся желтый глаз, поднимает он шторку — четыре коробочки. И пошел, и пошел... Я снизу и только глазами хлопаю, а он — шторку вверх, шторку вниз, гудок, желтый глаз, шторку вверх, шторку вниз... И через минуту у него этих коробочек набралась полная ниша. Выгреб он их оттуда, распихал по карманам, подмигнул мне и выскочил вон.

Ничего я опять не понял. Да здесь никакой нормальный человек бы не понял. Но одно я понял: это надо же, какая машина! Я встал — и к ящику. Осмотрел его со всех сторон, даже попробовал сзади заглянуть, но голова не пролезла, только ухо прищемил. Ладно. А шторка поднята, и ниша эта так светом и сияет мне в глаза. Змеиное молоко! Я огляделся и хвать со стола мятую салфетку... Скатал ее в шарик между ладонями и бросил в нишу — издали бросил на всякий случай, мало ли что. Нет, все нормально. Лежит себе бумажка, ничего ей не делается. Тогда я осторожненько взялся за эту шторку и потянул ее вниз. Шторка легко двинулась, прямо-таки сама пошла. Щелк! И, как следует быть, загудело, зажглась желтая лампа. Ну, Кот! Потянул я шторку вверх. Точно. Два бумажных шарика. Я их оттуда вилкой осторожно выгреб, смотрю — одинаковые. То есть точь-в-точь! Отличить совершенно невозможно. Я их и так смотрел, и этак, и на просвет — даже, дурак, понюхал... Одинаковые.

Что же это получается? Золотой бы мне сейчас, я бы в миллионах ходил. Стал я рыться по карманам. Ну, не золотой, думаю, так хотя бы грош медный... Нет гроша. И тут нашариваю я свой единственный патрон. Унитарный патрон калибра восемь и одна десятая. Нет, даже в этот момент я еще не соображал, что здесь к чему. Просто подумал: раз уж денег нет, так хоть патронов наделаю, они тоже денег стоят. И только когда в нише передо мной шестнадцать штучек медью засверкало, только тогда до

меня наконец дошло: шестнадцать патронов — да ведь это же обойма! Полный магазин, ребята!

Стою я перед этим ящиком, смотрю на свои патрончики, и такие интересные мыслишки в голове у меня бродят, что я тут же спохватился и поглядел вокруг, не подслушивает ли кто и не подсматривает ли. Хорошую они машину здесь себе придумали, ничего не скажешь. Полезная машина. Много я у них всякого повидал, но вот такую полезную вещь всего второй раз вижу. (Первая — это Драмба, конечно.) Ну что ж, спасибо. Собрал я патрончики свои, ссыпал их в карман куртки, оттянули они мне карман, и почувствовал я, ребята, будто забрезжило наконец что-то передо мной вдали.

Машинкой этой я потом не раз еще пользовался. Запас патронов потихоньку пополнял; пуговица у меня оторвалась — я и пуговиц форменных на всякий случай два комплекта наделал; ну еще кое-чего по мелочам. Сначала я берегся, а потом совсем обнаглел: они тут же за столом кушают и галдят, а я стою себе у ящика и знай себе шторкой щелкаю. И хоть бы кто внимания обратил! Беспечный народ, ума не приложу, как это они собираются нашей планетой управлять при такой своей беспечности. Их же у нас перочинными ножиками резать будут. Ведь я здесь прямо у них на глазах мог бы всю их секретную документацию скопировать. Была бы документация... Они ведь на меня ну совсем никакого внимания не обращали. Хочешь подслушивать — подслушивай, хочешь подсматривать — подсматривай... Так, который-нибудь взглянет рассеянно, улыбнется тебе и — снова галдеть. Обидно даже, змеиное молоко! Все-таки я — Бойцовый Кот его высочества, не шпана какая-нибудь мелкая, передо мной такие вот шпаки с тротуара сходили и шляпу еще снимали... Правда, не каждый день снимали, а только в дни тезоименитства, но все равно. Так и хотелось мне встать как-нибудь в дверях и гаркнуть по-гепардовски: «Смир-рна! Глаза на меня, тараканья немочь!» То-то забегали бы! Потом я, конечно, запретил себе на эти темы думать. Я свое достоинство унижать права не имею. Даже в мыслях. Пусть все идет как идет. Мне одному их всех по стойке «смирно» все равно не переставить. Да и нет передо мной такой задачи...

Корней мой в эти дни совсем извелся. Мало того, что ему этот галдеж нужно было регулировать, так свалились на него еще и личные неприятности. Всего я, конечно, не знаю, но вот однажды вернулся я под вечер с прудов —

усталый, потный, ноги гудят,— искупался и завалился в траву под кустами, где меня никто не видит, а я всех вижу. То есть видеть-то особенно было некого — которые оставались, те все сидели в кабинете у Корнея, было у них там очередное совещание,— а в саду было пусто. И тут дверь нуль-кабины раскрывается, и выходит из нее человек, какого я до сих пор здесь никогда не видел. Во-первых, одежда на нем. Которые наши — они все больше в комбинезонах или в пестрых таких рубашках с надписями на спине. А этот — не знаю даже, как определить. Что-то такое *строгое на нем, внушительное.* Материальчик серый — понял? — стильный, и сразу видно, что не каждому такой по карману. Аристократ. Во-вторых, лицо. Здесь я объяснить уж совсем не умею. Ну, волосы черные, глаза синие — не в этом дело. Напомнил он мне чем-то того румяного доктора, который меня выходил, хотя этот был совсем не румяный и уж никак не добряк. Выражение одинаковое, что ли?.. У наших такого выражения я не видел, наши либо веселые, либо озабоченные, а этот... нет, не знаю, как сказать.

В общем, вышел он из кабины, прошагал этак решительно мимо меня и — в дом. Слышу: галдеж в кабинете разом стих. Кто же это такой к нам пожаловал, думаю. Высшее начальство? В штатском? И стало мне ужасно интересно. Вот, думаю, взять бы такого. Заложником. Большое дело можно было бы провернуть... И стал я себе представлять во всех подробностях, как я это дело проворачиваю,— фантазия, значит, у меня разыгралась. Потом спохватился. В кабинете уже опять галдят, и тут на крыльцо выходят двое. Корней и этот самый аристократ. Спускаются и медленно идут по дорожке обратно к нуль-кабине. Молчат. У аристократа лицо замкнутое, рот сжат в линейку, голову несет высоко. Генерал, хоть и молод. А Корней мой голову повесил, глядит под ноги и губы кусает. Расстроен.

Я только успел подумать, что и на Корнея здесь, видно, нашлась управа, как они останавливаются совсем недалеко от меня, и Корней говорит:

— Ну что ж... *Спасибо, что пришел.*

Аристократ молчит. Только плечами слегка повел, а сам смотрит в сторону.

— Ты знаешь, я всегда рад видеть тебя,— говорит Корней.— Пусть даже вот так, на скорую руку. Я ведь понимаю, ты очень занят...

— Не надо,— говорит аристократ с досадой.— Не надо. Давай лучше прощаться.

— Давай,— говорит Корней.

И с такой покорностью он это сказал, что мне даже страшно стало.

— И вот что, — говорит аристократ. Жестко так говорит, неприятно. — Меня теперь долго не будет. Мать остается одна. Я требую: перестань ее мучить. Раньше я об этом не говорил, потому что раньше я был рядом и... Одним словом, сделай что хочешь, но перестань ее мучить!

Корней что-то сказал, почти прошептал — так тихо, что я не уловил его слов.

— Можешь! — говорит аристократ с напором.— Можешь уехать, можешь исчезнуть... Все эти... все эти твои занятия... С какой стати они ценнее, чем ее счастье?

— Это совсем разные вещи,— говорит Корней с каким-то тихим отчаянием.— Ты просто не понимаешь, Андрей...

Я чуть не подскочил в кустах. Ну ясно же — никакой это не начальник и не генерал. Это же его сын!

— Я не могу уехать,— продолжает Корней.— Я не могу исчезнуть. Это ничего не изменит. Ты воображаешь, что с глаз долой — из сердца вон. Это не так. Постарайся понять: сделать ничего не возможно. Это судьба. Понимаешь? Судьба.

Этот самый Андрей задрал голову, посмотрел на отца надменно, словно плюнуть в него хотел, но вдруг аристократическое лицо его жалко задрожало — вот-вот заревет,— он как-то нелепо махнул рукой и, ничего не сказав, со всех ног пустился к нуль-кабине.

— Береги себя! — крикнул ему вслед Корней, но того уже не было.

Тогда Корней повернулся и пошел к дому. На крыльце он постоял некоторое время — не меньше минуты, наверное, стоял, словно собирался с силами и с мыслями,— потом расправил плечи и только после этого шагнул через порог.

Такие вот дела. Насели на человека. Ладно, не мое это дело. Жалко только его. Я бы, конечно, на его месте накидал бы этому сыночку пачек, чтобы знал свое место и не встревал, но только на Корнея это не похоже. То есть не похоже, чтобы он кому-нибудь мог пачек накидать... вернее, пачек-то он накидать мог бы, по-моему, кому угодно,

силищи и ловкости он неимоверной. Видел я, как они однажды возились возле бассейна — Корней, а против него трое его этих... ну, офицеров, что ли... Как он их кидал! Это же смотреть было приятно. Так что насчет пачек вы будьте спокойны. Но тут дело в том, что без крайней надобности он никому пачек кидать не станет... не то что пачек, резкого слова от него не услышишь... Хотя с другой стороны, конечно, был один случай... Как-то раз сунулся я к нему в кабинет — не помню уже зачем. То ли книжку какую-то взять, то ли ленту для проектора. Одним словом, дождь был в тот день. Сунулся — и попал вдруг в полную темноту. Я даже засомневался. Не было еще такого, чтобы я в этом доме среди бела дня попадал в темное помещение. Может, меня по ошибке в какую-нибудь кладовку занесло? И вдруг оттуда, из темноты, голос Корнея:

— Прогоните еще раз с самого начала...

Тогда я шагнул вперед. Стена за мной затянулась, и стало совсем уж темно, как в ночном тире. Я вытянул *перед собой руки, чтоб не треснуться обо что-нибудь*, двух шажков не сделал — запутался пальцами в какой-то материи. Я даже вздрогнул от неожиданности. Что еще за материя? Откуда она здесь, в кабинете? Никогда ее здесь раньше не было. И вдруг слышу голоса, и как я эти голоса услышал, так о материи и думать позабыл, и замер, и дышать перестал.

Я сразу понял, что говорят по-имперски. Я это ихнее хурли-мурли где хочешь узнаю, сипение это писклявое. Говорили двое: один — нормальный крысоед, так бы и полоснул его из автомата, а второй... вы, ребята, не поверите, я сначала сам не поверил. Второй был Корней. Ну точно — его голос. Только говорил он, во-первых, по-имперски, а *во-вторых, на таких басах, каких я до сих пор* не то что от Корнея — вообще на этой планете ни от кого не слыхивал. Это, ребята, был настоящий допрос, вот что это было. Я этих допросов навидался, знаю, как там разговаривают. Тут ошибки быть не может. Корней ему этак свирепо: гррум-ттрум-бррум! А тот, поганец трусливый, ему в ответ жалобно: хурли-мурли, хурли-мурли... Сердце мое возрадовалось, честное слово.

Понимал вот, к сожалению, я только с пятого на десятое, да и то, что понимал, до меня как-то не доходило по-настоящему. Получалось вроде, что этот крысоед — не простой солдат или, скажем, горожанин, а какая-то большая шишка. Может, маршал, а может, и министр. И речь

шла у них все время о корпусах и об армиях, а также о положении в столице. То есть это я вывел потому, что слова «корпус», «армия», «столица» мне знакомы, а они то и дело повторялись. И еще мне было понятно, что Корней все время нажимает, а крысоед, хоть и юлит, хоть и подхалимничает, но чего-то недоговаривает, полосатик, крутит, гадина. Корней гремел все яростнее, крысоед пищал все жалобнее, и лично мне было совершенно ясно, что вот именно сейчас и следовало бы влепить как следует,— я даже весь вперед подался, касаясь носом ткани, отделяющей меня от допросной, чтобы ничего не пропустить, когда эта сволочь завизжит и начнет выкладывать, *чего от него добиваются.* Но крысоед вдруг замолчал — в обморок закатился, что ли? — а Корней сказал обыкновенным голосом, по-русски:

— Очень неплохо, Вольдемар, вы свободны. Теперь попробуем подвести итоги. Во-первых...

Так я, ребята, и не узнал, что там было во-первых. Засветили мне вдруг в лоб с такой силой, что стало мне светло в этом мраке, и очнулся я, ребята, уже в гостиной. Сижу на полу, глазами хлопаю, а надо мной стоит, потирая плечо, этот самый Вольдемар, здоровенный дядька, башка под самый потолок, лицо у него растерянное и расстроенное, смотрит он на меня из-под потолка и говорит — то ли укоризненно, то ли виновато:

— Ну что же ты, голубчик? Что же ты там торчал в темноте? Откуда же мне было знать? Ты уж извини меня, пожалуйста... Не ушибся?

Я потрогал осторожно свою переносицу — есть у меня там переносица или ее уже нету,— кое-как поднялся и говорю:

— Нет,— говорю.— Не ушибся. Меня ушибли — это было.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Когда Драмба закончил ход сообщения к корректировочному пункту, Гаг остановил его, спрыгнул в траншею и прошелся по позиции. Отрыто было на славу. Траншея полного профиля с чуть скошенными наружу идеально ровными стенками, с плотно утрамбованным дном, без всякой там рыхлой землицы и другого мусора, все в точности по наставлению, вела к огневой — идеально круглой яме

диаметром в два метра, от которой отходили в тыл крытые бревнами блиндажи для боеприпасов и для расчета. Гаг посмотрел на часы. Позиция была полностью отрыта за два часа десять минут. И какая позиция! Такой могла гордиться его высочества Инженерная академия. Гаг оглянулся на Драмбу. Рядовой Драмба возвышался над ним и над краем траншеи. Огромные ладони его были прижаты к бедрам, локти оттопырены, уши онущены, грудь колесом, и от него, сменяваясь с запахом разрытой земли, исходила атмосфера свежести и прохлады.

— Молодец,— сказал Гаг негромко.

— Слуга его высочества, господин капрал! — гаркнул робот.

— Чего нам теперь еще не хватает?

— Банки бодрящего и соленой рыбки, господин капрал!

Гаг ухмыльнулся.

— Да,— сказал он.— Я из тебя сделал солдата, из разгильдяя.

Он взялся за край траншеи и одним движением перебросил тело на траву, потом поднялся, отряхнул колени и еще раз осмотрел позицию. Да, позиция была на славу.

Солнце поднялось высоко, от росы не осталось и следа, луна бледным куском тающего сахара висела над западным горизонтом, над туманными очертаниями города-чудовища. Вокруг мириадами кузнечиков стрекотала степь, ровная, рыже-зеленая, на всем своем протяжении одинаковая и пустая, как океан. Однообразие ее нарушало лишь облачко зелени вдали, в котором краснела черепичная крыша Корнеева дома. Стрекочущая, напоенная пряными запахами степь вокруг, чистое серо-голубое небо над нею, а в центре — он, Гаг. И ему хорошо.

Хорошо, потому что все далеко. Далеко отсюда непостижимый Корней, бесконечно добрый, бесконечно терпеливый, снисходительный, внимательный, неуклонно, миллиметр за миллиметром вдавливающий в душу любовь к себе, и в то же время бесконечно опасный, словно бомба огромной силы, грозящая взорваться в самый неожиданный момент и разнести в клочья Вселенную Гага. Далеко отсюда лукавый дом, набитый невиданными и невозможными механизмами, невиданными и невозможными существами вперемешку с такими же, как Корней, людьми-ловушками, шумно кипящей беспорядочной деятельностью без всякой видимой разумной цели, а потому такой же

непостижимый и отчаянно опасный для Вселенной Гага. Далеко отсюда весь этот лукавый обманный мир, где у людей есть все, чего они только могут пожелать, а потому желания их извращены, цели потусторонни, и средства уже ничем не напоминают человеческие. И еще хорошо, потому что здесь удается хоть ненадолго забыть о гложущей непосильной ответственности, обо всех этих задачах, которые ноют, как язва, в воспаленной душе — неотложные, необходимые и совершенно неразрешимые. А здесь — все так просто и легко...

— Ого! — произнес Корней.— Вот это да!

Гаг подскочил на месте и обернулся. Корней стоял по ту сторону траншеи, с веселым изумлением оглядывая позицию.

— Да ты фортификатор,— сказал он.— Что это у тебя такое?

Гаг помолчал, но деваться было некуда.

— Позиция,— неохотно буркнул он.— Для мортиры.

Корней был поражен.

— Для чего, для чего?

— Для мортиры.

— Гм... А где ты возьмешь мортиру?

Гаг молчал, глядя на него исподлобья.

— Ну ладно, это меня, в конце концов, не касается,— сказал Корней, подождав.— Извини, если помешал... Я тут получил кое-какие известия и поспешил, чтобы поделиться с тобой. Дело в том, что ваша война кончилась.

— Какая война? — тупо спросил Гаг.

— Ваша. Война герцогства Алайского с империей.

— Уже? — тихо проговорил Гаг.— Вы же говорили — четыре месяца.

Корней развел руки.

— Ну, извини,— сказал он.— Ошибся. Все мы ошиблись. Но это, знаешь ли, добрая ошибка. Согласись, что мы ошиблись в нужную сторону... Управились за месяц.

Гаг облизнул губы, поднял голову, снова опустил.

— Кто...— Он замолчал.

Корней ждал, спокойно глядя на него. Тогда Гаг снова поднял голову и, глядя прямо ему в глаза, сказал:

— Я хочу знать, кто победил.

Корней очень долго молчал, по лицу его ничего нельзя было разобрать. Гаг сел — не держали ноги. Рядом из

траншеи торчала голова Драмбы. Гаг бессмысленно уставился на нее.

— Я ведь уже объяснял тебе,— сказал наконец Корней.— Никто не победил. Вернее, все победили.

Гаг процедил сквозь зубы:

— Объясняли... Мало ли что вы мне объясняли. Я этого не понимаю. У кого осталось устье Тары? Это, может быть, вам все равно, у кого оно осталось, а нам не все равно!

Корней медленно покачал головой.

— Вам тоже все равно,— устало сказал он.— Армий там больше нет — только гражданское население...

— Ага! — сказал Гаг.— Значит, крысоедов оттуда выбили?

— Да нет же...— Корней страдальчески сморщился.— Армий вообще больше не существует, понимаешь? Из устья Тары никто никого не выбивал. Просто и алайцы, и имперцы побросали оружие и разошлись по домам.

— Это невозможно,— сказал Гаг спокойно.— Я не понимаю, зачем вы мне все это рассказываете, Корней. Я вам не верю. Я вообще не понимаю, чего вам от меня надо. Зачем вы меня здесь держите? Если я вам не нужен — отпустите. А если нужен — говорите прямо...

Корней закряхтел и с силой ударил себя по бедру.

— Значит, так,— сказал он.— Ничего нового по этой части я тебе сообщить не могу. Вижу, что тебе здесь не нравится. Знаю, что ты стремишься домой. Но тебе придется еще потерпеть. Сейчас у тебя на родине слишком тяжело. Разруха. Голод. Эпидемии. А сейчас еще и политическая неразбериха... Герцог, как и следовало ожидать, плюнул на все и бежал, как последний трус. Бросил на произвол судьбы не только страну...

— Не говорите плохо о герцоге,— хрипло прорычал Гаг.

— Герцога больше нет,— холодно сказал Корней.— Герцог Алайский низложен. Впрочем, можешь утешиться: императору тоже не повезло.

Гаг криво ухмыльнулся и снова окаменел лицом.

— Пустите меня домой,— сказал он.— Вы не имеете права меня здесь держать. Я не военнопленный и не раб.

— Давай-ка так,— сказал Корней.— Давай не будем ссориться. Ты плохо себе представляешь, что там у вас делается. А там такие, как ты, сколотили банды, им все

хочется поставить скелет на ноги, а этого, кроме них, никто уже не хочет. За ними охотятся, как за бешеными псами, и они обречены. Если тебя сейчас отправить домой, ты, конечно же, примкнешь к такой банде, и тогда тебе конец. И дело, между прочим, не только в тебе, дело еще и в тех людях, которых ты успеешь убить и замучить. Ты опасен. И для себя, и для других. Вот так, если откро венно.

Оказывается, Корней мог быть и таким. Перед Гагом стоял боец, и хватка у этого бойца была железная, и бил он в самую точку. Ну что ж, за откровенность спасибо. Значит, теперь так и будем: ты мне сказал, но я тебе тоже сейчас скажу. Хватит строить из себя мальчика в штанишках. Надоело.

— Значит, боитесь, что я там буду опасен,— сказал Гаг. Он уже больше не мог и не хотел сдерживаться.— Что ж, воля ваша. Только смотрите, как бы я здесь не стал опасен!

Они стояли по сторонам траншеи, лицом к лицу, и сначала Гаг торжествовал, что ему удалось вызвать это холодное свечение в обычно добрых до отвращения глазах великого лукавца, а потом вдруг с изумлением и негодованием обнаружил, что свечение это исчезло, и снова у него, сатаны, улыбочка, и глаза снова прищурились по-отечески, змеиное молоко! И вдруг Корней фыркнул, захохотал, поперхнулся, закашлялся, снова захохотал и закричал, разведя руки:

— Кот! Ну кот и кот! Дикий... Ду-умай! — сказал он Гагу и постучал себя по темени.— Думай! Мозгами шевелить надо! Неужели ты зря здесь пятую неделю торчишь?

Тогда Гаг резко повернулся и пошел в степь.

— Думай! — в последний раз донеслось до него.

Он шел, не глядя под ноги, проваливаясь в сурчиные норы, спотыкаясь, царапая лодыжки колючками. Он ничего не видел и не слышал вокруг, перед глазами его стояло иссеченное морщинами землистое лицо с покрасневшими глазами, и в ушах звучал хрипловатый голос: «Сопляки! Мои верные, непобедимые сопляки!» И этот человек сейчас где-то спасался, прятался, томился, а его гнали, охотились за ним, как за бешеным волком, вонючие орды осатаневших от страха дикобразов. Чернь, сброд, отбросы... Вранье, вранье, не может этого быть! Лесные егеря, гвардия, десантники. Голубые Драконы... что, они тоже продались? Тоже бросили? Да ведь у них же ничего

не было, кроме Него! Они ведь жили только для Него. Они умирали за Него! Нет, нет, ложь, чушь... Они взяли его в стальное кольцо, ощетинились штыками, стволами, огнеметами... это же лучшие бойцы в мире, они разгонят и раздавят взбесившуюся солдатню... О, как они будут их гнать, жечь, втаптывать в грязь... А я — я сижу здесь. Кот. Поганый щенок, а не Кот! Подобрали бедненького, залечили лапку, ленточкой украсили, а он знай себе машет хвостиком, молочко тепленькое лакает и все приговаривает «так точно» да «слушаюсь»...

Он споткнулся и упал всем телом в колючую сухую траву и остался лежать, закрыв голову от нестерпимого стыда. Но ведь один же! Один против всей этой махины! И ребята, друзья мои в этом лукавом аду, замолчали, который день не откликаются, ни строчки, ни буквы — может, их и в живых уже нет... а может, сдались? Неужели же я ничего не могу?

Он трясся, как в лихорадке, под палящим солнцем, в мозгу возникали, кружились, проносились совершенно невозможные, немыслимые способы борьбы, побега, освобождения... Весь ужас был в том, что Корней, конечно же, сказал правду. Недаром работала его машина, недаром съехались, сползлись, слетелись сюда все эти чудища с неведомых миров — сделали свое дело, разорили страну, загубили все лучшее, что в ней было, разоружили, обезглавили...

Он не услышал, как подошел Драмба, но потной спине под раскаленной рубашкой стало прохладно, когда тень робота упала на него, и ему стало легче. Все-таки он был не совсем один. Он еще долго лежал ничком, а солнце двигалось по небу, и Драмба бесшумно двигался возле, оберегая его от зноя. Потом он сел. Голые ноги были исполосованы колючками. На колено вспрыгнул кузнечик, бессмысленно уставился зелеными капельками глаз. Гаг брезгливо смахнул его и замер, разглядывая руку. Костяшки пальцев были ободраны.

— Когда это я? — произнес он вслух.

— Не могу знать,— сейчас же откликнулся Драмба.

Гаг осмотрел другую руку. Тоже в крови. Землю-матушку, значит, молотил. Родительницу всех этих... ловкачей. Хорош Кот. Только истерики мне и не хватало. Он оглянулся в сторону дома. Зеленое облачко едва виднелось на горизонте.

— Много лишнего я сегодня наболтал, вот что...— ска-

зал он медленно.— Дикобраз ты, а не Кот. Выдрать тебя некому. Угрожать вздумал, сопляк... То-то Корней закатился...

Он посмотрел на робота.

— Рядовой Драмба! Что делал Корней, когда я ушел?

— Приказал мне следовать за вами, господин капрал.

Гаг усмехнулся с горечью.

— А ты, конечно, подчинился...— Он поднялся, подошел к роботу вплотную.— Сколько тебя учить, дубина,— прошипел он яростно.— Кому ты подчиняешься? Кто твой непосредственный начальник?

— Капрал Гаг. Бойцовый Кот его высочества,— отчеканил Драмба.

— Так как же ты, дикобраз безмозглый, можешь подчиняться кому-то еще?

Драмба помедлил, потом сказал:

— Виноват, господин капрал.

— Э-эх...— произнес Гаг безнадежно.— Ладно, бери меня на плечи. Домой.

Дом встретил его непривычной тишиной. Дом был пуст. Улетели стервятники. На падаль. Гаг прежде всего искупался в бассейне, смыл кровь и пыль, тщательно причесался перед зеркалом и, переодевшись в свежее, решительно зашагал в столовую. К обеду он опоздал, Корней уже допивал свой сок. Он с нарочитым безразличием глянул на Гага и снова опустил взгляд в папку, лежащую перед ним. Гаг подошел к столу, кашлянул и проговорил стиснутым голосом:

— Я вел себя неправильно, Корней. (Корней кивнул, не поднимая глаз.) Я прошу у вас прощения.

Говорить было невыносимо трудно, язык едва ворочался. Пришлось остановиться на секунду и крепко стиснуть челюсти, чтобы привести себя в порядок.

— Конечно же, я... я буду все делать так, как вы приказываете. Я был неправ.

Корней вздохнул и отодвинул от себя папку.

— Я принимаю твои извинения...— Он побарабанил пальцами по столу.— Да. Принимаю. Правда, к сожалению, я виноват больше тебя. Да ты садись, ешь...

Гаг сел, не сводя с него настороженного взгляда.

— Видишь ли, ты еще молод, тебе многое можно простить. Но я! — Корней потряс в воздухе растопыренными пальцами.— Старый дурень! Все-таки в моем возрасте и с

моим опытом пора бы уже знать, что есть люди, которые могут выдержать удар судьбы, а есть люди, которые ломаются. Первым рассказывают правду, вторым рассказывают сказки. Так что ты тоже прости меня, Гаг. Давайка постараемся забыть эту историю.— И он снова взялся за свои бумаги.

Гаг ел какое-то месиво из мяса и овощей, не чувствуя ни вкуса, ни запаха, словно вату жевал. Уши его пылали. Чушь какая-то опять получалась. Больше всего хотелось заорать и ударить кулаком по столу. «Хватит строить из меня щенка! Хватит! Меня ударами судьбы не сломишь, понятно? Мы не из ржавого железа!.. Надо же, как повернул, опять я кругом дурак...— Гаг плеснул себе в стакан из оплетенной бутыли с кокосовым молоком.— Вообще-то говоря, я и на самом деле дурак. Он со мной как с мужчиной, а я как баба. Вот и получается — щенок и дурак. Не хочу об этом думать. Не надо мне твоей правды, не надо мне твоих сказок. То есть за правду тебе, конечно, спасибо — я теперь хоть понял, что ждать больше нечего, что пора дело делать».

Корней поднялся, взял папку под мышку и ушел. Лицо у него было удрученное. Гаг, жуя и прихлебывая, поглядел в сад. На песчаную дорожку из густой травы выбрался большой кот рыжей масти, в зубах у него трепыхалось что-то пернатое. Кот угрюмо повел дикими глазами вправо, влево и заструился к дому — должно быть, под крыльцо. «Давай, давай, работай, брат-храбрец,— подумал Гаг.— Мне бы как-нибудь до вечера дотянуть, а там можно будет и делом заняться». Он вскочил, сбросил посуду в лючок и, пройдя по дому на цыпочках, направился в тот самый коридор. Надписей не прибавилось. Друзья в аду молчали. «Ладно. Значит, придется все-таки в одиночку. Драмба... Нет. На рядового Драмбу надежды плохи. Жалко, конечно. Солдат бесценный. Но веры ему настоящей нет. Лучше уж без него. Пусть только сделает то, что надо, а потом я его... откомандирую».

Он вернулся в свою комнату, лег на койку, заложил руки за голову.

— Рядовой Драмба! — позвал он.

Драмба вошел и остановился у двери.

— Продолжай,— приказал Гаг.

Драмба привычно загудел прямо с середины фразы:

— ...никакого другого выхода. Врач, однако, был против. Он аргументировал свой протест, во-первых, тем, что

существо, не принадлежащее к бранчу гуманоидных сапиенсов, не может быть объектом контакта без посредника...

— Пропусти,— сонно сказал Гаг.

— Слушаюсь, господин капрал,— отозвался Драмба и, помолчав, продолжал, на этот раз — с начала фразы: — На контакт вышли: Эварист Козак, командир корабля, Фаина Каминска, старший ксенолог группы, ксенологи...

— Пропусти! — раздраженно сказал Гаг.— Что там было дальше?

Внутри Драмбы заурчало, и он принялся рассказывать, как в зоне контакта вспыхнул неожиданно пожар, контакт был прерван, из-за стены огня раздались вдруг выстрелы, штурман группы семи-гуманоид Кварр погиб, и тело его не было обнаружено, Эварист Козак, командир корабля, получил тяжелое проникающее ранение в область живота...

Гаг заснул.

Он проснулся словно от удара мокрым полотенцем по лицу: где-то рядом разговаривали по-алайски. Сердце колотилось как бешеное, трещала голова. Но это был не сон и не бред.

— ...Я обратил внимание на то, что большинство его работ написано в Гигне,— говорил незнакомый ломающийся голос.— Может быть, это вам поможет?

— Гигна...— отозвался голос Корнея.— Позволь. Где это?

— Это курортное местечко... западный берег Заггуты. Знаете, озеро такое...

— Знаю. Ты думаешь...

— По-видимому, он часто там работал... Жил, наверное, у какого-нибудь мецената...

Гаг бесшумно скатился с койки и подкрался к окну.

На крыльце Корней разговаривал с каким-то парнем лет шестнадцати, худым, белобрысым, с большими бледными глазами, как у куклы,— явным и очевидным алайцем с юга.

Гаг вцепился пальцами в подоконник.

— Это любопытно,— задумчиво сказал Корней. Он похлопал парня по плечу.— Это идея, ты молодчина, Данг. А наши разини прозевали...

— Его надо обязательно найти, Корней! — Парень прижал кулаки к узкой груди.— Вы же сами говорили, что даже ваши ученые заинтересовались, и теперь я пони-

маю — почему... Он на вашем уровне! Он даже выше кое в чем... Вы просто обязаны его найти!

Корней тяжело вздохнул.

— Мы сделаем все, что сможем, голубчик... но знал бы ты, как это трудно! Ты ведь представления не имеешь, что там у вас сейчас делается...

— Имею,— коротко сказал парень.

Они помолчали.

— Лучше бы вы меня там оставили, а его вытащили,— *тихо проговорил парень, глядя в сторону.*

— На тебя нам повезло наткнуться, а на него — нет,— так же тихо отозвался Корней. Он снова взял парня за плечо.— Мы сделаем все, что в наших силах.

Парень кивнул:

— Хорошо.

Корней снова вздохнул:

— Ну, ладно... Значит, ты прямо в Обнинск?

— Да.

— *Тебе там больше понравится. По крайней мере, там* у тебя будут квалифицированные собеседники. Не такие дремучие прагматики, как я.

Парень слабо улыбнулся, и они пожали друг другу руки — по-алайски, крест-накрест.

— Что ж,— сказал Корней.— Нуль-кабиной ты теперь пользоваться умеешь...

Они вдруг разом засмеялись, вспомнив, по-видимому, какую-то историю, связанную с нуль-кабиной.

— Да,— *сказал парень.*— Этому я научился... Умею... Но вы знаете, Корней, мы решили пробежаться до Антонова. Ребята обещали показать мне что-то в степи...

— А где они? — Корней огляделся.

— Сейчас подойдут, наверное. Мы условились, что я пойду вперед, а они меня нагонят... Вы идите, Корней, я и так вас задержал. Спасибо вам большое...

Они вдруг обнялись — Гаг даже вздрогнул от неожиданности,— а затем Корней слегка оттолкнул парня и быстро ушел в дом. Парень спустился с крыльца и пошел по дорожке, и тут Гаг увидел, что он сильно хромает, припадая на правую ногу. Эта нога у него была явно короче и тоньше левой.

Несколько секунд Гаг смотрел ему вслед, а потом рывком перебросил тело через подоконник, пал на четвереньки и сразу же нырнул в кусты. Он неслышно следовал за этим Дангом, уже испытывая к нему без-

отчетную неприязнь, то брезгливое отвращение, которое он всегда чувствовал к людям увечным, ущербным и вообще бесполезным. Но этот Данг был алаец, причем, судя по имени и по выговору,— южный алаец, а значит, алаец первого сорта, и как бы там ни было, поговорить с ним было необходимо. Потому что это был все-таки шанс.

Гаг настиг его уже в степи, выждав момент, когда дом до самой крыши скрылся за деревьями.

— Эй, друг! — негромко позвал он по-алайски.

Данг стремительно обернулся. Он даже пошатнулся на покалеченной ноге. Кукольные глаза его раскрылись еще шире, и он попятился. Все краски сбежали с его тощего лица.

— Ты кто такой? — пробормотал он.— Ты... этот... Бойцовый Кот?

— Да,— сказал Гаг.— Я — Бойцовый Кот. Меня зовут Гаг. С кем имею честь?

— Данг,— отозвался тот, помолчав.— Извини, я спешу...

Он повернулся и, хромая еще сильнее, чем раньше, пошел прочь прежней дорогой. Гаг нагнал его и схватил за руку повыше локтя.

— Подожди... Ты что, разговаривать не хочешь? — удивленно проговорил он.— Почему?

— Я спешу.

— Да брось ты, успеешь!.. Вот так картинка! Встретились в этом аду два алайца — и чтобы не поговорить? Что это с тобой? Одурел совсем, что ли?

Данг попытался высвободить руку, но куда там! Он был совсем хилый, этот недоносок из южан.

Гаг ничего не понимал.

— Слушай, друг...— начал он с наивозможной проникновенностью.

— В аду твои друзья! — сквозь зубы процедил Данг, глядя на него с явной ненавистью.

От неожиданности Гаг выпустил его руку. На мгновение он даже потерял дар речи. В аду твои друзья... Твои друзья в аду... Твои друзья — в аду! Он даже задохнулся от бешенства и унижения.

— Ах ты...— сказал он.— Ах ты, продажная шкура! Задавить, на куски разодрать тварюгу...

— Сам ты барабанная шкура! — прошипел Данг сквозь зубы.— Палач недобитый, убийца.

Гаг, не размахиваясь, ударил его под ложечку, и, когда хиляк согнулся пополам, Гаг, не теряя драгоценного времени, с размаху ахнул кулаком по белобрысому затылку, подставив колено под лицо. Он стоял над ним, опустив руки, глядел, как он корчился, захлебываясь кровью, в сухой траве, и думал: вот тебе и союзничек, вот тебе и друг в аду... Во рту у него была горечь, и ему хотелось плакать. Он присел на корточки, приподнял голову Данга и повернул к себе его залитое кровью лицо.

— Дрянь...— прохрипел Данг и всхлипнул.— Палач... Даже сюда...

— Зачем это? — произнес сумрачный голос.

Гаг поднял глаза. Над ним стояли двое — какие-то незнакомые из местных, тоже совсем молодые. Гаг осторожно опустил голову южанина на траву и поднялся.

— Зачем...— пробормотал он.— Откуда я знаю — зачем?

Он повернулся и пошел к дому.

Ломая кусты и топча клумбы, он напрямик прошел к крыльцу, поднялся к себе, упал ничком на койку и так пролежал до самого вечера. Корней звал его ужинать — он не пошел. Бубнили голоса в доме, слышалась музыка, потом стало тихо. Отругались воробьи, устраиваясь на ночь в зарослях плюща, завели бесконечные песни цикады, в комнате становилось все темнее и темнее. И когда стало совсем темно, Гаг поднялся, поманил за собой Драмбу и прокрался в сад. Он прошел в самый дальний угол сада, в густые заросли сирени, уселся там прямо на теплую траву и сказал негромко:

— Рядовой Драмба. Слушай внимательно мои вопросы. Вопрос первый. По металлу работать умеешь?

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

За завтраком Корней не сказал со мной ни слова, даже не поглядел на меня. Будто меня за столом и нет вовсе. Я, натурально, поджался, жду, что будет, и на душе, надо сказать, гадостно донельзя. Все время то ли вымыться хочется, то ли сдохнуть вообще. Ну, поел я кое-как, поднялся к себе, натянул форму — не помогает. Вроде бы даже еще хуже стало. Взял портрет ее высочества — вы-

скользнул он у меня из рук, закатился под койку, я и искать не стал. Сел перед окошком, локти на подоконник поставил, гляжу в сад — ничего не вижу, ничего не хочу. Домой хочу. Просто домой, где все не так, как здесь. Что за судьба у меня собачья? Ничего ведь в жизни не видел. То есть видел, конечно, много, другому столько и не приснится, сколько я наяву видел, а вот радости — никакой. Стал вспоминать, как герцог меня табаком одарил,— бросил, не помогает. Вместо его лица все выплывает этот хиляк, тощая его физия, вся в кровище. А вместо его голоса — совсем другой голос, и он все повторяет: «Зачем это? Зачем это?» Откуда я знаю — зачем?

Потом вдруг распахнулась дверь, вошел Корней — как туча, глаза — молнии,— ни слова не говоря, швырнул мне чуть ли не в лицо пачку каких-то листов (это Корней-то! Швырнул!) и, опять ничего не сказав, повернулся и ушел. И дверью грохнул. Я чуть не завыл от тоски, пнул эти листки ногой, по всей комнате они разлетелись. Стал снова в сад глядеть — черно перед глазами, не могу. Подобрал листок, что поближе, стал читать. Потом другой, потом третий... Потом собрал все, сложил по порядку, стал читать снова.

Это все были отчеты. Корнеевы люди, которые, как я понимаю, были заброшены к нам, работали там у нас: кто дворником, кто парикмахером, а кто и генералом. И вот они, значит, докладывали Корнею о своих наблюдениях. Чистая работа, ничего не скажешь. Профессионалы.

Ну, было там про этого парнишку, про Данга. Жил он, как и я, в столице и даже недалеко от меня, напротив зоопарка. Отца у него убили еще во время первого Тарского инцидента. Он был ученый, ловил в устье Тары каких-то своих научных рыб, ну, там его ненароком и шлепнули. Остался он один с матерью. Как и я. Только мать его была интеллигентная и пошла в учительницы, музыку преподавала. А он, между прочим, сам тоже был парень с головой. Премии всякие в школе хватал, главным образом — по математике. У него способности были большие, вроде как у меня к технике, только больше. Когда началась эта война, он чуть ли не в самую первую бомбежку попал под бомбу, ребра ему поломало, правую ногу навеки изуродовало.

И пока я, значит, брал Арихаду, подавлял бунты и ходил в десант в устье Тары, он круглосуточно лежал дома. Я не в укор ему говорю, он там намучился, может

быть, еще больше меня: в ихний дом попало две бомбы, его газами отравило, дом весь потом выселили, остались они вдвоем с матерью в этой руине — не знаю уж, почему мать не захотела переезжать. И вот, значит, мать его каждый день уходила на работу, уже теперь не в музыкальную школу, а на патронный завод. Иногда на сутки уходила, иногда на двое. Оставит ему кое-какую еду, суп в ватник завернет, чтобы он мог дотянуться — сам он с постели почти что и не вставал,— и уйдет. Ну вот она однажды ушла, да и не пришла. Неизвестно, что с нею сталось. Этот Данг совсем уже загибался, когда на него случайно вышел Корнеев разведчик. В общем, жуткая, конечно, история. Прямо посреди столицы погибал от голода и холода парень, причем большой математический талант, даже огромный, и всем на него было наплевать. Так бы и подох, как собака под забором, если б не этот тип. Ну, он раз к нему пришел, два пришел, еду ему носит. А парень возьми его и расколи! Тот только рот разинул. А Данг ему вроде ультиматума: или вы меня отсюда к себе возьмете, в ваш мир то есть, или я повешусь. Вон, говорит, петелька висит, видите? Ну, Корней дал, конечно, распоряжение... Такая вот история.

Там еще много чего было. Было там и о герцоге, и об Одноглазом Лисе, и о господине фельдмаршале Брагге, обо всех там было. Как они политику делают, как они развлекаются в свободное время... Я то и дело читать бросал, ногти грыз, чтобы успокоиться. И об ее высочестве тоже было. Оказывается, гофмаршалом во дворце служил тоже человек Корнея, так что сомневаться не приходится. Это же не то что для меня материалы подбирались. Это ведь Корней их из какого-то дела надергал, прямо с мясом выдирал. Ну, ладно.

Сложил я эти листики аккуратной стопочкой, подровнял, взвесил на руке и опять по комнате пустил. Вообще-то, если говорить честно, оставалось мне одно: пуля в лоб. Хребет они мне переломили, вот что. Добились своего. Весь мир в глазах перевернули вверх тормашками. Как жить — не знаю. Зачем жить — не понимаю. Как теперь Корнею в глаза смотреть — и вовсе не ведаю. Эх, думаю, разбегусь я сейчас по комнате, руки по швам и — в окошко, башкой вниз. И всему конец, хоть всего-то второй этаж. Но тут как раз приперся Драмба, требует очередной чертеж. Отвлек он меня. А когда ушел, стал я уже рассуждать поспокойнее. Целый час сидел, ногти грыз, а потом

пошел и искупался. И странное вдруг у меня облегчение наступило. Словно какой-то пузырь болезненный у меня в душе надувался, надувался, а теперь вот лопнул. Словно я с какими-то долгами рассчитался. Словно я этим отчаянием своим какую-то вину перед кем-то искупил. Не знаю, перед кем. И не знаю какую. И в голове у меня только одно: домой, ребята! По домам! Все мои долги, какие еще остались,— все они там, дома.

За обедом Корней мне говорит, не глядя, сурово, неприветливо:

— Прочитал?

— Да.

— Понял?

— Да.

На этом наш разговор и кончился.

После обеда зяглянул я к Драмбе. Вкалывает мой рядовой вовсю, только стружка летит. Весь в опилках, в горячем масле, руки так и ходят. Одно удовольствие было на него смотреть. Быстро у него это дело продвигалось — просто на диво. А мне теперь оставалось только одно: ждать.

Ну, ждать пришлось мне недолго, дня два. Когда машинка была готова, я ее сложил в мешок, отнес к прудам, собрал там и опробовал с молитвою. Ничего машинка, молотит. Плюется, но все-таки получилась она получше, чем у наших повстанцев, которые делали свои сморкалки вообще из обрезков водопроводных труб. Ну, вернулся я, сунул ее вместе с мешком в железный ящик. Готов.

И вот в тот же вечер (я уже спать нацеливался) открывается дверь, и стоит у меня на пороге эта женщина. Слава богу, я еще не разделся — сидел на койке в форме и снимал сапоги. Правый снял, но только за левый взялся, смотрю — она. Я ничего даже подумать не успел, только взглянул и, как был в одном сапоге, вскочил перед нею и вытянулся. Красивая она была, ребята, даже страшно — никогда я у нас таких не видел, да и не увижу, наверное, никогда.

— Простите,— говорит она, улыбаясь.— Я не знала, что здесь вы. Я ищу Корнея.

А я молчу, как болван деревянный, и только глазами ее ем, но почти ничего не вижу. Обалдел. Она обвела взглядом комнату, потом снова на меня посмотрела — пристально, внимательно, уже без улыбки,— ну, видит, что от

меня толку добиться невозможно, кивнула и вышла, и дверь за собой тихонько прикрыла. И верите ли, ребята, мне показалось, что после ее ухода в комнате сразу стало темнее.

Долго я стоял вот так, в одном сапоге. Все мысли у меня спутались, ничегошеньки я не соображал. Не знаю уж, в чем тут дело: то ли освещение было какое-то особенное в ту минуту, а может быть, и сама эта минута была для меня особенной, но я потом полночи все крутился и не мог в себя прийти. Вспоминал, как она стояла, как глядела, что говорила. Сообразил, конечно, что она мне неправду сказала, что вовсе она не Корнея искала (нашла, где искать!), а зашла она сюда специально, на меня посмотреть.

Ну, это ладно. Другая мысль меня в тоску смертную вогнала: понял я, что довелось мне увидеть в эту минуту малую частичку настоящего большого мира этих людей. Корней ведь меня в этот мир не пустил, и правильно, наверное, сделал. Я бы в этом мире руки на себя наложил, потому что это невозможно: видеть такое ежеминутно и знать, что никогда ты таким, как они, не будешь и никогда у тебя такого, как у них, не будет, а ты среди них, как сказано в священной книге, есть и до конца дней своих останешься «безобразен, мерзок и затхл»... В общем, плохо я спал в эту ночь, ребята, можно сказать, что и вовсе не спал. А едва рассвело, я выбрался в сад и залег в кустах на обычном своем наблюдательном пункте. Захотелось мне увидеть ее еще раз, разобраться, понять, чем же она меня вчера так ударила. Ведь видел же я ее и раньше, из этих самых кустов и видел...

И вот когда они шли по дорожке к пуль-кабине, рядом, но не касаясь друг друга, я смотрел на нее и чуть не плакал. Ничего опять я в ней не видел. Ну, красивая женщина, спору нет,— и всё. Вся она словно погасла. Словно из нее душу живую вынули. В синих глазах у нее была пустота, и около рта появились морщины.

Они прошли мимо меня молча, и только у самой кабины она, остановившись, проговорила:

— Ты знаешь, у него глаза убийцы...

— Он и есть убийца,— тихо ответил Корней.— Профессионал...

— Бедный ты мой,— сказала она и погладила его ладонью по щеке.— Если бы только я могла с тобой остаться... но я правда не могу. Мне здесь тошно...

Я не стал дальше слушать. Ведь это они про меня говорили. Прокрался я к себе в комнату, посмотрел в зеркало. Глаза как глаза. Не знаю, чего ей надо. А Корней правильно ей сказал: профессионал. Тут стесняться нечего. Чему меня научили, то я и умею... И я всю эту историю от себя отмел. У вас свое, у меня свое. Мое дело сейчас — ждать и дождаться.

Как я оставшиеся три дня провел — не знаю. Ел, спал, купался. Опять спал. С Корнеем мы почти не разговаривали. И не то чтобы он меня не простил за тот случай или всякое там, нет. Просто он занят был по горло. Теперь уж до последнего предела. Даже осунулся. Народ к нам снова зачастил, так и прут. Не поверите — дирижабль прилетел, целые сутки висел над садом, а к вечеру как посыпались из него, как посыпались... Но вот что удивительно — за все это время ни одного «призрака». Я уже давно заметил: «призраки» у них здесь прибывают либо поздним вечером, либо рано утром, не знаю уж почему. Так что днем я как в тумане был, ни на что внимания не обращал, а как солнце сядет, звезды высыпят, так я у окна с машинкой на коленях. А «призраков» нет, хоть ты лопни. Я жду, а их нет. Я уж, честно говоря, тревожиться начал. Что это, думаю, специально? И тут он все на сто лет вперед рассчитал?

За все это время только одно интересное событие и произошло. В последний день. Дрыхну это я перед ночной своей вахтой, и вдруг будит меня Корней.

— Что это ты среди бела дня завалился? — спрашивает он меня недовольно, но недовольство это, я вижу, какое-то ненастоящее.

— Жарко,— говорю.— Сморило.

Сморозил, конечно, спросонья. Как раз весь этот день дождик с самого утра моросил.

— Ох, распустил я тебя,— говорит он.— Ох, распустил. У меня руки не доходят, а ты пользуешься... Пойдем! Ты *мне нужен*.

Вот это номер, думаю. Понадобился. Ну, конечно, вскакиваю, постель привел в порядок, берусь за сандалии, и тут он мне преподносит.

— Нет,— говорит.— Это оставь. Надень форму. И оправься как следует... причешись. Вахлак вахлаком, смотреть стыдно...

Ну, ребята, думаю, моря горят, леса текут, мышка в камне утонула. Форму ему. И разобрало меня любо-

пытство. Облачаюсь, затягиваюсь до упора, причесался. Каблуками щелкнул. Слуга вашего превосходительства. Он осмотрел меня с головы до ног, усмехнулся чему-то, и пошли мы через весь дом к нему в кабинет. Он входит первым, отступает на шаг в сторону и четко по-алайски произносит:

— Разрешите, господин старший бронемастер, представить вам. Бойцовый Кот его высочества, курсант третьего курса Особой столичной школы Гаг.

Гляжу — и в глазах у меня потемнение, а в ногах дрожание. Прямо передо мной, как привидение, сидит, развалясь в кресле, офицер-бронеходчик. Голубой Дракон, «Огонь на колесах» в натуральную величину, в походной форме при всех знаках различия. Сидит нога на ногу, ботинки сияют, шипами оскалились, коричневая кожаная куртка с подпалинами, с плеча свисает голубой шнур — тот еще волк, значит... и морда, как у волка, горелая пересаженная кожа лоснится, голова бритая наголо, с коричневыми пятнами от ожогов, глаза, как смотровые щели, без ресниц... Ладони у меня, ребята, сами собой уперлись в бедра, а каблуки так щелкнули, как никогда еще здесь не щелкали.

— Вольно, курсант,— произносит он сиплым голосом, берет из пепельницы сигарку и затягивается, не отрывая от меня своих смотровых щелей.

Я опустил руки.

— Несколько вопросов, курсант,— сказал он и положил сигарку обратно на край пепельницы.

— Слушаю вас, господин старший бронемастер!

Это не я говорю, это мой рот сам собой отбарабанивает. А я в это время думаю: что же это такое, ребята? Что же это происходит? Ничего не соображаю. А он говорит, невнятно так, сглатывая слова, я эту ихнюю манеру знаю:

— Слышал, что его высочество удостоил тебя... а-а... жевательным табаком из собственной руки.

— Так точно, господин старший бронемастер!

— Это за какие же... а-а... подвиги?

— Удостоен как представитель курса после взятия Арихады, господин старший бронемастер!

Лицо у него равнодушное, мертвое. Что ему Арихада? Опять взял сигарку, осмотрел тлеющий кончик, вернул в пепельницу.

— Значит, был удостоен... Раз так, значит... а-а... нес

впоследствии караульную службу в ставке его высочества...

— Неделю, господин старший бронемастер,— сказал мой рот, а голова моя подумала: ну, чего пристал? Чего тебе от меня надо?

Он вдруг весь подался вперед.

— Маршала Нагон-Гига в ставке видел?

— Так точно, видел, господин старший бронемастер!

Змеиное молоко! Экий барин горелый выискался! Я с самим генералом Фраггой разговаривал, не тебе чета, и тот со второго моего ответа позволил и приказал: без званий. А этому, видно, как музыка: «Господин старший бронемастер». Новопроизведенный, что ли? А может, из холопов выслуживался... опомниться не может.

— Если бы сейчас маршала встретил, узнал бы его?

Ну и вопросик! Маршал — он был такой низенький, грузный, глаза у него все слезились. Но это от насморка. Если бы у него глаза не было или, скажем, уха... а так — маршал как маршал. Ничего особенного. В ставке их много, Фрагга был еще из боевых...

— Не могу знать,— сказал я.

Он снова откинулся на спинку кресла и снова взялся за сигарку. Не нравилась ему эта сигарка. Он ее больше в руках держал да обнюхивал, чем затягивался. Ну и не курил бы... вон бычок какой здоровенный, а я мох курю...

Он подобрал под себя свои голенастые ноги, поднялся, прошел к окну и стал спиною ко мне со своей сигаркой — только голубой дымок поднимается из-за плеча. Думает. Мыслитель.

— Ну, хорошо,— говорит совсем уже невнятно, и получается у него «нухшо».— А нет ли у тебя... а-а... курсант, старшего брата у нас в Голубых бронеходцах?

Даже морду не повернул. Так, ухо немножко в мою сторону преклонил. А у меня, между прочим, три брата было... могли бы быть, да все в грудном возрасте померли. И такая меня злоба вдруг взяла, на все вместе разом.

— Какие у меня, змеиное молоко, братья? — говорю.— Откуда у нас братья? Мы сами-то еле живы...

Он мигом ко мне повернулся, словно его шилом ткнули. Уставился. Ну чисто бронеход! А я вроде бы в окопе сижу... У меня по старой памяти кожа на спине съежилась, а потом думаю: идите вы все с вашими взорами, тоже мне — старший бронемастер драной армии... Сам небось

драпал, все бросил, аж сюда додрапал, от своих же небось солдат спасался... И отставляю я нагло правую ногу, а руки завожу за спину и гляжу ему прямо в смотровые щели.

Полминуты он, наверное, молчал, а потом просипел:

— Как стоишь, курсант?

Я хотел сплюнуть, но удержался, конечно, и говорю:

— А что? Стою как стою, с ног не падаю.

И тут он двинулся на меня через всю комнату. Медленно, страшно. И не знаю я, чем бы это все кончилось, но тут Корней из своего угла, где он все это время сидел с бумажками, подает вдруг голос:

— Бронемастер, друг мой, полегче... не заезжайте...

И всё. По опаленной морде прошла какая-то судорога, и господин старший бронемастер, не дойдя до меня, свернул к своему креслу. Готов. Скис Голубой Дракон. Это тебе не комендатура. И ухмыльнулся я всем своим одеревенелым лицом как только мог нагло. А сам думаю: ну, а если бы Корнея не было? Вышел бы Корней на минуту? Ударил бы он меня, и я бы его убил. Точно, убил бы. Руками.

Он повалился в свое кресло, придавил наконец в пепельнице эту сигарку и говорит Корнею:

— Все-таки у вас здесь очень жарко, господин Корней... Я бы не отказался от чего-нибудь... а-а... освежающего.

— Соку? — предлагает Корней.

— Соку? А-а... нет.

— Вина?

— Пожалуй.

На меня он больше не смотрит. Игнорирует. Берет у Корнея бокал и запускает в него свой обгорелый нос. Сосет. А я обалдел. То есть как это? Нет, конечно, всякое бывает... тем более разгром... разложение... Да нет! Это же Голубой Дракон! Настоящий! И вдруг у меня как пелена с глаз упала. Шнурок... вино... Змеиное молоко, да это же все липа! Корней говорит:

— Ты не выпьешь, Гаг?

— Нет,— говорю.— Не выпью. И сам не выпью, и этому не советую... господину старшему бронемастеру.

И такое меня веселье злое разобрало, я чуть не расхохотался. Они оба на меня вылупились. А я подошел к этому горелому барину, отобрал у него бокал и говорю — мягко так, отечески поучаю:

— Голубые Драконы,— говорю,— вина не пьют. Они вообще спиртного не пьют. У них, господин старший бронемастер, зарок: ни капли спиртного, пока хоть одна полосатая крыса оскверняет своим дыханием атмосферу Вселенной. Это раз. А теперь шнурочек...— Берусь я за этот знак боевой доблести, отстегиваю от пуговицы куртки и аккуратненько пускаю его вдоль рукава.— Шнурок доблести только по уставу вам положено пристегивать к третьей пуговице сверху. Никакой настоящий Дракон его не пристегивает. На гауптвахтах сидят, но не пристегивают. Это, значит, два.

Ах, какое я наслаждение испытывал. Как мне было легко и прекрасно! Оглядел я еще раз их, как они меня слушают, будто я сам пророк Гагура, вещающий из ямы истину господню, да и пошел себе на выход. На пороге я остановился и напоследок добавил:

— А при разговоре с младшим по чину, господин старший бронемастер, не велите себя все время величать полным титулом. Ошибки здесь большой, конечно, нет, только уважать вас не будут. Это не фронтовик, скажут, это тыловая крыса в форме фронтовика. И лицо обгорелое вам не поможет. Мало ли где люди обгорают...

И пошел. Сел у окошка, ручки на коленях сложил — хорошо мне так, спокойно, как будто я большое дело сделал. Сижу, перебираю в голове, как все это было. Как Корней сначала только глазами хлопал, а потом подобрался весь, каждое мое слово ловил, шею вытянув, а у этого фальшивого бронемастера даже варежка открылась от внимания... Но, конечно, я недолго так себя тешил, потому что очень скоро пришло мне в голову, что на самом-то деле получилась какая-то чушь, получилось, что они засылают к нам шпиона, а я этому помогаю. Консультирую, значит. Как последняя купленная дрянь. Обрадовался, дурак! Разоблачил! Взяли бы его там, поставили бы к стенке, и делу конец... Какому делу? Не-ет, это все не так просто. Я ведь почему завелся? Меня этот Дракон завел. Мне ж на него смотреть тошно было. Раньше небось не тошнило, раньше пал бы я перед ним на колени, перед братом-храбрецом, сапоги бы ему чистил с гордостью, хвастался бы потом... Знаешь, я кому сапоги чистил? Старшему бронемастеру! Со шнуром!.. Нет-нет, разобраться надо.

Сидел я аж до самых сумерек и все разбирался, а потом пришел Корней, руку мне положил на плечо, прямо как тому... Дангу.

— Ну,— говорит,— дружище, спасибо тебе. Я так и чувствовал, что ты что-нибудь заметишь. Понимаешь, мы его в большой спешке готовили... Человека одного спасти надо. Большого вашего ученого. Есть подозрение, что он скрывается на западном берегу озера Заггута, а там сейчас бронечасть окопалась, и никому туда проходу нет. Только своих принимают. Так что считай: ты сегодня двух человек спас. Двух хороших людей. Одного вашего и одного нашего.

Ладно. Много он мне еще всякого наговорил. Прямо медом по сердцу. Я уж не знал, куда глаза девать, потому что, когда я их, значит, консультировал, у меня, натурально, и в мыслях не было кого-нибудь спасать. Просто от злорадства...

— Когда же он отбывает? — спрашиваю. Просто так спросил — поток Корнеева красноречия немножко притормозить.

— Утром,— отвечает.— В пять утра.

И тут до меня дошло. Эге, думаю. Вот и дождался.

— Отсюда? — спрашиваю. Уже не просто так.

— Да,— отвечает он.— С этой поляны.

Так.

— Угу,— говорю.— Надо бы мне его проводить, посмотреть напоследок. Может, еще чего замечу...

Корней засмеялся, снова потрепал меня по плечу.

— Как хочешь,— говорит.— Но лучше бы тебе поспать. Ты что-то последнее время совсем от режима отбился. Пойдем ужинать, и ложись-ка ты спать.

Ну, пошли мы ужинать. За ужином Корней был веселый, давно я его таким не видел. Рассказывал разные смешные истории из тех времен, когда работал он у нас в столице курьером в одном банке, как его гангстеры вербовали и что из этого вышло. Спросил он меня, где Драмба, почему его последние дни не видно. Я ему по-честному сказал, что Драмба у меня строит укрепрайон около прудов.

— Укрепрайон — это хорошо,— говорит он серьезно.— Значит, в крайнем случае будет где отсидеться. Погоди, я освобожусь, мы еще настоящую военную игру устроим, все равно ребят нужно будет тренировать...

Ну, поговорили мы про муштровку, про маневры; я смотрю, какой он ласковый да приветливый, а сам думаю: попросить его, что ли, еще разок? Добром. Отпусти, мол, меня домой, а? Нет, не отпустит. Он меня до тех пор не

отпустит, пока точно не убедится, что я безопасен. А как его убедить, что я уже и так безопасен, когда я и сам не знаю этого?..

Расстались мы. Пожелал он мне спокойного сна, и пошел я к себе. Спать я, конечно, не стал. Так, прилег немножко, подремал вполглаза. А в три часа уже поднялся, стал готовиться. Готовился я так, как ни в какой поиск никогда еще не готовился. Жизнь моя должна была решиться этим утром, ребята. В четыре часа я уже был в саду и сидел в засаде. Время, как всегда в таких случаях, еле ползло. Но я был совершенно спокоен. Я просто знал, что должен эту игру выиграть и что по-другому быть просто не может. А время... Что ж, медленно там или быстро, а оно всегда проходит.

Ровно в пять, только роса выпала, раздалось у меня над самым ухом знакомое хриплое мяуканье, ударило по кустам горячим ветром, зажегся над поляной первый огонь, и вот — он уже стоит. Рядом. Так близко я его еще никогда не видел. Огромный, теплый, живой, и бока у него, оказывается, вроде бы даже шерстью покрыты, и заметно шевелятся, пульсируют, дышат... Черт знает, что за машина. Не бывает таких машин.

Я переменил позицию, чтобы быть поближе к дорожке. Смотрю — идут. Впереди мой Голубой Дракон, шнурок у него болтается как положено, в руке стек, это они хорошо додумались: у них ведь если шнурок заслужил, то обязательно и стек, я и сам об этом позабыл. В порядке мой Дракон. Корней шагает за ним следом, и оба они молчат — видно, все уже сказано, остается только руки пожать или, как у них здесь принято, обняться и на дорогу благословить.

Я подождал, пока подошли они к «призраку» вплотную, чвакнул, раскрываясь, люк,— и тут я вышел из кустов и наставил на них свою машинку.

— Стоять не шевелясь!

Они разом повернулись ко мне и застыли. Я стоял на полусогнутых, приподняв ствол автомата,— это на тот случай, если кто-нибудь из них вдруг прыгнет на меня через все десять метров, которые нас разделяют, и тогда я встречу его в воздухе.

— Я хочу домой, Корней,— сказал я.— И вы меня сейчас туда заберете. Без всяких разговоров и без всяких отсрочек...

В рассветных сумерках лица их были очень спокойны.

И краем сознания я отметил, что Корней остался Корнеем, а Голубой Дракон остался Голубым Драконом, и оба они были опасны. Ох, как они были опасны!

— Или мы туда отправимся вместе,— сказал я,— или туда не отправится никто. Я вас тут обоих положу и сам лягу.

Сказал и замолчал. Жду. Нечего мне больше сказать. Они тоже молчат. Потом Голубой Дракон чуть поворачивает голову к Корнею и говорит:

— Этот мальчишка... а-а... совершенно забылся. Может быть, мне взять его с собой? Мне же нужен... а-а... денщик.

— Он не годится в денщики,— сказал Корней, и на лице его ни с того ни с сего вдруг появилось то самое выражение предсмертной тоски: как в госпитале.

Я даже растерялся.

— Мне надо домой! — сказал я. Будто прощения просил.

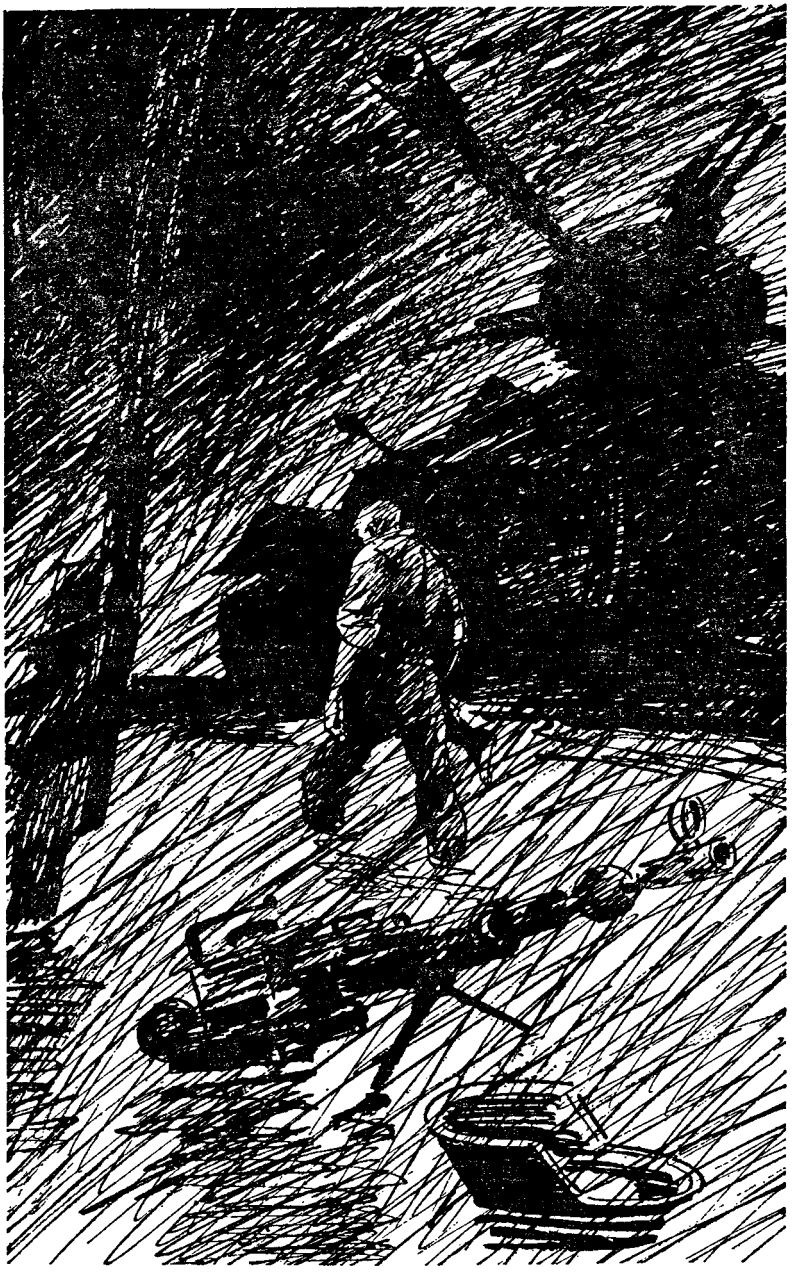
Но Корней уже был прежним.

— Кот,— сказал он.— Эх, ты, котяра... гроза мышей!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Гаг продрался через последние заросли и вышел к дороге. Он оглянулся. Ничего уже нельзя было разобрать за путаницей гнилых ветвей. Лил проливной дождь. Смрадом несло из кювета, где в глиняной жиже кисли кучи какого-то зловещего черного тряпья. Шагах в двадцати, на той стороне дороги, торчал, завалившись бортом в трясину, обгорелый бронеход — медный ствол огнемета нелепо целился в низкие тучи. Гаг перепрыгнул через кювет и по обочине зашагал к городу. Дороги как таковой не было. Была река жидкой глины, и по этой жиже навстречу, из города, поминутно увязая, тащились запряженные изнемогающими волами расхлябанные телеги на огромных деревянных колесах, и закутанные до глаз женщины, поминутно оскальзываясь, плача и скверно ругаясь, неистово молотили волов по ребристым бокам, а на телегах, погребенные среди мокрых узлов, среди торчащих ножками стульев и столов, жались друг к другу бледные золотушные ребятишки, как обезьяны под дождем,— их было много, десятки на каждой телеге, и не было в этом плачевном обозе ни одного мужчины...

На сапогах уже налипло по пуду грязи, дождь пропи-



тал куртку, лил за воротник, струился по лицу. Гаг шагал и шагал, а навстречу тянулись беженцы, сгибались под мокрыми тюками и ободранными чемоданами, толкали перед собой тележки с жалкой поклажей, молча, выбиваясь из последних сил, давно, без остановок. И какой-то старик со сломанным костылем на коленях сидел прямо в грязи и монотонно повторял без всякой надежды: «Возьмите ради бога... Возьмите ради бога...» И на покосившемся телеграфном столбе висел какой-то чернолицый человек со скрученными за спиной руками...

Он был дома.

Он миновал застрявший в грязи военный санитарный автофургон. Водитель в грязном солдатском балахоне, в засаленной шапке блином, приоткрыв дверцу, надсадно орал что-то неслышное за ревом двигателя, а у заднего борта в струях грязи, летящих из-под буксующих колес, бестолково и беспомощно суетились маленький военврач с бакенбардами и молоденькая женщина в форме, видимо медсестра. Проходя мимо, Гаг мельком подумал, что только этот автомобиль направляется в город навстречу общему потоку, да и он вот застрял...

— Молодой человек! — услышал он.— Стойте! Я вам приказываю!

Он остановился и повернул голову. Военврач, оскальзываясь, нелепо размахивая руками, бежал к нему, а следом кабаном пер водитель, совершенно озверелый, красно-лиловый, квадратный, с прижатыми к бокам огромными кулаками.

— Немедленно извольте нам помочь! — фальцетом закричал врач, подбегая. Весь он был залит коричневой жижей, и непонятно было, что он мог видеть сквозь заляпанное пенсне.— Немедленно! Я не позволяю вам отказываться!

Гаг молча смотрел на него.

— Поймите, там чума! — кричал врач, тыча грязной рукой в сторону города.— Я везу сыворотку! Почему никто не хочет мне помочь?

Что в нем было? Старенький, немощный, грязный... А Гаг почему-то вдруг увидел перед собой залитые солнцем комнаты, огромных, красивых, чистых людей в комбинезонах и пестрых рубашках и как вспыхивают огни «призраков» над круглой поляной... Это было словно наваждение.

— Р-разговаривать с ним, с заразой! — прохрипел

водитель, отодвигая врача. Страшно соня, он ухватил автомат за ствол, выдернул его у Гага из-под мышки и с хрюканьем зашвырнул в лес.— Вырядился, сунчик, змеиное молоко... А ну!

Он с размаху вленил Гагу затрещину, и доктор сразу же закричал:

— Прекратите! Немедленно прекратите!

Гаг покачнулся, но устоял. Он даже не взглянул на водителя. Он все глядел на врача и медленно стирал с лица след удара. А врач уже тащил его за рукав.

— Прошу вас, прошу...— бормотал он.— У меня двадцать тысяч ампул. Прошу вас понять... Двадцать тысяч! Сегодня еще не поздно...

Да нет, это был алаец. Обыкновенный алаец-южанин... Наваждение. Они подошли к машине. Водитель, бурча и клокоча, полез в кабину, гаркнул оттуда: «Давай!» — и сейчас же заревел двигатель, и Гаг, встав между девушкой и врачом, изо всех сил уперся плечом в борт, воняющий мокрым железом. Завывал двигатель, грязь летела фонтаном, а он все нажимал, толкал, давил и думал: «Дома. Дома...»

СОДЕРЖАНИЕ

Дм. Биленкин. Радуга времени 5

ПУТЬ НА АМАЛЬТЕЮ

Пролог. Амальтея, «Джей-станция» 11
Глава первая. Фотонный грузовик «Тахмасиб» . . . 16
Глава вторая. Люди над бездной 39
Глава третья. Люди в бездне 60
Эпилог. Амальтея, «Джей-станция» 82

СТАЖЕРЫ

Пролог 87
1. Мирза-Чарле. Русский мальчик 97
2. Мирза-Чарле. Гостиница, триста шестой номер . . 112
3. Марс. Астрономы 121
4. Марс. Старая База 134
5. «Тахмасиб». Генеральный инспектор и другие . . 147
6. Марс. Облава 159
7. «Тахмасиб». Польза инструкций 177
8. Эйномия. Смерть-планетчики 189
9. Бамберга. Нищие духом 207
10. «Тахмасиб». Гигантская флюктуация 226
11. Диона. На четвереньках 245
12. «Кольцо-1». Баллада об одноногом пришельце . . 264
13. «Кольцо-1». Должен жить 283
Эпилог 298

МАЛЫШ

Глава первая. Пустота и тишина 303
Глава вторая. Тишина и голоса 312
Глава третья. Голоса и призраки 324
Глава четвертая. Призраки и люди 341
Глава пятая. Люди и нелюди 362
Глава шестая. Нелюди и вопросы 382
Глава седьмая. Вопросы и сомнения 402
Глава восьмая. Сомнения и решения 415
Заключение 438

Глава первая 445
Глава вторая 456
Глава третья 469
Глава четвертая 486
Глава пятая 497
Глава шестая 514
Глава седьмая 525
Глава восьмая 538